Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

РУССКАЯ ПРОЗА XVIII ВЕКА

М. Д. ЧУЛКОВ

Н. И. НОВИКОВ

Д. И. ФОНВИЗИН

А. Н. РАДИЩЕВ

И. А. КРЫЛОВ

Н. М. КАРАМЗИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья,
составление и примечания
Г. Макогоненко

Р 1
Р 89

7-3-1
подп. изд.

РУССКАЯ ПРОЗА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Новая русская литература зарождалась и складывалась в эпоху, ознаменованную славными делами Петра I, гением которого мужала Россия. «Дым столетий», протекших с той поры, не скрыл от нас ни ратных подвигов наших далеких предков, ни их дерзкого по размаху преобразования своей родной страны. Историческая задача, вставшая перед Россией в первые годы XVIII столетия, разбудила и привела в движение колоссальные силы народа. Больше двух десятилетий билась «подымающаяся нация» (Маркс) за свое будущее, за свое право жить независимо. «Великие виктории», одержанные русской армией в это столетие, военные, экономические и культурные реформы, осуществленные Петром, превратили Россию в могучую державу, которая, по словам Белинского, стала способной «судьбы мира держать на весах своего могущества».

За всеми фактами истории государства, сложившегося в XVIII веке в мощную империю, должно видеть то, что в конечном счете определило успех всех предприятий власти, что обусловило общенациональный подъем и преодоление многовековой отсталости страны,— бурное развитие новой нации, развертывание сил молодого, деятельного, верящего в свое будущее народа. Его живые силы вторглись во все сферы государственной и экономической жизни страны, во все области складывавшейся новой русской культуры. Гениальному сыну поморского рыбака Ломоносову — ученому и поэту — довелось заложить фундамент будущего здания русской литературы. С приходом Ломоносова коренным образом изменился облик литературы, ее характер, ее место и роль в общественной жизни страны. «Наша литература,— справедливо делал вывод Белинский,— началась с 1739 года (от появления первой оды Ломоносова)», «Ломоносов — Петр Великий русской литературы».

Ту же мысль еще раньше высказал Пушкин: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии». И словесность эта началась не с прозы,

а с поэзии, она утверждала свое историческое бытие в поэтических жанрах, заговорила с читателем языком стиха. Час прозы еще не пробил, и первые опыты прозаиков многие десятилетия находились на периферии литературы. Целое столетие поэзия занимала господствующее положение. Только в новых условиях — в 30-х годах XIX века, усилиями Пушкина и Гоголя — проза в долгом соревновании с поэзией одержит победу, займет первое место и уже навсегда станет определять облик литературы.

1

Опережающее развитие поэзии в XVIII веке было исторически обусловленным явлением. Европеизация, круто проводимая Петром, подготовила условия для существования России как мировой державы. Возникала острая необходимость создания национальной литературы, которая была бы способной выражать национальную жизнь России в ее новом качестве. Конечно, она формировалась не на пустом месте. Предшествовавшая литературная традиция давала себя знать и в первые десятилетия XVIII века, и позже, когда разными путями произведения древней литературы оказывали влияние на литературный процесс. И все же литература, возникавшая в послепетровскую эпоху, была принципиально новым явлением.

В XVIII веке с особой обостренностью русские люди почувствовали себя наследниками всего мира. Процесс осознания новой исторической судьбы России не мог быть запечатлен в старых формах. Должно было наследовать и художественный опыт человечества. Это было частным проявлением общей исторической закономерности.

История свидетельствует: когда преодолевалась феодальная раздробленность европейских стран и создавались большие национальные государства, шла деятельная выработка условий зарождения и формирования национальных литератур. Объектом изображения их должна была стать конкретная жизнь данной нации, данного народа, его история, его быт и нравы, его идеалы и острые проблемы социального и общественного бытия. Но в канун появления литератур, сосредоточивших свой интерес на национальном, конкретном и действительном, на историческую арену вышло и широко распространилось искусство классицизма, которое в каждом национальном варианте вбирало в себя художественный опыт античности и Возрождения. Классицизм духовно объединял человечество, создавая общий арсенал этических и эстетических идеалов, вырабатывая общий язык искусства. Выполняя свою историческую миссию, он в то же время художественно подготавливал новые направления, которые, придя ему на смену, смогут выражать на этом языке самобытные идеалы и индивидуальный опыт жизни каждой

отдельной нации, неповторимо национальные решения общечеловеческих проблем, раскрывать идеал человека в его конкретном проявлении, в живой общественной практике, в его исторической и национальной обусловленности.

Раньше всего классицизм сложился во Франции в XVII веке. То было время расцвета феодально-абсолютистской монархии Людовика XIV. Абсолютизм кончал с феодальной раздробленностью, помогал созданию сильного национального государства. Тогда-то и сформировался классицизм как направление, способствовавшее созданию большого общегосударственного искусства.

Абсолютизм жестоко и беспощадно боролся со всяким «своеволием», требовал жестокой и строжайшей государственной дисциплины и жесточайшей регламентации всех форм политической и общественной жизни. В этих условиях классицизм выдвинул культ гражданских добродетелей, требуя от человека отказа от всех личных чувств и желаний во имя высших государственных интересов. Его философией стал рационализм, провозгласивший величие человеческого разума, единственно способного постичь истину.

Освободившись от теологических представлений о человеке, художники-классицисты создали идеал человека, как его подсказывала рационалистическая философия. Рожденный разумом идеальный характер выступал воплощением всего истинного и прекрасного. Общественное и частное значение человека в феодальном государстве определялось, в конечном счете, его сословной принадлежностью, а не индивидуально неповторимыми чертами личности. Сословная философия, не признававшая индивидуальности человека, питала эстетический идеал классицизма. Подобный взгляд обуславливал выбор героев для искусства. Ими могли быть только люди благородного происхождения. Но и дворянин представлял для поэта-классициста интерес не со стороны своей неповторимости и несхожести с другими людьми.

Единственной ценностью являлось государство, поглощающее личность. Верность идеалу, красота, реальность человеческого характера для классицизма — в строжайшем следовании нормам и законам, продиктованным разумом. Так устанавливалось как бы существование двух миров. В одном мире жили те, кому в силу низкого происхождения неведомы были идеалы высокого, разумного существования, или те из благородных, кто нарушал эти нормы; в другом жили те, кто строил свою жизнь в соответствии с идеалом. Отсюда родилось эстетическое противопоставление высокого и низкого, трагического и комического, которое стало основой для деления литературы на жанры.

Чувственная практика человека, мир действительный, реальный мог находить в какой-то мере свое выражение в сатирических жанрах (комедия, басни, герои-комическая поэма). В высоких жанрах лириче-

ской поэзии, а полнее всего в трагедии выступала разумная, абстрагированная, отвлеченная действительность. Тем самым человек оказывался оторванным от обстоятельств своей жизни, от реальных условий бытия, от всего того, что воспитывало и формировало его убеждения, интересы и поступки. Классицизм, демонстративно создавая своим героям отвлеченные обстоятельства, третировал живую жизнь. Действительность, природа, человек допускались в искусство только в очищенном, украшенном виде.

Классицизм требовал правды от искусства, верности природе. Но то была правда не реально-эмпирическая, не правда живой, противоречивой стихийной жизни, а правда высокая, разумная, логически организованная, правда *должного*, а не *сущего*. Дух дисциплины, подавление субъективной воли самого автора, воли художника, определили необходимость создания нормативной поэтики. Она подчиняла сознание поэта и художника строгим правилам, определяла жестокую регламентацию творческого процесса. В систему регламентации входило и обязательное следование образцам, подражание уже известному. Таким образцом французский классицизм объявил произведения античной литературы.

Русский классицизм вышел на историческую арену веком позже, в эпоху расцвета русского абсолютистского государства. Именно он отвечал потребности создания общенационального искусства и потому развивался с необыкновенной интенсивностью. Классицизм — многожанровое искусство, но оно утверждало свое бытие лишь поэтическим словом. Русская поэзия XVIII века и выступала в рамках классицизма. Направление это было явлением глубоко прогрессивным. Классицизм помог создать национальную литературу, способствовал выработке идеалов гражданственности, сформировал представление о героическом характере, высоко поднял поэтическую культуру, включил в национальную литературу художественный опыт античного и европейского искусства, показал способность поэзии к аналитическому раскрытию душевного мира человека.

В течение четырех десятилетий классицизм в России был господствующим литературным направлением. С середины 1760-х годов положение начало меняться. Нараставшие из десятилетия в десятилетие социальные противоречия крепостнической России крайне обострились после прихода к власти Екатерины II (1762). Закипавшая общественная борьба ставила перед поэтами-классицистами новые требования, ставила на обсуждение большие и больные вопросы социальной и политической жизни русского государства. Поэзия классицизма не могла на них ответить.

Положение классицизма в 1760-е годы осложнялось появлением нового демократического читателя, который был равнодушен к поэзии, ориентированной на образованное дворянство. Новый читатель предъяв-

лял к литературе свои требования, и их стали удовлетворять писатели-разночинцы, далекие от поэтики классицизма.

Начался кризис классицизма. Он сопровождался ожесточенной борьбой с нормативной поэтикой, в ходе которой складывалась новая литература. И в ней важное место стала занимать проза.

2

Прозаические жанры, и прежде всего роман, получивший на Западе широкое распространение, стали пользоваться успехом и в России. Поэзия классицизма ориентировалась прежде всего на просвещенного дворянина, на читателя, умеющего понимать философское содержание конфликта между долгом и чувством, способного оценить заимствования и подражания образцам античной и французской литературы. Проза обращалась к другому, демократическому читателю, увлекая его и занимательными сюжетами, и изображением близкой ему жизни и социально близкого героя. Оттого она стала развиваться в противоположном и враждебном дворянству лагере литературы.

Успешное развитие торговли, промышленности и ремесел меняло социальный состав городов. Все больше появлялось представителей «среднего рода людей», которые, быстро овладев грамотой, проявляли интерес к литературе, к театру. Создаваемая писателями-разночинцами литература обслуживала прежде всего нового читателя. В Петербурге и Москве стали открываться новые типографии, на Руси начала развертываться книжная торговля, создавались журналы, наполненные прежде всего прозаическими — оригинальными и переводными — произведениями, открывались общедоступные театры сначала в Петербурге и Москве, а позже в губернских городах — Воронеже, Харькове, Твери, Нижнем Новгороде.

Проявляя интерес к роману, разночинный читатель поначалу, наследуя вкусы своих отцов и дедов, читал рукописные повести и романы, появившиеся еще в прошлом столетии. Спрос на них возрастал с каждым десятилетием. Появились специалисты-переписчики, удовлетворявшие эту потребность. Затем в сферу внимания этого читателя попал переводной западноевропейский роман. В Россию хлынул поток плутовских, авантюрных, фантастических, нравоучительных, политических и, наконец, сентиментальных романов. Рынок был наводнен прозаическими сочинениями.

Среди переводных произведений в 1760-е годы заметное место стала занимать оригинальная проза. Произведения двух писателей получили особую популярность — Михаила Чулкова и Федора Эмина. Федор Эмин был не только плодовитым переводчиком — он выступал с переделкой

известных европейских романов. Наибольшей популярностью пользовался его четырехтомный роман «Письма Эрнеста и Доравры» (1766), который был своеобразным «склонением на русские нравы» знаменитого романа Руссо «Новая Элоиза».

Выходец из демократической среды, Михаил Чулков с 1766 года начал выпускать сборники повестей, романов и переделанных сказок под названием «Пересмешник, или Славенские сказки». Отлично зная вкусы демократического читателя, Чулков в угождение ему свободно пользовался сюжетами западных и русских сочинений, смело соединяя мотивы сказок и популярных романов, и строил свое повествование, заботясь прежде всего о его занимательности. Все фантастические приключения и превращения героев держались на любовном сюжете — проходя через сложные перипетии судьбы, возлюбленные соединялись.

Заимствуя сюжетные коллизии из разных источников (античной мифологии и Библии, «Тысячи и одной ночи» и рыцарской поэмы Ариосто и т. д.), Чулков соединял их с мотивами, почерпнутыми в русском народном творчестве, древнерусских повестях или бытовых анекдотах, усиленно русифицируя место действия и героев, подчиняя все своей цели — созданию «славенских сказок» — своего рода русского сказочно-рыцарского эпоса. Новая литература, по мысли Чулкова, должна была опираться на национальную традицию. Несмотря на упрощенность и наивность такого понимания традиции, книги, написанные в ее русле, отражали реальную потребность русского читателя в своем национальном искусстве.

В некоторых «сказках» большое внимание уделялось изображению русского быта. Писатель создал галерею сатирических образов пьяниц, монахов, разбойников, плутов и мошенников. Иногда даже в отдельных живых сценках проступали черты современных читателю нравов.

Одним из лучших произведений, созданных писателями-разночинцами, оказался роман Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины», вышедший в 1770 году. Создание образа главной героини романа — женщины из народа, принужденной торговать собой, никогда не унывающей в несчастье и свободной от каких-либо угрызений совести,— было главной заслугой Чулкова. Такого героя еще не знала русская литература. Он открыто противостоял героям классицизма. Рост денежных отношений разрушал феодально-сословную идеологию. Деньги и в феодальном государстве стали многое определять — и общественное положение, и мораль, и поведение людей. Разбогатеть — значит утвердить себя в качестве «госпожи», жить в свое удовольствие, обеспечить себе уважение. Пригожая повариха Мартона обогащается, и Чулков не осуждает ее за мошенничество, за бесчестные поступки. Он далек от морализирования и описывает Мартону такой, какова она была на самом деле, показывая при этом, что ее поступки определяются

не ее порочной натурой, не ее «низким» происхождением, а нравами общества, в котором она жила.

В романе о развратной женщине поэтому вторым главным действующим лицом оказалась та общественная среда, с которой связана Мартона,— русское дворянство. Чулков выставляет на всеобщее обозрение русских дворян, но не обличает и не судит их, а лишь констатирует, что они живут не по кодексу чести, как о том любят говорить. Праздные, они стремятся к удовольствиям и любовным утехам. В погоне за деньгами они совершают бесчестные поступки, руководствуясь не разумом, а страстями. Чувствуя себя хозяевами жизни, они не признают никаких добродетелей, никакой морали, никакой «должности». В таком-то обществе и принуждена жить Мартона. Чулков сочувствует своей героине, которая добивается богатства, обманывая и обкрадывая сластолюбивых дворян.

Истинный человек в понимании Чулкова — это энергичный, преуспевающий делец, добивающийся любыми средствами своей цели, преступая чрез все запреты, движимый только своим эгоизмом. Объяснив пороки Мартоны влиянием среды, Чулков подчеркивает, что дело не в бесчестных делах ее — она поступает, как все. Берет деньги за любовь? Но ее прелести торгуют «благородные» — почему же не брать? Она обворовывает подполковника, но этого требует ее любовник, дворянин Ахаль. Нет, не в пороках проявляется ее характер. Индивидуальность Мартоны в другом. В том, например, что она, развратная женщина, оказывается способной любить без торга, в том, что она не жадна, в том, что она никогда не унывает и не падает духом. Множество несчастий обрушивается на нее, и всякий раз она находит в себе силы выпутаться из беды. Что же делает ее неунывающей? Вера в себя. Демократизм Чулкова проявился в антифеодальном понимании человека: не сословная принадлежность, а личные достоинства — вот мера его оценки.

Нарисовав галерею образов своих современников, Чулков не умеет раскрыть внутренний мир личности даже главной героини. В этом, несомненно, проявилась литературная беспомощность Чулкова. Он не может создавать индивидуальные характеры, типизировать, обобщать. Его описания откровенно эмпиричны. Русская проза переживала младенческий период своего становления.

3

Восемнадцатый век вошел в историю человечества как эпоха величайших социальных преобразований и громадных классовых битв. Столетиями накапливавшиеся противоречия феодальной эпохи вырвались наружу, и в ряде стран закипела беспримерная до тех пор борьба утесненного народа со своими угнетателями. Народные движения стали

важным фактором общественной жизни многих государств. В порядок дня истории встали революции, которые должны были уничтожить феодальный режим.

Во второй половине XVIII века крепостнический гнет в России приобрел особо жестокий характер. Самодержавие полностью отдало крестьян «на милость и попечение» помещиков, закрепив особыми указами их права и беспредельную власть. Поддерживаемые правительством, русские помещики превращали крепостное право в дикое, никакими законами не ограниченное рабство. Ответом на эту политику самодержавия и дворянства явились крестьянские бунты. Царствование Екатерины II проходило в зареве малых и больших восстаний, вылившихся в конце концов в крестьянскую войну 1773—1775 годов, возглавленную Пугачевым. Крестьянская война потерпела трагическое поражение, крепостнический гнет не был уничтожен, но феодальному государству и крепостническим порядкам был нанесен серьезный удар. Вопрос о крепостном праве и борьбе с ним станет центральным во всей общественной жизни России в последующие десятилетия. Память о восстании Пугачева сохранит не только народ — его грозный призрак будет долго внушать страх многим поколениям помещиков и царей.

В 1776 году в далекой Америке вспыхнула первая в XVIII веке революция. До 1783 года шла революционная борьба американского народа против колониального владычества англичан, борьба за свою свободу, за судьбой которой напряженно следила вся Европа — от Парижа до Петербурга. Победоносно завершившаяся революция за океаном не только привела к созданию республики Соединенные Штаты Северной Америки,— она прозвучала, по словам Маркса, «набатным колоколом» для Европы. Этот набат услышан был во Франции, где социальные противоречия обострились до предела. В 1789 году французский народ совершил свою революцию, сверг короля, уничтожил феодальный режим. В ходе революции были провозглашены великие идеалы свободы человека. Человечество еще не знало, что победившая в революции буржуазия растопчет и надругается над ними.

В XVIII веке сформировалась оптимистическая вера в торжество разума и свободы. Передовые общественные деятели понимали, что наступала великая эпоха крушения феодального режима угнетения и порабощения миллионов людей, эпоха утверждения свободы народа, свободы человеческой личности от социальной и политической неволи. Выражая думы и чувства своих современников, писатель и революционер Радищев писал: «О незабвенно столетие! Радостным смертным даруешь истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек».

Антифеодальная борьба народов породила мощное идейное движение века — движение Просвещения. Просвещение, сложившееся на Западе, где гегемоном народной борьбы с феодальной неволей высту-

пала буржуазия, вошло в историю под именем буржуазного. Оно складывалось в 40—50-е годы XVIII века и было последовательной и боевой антифеодальной идеологией. Выразители интересов народа, просветители подвергли уничтожающей критике религию и церковь, господствующие взгляды на государство, на роль и место сословий в обществе, объявив все существовавшие феодальные порядки неразумными, подлежащими уничтожению. Именно просветители вскрыли преступность крепостного права и объявили ему решительную войну. Не будучи революционерами, просветители, отстаивая свободу народа и человека, все надежды возлагали на мирные преобразования. Идеалисты в объяснении общественной и социальной жизни, они искренне верили, что существующий социальный строй неравенства и порабощения народа произошел от неразумности людей. Потому своей главной целью просветители поставили просвещение нации, просвещение богатых и бедных, ибо одни по неразумности угнетали, другие примирялись с угнетением. Огромная роль в решении этой задачи отводилась литературе, театру, искусству.

Развитие просветительской идеологии в каждой стране зависело от обострения социальных противоречий между дворянами и крестьянами, от борьбы народа со своими угнетателями. В России эта борьба с особой силой развернулась с конца 1760-х годов. Наивысшим ее выражением было пугачевское восстание. Именно в 60-е и 70-е годы окончательно и сложится идеология русского Просвещения.

Эпоха русского Просвещения связана с деятельностью целой плеяды писателей, ученых и публицистов. В 1760—1770-х годах на общественную арену выступили — журналист, издатель и писатель Николай Новиков, драматург и прозаик Денис Фонвизин, философ Яков Козельский. Наряду с ними активно работали ученые С. Десницкий, Д. Аничков и пропагандист и популяризатор просветительской идеологии профессор Н. Курганов. В 1780-е годы Новиков создал в Москве на базе арендованной им типографии Московского университета крупнейший просветительский центр, объединивший вокруг себя сотню переводчиков, писателей, ученых и распространителей книг. Новиков намечал и исполнял с помощью приглашаемых переводчиков широкий план издания политических, философских и прежде всего художественных произведений французских и немецких просветителей. В той борьбе за обновление литературы и театра, которая развернулась в 1760—1780-е годы, Новиков сыграл важную роль. Свой авторитет, талант организатора он использовал для того, чтобы поддержать и пропагандировать новое, антифеодальное и антиклассицистическое искусство, чтобы способствовать утверждению нового эстетического кодекса. Главную массу издаваемых им переводных и оригинальных книг составляли прозаические произведения.

В конце 1780-х годов в литературу вступил молодой писатель, ученик русских просветителей, талантливый прозаик Иван Крылов. Тогда же вышли из печати и произведения Александра Радищева. Его деятельность была итогом и высшим достижением русского Просвещения. Но Радищев и первый русский революционер, он открывал новую эпоху в развитии общественной мысли в России. Включившись в ряды просветителей, действуя с просветительских позиций, твердо опираясь на их политический, общественный и литературный опыт, Радищев развивал идеологию русского Просвещения, поднял ее на новую ступень, обогатив идеей народной революции.

Просвещение в последнюю треть XVIII века оказывало огромное влияние на всю идейную жизнь общества, и прежде всего на развитие литературы и искусства. Даже те крупные дворянские писатели, которые не принимали главного — социальной программы просветителей,— испытывали влияние просветительской философии свободного человека. Именно на этом теоретическом фундаменте формировались их эстетические убеждения. Так, например, обстояло дело с Карамзиным. Его литературные успехи во многом определялись усвоением философских и эстетических концепций просветителей.

Борясь за освобождение большинства нации от социального и политического угнетения, просветители не могли не использовать искусства, как могучего оружия критики существующего неразумного строя, как глашатая нового идеала жизни. Вот почему во Франции, а затем в Германии и России была объявлена жестокая война классицизму — господствующему направлению в литературе и искусстве, в ходе которой складывались новый эстетический кодекс, новая литература.

В этих условиях нужно было искусство, которое бы доверяло действительности и реальному человеку, не идеализировало, а объясняло жизнь, содержание которой под влиянием обострявшихся классовых противоречий непрерывно осложнялось. Таким искусством был реализм, родившийся как ответ на властное требование времени. В ходе героических сражений с феодальным миром, всеми его учреждениями и его идеологией вырабатывался новый взгляд на общество, формировалась новая философия человека как свободной личности, достоинства которой определяются не ее сословной принадлежностью, не знатностью рода, но умом, личными дарованиями.

Философия свободного человека, объявленного просветителями высшей ценностью, и учение о связях человека с условиями его жизни, определявшими зависимость его от конкретной социальной среды, и были положены в основание реалистического метода. Реализм увидел и показал в человеке личность и объяснил ее условиями социального и национального бытия. Потому он беспощадно срывал покровы с действительности, бесстрашно обнажал правду жестоких, циничных и бес-

правных условий жизни человека, которые убивали и развращали личность, ввергая ее часто в бездну аморального существования. Но реализм не только выявлял социальное зло, но умел видеть добро и прекрасное в самой действительности, и только в ней. Он открыл поэзию действительного мира, красоту в обыкновенном.

Реализму как целостной художественной системе внутренне присуще единое понимание человека как свободной личности, обусловленной обстоятельствами своей социальной жизни. Само же представление о человеке, мера оценки его достоинств, путь самореализации личности, психический склад национального характера не вырабатываются разумом, не конструируются художником, а извлекаются из общественной практики каждой нации, в них отражается ее опыт и многовековые традиции, своеобразие ее исторического и социального пути.

Реалисты выдвигали высокий идеал свободной человеческой личности, и он выражал общечеловеческое начало каждой нации, то, что сближает разные национальности. Но проявление этого идеала многообразно и всегда национально обусловлено, как разнообразны и национально конкретны все отклонения от него.

В формировании русского реализма на его первой, начальной стадии от Фонвизина до Пушкина проявилась общая закономерность — он зарождался в условиях активно развертывавшейся антифеодальной борьбы, идеологией которой было Просвещение. Выход реализма на общественную арену во второй половине XVIII века Гете характеризовал как «революцию в искусстве». Эта революция в искусстве захватила и Россию. И хотя на этом этапе поэзия продолжала занимать господствующее место, проза все увереннее отстаивала свои права, одерживая одну за другой значительные художественные победы в исследовании и объяснении жизни. Ее успехи определялись просветительской идеологией. Именно Просвещение создавало прочный фундамент для бурного развития прозы, обуславливая ее эстетические открытия.

4

Крупной вехой в истории русской прозы XVIII века стал 1769 год. Он ознаменовался появлением крупнейших прозаических произведений, выходом на литературное поприще целой группы талантливых прозаиков, среди которых двое — Николай Новиков и Денис Фонвизин — своим творчеством утвердят важную роль прозаических жанров в литературе.

Главным событием литературной жизни 1769 года стали сатирические журналы, проза в которых, посвященная насущным вопросам современности, заняла главное место. Появление сатирических журналов оказалось возможным благодаря политике показного либерализма Ека-

терины II. С января 1769 года она стала издавать сатирический журнал «Всякая всячина», в первом же номере которого «отважилась» всемилостивейше разрешить всем желающим издавать сатирические журналы без цензуры и даже анонимно. На призыв «Всякой всячины» откликнулось несколько литераторов. М. Чулков стал издавать журнал «И то, и се», Ф. Эмин два журнала — «Смесь» и «Адская почта». Связанный с придворными кругами поэт Н. Рубан выпускал «Ни то, ни се». Наиболее радикальным и содержательным стал журнал «Трутень», начавший выходить с мая 1769 года. Его издателем и главным автором был Николай Новиков.

Как истый просветитель, Новиков вынес на общественное обсуждение самые насущные вопросы социальной и политической жизни России. Оружие сатиры было обращено им против властей и дворянства, в защиту «угнетенного питателя». Новиков-писатель по характеру своего дарования прозаик. Но он никогда не писал повестей и романов. Жанры, в которых он работал, их своеобразие, их эстетические особенности, принципы изображения жизни и человека определялись журналом, точнее, теми главными задачами, которые писатель-просветитель ставил перед своими журналами — сначала перед «Трутнем», а потом перед «Живописцем». Оттого его произведения делятся на две группы — публицистические и художественные.

Публицистическим было изложение просветительских истин. Оно осуществлялось в таких, например, жанрах, как «портреты» и «рецепты». В них создавались не реальные, индивидуализированные характеры, но персонифицированные носители социальных пороков («Рецепт Недоуму», «Рецепт для г. Безрассуда»).

Так же публицистически-декларативно обличалась повседневная практика дворян — чиновников, судей, воевод, помещиков — в специально приспособленных для этого газетных жанрах — «известия», «объявления», «подряды» и т. д. Русская газета печатала правительственные официальные и деловые сообщения. Новиков как бы предлагает сделать газету зеркалом жизни русского дворянского общества, предать гласности преступления, которые творятся в России безнаказанно, раскрыть уродства социальной действительности.

Но с наибольшей полнотой писательский талант Новикова проявился в художественных произведениях. Отказываясь от публицистической декларативности, он стремился создавать конкретные и типические характеры русских помещиков и крестьян.

Для этого Новиков использовал жанр писем. Наиболее удачными в художественном отношении произведениями в «Трутне» окажутся «Отписки крестьянские» и «Письма дяди к племяннику». В «Отписках крестьянских» Новиков документально точно показывает нищету вечного труженика, его чудовищное бесправие, полную зависимость от про-

извола жестокого и равнодушного к человеческим страданиям барина. Созданный писателем образ впавшего в отчаяние от бедности, непомерных повинностей крепостного Филатки потрясает читателя.

Образ «плачущего Филатки» написан писателем гуманным, ненавистником рабства, всем сердцем сочувствующим положению обездоленного крестьянина. Но политическая оценка явлений действительности подменялась у Новикова моральной. Следствием моральной оценки крепостничества и оказался образ «плачущего Филатки», обращающегося с просьбой к барину, ищущего защиты у своего же господина, который представляется ему, несмотря на всю жестокость, «отцом». Но те же моральные оценки позволили Новикову увидеть в крестьянах и прекрасные, истинно человеческие качества, давно утраченные дворянами: отзывчивость к человеческому горю, сострадание, взаимопомощь, трудолюбие.

В «Письмах дяди к племяннику» создан яркий характер воеводы — взяточника и мошенника. «Письма» написаны Новиковым с тактом, без сатирического преувеличения, без карикатуры. Дядя искренен в своих признаниях, и искренность эта оправданна, поскольку он считает свои действия естественными и нормальными. Воевода — автор письма — предстает перед читателем пластично, как человек живой, порожденный условиями именно русского крепостнического государства. У него своя вера, понимание жизни, свои радости, огорчения, мечты. Речь его социально и индивидуально конкретна и точна. Убеждения и характер воеводы объяснены условиями его положения, как главы местной власти в одном из уездов екатерининской империи. Достоверно раскрытый характер помогал познанию реальной русской жизни.

В 1772 году Новиков стал издавать новый сатирический журнал «Живописец». В нем главное место занимала не публицистика, а повествовательная проза. Наивысшим художественным достижением писателя стали «Письма к Фалалею» и «Отрывок путешествия в ***», подписанный инициалами И. Т.

«Письма к Фалалею» — это внутренне единое произведение, своеобразная по форме, исполненная драматизма повесть о распаде помещичьей семьи. Новиков убедительно внушал читателям: крепостное право, порождая паразитизм, развращает и губит самих рабовладельцев, ожесточивает их, превращает в духовно убогих существователей, жизнь которых позорна и идиотически бессмысленна.

Трифон Панкратьевич — отец Фалалея, разорвавшего со своей семьей жестоких крепостников,— помещик, богомольный христианин и хитрый, жуликоватый человек, уволенный за взятки чиновник, тиран и мучитель своих крестьян, глава семьи, заботливый, любящий отец и жестокий муж. Иной характер у матери Фалалея — Акулины Сидоровны. Ее письмо кажется неожиданным в сатирическом журнале,—

это последнее, прощальное письмо матери к сыну. Причина ее смерти и является поводом для сурового обличения крепостнических порядков: по словам ее мужа, она «надсадила себя», когда чинила расправу над дворовыми за то, что те не усмотрели, как собаку Фалалея, Налетку, «кто-то съездил поленом».

Но, странное дело, разделяя возмущение автора крепостническими порядками, порождавшими такую психологию, таких типов, такую бесчеловечность, мы не переносим своего негодования на Акулину Сидоровну. Мы отчетливо понимаем, что сама она — жертва в этом мире, что она развращена предоставленным ей правом владеть и распоряжаться себе подобными людьми, низведена им до скотского уровня жизни. Воистину новаторством было придание сатирическому письму трагического характера. Акулина Сидоровна пишет последнее письмо, дает последние наставления любимому сыну, посылает ему свое материнское благословение. И сколько неожиданного открывается в ее душе. Забитая и покорная, всю жизнь терпевшая побои мужа, она, оказывается, хранит в своем сердце два затаенных чувства — любовь к сыну и злобу к мужу. Перед смертью она, исповедуясь Фалалею, говорит о своей любви к нему и обучает, как надо обманывать ненавистного главу дома.

«Письма к Фалалею» воссоздавали атмосферу семейных отношений, но реалистический принцип построения характера позволял, не выходя за пределы помещичьего дома, раскрывать трагедию крепостнической России.

«Письма» как литературный жанр были введены в обращение новым антиклассицистическим западным искусством. Письмо — это исповедь, «чистосердечное признание» о всех своих поступках, рассказ о своей жизни, об интимных переживаниях, о сердечных чувствованиях. Оттого роман в письмах стал излюбленной формой многих писателей XVIII века. Новиков использовал жанр писем не для обнажения духовного богатства личности, но для сатирических целей.

Письма у Новикова пишут дворяне-помещики своим близким. Без стеснения, доверительно они рассказывали все, что думали, к чему стремились, что делали у себя в имении или в прошлом, на службе. Главная ценность жанра писем для Новикова в его документальности. Писатель как бы предупреждал читателя — это не вымысел, а подлинная правда, он лишь предоставил своим героям исповедаться, без опаски изложить на бумаге сокровенные свои идеалы и принципы жизни. И жизнь эта предстала в своей бездуховности, бесчеловечности, дикости и жестокости нравов и обычаев помещичьей жизни. При этом Новиков попытался объединить письма в циклы: «Письма дяди к племяннику», «Письма к Фалалею» и т. д. Циклизация позволяла связывать судьбы авторов писем единым сюжетом, раскрывавшим драматизм се-

мейных отношений в условиях привычно-будничных дел и забот русского помещика. Каждый цикл оказывался своеобразной моделью будущей русской повести.

«Отрывок путешествия в ***» — первый опыт художественно достоверного, конкретно бытового описания русской крепостной деревни. Новый в русской литературе жанр «путешествий» открывал перед литературой большие возможности изображения жизни народа, раскрытия нравственного облика человека, «чувствительного к крестьянскому состоянию», ненавидящего рабство и ищущего путей к общественной деятельности.

Повествование ведется от имени Путешественника. Он мужественно заявляет о своем намерении сказать правду о русском крестьянине, о желании вступиться за утесненных и обездоленных людей: «Удалитесь от меня, ласкательство и пристрастие, низкие свойства подлых душ: истина пером моим руководствует!» Истина не умозрительная, но извлеченная из опыта, являющаяся обобщением всего увиденного и услышанного из уст самих крепостных. Эту истину и открывает читателю Путешественник. «С великим содроганием чувствительного сердца» описывает он «бедность и рабство» крестьян, с гневом обрушивается на бесчеловечных помещиков, обнажая страшные язвы социальной жизни России.

Создание образа Путешественника, человека, открыто обвиняющего дворянский корпус, желающего служить истине, вступающего на опасную стезю общественной просветительской деятельности,— большая удача Новикова, важная художественная победа писателя.

Читательский успех журналов Новикова обусловил его решение создать книгу из лучших своих произведений, напечатанных в «Трутне» и «Живописце». Такая книга была подготовлена и напечатана в 1775 году под полюбившимся читателю названием «Живописец». Этот прозаический сборник стал одной из популярных книг последней трети века, он неоднократно переиздавался.

5

Восьмидесятые годы XVIII века ознаменовались новыми успехами в развитии прозы. Огромной популярностью пользовались многочисленные переводы лучших европейских романов. Вслед за Вольтером, Руссо, Сервантесом читатель с интересом знакомился с сочинениями Стерна, Ричардсона, Фильдинга, Гете, нравоучительными сказками и повестями Мармонтеля и многих других современных прозаиков.

В это десятилетие была продолжена традиция, начатая Ф. Эминым и М. Чулковым по созданию русской прозы по европейским образ-

цам с использованием фольклорных источников и древнерусских повестей. Наиболее крупным явлением оказалось десятитомное сочинение Василия Левшина «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся через пересказывание в памяти приключения» (1780—1783). Рассматривая европейский рыцарский роман как переделку народных сказок, В. Левшин и хотел дать русскому читателю отечественный рыцарский роман, опираясь прежде всего на русский былинный эпос. В «Русских сказках» читатель находил множество легендарных историй, интересных приключений, волшебных превращений, происходивших в Древней Руси с сказочными или историческими героями. Позже все это было использовано и при создании русской оперы и поэмы с национально-сказочным сюжетом. Пушкин читал «Русские сказки» Левшина и тоже использовал отдельные мотивы в своей поэме «Руслан и Людмила».

Учитывали возраставший интерес демократического читателя к повествовательной прозе и литературные торгаши. Появились «мелкотравчатые» писатели, «приспособители» чужих книг для малокультурного читателя. Наибольшую известность приобрел «житель города Москвы» Матвей Комаров (из крепостных), автор нескольких быстро ставших популярными книг. Еще в 1775 году он издал «Обстоятельные и верные описания добрых и злых дел российского мошенника и вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений» — книгу, в которой были рассказаны многочисленные анекдоты и легенды о жизни реального лица — Ивана Осипова, московского вора и разбойника, а потом сыщика московской полиции, действовавшего в 1730—1740-х годах.

В 1782 году М. Комаров переложил английскую «Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе». Книга эта многократно переиздавалась не только в XVIII, но и в XIX и в XX веках. Именно этого, комаровского милорда Георга имел в виду Некрасов, когда выражал надежду, что придет время и грамотный крестьянин «не Блюхера и не милорда глупого,— Белинского и Гоголя с базара понесет».

Несколько иной по содержанию, но также ориентированной на подражание европейским образцам была повествовательная проза, вдохновляемая новым направлением сентиментализма. В конце 1780-х и в 1790-е годы на книжном рынке появились книги, раскрывавшие жизнь сердца, различного рода романы в письмах или исповеди «несчастных» любовников. Среди таких сочинений могут быть отмечены сочинения Павла Львова «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки» (1789), «Роза и Любим, сельская повесть» (1790) и Николая Эмина «Роза — полусправедливая оригинальная повесть» (1788), роман в письмах «Игра судьбы» (1789). Подобная традиция создания

русских «оригинальных» романов и повестей по европейским образцам получила развитие и в начале XIX века. «Достойным» наследником и продолжателем этой традиции явился Фаддей Булгарин.

Подлинно оригинальная русская проза формировалась в это время на совершенно иной основе, она вдохновлялась просветительской идеологией.

В 1780-е годы в полную силу развернулся талант крупнейшего прозаика Дениса Фонвизина. Еще в 1769 году Денис Фонвизин закончил работу над комедией «Бригадир». Напечатана и поставлена комедия была позже. Но петербургская публика узнала ее сразу: автор читал ее своим друзьям и знакомым. Принята она была восторженно. Новиков в своем «Трутне» известил читающую публику о рождении русской оригинальной комедии.

«Бригадир» — комедия, порожденная событиями общественно-политической жизни конца 1760-х годов. Как истый просветитель, Фонвизин давал бой дворянской идеологии, создавая сатирический портрет русского дворянства. Острый интерес драматурга к главным социальным проблемам действительности определил внимание писателя к подлинным конфликтам общества, помог создать комедию, в которой все увидели живые характеры истинно русских помещиков.

Продолжая работу в драматургии, он создает комедию «Недоросль», оказавшуюся высшим художественным достижением русской литературы XVIII века. Пушкин и Белинский называли «Недоросль» «народной комедией», которая справедливо рассматривалась в одном ряду с такими яркими явлениями реализма, как «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя.

Главный конфликт социально-политической жизни России — произвол помещиков, поддерживаемых высшей властью, и бесправие крепостных крестьян — становится темой комедии. В драматическом сочинении эта тема с особой убедительностью раскрывается в развитии сюжета, в действии, в борьбе. Единственным драматическим конфликтом «Недоросля» является борьба прогрессивно настроенных передовых дворян Правдина и Стародума с крепостниками — Простаковыми и Скотиниными.

В комедии Фонвизин показывает пагубные следствия рабовладения, которые должны подтвердить зрителю моральную правоту Правдина, необходимость борьбы с Простаковыми и Скотиниными. Рабство превращает крестьян в холопов, убивая в них все человеческие черты, все достоинство личности. Фонвизин создал образ огромной художественной силы — рабы Еремеевны. Но рабство растлевает и самих помещиков,— делает второй вывод Фонвизин. Писатель сурово и беспощадно показывает, как русские помещики превращаются в Скотининых,

как, утрачивая честь, достоинство, человечность, становятся жестокими палачами окружающих их людей.

Второй темой «Недоросля» и явилась борьба дворянских просветителей с крепостнической политикой деспотического правительства Екатерины II после разгрома пугачевского восстания. В лице Правдина и Стародума Фонвизин впервые изобразил подлинно русских положительных героев, которые действовали, осуществляя свои идеалы на практике.

Правдин не только возмущается поведением Простаковой, но предпринимает реальные меры к ограничению власти помещицы и, как мы знаем по финалу пьесы, достигает этого. Правдин действует так потому, что убежден — его борьба с рабовладельцами, поддержанная наместником, у которого он служит, есть «исполнение тем самым человеколюбивых видов вышней власти», то есть Правдин глубоко верит в просвещенный характер екатерининского самодержавия. Фонвизин заставляет Стародума разъяснять не только Правдину, но и зрителям, что вера в Екатерину бессмысленна, что легенда о ее просвещенном правлении лжива, что именно Екатерина утвердила деспотический образ правления, что благодаря ее политике может процветать в России рабство, могут хозяйничать жестокие Скотинины и Простаковы, которые прямо ссылаются на царские указы о вольности дворянства. Так мысль, что в преступлениях Простаковых и Скотининых виновата Екатерина, положенная в основание «Недоросля», придавала комедии особую политическую остроту.

Фонвизин, обратившись к жанру комедии, использовал опыт европейской драматургии и, в частности, опыт изображения человека в «слезной комедии» Дидро. В «Недоросле», как и у Дидро, а позже и у Бомарше, в центре комедии — семья. Но Фонвизин уже не ограничивается бытовой характеристикой своих героев, не замыкается в семейных отношениях, умея за точно выписанным интерьером помещичьего дома увидеть экстерьер человеческой судьбы в обществе. Семейный конфликт уходит на периферию сценического действия, выполняя сатирико-комическую функцию. Его место занимает конфликт политический и социальный между Правдиным и Стародумом, с одной стороны, и Простаковой, Скотининым — с другой. В частном доме в миниатюре разыгрывалась та идейная борьба, которая проходила внутри дворянства между лучшими людьми господствующего сословия, стоявшими на просветительских позициях, и помещиками-рабовладельцами. Эти «лучшие люди» — не поэтическая фикция, они не абстрактные носители добродетелей, но реальность, объективный факт русской действительности. Стародум ненавидит деспотизм самодержавной власти Екатерины, он враг рабства. Осознание своих гражданских обязанностей перед отечеством, своей «должности», «неустрашимость» в ее исполнении — это и

есть, по Фонвизину, главные черты личности Стародума. Внеэгоистическая самореализация личности обусловила ее высокую духовность, общественный характер ее эмоций, ее мораль и гражданскую активность.

Все это делало «Недоросль» новаторским произведением. Гоголь, автор «Ревизора», внимательно изучавший предшествующую литературу и чутко улавливавший близкие ему традиции, увидел это близкое в том, что сделали до него авторы «Горя от ума» и «Недоросля». Одобрив изгнание Фонвизиным и Грибоедовым из своих комедий любовной интриги и семейной проблематики, он писал: «Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих» [1].

«Высшее содержание» и было тем новым, что внес Фонвизин в реалистическую комедию, изменив ее жанровую природу. И опять же Гоголь дал точное и лаконичное определение новаторского характера комедий Фонвизина и Грибоедова: «Их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов» [2].

В пору работы над «Недорослем» Фонвизин завершил свое первое оригинальное прозаическое сочинение в жанре просветительского путешествия. В 1778—1779 годах писатель ездил во Францию и свои впечатления об увиденном, свое художественное исследование политической и социальной жизни Франции, быта и нравов французского дворянства изложил в «Записках первого путешествия» (написанных в форме писем своему другу П. И. Панину). Плод точных и трезвых наблюдений — «Записки» впервые давали русскому читателю правдивую картину быта и нравов, политического и экономического положения страны, культуры и жизни французского общества накануне буржуазной революции. Фонвизин увидел Францию, изнывающую под тираническим режимом Людовика XVI, опутанную властью всесильных фаворитов, продажных воров-чиновников. Его письма из Франции — это страстное обвинение деспотического правления французского короля и развращенного паразитической жизнью дворянства. Белинский точно уловил это глубокое общественное содержание писем Фонвизина, вошедших в «Записки»: «Читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником» [3].

---

[1] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, М. 1952, стр. 400.
[2] Там же.
[3] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1955, стр. 119.

Художественному исследованию русской жизни посвящено «Повествование мнимого глухого и немого» — новый опыт Фонвизина в жанре просветительского путешествия. До нас дошли только первые главы, напечатанные в 1783 году,— большая часть «Повествования», запрещенная императрицей, до сих пор не разыскана. Поражает необычный и обширный замысел писателя — нарисовать перед читателем картины жизни провинциальной России, создать галерею образов русских помещиков, запечатлеть нравственный мир русских людей.

Творчество Фонвизина запечатлело беспрестанные поиски писателем новых форм, новых средств художественной выразительности, новых жанров. После опытов в жанре просветительского путешествия он на историческом материале пишет остро-политическую повесть-памфлет «Каллисфен», а затем приступает к подготовке особого типа журнала, своеобразного романа в письмах, с центральным героем Стародумом, по имени которого и называется это произведение — «Друг честных людей, или Стародум». Да, героем избран так полюбившийся публике центральный персонаж «Недоросля». Со страниц комедии Стародум выходит на арену общественной жизни, соглашается «помогать» Фонвизину в издании его журнала, отвечает на письма и в этих ответах излагает широкую программу деятельности русских писателей, высказывает свои нравственные убеждения, в которых запечатлелся кодекс правил честного человека и гражданина.

Последние годы Фонвизин работал над своими автобиографическими записками — «Чистосердечным признанием в делах моих и помышлениях». «Признание» написано вслед за гениальной книгой Руссо «Исповедь», с первой частью которой Фонвизин познакомился еще во время пребывания в Париже. В письме П. И. Панину он с удивительной проницательностью определил новаторство книги Руссо, открывшего сложность и противоречивость человеческого характера, сумевшего сказать беспощадную правду о себе, о своих думах, делах и чувствах.

Открытие великого французского писателя было усвоено и принято Фонвизиным. Оттого, определяя свое намерение, он писал: «Чистосердечно открою тайны сердца моего». Однако он не собирался подражать «Исповеди», «Чистосердечное признание» — это попытка по-своему решить жанр исповеди, с такою силою искусства утвержденный в литературе Руссо. Фонвизин не мог примириться с той некоторой односторонностью изображения человека, которая присуща «Исповеди». Он видел человека иначе — не только со стороны сердца, но и со стороны его связей с миром всеобщего. Фонвизинский идеал человека-деятеля, выработанный русским Просвещением, требовал и иных форм выражения его душевного богатства.

В 1780-е годы работал над своими произведениями и писатель-революционер Радищев. Только три прозаических сочинения Радищева попали в руки читателя и стали событием литературной жизни, укрепив позиции просветительского реализма. Это очерк, посвященный открытию памятника Петру I работы Фальконета — «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» — первое произведение в русской литературе, посвященное «медному всаднику». Автобиографическая повесть «Житие Ф. В. Ушакова», посвященная рано умершему другу Радищева, с которым он учился в Лейпцигском университете. И главная книга писателя — «Путешествие из Петербурга в Москву»,— напечатанная им в своей домашней типографии.

Произведения эти, разные по темам и жанрам, объединены общим пафосом писателя-революционера. Этим пафосом была идея протеста. Действительность, по Радищеву, при всей бесчеловечной социальной системе угнетения и порабощения человека, исполнена поэзии. В человеке сосредоточена наивысшая поэзия жизни. И прежде всего,— в человеке свободном. Радищев стремится открыть поэтического человека, а таким для писателя-революционера был человек протестующий. Создание образа человека, который в борьбе и протесте осуществляет себя как личность, и было художественным открытием Радищева-реалиста.

«Путешествие из Петербурга в Москву» — книга, посвященная проблемам будущей русской революции. Именно поэтому ее героем стал народ — движущая сила этой революции — и передовой дворянин, порывающий со своим классом, получающий благословение от крепостных крестьян и становящийся в ряды «проницателей вольностей». Единым сюжетом «Путешествия» является история человека, познавшего свои политические заблуждения, открывающего правду жизни, новые идеалы и «правила», ради которых стоило жить и бороться, история идейного и морального обновления путешественника.

В этом обновлении огромную роль играют встречи с народом. Так в книгу вторгается народ, русский крепостной крестьянин, постепенно занимая центральное место в повествовании. Народ нарисован в «Путешествии» так, как он еще никогда не изображался ни в русской, ни в мировой литературе. Крепостничеству и самодержавию Радищев дает политическую оценку. Он стремится открыть путь изменения существующего несправедливого социального и политического строя. Путь этот — революция, творимая самим закрепощенным народом. Радищев доказывал, что свободы можно ждать только от «самой тяжести порабощения». Эта убежденность и определяла новую природу радищевской эстетики, новый характер образов людей из народа. Потому, создавая образ русского бурлака, Радищев может утверждать, что именно он,

бурлак, русский крестьянин, «многое может решить доселе гадательное в истории российской».

Образ бурлака открывает галерею крестьян радищевского «Путешествия». В главе «Любань» описывается встреча с пашущим крестьянином. Несмотря на бедность, крестьянин из Любани полон достоинства. Он не плачется на свою судьбу, а судит жестокого барина. В нем нет ни капли смирения и униженности. Еще более характерна встреча путешественника с крепостной девушкой Анютой из деревни Едрово. Несмотря на бедность, на сиротство, на рабское положение, Анюта независима, горда, исполнена нравственной красоты и силы, источником же этой силы, основой ее жизненного поведения является труд. В деревне Городне путешественник встречает рекрута-крепостного, волею «человеколюбивого помещика» получившего образование. Дремавшие в этом человеке силы, таланты и способности были разбужены воспитанием, самосознание выросло. Проснувшееся в нем человеческое достоинство делает его активным, смелым. Он грозно предупреждает своего мучителя, нового помещика: «...не доводи до отчаяния души... страшись!» Рядом с образом крепостного интеллигента Радищев создает образ Ломоносова, сына холмогорского рыбака. Великий деятель русской национальной культуры — неопровержимое свидетельство талантливости русского трудового народа, его огромных потенциальных сил, его способности к созидательному государственному творчеству.

Когда Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву», перед его глазами стоял опыт пугачевского восстания, в ходе которого простой казак Пугачев стал вождем народа, крепостной Хлопуша — великолепным организатором восстания, рабочий Белобородов — начальником артиллерии. История подтверждала важный философский вывод Радищева, что «обстоятельства делают великого мужа». Наиболее благоприятствующими обстоятельствами являются восстания и революции. Вот почему в русских крепостных крестьянах, людях, отягощенных рабством, сведенных на положение «тяглового скота», Радищев сумел увидеть ту дремлющую до случая силу, которая сделает каждого из них «истинным сыном отечества», патриотом, деятелем революции. Сила, обаяние и нравственная красота русских крепостных радищевского «Путешествия» в том и состоит, что мы чувствуем в каждом из них будущего деятеля, освободителя России.

Эта особенность радищевского подхода к крестьянам проявилась и в изображении народной массы. Крестьяне даны в действии, в борьбе за свои права. Впервые мы сталкиваемся с действующим народом в главе «Зайцово», где крепостные, «доведенные до отчаяния» своим мучителем, обрушили на него свое мщение. В главе «Хотилов» прямо говорится о пугачевском восстании, в котором участвовали десятки тысяч крестьян, одушевленных желанием «освободиться от ига своих

властителей». В оде «Вольность», частично включенной в «Путешествие», Радищев рисует картины английской, а также происходившей в его время американской и будущей (через сто лет, как пророчески писал поэт) русской революций. Радищев показывает, как революции преображали народы, делая из рядовых участников битвы за свободу «великих мужей», пламенных мстителей, духовно богатых людей. На долю Радищева выпала историческая задача — осмыслить опыт русского народа в его неустанной многовековой борьбе за свою свободу. Это и было исполнено в его мятежной книге — «Путешествие из Петербурга в Москву».

Жанр «путешествий» получил в XVIII веке широкое распространение. Этим он обязан английскому писателю Л. Стерну; его «Сентиментальное путешествие», став манифестом нового направления — сентиментализма,— породило традицию: сентиментальные путешествия появились во многих национальных литературах. Первое «путешествие» в русской литературе было написано Новиковым в 1772 году — «Отрывок путешествия в ***». Неизвестно, знал ли Новиков произведение Стерна, но он внес принципиальные изменения в этот жанр, определив совершенно новую традицию — просветительского путешествия. Она была продолжена Фонвизиным («Записки первого путешествия», «Повествование мнимого глухого и немого»), Радищевым («Путешествие из Петербурга в Москву»), и в начале XIX века — С. Ферельцтом («Путешествие критики») и Ф. Глинкой («Письма русского офицера»).

Суть перестройки сводилась к освобождению жанра от навязанной и несвойственной ему функции быть интимным дневником, в котором бы регистрировались переживания, чувства и эмоции автономной личности, оторванной от действительности.

Русские писатели-просветители поняли, что «путешествие» в его реальном смысле и значении открывает перед человеком возможность вырваться из сферы семейных отношений и выйти на широкую дорогу жизни, помогает установлению естественных связей с миром всеобщего. Реалистическая структура позволяла им раскрыть внутреннее единство между формой «путешествия» и его содержанием, которое вытекало из замысла: показать воспитание человека жизнью.

С наибольшей полнотой художественная особенность просветительского путешествия получила выражение в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву». Книга эта — не исповедь Радищева, а особый тип воспитательного романа, раскрывший духовную драму одного из тех, кто принадлежал к лучшим людям из дворянства.

Первой и важной особенностью «Путешествия» Радищева является создание объективного образа героя-путешественника, реального характера дворянина, разрывающего идейные и социальные связи со своим классом и переходящего в лагерь просветителей, обретающего веру в

революционный путь преобразования России. Второй признак реалистического «путешествия» — сюжетность. Радищевская книга, в отличие от «Сентиментального путешествия» Стерна, имеет единый сюжет. Третья важная особенность преобразованного жанра — раскрытие роли обстоятельств, среды в формировании сознания, нравственности, характера человека.

В образе путешественника полнее всего выражен радищевский идеал человека. Писатель вводит героя в гущу жизни, но он свободен от эгоистических интересов и поисков житейского благополучия. Да и сама эта жизнь предстает не в бытовой пошлости, но раскрывается в своей сути — в социальных, общественных и политических противоречиях. Путешественник Радищева — общественный человек, ему чужд эгоизм. Его нравственный кодекс сформулирован с поразительной четкостью: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Способность уязвляться страданиями других и определила всю духовную жизнь личности. Личность не просто стала жить интенсивной нравственной жизнью — изменилось качество жизненных идеалов, характер ее эмоций — они приобрели социально-общественный характер.

Герой Радищева живет не сердцем, а умом. В этом сказался просветительский рационализм. Оттого духовная эволюция путешественника раскрыта не психологически (как это позже сделает Грибоедов при обрисовке образа Чацкого), а логически. Отсюда — некоторая его схематичность, строго обозначенная последовательность духовных испытаний, встречающихся во время путешествия. Его путь — от заблуждений к истине — прочерчен с такой же ясностью, как и тракт от Петербурга до Москвы, по которому он едет.

Разум является поводырем в поисках истины. Идейные искания определяют эволюцию путешественника, его духовное обновление. Место действия героя — большая дорога, которая ведет его в гущу народной жизни, навстречу обездоленным и бесправным крестьянам. Его связь с этим миром — сочувствие страданиям масс, протест против рабства.

7

Конец 1780-х годов ознаменовался небывалой активностью русских просветителей. Но их творческая работа проходила в условиях начавшегося террора полицейского государства Екатерины II и завершилась трагически. Именно в это время на общественную арену вышел новый деятель, талантливый молодой писатель-просветитель — Иван Крылов, во многом обязанный своим старшим предшественникам. В 1789 году, продолжая традицию сатирических журналов Новикова, он издает са-

тирический журнал «Почта духов». Собственно, это не столько журнал, сколько единая по идейной направленности, по композиции и жанру книга, написанная одним человеком, разделенная на части, которые выходили раз в месяц. Книга состояла из писем-отчетов различных духов волшебнику и «арабскому» философу Маликульмульку. В отчетах раскрывалась остроумно и резко сатирически написанная картина жизни русского государства и его столицы. Двадцатилетний писатель в год французской революции беспощадно обличает вельмож и придворных аристократов, судей и чиновников за их беззакония и взяточничество нападает на царскую власть и столичное дворянство, смело обнажая развращенные нравы благородного сословия. Молодой писатель проявил не только незаурядное мужество, но и блистательный талант сатирика: он создал мастерские портреты обличаемых и живые сцены правов, выработал свой индивидуальный стиль, характеризуемый убийственной иронией и сарказмом, остроумной, лаконично точной фразой.

В 1792 году, объединившись со своими друзьями-единомышленниками, Крылов издает новый журнал «Зритель». Два произведения, напечатанные в журнале, самые радикальные по содержанию и блестящие по форме, принадлежали Крылову. Это — восточная повесть «Каиб» и «Похвальная речь в память моему дедушке»; в первой обличалось самодержавие, в «Похвальной речи» — крепостное право.

«Каиб» написан в традиции европейско-просветительской философской повести. Своеобразие повести — в ее острополитическом и сатирическом содержании. Крылов — сторонник просветительской концепции просвещенного абсолютизма. Оттого он в конце повести показывает прозрение Каиба, который во время тайного путешествия по стране узнает всю горькую правду о своем деспотическом правлении. Но пафосом повести было не прославление просвещенного монарха, а гневный показ жестокого и бесчеловечного правления Каиба. Восточный колорит помогал обмануть цензуру и под видом царства Каиба изобразить порядки Российской империи. Повесть превратилась в яркий и смелый памфлет на русское самодержавие, на Екатерину и ее двор.

«Похвальная речь...» так же, как и повесть «Каиб», памфлетна. Но по форме — это пародия на жанр официальных (чаще всего церковных) поминальных речей. Избрание формы пародии не было случайностью: Крылов в данном случае следовал характерно-русской традиции — книжной и фольклорной. Новиков в «Трутне» и «Живописце» пародировал с сатирической целью газетные жанры. Фонвизин в журнале «Собеседник любителей российского слова» напечатал пародию на церковные поучения — яркую сатиру на сельских попов — «Поучение, говоренное в духов день», а в свой журнал «Друг честных людей, или Стародум» включил блистательную сатиру на Екатерину II и ее двор — «Придворную грамматику», пародию на школьные грамматики. В демо-

кратических кругах городов и в солдатской массе ходили списки многочисленных «Челобитных в небесную канцелярию». Безымянные авторы «Челобитных» гневно протестовали против угнетения и беззакония начальства, скорбно перечисляли те тяготы и издевательства, которым подвергался народ. По форме эти «Челобитные» были пародиями на официальные прошения.

Крылов, используя прием пародии, создает колоритный портрет «дедушки» — невежественного помещика-деспота, всесильного повелителя отданных ему в рабство крестьян, глупого и тупого барина, проводящего свою жизнь в пьянстве и азартной псовой охоте. Памфлетность и пародийность не помешали Крылову в «Похвальной речи...» создать правдивый образ типично русского помещика и тем самым осудить крепостничество, порождением которого и был «дедушка».

От года к году рос и совершенствовался талант Крылова-прозаика. Успехи молодого писателя были многообещающими. Но его деятельность была также насильственно прекращена — в 1792 году он подвергся гонениям, а в следующем, 1793 году вынужден был прекратить литературную работу и покинуть столицу.

В 1790-е годы замолкли голоса просветителей. В литературе стало утверждаться новое направление — сентиментализм, вождем которого в России выступил молодой талантливый писатель Николай Карамзин.

Сентиментализм — передовое, вдохновленное просветительской идеологией, искусство — утверждался и побеждал в Англии, Франции и Германии. Формирование этого направления, проходившее одновременно с зарождением реализма, сопровождалось борьбой с классицизмом, в спорах и полемике рождалась эстетическая теория, враждебная нормативной поэтике, создавались произведения, по-новому изображавшие жизнь и человека. Опираясь на просветительскую философию, сентиментализм, как и реализм, провозглашал внесословную ценность человека, воспитывал чувство достоинства и уважения к своим силам, способностям и талантам, к своему чувству. Именно потому он способствовал известной демократизации литературы.

Но между этими двумя направлениями были и существенные отличия, определявшиеся разными методами изображения человека. Реализм, раскрывая личность, связывал ее с окружающим миром, показывал зависимость и обусловленность ее характера и нравственного кодекса обстоятельствами бытия. Сентиментализм, превознося человека, погружал читателя в мир нравственной жизни своего героя, изолировал человека от жизни, обстоятельств, быта. Этот герой противопоставляет имущественному богатству и благородству происхождения богатство чувства, нравственной жизни, но он лишен боевого духа. Он — не протестант, а беглец из реального мира, в жестокой феодальной действительности он оказывался жертвой. Зато у себя дома, у очага, в своем

уединении, в своих страстях и переживаниях он велик, ибо, как утверждал апостол европейского сентиментализма Руссо,— «человек велик своим чувством». Потому сентиментальный герой не просто нравственно свободный человек и духовно богатая личность, но это еще частный человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении, стремящийся в любви, семейных радостях обрести счастье, умеющий, в случае его крушения, в самом страдании обрести радость наслаждения своим неповторимым «я».

Подобные черты европейского сентиментализма вызвали интерес у той части русского дворянства, которая, находясь в оппозиции к екатерининскому самодержавству с его жестокой политикой рабовладения, никогда не вступала в борьбу с ним. Развивая слабые стороны нового направления, затушевывая его антифеодальную направленность, принимая лишь идею личности, умеющей в уединении, вдали от общественного и социального зла находить счастье не только в дружбе и любви, но и в «мучительной радости», группа писателей в эпоху реакции, наступившей после подавления восстания Пугачева, объявила себя последователями модного в Европе направления. В 1790-е годы сентиментализм стал господствующим направлением. Наиболее одаренный писатель из этой группы — Карамзин — стал его идейным вдохновителем.

Философия и литература французского и немецкого Просвещения определила эстетические убеждения юного Карамзина. Просветители разбудили у писателя интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности, чье нравственное достоинство не зависит от имущественного положения и сословной принадлежности. Идея личности стала центральной в творчестве Карамзина. Но как истый дворянский идеолог, Карамзин не принял идеи социального равенства людей — центральной в просветительской идеологии. С юношеских лет и до конца жизни он остался верен убеждению, что неравенство законно и необходимо, что в реальных условиях России того времени оно даже благодетельно. Но под влиянием политических и социальных обстоятельств крепостной России Карамзин делает уступки просветительству и признает моральное равенство людей, постоянно утверждая в своих произведениях, что «мы живем в печальном мире», где господствует зло и насилие, где нет счастья человеку.

Зрелый этап творчества Карамзина начинается с 1791 года, когда, после возвращения из заграничного путешествия, он поселяется в Москве и приступает к изданию «Московского журнала». Журнал стал идейно-эстетическим центром русского сентиментализма, вокруг которого молодой литератор объединил всех своих единомышленников. Главное место в «Московском журнале» занимали сочинения самого Карамзина. Его проза (повести и «Письма русского путешественника»,

которые печатались в 1791—1792 годах) стала центральным событием литературной жизни последнего десятилетия века.

«Письма» — художественная обработка путевых впечатлений писателя, дневниковый рассказ о виденном и пережитом во время путешествия по Германии, Швейцарии, Франции и Англии. «Письма» примыкали к сложившемуся в Западной Европе новому жанру сентиментальной литературы и во многом продолжали опыты Стерна.

Особенно полюбились читателю повести Карамзина. В «Московском журнале» были напечатаны «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Деревня», «Фрол Силин, благодетельный человек». Повести Карамзина явились новым словом в литературе: в них говорилось о русской жизни, о современности (за исключением «Натальи, боярской дочери», построенной на условном историческом материале), о нравственной жизни простых людей — крестьян Лизы и Фрола. Но главное, в повестях впервые не пересказывались античные или восточные сюжеты, повесть, как жанр, перестала быть сатирической или авантюрной. Карамзин создал новый тип повести, в которой, по словам Белинского, «как в зеркале верно отражается *жизнь сердца,* как ее понимали, как она существовала для людей того времени» [1].

«Чувствительность» — так на языке XVIII века определяли главное достоинство и особенность повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, обнаруживал в «изгибах сердца» «нежнейшие чувствия», погружал читателя в напряженную эмоциональную атмосферу «нежных страстей». «Чувствительным», «нежным» и называли Карамзина.

Трагизм жизни человека — вот что прежде всего обнаружит современный читатель в повестях Карамзина, вот что привлечет его внимание.

Повести «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм» посвящены традиционной любовной теме, истории чувства двух любящих существ. Но при решении этой темы Карамзин разрушил каноны любовной повести. Его герои ищут счастья в любви, но, странное дело, чувства их лишены камерности, они живут даже не в привычных домашних условиях, а в большом и жестоком мире, оказавшись втянутыми в какой-то непостижимый для них конфликт с действительностью. Бесчеловечный, фатальный закон этой действительности лишает их счастья, делает жертвами, обрекает на гибель или постоянные страдания. Герои Карамзина словно люди, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные на суровый и дикий берег, одинокие на безлюдной земле.

Конфликт «Бедной Лизы» порожден действительностью, ее противоречиями. До Карамзина он использовался в любовной песне, которая широко была распространена в 1780-е годы. Сюжетно «Бедная Лиза»

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1955, стр. 133.

оказывалась близкой этой песне: дворянин Эраст и крестьянка Лиза любят друг друга. Вывод Карамзина — «и крестьянки любить умеют» — был обобщением этического кодекса песни. Но оптимизм песни был ему чужд — любовь не принесла счастья Лизе. Эраст бросил ее. Показывая гибель Лизы, писатель отказывается от исследования причин ее несчастья, стремится уйти от вопроса — кто виноват? Страданье есть — виновных нет,— констатирует он, стремясь все объяснить фатальным законом господствующего в мире зла.

С еще большей обнаженностью этот фатальный закон, обрекающий человека на страдание и гибель, раскрыт в повести «Остров Борнгольм». Она написана в стиле раннего романтизма — отсюда таинственность места действия: заброшенный в море остров с экзотическим названием, средневековый замок, подземелье, где томится за неизвестную вину молодая женщина, непоследовательность в развитии сюжета, намеки повествователя как стилистический принцип рассказа.

Второй герой повести — несчастный юноша, насильственно разлученный со своей возлюбленной, поет печальную песню, в которой рассказывает историю своей трагической любви к Лиле. Он пытается отстоять свое право на счастье, ссылаясь на природу: «Природа! ты хотела, чтоб Лилу я любил!» Но «законы», люди осуждают их страсть, объявляют ее преступной. Что же это за «власть», которая «сильнее» любви? Какие «законы» могущественнее велений природы? Кто создает и управляет этими законами? Карамзин не отвечает на эти вопросы, отказывается дать оценку этим «законам» — он лишь констатирует их неумолимое действие.

Карамзин испытывал страх перед социальными противоречиями России, перед действительностью, в которой торжествовала грубая сила, отнимавшая у человека право на счастье. Но он не был борцом, он осуждал революции. Любя человечество, писатель в своих первых повестях, пронизанных духом фатализма, в конечном счете оправдывал насилие, проповедуя смирение, поэтизируя превращение человека в жертву. Попытка уйти от противоречий русской общественной и государственной жизни в мир нравственный не принесла ему спасительного выхода.

Перелом в убеждениях Карамзина произошел к началу нового, XIX столетия. Преодоление кризиса 1790-х годов привело к отказу от субъективистской эстетики, оправдывавшей его пассивность, к формированию новых убеждений. Теперь Карамзин заявляет, что художник, писатель должен быть «органом патриотизма». Он отвергает культ уединения, когда-то им страстно отстаиваемый, полагая, что человек должен утверждать себя в жизни не в нравственной сфере, но в исполнении и своего общественного, и патриотического долга перед отечеством. Правда, Карамзин и в эти годы не видит возможностей преодоления проти-

воречий современной жизни. Оттого он обращается к истории России, пытаясь отстоять свои этические идеалы на материале прошлого. Писатель стал изображать «героические характеры», которыми так богата история России.

Следуя новой программе, Карамзин с 1804 года целиком отдастся сбору материалов для написания своего капитального труда — «Истории Государства Российского». «Истории» предшествовала повесть «Марфа Посадница», и связанная в чем-то с прежними взглядами писателя, и отражавшая новые стороны его таланта, его новой философии истории. В центре повести — конфликт между Новгородом, отстаивающим свою свободу, и самодержавием, противником этой свободы, конфликт, мужественно обнаженный писателем.

Потому важное место в повести занял идейный поединок посланника Иоанна боярина Холмского и посадницы Марфы, происходящий публично, на новгородском вече. Речи обоих противников выписаны с замечательным мастерством. И трагизм поединка в том, что каждый оказывается у Карамзина *правым,* у каждого своя *правда,* которая подтверждается историей. Прав Холмский, требуя от новгородцев отказаться от своей независимости и подчиниться Иоанну во имя России. Права и Марфа, отстаивающая святыню Новгорода — его свободу, его республиканский строй, поскольку именно свобода Новгорода была источником счастья и благоденствия народного.

На примере истории Карамзин вновь хочет убедить читателя, что человек не властен над обстоятельствами своей политической жизни, не может жить по тем «древним уставам», которые несут ему благо, что он оказывается слепым орудием некоей необходимости, которая повелевает одним мужественно отстаивать свою свободу и погибать в неравной борьбе с самодержавной властью, а другим — смело сокрушать свободу Новгорода и, выполняя долг, распространять рабство на жителей вольного города. Убеждая читателя в действии этого закона, Карамзин не славит грубую силу самодержавия, но скорбит о судьбе побежденных. Новгородцы правы, когда защищали свои «древние уставы», и виноваты, когда ослушались воли русского монарха.

Политические и философско-исторические взгляды Карамзина обуславливали все его творчество. Но повести не были их прямой иллюстрацией. Художественное исследование действительности оказалось более глубоким и емким, характеры, созданные писателем, несли по сравнению с логической схемой более содержательную информацию об условиях жизни человека в России. Повести потому и запечатлели трагизм русской жизни, любовь писателя к человеку. Карамзин-художник не мог не видеть реальные, земные контуры того «закона», который губил его героев. Как ни убегал он от реальной жизни с ее противоречиями, она вторгалась в его произведения, например в повесть

«Бедная Лиза». Пусть без акцента, пусть в намеках, но драма Лизы оказалась обусловленной действием закона социального неравенства.

Обращаясь к истории, Карамзин с интересом исследовал героическую жизнь известных деятелей, стремясь понять и разгадать тайну русского национального характера. Оттого пафосом повести «Марфа Посадница» оказался показ активных, деятельных людей — борцов за свободу, за свои идеалы. Идея смирения и покорности не получила подтверждения на материале истории. Дух мятежности ворвался в повесть. Устами Марфы провозглашен новый идеал человека, человека активного, сознающего, что его судьба, его будущее зависит во многом и от него самого, от его поведения, от его борьбы с «обидчиками». «Судьба людей и народов есть тайна провидения, но дела зависят от нас единственно». «Человек волен только в своих делах и чувствах». Главной победой художника стал образ Марфы, которая изображена героической россиянкой, «вышедшей из домашней неизвестности на театр народной жизни» — театр отважной борьбы за новгородскую республику и свободу народа.

8

Современный читатель, знакомясь с русской прозой XVIII века, обратит внимание на ее жанровое своеобразие. Вместо привычных и традиционных форм романа, повести, рассказа и очерка он встретит «путешествие», «письмо», «восточную» или философско-политическую повесть, особого типа комедию. И это в ту пору, когда в литературе Западной Европы бурно развивался роман — и уже не авантюрный, но семейный, любовный,— роман карьеры, роман-исповедь, с одной стороны, и семейная, «мещанская драма» и «слезная комедия» — с другой.

Русские писатели отлично знали романы Дефо и Ричардсона, Фильдинга и Стерна, Руссо и Гете, семейную драму Дидро, Бомарше и Мерсье, знали, высоко ценили, но шли своим путем. Объяснялось это различием социальных условий России и Западной Европы.

В XVIII веке буржуазные отношения, вызревавшие в недрах феодализма, в некоторых странах, и прежде всего в Англии и Франции, достигли высокого уровня. С самого своего появления на исторической сцене буржуазия порождала в обществе «...всеобщую борьбу человека против человека» [1]. Именно поэтому буржуазия как основу своей морали выдвигала эгоизм, который, по словам Маркса, есть в буржуазном обществе «необходимая форма самоутверждения индивидов» [2].

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 129.
[2] Там же, т. 3, стр. 236.

Западноевропейский реализм (а в известной мере и сентиментализм) показал, что эгоистический путь самоутверждения личности, живущей в буржуазном обществе, был определяющим. Он был обнаружен литературой в реальной практике человека, вынужденного жить в условиях жестокой борьбы за существование в капиталистическом мире, основанном на частной собственности и власти чистогана. Тем самым человеку была навязана необходимость постоянно сражаться за свое благополучие. Одинокий, он оказывался противопоставленным всему страшному и враждебному ему миру. Война становилась главной формой связи людей. В войне побеждали сильные. Отсюда — романы карьеры и приключений, в которых раскрывалась судьба личности, умеющей постоять за себя, добиться успеха и прежде всего богатства — условия ее независимости и счастья.

Героем оказывался и человек третьего сословия, уже добившийся известного достатка, известного уровня денежной обеспеченности. Тогда он отъединялся от общества, замыкался в своем очаге, в своей семье. Так появились семейные и любовные романы (чаще всего они писались сентименталистами), семейная, мещанская драма и «слезная комедия». Сосредоточенность на всем своем — очаге, семье, любви, переживаниях — превращала такого героя, общественного человека по своему положению, в частного человека, равнодушного к судьбам других людей, к их жизни, к социальным и политическим обстоятельствам родины.

Иными были условия социальной и политической жизни в России. Буржуазия не занимала господствующего положения и практически никакого влияния на общественную жизнь не оказывала. Главным противоречием самодержавно-крепостнического государства было противоречие между закрепощенными крестьянами и помещиками. Назревшая антифеодальная борьба привела к расколу дворянства, и на историческую арену вышли лучшие люди из дворянства, став в ряды просветителей. Различие идеалов жизни формировало отличные друг от друга нравственные кодексы этих групп дворянства. Крепостник, в силу данного ему права владеть себе подобными людьми, «утверждал» себя как помещика, паразитизм существования обуславливал все его представления о жизни и морали. Просветитель осуждал крепостное право, считал его безнравственным, боролся с рабством, утверждая свою личность именно в борьбе за счастье и свободу других людей.

Писатели-просветители выставили на позор русского помещика. Но они сумели открыть в той же действительности и здоровые силы нации, не зараженные эгоизмом и отвергающие паразитизм. Их вдохновил тот идеал человека, который складывался в ходе исторической жизни русского народа. Им был деятель, сделавший бесконечно много для своего отечества. Обобщение жизни многих реальных исторических

деятелей России позволило просветителям XVIII века выработать меру оценки человека, которая была унаследована реалистами XIX века. Н. Чернышевский так определил ее: «...историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма» [1].

Подобная, антибуржуазная в своей сущности, философия человека, иная мера оценки человека и его достоинства, закономерно приводила к пониманию, что единственным путем самореализации личности в условиях самодержавно-крепостнического государства является гражданское, общественное, патриотическое служение родине, борьба с социальным злом и политической несвободой,— то есть путь внеэгоистический. Это и обуславливало поиски просветителями новых сюжетов, новых жанров, их стремление к внутренней перестройке старых.

Литературная деятельность Новикова, Фонвизина, Радищева, Крылова и Карамзина знаменовала важные качественные перемены в новой русской литературе — произошло образование прозы. При всем своеобразии их прозаических жанров именно они закладывали фундамент, на котором усилиями гениальных писателей XIX столетия будет воздвигнуто величественное здание русской литературы.

Они начали традицию изображения народа. Ими выработан и художественно воплощен идеал человека-деятеля. Они первыми выдвинули задачу раскрытия «тайны национальности» и сделали попытки изображения национального характера. Писатели-просветители гневно осудили крепостное право, подчинив литературу борьбе за свободу закрепощенного народа. Ими запечатлен образ русского помещика, показано, как паразитизм жизни крепостников неумолимо вел их по пути нравственной гибели, к утрате всего человеческого. Новиков, Фонвизин и Радищев увидели начало этого процесса. Грибоедов, Пушкин и Гоголь, а потом и другие великие реалисты XIX века продолжили эту традицию, углубили ее, создав потрясающую галерею «мертвых душ».

Просветители-прозаики выступили зачинателями русского реализма. Их опыт, их достижения в построении характеров, их открытия в художественном исследовании действительности оказались нужными реалистам первой трети XIX века. Были продолжены и их жанровые поиски, преобразование структуры традиционных жанров. «Общественная комедия», созданная Фонвизиным, получила замечательное продолжение в творчестве Грибоедова и Гоголя. Превращение «путешествия» в своеобразный воспитательный роман, в котором осуществлялось воспитание человека жизнью, оценили и восприняли по-своему Пушкин и Гоголь. В «Евгении Онегине» не случайно появилась глава «Путеше-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 137.

ствие Онегина». Сюжет «Мертвых душ» развивается с учетом опыта жанра «путешествия».

Самобытный характер романа «Мертвые души» очевиден. Но между ним и «Путешествием из Петербурга в Москву» — исторически преемственная связь. Радищев нащупывал, искал, смело пробивался навстречу будущему. Гоголь написал гениальное произведение, опираясь уже на опыт всей предшествующей литературы. В его книге путешествует не только Чичиков, но, незримо для Павла Ивановича и всегда ощутимо и осязаемо для читателя, едет по Руси сам Гоголь. Это он встречает людей разных сословий, он познает жизнь «под углом ее запутанности», раскрывая читателю Россию помещичью, Россию чиновную, Россию народную.

Важнейшей чертой национального своеобразия русской литературы является ее связь с освободительным движением. И эта традиция сложилась в литературе XVIII века, в прозе просветителей прежде всего. Оттого с таким вниманием относились великие писатели к творчеству и деятельности своих предшественников. Для Пушкина Фонвизин — «друг свободы». О себе с гордостью говорил, что «вослед Радищеву» восславил он свободу.

Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» писал: «Обе струи — струя Радищева и струя Новикова — оживали с удвоенной силой и сливались в одну потребность положить начало гражданской свободы в России» [1]. Герцен, признавая свое духовное родство с Радищевым, утверждал, что идеалы Радищева — автора «Путешествия из Петербурга в Москву» — это его идеалы, идеалы декабристов. И далее свидетельствовал: «И что бы он (Радищев.— *Г. М.*) ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце» [2].

Г. МАКОГОНЕНКО

---

[1] Н. П. Огарев, Избранные произведения, т. 2, М. 1956, стр. 464.
[2] А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. XIII, М. 1958, стр. 273.

ЧАСТЬ I

Его Высокопревосходительству действительному камергеру и разных орденов кавалеру Премногомилосердому моему государю [1]

Ваше Высокопревосходительство
Милостивый Государь!

Все, что ни есть на свете, составлено из тлена, следовательно, и приписуемая вам сия мною книга сделана из тлена. Все на свете коловратно; и так книга сия теперь есть, несколько времени побудет, наконец истлеет, пропадет и выдет у всех из памяти. Человек родится на свет обозрети славу, честь и богатство, вкусить радость и утеху, пройти беды, печали и грусти; подобно и книга сия произошла на свет с тем, чтобы снести ей некоторую тень похвалы, переговоры, критику, негодование и поношение. Все сие с нею сбудется, и наконец превратится в прах, как и тот человек, который ее хвалил или порочил.

[1] Здесь имени его не будет по причине той, чтоб не ошибиться. Книги приписываются людям, смотря по содержанию их и по сложению тех людей, кому они приносятся. Я же видал весьма много таких книг, которые приносилися знатным господам, но вместо того чтобы добродетели их увеличить, послужили они им сатирою. Так как бы кто, желая похвалить своего мецената, но не зная в похвалах толку и умеренности, весьма нелепо его выругал. И так, опасаяся сего и сверх того не зная доброты сочиненной мною книги, никому именно ее не приписываю. Титул же высокопревосходительства украшает человека, того ради и я поставил его для украшения моей книги, однако не высокопревосходительством желая ее украсить, но теми только буквами, из которых слово сие набрано и напечатано; а следующее письмо приношу всякому высокопревосходительному и высокодобродетельному господину генералу, камергеру и кавалеру, которого изрядные качества, снисхождения и милости выхвалять от искреннего моего сердца неусыпно желаю.

Под видом и под названием книги желание мое препоручить самого себя под покровительство вашего высокопревосходительства: желание общее всех людей, которые не имеют у себя царских портретов. Производятся люди достойные, следовательно, разум, добродетели и снисхождения ваши возвели вас на сию высокую степень. Вам сродно оказывать милости неимущим, а я удобен заслуживать оные со всяким усердием. Кто же вы таков, о том узнает общество тогда, когда будет иметь счастие пользоваться вашими благодеяниями.

Вашего высокопревосходительства
милостивого государя
нижайший слуга

Сочинитель сея книжки.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Ни звери, ни скоты наук не разумеют,
Ни рыбы, ни гады читати не умеют.
Не спорят о стихах между собою мухи
И все летающие духи.
Ни прозой, ни стихом они не говорят,
Так стало, что они и в книгу не глядят.
По сей причине зримой
Читатель мой любимой,
Конечно, будет человек,
Который весь свой век
В науках и делах трудится
И выше облака понятием мостится.
И будто бы того он в мыслях не имел,
Что разуму его и воле есть предел.
Всех тварей оставляю,
К тебе, о человек! я речь мою склоняю,
Ты чтец,
Делец,
Писец.
И словом вымолвить ты много разумеешь,
Вверх дном ты книги взять, конечно, не умеешь,
А станешь с головы рассматривать ее,
И будешь видеть в ней искусство все мое,
Погрешности мои все в оной находи,
Но только ты, мой друг, не строго их суди,
Ошибки сродны нам, а слабости приличны,
Погрешности творить все смертные обычны.
С начала века мы хотя в науках бродим,
Однако мудреца такого не находим,
Который бы в весь век ошибки не имел,
Хотя бы он к тому и танцевать умел,
А я не поучен ни в дудку, ни плясать,
Так, следовательно, могу и промах дать.

Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромною; но как сей порок по большей части женщинам сроден, то, не желая против природы величаться скромною, пускаюся в него с охотою. Увидит свет, увидев, разберет; а разобрав и взвеся мои дела, пускай наименует меня, какою он изволит.

Известно всем, что получили мы победу под Полтавою, на котором сражении убит несчастный муж мой. Он был не дворянин, не имел за собою деревень, следовательно, осталася я без всякого пропитания, носила на себе титул сержантской жены, однако была бедна. От роду мне было тогда девятнадцать лет, и для того бедность моя казалась мне еще несноснее; ибо не знала я обхождения людского, и не могла приискать себе места, и так сделалася вольною по причине той, что нас ни в какие должности не определяют.

В самое это время наследила я сию пословицу: «Шей-де, вдова, широки рукава, было бы куда класть небыльныя слова». Весь свет на меня опрокинулся и столько в новой моей жизни меня возненавидел, что я не знала, куда приклонить мне голову.

Все обо мне переговаривали, винили и порочили меня тем, чего я совсем не знала. Таким образом, ударилася было я в слезы; но честная старушка, которая известна была всему городу Киеву, ибо в оном я тогда находилась, взяла меня под свое покровительство, и столько сожалела о моем несчастии, что на другой день поутру сыскала молодого и статного человека для моего увеселения. Сперва показалася было я упорною, но через два дня охотно предприяла следовать ее советам и позабыла совсем свою печаль, которую чувствовала я невступно две недели по кончине моего супруга. Сей человек был больше молод, нежели хорош, а я пригожа довольно, а на «красненький цветочек и пчелка летит». Он был дворецкий некоторого господина и тратил деньги без остановки потому, что они были прямо господские, а не его собственные. Таким образом, были они доказательством любви его ко мне и служили вечным залогом. В скором времени почти весь гостиный двор узнали, что я великая охотница покупать нужные вещи и безделицы, и поминутно почти прирастали в нашем доме пожитки и прибывало имение.

Я твердо знала сию пословицу, что «богатство рождает честь». Итак, наняла себе служанку и начала быть госпожою. Умела ли я людьми командовать или нет, о том и сама не знаю, да мне и не было тогда нужды входить в такую мелочь, а

довольно того, что я ни за что сама приняться не хотела, и ехала на моей служанке так, как дурак на осле. Господин камердинер и сам желал не меньше меня господствовать, того ради нанял мальчишку, чтоб оный прислуживал ему тогда, когда беседует он у меня, а у меня бывал он безвыходно, следовательно, господство наше ни на минуту не прерывалось, и мы кричали на слуг так, как на своих собственных, били их и бранили, сколько нам угодно было, по пословице: «На что этого боля, когда дураку есть воля». Да мы же поступали так, что «били дубьем, а платили рублем».

Чем больше имеет убранства женщина, тем больше бывает в ней охоты прохаживаться по городу, и от того наши сестры многие портятся и попадают под худые следствия. Я была довольна всем, и всякий ясный день бывала на гульбищах, многие меня узнали и многие хотели завести со мною знакомство.

Некогда близко полуночи стучался у наших ворот человек, который не столько просился, а больше хотел вломиться силою. Мы бы его и не пустили, однако силы нашей не доставало, а господина камердинера у нас тогда не было; таким образом, послала я слугу отпирать, старуха моя готовилася его встретить и спрашивать, а я тогда спряталася и думала, что не Парис ли приехал за Еленою по причине той, что я была завидная женщина в том городе; или, по крайней мере, так о себе думала.

Отперли им ворота, и вошли они в горницу двое, один казался из них слугою, а другой господин, хотя и одет был похуже первого. Не говоря ни слова, сел он за стол и, немного посидя, вынял табакерку, осыпанную алмазами. Старуха моя тотчас ее обозрела, от чего трусость ее переменилася в радость, и перестала она сих людей почитать неприятелями нашего рода. Молодой этот и пригожий человек спрашивал у нее, не здесь ли живет Мартона, а так называлася я, на что отвечала она: «Я этого не знаю, а спрошу у моего хозяина». И так, прибежавши ко мне, говорила, чтобы я им показалась и что золотая табакерка уверила ее о некотором счастии, и притом примолвила сию пословицу: «Аз не без глаз, про себя вижу». В таких случаях и я была не промах, и к счастию моему, что я не была еще тогда раздета, таким образом появилася к новому моему Адониду с торжественным лицом и благородною пошибкою, и правду сказать, что принята им была хотя не за Венеру, однако за посредственную богиню, по приговорке: «По платью встречают, а по уму провожают». В самый первый раз показался он мне столько нежен, что в угодность его охотно бы я бросила камердинера, а как подарил он мне ту табакерку, то уже мне

и подло показалось иметь сообщение с холопом. По золотому с алмазами подарку заключила я, что сей человек не простого роду, в чем и не ошиблась. Он был господин, и господин не последний. Первое сие свидание было у нас торгом, и мы ни о чем больше не говорили, как заключали контракт, он торговал мои прелести, а я уступала ему оные за приличную цену, и обязалися мы потом расписками, в которых была посредником любовь, а содержательница моя свидетелем; а как такие контракты не объявляются никогда в полиции, то остался он у нас и без всякого приказного порядка ненарушимым. Господин положил посещать меня часто, а я обещалася принимать его во всякое время, и так с тем расстались.

По выходе его, не столько радовалась Венера данному ей яблоку, сколько любовалася я подаренной мне табакеркою. Перевертывала я ее в руках, сколько хотела, казала со сто раз старухе, слуге и служанке, и когда что говорила, то указывала всегда табакеркою и все примеры делала ею. А когда чрезвычайная сия радость позволила успокоить мне взбешенный от подарка разум и утомленные от неумеренного кривляния члены, тогда положила я ее против кровати на столике и уснула; но впрочем и во сне живо она представлялася передо мною по пословице: «Кто нового не видал, тот и поношенному рад». Правду сказать, что табакерка была несколько пообита; но для меня казалась она нова, ибо я отроду таких вещей у себя не имела и иметь их никогда не надеялась.

В десятом часу пополуночи пожаловал ко мне прежний мой волокита; признаюсь, что так скоро отбоярить его совесть меня зазрела, а не желая иметь с ним компании, притворилася я больною; а любезный для меня подарок позабыла снять со столика, и как скоро он его увидел, то взял в руку и, посмотря несколько, спрашивал меня, где я взяла такую вещь; я ему сказала, что я купила.

— Постой, моя государыня,— говорил он мне,— я с тобой инаково переделаюся. Табакерка эта моего господина, и он вчерась только ее проиграл в карты, как сам мне о том сказал, так скоро купить тебе ее негде, и она тебе подарена каким-нибудь мотом, то это станется. Я по сих пор думал, что я один только знаком тебе, а теперь вижу, что и весь город посещает тебя по очереди. Я тотчас покажу всем, сколько ты великолепна, теперь же пойду и, приведя лошадей, оберу тебя до нитки, наживай от иного, а мое возврати все до капли.

Выговорив сие, он ушел и оставил меня в ужасном страхе; мы не знали, что тогда делать, бежать нам было некуда, а защи-

тить нас было некому; ибо у таких людей, какова была я тогда, приятелей не бывает, причиною тому неумеренная наша гордость. И так положили ждать непременного несчастия и расставания с нашим господством. На нового любовника еще я столько не надеялась и думала, что когда увидит он меня бедною, то, конечно, бросит. Всякое предвещение тогда для нас было худо, и я бы согласилась тогда лучше умереть, нежели расстаться с моим имением, столько-то я его почитала и любила.

С полчаса времени спустя пришел ко мне новый любовник, к пущему моему несчастию; что мне должно было делать? Я была тогда вся в беспорядке, погибель ко мне приближалася, и еще новый человек должен быть свидетелем несчастия моего и ругательства. Увидев меня в слезах, привязался он ко мне и начал меня спрашивать; я ему ничего не отвечала и бросилась в постелю. В самое то время вошел камердинер во двор и, идучи в горницу, кричал: «Я с тобой переделаюсь!» Но, увидев стоящего у кровати моей человека, схватил с головы своей шляпу и очень струсил, так что не мог говорить больше ни слова. Новый мой любовник спрашивал его, с кем он поссорился и зачем зашел в такое место. Трусость его не дозволяла ему хорошенько изъясниться, и так солгал он раза два или три без правил, а как господин закричал ему, чтобы он пошел домой, то тем дело и кончилось.

В одну минуту, как превеликая гора с плеч моих свалила, и мне казалось, что ужасная туча бед моих так скоро пробежала, что не успела закрыть и солнца. Нетрудно мне было разобрать, что променяла я слугу на господина, и узнала совершенно, что гнев камердинеров в то время не опасен, когда его же господин держит мою сторону. Мне надобно было совсем переодеться, то есть перевернуться из страха в несказанную радость, а как я часто читывала книжку «Бабьи увертки» и прилежала, чтоб научиться им, то превращение сие казалось мне не весьма мудреным. Начала я помаленьку охать так, как будто бы еще училась в случае нужды разнемогаться, и сказала Светону, так назывался мой любовник, что сделался мне некоторый припадок. Тут-то узнала я благосклонность его ко мне и рачение. В одну минуту послал он за лекарем, который хотя и приехал, однако совсем мне был ненадобен, а господин Светон и одним словом удобен был исцелить меня от самой сильной горячки. С этих пор определил он мне двух человек своих собственных к моим услугам, прислал мне в тот же день серебряный сервиз, иль попросту посуду; и в самый первый раз, как села я кушать с моею старухою, которая, правду выговорить, не

умела сесть к ставцу лицом и приняться за ложку, да и я была тогда немного ее посмысленнее, то выговорила про себя сию пословицу: «Доселева Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал». Счастие никому не дает отчету в своих делах, вольно ему пожаловать и осла губернатором, а филина произвести в воеводские товарищи.

Адонид мой был человек светский и знал действительно, как поступается в делах любовных. Поутру прислал ко мне своего камердинера, а моего прежнего полюбовника — чего он не ведал,— с подарками. Оный привез мне целую ношу женских уборов, и кланялся мне так, как госпоже, а не так, как своей любовнице, и когда я просила его, чтобы он сел, то отвечал он мне весьма учтиво, что этой чести для него очень много. Чудно мне было очень, что одна ночь сделала меня госпожою и повелительницею над моим прежде бывшим командиром. Приняла я подарки с важным и благородным видом так, как надлежит любовнице знатного господина, и, вынув из кармана полуимпериал, дала его камердинеру, который принял у меня и вздохнул весьма от чистого сердца, потом просил, чтобы я выслушала у него нечто наедине, и когда вышли мы в другую комнату, то стал он передо мною на колени и говорил следующее:

— Государыня моя! теперь я уже не тот, который намерен был обобрать у вас всё, я вам всё уступаю, владейте им по пословице: «Деньги железо, платье тлен; но кожа всего нам дороже». Прошу вас об одной только милости, не сказывайте моему господину, что я был вам знаком; а в благодарность за это я буду держать вашу сторону и помогу вам разорять его до конца.

Признаюсь, сколько я ни была бессовестна и сребролюбива, однако такое камердинерово усердие к своему господину показалось мне негодным. Впрочем, добродетель мне была и издали незнакома, и так на двух словах согласилися мы с прежним моим любовником проматывать его господина; однако не удалося нам произвести намерения нашего в действо, по пословице: «Не всегда-де коту масленица, бывает и великий пост». А что воспрепятствовало, то можно увидеть далее, ежели господин читатель не скучил еще читать мое похождение.

С неделю времени наслаждалася я Венериным достоинством и не променяла бы участи моей ни на какое сокровище в свете; но как всем известно, что счастие недолговечно и нет ничего его непостояннее, то фортуна моя поскользнулась и пошла совсем уже другим порядком. Светон получил письмо от отца, который писал ему, чтобы он весьма скоро был по причине

той, что отец его чувствовал себя гораздо слабым и отчаянным сей жизни. Письмо сие привело в такую задумчивость моего любовника, что он не знал, что со мною делать; отцовская болезнь была ему чувствительна, но расставание со мною превосходило оную несказанно. Нежности любовные уступили на время место выдумкам; оные начиналися о мне, о мне и кончилися, я была предметом Светонова беспокойства, и я одна утешала его в сей печали, и он бы охотно желал лишиться отца, только бы не разлучиться со мною.

«Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга». Сосед Светонов, видя его в великой печали, предложил ему такое средство: Светону ехать со мною вместе и, привезя меня, оставить в его деревне, которая от Светоновых деревень отстоит только шестью верстами; а он отпишет к своему брату о принятии меня и о угощении и назовет меня близкою жениною роднею, и что Светон может посещать меня тамо, когда он изволит, без всякого помешательства. Как предложено, так и сделано, и за такую хорошую выдумку подарил любовник мой соседу своему перстень, ценою в пятьсот рублев. В тот же самый день собрались мы и поехали. Питомица моя не хотела за мною следовать, и так оставила я ее на своем месте, и наградила столько щедро, сколько надобно было любовнице знатного господина; а рассталася с нею без слез, ибо я не знала, что то есть на свете благодарность, и о том ни от кого не слыхивала, а думала, что и без нее прожить на свете возможно.

В средине нашего пути объявил мне Светон, что он женат, и женился недавно, и уверил меня, что жены своей не любит, причина тому, что родители часто женят своих детей не на тех, кого захотят дети, но уславливаются сами между собою и приневоливают к тому детей, отчего редко бывает согласие между мужем и женою. Светон уверял меня, что так же и с ним поступлено; однако ведомость сия стоила мне добрых пилюль, и от того я в два дни так похудела, как будто бы с месяц лежала в горячке. Я не грустила о том, что лишуся моего любовника, но боялася я нечего, которое гораздо пострашнее было любовной разлуки. Я бы могла, или чувствовала себя способною в один день перенести три разлучения с любовником, нежели один такой прием, которым потчевают благородные жены нашу братью за похищение их мужей; а сердце мое прямо предчувствовало такую бурю, и я бы охотно согласилась назад воротиться, нежели следовать за Светоном, но он, любя меня, к несчастью моему, весьма много, не хотел о том и слышать и уговаривал

меня, что жена должна ему повиноваться и принимать все то за хорошее, что только ему угодно.

Такая песня была бы мне приятна в городе, но тут чем ближе подъезжала я к деревне, тем больше страх во мне час от часу умножался, по пословице: «Знает-де кошка, чье мясо она съела». Наконец привезли меня в назначенное мне место, где принята была я с великою радостью, ибо брат того, который писал письмо, подумал и в подлинну, что я жены его родня. Таким образом поблагодарила я Светона, что он делал мне товарищество в дороге, и осталась тут всем довольною.

На другой день поутру, еще не успело рассвенуть, любовник мой пожаловал ко мне для посещения, он меня чрезвычайно обрадовал, сказав, что отец его совсем выздоровел и что мы очень скоро отправимся опять в город.

— Жена моя хочет со мною ехать,— говорил он мне еще,— но это так немудрено переделать, как дважды два четыре, и она опять останется здесь.

Таким образом, готовяся опять в дорогу, имели весьма нередкое свидание, и правду сказать, что господин Светон больше находился со мною, нежели был дома, что и сделалося наконец причиною моего несчастия.

Супруга не умедлила подозревать своего сожителя и, уведав от людей, хотя и накрепко им было заказано сказывать о моем пребывании, послала она за хозяином того дома, в котором я находилась, и без дальних околичностей разобрала тотчас мое достоинство и согласилась с хозяином выведать то совершенно для того, что и тот уже подозревал меня, по пословице: «Шило в мешке не утаишь» или: «Виден сокол и по полету».

В некоторое время, когда сидели мы одни с Светоном и по слабости человеческой впустилися в любовь, в самое то время отворился шкаф, который, на беду мою, стоял в той комнате, из оного вышла женщина и сказала нам: «Час добрый, друзья мои!» Любовник мой спрыгнул, а я вскочила, он ушел из комнаты, а я вытерпела ударов с десяток ладонью по щекам; это было начало; а о конце я не скажу из учтивости к себе. Довольно и того, что в скором времени появилася я на чистом поле, не имея ничего и без проводника. Горько мне тогда было, и чувствовала я прямо свое несчастие, которое окружало меня со всех сторон, но что ж было делать? «Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес забрела».

Леса и поля мне были незнакомы, они были мне не любовники, не прельщались моей красотою и мне ничего не давали, следовательно, находилася я в крайней бедности. К вечеру

набрела я на некоторую деревню, где принуждена была променять шелковое платье на крестьянскую одежду; ибо совесть меня зазирала путешествовать в оном, а в то время еще не прижилася я в оной. Таким образом, обмундировалася я терпением и тою одеждою и пустилася в путь. В дороге ничего со мною важного не случилось, выключая того, что я из важных бедных была важная бедная, но такие описания не всякий читает с охотою. Богатый боится обеднять, а скудному она уже наскучила. Итак, толкование о пути моем отлагаю в сторону; а буду говорить о том, что может увеселить читателя.

По календарным знакам прибыла я в Москву в среду, а день сей означается у нас древним языческим богом Меркурием; Меркурий же был бог плутовства, итак, как будто бы его помощию определилася я в поварихи к секретарю. Иной веселый человек примолвит, что попался-де огонь к сену; однако нередко и ошибиться можно. Секретарь был человек набожный: он никогда не вставал и не ложился спать, не помоляся богу, перед обедом и перед ужином читал обыкновенные молитвы вслух и умывал завсегда руки, не пропускал ни одного воскресенья и бывал всегда у обедни, а в дванадесятые праздники ездил развозить поклоны или принимал оные сам от челобитчиков. Всякое утро стоял он по два часа на молитве, а жена его в то время в передней горнице упражнялася во взятках и принимала всячиною. Когда же садилися они пить чай, то маленький их сын подавал ему реестр поимянно всех людей, бывших у него в то утро, и кто что и сколько принес, таким образом, смотря по величине приноса, решил он и дела в приказе. В сие время узнала я, что все служители секретарские пользуются взятками так, как и их господин. Когда поедет он в приказ, то сожительница его начинает пересматривать подарки, многие берет себе, а другими делит служителей. В одну неделю получила я платков с восемь, выключая кренделей и яблоков, которыми мы всякий день довольствовались.

Сперва секретарская жена меня полюбила, по причине той, что «рыбак рыбака далеко в плёсе видит». Она была женщина податливая и чаще изменяла мужу, нежели старалася наблюдать к нему верность, чего, правду сказать, не пристально он и требовал для того, что прибыток наблюдал он больше, нежели свою честность; ибо он думал, что и без чести дом его может быть изобилен так, как полная чаша. Сверх сего похвального дарования супруга его придерживалася различных вин, в которых не имела она никогда нужды, следовательно, была она только тогда трезвою, когда вставала поутру с постели. Я же не

имела за собой сего порока, и так не могла делать ей компании в этом; но в прочем во всем была ее наперсницею. Счастливое мое состояние вышло было у меня совсем из головы, но напомнил мне оное безграмотный канцелярист, который жил у секретаря в доме для переписки с черного набело. Весьма мне было удивительно, что он, не умея грамоте, умел в меня влюбиться, а я прежде думала, что любовь никогда не заходит в подьяческие сердца. Чуден он был в должности канцеляриста, но в должности любовника показался мне еще чудняе. Узнал он любовь, но только не ведал того, с которого конца за нее ухватиться и как к ней пристать. Во-первых, начал он мне примигивать и кивать головою, я поняла его намерение и предприяла над ним посмеяться. Желая прежде уведать его разум, задала я ему три задачи, чтобы он мне оные решил: кто умнее всех в городе, кто ученее и кто добродетельнее всех.

На другой день поутру изъяснялся он мне так:

— Я не нахожу никого умнее нашего секретаря, который решит все дела без остановки и докладывает об них всегда по порядку; а ученее нет некоторого стряпчего, который читает почти все указы наизусть и часто заставляет молчать судей; кто же добродетельнее всех, об этом я не ведаю, да думаю, что и многие из канцелярского племени о том тебе не скажут; ибо редко мы слышим о добродетели.

Выслушав его, я усмехнулась, а он продолжал говорить:

— Что, разве ты думаешь, что стихотворцы умнее всех людей с своими кавыками и точками? Ежели бы попались они к нам в приказ, то позабыли бы ставить точки, когда бы с оными насиделися без хлеба. А намедни не знаю как занесли к нам оду какого-то Ломоносова, так мы всем приказом разобрать ее не умели; да что больше говорить, сам секретарь сказал, что это бредни и не стоит она последней канцелярской записки.

Так толковал любовник мой о ученых людях, а я чаю, первому бы из них не дал он у себя места и в копистах. Разобрал же он скоро, что разум его был не на мой вкус, и оным мне он не понравился, таким образом предприял угодить подарками. Чего ради начал прилежать переписывать дела, и правду сказать, то по состоянию его дарил он меня довольно; ибо за всякую переписку брал он всегда тройную цену, и сказывают, что у них так и ведется: когда приказный под покровительством секретарским, то за всё про всё получает втрое. В это время потужила я о Светоне и иногда, сравнивая канцеляриста с ним, плакала горько, а это происходило оттого, что я была глупа, а ныне наши сестры поступают не так, они всегда желают

лишиться скорее знатного господина, чтоб отыскать вскорости другого и начать снова разживаться, и для того-то ни одной нашей сестры, то есть такой же пригожей поварихи, как я, в целом государстве не отыщешь верной, чтоб которая не хотела иметь вдруг по три и по четыре любовника.

Попечением и трудами канцеляристовыми имела я на себе платьице уже почище, и так приезжающие к госпоже секретарше воздыхатели начали поглядывать на меня поумильнее, нежели на хозяйку, что ей очень не понравилось; таким образом, отказала она мне от своей службы.

Вышедши из этого дома, не тужила я много; ибо не с кем было расставаться, следовательно, ничего я и не лишалась. На другой день пожаловал ко мне сводчик, из лица его увидела я, что он сыскал мне изрядное место, а для него это было прибыльно для того, что каково место, такая ему и плата за отыскание оного. Сказал он мне, чтобы я прибралася получше, ибо там, где я буду жить, не услуги мои потребны, но нужно лицо. Могу сказать, что я одеваться умела, лишь только бы было во что; принарядившись довольно изрядно, отправилися мы в путь, и когда пришли к тому двору, то велел он мне постоять у ворот, а сам пошел уведомить хозяина о моем пришествии и спросить его, можно ли мне войти к нему, и потом выбежал очень скоро и велел мне идти за собою. Когда вошла я в горницу, то увидела человека совершенных уже лет, имевшего долгие вию-щиеся усы и орлиный нос. Он был отставной подполковник, служащий в гусарских полках. Тогда сидел он в креслах и считал серебряные деньги; увидев меня, привстал несколько, сказал мне: «Здравствуй, сударыня»,— и просил, чтобы я села, потом приказал слуге нагреть воды на чай и начал со мною разговаривать.

— Я, сударыня, человек вдовый, и уже этому будет дней с восемь, как умерла моя жена, мне же лет уже довольно, и доживаю я седьмой десяток, так присматривать за домом великая для меня тягость. Мне непременно потребна женщина таких лет, как вы, чтоб везде могла присмотреть, то есть в кладовой, в погребе, на кухне и в моей спальне, а мне уже, право, не под леты таскаться всякий день по всем этим местам. На слуг я не полагаюсь, правда есть у меня и повариха, но ей более уже сорока лет, следовательно, она не столько проворна, как молодая особа, и многое просмотреть может. Что ж касается до платы, то отнюдь рядиться я не намерен, а смотря по услугам, так и я благодарить буду, мне ведь не Аредовы веки жить, а как умру, то и все останется, и совсем не знаю кому, ибо я человек чуже-

странный и здесь у меня родни никого нету. А когда же надзирательница моя придет мне по сердцу, то я сделаю ее наследницею всего моего имения. Я слышал, сударыня! — примолвил он,— что вы ищете такого места, то если вам угодно, пожалуйте останьтесь в моем доме, я буду вам чрезвычайно рад и не сомневаюсь в том, чтобы вы не знали очень хорошо домашней экономии.

Я не так была глупа, чтоб стала отговариваться от такого предложения. Имение стариково мне понравилось, и я тотчас предприяла угождать его деньгам. Когда же я согласилася на то, то пожаловал он сводчику пять рублей денег, и несколько еще домашнего запасу за то, что приискал он ему надзирательницу по сердцу; оное приметила я из глаз и из щедрости подполковничьей.

Сказала я ему, что мне надобно съездить и перевезти маленькое мое имение, но он не хотел на то согласиться и говорил, что мне ничего не надобно.

— Вот вам ключи, сударыня, ото всего жениного платья, оно вам, конечно, будет впору, употребляйте его, как вы изволите, а его будет довольно.

Таким образом в один час приняла я власть в доме и все его имение к себе на руки, а часа с два спустя получила команду и над хозяином, ибо он не умедлил открыться мне, что чрезвычайно в меня влюбился и что если я его оставлю,— говорил он мне,— то он, не дожив века, скончается.

Жадность к нарядам немного времени позволяла мне медлить, пошла я по сундукам, в которых нашла довольно изрядного платья; но более всего жемчугу, которого я еще отроду не видывала и не имела на себе. Обрадовавшись тому слишком и забыв благопристойность, в самый первый день начала его перенизывать по-своему, а господин гусарский подполковник, надевши очки, помогал мне в моей работе и, выбирая крупные зерна, подавал мне для низания и цаловал мои руки. Когда приспело время к обеду, я с ним обедала, с ним ужинала и после ужина была с ним вместе.

Дни наши текли в великом удовольствии со стороны моего любовника; правду выговорить, и я была не недовольна: богатство меня веселило, по пословице: «Золото хотя не говорит, однако добра много творит». Но старость его несколько меня беспокоила; однако сносила я оное терпеливо так, как великодушная и постоянная женщина. Впрочем, из дому мне никуда не позволялося выйти; разве только в церковь, да и то весьма редко, а в одни дванадесятые праздники. Это мне казалося несколько

немило по причине той, что женщине таких лет, в каковых я была тогда, не столько потребна пища, сколько надобно гулянье, да я же была и всем довольна; а в великом удовольствии домашняя неволя пуще крепкой тюрьмы. Жили мы тогда у Николы (что на курьих ножках). Таким образом, во время праздника собралася я к обедни и нарядилась столько великолепно, сколько мне заблагорассудилось, и так под смотрением древнего моего любовника пришла в церковь и стала тут, где обыкновенно становятся боярыни. А как провожал меня подполковник с великою учтивостью, то всякий не смел потеснить меня или чем-нибудь обеспокоить, понеже платье и почтение моего любовника делали меня великою госпожою. А я, чтоб не уронить мне к себе людского почтения, смотрела на всех гордо и не говорила ни с кем ни слова.

Подле правого клироса стоял не знаю какой-то молодчик; собою был он очень хорош и одет недурно. Он во всю обедню не спускал с меня глаз и в благопристойное время делал мне иногда такие знаки, которые известны только нам, да еще ревнивым мужьям и любовникам. Оное приметил мой старик и, не дожидаяся окончания обедни, подошел ко мне и звал меня весьма учтиво, чтобы я пошла домой. Оное показалося мне весьма неблагопристойно, и так не согласовалась я с его прошением. Любовник мой, опасаяся прогневать меня, принужден был остаться до окончания; однако не отошел от меня и стал подле. Я примечала, но думаю, что и другие не упустили то же сделать; вид лица любовника моего поминутно переменялся, иногда казался он бледен так, как будто бы готовился к сражению, иногда бросало его в жар, и делался он краснее кармазину, иногда лицо его покрывалось холодным потом и, словом, был он в таком беспорядке, как будто бы человек сумасшедший. По окончании обедни взял он меня за руку так крепко, что я принуждена была напомнить ему о моей боли. Рука его столь сильно тряслась, что и я находилась от того в движении. И так в таком неописанном беспорядке пришли мы домой.

Как скоро вошли в горницу, то подполковник говорил мне следующее:

— Нет, сударыня, мало я знаю разбирать женскую красоту и прелести; вы больше прекрасна, нежели я об вас думал; в чем извинить вы меня можете. Поистине сказать, вы русская Елена, а что сказывают о Венере, то таким бредням я не верю. Все молокососы сбираются быть Парисами и продают глаза свои на вас. Избавь меня судьба, чтоб участь несчастного Менелая не воспоследовала со мною. Однако сколько сил моих будет, стану

противиться этим похитителям. Я имею разум, силу и богатство, но что они мне помогут, если ты, прекрасная, не будешь чувствовать ко мне такой любви, какую я имею к тебе.

При сем слове бросился он передо мною на колени и облился слезами. Таким образом, принуждена я была вступить в должность страстной любовницы, подняла его с коленей и в знак моего уверения целовала в губы и говорила ему так:

— Дражайший мой, возможно ли, чтобы я была тебе неверною и изменила в самом начале горячей моей любви; одна смерть меня с тобою разлучит; но и во гробе буду я вспоминать твое ко мне почтение. В твою угодность отрицаюся я ото всего света мужчин, и ни один прельстить меня не может, успокойся, мой дражайший! Верная и нелицемерная твоя любовница Мартона просит о том тебя со слезами.

Выслушав сие, беззубый мой Адонид несколько угомонился; однако столь много стоили ему взгляды молодого человека на меня, что он, не обедавши, лег спать и в полчаса раз пять пробуждался и кричал иногда: «прости», изо всей силы иногда: «постой», а иногда: «пропал я»; ибо грезилося ему, что меня похитили или я ему изменила.

Спустя несколько дней пришел человек в наш дом и просил подполковника, чтобы он взял его к себе на службу. Старик отказал ему с первого раза, но человек весьма усиливался и выхвалял сам себя изо всей мочи. Выняв пашпорт, хотел казать его подполковнику и говорил, что ни один честный человек столько аттестатов не имеет, сколько он. Слова его показалися мне довольно вразумительны, ибо кто чем вознамерился прокормить свою голову, то непременно прилежать должен, чтоб знать искусство то совершенно. Таким образом, взяла я у него посмотреть аттестаты и, перебирая оные, нашла между ними письмо, подписанное на мое имя, выняла я его осторожно и положила в карман, а аттестаты отдала слуге назад и сказала, чтобы он пришел завтра поутру и мы подумаем, принять ли его или нет.

Хотя я была и невеликая охотница изменять своим любовникам, но врожденное в нас непостоянство не давало мне более медлить, ушла в другую комнату, развернула письмо и нашла в нем следующее изъяснение.

«Государыня моя!

Полюбить кого-нибудь состоит это не в нашей власти. Все прекрасное на свете притягивает к себе чувства наши и разум. Вы прекрасна, и для того полонили мое сердце тогда, когда я в

первый раз увидел вас в церкви, мне казалося тогда, что прекрасные глаза ваши говорили вместо вашего сердца. Итак, уверясь сим, отважился вам изъясниться, в несомненной будучи надежде, что вы меня хотя и не полюбили, однако, может быть, не вовсе ненавидите.

Обожатель красоты вашея Ахаль».

Я не знаю, можно ли кому-нибудь похвалиться, чтобы он во всякое время твердо наблюдал добродетель и, угождая ее строгости, отказался от лучшего естественного удовольствия. Я держалася всегда такого мнения, что все на свете непостоянно; когда солнце имеет затмения, небо бесперестанно покрывается облаками, время в один год переменяется четыре раза, море имеет прилив и отлив, поля и горы то зеленеют, то белеют, птицы линяют, и философы переменяют свои системы; то как уже женщине, которая рождена к переменам, можно любить одного до кончины ее века. Я смеюся некоторым и мужьям, которые хвалятся везде верностию своих жен, а кажется, что лучше молчать о таких делах, которые находятся в полной женином власти. Я была не стоической секты и совсем не держалась их системы; того ради требующему от меня снисхождения отказать не хотела. Поутру, когда пришел слуга, о проворстве которого по глазам его я была уверена, для того отвечала ему так:

— Я на всё согласна, что от меня ни потребно, а господин подполковник не хочет тебя принять к себе в дом; но мне кажется, до того тебе нужды нет, ты и без него сыскать дорогу можешь ко твоему благополучию.

— Это правда,— промолвил мой любовник.

— В Москве людей много, не у меня, так у другого нанятся можешь.

Слуга ответом нашим был доволен и пошел от нас с благодарностию.

Жизнь наша основана на заботах; таким образом предприяла и я суетиться, и чем прекраснее казался мне Ахаль, тем больше чувствовала я охоты изменить седому моему Купидону, а о благодарности к нему я тогда и не помышляла, когда новая любовь поселялася в моем сердце, по причине той, что редкая женщина подвержена такой добродетели. А я была из числа тех красавиц, которые думают о себе, что они никому не обязаны на свете, и раздают сами благодеяния свои великодушно.

Во-первых, прибегнула я к нашей поварихе и открыла ей тайности моего сердца. Чудно мне казалось, что она без всякого

от меня обнадеживания обещалася служить мне со всею охотою, по сему-то я и узнала, что богатому человеку все люди служить согласятся, то есть в добром и злом его намерении. С сего времени к свиданию моему с Ахалем пошли различные выдумки, и можно сказать, что выдумка выдумку побивала. Я советовала хорошо, но наперсница моя еще того лучше. Мы определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину и тем со мною познакомиться, чтоб без подозрения имели мы всегда свидание, а другого способа к оному мы не находили, ибо содержали меня после того столь крепко, что редко позволяли мне подходить и к окошку.

«Лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любови». Не хотели мы откладывать выдумки своей ни на сколько, того ради советница моя полетела на другой день искать моего любовника, и хотя не знала его дому, однако нашла очень скоро, по пословице: «Язык и до Киева доводит». Ахаль принял ее с великою радостию и одарил прямо по-любовничьи. Она пересказала ему наше намерение, на что он, нимало не медля, согласился и отпустил ее ко мне с письмом, в котором уверял меня, что в мою угодность пойдет он и на дно Окияна.

Это правда, что он в угодность мою тотчас и исполнил мое повеление. В том доме, в котором он жил, сказал хозяину, что отпросился на время в деревню и поедет завтре, а у него оставит слугу с некоторою частию имения, и просил его о сохранении оного. Когда настало утро, то, взявши с собою что надобно, поехал он со двора долой и, приехав в ямскую, остановился. Потом послал мальчишку своего в город, или сам поехал,— этого я не знаю,— и накупил женского платья для себя и для мальчишки весьма довольно. Таким образом нарядились они оба и изготовились к новомодной комедии. Послал он слугу своего искать для себя покоев и велел сказывать о себе, что они приехали из другого города увидеться здесь с сестрою. Сыскали, наняли и переехали.

Наша повариха бегала к ним, с ними условилась и, пришед ко мне, сказывала так, что Ахаль назовется моею сестрою и пришлет ко мне своего слугу под именем и под образом девки, сказала мне о их именах и научила меня, как я должна мнимую ту девку встретить. И так начала я ожидать с превеликою радостию исполнения моего желания.

День уже клонился к вечеру, как сказал мне слуга, что спрашивает меня какая-то девочка. Подполковник, услышавши сие, приказал привести ее в горницу: ибо наблюдал весьма при-

лежно мои поступки; а повариха мигнула мне тогда осторожно, почему я тотчас догадалась, что это Меркурий от моего Юпитера и так, как скоро он вошел, то я закричала благим матом:

— Голубушка моя, каким это образом я вижу тебя здесь, разве матушка сюда приехала?

— Никак нет, сударыня,— отвечал он мне,— матушка осталась дома, а приехала сюда большая ваша сестрица. Вы не изволили писать к нам очень долго, и так приехала она с вами повидаться.

Потом, подошедши ко мне, целовал он у меня руку и сделал всю церемонию так, как ведется. Я спрашивала у него, все ли в доме здоровы, и обо всем, а он отвечал мне так хорошо, как будто бы десять лет учился обманывать людей. Спрашивала у него, где они остановились и вознамерилися жить, на что он мне сказал, что от нас очень далеко, а тогда уже было поздно, итак отложила я свидание с сестрицею до другого дни и просила моего содержателя, чтобы он приказал сходить слуге и поздравить ее от меня с приездом и притом просить ее завтрашний день ко мне отужинать.

— Хотя это будет и неучтиво,— наказывала я слуге,— мне было самой должно ехать, но как она не совсем еще осмотрелась, то я могу приездом моим ее обеспокоить, да сверх же того между близкою роднею учтивости совсем не годятся.

Таким образом, первое вступление довольно изрядно было сыграно, и слуги наши пошли к моей сестрице.

Признаюсь, что я никогда столько не радовалась, как в это время, что могла столько удачливо обмануть моего неусыпного надзирателя; но и мальчишка так был искусен представлять девку, что ежели бы я не знала, то конечно бы обмануться могла. В это время образумился мой старик и начал спрашивать меня, какого я роду, чего ему никогда и в голову не приходило; ибо, выключая любви, ничего тогда в уме его не находилось. О роде моем сказала я ему так хорошо, что ни он, ни я не могли действительно растолковать, какого я происхождения; но, впрочем, не дала я ему вдаль распространять такого разговора, который бы не принес мне много прибыли; а начала выхвалять изрядные качества приезжей моей сестры и сверх того говорила, что она хороша и гораздо меня прелестнее.

— Не влюбися, душа моя,— продолжала я говорить, держа его под бороду,— я опасна, чтобы ты, прельстившися ею, меня не покинул.

— Покинь меня лучше белый свет,— отвечал он мне твердым и уверительным голосом,— я охотник любить до смерти, а

не так, как нынешние вертопрахи каждый день переменяют любовниц и ищут случаев, как бы почаще изменять. Какая бы красавица ни была, меня уже прельстить не может, когда ты, моя душа, любишь меня ото всего искреннего твоего сердца. Признаюсь же тебе, что я очень редко нахаживал таких женщин, как ты, ты столько верна, что, я чаю, и не подумаешь об измене, да и правду сказать, оное ведь и порочно.

По такому от него аттестату уверяла я его, что я постояннее всего света, чему он и верил и почитал столько меня, что готов был хотя по уши в воду, лишь бы только мне оное угодно было.

Ночью, поутру и в день ни о чем я больше не думала, как о назначенном свидании, того ради не пожалела я ничего, что могло красоту мою увеличить. Время уже настало, и сестра моя приехала, свидание наше было хотя и некровное, но, однако, прямо любовное, и когда мы бросились друг другу в объятия, то насилу нас и растащили. Приятность за приятностью и поцалуй за поцалуем следовали, сестра моя прижимала меня к сердцу и цаловала весьма часто в груди, а я ей отвечала такою же благодарностию, словом, всех наших поцалуев никакой бы исправный арифметик исчислить не мог без ошибки. Мы были сестры примерные, да и такие, которых, я чаю, и во всем свете не бывало. За ужином мы ничего не ели, но только довольствовались одним глядением друг на друга, я находила в сестре моей поминутно новые прелести, и она с своей стороны, может быть, так же, и казалось нам, что мы целую бы жизнь могли проводить без пищи, когда бы были друг с другом неразлучны. Старый мой любовник признался перед нами, что он почитает нас некаким чудом, «ибо,— говорил он,— не видывал я никогда такой пылающей любови между сестрами. Без всяких обиняков можно вас почесть любовниками, и когда бы одеть одну из вас в мужское платье, тогда бы никто не поверил, что вы сестры родные. Хвалю вашу добродетель и искренние сердца, вот прямо родные, которые достойны всякого почтения».

— Мы уже лет с пять не видались друг с другом,— говорила сестра моя ему,— а разлучились почитай еще младенцами, и для того неудивительно, государь мой, что мы не можем друг на друга наглядеться. Нас и всех немного, матушка и мы только две, а остались после отца своего сиротами.

— Тем-то еще и похвальнее ваша добродетель, что вы и в бедности друг друга не оставляете и любите столько, что я и изъяснить уже этого не могу, а кажется, вы друг на друга нимало не похожи, да полно, не всегда одного отца дети удают-

ся в один образ. Я имел у себя также брата, который, однако, на меня ничуть не походил.

Ужин наш таким образом кончился, за которым старик пил больше обыкновенного и не старался примечать ничего, чего ему, однако, и в голову не входило, и Ахалю столько пристало женское платье, что никакого подозрения иметь было не можно. Впрочем, сестрица мне столько понравилась, что я не хотела отпустить ее ночевать домой, а просила, чтобы она осталася у меня. Ахаль на то не соглашался с намерением, чтоб принудить просить старика, и когда показалася я недовольною, что она не соглашается на мою просьбу, тогда принялся подполковник и уговорил ее к тому конечно; а из почтения к гостье уступил нам свою постелю и, пожелав доброй ночи, пошел в другие покои.

Совесть меня не зазирала нимало, ибо я думала, что есть на свете люди гораздо меня отважнее, которые и в одну минуту наделают больше худого, нежели я в три дни. Стоит только отдать себя порокам, то оные завсегда будут казаться приятнее и миляе добродетели.

Таким образом препроводили мы ночь с сестрою моею во всяком удовольствии и поутру расстались на рассвете, чтобы ничуть не приметно было наше проворство. Я пошла к моему любовнику и, извиняя сестру мою, сказала, что ей непременно надобно было так рано уехать для некоторых ее надобностей. В этот день мы у нее ужинали, и когда приехали домой, то любовник мой хвалил ее изо всей мочи и не знал, чем ее одобрить. Таким образом бывали мы друг у друга каждый день неотменно, и все текло у нас в хорошем порядке. Старик был мною доволен, что я его весьма искусно обманывала, а я благодарила его за то, что он позволяет проводить себя без всякой к тому приметы. Ахаль с своей стороны почитал себя благополучным, что получал от меня без всякого труда то, чего иногда с двухлетним старанием получить не можно, и что он имеет дело с таким человеком, которого легко дурачить может и который не думает заприметить того нимало.

Я знала, что верность любовная в нынешнем веке такой гость, который, пришедши, говорит: «здравствуй»,— и в то же время вертится на языке у него: «прощай». Любовник бывает верен до тех пор, когда не видит еще никакой благосклонности от любимой им особы. Тогда он вздыхает, ахает, стоя перед нею на коленах, притворно плачет и клянется верностию такою, которая царствует на одних только театрах. Но когда же получит он от нее все, тогда по слабости памяти человеческой в одну

минуту позабудет все клятвы и растеряет их из своего понятия. Это я видела над собою, но не один еще раз; однако дело теперь о любви моей к Ахалю, а до других оно дойдет еще по порядку. В некоторое время представил он мне, что жизнь моя бедственна и скоро может приближиться к великому несчастию, да сверх же того она и порочна. Оное я знала все сама, но как не видала и не находила способа оную переменить, то и поневоле оставалася в таком состоянии.

— Я, сударыня,— говорил он мне,— посвятил вам жизнь мою до гроба и ласкаю себя надеждою, что благосклонности вашей лишен никогда не буду. Вы отдали мне ваше сердце, я тем доволен, а чтоб показать вам, что я благодарен, то намерен сочетаться с вами браком, ежели только вам оное угодно. Я дворянин, хотя и недостаточный, однако не почитаю себя бедным. Отца я не имею и матери также, следовательно, живу по своей воле. Сочетаться с вами браком никто мне воспрепятствовать не может. Итак, ежели вы на сие согласны, то дайте мне ваше слово, и будем к тому приготовляться. Вам непременно надобно уйти или уехать из сего города, чтоб избежать с вашей стороны препятствиев. Деревня моя будет вам убежищем, а должность супруга вашего защищением и покровительством. Тогда уже никто не будет иметь права требовать вас от меня. И так жизнь ваша конечно будет благополучна.

Не надобно было просить меня о том в другой раз по причине той, что я умела разделить худое от хорошего и могла выбрать, что для меня полезно и что вредно: того ради приняла предложение его с великою охотою, и казалося мне, что он был тому чрезвычайно рад. И хотя я далее видела, нежели обо мне думали, однако притворство его разобрать не могла, и в сем случае узнала я действительно, что как бы женщина ни была остра и замысловата, однако всегда подвержена обманам мужчины, а особливо в то время, когда она им страстна.

Уговор наш последовал весьма скоро, и мы тотчас образовалися и обручались, и с этих пор начала я называть сестру мою мужем, а она меня женою. На другой день предложил мне Ахаль, что за пребывание мое у подполковника должна я получить от него хорошую плату, а как он на сие не согласится, то советовал мне мой муж обобрать у него все то, что находилося под моим смотрением и, прежде нежели приступлю к браку, тем, что я унесу, очистилася бы в совести. Нареченный мой супруг во образе сестры моей, как находился всегда у меня, или присутствовала я у него, то и нетрудно нам было таскать пожитки старого моего любовника, и мы охотилися больше переносить

от него жемчуг и деньги, ибо сии вещи других угомоннее, и их можно украсть в сундук и в чемодан без всякого подозрения. Наконец, как рассудилося нам, что натаскано уже довольно, и мы можем прожить тем хотя не всю нашу жизнь, однако две трети оной в довольном благополучии; таким образом начали собираться уехать, а помощию денег все делается скоро. Лошади были готовы, и муж мой отправился в дорогу, условяся со мною, что будет ожидать меня у некоторой заставы.

Во время ночи, когда любовник мой находился в полном сонном удовольствии, встала я потихоньку с постели и ушла со двора благополучно и, прибежавши на тот двор, на котором дожидалися меня лошади, села в коляску и полетела за моим супругом: однако, по несчастию моему и без всякой думы, наследила я участь несчастной Филлиды. Демофонт мой меня обманул и уехал не знаю куда. В сем случае растолковала я, что он имел больше нужды в пожитках моего любовника, нежели во мне, и прельщался не красотою моею, но червонцами и жемчугом.

Спрашивала я на заставе, но отвечали мне, что описанию моему подобный никто не проезжал и они не видали. Таким образом, поплакав немного, принуждена я была возвратиться, но только не знала куда; того ради поместилася в Ямской на постоялом дворе. Прямая Филлида не досадовала на измену Демофонтову, но только о том сожалела, а я столько была зла, что соглашалась разорвать его пополам, ежели бы он был в моей власти и доставало бы к тому моих сил; но что, сколько я ни рвалась, однако пособить тому было невозможно. Собственная моя жизнь была мне дороже, нежели его плутовская, и для того предприяла я размышлять с себе. Сомнение, страх и отчаяние терзали меня неотступно, и я не знала, что мне тогда должно было предприять. Непомерная любовь ко мне подполковничья уверяла меня, что он, конечно, простит мне мою погрешность, но стыд признать себя неверною, глупою и обманутою запрещал мнѣ совсем к нему показаться, и я бы согласилась тогда претерпевать лучше всякую бедность, нежели признаться в том, что я обманута.

Можно ли быть было тогда во мне человеколюбию, об этом, я чаю, задумается господин читатель, но чтоб вывести его скорее из этого сомнения, то я скажу, что и порочные женщины не совсем лишены рассудка, и если бы не побеждали их непостоянство и ветреная роскошь, то, конечно, были бы они добродетельнее ростовщика и скупого. Для успокоения моего старика, презрела я досаду и опасность и предприяла идти к нему с повин-

ною, надеяся при том на свое искусство, что в случае его суровости могла бы я легко и обмануть его.

Таким образом, поехала я к нему, наполнена будучи страхом и самою малою надеждою к моему благополучию. Как только вошла я на двор, то встретившийся со мною его управитель наградил меня такою исправною пощечиною, что посыпалися из глаз моих искры. С таким почтением встреча не предвещала мне ничего доброго, и я определила себя на все суровости прогневанной мною судьбины, потому что уйти мне уже было невозможно. Бросилась я весьма поспешно искать подполковника; ибо надеялась я, что найду в нем больше снисхождения, нежели в его слугах. Нашла его в спальне, он лежал в постеле и был окружен лекарями. Как только он меня увидел, то закричал столь громко, что испужал всех тут предстоящих. Потом вскочил с постели и, обняв меня, начал рыдать неутешно и, образумевшись несколько, говорил так:

— Не сон ли льстит меня приятною сею мечтою, не лестная ли надежда обманывает мой разум? Прекрасная Мартона! тебя ли я имею в моих объятиях, твои ли то уста, в которые я теперь цалую, твои ли то красы, которые я вижу, ты ли передо мною, говори, отвечай, прекрасная, или уже лишился я тебя навеки?

Я не знала, как скоро печаль моя переменилася на радость, обняв его от чистого сердца, проливала я слезы, которые у меня еще на дворе были заготовлены от управительской размашки; оный, изготовяся ударить меня, не велел мне посторониться, и так текли они у меня ручьем, и которые принял мой любовник раскаянием и искренним признанием моего перед ним проступка; однако я сказала, что ушла от него за тем только, что хотела изведать верность его ко мне, лишившися меня, будет ли он крушиться или нет. На сие ответствовал мне подполковник, что не только крушиться, но и в гроб сойти уже готовился. Таким образом, наследовала я прежнюю его любовь и ото всех его слуг прежнее к себе почтение; что же я у него унесла и отдала моему обманщику, то о том он и не упоминал, ибо считал меня дороже и самого себя.

С этих пор начал любовник мой готовиться к смерти; ибо по уходе моем бегал он везде и искал меня по всем местам; но как бегал весьма неосторожно и в великом отчаянии, то есть без памяти и притом без очков, то полетел с крыльца с самой первой ступеньки лестницы весьма неосторожно и переломил себе крестец и от сего то слабое его здоровье час от часу начало приходить в упадок. Я столько была огорчена управителем, что

всякую минуту старалася отомстить ему, и как только сказала моему любовнику, что поступил он со мною весьма неполитично, то подполковник насилу отдохнул от такого уведомления и, не принимая никакого от него оправдания, наказал его весьма жестоко и приказал согнать со двора, не заплатя за его службу, чему я была чрезвычайно рада.

Доброе дело никогда без награждения не остается, рано или поздно, конечно, уже будет за него уплачено. Как скоро милый мой подполковник переселился с сего света, то тотчас взяли меня под караул и заключили в крепкую темницу. По смерти моего любовника отыскалася его сестра, которую он при жизни своей не пускал к себе на двор и не хотел об имени ее слышать. Управитель к ней подбился и рассказал обо всем, что я строила у брата ее в доме; таким образом, вознамерилася она потребовать от меня отчету судом, который казался мне страшнее и самой смерти. Бросили меня в каменный погреб, не дав мне ничего, на чем бы я могла отдохнуть во время ночи. Пищу подавали мне каждый день по два раза, а оная состояла из хлеба и воды, и так принуждена я была держать весьма великий пост, о котором прежде никогда мне и в голову не приходило. Воздержная сия жизнь выбила у меня из головы все любовные мысли, не думала я тогда ни об украшении телесном, ни о прельщении любовников и находилась в таком состоянии недели две или более. Всякий день ронила я столько слез, сколько доставало их в моих глазах, и крушилася весьма несказанно.

В некоторое ночное время, когда лежала я на полу, положа голову на камень, отворилася дверь у моей темницы, и вошел ко мне Ахаль с другим офицером. Увидя меня в толь горестном состоянии, пришел он в сожаление и просил пришедшего с ним офицера, чтобы оный вывел меня куда-нибудь в другое место и приказал бы смотреть за мной получше, покамест выведет он меня совсем из сего заключения. Я его благодарила, а он, поцаловав меня, сказал, что должен избавить меня из сей моей неволи; таким образом, жалея меня, оба расстался со мною. С четверть часа не прошло времени, как взяли меня из сего ада и посадили в изрядный покой, где изготовлена была для меня кровать, стол и стул. Не могу я изъяснить, сколько тогда обрадовалась и благодарила заочно Ахаля от искреннего моего сердца, легла на постелю и, не имев долго покою, проспала с лишком половину суток. Караульный офицер, как я уже после узнала, приходил ко мне раза с четыре и, видя меня в крепком сне, не хотел беспокоить; это он мне сам рассказывал, и говорил мне с великим почтением, по чему заключила я, что он в меня

Пожалуи поди прочь ѿменя мне дела нетъ дотебя пришедъ за
с хватаешъ: блиновъ печь мешаешъ ь ... хватать невел
ятъ для того что блины подгорятъ я тотчасъ резонъ сыщу сково
роднемъ хвачу мне хотя истыдно атебе будетъ уже обидно я вить
тясь незамаю анеотоидешъ сковородникомъ замараю твоя воля изво
бить: дай толко заплоту хватить ибо зело мне показался миленка
что ... твоя прутенка нарочно я ктебе пришолъ: ищасливъ
что одну дома нашелъ хошъ сплошъ всего замарай растворомъ
я ѿтого небуду въ здоровомъ толко любовь комне покажи исъ
месте съ собою напостелю спать положи.

Б л и н щ и ц а.

Офорт П. Н. Чуваева.
Вторая половина XVIII в.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

влюбился, в чем и не обманулася. Он был тут на карауле целую неделю и находился у меня безвыходно; а когда пришел другой ему на смену, то он упросил его и остался другую неделю. В сие время Ахаль и он соединенными силами избавили меня от заточения и, взяв из сего судебного места, отдали меня на руки некоторой весьма неубогой старушке, которая в самый первый день обмундировала меня всякими для меня потребностями. Лицо мое и поступки доказывали ей, что я не весьма дешево продаю мои прелести и никогда по зимней цене с рук их не спускаю; того ради усерднее она старалася нарядить меня и успокоить.

Несчастие скорее забывается, нежели благополучие; а особливо в тех людях, которые держатся моего промысла. В три дни я совсем исправилась, лицо мое получило прежнюю красоту, а тело наполнилось прежнею белизною и нежностию, и совсем не было тех знаков, что я сидела в тюрьме и была изнурена прежестоко, а казалася всем, что я теперь еще только начинаю раздавать прелести мои мужскому полу по моей благосклонности.

Дни с четыре не были у меня мои освободители, не знаю для чего; наконец приехали они вместе и, увидев меня в прежнем или еще лучшем состоянии, растаяли и один перед другим старалися получить преимущество в моем сердце. Ахаль был ко мне ближе, и для того поступал со мною вольнее, а Свидаль, так именовался другой, был чрезвычайно учтив и нежен и боялся малым поступком прогневить меня, следовательно, искал он нежностию места в моем сердце. Ахалю поступать со мною вольно запретить мне было не можно по прежнему нашему знакомству, а Свидалю казалось сие инако, он думал, что я полюбила больше Ахаля, нежели его. Таким образом, должность моя была в удобное к тому время уверить Свидаля, что я даю во всем ему преимущество перед его соперником.

Наследное имение с трудом разделяют двое, а любовницу без ссоры никогда разделить им не можно. Ахаль брал перед другим всегда преимущество, и я хотя поневоле, однако должна была ему повиноваться, а Свидаля сколько ни старалась уверить, что люблю его больше, нежели Ахаля, однако он в некоторых случаях тому не верил и начал ревновать, а ревность, как всем известно, странные дела делает, и конец ее бывает всегда нехорош. Весьма в скором времени узнала я, что нашей сестре весьма тягостно иметь дело с военными людьми; а особливо тогда, когда пылают они ревностию и не хотят поделиться друг с другом полученною ими добычею. Ввечеру сидели мы все трое

за столом и составляли из себя треугольник, а именно, играли в ломбер. По правилам ломберной игры не должно было никому заглядывать к другому в карты; но Ахаль на это не взирал, он весьма часто портил правила треугольника и подвигался ко мне близко. Свидаль сперва говорил ему учтиво, чтобы он не заглядывал в мои карты, потом выговаривал ему сердяся, что он очень неучтив и лезет в глаза к даме противу ее воли, а наконец они и поссорились. Ахаль говорил ему, что он имеет надо мною полную власть и что Свидалю тут вступаться не должно, где его совсем не принимают в советы, а тот ответствовал, что надобно спросить еще прежде у меня, кто из них имеет надо мною большую силу. Вопрос таков они мне предложили, однако я на оный ничего не отвечала и уговаривала их, чтобы они перестали ссориться; но слова мои не помогали, и разбранились они довольно изрядно так, что чуть было не дошло у них до драки. Свидаль уехал и оставил меня с Ахалем, который радовался, что одержал над неприятелем своим победу, и приказывал мне очень строго, чтобы я не имела никакого знакомства со Свидалем и не пускала бы его к себе на двор. Сей приказ был мне весьма несносен; однако я в угодность его обещала притворно волю его исполнить. В сем случае узнала я, что Ахаль влюблен в меня смертельно и что не досада действовала в нем в то время, но прямая его любовь.

С полчаса спустя времени пришел слуга от Свидаля, принес письмо и отдал его в руки Ахалю, а оно было следующего содержания:

«Государь мой!

Я вами обижен, а поношение чести, вы знаете, чем платится, так сделайте мне удовольствие. Завтра в десятом часу полуночи пожалуйте в Марьину рощу, где я буду ожидать вас, а если вы не будете, то опасайтесь, чтоб не поступил с вами так, как поступают с площадными мошенниками.

Слуга ваш Свидаль».

Прочитав сие письмо, Ахаль побледнел, по-видимому струсил, по причине той, что он весьма был неискусен к назначенным поединкам, и сие случилося с ним в первый раз во всю его жизнь. Однако, собравши хотя последние силы, сказал он слуге, что удовольствует его господина как ему угодно и, очень мало посидя у меня, без всех любовных церемоний со мной расстался и поехал от меня весьма смущен и в превеликой трусости. На-

добно признаться, что назначенный их поединок как меня, так и мою надзирательницу привел в изрядное движение, мы не знали, что тогда делать, куда бежать и где скрыться, ибо я уже узнала, каково хорошо сидеть в тюрьме за крепкими сторожами. Всю ночь мы проплакали и нимало не спали, я опасалася худого из того следствия и от искреннего моего сердца жалела Свидаля, по чему узнала, что я его полюбила. Две неизъясненные страсти терзали мое сердце и не давали мне ни на минуту покою, и когда наступил тот час, в который должно было происходить их сражение, лишилась я всех чувств, бросилась без памяти в постелю и находилась в оном беспамятстве часа с два или более. Все наши домашние, стоя подле меня, плакали, они сожалели меня и боялись собственной своей погибели, одним словом, дом наш наполнен был тогда плачем и рыданием, а я находилася без памяти. Впрочем, хотя я была и не совсем изрядного поведения, но в таком случае не сомневаюсь, чтобы я многим добродетельным людям показалася жалкою и достойною их помощи.

В начале двенадцатого часа прибежал в мою комнату Ахаль и, ухватив меня за руку, поднял с постели. Он едва удерживал свое дыхание и был в великой трусости, бросился передо мной на колени и говорил так:

— Государыня моя! не входя в ваше состояние, любил я вас чрезвычайно, недостатки мои были причиною тому, что я вас обманул, но, уехав от вас, узнал я тогда, что никак мне не можно было без вас быть спокойным, того ради возвратился я в Москву и, узнав, что вы находитесь в несчастии, старался всеми силами вам помочь, что мне и удалось. Наконец положил я непременно исполнить мое данное вам обещание и вознамерился на вас жениться; но немилосердая судьба лишает меня сего удовольствия, в этот же час должен я оставить Москву и потом всю Россию. Я несчастливый человек и подвержен теперь жестокому истязанию. Прости, прекрасная, навеки, я застрелил Свидаля.

При сем слове ошиб меня обморок, и я упала в постелю, он же, поцаловав мою руку, ушел от меня поспешно с великими слезами и огорчением, приписывая мой обморок моему с ним расставанию.

В сем-то случае узнала я прямо, что то есть действительная страсть любовная. Услышав о погибели Свидалевой, кровь во мне остыла, гортань мой иссох и губы запеклися, и я насилу произносила мое дыхание. Думала, что лишилася всего света, когда лишилася Свидаля, и лишение моей жизни представля-

лося тогда мне ни во что, я совсем готова была последовать ему в преисподнюю. Всякая напасть в уме моем не могла сравняться с сим моим несчастием. Отворилися ключи из глаз моих, и катилися по лицу слезы без всякого воздержания, представлялся он весьма живо предо мною, все его прелести, нежности и учтивство обитали в глазах моих неотступно, рвалася я без всякой пощады, и неутолимая скорбь съедала мое страждущее сердце. Всякая погибель тогда уже была мне не страшна, и я готова была всё претерпеть и приступить без робости к смерти, только чтобы оплатить Свидалю за потерянне его жизни, чему была причиною я, из всех несчастливая на свете.

Надзирательница моя много раз приступала ко мне и советовала бежать из города, но я не столько думала о своей погибели, сколько сожалела о кончине Свидалевой. В самом мучительном беспокойстве проводила я тот день и следующую ночь и совсем отчаивалась в своей жизни. Поутру лежала я в постеле в великом беспорядке и воображала мертвого Свидаля. Вдруг предстал он предо мною и, бросясь ко мне, целовал мои руки. Сколько сил моих было, я закричала и пришла в беспамятство. Домашние все бросились ко мне и уверяли меня, что Свидаль стоит передо мною не мертвый, но живой, и что это не привидение, но истинная быль. Сколько трудно мне было из великого отчаяния прийти в чрезмерную радость, оное чувствовала я в моей внутренности, от чего после немогла я долго. Вскочив с постели, бросилась в его объятия, но и тут еще не верила, что он жив находится предо мною; однако в таких случаях уверение делается скоро. Он начал говорить и уверять меня в своей любви, а мертвые никогда не изъясняются в такой страсти. Таким образом, узнала я действительно, что он жив и любит меня столько же, сколько я его, или, может быть, и меньше, в чем мы с ним не рядились, а полюбили друг друга без всякого торгу. Восхищения нашего в сем случае описывать я не буду для того, что лишнее будет входить во все подробности слов, действий и движения, которые производятся в любовном беспамятстве, и многие уже различными опытами удостоверились, что спустя несколько времени страсть восхищенного совсем пропадает и совсем позабывает все, что любовник тогда говорил, точно так, как больной после горячки или сумасшедший опамятовавшись.

Должность только одна от начала света, и она принуждает нас к доброму, для того не всякому и мила, и так наделали мы произвольно разных должностей, которые обязуют нас ко всячине. Из сих должностей выбрала я одну, по которой спросила

моего любовника, каким образом освободился он от смерти, на что отвечал он мне такими словами:

— Прямая любовь всегда сопряжена с ревностию, они, совокупяся вместе, сделали меня догадливым и разумным. Во-первых, искал я случая поссориться с Ахалем; а как оное мне удалось, то я, для отмщения моего, вознамерился переведаться с ним на шпагах, но в сем случае действовала весьма изрядная выдумка. Опасался я только того, чтобы он не отказался от поединка. Вчерашнего дня, в назначенный от меня час, дожидался я уже его в роще, и как только он приехал и, оставя карету шагов за пятьсот, пришел ко мне в рощу, я, выняв мою шпагу, велел ему изготовиться, к чему приступил он с великою трусостию, я же, давая ему послабление и желая лучше обмануть его, сказал ему, что не изволит ли он переведаться со мною на пистолетах. Он на сие охотнее согласился, ибо стреляет он чрезвычайно хорошо. Таким образом, вынул я из кармана два пистолета, совсем изготовленные, только заряженные без пуль, чего он в трусости приметить не мог, один дал я ему, а другой оставил у себя и, отошед на некоторое расстояние, дали друг другу знаки к сражению и выстрелили оба вместе. Я упал и притворился застреленным. Слуги мои бросились ко мне и начали выть и кричать, как оным было приказано. Ахаль думал, что и подлинно застрелил меня, бросился в карету и вчера же ввечеру уехал из города.

После его слов начали мы хохотать, а после смеха благодарили судьбину за ее к нам снисхождение. Таким образом, досталася я Свидалю в полную его волю, и он радовался более, нежели тщеславный предводитель о завоевании неприятельской крепости, а Ахаль, думаю, в это время погонял своих лошадей и уезжал от мнимой своей погибели.

Любовник мой читывал негде, что Купидон позолотил свои стрелы и сею хитростию покорил себе все смертное поколение, и для того в нынешнем веке всякое сердце желает быть пронзено золотою стрелою, а в случае бедности и самая красота не очень пленяет. Таким образом, для подтверждения взаимной нашей страсти, определил он мне по две тысячи годового жалованья, выключая подарков и других моих прихотей; сверх же того обещал подарить мне тысячу рублев, ежели рожу я сына и он будет походить на него, и так начала я молить бога, а то и позабыла, что небо не обязано благословлять наши беззакония, хотя бы, впрочем, начинали мы оные и с молитвою. Богатство сие меня не веселило; ибо я уже видала оного довольно, но предприяла быть поосторожнее и вознамерилася запастись для

нужного случая. Определила шкатулку, в которую клала чистые червонцы, чтоб в случае перемены счастия послужила она мне подпорою.

В сие время судьба даровала мне подругу; она была купеческая жена, но дворянская дочь, женщина весьма искусная и знающая, как показывать вид такой женщины, которая имеет великое богатство, а в самом деле имела она посредственное имение, но из кротости и доброго домостроительства будто бы она не хотела признаться достаточною. Купец взял ее не за имя и не за приданое, а единственно за ее красоту, он ее любил чрезвычайно; однако жил с нею в розных покоях для сбережения собственной своей чести, а больше жизни. Жена его была остра и на всякие выдумки способна, чего он так опасался, как морового поветрия, и в первый месяц после брака хотел он ее оставить охотно; она была из тех женщин, которые сочиняют романы и пишут предуведомления к оным стихами, чего ради собиралося к ней множество остроумных молодых людей, кои для хороших их наук и художеств посещали ее всегда в отсутствие ее мужа, и кто был поискуснее прочих, тот приискивал для нее богатые рифмы. Таким образом занята она будучи рифмотворною сею наукою, редко и спала со своим мужем.

В первый раз, как я к ней приехала, то нашла ее весьма великолепною, сидела она тогда в постеле, а около ее находилося премножество людей ученых, из которых у каждого торчала из кармана писаная бумага, и они по очереди перед собранием прочитывали свои сочинения и полагалися на вкус и на рассуждение хозяйки. Неудивительно мне казалось, что учтивые господа просили в том ее советов, но то представлялось мне чудно, что она бралася за всё, и всякое сочинение хвалила и хулила так, как ей заблагорассудилось; а когда вошел ее муж, то все встали, сделали ему почтение и вилися ему в душу так, как будто все сие собрание были ему истинные и искренние друзья. Я с хозяйкою обошлася весьма ласково и без всяких дальних учтивостей, ибо были мы с нею одного ремесла, а для начала нашего знакомства часа в полтора переговорили мы столько, что целая бы школа не выучили того в неделю. Я узнала, кто она такова, а она уведомилась обо мне подробно, и так познакомилися мы с нею совершенно и назвалися сестрами до тех пор, покамест не придет случай нам разбраниться.

На другой день я была у нее на вечеринке и тут-то насмотрелася различных интермедий. Дом ея показался мне обитанием любови, и все люди ходили и сидели в нем попарно. Чуд-

нее всех показался мне один старик, который уговаривал тринадцатилетнюю девушку, чтобы согласилася она выйти за него замуж. Сколько уговаривал он ее словами, столько приманивал яблоками и апельсинами, которые очень часто вынимал он из карманов и подавал ей с великою учтивостию, а та, не разумея политики, пожирала их так исправно, как будто бы век оных не видала.

В углу сидел какой-то молодец с бабушкою и разговаривал весьма скромно. Сего молодого человека хотела было я похвалить за то, что имеет он почтение к своим предкам и в угодность своей бабушки оставляет вертопрашные увеселения, но хозяйка уверила меня, что это любовник с любовницею. Молодой человек уверяет ее, что он ее чрезвычайно любит и, убегая от хронологии, которая престарелым кокеткам не весьма приятна, говорит ей:

— Вы, сударыня, весьма приятны, ветрености в вас никакой быть не может и всех тех пороков, которые молодости приличны; зрелыя лета имеют свою цену, и вы будете обузданием моей молодости.

Он имел намерение на ней жениться с тою надеждою, что сия беззубая Грация не проживет на свете больше года, а достаточное ее приданое сделает молодцу изрядное удовольствие.

Высокий и пузатый детина был тут всех вольнее, по причине той, что он, в случае нужды, служил в великое удовольствие хозяйке; хохотал так громко, что заглушал басовую скрыпицу. Он играл в карты с некоторою девицею, которая так была тучна, что весьма много походила на скелета. Это была его невеста, которую он с высоты своей премудрости назначил к себе на ложе.

Там позолоченный офицер повертывался около одной судейской жены и учил ее умножению. Инде красавица приставала к задумчивому щеголю и представляла ему себя ко услугам. Посередине сидел малорослый стихотворец и прокрикивал стихи из сочиненной им трагедии; пот валит с него как град, а сожительница его в то время белым платком утирала напольпого офицера. Одним словом, нашла я тут любовную школу, или дом беззакония. Впрочем, хозяйка имела передо всеми преимущество. С кем бы какой кавалер ни начал свою любовь, то с хозяйкою непременно оную окончает, по причине той, что она была женщина всякой похвалы достойна и любила сожителя своего гораздо издалека. Свидаль за мною заехал, и так простившися со всеми, поехала я домой; тут вселилося в меня рассуждение о женщинах. Многие бывают из нас чрезвычайно

ветрены, и для того некоторые ученые люди и господа философы все вообще нас ненавидят, однако по рассуждению моему нашла я, что хула их сама по себе ничего не значит, ибо для прелестей сего пола нередко дурачились господа философы. Сократ почти был главный неприятель рода нашего; однако не мог обойтися без женитьбы, и в воздаяние за презрение к нам имел он жену самую своенравную, которая съедала его сердце так, как ржа железо.

Был у меня в службе малороссиянин, детина проворный и услужливый; он выкидывал разные штуки, как-то: глотал ножи и вилки, выпускал из яиц голубят и продевал сквозь щеку иглу, запирал губы замком и прочая, по чему заключили об нем, что он колдун. Поутру рассказывал он мне, что служанка моей знакомки открыла ему некоторую тайность, а именно, с полгода уже тому времени госпожа ее ищет такого человека, который бы извел ея мужа, но чтобы было это бесприметно, и дает за это сто рублев, и просила моего слугу, чтобы он вступился в это дело.

— Я не отказался,— продолжал он,— и хочу ей услужить.

Услышав от него такое намерение, я испугалась и говорила ему, что я на это не согласна и, конечно, намерение его объявлю всем людям. При сем слове он усмехнулся и сказал:

— Вы, конечно, сударыня, еще немного искусилися в свете и думаете, что люди делаются врагами себе самопроизвольно. Я знаю, что отвечать за это тяжело, и для того, конечно, не впущусь в дурные следствия, намерен сыграть комедию, за представление которой получу я сто рублев, невинный же купец останется жив; первое вступление начну я сегодня, увольте меня к ним.

Я его отпустила, и он пошел, однако рассудилось мне, что при игрании сей комедии должно быть мне самой и открыть ее Свидалю, чтоб не произошло из того какого худа. Как я думала, так и сделала.

Слуга мой пришел и принес пятьдесят рублев, которые взял он у них на составление яду, ибо он рассказывал им, что яд, который начинает действие свое через неделю, становится весьма дорого. Свидаль спрашивал его, что же он намерен делать?

— Составить яд,— отвечал он,— вы увидите, что и я не последний медик, а составив оный, при вас же выпью его рюмку, чтобы вы не опасались из того худых следствий.

И так варил он некакие травы и составлял тот яд часа с два, а как спросили мы его, во что он ему стал, то он сказал нам, что

в шесть копеек с полушкою. Наливши его в склянку, остатки выпил при нас и сказал, что если принять сей состав в пиве, то дней через пять на полчаса времени столько рассердится человек, что готов будет переколоть всех своих домашних, или кто ему ни попадется, и после никакого вреда чувствовать от того не будет. Мы ему в том поверили и отпустили его с составом к моей знакомке, которой дал он наставление, как поступать в то время, когда будет действовать данный ему яд. В пятый день поутру, как сказывали нам, купец взбесился и метался на всех своих домашних, таким образом связали ему руки и ноги и положили в постелю. Знакомка моя послала за всею роднею, которые собрались видеть ее несчастие, к чему приглашена была и я. Свидаль также хотел того поглядеть, и так поехали мы оба. В то время, как мы приехали, перестал уже яд действовать, и купец находился в прежнем своем рассудке; однако все люди утверждали, что он без ума и что разум его совсем помешался; он доказывал, что он в трезвом рассудке; только никто тому не верил, и развязывать его не хотели. Наконец принялся он просить их, чтобы они его освободили, но из сожаления к нему сделать этого не хотели. Потом начал он всех ругать и говорил, что конечно в этот день весь свет сошел с ума; таким образом, приятели и родные принялися его уговаривать, а жена, сидя против его, плакала и приказывала людям, чтобы они держали его крепче; он скрежетал на нее зубами и хотел перекусить ее пополам.

Жена уверяла всех, что он уже безнадежен, и для того хотела при всех освидетельствовать, сколько у него векселей и других записок, и как стали вынимать у него для того ключи, то начал он кричать: «Караул! разбой! грабят!» — и прочая; чего ради многие присоветовали окурить его ладоном и крестить поминутно, чтобы отогнать от него нечистую силу, которая невидимо мучила его несказанно. Несчастный купец не знал, что тогда и делать, припялся он за слезы и начал весьма горестно плакать. Все слезам его соответствовали; однако никто развязывать его не хотел, ибо жена и все их домашние сказывали, что он всех было перерезал и что верить ему ни в чем уже не надобно, ибо он совсем рехнулся. Не было ему избавления ни в ком, того ради начал он просить отца духовного. В одну минуту за ним послали, и когда он пришел, то вышли все из комнаты и оставили их двоих.

С полчаса спустя времени, вышел оттуда священник и говорил всем, что он находит его в совершенном уме и в надлежащей памяти.

— И вы напрасно так строго с ним поступаете,— примолвил он,— развяжите его, я вас уверяю, что он нимало не помешался в разуме.

И так оставил он их дом, смеяся, может быть, их дурачеству. Все тут бывшие хотели беспрекословно священникову приказу повиноваться, а одна только жена тому противилась и просила всех со слезами, чтобы не развязывали ее супруга, однако ее не послушались и развязали. Человек, столь огорченный, конечно позабудет всякую благопристойность и вознамерится отомстить своему злодею; купец бросился на свою жену и, ухватя ее за волосы, повалил на пол. Все, сколько тут ни было людей, бросилися на него и, несмотря ни на сопротивление его, ни на просьбу, скрутили его опять и положили в постелю, приговаривая: «Теперь уже ты нас не обманешь, изволь-ко опочивать спокойно, а то ты неугомонен».

Купец, не видя способа ко избавлению своему, умолк и попустил свирепствовать над собою несчастию, о котором думал он, что оно по прошествии злого времени угомонится и что люди, пришедши в разум, признают его не сумасшедшим, итак положил он покориться беснующемуся року.

Время уже подходило к обеду, а хозяин страдал еще в пеньковых оковах, наконец принужден он был признаться, что он действительно сходил с ума, и теперь, благодаря судьбину, пришел в прежнее чувство; таким образом, дал он клятву, что никого больше обеспокоивать не будет, и разрешился от связания. Весело было тогда смотреть, как он ходил по горнице задумавшись, и все боялись подступить к нему и ходили около его кругом. Что ему тогда представлялось, когда все люди почитали его неправильно сумасшедшим? Наконец набрали на стол и все сели, на всем столе не было ни одного ножа, ни вилки, ибо опасались, чтоб тут не нашел на него благой час и не заколол бы он кого-нибудь. В самое это время приехали гости, оных уведомили еще в передней о несчастии хозяина, вошедши, они стали у дверей и говорили ему оттуда: «Здравствуй, государь мой!», а подступить к нему боялись и, севши за стол, глядели на него с удивлением так, как на сущего дурака. Досада написана была на его лице, он хотел в сию ж минуту отомстить своей злодейке, но боялся опять быть связанным. Хотелося ему хотя исподволь уведомиться о своей судьбине, и лишь только спросил он: «Почему вы сочли меня безумным?», то все было бросились опять его вязать, ибо думали, что опять блажь на него нашла. Поистине казался он мне жалок, что,

будучи в доме хозяином, не мог ни жене, ни слугам своим выговорить ни слова.

Свидаль с позволением хозяев вышел на час из-за стола и, пришедши оттуда, говорил хозяину, что есть у него слуга, который великий мастер сказывать сказки: «Не угодно ли вам, пускай он скажет одну для разогнания беспокойных ваших мыслей». Хозяин был тому чрезвычайно рад и говорил с Свидалем почти сквозь слез. Свидаль кликнул нашего малороссиянина и приказал ему сказывать, а выходя, научил его, что говорить и как, а слуга приказ его совершенно должен был исполнить, и так начал он свою сказку, которая не только всех, но и меня чрезвычайно удивила для того, что я совсем о том не думала, а Свидаль сделал это из одного сожаления к хозяину, о котором соболезновал он уже нестерпимо.

СКАЗКА

— Некоторый богатый купец, пришедши в совершенный возраст и не имея у себя ни отца, ни матери, вздумал жениться. Он не искал приданого, а искал красавицу и добродетельную и чтобы была она обучена всем тем художествам и наукам, которые бы делали ее разумною матерью, попечительною хозяйкою и любви достойною женою, но как ныне весьма трудно сыскать такую женщину, то напал он на дочь некоторого секретаря, которая была довольно хороша и знала ту науку наизусть, которая не позволяет оставлять молодого мужчину в нужде. Впрочем, была она и не без приданого и принесла с собою весьма много имения, которое состояло в недействительных рукоприкладных бумажках, пространных требованиях и в нелестной надежде, что получит она наследство после своего дяди, который теперь находится за делами в Сибири, и если он умрет, не женяся, бездетен и не оставив после себя духовной...

При сем слове хозяин обернулся к слуге, сказал:

— Пожалуй, на час.— И потом говорил Свидалю: — Государь мой, это настоящая моя история, и ее бы, я чаю, ни самый лучший сочинитель описать так живо не мог.

— Извольте слушать,— сказал ему Свидаль,— окончание ее вам будет весьма приятно, а хозяюшке вашей поносно, но пороки всегда публично наказываются, и это я делаю из сожаления к вам. Я знаю, что вы не без ума, будьте хозяин в вашем доме и прикажите ей сидеть и слушать.

А знакомка моя хотела было тогда идти вон, хозяин ей приказал, чтобы она сидела:

— И если ты что сделала дурно, то пускай и родители твои это услышат, а они теперь находятся с нами. Изволь продолжать,— говорил хозяин слуге нашему,— а милостию твоего господина я очень много обязан и вижу, что безумство мое выходит теперь наружу, чему я черезвычайно рад.

— Брак их совершился, и она в половине первого месяца мужем своим наскучила и начала успокоевать натуральное свое к нему омерзение с некоторыми рифмосплетателями, которые посещали ее всякий час. Сожитель ее такое посещение хотя и считал подозрительным, однако говорить ей о том не смел, ибо переливалася в жилах ее благородная кровь, так он опасался ее обесчестить. Наконец познакомилася она с некоторою госпожою, которая называется Мартона и у которой находился в услугах малороссиянин Ораль. Оный слуга знал различные фокусы, и для того почитали его колдуном. Супруга того купца его подговорила, чтобы он отравил ее мужа, и обещала ему за то сто рублев. Ораль взялся и объявил это своей госпоже, которая, опасаясь худого следствия, спрашивала своего слуги, какой намерен он составить яд? А как тот ее уведомил, что он к безбожному столь делу приступить не намерен, а желает только получить обещанные ему деньги и купецкую ту жену обмануть. И так составив яд, выпил он сам прежде пред своею госпожою яду того рюмку; следовательно, было то действительным доказательством, что яд тот не вреден. Взял тот слуга с госпожи купецкой жены денег пятьдесят рублев для составу того яду: он сделал в шесть копеек с полушкою и отдал ей в руки. Она поднесла своему мужу с тем намерением, что он умрет; и как сделался с ним некоторый припадок, то его связали и положили на постелю. А окончание моей сказки сделалося с вами, господин хозяин: вы оное знаете, да и все ваши гости, следовательно, досказывать я вам не буду.

После сего слова вскочил хозяин с своего места и поцаловал нашего слугу в темя, благодаря его за избавление свое от смерти, и дал ему еще четыреста пятьдесят рублев, говоря, что:

— Вместо ста рублев имей ты теперь пятьсот за твою добродетель. Что же касается до жены моей, то я скажу данное нам от праведных правило: «Уклонися от зла и сотвори бла-

го» —и совсем отомщевать ей за ее беззаконие не намерен. Будете ли вы довольны, сударыня,— говорил он ей,— я куплю вам деревню на ваше имя: вы извольте туда ехать и живите там благополучно. Мне вы не надобны, и я жить с вами больше не намерен, а чтоб не понести вашей чести, то я нигде о несчастии моем и говорить не буду.

Таким образом кончилась комедия, в которой был первым действующим лицом мой слуга, и который был хозяином чрезвычайно доволен. Купец вознамерился действительно купить деревню своей жене и ее туда сослать, благодарил моего любовника за посрамление его сожительницы. И так расстались мы с ними в тот вечер, хотя и не думали, чтоб надолго, однако, против чаяния нашего, навеки.

Вся наша жизнь состоит в провождении времени. Некоторые люди проводят ее в трудах и в делах, обществу полезных, а другие в праздности и безделках, несмотря на то, что роскошь и праздность, как два сосца всех пороков, под видом сладости вливают в душу нашу и тело зловредную язву, наносят бедность и смертельные болезни, а в любови все люди упражняются на досуге.

Свидаль от гражданских дел был завсегда свободен; а я не обязана была никакою должностию; следовательно, были мы люди праздные, или бездельные,— таким образом, ни одного часа и ни одной минуты не упускали упражняться в любовных обращениях.

По прошествии довольного времени получила я письмо следующего содержания.

«Государыня моя!

Природа производит человека на свет с тем, чтоб по испытании разных коловратностей оного умереть, следовательно, никто избегнуть не может определенной сей части. Счастлив тот человек, который умирает благополучно и, не чувствуя никакой беды, оставляет сей свет без сожаления. А я пренесчастливый смертный, лиша приятеля моего жизни, лишился через то любовницы и ныне для той же причины лишаюся жизни... Несносное мучение! ужас меня объемлет, когда приступаю я уведомить вас о моем несчастии. Я принял яд, готовлюся к смерти и ожидаю оныя весьма скоро, и осмеливаюся просить вас, чтобы вы удостоили меня увидеть вас в последний раз. Слуга мой скажет вам, где я, ожидающий вас с нетерпеливостью.

Ахаль».

Хотя гонители премудрости и наперсники Венерины, господа петиметры [1], и говорят, что сожаление нашей сестре нимало не сродно, однако я почитаю, что они в сем случае столько знающи, сколько философы в доказательстве о том, что есть поцалуй. Прочитав сие письмо, почувствовала я в себе ужасное сокрушение. Дурной против меня поступок Ахалев совсем истребился из моей памяти, и одни только его благодеяния представлялися живо в моем понятии. Я плакала о его кончине и сожалела его столько, сколько сожалеет сестра о родном своем брате, который наградил ее приданым и от которого не остается ей в наследство ни капли. Послала я тотчас уведомить о сем Свидаля, который, нимало не медля, приехал ко мне и велел мне готовиться ехать к Ахалю, чтоб застать его в живых. Таким образом, весьма в скорое время мы собралися и поехали оба вместе, а слуга Ахалев был у нас провожатым.

То место, в котором Ахаль находился, было от Москвы верст за двадцать, и когда мы начали подъезжать к нему, то Свидаль вышел из кареты и велел мне одной ехать, а сам хотел показаться Ахалю после, и просил меня и слугу его, чтобы мы не сказывали Ахалю, что Свидаль находится в живых; ибо он сам хотел перед ним извиниться и испросить у него прощения в толь гнусном и неумышленном проступке.

Как только въехала я на двор, то услышала ужасный плач ото всех домашних; ибо этот был двор Ахалев, который купил он на мои деньги. Я думала, что он уже скончался, ноги мои подогнулись, и я находилася тогда вне себя, как выходила из кареты; однако уведомили меня, что он еще жив. Когда я вошла в комнату, то вид оной представился мне весьма страшным; она обита была, как пол, так стены и потолок и, словом, все черною фланелью, кровать стояла с таким же занавесом, на котором положена была белая высечка, стол покрыт также черным, а другой стоял впереди; на оном виден был крест, под которым лежал череп человеческой головы и две кости, а перед образом стояла лампада. Ахаль сидел за столом и читал книгу, на нем был черный шлафрок и черный колпак с белою обвивкою: он, читая, плакал чрезвычайно горестно. Услышавши, что я вошла, взглянул на меня с великим прискорбием и, залившись пуще слезами, говорил так:

— Государыня моя, вы видите такого человека, который оставляет сей свет и отходит в неизвестную ему дорогу. Различные воображения терзают мое сердце и неукротимая совесть, как

[1] щеголи вертопрахи (от *франц.* petits-maîtres).— *Ред.*

первый судия дел наших, представляет мне ясно, что я всем на свете гнусен, сделавшись смертоубийцею самопроизвольно; душа, пораженная моею рукою, кажется мне, что стоит у престола правосудия и просит праведного мне отмщения; итак, предупреждая гнев судьбины, наказал я сам себя за сделанное мною злодейство. Сядьте, сударыня, я расскажу вам мое несчастие.

Как приступил я к богопротивному делу и умертвил Свидаля, о том, я чаю, уведомлены вы от кого-нибудь; а я, будучи в заблуждении моего разума, рассказать вам не в силах. Простившись с вами, предприял я бежать от моего беззакония и лишиться того места, которое представляло мне живо мое злодейство и грозило за то правильным и бесчестным наказанием. От места я удалялся, но от терзания совести моей удалиться не мог: оно за мною всюду следовало, везде меня мучило и приводило в раскаяние. Наконец напал на меня ужасный страх, и когда я засыпал, то Свидаль, приходя, будил меня и, стоя передо мною, плакал весьма горько. Ужас меня обуял, и я ни днем, ни ночью не имел покоя. Где я ни ходил, страх за мною следовал, и наконец собственная моя тень приводила меня в ужас. Не видав никакого способа к моему избавлению, предприял я окончать поносную жизнь и лишиться того света, которого я ненавидел, может быть неосновательно, и который возненавидел меня справедливо. Возвратился я сюда, и как скоро прибыл, то, учредив все к моей кончине, выпил яд и почитаю уже себя мертвым, а при кончине жизни моей вижу, что я еще счастлив и могу проститься с тою, для которой я жил и пострадал. Уверял я вас в моей жизни, что я вас люблю, и при кончине оной то же подтверждаю. Вот вам крепость на сей двор, который я купил на ваши деньги; и она писана на ваше имя, вот вам и моя духовная; я безроден и отказал все сие имение вам. Сим свидетельствую, что вы мне были милы.

При сих словах не могла я удержаться от слез и была уже не в силах сокрывать ту тайну, о которой просил меня Свидаль, и как только вознамерилася было говорить ему об оной, то увидела, что лицо его переменилось, глаза остановилися, ужасное трясение вступило во все его члены. Он не говорил больше ни слова и жал весьма крепко мою руку. Я подумала, что уже конечно последний час его жизни наступает, и выпитый им яд начинает свое действие. Чего ради закричала я, чтобы вошли к нам люди. От голосу моего пришел он несколько в себя и стал просить у меня извинения в том, что, может быть, в чем-нибудь он меня обеспокоил, и говорил уже весьма смутно, так, что ни начала, ни окончания его речи приметить было невозможно, и

казался он мне совсем отчаянным жизни. Я просила его слуг, чтобы постаралися они сыскать Свидаля и уведомить его, что Ахаль уже отходит, и чтобы он спешил принести ему свое извинение. Услышав имя Свидаля, пришел он в пущий беспорядок; ужас его обнял и мало подкрепляющий его разум совсем уже оставил. В великом исступлении говорил он так:

— Ужасная тень! хотя при последнем моем издыхании оставь меня в покое. Я знаю, что мщение твое справедливо, справедлив твой гнев и твой убийца достоин от тебя всякого наказания. Я трепещу и без великого ужаса взглянуть на тебя не смею. Ты представляешься мне в крови, без дыхания и без гласа. Все оное я у тебя отнял, всему причиною я и достоин всякого истязания во аде. Я готов на все муки, какие только тебе и огорченной мной судьбине угодны. Я мерзок сам себе и для того сам и прекратил ненавистные дни мои и сожалею, что лютая смерть еще медлит вырвать из меня с мучением мою душу. Я уже готов и все к тому учреждено.

Все, сколько нас тут ни было, старалися подавать ему помощь. Я плакала неутешно, а слуги его ревели несказанно, ибо он был милостивый до них господин. Посылала я за лекарями, но мне сказано, что запрещено им под проклятием никакого не привозить к нему и что они дали в том ему присягу; следовательно, что мне взошло только на ум, тем я его и пользовала. Несколько он опамятовался и просил меня, чтобы я не трудилась в подавании ему помощи,— «ибо она уже для меня не надобна»,— говорил он. В самое это время вбежал весьма поспешно Свидаль. Как скоро увидел его почти бесчувственный Ахаль, рванулся из наших рук и пришел в ужасное исступление; бился он и рвался, кричал, сколько силы его дозволили, и походил совсем на сумасшедшего. Сколько сил наших было, мы его держали и прикрыли наконец одеялом, чтобы несколько собрал он расточенного своего разума и лишился бы того ужаса, который он почувствовал, увидевши убитого им Свидаля, как он об этом думал и представлял, что злодейство его выше всякого беззакония на свете.

Конец первой части

ЖИВОПИСЕЦ

Третье издание. 1775 г.

ЧАСТЬ I

НЕИЗВЕСТНОМУ Г. СОЧИНИТЕЛЮ КОМЕДИИ «О ВРЕМЯ»,[2] ПРИПИСАНИЕ

Государь мой!

Я не знаю, кто вы; но ведаю только то, что за сочинение ваше достойны почтения и великия благодарности. Ваша комедия «О время!» троекратно представлена была на императорском придворном феатре и троекратно постепенно умножала справедливую похвалу своему сочинителю.— И как не быть ей хвалимой? Вы первый сочинили комедию точно в наших нравах; вы первый с таким искусством и остротою заставили слушать едкость сатиры с приятностию и удовольствием; вы первый с такою благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие; и вы первый достоин по справедливости великия похвалы, во представлении вашей комедии оказанныя. Продолжайте, государь мой, ко славе России, к чести своего имени и к великому удовольствию разумных единоземцев ваших: продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочинениями: перо ваше достойно будет равенства с Молиеровым. Следуйте только его примеру: взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле ко прославлению вашему осталось. Истребите из сердца своего всякое пристрастие; не взирайте на лица; порочный человек во всяком звании равного достоин презрения. Низкостепенный порочный

человек, видя осмеваема себя купно с превосходительным, не будет иметь причины роптать, что пороки в бедности только единой пером вашим угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками, пусть хотя в первый раз в жизни своей восчувствует равенство с низкостепенными. Вы первый достойн показать, что дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя; имя, всеобщия достойное похвалы: я никакие не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя толь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь их злословия.— Нет, такая слабость никогда не может иметь места в благородном сердце. И может ли такая ваша смелость опасаться угнетения в то время, когда ко счастию России и ко благоденствию человеческого рода владычествует нами премудрая Екатерина? Ее удовольствие, оказанное во представлении вашея комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям. Чего ж осталось вам страшиться? Но, может быть, особенные причины принуждают вас укрывать свое имя; ежели так, то не тщусь проникать оных. И хотя имя ваше навсегда останется неизвестным, однако ж почтение к вам мое никогда не умалится. Оно единственным было побуждением приписанию вам сочинения под названием «Живописца». Примите, государь мой, сей знак благодарности за ваше преполезное сочинение от единоземца вашего. Вы открыли мне дорогу, которыя всегда я страшился; вы возбудили во мне желание подражать вам в похвальном подвиге исправлять нравы своих единоземцев, вы поострили меня испытать в том свои силы: и дай боже! чтобы читатели в листах моих находили хотя некоторое подобие той соли и остроты, которые оживляют ваше сочинение. Если ж буду иметь успех в моем предприятии и если принесут листы мои пользу и увеселение читателям, то и за сие они не мне, но вам будут одолжены: ибо без вашего примера не отважился бы я напасть на пороки. Впрочем, я останусь навсегда

вашим почитателем

С[очинитель] «Живописца».

П. П. Хотел бы я просить вас, чтобы вы сделали честь моему журналу сообщением какого-либо из ваших мелких сочинений; но опасаюсь отвлечь от упражнений ваших.

В Санктпетербурге,
апреля 12 дня,
1772 года

К ЧИТАТЕЛЮ

Благосклонное принятие первым двум изданиям сего труда моего ободрило меня приступить ко третиему. Если бы я был самолюбив, то скорый сей расход «Живописцу» неотменно поставил бы на счет достоинства моего сочинения; но будучи о дарованиях своих весьма умеренного мнения, лучше соглашаюсь верить тому, что сие сочинение попало на вкус мещан наших: ибо у нас те только книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые сим простосердечным людям, по незнанию их чужестранных языков, нравятся; люди же, разумы свои знанием французского языка просветившие, полагая книги в число головных украшений, довольствуются всеми головными уборами, привозимыми изо Франции, как-то: пудрою, помадою, книгами и проч. В подтверждение сего моего мнения служат те книги, кои от просвещенных людей никакого уважения не заслуживают и читаются одними только мещанами; сии книги суть: «Троянская история», «Синопсис», «Юности честное зерцало», «Совершенное воспитание детей», «Азовская история» и другие некоторые. Напротив того, книги, на вкус наших мещан не попавшие, весьма спокойно лежат в хранилищах, почти вечною для них темницею назначенных. Сожалеть должно о том, что в число сих последних многие весьма хорошие и полезные книги попались, которые весьма бы были достойны занимать место самой душистой пудры, изо Франции привозимой.

Впрочем, должно объявить читателю, что я в журнале моем многое переменил, иное исправил, другое выключил и многое прибавил из прежде выданных моих сочинений под другими заглавиями. Сие сделал я по примеру французских писателей, которые весьма часто сие употребляют для лучшего расхода своих сочинений.

I

АВТОР К САМОМУ СЕБЕ

Ты делаешься Автором; ты принимаешь название живописца; но не такого, который пишет кистью, а живописца, пером изображающего наисокровеннейшие в сердцах человеческих пороки. Знаешь ли, мой друг, какой ты участи себя подвергаешь? Ведаешь ли совершенно, какой предлежит тебе труд? Известны ли тебе твои свойства и твои читатели? Надеешься ли всем им сделать угождение? Взвесил ли ты беспристрастно свои достоинства и способности? Подумал ли, что худой Автор добровольно подвергает себя всеобщему осмеянию? — Ты молчишь: бедный человек! ты столько же порабощен страстям своим, как и те, которых исправлять намеряешься! — Слышу твое возражение: как оно слабо и смешно. Ты говоришь:

— Вить другие пишут, не больше моего имея способностей; для чего же не писать и мне, имев столько же к писанию охоты, как и они; да еще и тогда, как все мои приятели уверяют, что я к писанию способен; ты один только упорствуешь и никогда на их не хочешь согласиться мнение.

— Выслушай мой ответ, твоими же скажу тебе словами: вить других пересмехают, для чего же ты примером их не исправляешься? Приятели твои льстили тебе или по легкомыслию, или в насмешку, или, наконец, по ложной благопристойности худое хвалить, дабы не раздражить хулимого: ты узнаешь, сколь опасны такие приятели! Я ведаю, что утвердить тебя в твоем заблуждении невеликого им стоило труда. Самолюбие твое было тем удовольствовано, и ты думал так: других пересмехали и

охуждали для того, что они писали дурно. Я сам усматривал их погрешности; я буду стараться убегать от подобных и потому не только что не подвергну себя порицанию, но надеюсь еще заслужить похвалу.— Как ты худо себя знаешь и какое заблуждение! Все писатели так думают, все так мысленно оправдываются, все так заблуждают, и все в других находят погрешности, а не видят только собственных своих.

— Посмотри на сего высокопарного *Невпопада;* он силится, напрягается, обещает гору, но всегда рождает мышь: все так о нем говорят; но он один утверждает, что все обманываются,— бедный автор!

— Взгляни на сего дерзкого *Кривотолка;* он безо всякия пощады порицает сочинения всех славных писателей, показывая тем остроту своего разума: он хорошие сочинения других обращает в худые, а свои негодные поставляет равными наилучшим сочинениям славных писателей; но никто из разумных людей ему не верит, и всякий говорит: он истинный *Кривотолк!* Какая ж причина сему *Кривотолкову* заблуждению? Зависть,— бедный автор!

— Тут найдешь писателя, старающегося забавлять разум своими сочинениями и производить смех в разумных читателях; но увидишь, что он больше досаждает и производит скуку, а смеется только сам,— бедный автор!

— В другом месте увидишь нравоучителя, порицающего всех критиков и утверждающего, что сатиры ожесточают только нравы; а исправляют нравоучения; но читатель ему ответствует: «Ты пишешь так сухо, что я не имею терпения никогда читать твои сочинения»,— бедный автор!

— Там сатирик описывает пороки, язвит порочных, забавляет разум остротою своего сочинения и приносит удовольствие. Некоторые читатели говорят ему: «Ты забавен; я читал тебя с приятностию, но ты едок; я тебя опасаюсь»; а прочие кричат: «Он всесветный ругатель!» — О бедный автор!

— Встречается со мною трагический писатель; он сочиняет трагедию и говорит: «Комедия развращает только нравы и научает порокам, а не исправляет оных: такие сочинения не только что бесполезны, но и вредны. Одна трагедия имеет своею целию добродетель и научает оной и самих царей. Какая завидная участь!..» Но читатель ему ответствует: «Ежели твоя трагедия хороша, то тогда услаждает она мои чувства и питает разум; но, однако ж, ведай, что до сея пищи охотников не много»,— бедный автор!

— Писатель комедии говорит: «Трагедия показывает следы нравоучения тем людям, которые в оном не имеют нужды: научать таких людей, кои или уже добродетельны, или не слушают его нравоучения, есть труд бесполезный. Напротив того, комедия приятным нравоучением и забавною критикою исправляет нравы частных людей; язвит пороки, не дает им усиливаться, искореняет их: словом, из всех феатральных сочинений одна комедия полезна»; но читатель ему говорит: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмехаю»,— бедный автор!

— Тут следует писатель, который не сочиняет ни трагедий, ни комедий для того только, что сии роды сочинений очень стары: он охотник выдумывать новое и для того пишет сочинение в таком вкусе, который с лишком за две тысячи лет откинут; ему читатель ответствует: «Напрасно ты трудишься; ты очень...» — бедный автор!

— Но мне еще встречается писатель: он сочиняет пастушеские песни и на нежной своей лире воспевает златый век. Говорит, что у городских жителей нравы развращены, пороки царствуют, все отравлено ядом; что добродетель и блаженство бегают от городов и живут в прекрасных долинах, насажденных благоуханными деревами, испещренных различными наилучшими цветами, орошенных источниками, протекающими кристалловидными водами, которые, тихо переливаяся по мелким прозрачным камешкам, восхитительный производят шум. *Блаженство* в виде пастуха сидит при источнике, прикрытом от солнечных лучей густою тению того дуба, который с лишком три тысячи лет зеленым одевается листвием. Пастух на нежной свирели воспевает свою любовь; вокруг его летают зефиры и тихим дыханием приятное производят ему прохлаждение. *Невинность* в видах поднебесных птиц совокупляет приятное свое пение с пастушескою свирелию, и вся природа во успокоении сему приятному внимает согласию. Сама *добродетель* в виде прелестныя пастушки, одетая в белое платье и увенчанная цветами, тихонько к нему подкрадывается; вдруг перед ним показывается; пастух кидает свирель, бросается во объятия своея любовницы и говорит: «Цари всего света, вы завидуете нашему блаженству!» Г. автор восхищается, что двум смертным такое мог дать блаженство: и как хотя мысленным не восхищаться блаженством! жаль только, что оно никогда не существовало в природе! Творец сего блаженства хотя знает всю цену завидныя сея жизни, однако ж живет в городе, в суетах сего мира; а сие, как сказывают, делает он ради двух причин: первое, что в наших

долинах зимою много бывает снега; а второе, что ежели бы он туда переселился, то городские жители совсем позабыли бы блаженство пастушеския жизни. Читатель ему ответствует старинною пословицею: *«Чужую душу в рай, а сам ни ногою»,*— бедный автор, ты других и себя обманываешь.

— Тут предстает пред мои глаза толпа писателей, которые то бредят, что видят; их сочинения иногда читают; но ничего им не ответствуют.— О пребедные авторы! ваша участь достойна сожаления! Но как исчислить всех? Болезни авторские, равно как и сами они, многообразны. Писатели желают быть хамелеонами, преображающимися по своему желанию и показывающимися наилучшими во всех видах, но редкие до сего достигают; прочие же всегда в одном, да и в худом показываются виде.

— Г. живописец, вот картина, изображающая тебе авторов; я не входил в подробности, но начертанием одним изобразил различные роды упражнения, для коего ты себя определяешь. Я не упомянул также о сей грозной туче, на труды авторские всегда устремляющейся; о сих острых критических языках, которые даже до буквы, неправильно поставленныя, писателям никогда не прощают. Что будет со твоими сочинениями, когда и славнейших писателей труды не щадятся? Тебе известно, какие свойства, дарования и способности составляют хорошего писателя: они бывают редки, но когда бывают, тогда обожают их просвещенные читатели. Итак, рассмотря себя, оставь сие упражнение.— Но ты молчишь; и я с досадою на твоем лице усматриваю непременное желание быть Автором. Еще раз прошу тебя, оставь сие упражнение.

— Нельзя,— ты мне отвечаешь.

— Так прости, бедный писатель; с превеликим соболезнованием оставляю тебя на скользкой сей дороге. По малой мере не позабывай никогда слов, мною тебе сказанных: что люди, упорно подвергающие себя осмеянию, никакого не достойны сожаления. Впрочем, я даю тебе совет: избери из своих приятелей друга, который был бы человек разумный, знающий и справедливый: слушай его критику без огорчения; следуй его советам; и хотя оные обидят твое самолюбие, но, однако ж, знай, что они будут иметь действие, подобное горьким лекарствам, от болезней нас освобождающим. Наконец требую от тебя, чтобы ты в сей дороге никогда не разлучался с тою прекрасною женщиною, с которою иногда тебя видал: ты отгадать можешь, что она называется *осторожность.*

II

Приняв название живописца и сделавшись Автором еженедельных листов, нечувствительно сделался я должником всех моих читателей. Они, без сомнения, потребуют в каждую неделю полулиста моего сочинения: я им так обещал и почтенное авторское слово сохраню неотменно. Да для чего ж бы и не сохранить оного? — По моде нашего времени писать не трудно: благодаря бога, правая рука моя здорова, буквы чертить по бумаге научился еще с робячества; итак, были бы только чернила, перо, бумага, так и совсем Автор. О времена! блаженные времена, в которые, не учась грамоте, становимся попами! Некоторые ненавистники письмен нового вкуса утверждают, что ко всякому сочинению потребен разум, учение, критика, рассуждение, знание российского языка и правил грамматических.— Устыдитесь, государи мои, строгие судьи, устыдитесь своего мнения; оставьте ваше заблуждение: посмотрите только на молодых наших писателей, вы увидите, что они никогда вашим не следуют правилам. Вы то проповедуете, чего не было или что вышло уже из моды: кто же будет вам следовать? — Право, никто. По малой мере мы, молодые люди, никогда не отяготим памяти своей ненужным знанием; да это и похвально: для чего без нужды трудиться? На что разум, когда и без оного писать можно? что в рассуждении и критике? — все ли захватить Автору, надобно и читателям что-нибудь оставить. Пропади знание российского языка, ежели и без него можно жить в большом свете: а этот большой свет составляют почтенные и любезные наши щеголи и щеголихи. Исчезните, правила грамматические! вы только пустое делаете затруднение. А учение? — О! эта ненужная тягость совсем брошена.— Но что я слышу! строгие, ученые и благоразумные люди негодуют; вооружаются против меня; хотят делать опровержение моим правилам; я пропал! — Но постойте, государи мои, есть у меня защитники; они за меня ответствовать вам будут.— Благородные невежды, ветреные щеголи, модные вертопрашки, на вас полагаю я надежду; вы держитесь моих правил, защищайте их: острые ваши языки к тому способны. И вы, добрые старички, вы думаете о науках согласно со мною: но по другим только причинам. Вы рассуждаете так: «Деды наши и прадеды ничему не учились, да жили счастливо, богато и спокойно; науки да книги переводят только деньги: какая от них прибыль, одно разоренье!» Детям своим вы говорите: «Расти только велик да будь счастлив, а ум будет».— Прекрасное нравоучение! неоспо-

римые доводы: новая истина открывается свету! Благоразумные старцы, премудрые воспитатели, в вашем невежестве видно некоторое подобие славнейшия в нашем веке человеческия мудрости Жан-Жака Руссо: он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны. Какие ужасные противоположники соглашаются утвердить вред, от наук происходящий! В первый еще раз сии непримиримые неприятели, *разум* и *невежество,* во единомыслие приходят. Прорицалище нашего века, славный Волтер, познай свое заблуждение: старики наши, паче тебя тягостию лет обремененные, никогда не говорят, что на четырех ногах ходить поздно. Послушаем теперь, как молодые люди о науках рассуждают.

— Что в науках,— говорит *Наркис*,— астрономия умножит ли красоту мою паче звезд небесных? — Нет: на что ж мне она? Мафиматика прибавит ли моих доходов? — Нет: черт ли в ней! Фисика изобретет ли новые таинства в природе, служащие к моему украшению? — Нет: куда она годится! История покажет ли мне человека, который бы был прекраснее меня?— Нет: какая ж в ней нужда? География сделает ли меня любезнее? — Нет: так она и недостойна моего внимания. Прочие все науки могут ли произвесть чудо, чтобы красавицы в меня не влюблялись? — Нет: это невозможность; следовательно, для меня все науки бесполезны. А о словесных науках и говорить нечего. Одна только из них заслуживает несколько мое внимание: это стихотворство; да и оно нужно мне тогда только, когда захочется написать песенку. Я бы начал обучаться оному, да то беда, что я не знаю русского языка. Покойный батюшка его терпеть не мог; да и всю Россию ненавидел: и сожалел, что он в ней родился; полно, этому дивиться нечему; она и подлинно это заслуживает: человек с моими достоинствами не может найти счастия! То, что имею я, другой почел бы счастием, но для меня этого мало! — О Россия! Россия! когда научишься ты познавать достоинства людские!

Так рассуждает *Наркис*; достоинства его следующие: танцует прелестно, одевается щегольски, поет как ангел; красавицы почитают его Адонидом, а солюбовники Марсом, и все его трепещут; да есть чего и страшиться: ибо он уже принял несколько уроков от французского шпагобойца. К дополнению его достоинств играет он во все карточные игры совершенно, а притом разумеет по-французски. Не завидный ли это молодец? не совершенный ли он человек? Читатель, скажи мне на ухо, каковы будут дети Наркисовы?

Худовоспитанник говорит:

— Науки никакой не могут мне принести пользы: я определил себя к военной службе, и я имею уже офицерский чин. Науки сделают ли меня смелее? прибавят ли мне храбрости? сделают ли исправнейшим в моей должности? — Нет: так они для меня и не годятся. Вся моя наука состоит в том, чтобы уметь кричать: пали! коли! руби! и быть строгу до чрезвычайности ко своим подчиненным. Науки да книги умягчают сердце; а от мягкосердечия до трусости один только шаг. Итак, пусть учатся и читают книги люди праздные; а я храбростию одною найду себе счастие.

Худовоспитанник точно так и поступает: его называют храбрым офицером, похваляют: отец его радуется, что имеет столь любезного сына. Наконец, по многим храбрым его поступкам, сделал он прехраброе дело: его пожаловали бы большим чином, если бы он что-нибудь разумел опричь науки рубить шпагою. Но тут уже смотрят на него другими глазами и говорят: он был наилучший офицер, когда был под командою, но будет самый худой начальник. Как поверить ему полк? он ничему не учился, ничего не читал и ничего не знает. Вместо большого чина дают ему деньги: он считает себя обиженным, думая, что когда был он хорошим офицером, то был бы еще лучшим начальником. Он идет в отставку и говорит: достоинства не награждаются.

Худовоспитанник приезжает в другую неприятельскую землю, а именно во свое поместье. Служа в полку, собирал он иногда с неприятелей контрибуцию, а здесь со крестьян своих собирает тяжкие подати. Там рубил неверных, а здесь сечет и мучит правоверных. Там не имел он никакия жалости; нет у него и здесь никому и никакой пощады; и если бы можно ему было со крестьянами своими поступать в силу военного устава, то не отказался бы он их *аркибузировать* [1]. Там отнятием неприятельских земель служил он отечеству, а здесь отнятием оных у маломощных своих соседей делается преступником законов отечества. Правильно говорил *Худовоспитанник,* что науки для него бесполезны; не нужны они ему были в военной службе, а в отставке и совсем не годятся!

Кривосуд, получа судейский чин, говорит:

— По наукам ли чины раздаются? Я ничему не учился и не хочу учиться; однако ж я судья. Моя наука теперь в том состоит, чтобы знать наизусть все указы и в случае нужды уметь их употреблять во свою пользу. Науками ли получают

[1] расстреливать (от *франц.* arquebuser).— *Ред.*

деньги? науками ли наживают деревни? науками ли приобретают себе покровителей? науками ли доставляют себе в старости спокойную жизнь? науками ли делают детей своих счастливыми? — Нет! так к чему же они годятся? Будь ученый человек, хотя семи пядей во лбу, да попадись к нам в приказ, то переучим мы его на свой салтык: буде не захочет ходить по миру. О науки! науки! бесполезная тяжесть. О ученые! ученые! вы-то прямые дураки.

Щеголиха говорит:

— Как глупы те люди, которые в науках самые прекрасные лета погубляют. Ужесть как смешны ученые мужчины; а наши сестры ученые — о! они-то совершенные дуры. *Беспримерно,* как они смешны! Не для географии одарила нас природа красотою лица; не для мафиматики дано нам острое и проницательное понятие; не для истории награждены мы пленяющим голосом; не для фисики вложены в нас нежные сердца; для чего же одарены мы сими преимуществами? — чтобы были обожаемы. В слове *уметь нравиться* все наши заключаются науки. За науки ли любят нас до безумия? наукам ли в нас удивляются? науки ли в нас обожают? — Нет, право нет: пусть ученая женщина покажется в ту беседу, в которой будут все наши щеголихи, украшающие собою женский пол: пусть она туда покажется: черт меня возьми! ежели там с нею хотя одно слово промолвят. А ежели она говорить начнет, то все мужчины зевать станут. Счастлива будет она, ежели случится там несколько человек ей подобных: тогда по малой мере хотя не умрет от скуки. Но что ж она тем выигрывает? Не больше, как назовут ее ученою женщиною; да и то такие люди, которых самих называют *педантами.* Прекрасная победа! *беспримерно, как славна!* Ученая женщина! ученая женщина! фуй! как это *неловко.* Напротив того, ежели приеду я в такое собрание, то вмиг окружат меня все мужчины. Станут наперерыв хвалить меня: один удивляется красоте моего лица; другой хвалит руки; третий стан; иной походку; тот приятность моего голоса; иной превозносит нежность моего вкуса в парядах: словом сказать, ни одна из безделок моих даже до булавки не останется, чтобы не была расхвалена. Все кричат: вот прекрасная, приятная и любезная женщина; вот чудесное произведение природы, вот совершенное ее сотворение: она мила, как ангел! Разумеется, что все такие слова без проводника идут к сердцу. Не успею я осмотреться, как уже тысячи найду обожателей. Один говорит, что он хотел бы быть вечно моим слугою, лишь бы мог иметь счастие всегда меня видеть. Как это много! *беспримерно*

много; из благородного человека хочет сделаться слугою для того только, чтобы чаще на меня смотреть и удивляться. Другой говорит, что он оставил бы престол всего света, лишь бы мог быть моим любимым невольником: ужасная мысль! годится хоть в трагедию; по счастию, что он еще не король, а то бы и в истину он так сдурачился. Но, однако ж, его до такого дурачества не допустили бы. Но как исчислить все, что говорят учтивые мужчины красавицам? Ласкательства их неограниченны, а учтивости бесконечны. Слыша это, как не восхищаться? как за учтивости не платить ласкою? Я так и поступаю: с одним поговорю, другого похвалю, на третьего брошу взгляд, поражающий его сердце, и так далее. Я ни одному ничего не обещаю, но, однако ж, всех их к себе привязываю. Ужесть как завидно состояние щеголихи и как *беспримерно* жалко ученой женщины: божусь, что я своего состояния ни на какое не променяю. Какая ж нужда мне в науках? — право, никакой.

Так рассуждает *Щеголиха*. Читатель, скажи, не правильно ли ее рассуждение?

Молокосос говорит:

— Я не хочу тратить времени для наук: они мне не нужны. Чины получаю я по милости моего дядюшки, гораздо еще преимущественнее пред теми, которые в науках погубили молодые свои лета. Деньги на мое содержание жалует мне батюшка, а когда недостает оных, тогда забираю в долг, и мне верят. Начальники мои не только что любят меня, но еще стараются угождать мне, делая тем услугу знатным моим родственникам. В любви счастлив я и без наук: всякая красавица за честь себе почтет быть моею женою. Куда я ни приеду, везде меня ласкают; все хвалят, удивляются моей живости, превозносят остроту мою; итак, по всему науки для меня бесполезны.

Читатель! прибавь от себя, как *Молокососа* все внутренно называют.

Волокита рассуждает так:

— Какая польза мне в науках? Науками ли приходят в любовь у прекрасного пола? Науками ли им нравятся? Науками ли упорные побеждают сердца? Науками ли украшают лоб? Науками ли торжествуют над солюбовниками? — Нет: так они для меня и не годятся. Моя наука состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, говорить всякие трогающие безделки, воздыхать кстати, хохотать громко, *сидеть разбросану,* иметь приятный вид, пленяющую походку, быть *совсем развязану;* словом, дойти до того, чтобы называли шалуном те люди, которых мы дураками называем: когда можно до

этого дойти, то это значит дойти до совершенства в моей науке.

— В беседе со щеголихами бываю я волен до наглости, смел до бесстыдства, жив до дерзости; меня за это называют *резвым робенком;* и хотя ударят меня по руке и скажут: *перестань, ты очень дерзок,*— однако ж я никогда от того не краснею. Слова: *я не в своей сижу тарелке* меня в таком случае извиняют. Впрочем, всегда должен я быть ветрен и злоязычен. С которою *машусь,* ту одну хвалю; в ней одной все нахожу совершенства, а в прочих вижу только недостатки и пороки. Что нужды, ежели они их и не имеют, довольно, что я тем делаю угодность моей красавице. Необходимо также должен я уметь портить русский язык и говорить нынешним щегольским женским наречием: ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении. Открытие любви должен я делать по новому обыкновению и никогда не допускать, чтобы в такие разговоры вмешивалось сердце. Это было бы *дурачиться по-дедовски.* По-нашему надобно любить так, чтобы всегда отстать можно было. Открытие делаю я всегда, как будто это не нарочно случилось; например: рассказывая красавице о каком ни на есть любовном приключении, вдруг перерываю разговор:

— Э! кстати, сударыня, сказать ли вам новость? вить я влюблен в вас *до дурачества*: вы своими прелестьми так вскружили мне голову, что я *не в своей сижу тарелке.*

— Шутишь,— она мне ответствует,— ужесть как *славно* ты себя *раскрываешь.*

— *Беспримерно славно,* сударыня, что мне нужды, как вы это почитаете, *резвостью* или *дурачеством,* только я вам говорю *в настоящую*, что я *дурачусь.* Пусть я не доживу до *медного таза,* ежели говорю неправду!

— После такой клятвы бросаю на нее *гнилой взгляд,* а между тем начинаю хвалить ее и тут даю полную свободу языку моему; который, сказать истину, в таких случаях очень остер. Она часто потупляется, будто бы стыдилась слушать себе похвалу, иногда усмехается, иногда удивляется и почасту говорит: *перестань шутить, вить неутешно слушать вздор.* После этого я даю свободу рукам; мне говорят: *это уж и в истинную глупость* — а я далее, далее; а наконец она и сама поверит, что это была не шутка. Потом бываем мы несколько дней смертельно друг в друга влюблены: и это называется *дурачиться до безумия.* Мы располагаем дни так, чтобы всегда быть вместе: в *серинькой* ездим в английскую комедию; в *пестринькой*

бываем во французской; в *колетца* в маскараде, в *медной таз* в концерте; в *сайку* смотрим русский спектакль; в *умойся* дома; а в *красное* ездим прогуливаться за город. Таким образом держу ее своим *болванчиком* до того времени, как встретится другая.

— Вот моя наука! она, без сомнения, важнее всех наук; и я знаю ее в совершенстве. Пусть ученый человек со всею своею премудростию начнет при мне строить *дворики,* то я его так проучу, что он ото всякой щеголихи тотчас на *четырех ногах поскачет.*

О великий человек! ты рассуждаешь премудро, наука твоя *беспримерно славна,* и ты так учен, что я *от тебя падаю*; ты *вечно посадил себе в голову вздор:* как тебе не удивляться!

Читатель! с позволения твоего, не пора ли оставить рассуждения некоторых наших молодых людей о науках. Кажется мне, что я уже ими довольно тебе наскучил. Ты ожидаешь чего-нибудь поважнее, потерпи пожалуй, все будет: только чур не сердиться.

III

Господин издатель!

Ты охотник до ведомостей, для того сообщаю тебе истинную быль: вот она. У некоторого судьи пропали золотые часы. Легко можно догадаться, что они были некупленные. Судьи редко покупают. История гласит, что часы по форме приказной с надлежащим судейским насилием вымучены были у одной вдовы, требовавшей в приказе, где судья заседал, правосудия; коего бы она, конечно, не получила, если бы не вознамерилась расстаться против воли своей с часами.

В комнату, где лежали часы, входили только двое, подрядчик и племянник судейский, человек приказный и чиновный. Подрядчик ставил полные два года в судейский дом съестные припасы, за которые три года заплаты денег дожидался. Правда, имел он на судью вексель; но помогает ли крестьянину вексель на судью приказного, судью, может быть, еще знатного? Редко вексель действие имеет, где судьи судью покрывают, где рука руку моет, для того что обе были замараны. Подрядчик хотя невеликий грамотей, однако про это знает и для того при-

1. Когда жилъ в Казанѣ, бродилъ в сараѳане, прибылъ в шую, носилъ козлиную шубу ~
нынѣ сталъ богатъ, ярыгамъ не братъ. . . моде убираюсъ, по моде наряжаюсъ, прутиомъ подпираю
в прекрасныхъ садиках гуляю, амурныя песенки попеваю, никогда не работаю, веселюся и гуляю,
какая бъ молодица, иль хотя девица, моей красоте подивится, да вотъ ужъ первая и есть, хочетъ знакомъ[ство]
со мною свесть. — 2. я красна, я пригожа, я хараша, в нарядахъ знаю вкусъ, по моде живу, со многими лажи[у]
знать немного ты ученъ, высоко тупеи вздроченъ, а пустить его пониже, к моимъ услугамъ поближе.
такъ будешъ со мной парочка, какъ барашикъ с ярачкай. 3. она с малыхъ летъ привычки сеи держалась.
без денегъ ни с какимъ красавцамъ не вязалась, а для прибытка совсеми не дика. За денги будетъ любить и быка.

«Когда жил в Казани...».

Офорт П. Н. Чуваева.
1780-е годы.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

шел просить судью о заплате долгу со всякою покорностию: и в то-то самое время часы пропали. Племянник судейский, хотя мальчишка молодой, но имеет все достоинства пожилого беспорядочного человека: играет в карты, посещает домы, где и кошелек опустошается и здоровье увядает; не было собрания мотов вне и внутри города, где бы он первый между прочими бездельствами пьян не напивался. Правосудию он учился у дяди, которого пришедши поздравить с добрым утром, украл и часы, о коих дело идет.

Худой тот судья, который чрез побои правду изыскивает; а еще хуже тот, который всякие преступления низкой только породе по предубеждению приписует; как будто бы между благорожденными не было ни воров, ни разбойников, ни душегубцев. Случающиеся примеры противное доказывают; и один прощелыга, обращающийся довольно в свете, утверждает, что больше бездельства и беззакония между дворянами водится, нежели между простым народом, называемым по несправедливости подлостию. Подлый человек, по мнению его, есть тот, который подлые дела делает; хотя б он был барон, князь или граф; а не тот, который, рожден будучи от низкостепенных людей, добродетелью, может быть, многих титлоносных людей превосходит.

Кто добродетелью превысит тьму людей,
Не знает славнее породы тот своей.

Судья, хватившись часов и не находя их, по пристрастию рассуждает про себя так: «Я хотя и грабитель в противность совести и государских указов; однако сам у себя красть не стану; племянник мой также не украдет: он человек благородный, чиновный, а пуще всего мой племянник. Других людей здесь не было; конечно, часы украл подрядчик: он подлый человек, мне противен, я ему должен». Заключил, утвердился и определил истязывать подрядчика; хотя сего делать никакого права не имел, кроме насильственного права сильнейшего.

Г. издатель! Видно, что сей судья никогда не читывал книги «О преступлениях и наказаниях», которую бы всем судьям наизусть знать надлежало. Видно, что он никогда не заглядывал в те указы, кои беспристрастным быть повелевают. Рассуждая по сему и по многим другим подобным судьям, кажется, что они такие люди, кои уреченные только часы в приказах просиживают, а о прямых своих должностях, как о сирском и халдейском языках, не знают. О просвещение, дар небесный! расторгни скорее завесу незнания и жестокости для защищения человечества!

Уже страдает подрядчик под побоями судейскими, и плети, отрывая кожу кусками, адское причиняют ему мучение. Чем больше невинный старается оправдать себя клятвами и призыванием бога во свидетели, тем сильнее виноватый повелевает его тиранить; чем больше подрядчик просит, плачет и стонет, тем безжалостнее судья усугубляет его мучение. Бедный подрядчик, чувствуя свою душу приближившуюся к гортани и скоро из уст выйти хотящую, не имея силы больше переносить мучения, принужден был наконец признаться в похищении часов судейских и чрез то прекратил чинимую над собою пытку.

Не столько любуется щеголиха новомодным и в долг сделанным платьем, в коем она в первый раз на гульбище под Девичий монастырь для пленения сердец поехала; не столько веселится мотишка, когда отец его смертию своею оставил его властителем своих сокровищ, которые он собрал, разоряя бедных просителей; не столько веселится и монах, когда случится ему светское что-нибудь сделать, как порадовался наш судья подрядчикову мнимому воровству: ибо он уповал не только не заплатить того, чем он подрядчику был должен; но еще надеялся и подрядчика сделать себе должным. В самом деле, в ту ж минуту со всем судейским бесстыдством наблюдатель правосудия сделал следующее предложение подрядчику: «Если ты не согласишься тотчас изодрать моего векселя и не дашь мне на себя другого в двух тысячах рублях, то ты будешь за воровство свое в трех застенках и пошлешься на вечную работу в Балтийский порт. Все сие с тобою исполнится непременно: я тебя в том честным, благородным и судейским словом уверяю. Но если сделаешь то, чего от тебя между четырех глаз требую, то будешь сей же час свободен, и твое воровство не пойдет в огласку; а для заплаты двух тысяч рублей даю тебе сроку целый год: видишь, как с тобою человеколюбиво и христиански поступаю; иной бы принудил тебя заплатить и пять тысяч рублей за твое бездельство, да еще и в самое короткое время».

Истерзанный подрядчик, обливаяся слезами и произнося все на свете клятвы, старается сколько можно доказать свою невинность; и признание в краже, говорит он, учинил для того, чтоб избавиться хотя на минуту несносного мучения. Уверяет судью, что не только не может он заплатить в год двух тысяч рублей, требуемых неправедно, но что все его имение почти в том и состоит, чем его превосходительство ему должен; что, получивши сей долг, располагал он заплатить положенный на него государев и боярский оброк; а потом себе, жене и малолетным своим детям нужное доставить. От сих слов пылает

наш судья гневом и яростию и невинного подрядчика во свой приказ, яко пойманного вора и признание учинившего, при сообщении отсылает. Весьма скоро отправляются дела в тех приказах, в коих судьи сами истцами бывают; и редко случается от прочих судей противоречие в том, что одному из них надобно; хотя бы то было совсем несправедливо. Собака собаку лижет, и ворон ворону глаз не выклевывает. В тот же самый день определение подписано было всеми присутствующими, чтоб допрашивать подрядчика под плетьми вторично; и в тот же самый день сие бы исполнено было, если б, ко счастию подрядчика, не захотелось судьям обедать: ибо был второй пополудни час; и если б на другой день не было вербного воскресения и по нем страстной и святой недель, в коих не бывает присутствия.

Подрядчик, заклепанный в кандалы и цепь, брошенный со злодеями в темный погреб, плачет неутешно: а с ним купно рыдают жена его и дети. Слезы его тем обильнее текут, чем больше уверен он во своей невинности; а вор, племянник судейский, в то самое время рыская по городу, присовокупляет без наказания ко прежним злодействам еще новые бездельства. Украденные часы проиграл он некоторому карточному мудрецу, который со всеми своими в картах хитростями беднее еще русских комедиянтов. Карточный мудрец заложил их на два дни одному титулярному советнику, который по титулярной своей чести и совести только по гривне за рубль на каждый месяц процентов берет. Советник продал их в долг за двойную цену одному придворному господчику, который имеет в год доходу три тысячи рублей, а проживает по шести, надеясь, что двор заплатит все его долги за верную и ревностную службу, которая состоит в том, что он бывает дневальным. Придворный господчик подарил их своей любовнице, которая в неделю святой пасхи отдала оные вместо красного яйца прокурору того приказа, где содержался подрядчик, чтоб г. прокурор постарался утеснить ее отца, от которого она убежала.

По прошествии праздников заседания в приказах начались, и день для подрядчикова истязания и свобождения наконец настал. Судьи съехались, подрядчик к мучению был уже приведен, как прокурор, приехавши после судей и удивившись раннему их съезду, вынул часы для проведания времени. Судья истец и другие присутствующие тотчас узнали украденные часы и без всех справок положили, что подрядчик оные продал той особе, от которой их прокурор получил; а чтоб подрядчика доказательнее в воровстве обличить, то отправили сек-

ретаря у оной госпожи взять расписку в покупке часов у подрядчика; коего между тем начали под побоями допрашивать о следующем: «Не был ли кто из богатых купцов с ним в умысле? Не крадывал ли он и прежде сего? Кому продавал краденные им вещи?» и пр. Расспросы сии делались, как сказывают, для того, чтоб из безделицы сделать великое дело, которое бы, может быть, никогда не вершилось; и чтоб ко оному припутать зажиточных людей, от коих можно бы было наживаться.

Покамест секретарь о путешествии часов осведомлялся, подрядчик мучимый насказал то, чего никогда не делывал; и допросы, в трех тетрадях едва умещенные, показали ясно, сколь много лишнего в приказах пишут, что не всегда нужны побои к изысканию злодеяния и что один золотник здравого судейского рассудка больше истины открывает, нежели плети, кошки и застенки.

Удивились судьи, когда секретарь донес и доказал, что часы у дяди своего украл племянник; а читатель беспристрастный удивится еще больше тому, что приказный секретарь не покривил душою и поступил совестно; но паче всего должно дивиться решению судейскому с тем мотом, который украл часы, и с невинным подрядчиком, дважды мучимым. ПРИКАЗАЛИ: вора племянника, яко благородного человека, наказать дяде келейно; а подрядчику при выпуске объявить, что побои ему впредь зачтены будут.

Повесть сия доказывает, г. издатель, что ничего нет для общества вреднее глупых, корыстолюбивых и пристрастных судей.

Покорный твой слуга

N. N.

IV

Mon coeur [1], живописец!

Ты, радость, *беспримерный* Автор.— *По чести* говорю, *ужесть как ты славен!* читая твои листы, *я бесподобно утешаюсь;* как все у тебя *славно:* слог *расстеган,* мысли *прыгающи.*— *По чести* скажу, что твои листы *вечно меня прельщают: клянусь,* что я всегда *фельетирую* [2] их без всякой *дистракции* [3]. Да и

---

[1] Душенька *(франц.).— Ред.*

[2] перелистываю (от *франц.* feuilleter).— *Ред.*

[3] рассеянности (от *франц.* distraction).— *Ред.*

нельзя не так, ты *не грустен, шутишь славно,* и твое перо *по бумаге бегает бесподобно.— Ужесть, ужесть* как прекрасны твои листы! Но сказать, *вокруг нас,* ты в них многое взял на мне: *уморить ли, радость?* Вить мнение-то *Щеголихино* ты у меня подтяпал.— Ха! ха! ха! — *Клянусь!* Спроси у всех моих знакомых, они тебе скажут, что я всегда это говаривала: но это ничего не значит. Признаюсь, что я и сама много заняла из твоих листов.

Пуще всего ты *ластишь* меня тем, что *никак со мною не споришь;* а особливо когда говорил о науках: ты это так *славно прокричал.*— Черт меня возьми! — *как книга.* А притом ты всегда стараешься оказывать нам учтивости; не так, как некоторый грубиян, сочиня комедию, одну из подруг моих *вытащил* на театр: — Куда как он много выиграл? Я чаю, он надеялся, что все *расхохочутся до смерти,* ан, право, никто из наших сестр и учтивых мужчин и не улыбнулся; а смеялись только... Он хотел нас одурачить, да не удалось. *Ужесть как славно* он забавлялся над бедным мальчиком *Фирлифюшковым:* со всем тем подобные ему люди останутся всегда у нас в почтении; а его *Дремов* никогда не выдет из дураков. Если б узнала я этого Автора, то *оттенила* бы сама его *бесподобно.* Я *никак* на него не сердита: он меня *никак* не тронул, однако ж я и сама не знаю, за что я его *никак* не могу терпеть. В первой его комедии я и сама до *смерти захохоталась: ужесть как славно шпетил* он наших бабушек; а эта комедия такую сделала *дистракцию* и такую *грусть,* что я поклялась *никак на именины* не ездить. Правда, ты и сам *зацепился:* но это шуткою; а за шутки мы *никак* не сердимся: напротив того, ты бранишь одних только деревенских дураков; да и *беспримерно: ужесть как славно* ты их *развернул* в 5 листе твоего «Живописца».

Ты *уморил* меня: точь-в-точь *выказал* ты дражайшего моего *папахина.*— Какой это несносный человек! *Ужесть, радость, как он неловок выделан:* какой грубиян! Он и со мною хотел поступать так же, как с мужиками: но я ему показала, что я не такое животное, как его крестьяне. То-то были люди! С матушкою моею он обходился по старине. Ласкательства его к ней были: брань, пощечины и палка; но она и подлинно была того достойна: с эдаким зверем жила сорок лет и не умела *ретироваться в свет.* Бывало, он *сделает ей грубость палкою,* а она опять в глаза к нему лезет. *Беспримерные люди!* таких горячих супругов и в *романах* не скоро *набежишь. Ужесть как славны!* Суди, mon coeur, по этому, в какой была я школе: было чему научиться!

По счастью, скоро выдали меня замуж: я приехала в Петербург: *подвинулась в свет, розняла глаза* и *выкинула весь* тот *из головы вздор,* который *посадили* мне мои родители: поправила *опрокинутое мое понятие,* научилась говорить, познакомилась со щеголями и щеголихами и сделалась человеком. Но я *никак* не ушла от беды: муж мой *в уме очень развязан:* да это бы и ничего; чем глупее муж, тем лучше для жены; но вот что меня *терзает до невозможности:* он *влюблен в меня до дурачества,* а к тому ж еще и ревнив. Фуй! как это *неловко:* муж *растрепан* от жены: это, mon coeur, *гадко!* О, если б не помогало мне разумное нынешнее обхождение, то давно бы я *протянулась.* Сказать ли, чем я *отвязываюсь* от этого несносного человека? Одними обмороками.— Не удивляйся, я тебе это растолкую: как привяжется он ко мне со своими *декларасьонами* [1] и клятвами, что он от любви ко мне сходит с ума, то я сперва говорю ему: *отцепись;* но он *никак* не отстает; после этого *резонирую* [2], что стыдно и глупо быть мужу влюблену в свою жену; но он *никак* не верит: и так остается мне одно средство *взять обморок.* Тогда *скачет* он по всем углам: старается помогать мне, а я тихонько смеюсь; *ужасно* как *беспримерно* много помогают мне обмороки: *божусь!* тем только и живу; а то бы он меня *залюбил до смерти. Бесподобный человек! Подари, радость,* хорошеньким советом, что мне с ним делать. Он до того *темен в свете,* что и спать со мною хочет вместе,— ха! ха! ха! Можно ли так глупо *догадаться!*

Шутки прочь, помоги мне: ты знаешь, *радость,* что от этого можно тотчас получить *ипохондрию.* Пожалуй, *не задержись* с ответом; я на тебя *опущаюсь* и буду ожидать его с *беспримерным нетерпением.* Прости, mon coeur.

P. S. Услужи, *фреринька* [3], мне, собери все наши модные слова и напечатай их деташированною [4] книжкою под именем «Модного женского словаря»: ты многих одолжишь, и мы твой журнал за это будем превозносить. Только не *умори, радость,* напечатай его маленькою книжкою *и дай ему вид;* а еще бы лучше, если бы ты напечатал его вместо чернил какою краскою. Мы бы тебя *до смерти захвалили.*

---

[1] признаньями в любви (от *франц.* déclaration).— *Ред.*
[2] убеждаю (от *франц.* raisonner).— *Ред.*
[3] братец (от *франц.* frère).— *Ред.*
[4] отдельною (от *франц.* détaché).— *Ред.*

* * *

За краткостию времени я никакого не могу дать вам совета. Потерпите, может быть, кто-нибудь из читателей моих оный вам сообщит. Что ж касается до собрания «Словаря», то охотно бы вам тем услужил, если бы сообщили вы мне все слова, в вашем наречии употребляемые.

V

ОПЫТ МОДНОГО СЛОВАРЯ ЩЕГОЛЬСКОГО НАРЕЧИЯ

А

АХ! в щегольском наречии совсем противное от прежнего приняло знаменование. Прежде сие словцо изъявляло знаки удивления, сожаления и ужаса. Первое его знаменование было всем полезно; старики показывали им свою досаду и удивление, любовники свою страсть, а стихотворцы более всех употребляли его во свою пользу, наполняя почасту одними ахами целое полустишие. Но щеголихи всех их лишили сего междометия, переменив его употребление. В их наречии *ах* большею частию преследуется смехом, а иногда говорится в ироническом смысле; итак, удивительный и ужасный *ах* переменился в шуточное восклицание, да это и давно пора было сделать: непросвещенные наши предки охотники были плакать, а мы больше любим смеяться; старинные наши девушки и под венцом стоя рыдали, а нынешние смеются; да притом же старый *ах* поплакал довольно, так пора ему и посмеяться.

ПРИМЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТАРОГО И НОВОГО *АХ*

Ах, какой он негодный человек! он не любит свою жену, несмотря на то, что она разумна, добронравна, домоводна, хороша и сама его любит. *Ах,* как жалка его бедная жена!

Ах, как я сожалею об этом мальчишке! покойный его отец был мне друг и честный человек! он воспитал его по долгу родительскому очень хорошо, научил его всему, вкоренил в него благонравие, честность и учтивость; да труды его были и не напрасны, покуда находился он под его присмотром. Я и теперь еще помню, как, бывало, плакивал этот старичок от радости, что имел столь завидного сына. Но нынеш-

нее обхождение совсем его испортило и сделало наглым и дерзким повесою. Я и сам прежде радовался, когда бывал он у меня, а ныне и в дом его к себе не пускаю. *Ах,* как портит молодых людей худое сообщество, если они по несчастию в него попадают. Ну, если б бедный мой друг воскрес и увидел ныне своего сына,— *ах,* сколько бы он пролил слез! Но не от радости, а с печали!

Ах, я погиб! моя жена изменяет мне... она меня больше не любит! *Ах,* в каком я мучительном нахожусь состоянии! Каким опытам, каким доказательствам и каким клятвам поверить можно, когда ее были ложны? Любовь ее ко мне была беспредельна; ежечасно видел я умножающуюся ко мне ее горячность, поминутно видел новые ласки; и я вкушал наисладчайшее удовольствие быть любиму страстно.— Но *ах!* все это миновалось, и осталось мучительное только одно напоминание моего блаженства. О проклятое вольное обхождение! ты одно могло отнять у меня жену! *Ах,* как я несчастлив, что не могу позабыть сию неверную!.. О женщины, женщины, вы меня больше не обманете!

Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница.— Ах, как ты славен! Ужесть, ужесть: я от тебя падаю!.. Ах... Ха, ха, ха.

Ах, мужчина, как ты неважен!

Ах, мужчина, как ты забавен! Ужесть, ужесть; твои гнилые взгляды и томные вздохи и мертвого рассмешить могут. Ах, как ты славен: бесподобный болванчик! — Ну, если б сказала я тебе: люблю; так вить бы я пропала с тобою. По чести: ты бы до смерти меня залюбил,— не правда ли? Перестань, радость, шутить, это ничуть не славно.

Ха, ха, ха! Ах, монкьор [1]*, ты уморил меня! Он живет три года с женою и по сю пору ее любит! Перестань, мужчина, это никак не может быть: три года иметь в голове своей вздор! — Ах, как это славно! ха, ха, ха: необретаемые болванчики! — Ах, как он славен; с чужою женою и помахаться не смеет — еще и за грех ставит! Прекрасно! Перестань шутить: по чести у меня от этого сделается теснота в голове.— Ах, как это славно! ха, ха, ха. Они до смерти друг друга залюбят.— Ах, мужчина, ты уморил меня!*

---

[1] душенька (от *франц.* mon coeur).— *Ред.*

БЕСПОДОБНО, БЕСПРИМЕРНО. Оба сии слова то ж имели знаменование у предков наших, как и у нынешних щеголих; с тою только разницею, что употребляют их не одинаково, или, лучше сказать, и совсем в противном смысле. Из приложенных здесь примеров усмотреть можно, что оба сии слова в русском наречии употребляются в одном прямом, но в щегольском наречии они часто говорятся и в ироническом смысле. Итак, употребление сих слов сделалось гораздо обширнее; да это и не худо: предки наши во всем очень были скупы; они всему, так, как и умствованию своему, полагали пределы: но благодаря бога мы избавились от сего гнусного порока. С того времени как начали думать, что познаем себя, мы во всем стали тороватее наших предков. Тесные пределы нам не нравятся, и мы во всем любим свободу; даже до того, что кафтанов и юбок узких не носим; а узкие *маньки* [1] совсем брошены и оставлены для употребления простому народу. Ныне в превеликой моде все вольное, покойное и широкое.

ПРИМЕРЫ

Я был вчерась в гостях у Дремова и там нашел многих из его соседей; и хотя беседа наша была немногочисленна, однако ж весела: ибо там находились все люди разумные, степенные и веселые. Большую часть времени препроводили мы в разговорах; особливо рассуждали многие очень хорошо о худом воспитании детей; и я утверждал, что ежели у кого дети худы, так те должны жаловаться на самих себя, потому что или нерачиво их воспитали, или слепою любовию ко детям сами их избаловали. Дремов в этом был со мною согласен и сказывал в пример собственное свое с детьми обхождение. Все его хвалили за разумное детей воспитание; и мы так весело провели время, что я давно не чувствовал *подобного* увеселения. А притом хозяин и хозяйка столько были нам рады, что не знали, как нас употчевать; и нам всякое у них кушанье казалось сахаром: да на это и присловица есть: *был у друга, пил воду, но лучше неприятельского меду.* Пуще всего полюбилися мне дети Дремова: как они хорошо воспитаны! к родителям почтительны, к старшим и знатнейшим себя учтивы, к равным ласковы, к бедным снисходительны и милостивы; в разговорах их видно просвещенное науками рассуждение; и они так умели всем угодить и усладить беседу, что все гости, смотря на них, не могли довольно нарадоваться; а я и

[1] *Манька* по-старинному, а по-нынешнему муфточка.

теперь еще от того в восхищении! О, когда бы бог благословил меня воспитать так же и моего сына: какое бы в старости чувствовал я утешение! И мы единогласно заключили, что как сам Дремов *примерным* отцом, так и его дети по справедливости должны почитаться *примерными* молодцами.

Бесподобные люди! — Она дурачится по-дедовски и тем бесподобно его терзает; а он так темен в свете, что по сю пору не приметит, что это ничуть не славно и совсем не ловко; он так развязан в уме, что никак не может ретироваться в свет.

ПЕРЕВОД СЕГО ПРИМЕРА[1]

Редкие люди! Она любит его постоянно: а он совсем не знающ в щегольском обхождении и не разумеет того, что постоянная любовь в щегольском свете почитается тяжкими оковами; он так глуп, что и сам любит ее равномерно.

Беспримерное маханье! Он посадил себе в голову вздор, а у нее вечный в голове беспорядок.

БОЛВАНЧИК. Предки наши, оставя прелесть идольского служения, из презрения ко своим кумирам называли их болванами; а деды наши, гнушаясь прежним суеверием, означали дураков наименованием болвана в таком смысле, что дурак, равно как и болван, наружное только с человеком имеют подобие. Но ни первые, ни последние никогда не употребляли сего слова в уменьшительном степене, а всегда говаривали в положительном болван и в превосходительном болванище. Сия честь, чтобы грубые брани переделывать в приятные наименования, оставлена была почтенным нашим щеголихам. Они откинули положительный степень болвана и превосходительный болванища, а вместо тех во свое наречие приняли в уменьшительном степене *болванчика;* и чтобы более сие слово ввести в употребление, то рассудили сим наименованием почтить любовника и любовницу. Мужья и жены сим лестным названием не иначе могут пользоваться, как разве между собою будут жить по щегольскому нынешнему обыкновению. Сия благора-

---

[1] Мне рассудилось некоторые из примеров со щегольского наречия перевесть на общий наш язык: я не следовал точности слов, но держался смысла.

зумная щеголих наших осторожность имела желаемый успех: ибо для получения лестного названия *болванчика* многие мужья и жены переменили старое обхождение на новое, щегольское; и от сего произросли уже желаемые плоды: чему примеров очень много. Напротив того, есть еще и такие пристрастные ко старым обычаям супруги, которые не позабывают изречения: *а жена да боится своего мужа;* и хотя они толкуют сие изречение неправильно и принимают оное совсем в противном смысле, однако ж хотят лучше называться болванами, нежели *болванчиками.* Хотя, впрочем, *болванчик* слуху гораздо приятнее болвана. Трудно бы было сделать правильное заключение о произведении слова *болванчик,* если бы кто этого потребовал: ибо ежели произвесть его от болвана, *кумира,* то это было бы согласно со французским употреблением, idole de mon âme: *кумир моея души,* так, как это употребляется во всех французских романах и любовных письмах; но это произведение весьма удалится от того смысла, в каком по щегольскому наречию любовь принимается. Итак, остается произвесть его от последнего болвана, *дурака.* Сие произведение кажется гораздо свойственнее щегольскому наречию, потому что это гораздо ближе к дурачеству. См. *Дурачество.*

VI

Государь мой!

Листочки ваши с великим удовольствием я читаю и ото вторника нетерпеливо вторника ожидаю. Я вам откровенно признаюсь, что они дурные привычки, начинавшиеся во мне вкореняться от частого с ненавистниками наук и с порабощающими всю свою жизнь единой праздности обхождения, совсем истребили. Если теперь приведу себе на мысль заочные их друг друга осуждения, как они весят чужие малые пороки, не смотря на свои, которых и перевесить за множеством трудно, и множество других их беспорядков, то не могу без величайшего сожаления взирать на все их суетные убранства и мнимые их чести, почитаемые мною главнейшими источниками, из коих сердца их напояются ненавистью к наукам, любовию ко праздности, омерзением к добродетели, желанием к мерзкостию исполненным делам. Сии единые чудовища, обезображивающие совершенства человеческие, затмевают изящество разума и душу, на блаженнейший конец устроенную, мерзят. Сии самые чудовища сделали, что госпожи здешние листочков ваших

бегают как заразы, одни, из зависти покупая, оные жгут, другие с досады оными волоса завивают; иные называют вас сумасшедшим, бедняком, просиживающим целые ночи в соплетении сумасбродных лжей, чтобы достать себе чрез то пропитание, другие типографию, которая предает тиснению ваши листочки, ругают и жалуются, что она ничего не смотрит и что, по-видимому, скоро вся подлость сделается писателями и все предавать будет печати. «Нет уже, сударыня, говорила мне одна барышня; здесь вовсе свету подражать не знают, а все то испортили училища да ученые люди: куда ни посмотришь, везде ученый человек лишь сумасбродит и чепуху гонит. Посмотри, сударыня, как в других государствах все люди просвещены, какие хорошие учреждения, живут, с кем хотят, любят, кого желают, а здесь противно тому лишь только твердят: живи с мужем, люби его же. Вот какой рассудок! продолжала она: по их речам, если муж и состареет, то все его любить должно; для меня же это, сударыня, несносно: я девица, однако пятый десяток в спокойстве проживаю, и никто уже мне не скажет: живи с одним и люби одного».

Я сперва опасалась, чтоб не потревожить ваших мыслей такими их терзаниями, но напоследок, приведши на память себе ваш здравый рассудок, решила тем свое сомнение! Я, приемля участие в столь полезном для общества деле, прошу вас, невзирая на все такие их роптания, продолжать сей достойный вас труд, за который всяк особо вам и потомству вашему останется благодарным: плюйте на сии от ветра вертящиеся пустые мельницы, авось-либо дождемся, что дни сделаются красные и ветры стихнут. В прочем пребываю

любительница ваших сочинений

М. С.

* * *

Государыня моя!

Я не могу довольно испорченному здешнего города вкусу надивиться; известные вам некоторого дерзкого живописца сплетки все почти общество безрассудно покупает и хвалит оные до безумия. Я уже не дивлюсь старикам, что их хвалят, потому что они всегда под старость с ума сходят; но только то мне досадно, что и беднорожденные от них дети в цветущей своей юности слепотствуют во тьме невежества, последуют против воли своей их дураческим наставлениям, а наконец девица совсем сделается не девицею; сидит как неодушевленная ста-

туя, боится выпустить изо рта слово, а как в модном свете обращаться, того головою не смыслит. Таковых состояние, сударыня, достойно быть от всякого оплакиваемым. Пускай лишенные старики разума войдут в рассудок, пускай оставят детей своих последовать от натуры данной им склонности; тогда ясно они увидят, что дети их не к той науке, которую они им по неволе преподают, рождены. Чему же должно больше подражать, безрассудному ли желанию человека или врожденной в себе склонности? Не за безумие ли должно почесть, если данные нам очи обозревать все преизящные творения потупим мы в землю, устроенную для рассматривания подлым хлебопашцам? Не следует ли всему естественному вещей порядку превратиться, если органам, которыми одарены для собственной нашей пользы, мы запретим действовать? Сие-то называется дойти до крайнего невежества; а сумасшедшие старики почитают то в нашей сестре за похвальное достоинство. Впрочем, государыня моя, я живописца столько ненавижу, что если он прийдет мне на мысль, то я с ума схожу; браню, не знаю за что, всех и сама совестью, не знаю отчего, мучусь. Остаюсь

ваша доброжелательная, ненавистница живописца

Р. Г.

* * *

Я благодарю госпожу М. С. за хорошее о моем труде мнение и радуюсь, что листами моими сделал ей угодность и услугу. Хотел бы я, чтобы они и многим другим принесли пользу: но это зависит уже от них самих, а не от меня. Впрочем, развратные толки девицы Р. Г. и подобных ей меня не беспокоят; пусть будут они делать заключения, какие им угодны: со всем тем останутся они в проигрыше. Беспристрастные читатели толкам их не поверят, а пристрастные хотя и прилепятся к их мнению, однако ж тем не совратят меня с дороги, которую я избрал.

VII

Господин живописец!

Я превеликое имею желание с вами увидеться, но не знаю, где вас найти: нужда моя состоит в том, что я хочу написать мой и жены моея портреты на одной картине; и как вы в превеликой ныне в нашем городе находитесь славе, то и рассудил я просить вас о написании сея картины. Правда, что слухи о вашей работе, равно как и похвалы и хулы на оную весьма

различны; но, однако ж, это меня не отвращает от моего намерения. Я узнал из опытов, что люди вашего упражнения почасту навлекают на себя хулу и негодование тем самым, что делает им славу. Никогда не позабуду я приключения с одним портретным живописцем, от которого чуть не умер я тогда от смеха. Некоторая пожилая знатная госпожа, услышав о том живописце, призвала его к себе и приказала написать свой портрет миниатюрною живописью. Живописец окончал свою работу с совершенным искусством и принес к госпоже: госпожа лишь только взглянула на портрет, то и закричала с удивлением: «Ах!.. каким написал он меня уродом!.. Это в седмдесять лет старуха! Сколько морщин! какой ложный цвет в лице!» — Она подбежала к зеркалу, и глаза ее не находили никакого сходства; хотя мы все, там бывшие, видели, что портрет написан был весьма сходно с ее лицом. Госпожа, рассердясь, бросила портрет в камин и вместо 30 рублей заплатила живописцу только 10; и после везде его ругала и уверяла, что он пишет прескверно: такова-та, государь мой, участь живописцев. Но я удалился от своего намерения; итак, возвратясь к оному, прошу вас уведомить меня чрез вашего переплетчика, где ваша квартира, я к вам приду и изъяснюсь с вами о предлагаемом мною труде. Поверьте, государь мой, что этот труд достоин вашея кисти. В прочем я есмь

ваш покорный слуга,

Несчастный муж.

VIII

АНГЛИЙСКАЯ ПРОГУЛКА

Прогуливаясь третьего дни по берегу, встретился я с одним из тех почтенных человеков, которые превосходительство поставляют не в пышности названия, но в доброте сердца. Сей господин с обыкновенною своею учтивостию и ласкою, свойственною только добродетельным людям, подошед, поздравлял меня с хорошим успехом живописцевых листов, уверяя притом, что они заслужили благоволение многих почтенных особ. Я начал было благодарить его за сие для меня приятное известие, но он, перервав мои слова, спрашивал: для чего я не издаю продолжения путешествия И*** Т***.

— Без сомнения дошли до вас,— говорил он,— толки, сим листочком произведенные, но вы не должны о том беспокоиться. Правда, что многие наша братья дворяне сим вашим листом

недовольны, однако ж ведайте и то, что многие за оный же лист и похваляют вас. На всех никто угодить не может, так старайтесь, по крайней мере, угождать тем, которые во своих требованиях справедливее других. Впрочем, я совсем не понимаю,— продолжал он,— почему некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус. Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе; и следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий...[1] Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление не достойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству? Пусть вникнут в сие здравым рассуждением: тогда увидят, отчего остановляются и приходят в недоимку государственные поборы; отчего происходит то, что крестьяне наши бывают бедны; отчего у худых помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи хлеба?..[2] Не все ли сие проистекает от употребления во зло преимущества дворянского? Когда же неустроению сему причиною худые дворяне, то не достойны ли они справедливого порицания? Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус: я еще важнее скажу, кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или ваша на них сатира?

— Итак, верьте,— примолвил он,— что такие ваши сатиры не только что не огорчают дворян, украшенных добродетелию и знающих человечество, но паче еще и превозносят их. Правда, что в числе ваших критиков были и такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому: но коль чудно и странно сие пристрастие! Как? защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные и добросердечные дворяне никогда не пользуются?.. Я знаю еще недовольных вашим листком; но неудовольствие сих людей достойно того, чтобы вы имели к ним почтение: ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли поначалу сделать правильного заключения; и потому из любви ко ближнему более сожалели, нежели охуждали, что вы не с той стороны принялися за сию сатиру. Напротив того, бра-

[1] Тут следовали многие другие упрекания, относящиеся к худым помещикам, но я их исключил, опасаясь навлечь на себя сугубое негодование.

[2] Я и тут многое выключил для сказанных мною причин в первом примечании.

нили вас надменные дворянством люди, которые думают, что дворяне ничего не делают неблагородного; что подлости одной свойственно утопать в пороках; и что, наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однако ж будто они, яко благорожденные люди, от порицания всегда должны быть свободны. Сии гордые люди утверждают, что будто точно сказано о крестьянах: *накажу их жезлом беззакония:* и подлинно, они часто наказываются беззаконием! Что по их мнению . . . . . .

. . . . . .

— Мы привыкли,— продолжал он,— перенимать с жадностию все от иностранных, но, по несчастию нашему, почасту перенимаем только пороки их; например, когда были у нас в моде французы, то от обхождения с ними остались у нас легковерность, непостоянство, вертопрашество, вольность в обхождении, превосходящая границы, благоразумием учрежденные, и многие другие пороки. Французов сменили англичане: ныне женщины и мужчины взапуски стараются перенимать что-нибудь от англичан: все английское кажется нам теперь хорошо, прелестно, и все нас восхищает. И мы, по несчастию, столь пристрастны к чужестранному, что и самые пороки их нередко почитаем добродетелию. Французскую наглость называли мы благородною вольностию, а ныне английскую грубость именуем благородною великостию духа. Я говорю это,— продолжал он,— не в поношение обоих сих народов: ибо всяк ведает, что французы и англичане весьма много имеют доброго; но говорю единственно в доказательство пристрастного нашего к иностранным порокам прилепления. Кто захочет в истине сего мнения удостовериться, тот пусть пооглядится; я уверен, что он много найдет сему подобного . . . . . .

. . . . . .

Некоторые из нас удивлялися шатавшимся провинциальным английским актерам, а своих имеем, которые равняются с наилучшими английскими актерами и актрисами, но, однако ж, они нам не удивительны, потому только, что они русские.

— Когда ж все английское в такой у нас превеликой моде, то для чего любители иностранных вкусов не почитают тот ваш листок в английском вкусе написанным? Ибо в Англии дворяне критикуются, равно как и простолюдимы. Я сожалею, что вы в заглавии сего сочинения не написали: *Путешествие, в английском вкусе написанное;* может быть, что это название вместо порицания привело бы его в моду. О времена! о нравы! — сказал сей господин, воздохнувши.

После сего усильно просил он меня, чтобы продолжение и сие его рассуждение напечатал я в моих листах под названием *Английской прогулки.* Сколько ни отговаривался я от сей просьбы, но, однако ж, убежден был увериениями его, что сие рассуждение не будет противно дворянам истинно благородным. Итак, в удовольствие его я сообщаю и то и другое, прося притом извинения, что выключил нечто из его рассуждений: это показалося мне необходимо нужным.

IX

Государь мой!

Не знаю, как в Петербурге, а у нас в Москве много вам чести делают ваши листочки. Что касается до меня, я о том только и думаю, чтоб они у меня были в полном собрании: и потому, что я не из тех числа, у коих пустые сказки преимуществуют пред благонамеренными сочинениями; и потому, что я весьма услаждаюсь, когда те произрастения, коими другие места к великой своей славе изобилуют, нахожу и на наших полях. Желал бы я, чтоб Россия, любезное мое отечество, меньше имело нужды в типографических товарах, выписываемых по милости иностранцев! Если какое находит она препятство к тому, чтоб нарещися ей за превосходные свои совершенства несравненною под солнцем страною, то другого нет, кажется, как сей токмо недостаток. Как вы думаете, господин живописец? Извинительны ли те, кои при всем том, что их и природа расположила, и науки уготовили, и известность воздаяния поощряет в сходственность их способностям трудиться, только что других критикуют? Мне кажется, лучше бы им быть слушателями критики, а не произносителями. Обуздайте слабость свою, о вы, наук питомцы! и признайтеся, что тех дней, кои вам осталось доживать, едва станет на заглаждение и одной вашей лености. Время приступить к лучшему; а особливо что никакого нет сомнения, будут ли ваши упражнения уважены, когда монаршеская щедрость ко вступлению в оные еще и приглашает вас. Смотрите, чтоб тот источник, который составляет и славу вашего имени, и награду трудов ваших, со временем не затворился. Извините меня, государь мой, что я это, на вашей кафедре ставши, прокричал.

Ваш усердный слуга

Прошу не погневаться.

P. S. Прошу меня уведомить, не противно ли будет вам, если я почаще к вам буду писать. Я бы недурным был в вашем искусстве подмастерьем, если позволите мне сообщать вам мои воображения.

Июля 2 дня, 1772 года,
из Москвы

X

Господин живописец! поместите, пожалуйте, следующее письмо в ваши листы, буде возможно; содержание его, кажется, заслуживает это, чтоб вы исполнили просьбу

вашего покорного слуги
П. Р.

[ПИСЬМА К ФАЛАЛЕЮ]

1. Письмо уездного дворянина к его сыну

Сыну нашему Фалалею Трифоновичу, от отца твоего Трифона Панкратьевича, и от матери твоей Акулины Сидоровны, и от сестры твоей Варюшки, низкий поклон и великое челобитье.

Пиши к нам про свое здоровье: таки так ли ты поживаешь; ходишь ли в церковь, молишься ли богу и не потерял ли ты святцев, которыми я тебя благословил. Береги их; вить это не шутка: меня ими благословил покойник дедушка, а его — отец духовный, ильинский батька. Он был болен черною немочью и по обещанию ездил в Киев: его бог помиловал, и киевские чудотворцы помогли; и он оттуда привез этот канонник и благословил дедушку, а он его возом муки, двумя тушами свиными да стягом говяжьим. Не тем-то покойник свет будь помянут! он ничего своего даром не давал: дедушкины-та, свет, грешки дорогоньки становились. Кабы он, покойник, поменьше с попами водился, так бы и нам побольше оставил. Дом его был как полная чаша, да и тут процедили. Вить и наш батько Иван, кабы да я не таков был, так он бы готов хоть кожу содрать: то-то поповские завидливые глаза: прости господи мое согрешение! А ты, Фалалеюшка, с попами знайся, да берегись; их молитва до бога доходна, да убыточна... Как отпоешь молебен, так можно ему поднести чарку вина да дать ему шесть денег, так он и доволен. Чего ж ему больше: прости господи, вить не

рожна? Да полно, нынече и винцо-та в сапогах ходит: экое времечко; вот до чего дожили; и своего вина нельзя привезть в город: пей-де вино государево с кружала да делай прибыль откупщикам. Вот какое рассуждение! А говорят, что все хорошо делают: поэтому скоро и из своей муки нельзя будет испечь пирога. Да что уж и говорить, житье-то наше дворянское нынече стало очень худенько. Сказывают, что дворянам дана вольность: да черт ли это слыхал, прости господи, какая вольность? Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то побольше было нам вольности. Бывало, отхватишь у соседа земли целое поле; так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет; а вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя сколько надобно, да и продашь на сотню места. Коли воевода приятель, так кури смело в его голову: то-то была воля-та! Нынече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать не велят, а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой. Нынече только и воли, что можно выйти из службы да поехать за море; а не слыхать, что там делать? хлеб-ат мы и русский едим, да таково ж живем. А из службы тогда хоть и не вольно было выйти, так были на это лекари: отнесешь ему барашка в бумажке да судье другого, так и отставят за болезнями. Да уж, бывало, как приедешь в деревню-та, так это наверстаешь: был бы только ум да знал бы приказные дела, так соседи и не куркай. То-то было житье! Ты, Фалалеюшка, не запомнишь этого. Сестра твоя Варя посажена за грамоту, батько Иван сам ей начал азбуку в ее именины; ей минуло пятнадцать лет: пора, друг мой, и об этом подумать; вить уж скоро и женихи станут свататься; а без грамоты замуж ее выдать не годится: и указа самой прочесть нельзя. Отпиши, Фалалеюшка, что у вас в Питере делается; сказывают, что великие затеи: колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого: статочное ли это дело; то делалось по благословению патриаршему, а им как это сделать? Вера-та тогда была покрепче; во всем, друг мой, надеялись на бога, а нынече она пошатнулась, по постам едят мясо и хотят сами все сделать; а все это проклятая некресть делает: от немцев житья нет! Как поводимся с ними еще, так и нам с ними быть в аде. Пожалуйста, Фалалеюшка, не погуби себя, не заводи с ними знакомства: провались они, проклятые! Нынече и за море ездить не запрещают, а в «Кормчей книге» положено за это проклятие. Нынече все ничего; и коляски пошли с дышлами, а и за это также положено проклятие; нельзя

только взятки брать да проценты выше указных: это им пуще пересола; а об этом в «Кормчей книге» ничего и не написано. На моей душе проклятия не будет; я и по сю пору езжу в зеленой своей коляске с оглоблями. Меня отрешили от дел за взятки; процентов больших не бери, так от чего же и разбогатеть: вить не всякому бог даст клад; а с мужиков ты хоть кожу сдери, так немного прибыли. Я, кажется, таки и так не плошаю, да что ты изволишь сделать? Пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают? Секу их нещадно, а все прибыли нет; год от году все больше нищают мужики: господь на нас прогневался; право, Фалалеюшка, и ума не приложу, что с ними делать. Приехал к нам сосед Брюжжалов; и привез с собою какие-то печатные листочки и, будучи у меня, читал их. Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне? чего они смотрят, да я бы ему проклятому и ребра живого не оставил. Что за живописец такой у вас проявился? какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян, и называет их тиранами; а того проклятый и не знает, что в старину тираны бывали некрещеные и мучили святых: посмотри сам в «Чети-Минеи»; а наши мужики вить не святые: как же нам быть тиранами? Нынече же это и ремесло не в моде; скорее в воеводы добьешься, нежели во... Да полно, это не наше дело. Изволит умничать, что мужики бедны: эдакая беда! неужто хочет он, чтоб мужики богатели, а мы бы, дворяне, скудели; да этого и господь не приказал: кому-нибудь одному богатому быть надобно, либо помещику, либо крестьянину: вить не всем старцам в игумнах быть. И во святом писании сказано: *работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается господь: егда возгорится вскоре ярость его.*— Да на что они и крестьяне: его такое и дело, что работай без отдыху. Дай-ка им волю, так они и неведь что затеют. Вот те на, до чего дожили! только я на это смотреть не буду: ври себе он, что хочет: а я знаю, что с мужиками делать . . . . . [1]
О, коли бы он здесь был! то-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке. Что и говорить, дали волю: тут небось не видят, и знатные господа молчат; кабы я был большим боярином, так управил бы его в Сибирь. Эдакие люди, за себя не вступятся! Вить и бояре с мужиками-та своими поступают не по-немецки, а все-таки также по-русски, и их кре-

[1] Я нечто выключил из сего письма: такие мнения оскорбляют человечество.

стьяне не богатее наших. Да что уж и говорить, и они свихнулись. Недалеко от меня деревня Григорья Григорьевича Орлова; так знаешь ли, по чему он с них берет? стыдно и сказать: по полтора рубли с души: а угодьев-та сколько! и мужики какие богатые: живут себе, да и гадки не мают, богатее иного дворянина. Ну, а ты рассуди сам, какая ему от этого прибыль, что мужики богаты; кабы перетаскал в свой карман, так бы это получше было: эдакий ум! то-то, Фалалеюшка, не к рукам эдакое добро досталось. Кабы эта деревня была моя, так бы я по тридцати рублей с них брал, да и тут бы их в мир еще не пустил; только что мужиков балуют. Эх! перевелись-ста старые наши большие бояре: то-то были люди, не только что со своих, да и с чужих кожи драли. То-то пожили да поцарствовали, как сыр в масле катались: и царское, и дворянское, и купецкое, все было их; у всех, кроме бога, отнимали; да и у того чуть тако не отни... А нынешние господа что за люди, и себе добра не хотят. Что уж и говорить: все пошло на немецкий манер. Ну-тка, Фалалеюшка, вздумай да взгадай да поди в отставку: полно, друг мой, вить ты уже послужил: лбом стену не проломишь; а коли не то, так хоть в отпуск приезжай. Скосырь твой жив и Налетка; мать твоя бережет их пуще своего глаза; намнясь Налетку укусила было бешеная собака; да спасибо, скоро захватили, ворожея заговорила. Ну, да полно и было за это людям. Сидоровна твоя всем кожу спустила: то-то проказница; я за то ее и люблю, что уж коли примется сечь, так отделает! Перемен двенадцать подадут: попросит небось воды со льдом; да это нет ничего, лучше смотрят. За сим писавый кланяюсь. Отец твой Трифон, благословение тебе посылаю.

XI

2. Сыну моему Фалалею

Так-то ты почитаешь отца твоего, заслуженного и почтенного драгунского ротмистра? тому ли я тебя проклятого учил и того ли от тебя надеялся, чтобы ты на старости отдал меня на посмешище целому городу? Я писал к тебе окаянному в наставление, а ты это письмо отдай напечатать. Погубил ты, супостат, мою головушку! пришло с ума сойти. Слыханное ли это дело, чтобы дети над отцами своими так ругались? Да знаешь ли ты это, что я тебя за непочтение к родителям, в силу указов, велю высечь кнутом; меня бог и государь тем пожаловали: я

волен и над животом твоим; видно, что ты это позабыл! Кажется, я тебе много раз толковал, что ежели отец или мать сына своего и до смерти убьет, так и за это положено только церковное покаяние. Эй, сынок, спохватись! не сыграй над собою шутки: вить недалеко великий пост, попоститься мне немудрено; Петербург не за горами, я и сам могу к тебе приехать. Ну, сын, я теперь тебя в последний раз прощаю по просьбе твоей матери; а ежели бы не она, так уж бы я дал себя знать. Я бы и ее не послушался, ежели бы она не была больна при смерти. Только смотри, впредь берегись: вить ежели ты окажешь еще какое ко мне непочтение, так уж не жди никакой пощады; я не Сидоровне чета: у меня не один месяц проохаешь, лишь бы только мне до тебя дорваться. Слушай же, сынок, коли ты хочешь опять прийти ко мне в милость, так просись в отставку да приезжай ко мне в деревню. Есть кому и без тебя служить: пускай кабы не было войны, так бы хоть и послужить можно было, это бы свое дело; а то вить ты знаешь, что нынече время военное; неровно как пошлют в армию, так пропадешь ни за копейку. Есть пословица: богу молись, а сам не плошись; уберись-ка в сторонку, так это здоровее будет. Поди в отставку да приезжай домой: ешь досыта, спи сколько хочешь, а дела за тобой никакого не будет. Чего тебе лучше этого? За честью, свет, не угоняешься; честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть. Пусть у тебя не будет Егорья, да будешь ты зато поздоровее всех егорьевских кавалеров. С Егорьем-то и молодые люди частехонько поохивают; а которые постарее, так те чуть дышат: у кого руки перестреляны, у кого ноги, у иного голова: так радостно ли отцам смотреть на детей изуродованных? и невеста ни одна не пойдет. А я тебе уже и приискал было невесту. Девушка неубогая, грамоте и писать горазда, а пуще всего великая экономка: у нее ни синей порох даром не пропадет; такую-то, сынок, я тебе невесту сыскал. Дай только бог вам совет да любовь, да чтобы тебя отпустили в отставку. Приезжай, друг мой: тебе будет чем жить и опричь невестина приданого; я накопил довольно. Я и позабыл было тебе сказать, что нареченная твоя невеста двоюродная племянница нашему воеводе; вить это, друг мой, не шутка: все наши спорные дела будут решены в нашу пользу, и мы с тобою у иных соседей землю обрежем по самые гумна: то-то любо: и курицы некуда будет выпустить! Со всем будем ездить в город: то-то, Фалалеюшка, будет нам житье! никто не куркай! Да полно, что тебя учить, ты вить уже не малый ребенок, пора своим умком жить.

Ты видишь, что я тебе не лиходей, учу всегда доброму, как бы тебе жить было попригоднее. Да и дядя твой Ермолай чуть *тако не то же ли тебе советует; он хотел писать к тебе с тем* же ездоком. Мы с ним об этом поговорили довольно, сидя под любимым твоим дубом, где, бывало, ты в молодых летах забавлялся: вешивал собак на сучьях, которые худо гоняли за зайцами, и секал охотников за то, когда собаки их перегоняли твоих. Куда какой ты был проказник смолоду! Как, бывало, примешься пороть людей, так пойдет крик такой и хлопанье, как будто за уголовье в застенке секут: таки, бывало, животики надорвем со смеха. Молись, друг мой, богу, нечего, правду сказать, ума у тебя довольно, можно век прожить. Не испугайся, Фалалеюшка, у нас не здорово, мать твоя Акулина Сидоровна лежит при смерти. Батько Иван исповедал ее и маслом особоровал. А занемогла она, друг мой, от твоей охоты: Налетку твою кто-то съездил поленом и перешиб крестец; так она, голубушка моя, как услышала, так и свету божьего невзвидела: так и повалилась! А после как опомнилась, то пошла это дело розыскивать; и так надсадила себя, что чуть жива пришла и повалилась на постелю; да к тому же выпила студеной воды целый жбан, так и присунулась к ней огневица. Худа, друг мой, мать твоя, очень худа! на ладан дышит: я того и жду, как сошлет бог по душу. Знать, что, Фалалеюшко, расставаться мне с женою, а тебе и с матерью и с Налеткою, и она не лучше матери. Тебе, друг мой, все-таки легче моего: Налеткины щенята, слава богу, живы: авось-таки который-нибудь удастся по матери; а мне уж эдакой жены не наживать. Охти мне, пропала моя головушка! где мне за всем одному усмотреть! Не сокруши ты меня, приезжай да женись, так хоть бы тем я порадовался, что у меня была бы невестка. Тошно, Фалалеюшко, с женою расставаться: я было уже к ней привык, тридцать лет жили вместе: как у печки погрелся! Виноват я перед нею: много побита она от меня на своем веку; ну, да как без этого; живучи столько вместе, и горшок с горшком столкнется: как без того! Я крут больно, а она неуступчива, так, бывало, хоть маленько, так тотчас и дойдет до драки. Спасибо хоть за то, что она отходчива была. Учись, сынок, как жить с женою; мы хоть и дирались с нею, да все-таки живем вместе; и мне ее теперь, право, жаль. Худо, друг мой, и ворожеи не помогают твоей матери; много их приводили, да пути нет, лишь только деньги пропали. За сим писавый кланяюсь, отец твой Трифон, благословение тебе посылаю.

3. Свет мой Фалалей Трифонович!

Что ты это, друг мой сердечный, накудесил? пропала бы твоя головушка: вить ты уже не теперь знаешь Панкратьевича: как ты себя не бережешь; ну, кабы ты, бедненький, попался ему в руки, так вить бы он тебя изуродовал пуще божьего милосердия. Нечего, Фалалеюшко, норовок-ат у него, прости господи, чертовский; уж я ли ему не угождаю, да и тут никогда не попаду в лад. Как закуролесит, так и святых вон понеси. А ты, батька мой, что это сделал, отдай письмо его напечатать; вить ему все соседи смеются: экой-де у тебя сынок, что и над отцом ругается. Да полно, вить, Фалалеюшко, всех речей не переслушаешь; мало ли что лихие люди говорят: бог с ними, у них свои детки есть, бог им заплатит. Чужое-то робя всегда худо: наши лучше всех; а кабы оглянулись на своих деток, так бы и не то еще увидели. Побереги ты, мой батько, сам себя, не рассерди отца-то еще: с ним и черт тогда уже не совладеет. Отпиши к нему поласковее да хоть солги что-нибудь; вить это не какой грех, не чужого будешь обманывать, своего; и все дети не праведники: как перед отцом не солгать? Отцам да матерям на детей не насердиться: свой своему поневоле друг. Дай бог тебе, друг мой сердечный, здоровье, а я лежу на смертной постеле. Не умори ты меня безвременно: приезжай к нам поскорее, хоть бы мне на тебя насмотреться в последний раз. Худо, друг мой, мне приходит; нечего, очень худо; обрадуй, свет мой, меня: ты вить у меня один-одинехонек, как синей порох в глазе, как мне тебя не любить; кабы у меня было сыновей много, то бы свое дело. Заставай, батька мой, меня живую: я тебя благословлю твоим ангелом да отдам тебе все мои деньжонки, которые украдкою от Панкратьевича накопила: вить для тебя же, мой свет; отец-ат тебе несколько дает денег, а твое еще дело детское, как не полакомиться, как не повеселиться? Твои, друг мой, такие еще лета, чтобы забавляться: мы и сами смолоду таковы же были. Веселись, мой батюшка, веселись: придет такая пора, что и веселье на ум не пойдет. Послала я к тебе, Фалалеюшко, сто рублей денег, только ты об них к отцу ничего не пиши; я это сделала украдкою; кабы он сведал про это, так бы меня, свет мой, забранил. Отцы-та всегда таковы: только что брюзжат на детей, а никогда не потешат. Мое, друг мой, не отцовское сердце, материнское, последнюю копейку из-за души отдам, лишь бы ты был весел и здоров. Батька ты мой, Фалалей Трифонович, дитя мое умное, дитя разумное, дитя любезное:

свет мой, умник, худо мне приходит: как мне с тобою расставаться будет? на кого я тебя покину? Погубит он, супостат, мою головушку; этот старый хрыч когда-нибудь тебя изуродует. Береги, мой свет, себя, как можно береги: плетью обуха не перебьешь; что ты с эдаким чертом, прости господи, сделаешь? Приезжай, мой батька, к нам в деревню, как-таки можно приезжай; дай мне на себя насмотреться: сердце мое послышало, что приходит мой конец. Прости, мой батюшко; прости, свет мой: благословение тебе посылаю, мать твоя Акулина Сидоровна, и нижайший, мой свет, поклон приношу. Прости, голубчик мой: не позабудь меня.

XIII

Любезному племяннику моему Фалалею Трифоновичу

от дяди твоего Ермолая Терентьевича низкий поклон и великое челобитье; и при сем желаю тебе многолетнего здравия и всякого благополучия на множество лет, от Адама и до сего дня.

Было бы тебе вестно, что мы по отпуск сего письма все, слава богу, живы и здоровы; тако ж и отец твой Трифон Панкратьевич здравствует же, только Сидоровна, хозяйка его, а твоя мать больно трудна, что подымешь, то и есть, а сама ни на волос не поворохнется. Вчерась отнялись у нее и руки и ноги, а теперь, чай, уж и не говорит; и при мне-та так уж через мочь только намекала. Она заочно благословила тебя твоим ангелом да фарсульской богородицей, а меня неопалимой. Ну, брат племянник, мать-то твоя и перед смертью не тороватее стала! Оставила на помин душе такой образ, что и на полтора рубля окладу не наберется. Невидальщина какая! у меня образов-то и своих есть сотня места, да не эдаких: как жар вызолочены; а эта, брат, неопалима подлинно что не обожжет; и окладишко весь почернел: бог с нею! Спасибо хоть за то, что она в полном уме исповедалась и маслом особоровалась; хоть и умрет, так уж по-христиански. Дай бог всякому такую кончину! Да и тут, Фалалеюшко, кабы не я, так бы разве глухою исповедью исповедывать. Уж я ей говорил: эй, Сидоровна, исповедайся: вить уже ты в гроб глядишь; так нет-ста, насилу прибили. А как приспичило, так давай, давай попа, да уж зато в один день трижды исповедалась. Знать, что у нее многонько грешков-то скопилось. Приводили, правда, и ворожей: нечего, спасибо твоему отцу, не поскупился, да ничего не помогли. А после исповеди привели было еще одного, да уж и Сидоровна сама не захотела напрасно тратить деньги. Кому жить, Фалалеюшко, так

будет притоманно жив; а кому умереть, тому и ворожеи не пособят. Животом и смертью бог владеет. Аще ежели ему угодно будет прекратить дни ее, то приезжай погребсти грешное тело ее. Да и кроме того нам до тебя есть дело. Ну, Фалалеюшко! вить матушка твоя скончалась: поминай, как звали. Я только теперь получил об этом известие: отец твой, сказывают, воет, как корова. У нас такое поверье: которая корова умерла, так та и к удою была добра. Как Сидоровна была жива, так отец твой бивал ее, как свинью, а как умерла, так плачет, как будто по любимой лошади. Приезжай, друг мой Фалалеюшко, приезжай бога ради поскорее, хоть ненадолго, а буде можно, так и вовсе. Ты сам увидишь, что тебе дома жить будет веселее петербургского. А буде не угодно, то хоша туда просись, куда я тебе присоветую, сиречь к приказным делам, да только где похлебнее, на приклад, в экономические казначеи, или в управители дворцовых волостей, или куда-нибудь к подрядным либо таможенным делам. В таких местах кому ни удалось побыть, так все, бог с ними, сытехоньки стали. Иной уже теперь и в каменных палатах живет, а которые ни одной души за собою не имели, те уже нажили сотни и по две-три. Не в пронос сказать о нашем Авдуле Еремеевиче: хотя он недолго пожил при монастырских крестьянах, да уже всех дочек выдал замуж. За одной, я слышал, чистыми денежками десять тысяч дал да деревню тысяч в пять. А не совсем-таки разорился: бог с ним, про себя еще осталось. А кабы да его не сменили, так бы он и гораздо понагрел руки около нынешних рекрутских наборов. Знать, что тех молитва дошла до бога, которые в эту пору определились. Не житье им, масленица! Я бы-ста и сам не побрезгивал пойти в эдакие управители: перепало бы кое-что и мне в карман: кресты да перстни, все те же деньги, только умей концы хоронить. Я и поныне еще все стареньким живу. Кто перед богом не грешен? кто перед царем не виноват? не нами свет начался, не нами и окончается. Что в людях ведется, то и нас не минется. Лишь только поделись, Фалалеюшко, так и концы в воду. Неужто всех станут вешать? в чем кто попадется, тот тем и спасется. Грех да беда на кого не живет? я и сам попался было одиножды под суд; однако дело-то пошло иною дорогою, и я очистился, как будто ни в чем не бывал. Но кабы ты сам сюда приехал, так бы мы обо всем поговорили лучше на словах; а писать-то страховато, не ровно кому попадется в руки, так напляшешься досыта. При сем во ожидании тебя остаюсь дядя твой

*Ермолай ***.*

XIV

На прошедшей неделе получил я с почтового двора письмо следующего содержания:

Слушай-ка, брат живописец! на шутку, что ли, я тебе достался? Не на такого ты наскочил. Разве ты еще не знаешь приказных, так отведай, потягайся. Ведомо тебе буди, что я перед Владимирской поклялся и снял ее, матушку, со стены в том, что как скоро приеду я в Петербург, то подам на тебя челобитье в бесчестье. Знаешь ли ты, молокосос, что я имею патент, которым повелевается признавать меня и почитать за доброго, верного и честного титулярного советника; ведаешь ли ты, что и в *подлости*[1] есть присловица: *не пойман не вор, не...* А ты, забыв законы духовные, воинские и гражданские, осмелился назвать меня якобы вором. Чем ты это докажешь? Я хотя и отрешен от дел, однако ж не за воровство, а за взятки; а взятки не что иное, как акциденция[2]. Вор тот, который грабит на проезжей дороге, а я бирал взятки у себя в доме, а дела вершил в судебном месте: кто себе добра не захочет? А к тому же я никого до смерти не убил: правда, согрешил перед богом и перед государем: многих пустил по миру; да это дело постороннее, и тебе до него нужды нет. Как перед богом не согрешить? как царя не обмануть? как у него не украсть? грешно украсть из кармана у своего брата: а это дело особое: у кого же и украсть, как не у царя; благодаря бога дом у него как полная чаша, то хотя и украдешь, так не убудет. Глупый человек! да это и указами за воровство не почитается, а называется похищением казенного интереса. А похищение и воровство не одно: первое не что иное, как только утайка; а другое преступление против законов и достойно кнута и виселицы. Правда, бывали и такие примеры, что и за утайку секали кнутом: блаженной памяти при ****** это случалось; но ныне благодаря бога люди стали рассудительнее, и за реченную утайку кнутом секут только тех, которые малое число утаят: да это и дельно; не заводи дела из безделицы. А прочих, которые приличаются в утайке больших сумм, отпущают жить в свои деревни. Видишь

---

[1] Подлыми людьми по справедливости называться должны те, которые худые делают дела; но у нас, не ведаю по какому предрассуждению, вкралось мнение почитать подлыми людьми тех, кои находятся в низком состоянии.

[2] Здесь: случайный доход (от *франц.* accidence — случайность).— *Ред.*

ли ты, глупый человек, что ты умничаешь по-пустому. Кто тебя послушается? Я помню, как один господин в бытность мою у него рассуждал о тебе так: он-де делает бесчестье всем дворянам, пиша эдакие письма; что-де подумают иностранные об нас, когда увидят, что у нас есть дураки, плуты . . . . . Понимаешь ли ты, что и верить этому не хотят, что есть бессовестные судьи, бесчеловечные помещики, безрассудные отцы, бесчестные соседи и грабители управители. Что ж ты из пустого в порожнее пересыпаешь? Мне кажется, брат, что ты похож на постельную жены моей собачку, которая брешет на всех и никого не кусает; а это называется брехать на ветер. По-нашему, коли брехнуть, так уж и укусить, да и так укусить, чтобы больно да и больно было. Да на это есть другие собаки, а постельным хотя и дана воля брехать на всех, только никто их не боится. Так-то и ты пишешь все пустое: кто тебя послушается или кто испугается, когда не слушаются и не боятся законов, определяющих казнь за преступление. Слыхал я от одного моего соседа историю, как один греческий мудрец сказал, увидя, что — да полно, вить не все надобно говорить, об ином полно что и подумаешь. Ну, брат маляр, образумился ли ты? послушай, хотя ты меня и обидел, однако ж я суда с тобою заводить не хочу, ежели ты разделаешься со мною добрым порядком и так, как водится между честными людьми. Сделаем мировую; заплати только мне да жене моей бесчестье, что надлежит по законам; а буде не так, то по суду взыщу с тебя все до копейки. Мне заплатишь бесчестье по моему чину, жене моей вдвое, трем сыновьям-недорослям в полы против моего жалованья, четырем дочерям моим девицам вчетверо каждой; а к тому времени авось-либо бог опростает мою жену, и родит дочь, так еще и пятой заплатишь. Видишь ли, что я с тобою поступаю по-христиански, как довлеет честному и доброму человеку. Смотри, не испорть этого сам и не разори себя. К эдаким тяжбам мне уже не привыкать; я многих молодчиков отбрил так, что одним моим, жены моей и дочерей бесчестьем накопил трем дочерям довольное приданое. Что ж делать, живучи в деревне отставному человеку? чем-нибудь надобно промышлять. Многие изволят умничать, что, живучи в деревне, можно-де разбогатеть одним домостроительством и хорошим смотрением за хлебопашеством; да я эдаким вракам не верю: хлеб таки хлебом, скотина скотиною, а бесчестье в головах. Да полно, что об этом и говорить, на такие глупые рассуждения нечего смотреть: которая десятина земли принесет мне столько прибыли, как мое бесчестье; нет-ста, кто что ни говори, а я таки свое утверждаю,

что бесчестьем скорее всего разбогатеть можно. Есть и такие умники, которые проповедывают, что бесчестье брать бесчестно: но пусть они скажут мне, что почтеннее, честь или деньги? что прибыльнее, честь или деньги? что нужнее, честь или деньги? Коли есть деньги, так честь нажить не трудно, а с честью, право, не много наживешь денег. Так-то, брат, я рассуждаю; да я думаю, что и многие хотя не согласятся на сие словами, но в самом деле моим же правилам следуют. И так, рассудя хорошенько, пожалуй послушайся меня и не заводи тяжбы: так мы и останемся приятелями; а это нет ничего, что ты меня выбранил: *брань на вороту не виснет,* лишь бы деньги у меня были в кармане. А притом постарайся уговорить племянника моего Фалалея ***, чтобы он пошел в отставку и приезжал в деревню. Видно, что ты с ним приятель, потому что он отдает тебе все отцовские и материнские и мои письма для напечатания. За сим остаюсь

дображелатель Ермолай.

Октября 22 дня,
1772 года.
из сельца Краденова

XV

[ПИСЬМА К ПЛЕМЯННИКУ]

1

Любезный племянничек, ...
здравствовать тебе навеки нерушимо желаю!

Уведомился я, что ты и по сие время ни в какую еще не определился службу. Отпиши ко мне, правда ли это; ежели правда, так скажи, пожалуй, что ты с собою задумал делать? Я тебя не приневоливаю идти ни в придворную, ни в военную службы для сказанных мне тобою причин; пусть это будет потвоему; а притом и службы сии никакой не приносят прибыли, а только разоренье. Но скажи, пожалуй, для чего ты не хочешь идти в приказную? почему она тебе противна? Ежели ты думаешь, что она по нынешним указам ненаживна, так ты в этом, друг мой, ошибаешься. Правда, в нынешние времена против прежнего не придет и десятой доли; но со всем тем годов в десяток можно нажить хорошую деревеньку. Каково ж нажиточ-

но бывало прежде, сам рассуди: нынешние указы много у нас отняли хлеба!

Тебе известно, что по приезде моем на воеводство не имел я за собою больше шестидесяти душ дворовых людей и крестьян; а ныне благодаря подателя нам всяких благ, трудами моими и неусыпным попечением нажил около трехсот душ: не считая денег, серебра и прочей домашней рухляди; да нажил бы еще и не то, ежели бы прокурор со мною был посогласнее: но за грехи мои наказал меня господь таким несговорчивым, что как его ни уговаривай, только он как *козьи рога, в мех не лезут;* и ежели бы старанием моим не склонил я на свою сторону товарища секретаря и прочих, так бы у меня в мошне не было ни пула. Прокурор наш человек молодой, и сказывают, что ученый, только я этого не приметил. Разве потому, что он в бытность его в Петербурге накупил себе премножество книг, но пути нет ни в одной. Я однажды перебирал их все, только ни в одной не нашел, которого святого в тот день празднуется память, так куда они годятся? Я на все его книги святцев своих не променяю. Научился делать вирши, которыми думал нас оплетать; только сам он чаще попадается в наши верши. Мы его частехонько за нос поваживаем. Он думает, что все дела надлежит вершить по наукам; а у нас в приказных делах какие науки? кто прав, так тот и без наук прав, лишь бы только была у него догадка, как приняться за дело; а судейская наука вся в том состоит, чтобы уметь искусненько пригибать указы по своему желанию: в чем и секретари много нам помогают. Правда, что это для молодого человека трудно и непонятно: но ты этого не опасайся, я тебя столько научу, сколько сам знаю. Пожалуйста, Иванушка, послушайся меня, просись к нам в город в прокуроры. Я слышал, что тебя многие знатные господа жалуют, так это тебе тотчас сделают. Наживи себе там хороших защитников, да и приезжай сюда; тогда весь город и уезд по нашей дудке плясать будет. Рассуди сам, как этого места лучше желать и покойнее. Во всех делах положися на меня, а ты со стороны, ни дай ни вынеси, будешь брать жалованье; а коли будет ум, так и еще жалованьев полдесяток в год получишь. Мы так искусно будем делать, что на нас и просить нельзя будет. А тогда, как мы наживемся, хотя и попросят, так беда будет невелика: отрешат от дел и велят жить в своих деревнях. Вот те на, какая беда! для чего не жить, коли нажито чем жить; то худо, как прожито чем жить: а ка́к нажито, этого никто и не спросит. Пожалуйста, послушайся меня, добивайся этого места. Ты вить уже не маленький робенок, можно о себе подумать,

чем век жить. Отцовское-то у тебя имение стрень брень с горошком, так надобно самому наживать; а на мое и не надейся, ежели меня не послушаешься; хотя ты у меня и один наследник, но я лучше отдам чужому, да только такому, который себе добра хочет. Ежели ж послушаешься, то при жизни моей укреплю все тебе. Смотри ж, я говорю наобум, а ты бери себе на ум. Прощай, Иванушка; пожалуй, подумай о сем хорошенько и меня уведомь. Остаюсь дядя твой ... .

2

Племяннику моему Ивану, здравствовать желаю!

На последнее мое к тебе письмо с лишком год дожидался я ответа, только и поныне не получил. Я безмерно удивляюсь, откуда взялось такое твое о родственниках и о самом себе нерадение. Мне твое воспитание известно: ты до двадцати лет своего возраста старанию покойного твоего отца соответствовал. Он из детей своих на тебя всю полагал надежду; да и нельзя было не так: большой твой брат, обучаяся в кадетском корпусе светским наукам, чему выучился? Ты знаешь, сколько он приключил отцу твоему разорения и печали. А ты под присмотром горячо любившего тебя родителя жил дома до двадцати лет и учился не пустым нынешним и не приносящим никакой прибыли наукам, но страху божию; книг, совращающих от пути истинного, никаких ты не читывал; а читал жития святых отец и Библию. Вспомнишь ли, как тебе тогда многие наша братья старики завидовали и удивлялись твоей памяти, когда наизусть читывал ты многих святых жития, разные акафисты, каноны, молитвы и проч.: и не только мы, простолюдимы, но и священный левитский чин тебе завидовал, когда ты, будучи еще сущим птенцом шестнадцати только лет, во весь год круг церковного служения знал и отправлять мог службу? Куда это все девалося? Всеконечно создатель наш за грехи отец твоих отъял от тебя благодать свою и попустил врагу нашему, злокозненному дияволу, искушати тебя и совращати от пути, ведущего ко спасению. Ты стоишь на краю погибельном, бездна адской пропасти под тобою разверзается, отец дияволов, разинув челюсти свои и испущая из оных смрадный дым, поглотить тебя хочет; аггели мрака радуются, а силы небесные рыдают о твоей погибели, ежели то правда, что я о тебе слышал, сказывали мне, будто ты по постам ешь мясо и, оставя увеселяющие чистые

сердца и дух сокрушенный услаждающие священные книги, принялся за светские. Чему ты научишься из тех книг? Вере ли несомненной, без нея же человек спасен быти не может? Любве ли к богу и ближним, ею же приобретается царствие небесное? Надежде ли быти в райских селениях, в них же водворяются праведники? Нет, от тех книг погибнешь ты невозвратно. Я сам, грешник, ведаю, что беззакония моя превзыдоша главу мою; знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных судил на мзде; и короче сказать, грешил, и по слабости человеческой еще и ныне грешу почти противу всех заповедей, данных нам чрез пророка Моисея, и противу гражданских законов, но не погасил любве к богу: исповедываю бо его пред всеми творцом всея вселенныя, сотворившим небо, землю и вся видимая, всевидящим оком, созерцающим во глубину сердец наших. О ты, всесильный, вселенныя обладатель! Ты зришь сокрушение сердца моего и духа, ты видишь желание следовать воле твоей, ты ведаешь слабость существа нашего, знаешь силу и хитрость врага нашего диявола, не попусти ему погубити до конца творение рук твоих; посли от высоты престола твоего спутницу твою и святыя истины, премудрость, да укрепит та сердце мое и дух ослабевающий. Сказано: постом, бдением и молитвою победиши диявола; я исполняю церковные предания, службу божию слушаю в день раз по пяти с сокрушенным сердцем; посты, среды и пятки все сохраняю не только сам, но и домочадцев своих к тому принуждаю. Да я и не принужденно, но только по теплой вере и еще прибавил постов; ибо я и все домашние мои во весь год, окроме воскресных дней, ни мяса, ни рыбы не ядим. Вот каково, кто читает жития святых отец! Мы во оных находим книгах, что неоднократно из глубины адской пропасти теплые слезы и молитвы возводили на лоно Авраамле, а ты сего блаженства лишаешься самопроизвольно. Разве думаешь, что когда ты не вступишь в приказную службу, то уже и согрешить не можешь? Обманываешься, дружок: и в приказной, и в военной, и в придворной, и во всякой службе и должности слабому человеку не можно пробыти без греха. Мы бренное сотворение, сосуд скудельный, как возможем остеречься от искушения; когда бы не было искушающих, тогда, кто ведает, может быть, не было бы и искушаемых! Но змий, искусивший праотца нашего, не во едином живет эдемском саде: он пресмыкается по всем местам. И не тяжкий ли это и смертный грех, что вы, молодые люди, дерзновенным своим языком говорите: *за взятки надлежит наказывать; надлежит исправлять слабости,*

Ты трѣбуешь, что твой я похвалилъ наряд; хвалю его онъ мнѣ и всемъ хорош на взглядъ.
мужъ похваля торопитца скоряе со двора; К женѣ гостям прибыт приходит ужъ пора.
сожитель другихъ любить женѣ не возбраняет; онъ от того доходъ великой получаетъ
А тѣ рога онъ мнитъ ему нетрудно несть, Коль богатой человек чинит ему ту честь.
петръ чуваевъ,

«Ты требуешь, чтоб я твой похвалил наряд...».

Офорт П. Н. Чуваева.
1780-е годы.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

чтобы не родилися из них пороки и преступления. Ведаете ли вы, несмысленные; ибо сие не припишу я злобе вашего сердца, но несмыслию? Ведаете ли, что и бог не за всякое наказывает согрешение, но, ведая совершенно немощь нашу, требует сокрушенного токмо духа и покаяния? Вы твердите: *я бы не брал взятков.* Знаете ли вы, что такие слова не что иное, как первородный грех, *гордость?* Разве думаете, что вы сотворены не из земли и что вы крепче Адама? Когда первый человек не мог избавиться от искушения, то как вы, будучи в толико крат его слабее, колико крат меньше его живете на земли, гордитеся не свойственною сложению вашему твердостию? Как вам не быть тем, что вы есть? Удивляюся, господи, твоему долготерпению! Как таких кичащихся тварей гром не убьет и земля, разверзшися, не пожрет во свое недро, стыдяся, что таковых во свет произвела тварей, которые вещество ее забывают. Опомнись, племянничек, и посмотри, куда тебя стремительно влечет твоя молодость! Оставь сии развращающие разумы ваши науки, к которым ты толико прилепляешься; оставь сии пагубные книги, которые делают вас толико гордыми, и вспомни, что *гордым господь противится, смиренным же дает благодать.* Перестань знатися по-вашему с учеными, а по-нашему с невеждами, которые проповедывают добродетель, но сами столько же ей следуют, сколько и те, которых они учат, или и еще меньше. К чему потребно тебе богопротивное умствование, как и из чего создан мир? Ведаешь ли ты, что судьбы божии неиспытанны: и как познавать вам небесное, когда не понимаете и земного? помни только то, что *земля еси и в землю отыдеши.* На что тебе учитися реченият иностранным; язык нам дан для прославления величия божия, так и на природном нашем можем мы его прославляти; но вы учитесь оным для того, чтобы читать их книги, наполненные расколами противу закона; они вас прельщают, вы читаете их с жадностию, не ведая, что сей мед во устах ваших преобращается в пелынь во утробах ваших; вы еще тем недовольны, что на тех языках их читаете, но, чтобы совратить с пути истинного и не знающих чужеземских речений, вы такие книги переводите и печатаете: недавно такую книгу видел я у нашего прокурора. Помнится мне, что ее называют К****. Безрассудные! читая такие книги, стремитеся вы за творцами их ко дну адскому на лютые и вечные мучения. Из сего рассуждай, ежели в тебе хотя искра страха божия осталась, какую приносят пользу все ваши науки, а о прибыли уже и говорить нечего! Итак, в последние тебе пишу: ежели хочешь быть моим наследником, то исполни мое желание, вступи в приказную

службу и приезжай сюда; а петербургские свои шашни все брось. Как ты не усовестишься, что я на старости беру на свою душу грехи для того только, чтобы тебе оставить чем жить. Я чувствую, что уже приближается конец моей жизни: итак, делай сие дело скорее и вспомни, что упущенного уже не воротишь. Ты бы, покуда я еще жив, в приказных делах понаторел, а после бы и сам сделался исправным судьею и моим по смерти достойным наследником. Исполни, Иванушка, мое желание, погреби меня сам; закрой в последния мои глаза и после поминай грешную мою душу, чтобы не стать и мне за тебя на месте мучения; проливай о грехах моих слезы, поминай по церковному обряду, раздавай милостыню, не жалей ничего; а на поминки останется довольно, о том не тужи, ежели и ты не прибавишь, так, проживши свой век моим, оставишь еще чем и тебя помянуть. Итак, мы оба, на земли поживши по своему желанию, водворимся в место злачно, в место покойно, идеже праведники упокоеваются. Пожалуй, Иванушка, послушайся меня; вить я тебе не лиходей. Я тебе столько хочу добра, сколько и сам себе. Прощай.

Остаюсь дядя твой ****.

XVI

ЛЕЧЕБНИК

1

Для его превосходительства г. Недоума

Сей вельможа ежедневную имеет горячку величаться своею породою. Он производит свое поколение от начала вселенной, презирает всех тех, кои дворянства своего, по крайней мере, за пятьсот лет доказать не могут; а которые сделалися дворянами лет за сто или меньше, с теми и говорить он гнушается. Тотчас начинает его трясти лихорадка, если кто пред ним упомянет о мещанах или крестьянах. Он их в противность модного наречия не удостоивает ниже́ имени подлости; а как их называть, того еще в пятьдесят лет бесплодной своей жизни не выдумал. Не ездит он ни в церковь, ни по улицам, опасаясь смертельного обморока, который непременно, думает он, с ним случится, встретившись с неблагородным человеком. Вот для чего сей вельможа, подобясь дикому медведю, сосущему свои лапы, сделал дом свой навсегда летнею и зимнею для себя берлогою:

или, лучше сказать, он сделал дом свой домом бешеных, в котором, отдавая себе справедливость, добровольно заключился. Затворник наш ежечасно негодует на судьбу, что определила она его тем же пользоваться воздухом, солнцем и месяцем, которым пользуется простой народ. Он желает, чтобы на всем земном шаре не было других тварей, кроме благородных, и чтоб простой народ совсем был истреблен; о чем неоднократно подавал он проекты, которые многими ради хороших и отменных мыслей были опорочены для того, что изобретатель для произведения в действо своей выдумки требовал наперед трехсот миллионов рублей. Вельможа наш ненавидит и презирает все науки и художества и почитает оные бесчестием для всякой благородной головы. По его мнению, всякий шляхтич может все знать, ничему не учася; философия, математика, фисика и прочие науки суть безделицы, не стоящие внимания дворянского. Гербовники и патенты, едва, едва от пыли и моля спасшиеся, суть одни книги, кои он беспрестанно по складам разбирает. Александрийские листы, на которых имена его предков росписаны в кружках, суть одни картины, коими весь дом его украшен; короче сказать, деревья, чрез которые он происхождение своего рода означает, хотя многие сухие имеют отрасли, но нет на них такого гнилого сучка, каков он сам, и нет такой во всех фамильных его гербах скотины, каков его превосходительство. Однако г. Недоум о себе думает противное и по крайней мере в разуме великим человеком, а в породе божком себя почитает; а чтобы и весь свет тому верил, ради того он старается не чрез полезные и славные дела от других быть отличным, но чрез великолепные домы, экипажи и ливрею, несмотря что он для поддержания своей глупости проживает уже те доходы, кои бы еще чрез десять лет проживать надлежало. Для излечения г. Недоума от горячки

РЕЦЕПТ

Надлежит больному довольную меру здравого привить рассудка и человеколюбия, что истребит из него пустую кичливость и высокомерное презрение к другим людям; ибо знатная порода есть весьма хорошее преимущество: но она всегда будет обесчещена, когда не подкрепится достоинством и знатными к отечеству заслугами. Мнится, что похвальнее бедным быть дворянином или мещанином и полезным государству членом, нежели знатной породы тунеядцем, известным только по глупости, дому, экипажам и ливрее.

2

Для некоторого судьи

Старайся знать потребные для твоего звания науки, без них ты никогда не будешь уметь правильных делать заключений и догадок. Человеколюбие и бескорыстие должны первыми быть путеводителями твоего сердца. Берегись невежества глупых господчиков и дерзости, с которою они обо всем решительно, но неправильно судят; беги праздности, лености и самолюбия, они враги суть чести, добродетели и истинного человечества. Когда ты все сие истолчешь в порошок и пересыплешь им свое сердце и мозг, тогда будет судия отец, судия истинный сын отечества, а не судия палач.

3

Для некоторого военного человека

Когда ты перестанешь гордиться чином, презирать мещан и крестьян затем только, что они бесчиновны; бесчеловечно увечить себе подчиненных; когда ты станешь исправлять их ласкою и своим примером, а не строгостию и мучительством; когда ты возьмешь по целому фунту следующего, а именно: любви к отечеству, желания ко истинной славе, благоразумной неустрашимости, знания в военном искусстве, покорности к начальникам, снисхождения к подчиненным и терпения в нужных случаях, тогда по справедливости достоин будешь тех лавров, коими ирои украшаются.

4

Начеркал сочинил вздорную пиесу и вздумал, что он может ровняться со всеми славными комическими писателями. Сие произошло от пристрастия и самолюбия; с тех пор не терпит он сочинителя новой комедии за то только, что его пиеса хорошо написана и что она всеми разумными людьми похваляется. Наконец от первых болезней приключилась ему новая, опаснейшая прежних: он стал злоязычник и всех тех ругает, кто не похвалит его сочинений. От той болезни

РЕЦЕПТ

Всякий день должен он читать свою пиесу по два раза, сличая с тою, которую он обокрал; продолжать оное чтение три месяца, что произведет в нем отвращение от той его пиесы; тогда увидит он свои недостатки, и самолюбие уменьшится; злоязычество же, происшедшее от самолюбия, есть болезнь неизлечимая.

5

Простосерд недомогает болезнию, именуемою *слепая доверенность*. По причине сей болезни судит он о всех по себе, всем верит и думает, что люди не могут быти злыми затем, что добрыми сотворены. Сие мнение часто ему плачено было худо: но он и тогда говаривал, что сие делалося по слабости человеческой, а не по злому намерению вредить ближним. От такой его опасной для него болезни прописан следующий

РЕЦЕПТ

На всех людей смотреть в волшебный лорнет, показывающий сердца с ним говорящих людей. Сие от той болезни его, конечно, излечит: но при том должен он употреблять свое добросердечие, от чего и сделается честным здоровым человеком.

6

Незрел вспыльчив, имеет бегучие мысли, но не совсем основательные, а сердце кажется что доброе. По такому его нраву с ним случаются следующие болезни: от безделицы покраснеет, взбесится и в состоянии сделать всякое дурачество в своей запальчивости; а иногда он смеется тому самому, за что бесился, и в добрый час сносит наивеличайшие обиды. Бегучие мысли заводят его под небеса, но, дошед до своих границ, низвергают в заблуждение, и тогда он сердится сам на себя. Во гневе не попадайся ему ни слуга, ни собака, ни лошадь: он всех перебьет; когда же спокоен, то добросердие его всеми видимо: оказывает услуги по своей возможности не только что своим приятелям и знакомым, но в состоянии одолжить и такого человека, которого видел не более двух раз и не знает иногда, как его зовут, от чего часто претерпевал убытки. Сему болящему следующий

Не полагаться на свои мысли и при начатии каждого дела подробно рассматривать свою способность и силы. В запальчивости своей пить ему холодную воду и продолжать до тех пор сие питие, доколе сам не начнет смеяться своему дурачеству. От излишнего же добросердечия потребно ему золотников 12 недоверчивости.

7

Для некоторого купца

Ваша милость имел случай с помощию подкупленных тобою бояр, судей и подьячих набогатиться от откупов и подрядов, или, лучше сказать, от разорения народного. Хотя наполнил ты мешки свои серебром и золотом, но, видно, не наполнил ты головы своей разумом; презирая науки и почитая за грех читать светские книги, ты стараешься выйти в другой свет, в коем ты не родился, а именно: ты добиваешься быть дворянином и иметь чины; сыновей женить на дворянках, а дочерей выдавать за дворян. Желать надобно, чтоб сие сбылося; ибо ничто не вылечит так скоро твоей алчности к чинам и дворянству, как то раскаяние, когда новые твои сродники все твое без совести нажитое имение промотают.

8

Для г. Безрассуда

Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только по тому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую *оброк*. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостоивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле распростираются. Он тогда думает:

«Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка: они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: *в поте лица твоего снéси хлеб твой.*

Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва, едва имеют дневное пропитание, затем что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: *это не мое, но божие и господское.* Всевышний благословляет их труды и награждает, а Безрассуд их обирает.

Безрассудный! разве забыл то, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою во образе крестьян, рабов твоих? разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками больше сходства, нежели между тобою и человеком. Вообрази рабов твоих состояние, оно и без отягощения тягостно; когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдыхновения: то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки, человеки го́спода, господа́ отцы своих детей, а не тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преобращим нужное подчинение в несносное иго рабства. Но Безрассуд всегда твердит: *я господин, они мои рабы; я человек, они крестьяне.* От сей вредной болезни

РЕЦЕПТ

Безрассуд должен всякий день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином.

9

Для госпожи Смех

О ты! которая, будучи пятидесяти лет, стараешься казаться осмнадцатилетнею; ты, которая всякий день пять часов просиживаешь перед зеркалом, в котором учишься косить разнообразно глаза свои, делать ужимки, бросать взоры нежные, страстные, застенчивые, горделивые, печальные и отчаянные. Ты, которая чрез смешение разных красок, порошков и умываньев представляешь глазам нашим не естественное лицо свое, но маску распещренную. Не пора ли тебе, сударыня, образумиться и не делать из себя, с позволением сказать, смешной дуры. Леты прелестей твоих протекли и оставили в доказательство того на лице твоем морщины, в кои никто уже больше не

влюбится. Не изволишь ли полечиться и принять следующее лекарство: оставь не приличное тебе жеманство, брось румяны, белилы, порошки, умыванья и сурмилы, которые смеяться над тобою заставляют. Храни, по крайней мере, хотя в старости твоей благопристойность, которой ты в молодости хранить не умела, и утешай себя напоминанием прешедших своих приключений. Поступя таким образом, не будешь ты ни смешна, ни презрительна.

10

Для г. Скудоума

Скудоум, сынок приказного человека, грабившего целый свет, имеет следующие болезни: он презирает свою почтения достойную супругу, которая не только что его сделала счастие, но и всей Скудоумовой фамилии: а Скудоум, не чувствуя нималой к ней благодарности, таскается по всему городу и влюбляется в таких, с коими обхождение наносит бесчестие. Друзей иметь не может затем, что много если месяц с кем знается, а то тотчас сыщет причину поссориться. И, следуя наставлениям одного пооглядевшегося в свете бродяги, пользующегося его малоумием, лазит по голубятням, гоняет голубей, держит петухов, кои бьются между собою, и кормит разного роду мерзких собак. Славные авторы заключены у него в шкапе красного дерева с разбитыми стеклами, от частого чтения моль половину их переела, а остатки покрыты пылью. Вот какая участь авторам, попадшим в руки невежи! От сих болезней следующий

РЕЦЕПТ

Как все Скудоумовы болезни происходят от недостатку разума, то потребно ему принимать всякий день по 10 золотников здравого рассуждения, по 8 унций охоты к чтению хороших авторов и беспрестанно нюхать порошок, прочищающий толстые перепонки, наросшие на его мозгу.

11

Первая моя соседка, госпожа *Непоседова,* больна припадком ездить из дома в дом беспрестанно; переносить вести, ссорить друзей, супругов и всех, кого случится. Сие делает от доброго

сердца; ибо она всех любит равно; итак, если где услышит о ком слово, то уже не преминет пересказать действительно из одного сожаления. Сие ее сожаление часто производит ссоры, и для того потребен ей от сей болезни

РЕЦЕПТ

Больная должна чаще быть дома и смотреть за своею экономиею. Тогда останется у нее гораздо меньше времени на бесполезные ее выезды, и она не сделает столько вреда и друзьям своим и самой себе; а между тем принимать ей по три порошка в день, составленных из *благоразумия* и *истинной дружбы,* которые произведут в ней побуждение ко услуге ближним и истинное дружество, основывающееся на чести и добродетели, и нечувствительно вселит отвращение от вредных пересказываний.

12

Г-н Мешков имеет болезнь для своего прибытка честных людей поносить. Он обманывает всех по своей возможности; в глаза льстит, а заочно ругает и для получения какой-нибудь вещи не щадит ни чести, ни добродетели, ни совести, ни законов. Он содержит роспись всем женщинам, с которых во Франции и Голландии собирается пошлина; знает, которая из них с кем знакома, познакомилась или поссорилась и за что. Он ежедневно рассказывает премножество новостей, хотя оные в городе и не случались; показывает себя ученым и честным человеком; критикует поступки всех граждан. Дела всякие решит, показывая свою остроту; выдумывает новые изобретения и никогда оные не исполняет. Словом, ежели бы избирать надлежало из бездельников министра, так бы лучше его сыскать было невозможно. Ему потребен рецепт.

Примеч. Для г. Мешкова не мог я прописать рецепта по причине многочисленных его припадков. Для его выздоровления непременно надлежит собрать совет: я не могу сказать утвердительно, но кажется мне, будто у него болезнь неизлечимая.

13

Г-ну Злораду, думающему, что слуг, ему подчиненных, ко исполнению своих должностей ничем иным принудить не возможно, как строгостию иль паче зверством и жестокими побоя-

ми. Для сей причины подчиненных ему слуг и за самомалейшие слабости и оплошности наказывает зверски. Он не говорит с ними никогда ласково, но такими словами, которые в них производят ужас. Одевает, обувает и кормит он своих слуг весьма худо, утверждая, что когда сии безумия его несчастные невольники чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно памятуют они свое рабство и, по его мнению, следовательно, тем побуждаются ко исполнению своих должностей. Любовь к человечеству он опровергает и утверждает, что рабам жестокость и наказание, равно как и дневная пища, необходимо нужны. Надлежит думать, что он имеет сердце, напоенное лютым зверством и жестокостию, когда не слышит вопиющего гласа природы: *и рабы человеки.* А нрав его весьма соответствует испорченному его воспитанию. От такой болезни надлежит прописать рецепт.

РЕЦЕПТ

Чувствований истинного человечества 3 лота; любви к ближнему 5 золотник; и соболезнования к несчастию рабов 3 золотн.; положа вместе, истолочь и давать больному в теплой воде; а потом всякий час давать ему нюхать спирт, делающийся из благоразумия. Если ж и сие не поможет, тогда дать больному принять волшебных капель от 30 до 40. Сии капли произведут то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние, и после сего он, конечно, излечится.

14

Г-же Бранюковой

Сия боярыня поминутно бранится с друзьями, детьми, слугами и своими девками. Она не может ничего приказать не побраня. Друзья ее или ветрены, или угрюмы, или очень скупы, или расточительны; дети упрямы, слуги и девки ленивы, воры, пьяницы, моты, картежники; словом: она так бранчива, что ежели не найдет хотя малейшей причины кого-нибудь побранить, то бранит она самое себя. От беспрерывного ворчанья часто бывает она больна разными припадками. Ей потребен рецепт.

РЕЦЕПТ

Всякий день по большому стакану давать пить воды, настоянной с благоразумием. Сие утишит беспрестанное волнение в ее крови и произведет то, что она кропотливостью своею сама будет гнушаться и после того увидит, что люди без погрешностей быть не могут и что иногда оные прощать весьма нужно.

15

Миловид думает, что все женщины должны в него влюбляться, и для того непрестанно за всеми волочится. Он и верить тому не хочет, чтобы нашлась такая женщина, которая бы в него не влюбилась. Любовь его бывает недолговременна: ибо он всем собою жертвует и мысленно всех себе приносит в жертву. От сего припадка надлежит ему полечиться.

РЕЦЕПТ

Болезнь г. Миловида минуется с летами, если он не старее 30 лет; буде же старее, то хотя болезнь сия и неопасная, но, однако ж, неизлечимая.

16

Шестнадцатилетней девушке весьма хочется выйти замуж, ради того что матушка ее часто журит и не дает воли, от чего часто бывают у нее разные припадки.

РЕЦЕПТ

Девице, желающей выйти замуж, надлежит принять до 30 горьких капель, именуемых *брачные узы*. По принятии сих капель, конечно, не так скоро захочет она замуж, но пожелает остаться у своей матушки.

17

Глупомысл хочет непременно знатным быть господином, хотя имеет чин, и весьма маленький. Он почитает себя весьма обиженным: ибо, по его мнению, он может быть и фельдмарша-

лом, и министром, и сенатором, и всем тем, что есть на свете знатно; а в самом деле Глупомысл не что иное, как дурак, и ни к каким делам не годится.

РЕЦЕПТ

Г-н Глупомысл желает невозможного и для него вредного. Сие произошло от худых мокрот, усилившихся в нем при его воспитании: для очищения его от сих мокрот надлежит ему привить *благоразумие,* так, как оно обыкновенно благородным детям прививается в сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Если ж леты его не позволят ему сей прививки сделать, то сия болезнь едва ли излечимая.

XVII

СМЕЮЩИЙСЯ ДЕМОКРИТ

Ба! это тот, в изорванном идет лахмотье, скупяга, который во весь свой век собирает деньги и расточает совесть; умирает с голоду и холоду, который подчиненных ему слуг приучает есть для жизни: то есть сколько потребно для удержания души в теле; который беззаконным лихоимством везде прославился, который наложил на себя и на прочую дворовую его скотину пост во весь год, который зимою по одиножды в неделю топит печь во своей лачуге, который рад продать самого себя за гривну и который накопил сорок тысяч рублей на то только, чтобы по смерти своей оставить их глупому племяннику; тому семнадцатилетнему сквернавцу, который скупостию и бессовестным лихоимством превзошел шестидесятилетнего своего дядю; который сам у себя крадет деньги и берет с самого себя за ту кражу штраф и который во весь свой век не хочет жениться для того только, чтобы на содержание жены и детей не тратить излишнего. О! они достойны, чтобы над ними посмеяться: ха! ха! ха!

Кажется, что я вижу ему противоположника. Конечно, это *Мот?* так, он и есть. О! этот молодец не имеет пороков своего батюшки; но вместо того заражен другими не лучше тех. Батюшка его беззаконно собирал деньги, а сей безумно их расточает. Скупой его родитель съедал то в месяц, что бы надлежало в один день скушать: напротив того, Мот то в день съедает,

что бы в год ему съесть надлежало; тот хаживал пешком для того только, чтоб не тратить денег на корм лошади; а сей держит шесть карет и шесть цугов лошадей, опричь верховых и санных, для того, чтобы не наскучило в одном ездить экипаже. Тот двадцать лет таскал один кафтанишка, а Моту и в один год двадцати пар кажется мало. Короче сказать, отец всякими непозволенными средствами, лихоимством, обидою ближних и разорением беспомощных собрал себе великие сокровища; а Мот, разоряя самого себя, других наделяет. Оба они дураки, и обоим им посмеюся: ха! ха! ха! ха!

Вот еще кавалер, достойный смеха. Это *Надмен.* Он имеет знатный чин, великий достаток и малый ум; ему велено делать людей блаженными поелику можно, но он и последнее спокойство у них отнимает. Надмен не говорит ни с кем ласково, затем что не хочет себя до того унизить. Милостей никому не делает, но иногда обещает. Он хочет, чтобы все его искали покровительства: но под оное никого почти не принимает; а ежели бы и вздумалось ему сию милость кому сделать, так тот ничего бы не выиграл: ибо Надмен кого больше любит, того больше и наказывает. В заключение, Надмен всех глупее; а думает, что все его глупее. Как над ним не посмеяться? ха! ха! ха!

Ба! это г. *Влюбчив.* Что он так скоро бежит? на лице у него написана радость; он поет и прыгает, конечно, попалась ему новая любовница; он их так переменяет часто, как верхние рубашки, и точно так с ними и поступает, как с рубашками; наденет, любуется, замарает, бросит, велит вымыть, наденет еще, и еще бросит, и так далее; сколько женщин, столько у него и любовниц. Впрочем, г. Влюбчив утверждает и всех уверяет, что он самый постоянный и верный любовник нашего века. Он теперь весел, и я ему посмеюся, ха! ха! ха! — Но полно, он жалок, он скоро будет печален. Ха! ха! ха!

Вот еще дурак, но только другого рода. Это *Прост.* Кажется, что он очень печален, идет потупя голову и нахмуря глаза в превеликой задумчивости. Бедняк сей в нашем веке ищет Лукрецию, нигде не находит и о том сходит с ума. Он чрезвычайно влюблен в постоянство романических ироинь. Над ним

часто смеются, и он иногда бывает очень забавен. Печаль его, конечно, бы Ераклита тронула, и он бы заплакал: но мне хочется смеяться. Ха! ха! ха! ха! ха!

Это кто так прытко скачет? ба! *Плох.* Он спешит показать свою глупость в каком ни на есть знатном доме. Плох тщеславится тем, что имеет вход к знатным господам; таскается к ним сколько возможно чаще и делает в угодность их разные дурачества, думая оказать другим свое у них могущество. Вмешивается в их разговоры и, ничего не зная, думает оказать себя разумным; он читает книги, но ничего не понимает; ходит в феатр, критикует актеров и, понаслышке затвердя, спорит: этот актер хорош, а этот худ. Знатным господам рассказывает разные небылицы и старается говорить острые слова, но всегда некстати: словом, Плох старается себя уверить, что поступки его разумны, однако ж все думают, что они глупы. Ха! ха! ха!

Ханжа выступает смиренно из церкви, раздает по полушечке бедным, его окружающим, и считает оные по четкам. Идучи, читает молитвы, от женщин свой взор отвращает, оберегая свои очи: ибо он говорит, чтобы, конечно, оба их исткнул, ежели бы они его соблазнили. Ханжа грешит поминутно, но показывает себя праведником, идущим по пути, устланному тернием. Притворные молитвы, набожность и посты не мешают ему разорять и утеснять сколько возможно всех бедных. Ханжа грабил тысячами, а раздает полушками. Такою наружностию он многих обманывает. Молодым людям ежечасно толкует девять блаженств, но сам в шестьдесят лет своей жизни ни одинажды ни которого не успел сделать. Ханжа ходит всегда смиренно и не возводит никогда своих глаз на небо, затем что не надеется обмануть там живущих: но смотря в землю, обманывает ее обитателей. Ха! ха! ха!

Вот едет госпожа! она вчерась вышла замуж, а сегодни спешит на свиданье с любовником. Ха! ха! ха!

Я вижу двух человек; один другого уверяет в своей дружбе и обманывает; а другой притворяется, будто он не знает, как тот его поносит. Оба обманывают, и оба обманываются. Ха! ха! ха!

Что это за человек бежит в таком отчаянии? А! это *Ветрен.* Его обманула любовница, и он хочет удавиться. Он жалок... Но вон там идет женщина: она с ним встретилась, и он свое намерение оставляет. На что ж дурачиться? Ха! ха! ха!

Вот г. *Кривотолк:* он торопится сделать досаду одному бумагомарателю, перетолковав написанное им в худо без малейшего основания. По несчастию, он в силах сие исполнить, но я сему дурачеству посмеюся. Ха! ха! ха! ха! ха! ха!

Наркис, влюбяся во свою красоту, не перестает сам себе нравиться и не отходит прочь от зеркала. По его мнению, все мужчины, не удивляющиеся его прелестям, смертно согрешают; а женщины, кои в него не влюбляются, суть без ума. Он недавно из перед туалета, за которым просидел целый день, завивая волосы, притирая лицо, чистя зубы, румяня губы, подмазывая брови и проч. Прелестные его волосы имеет счастие чесать новомодный французский парикмахер и за то получает по 30 рублей в месяц. Исправный сей француз ставит ему разных сортов пудру и помады; за что награждается весьма щедро; при чесании за ту же цену уверяет Наркиса, что он подобных его волосам ни во Франции, ни в России не видывал. Наркис для умножения своих прелестей не щадит ни притираньев, ни душистых вод; и теперь, одевшись, прикалывает весьма искусно сделанный пучок цветов и едет на бал. Я следую за ним же и вижу его там. Он с мужчинами разговаривает весьма гордо, поминутно смотрится в зеркало и поправляет свои цветы. Говорит только о своих над прекрасным полом победах и не может пробыть ни минуты в той комнате, где по малой мере нет трех зеркал. Наркис обыкновенно садится так, чтобы он во всех зеркалах себя мог видеть; и часто, забывшись, кидает на себя в зеркале страстные взгляды и воздыхает. Старается иногда острые говорить слова, но в 23 года его жизни не сказал еще ни одного, затем что ему всегда мешают. Наркис из всех душевных добродетелей прославляет свою щедрость: и подлинно, она чрезмерна потому, что он красоту свою всем городским жителям показывает безденежно и чрез то их не разоряет. Словом, Наркис на своей красоте сходит с ума; там ему все смеются, и я ему посмеюся. Ха! ха! ха! ха!

Посмотрите на этого негодяя; это судья *Забылчесть*. Он, невзирая на строгость указа о лихоимстве, со всех челобитчиков не только сам под разными видами берет, но и подчиненных ему своим примером взятки брать поощряет. Он выдумал, по его мнению, безгрешный способ брать взятки, а именно: чтобы те дела вершить по прошествии двух часов пополудни; ибо-де, говорит он, жалованье государево получаю я за то, чтобы быть в присутствии только до двух часов; а когда-де пробуду я и третий час, тогда это сделаю не по указу, но по дружбе с челобитчиком; а тот по дружбе за то подарит. Какие же это взятки? Это, говорит он, подарки. Теперь подписывает он за 200 рублей определение о выдаче одному челобитчику 2000 рублей, законно ему принадлежащих, и сам себя уверяет, что это безгрешно и против законов и против совести, *понеже* скоро будет бить три часа: какое скаредное крючкотворство! Ха! ха! ха!

Вот еще люди, достойные осмеяния; двое из них судьи, а третий секретарь. Во всех присутственных местах обыкновенно секретари делают то, что приказывают им судьи; а здесь судьи делают то, что приказывает им секретарь. Один судья не противоречит ему для того, что ни в какие не входит дела, а подписывает все те определения, кои секретарь пометит; другой, напротив того, хотя и не подписывает дел не читавши, но за сию осторожность взятки с секретарем делит пополам и для избежания в таком случае хлопот, так же как и первый, ему никогда не противоречит. Здесь судьи худые секретари; а секретарь был бы хороший судья, если бы не расточил свою совесть. По таким обстоятельствам, если челобитчик захочет, чтобы его дело было решено, то непременно должен прежде на свою сторону склонить секретаря, в противном же случае дело его не решится. Ха! ха! ха! ха!

Я вижу в феатре двух в ложе дам. Они сидят спокойно и ожидают начатия комедии. Спокойствие их нарушается; к ним вступает изрядно одетый мужчина, и они все, увидев друг друга, приходят в замешательство. Кавалер сей один из числа тех ветреных мужчин, которые влюбляться во многих женщин и их обманывать не только почитают за ничто, но и находят еще в том удовольствие. Бедняк сей не ожидал, чтобы две его любовницы, которых он ложными клятвами и притворным постоянством обманывал порознь, случилися тут обе вместе. Он надеял-

ся тут найти одну и с нею поговорить, а после хотел побывать и у другой: но, увидя их вместе, пришел в такое замешательство, что не знал, с которою начать разговор. Смелость его и обыкновенная таким мужчинам живость, предками нашими наглостию называемая, его оставили. Бледнеет, краснеет, и кажется, будто уже и раскаивается. Госпожи совместницы тотчас сие приметили, и каждая, скрывая свою досаду, принялися над господином волокитою шутить. Язвительные их насмешки усугубляют его замешательство. Сие зрелище достойно, чтобы все ветреные мужчины на оное взирали и остерегалися от подобных приключений. Обезмолвленный волокита собирает свои силы и начинает перед госпожами извиняться: но что сии извинения возмогут сделать! Обиженная таким образом любовница лишь в пущую запальчивость приходит. Волокита при сем извинении одной любовнице больше оказывает почтения, и кажется, будто пред нею больше хочет оправдаться. Сугубо обиженная любовница воспламеняется ревнивостию, видя совместницу свою, себе предпочитаемую, близ себя. Она обращает острый свой язык не на изменившего ей любовника, но на свою совместницу, торжествовать начинающую, и осыпает ее язвительными насмешками. Вдруг возгорается война. Любовницы досадою, ревнивостию и злобою воспламеняются. Не древние на брань ополчаются амазонки, храбростию своею греков устрашавшие, не смертоносные из колчанов своих извлекают стрелы: две любовницы, женщины нашего века, выдергивают из шиньонов своих длинные булавки и мгновенно ими друг друга поражают. Обе поединщицы приходят во исступление: злоба паче возгорается, удары повторяются, а любовник от места удаляется. Храбрые наши ироини, переколов друг другу и руки и бока и истощив свои силы, не победя соперницу, удивляются своей крепости. Стыд, что все на них свои обратили взоры, заступает место злобы и на лице их показывается. Они встают со своих мест и удаляются; а я вослед им посмеюся. Ха! ха! ха!

Что за человек с таким вниз по лестнице бежит стремлением? А! это любовник, удаляющийся от места сражения его любовниц. Он приходит в партер и становится к другой стороне от той, где были его любовницы. Он раскаивается во своем поступке и подает надежду, что он исправится и будет постояннее. Он опасается, чтобы его не приметили. Наконец спокойствие к нему возвращается: но он и тогда взор свой на другую сторону обращает. С ним встречается взор девицы лет осмнадцати.

Они друг друга узнают и начинают разговор. Волокита, избавясь от одной опасности, вдается в другую; он в красавицу влюбляется и помалу страсть свою ей открывает. Она не хочет слушать; он клянется и наконец доводит до того, что она его выслушала; она принимает на себя веселый вид и, улыбаяся, хочет ему ответствовать. Волокита восхищается мечтою; самолюбие ему льстит; он уже почитает себя счастливейшим из смертных; но девица ему ответствует: хоть три дни, сударь, посвяти памяти оставленных и обиженных тобою любовниц, а потом открывайтесь другой, а не мне: ибо я, быв очевидным свидетелем вашего постоянства, верить вам не могу. Ищите женщину меня легковернее. Она начинает смеяться, и волокита удаляется, неся с собою образец ветреных любовников. Ха! ха! ха!

XVIII

ОТПИСКИ КРЕСТЬЯНСКИЕ И ПОМЕЩИЧИЙ УКАЗ КО КРЕСТЬЯНАМ

1. ОТПИСКА

Государю Григорью Сидоровичу!

Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.

Указ твой господский мы получили и денег оброчных со крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ сто двадцать три рубли двадцать алтын; с деревенских с пятидесяти душ шестьдесят один рубль семнадцать алтын; а в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских двадцать шесть рублев четыре гривны, на деревенских тринадцать рублев сорок девять копеек; да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских сорок три рубли двадцать копеек; а больше собрать не могли: крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумны собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повалилась; а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да и соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходе сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как поволишь? денег не платит, говорит, что взять негде: он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие ро-

бятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатил мир, видя его скудость; а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клети за три рубли за десять алтын; корова за полтора рубли, а лошади у него все пали, другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем: миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут, а робятишек поморить и его вконец разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с ним сам поволишь, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подрастут робятишки; без скотины да без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь, тебе бьют челом о завладенной у нас Нахрапцовым земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разоряет и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему господскому собрано тридцать рублев и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиваться по делу. Нахрапцов на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитью была за мною из города посылка. Меня в отчине тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян в самую работную пору; и я, государь, в город ездил, просил секретаря и воеводу, и крестьян ваших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублев, воз хлеба да пять возов сена. Нахрапцов попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму: секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: он боярин добрый, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось-либо он за нас вступится и секретаря уймет, а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступись, государь, за нас, своих сирот: коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят, и Нахрапцов всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невмоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим все тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, а нынче стало уже невмочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все вконец разоримся: неплательщики все прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресение и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы

изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублев с полтиною; да на две избы, по десяти рублев за избу. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег: с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался и затем с ним разошелся, взято по указу твоему тридцать рублей; с Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублей, и он на сходе высечен. Он сказал: *я-де это сказал с глупости,* а напредки он тебя, государя, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся раби твои, староста Андрюшка со всем миром, земно кланяемся.

2. ОТПИСКА

Государю Григорью Сидоровичу!

Бьет челом и плачется сирота твой Филатка.

По указу твоему господскому, я, сирота твой, на сходе высечен, и клети мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты в оброк, и с меня староста правит остальных, только мне взять негде: остался с четверыми ребятишками мал мала меньше; и мне, государь, ни их, ни себя кормить нечем. Над ребятишками и надо мною сжалился мир, видя нашу бедность; им дал корову, а за меня заплатили подушные деньги: а то бы пришло последнюю шубенку с плеч продать. Нынешним летом хлеба не сеял, да и на будущий земли не пахал; нечем подняться. Ребята мои большие и лошади померли, и мне хлеба достать не на чем и не с кем: пришло пойти по миру, буде ты, государь, не сжалишься над моим сиротством. Прикажи, государь, в недоимке меня простить и дать вашу господскую лошадь: хотя бы мне мало-помалу исправиться и быть опять твоей милости тяглым крестьянином. За мною, покуда на меня бог и ты, государь, не прогневались, недоимки никогда не бывало, я всегда первый клал в оброк. Нынече пришло на меня невзгодье, и я поневоле сделался твоей милости неплательщиком. Буде твоя милость до меня будет и ты оботрешь мои сиротские и бедных моих ребятишек слезы и дашь исправиться, так я и опять твоей милости буду крестьянин; а как подрастут ребятишки, так я и добрый буду тебе слуга. Буде же ты, государь, надо мною не сжалишься, то я, сирота твой, и с малыми моими сиротишками поневоле

пойду питаться Христовым именем. Помилуй, государь наш, Григорей Сидорович! кому же нам плакаться, как не тебе? Ты у нас вместо отца, и мы тебе всей душой рады служить; да как пришло невмочь, так ты над нами смилуйся: наше дело крестьянское, у кого нам просить милости, как не у тебя? У нас в крестьянстве есть пословица, *до бога высоко, а до царя далеко,* так мы таки все твоей милости кланяемся. Неужто у твоей милости каменное сердце, что ты над моим сиротством не сжалишься? Помилуй, государь, прикажи мне дать клячонку и от оброка на год уволить, мне без того никак подняться не возможно; ты сам, родимый, человек умный, и ты сам ведаешь, что как твоя милость без нашей братии крестьян, так мы без детей да без лошадей никуда не годимся. Умилосердися, государь, над бедными своими сиротами. О сем просит со слезами крестьянин твой Филатка и земно и с ребятишками кланяется.

3. КОПИЯ С ПОМЕЩИЧЬЕГО УКАЗА

Человеку нашему Семену Григорьеву!

Ехать тебе в **** наши деревни и по приезде исправить следующее:

1

Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.

2

Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запускал оброк в недоимку; и после из старост его сменить; а сверх того взыскать с него штрафу сто рублей.

3

Сыскать в самую истинную правду, как староста и за какие взятки оболгал нас ложным своим докладом? За то прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.

4

Старосты Андрюшки и крестьянина Панфила Данилова, по коем староста учинил ложный донос, обоих их домы опечатать и определить караул; а их самих отдать под караул в другой дом.

5

Если ж в чем-либо будут они чинить запирательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.

6

И как нет сумнения, что староста донос учинил ложный, то за оное перевесть его к нам на житье в село ***; буде же он за дальным расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.

7

Сколько пожитков всякого звания осталося после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него, Данилова, взыскать и взять в господский двор, учиня всему тому опись.

8

Крестьян в разделе земли по просьбе их поровнять, по твоему благорассуждению: но притом, однако ж, объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, не делая никаких отговорок, оный платили бездоимочно; неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.

9

Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выпись; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет, на взятье выписи.

10

В начавшийся рекрутский набор с наших деревень рекрута не ставить: ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров за чиненные им неоднократно пьянствы и воровствы вместо наказания; а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.

11

За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублей; а его перевезть к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать с него, опричь штрафных, двести рублей.

12

По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги; а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок бездоимочно.

13

Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно; буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты.

14

За грибы, ягоды и проч. взять с крестьян деньгами.

15

Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привезть с собою для обучения разным мастерствам.

16

По исправлении всего вышеписанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег.

* * *

Конец I части

ЧАСТЬ II

I

На сих днях получил я писание, скрепленное Любопытным зрителем, которое гласит тако:

О граждане, граждане! ищите прежде денег, а потом добродетели!

Юпитер предложил некогда во всеобщем собрании богов, что он человеков больше, нежели всех зверей, любит и для того намеряется сделать всех их благополучными. Сие предложение подтвердив, они общим согласием поручили Аполлону о том пещися. Для произведения сего в действо послал Аполлон семь мус, а двух из них оставил при себе, дабы не вовсе остаться во одиночестве. Каждая из сих семи мус имела у себя на плечах ящик, в котором находились средства для человеческого благополучия. Первая несла *разум;* другая *добродетель;* третия *здравие;* четвертая *долгоденствие;* пятая *увеселение;* шестая *честь,* а последняя наполнила свой ящик *златом.*

Все они вместе сошли с своей горы и пошли прямо в один город, в котором тогда была ярманка. Всяк признавал их не инако, как бы за валдайских девушек, и великое множество купцов к ним набежало; а наипаче весьма великое число

молодых мужчин окружило их: и для того вознамерились они провозгласить свои товары. Первая кричала:

— Государи мои, покупайте *разум!* Эй, разум! разум! Вы все кажетесь мне иметь в нем великую надобность. Купите разум, так и не будет вам нужды покупать других товаров у моих подруг. Покупайте разум — право, это редкий товар!

Вдруг все зрители начали хохотать, говоря:

— Куда как эта утешна девка, жаль только, что она уже немолода!

Муса, видя, что у ней никто ничего не покупает, пошла по всем улицам, крича опять:

— Кто купит разум! — Но как и сие ничего не пособило, то вознамерилась пойтить по домам и, пришедши в один знатный дом, сняла с плеч ящик и наземь постановила, ибо великое количество разума начало уже ее весьма отягощать. По несчастию, в то время ссорилась госпожа оного дома с своим мужем и колотила всю челядь. Она, увидя мусу, спросила ее с свирепым видом:

— Что за женщина?

— Сударыня,— сказала она ей,— я хочу спроситься, не соизволите ли купить разума. Купите заблаговременно, так послужит он вам в нужде. Я, может быть, не скоро в другой раз приду в ваш дом, а мой товар вашей особе весьма кстати; ибо вы столь любезный и прелестный вид имеете, что, я признаться должна, вы ни в чем не имеете недостатка, как только в разуме.

— Пошла к черту,— закричала госпожа,— ты, конечно, хочешь меня дурачить!

— Никак, сударыня; я хочу вас избавить от дурачества: ибо я продаю разум.

Тогда госпожа схватила с ноги башмак и не преминула бы разбить оным у бедной мусы ящик с разумом, если бы сия благим матом не убралась со двора. Лишь чуть успела она оттуду унесть ноги, как бежал за нею надсмотрщик товаров и кричал:

— Бродяга, что у тебя в ящике? Ты должна пошлину заплатить.

— Это разум, сударь, к вашим услугам.

— Разум,— отвечал надсмотрщик,— разум! Что это за товар? *Я, кажется, и сам торговал, пока еще не сделался надсмотрщиком, и сию должность, не хвастаясь, отправляю уже тридцатый год, однако не могу припомнить, чтобы когда сии товары приходили в наш город. Итак, я запечатаю твой ящик,*

пока не осведомлюсь, не принадлежит ли разум к запрещенным товарам.

Надсмотрщик побежал и представил о том таможенному начальству, на что и последовало решение, чтобы немедленно торговщицу сию выгнать из города. Ибо, по мнению судей, имели они довольно уже разума; гражданам же оный был бы бесполезен и выше их состояния: притом было бы совсем противу благоразумия и политики нынешнего века, чтоб дозволить вывозить деньги из государства за таковые безделицы. Таким образом, вытолкали сию мусу из города под запрещением, чтобы впредь она никогда в оный не возвращалась.

Другая, имевшая для продажи *добродетель,* кричала равным образом по всем улицам, однако не нашла ни одного купца: ибо все единодушно про нее думали, что она не при своем разуме. Наконец один старик, муж, исполненный премудрости, вздохнув несколько крат, жалким голосом сказал ей:

— Душа моя, твой товар в отечестве нашем не в моде. Некоторые наши . . . . . утверждают, что он чресчур ветх, а наши молодые госпожи почитают все те уборы смешными, которые бабушек их украшали. Итак, не худо сделаешь ты, когда сей напрасный труд для тебя вовсе оставишь. Моды у нас переменяются; и то, что мы за сто лет добродетельною женою называли, именуется ныне благородною, высокородною, превосходительною или сиятельною госпожою.

По счастию, муса имела в своем ящике терпение, которым ополчась, новые получила силы для перенесения своих сокровищ обратно в свое жилище.

Третия, провозглашающая *здравие,* хотя и нашла несколько покупщиков, однако все почти из них такие люди были, которые или французскими романами, или американскими припадками так сильно изнемогали, что уже никак не можно было и пособить им. По несчастию, в самое то время явился позорищу площадный лекарь, и тогда все больные, оставя мусу, говорили:

— Полно, оставим ее и пойдем к сему врачу, который всех знатных господ и госпож исцеляет. Коль многих он женщин своими живыми водами избавил от сердечной болезни, или, лучше сказать, от любовной чахотки, усиливающейся от частых и многоличных перемен? а сия глупая женщина пред-

писывает только нам простую пищу, брачную любовь да ключевую воду.

Тогда муса принуждена была закрыть свой ящик, и едва излечились два человека ее лекарствами: ибо никто не хотел сохранить предписанный ею порядок трезвыя жизни.

Вдруг появилась четвертая муса и кричала: *долгоденствие!* Лишь только она сие один раз выговорила, то воспоследовало с площадным лекарем почти то самое, что некогда с Омиром; то есть здоровые и больные, его оставя, бросились к мусе, продающей долгоденствие. Некоторые богачи готовы были уступить за то половину своего имения; но не могши к ней сквозь народ продраться, просили полицейского офицера послать на их счет за десятскими, чтоб чернь сию разогнать.

— Дражайшая муса! — говорил тогда осмидесятилетний старик,— благодарю небо! я приобрел себе кровавым потом до шестисот тысяч рублей, и хотя то такое иго для меня крушиться день и ночь о безопасности сего малого моего стяжания, однако мне не хочется еще умереть: ибо я в крайнюю горесть прихожу, когда вспомню, что дети мои по смерти моей расточат пóтом нажитое. Итак, милостивая государыня, чего бы требовать изволите за то, чтобы жизнь моя еще на восемьдесят лет продолжилася?

— Восемьдесят тысяч рублей,— отвечала муса.

— Восемьдесят тысяч рублей! вправду ли вы говорите? восемьдесят тысяч! Не можно ли уступить за восемь тысяч; вить надобно же живучи помышлять и о жизни.

— Государь мой,— сказала муса,— вам должно знать, что деньги, выручаемые за мои товары, определены единственно на прокормление разумных и добродетельных людей, находящихся в крайней скудости, и, следовательно, я в рассуждении сих бедных ничего уступить не могу.

— Ах! что много, то много,— сказал старик,— возьми, я придам еще сто рублей, что сделает восемь тысяч сто рублей, и все чистою серебряною монетою. Прошу, милостивая государыня, подумать.

— Что тут еще много думать,— вскричал другой богач и, вынув свой кошелек, сказал: — вот вам восемьдесят тысяч рублей.

— Весьма изрядно, государь мой,— сказала ему муса,— я рада вам служить, однако я должна вам напомнить, что вы будете сожалеть о своих деньгах, если вы у моих трех боль-

ших сестер не купили разума, добродетели и здравия. Ибо без сих вещей лекарства мои или вовсе ничего не пособят, или будут только вам причинять беспрестанные мучения, от чего и жизнь ваша будет вам в тягость.

— Да где ж сии три сестры? — спросил богач.

— Поищите только их; они, чаятельно, еще в городе.

Богач приказал их по всем домам искать; вестники разосланы были, чтобы спрашивать их по деревням, однако нигде их сыскать не могли.

К пятой мусе, провозглашающей *увеселения,* бросились толпами молодые женщины и мужчины, жаждущие сих товаров, и с таким стремлением, что ее сшибли с ног и она, упав, разбила свой ящик. Тогда с превеликою жадностию хватали увеселения и оные дружка у дружки с толиким насилием из рук вырывали, что ничего целого не осталось. Имеющие же у себя маленькие оных отрывки досадовали, что им всего не досталось; а завистию истаевали, что прочие удержали у себя то, в чем первые еще недостаток имели. Муса негодовала на людей за их неистовое стремление, которое единственно причиною, что увеселения их испорчены: ибо она хотела им уступить оные добровольно и без малейшего повреждения.

Шестая из сих мус кричала: *честь!* Тогда народ с толикою наглостию бросился за сим товаром, что от чрезмерныя тесноты произошла драка, а от драки и самое убийство. Вскоре подоспевшая стража привела мусу в безопасность и избавила ее от сверкающих мечей, подъемлемых над ее главою. Во время сего неистового волнения жителей отперши она неприметно свой ящик вынула оттуду истинную честь и наполнила оный пустыми только титлами. Сие учинив, вскричала:

— О люди! я вас усильно прошу, будьте несколько скромны и ведайте, что истинная честь сама собою к вам придет.

Однако они, несмотря на ее просьбу, преодолели стражу, разломали ящик и сражались меж собою, не щадя и жизни, за пустые только титлы, находившиеся в оном. Что до меня касается, то я весьма дивился, увидев меж ими и тех людей, кои обыкновенно проповедывали о едином только смиренномудрии; а крайне изумился, узрев превеликую толпу благородных, притом не весьма достаточных и обер-офицерских дочерей, слезно просящих себе у мусы зажиточных и случайных

супругов и которые бы из высокородных или, по крайней мере, не меньше высокоблагородных были. Муса, посмеваясь толь глупому их поступку, размышляла в себе: «Пускай глупые бегают с одними только титлами, а я хочу истинную честь опять вручить Аполлону, да увеличит он сам ею того из смертных, который всех их достойнее будет». В сих мыслях, посмотрев несколько на меня с приятным и веселым видом, оставила она город, как нечаянно нашла меньшую свою сестру, которая деньги носила, лежащую без чувств у градских ворот. Тогда возопила она:

— Увы, любезнейшая сестрица! что сделалось с тобою? Колико соболезную я, нашед тебя в толь горестном состоянии!

Наконец умирающая муса, пришед несколько в себя, с тяжким вздохом произнесла:

— Ах! сколь я счастлива, что вижусь еще с тобою; ты возвращаешь жизнь мою, которую я было почти потеряла. Никогда я себе вообразить не могла, чтобы человеки столь безумны были. Ступай, сестрица, удалимся от сих уродов: дай мне убежище, ибо я всеминутно в опасении, дабы они опять на меня не напали.

— Да что же они тебе сделали?

— Представь себе,— отвечала она,— тысячу волков, томимых чрез восемь дней гладом, и меж коих бы человек, несший на плечах агнца, попался; так имеешь ты живой образ того, что мне с моим денежным ящиком случилось. Ибо лишь чуть только я в градские ворота вошла и сказала: что я деньги несу и хочу оные давать имеющим в них надобность, то тьма людей меня покрыла. Находившиеся в жилищах из окошек стремглав валились; придворные с лентами и ключами, остановив вдали свои кареты, пешком бежали; тысящницы вдовы и богатые девицы с прежалким воплем повергали к стопам моим просительные бумаги; стихотворцы и ученые бездыханны летели с Еликона с одами и посвящениями высоких своих творений; словом, всех чинов и состояний градские жители стекались ко мне со всех четырех сторон и, повергнув меня с моим денежным ящиком на землю, оный разбили. Тогда они все хватали, рвали, а чего в руки захватить не могли, то хватали ртом и зубами. Наконец, не нашедши уже ничего более в ящике и на земле, сорвали с меня одежду, обыскивали в карманах и пороли платье. Тогда, бросив меня почти бездыханну и мертву, те, коим ничего не досталось, начали у других насильно отнимать, а чрез то вступили в толь жестокое междоусобие, что ни единый оттуду с целою головою не ушел,

и чем более кто себе денег захватил, тем больше он израненным и изувеченным остался.

Боги, получив таковое от мус известие и узнав, коль алчно человеки ищут *увеселений*, *чести* и *богатства*, твердо положили жаловать впредь сими тремя вещами тех только, кои имеют *разум* и *добродетель*. Но исполнен ли потом сей приговор или и поныне еще в недействии остался, о том не могу я заподлинно уверить.

Любопытный зритель.

P. S. Сказуют, что сему любопытному зрителю одна муса подарила превеликие два штофа разума; а другая, продающая честь, пожаловала его достоинствами, то есть *честностию* и *скромностию*.

II

ПЕРЕВОД

Г. живописец!

Я теперь *Неудобо-разумо-и-духодеятелен!* Прошу я вас, г. м., именем всея нашея дружбы, приказать хотя на мой кошт выпечатать сие слово большими, а если можно, и красными еще буквами: оно есть новое и высокое изобретение осьмаго-надесять столетия; а я, имея счастие быть оного первым творцом и знаменателем, хочу оное предать потомкам от рода в род и на множество веков. Впрочем, дабы избавить всех строителей новороссийского языка от излишних и суетных трудов, то я верною им в том порукою, что оного слова не находится ни в славенских книгах, ни в старинных летописях, ниже́ и в самых едкостию древности обетшалых рукописях; а собственно начертано оно неистребимыми знаками на скрыжалех моего сердца. Чрез сие предварительное уведомление желаю я освободиться навсегда от ученого прения и многообразных толков; сверх сего, предоставляя себе только одному право винословствовать об оном, могу неукоризненно и во всякое время в разговорах и сочинениях моих изображать свойство душевного и телесного моего состояния одним только выражением, то есть что я *Неудобо-разумо-и-духодеятелен!*

Да что ж оное значит, всеконечно спросите вы меня? На сие ответствую, что я то ощущаю только во внутренности моей, изобразить же оного на словах никак не могу. Также я нимало не понимаю, относится ли оное больше к разуму или духу; принадлежит ли к числу болезней или к другим каким со-

кровенным действиям душевным; а знаю только то, чего оное не означает. Например, если бы кто назвал меня, но порознь, туманным, или прискорбным, или пасмурным, всегда в сообществе молчаливым, всем недовольным и на все негодующим, или всеминутно стенающим, погруженным в глубокую задумчивость и в черную тень дум; или бы захотел меня выхвалить самыми модными петербургскими словами, то есть назвать меня страждущим сердечною болезнию, или ипохондриею: то я бы всеми сими хотя блистательными, однако порознь мне приписываемыми титлами нимало не был доволен. Напротив того, единое слово *Неудобо-разумо-и-духодеятелен* всего мне на свете милее, и оно все вышереченные достоинства в превосходном степени и в одно время замыкает в себе. Притом гораздо похвальнее, ежели я представлю собою главу или испещренный вертоград всех петербургских ипохондриков, нежели когда только называться буду притворным или, что все равно, простым ипохондриком.

Но уже приступаю к решению другого вопроса; то есть каким образом взошел я на сей степень престранных дум и чувствований. Общее и повсеместное есть правило, что каждый ищет себе подобного: ибо равные мысли, единообразный нрав и сходные чувствования притягают, так сказать, одного ко другому. Кто не знает, что сраженные жестоким наветом всегда обращаются и беседуют с подобными только себе; несчастного любовника сердце неприступно всем веселиям и утехам мира; но когда равною судьбою гонимый уверяет его, что нет во свете для любви ничего невозможного, что наконец и самые непреклоннейшие сердца смягчаются и любовным истаевают пламенем: тогда некий приятный луч новыя надежды и отрады вливается в душу его. Следовательно, и я, имев честь служить почти с полгода в чине простого ипохондрика, во всем подвластен был тому же закону. Ибо для ипохондрика нет во свете ничего увеселительнее, как видеться повседневно и быть вместе с ипохондриками. Вследствие сего закона глубокомысленное наше общество благоволило учредить *каменный берег* всегдашним нашим сборищем. Признаюсь, г. м., что я по вступлении в новый чин, то есть в ипохондрию, первые два или три месяца почти не сходил с берега; и когда я на целый свет уже равнодушным оком взирал, тогда один только берег утешал еще печальную мою душу. Представьте только себе двадцать или, по крайней мере, десять совершенных ипохондриков, собравшихся в единое место; вообразите себе их наружный пасмурный вид, странные, а часто ужас наводящие

Франт и франтиха.

Офорт П. Н. Чуваева (?).
Конец XVIII в.— начало XIX в.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

телодвижения и слова, прерываемые всеминутно то воздыханиями, то глубоким отчаянием; и скажите без всякого ласкательства, есть ли какое в свете сего прелестнее позорище? — Правда, чтоб видеть сие явственнее еще, потребно самому иметь и очи и чувства ипохондрические; но я, благодаря бога! будучи оными всещедро одарен, надеюсь представить вам самую живейшую картину тех лиц и особ, с коими я на берегу часто обращался. Один, например, произносит громко хулу и клевету на свое отечество; называет оное неблагодарным, что оно, забывая его достоинства, которые в его записной книжке им самим и весьма изящными красками изображены, и невзирая на все его чины, снисканные ему то ближними, то искренними, то усильными просьбами, считает его без разбора наряду со другими. Другой проклинает свое рождение, жизнь и судьбу; возносит жалобу к пустыням, морям и дремучим лесам; уверяет их лиющимися слезами, что дни его пременённы в смертельный яд и что он твердо уже вознамерился иттить искать себе дружбы и любви со зверьми, а не с человеками: ибо обожаемая им повелительница — повелительница, которая по искусству своему... преобратила его своим непостоянством в дурака; иной, севши на безмолвный камень и потупив очи в землю, беседует с нею: о ты! свидетельница моих мучений — им не будет уже конца — не будет для меня в жизни сей никакой отрады. Итак, тщетно я тебя тягчу: уготови мне здесь прохладный одр, где прискорбный мой дух, гонявшийся за прелестною тению несклонныя любви, навсегда успокоится. А ты, прекрасная дщерь! поразившая некогда сердце мое твоею добродетелию, проходи иногда мимо сени моей, воззри хотя единожды кротким и жалостию растворенным оком на то злачное место, в котором храниться будет прах мой, посвященный твоим достоинствам в жертву и горящий к тебе вечною любовию! [1] — Вот, государь мой, какими я разительными видами почти вседневно, ходя по берегу, наслаждался. Я каждый раз, видя пред собою сих ничем не излечимых страстотерпцев и внимая толь печальному отзыву, производимому их жалобами и

---

[1] Здесь предложил я все роды модной ипохондрии, проистекающие из трех главных источников: то есть из тщеславия и самолюбия; или из несклонности, впрочем, весьма добродетельныя красавицы; либо из непостоянства развратных мужчин и женщин. Прочие все ипохондрики и ипохондрицы не заслуживают нижѐ имени сего на себе носить и принадлежат большею частию к шайке недозрелых сумасбродов, нежели к нашему темноумствующему лику.

воздыханием, точно представлял себе, что природа, изъявляя свое сожаление о моем состоянии, сама издавала эхо сие: таковым сладким мечтанием довольно напитавши чувства и душу мою, возвращался в дом с превеликим удовольствием.

Однако есть ли что на свете постоянное? и может ли человек вожделенною вещию долгое время наслаждаться? — Никак: полгода был я ипохондриком, а четвертый уже месяц тому назад, как я принужден сделаться *Неудобо-разумо-и-духодеятельным.* Вы, может быть, г. м., от кого-нибудь слыхали, в котором угле города я живу; или положим, что я, может статься, живу недалече от Сергиевской улицы: так не должно ли мне переходить мосток, чтобы добраться до каменного берега? Но сего мостка уже нет на свете. Четвертый месяц тому, как и развалин его не вижу; но четвертый месяц и тому, как мне пресечен путь к месту моего увеселения и купно господствовавшей во мне ипохондрии.— Первые три недели жил я весьма спокойно и тихо; то есть, приказав людям одиножды навсегда, чтобы всем приходящим навестить меня сказывали, что меня дома нет, и запершись один в моей комнате, находился от радости вне себя, что я избавился от ненавистного мне людского сообщества. Притом, углубясь в сии забавные для меня мысли и не говоря ни с кем с утра до вечера ни слова, бегал в глубокой задумчивости по комнате с обнаженною шпагою. Но и сея утехи вскоре я лишился! Ибо, будучи однажды престрашными сновидениями угрожаем, пробудился я ото сна и, схватясь, вдруг бросился за шпагою, но, не нашед ее на своем месте, начал из всея силы кричать:

— Шпага! малый! люди! ах! шпага моя — повеса — где шпага моя?

Тогда слуга, как молния прилетев ко мне, сказал с притворным видом:

— Пожалуйте, сударь, успокойтесь, шпага отнесена ввечеру для починки.

— Для какой починки? бездельник! вы, конечно, все согласились на жизнь мою. Но нет, плут, не удастся вам совершить умышленное вами бесчинство. Само небо отдает вас теперь в мои руки. Подавай платье — я сию ж минуту бегу исполнить над вами праведное мое мщение.

— Виноват, сударь,— упадши к ногам, говорил он мне,— вчерась ввечеру приходил сюда хозяин с какими-то людьми, весьма похожими на бородобреев, однако я их к вам не впустил; и они, объявив мне о вашем весьма опасном состоянии, приказали, чтобы я неотменно прибрал у вас шпагу.

Государь мой! не понимаете ль вы, куда дело клонится? Притом я ссылаюсь на ваше праводушие, не всяк ли имеет право быть веселым по своей воле; кто же может отнять у человека право и печалиться, сколько ему угодно? Сие-то право, врожденное всем и каждому, произвело во мне чрезмерный гнев, и я почти без памяти на малого кричал:

— Злодей, изменник! ты, конечно, подкуплен: как ты осмелился, негодный, лишить меня той вещи, которая всякий час охраняет жизнь мою? Пойдем только, друг мой, в полицию, кошки тамошние, поговоря несколько часов с твоею спиною, откроют всю правду.

— Помилуй, батюшка, кормилец,— возопил слуга,— я, право, для того сие учинил, что мне показалось, да и хозяин мне то же самое твердил, будто вы, сударь, немножко помешались.

— Как! я помешался? и в чем?

— Нет, сударь, я хотел инако сказать, что вы помутились мыслями.

— Молчи, бездельник, я ни одной кости в тебе живой не оставлю. Кто приставил тебя лазутчиком или гадателем сокровенного моего беспокойствия? Нет, плут, заговор ваш скоро выйдет наружу; сейчас мне платье.

Как я несколько в кабинете замедлил и выдумывал, как бы хитро поговорить с полицейскими, то малый не преминул уведомить о том хозяина, а сей также успел созвать на свой двор несколько соседей, и лишь чуть только появился я на крыльце, как все вдруг попались мне, будто не нарочно, встречу.

— Все ли в добром здоровье? — поклонясь, хозяин спросил меня.

— Слава богу! — выговорил я с потупленными глазами.— Да вам какая нужда слышать о здоровье или о смерти моей?

Хозяин, притворясь, якобы не слыхал моего ответа, опять спросил учтиво:

— Куда вы так рано изволите иттить?

— В полицию,— отвечал сурово,— в полицию, чтобы или *мосток* сделан был, или чтобы шпагу мою назад мне возвратили.

Тогда все они, бросившись ко мне, всячески меня молили, чтобы я по причине *мостка* не ходил туда, представляя мне, что полиция давно уже о том знает; но для того *мостка* не делает, что какая-то . . . . . , будучи также обязана содержать сей *мосток,* не соглашается еще по сие время к постройке оного, а на ее где ты будешь искать? И для того опасно докучать полиции, чтобы она, осердясь, не наложила сего бремени на нас самих.

— Что же касается до вашей шпаги, то она,— сказал хозяин,— у меня, и я вам оную в целости сам принесу.

Я, будучи с природы миролюбив и незлобив, согласился тотчас на все; однако спустя несколько времени узнал, ко крайнему моему ущербу, что я уступил им очень много. Ибо, пришедши однажды, малый сказал:

— Не прикажете ли покупать дрова, теперь последний уже им привоз.

— Хорошо,— отвечал я,— поди и сторгуй сажен с тридцать.

Но слуга вскоре обрадовал меня ответом, что дров сажень с перевозом продается по рублю, а поелику за неимением *мостка* надобно их кругом обвозить, то извозчики от сажени еще хотят в прибавку иметь по сороку копеек. На сем-то месте, г. м., сделался я в первый раз *Неудобо-разумо-и-духодеятельным*. И здесь вся ипохондрия вмиг исчезла: но великое несчастие бывает часто причиною великих дел; и крайняя нужда делает человека наилучшим изобретателем. Я, вдруг став как будто некиим новым светом озарен, велел малому выпросить у хозяина и тех соседей, коим я по их просьбе сделал немалое одолжение, две длинные и толстые доски; потом, достав оные, приказал моим людям приделать у каждой доски по обеим сторонам на пять пальцев вышиною края. Совершив благополучно таковые редкие и неслыханные махины, велел я оные на том месте, где прежде мосток был, так положить, чтобы колеса у роспусок по сим желобам катиться могли. И как лошадей по моему искусству незачем было переправлять, то вместо оных перетягивал я роспуски взад и вперед посредством двух канатов. Таким образом, сторговав дрова по рублю, провозили оные прямо к моим вышеописанным желобам, а здесь, отложив лошадей, прицепляли к роспускам канат, перетягивали их чрез желобы, потом тащили на двор и, сбросив там дрова, опять переправляли роспуски на другую сторону посредством другого каната. Работа сия по моему учреждению так хорошо и безостановочно происходила, что в один день все дрова на двор перевезены были.

Вот вам, г. м., толкование на слово *Неудобо-разумо-и-духодеятелен*. Правда, я, может быть, чрез оное и другие какие еще важные вещи разумею, однако полного его содержания не намерен я открывать свету. Славным изобретателям и великим людям в искусстве свойственно сохранять некоторые тайности по жизнь свою для одних только себя. Впрочем, не могу не упомянуть о том, что при переправке дров случилось напоследок со мною. Люди, живущие около меня, услыша о толь необычайном и странном деле, мало-помалу стекалися к сему месту и, увидев

меня там, что я все учреждаю и повелеваю всеми, начали меж собою перешептывать:

— Это, конечно, француз: видишь, как они умны.

Другие, напротив того, спорили:

— Нет, это не француз, это немец, которого недавно выписали.

А в отдаленной от меня толпе дошло было и до драки, потому что одни твердили:

— Это не француз, не немец, а, конечно, наш какой удалой: теперь и русские, слава богу! научились.

Другие ж или от злости, либо по упрямству грубо отвечали:

— Нам и не дожить до того, чтобы русский когда такую хитрость выдумал.

Я, осердясь на сих последних бездельников, вскричал:

— Ступайте домой, невежды, я вас палкою; зачем вам драться, я точно русский. Притом уверяю вас, что иной русский разум гораздо превосходнее бывает заморского: но поелику оный не имеет еще столько уважения и ободрения, как иностранный разум, то он часто от того тупеет.

Я для того прошу вас, г. м., напечатать мое письмо для уверения всех, что и русские умы, так, как и иностранные, могут производить в свет важные и славные дела. Остаюсь.

III

Г. живописец!

Недели с две тому, как приехала я сюда из Москвы и, начитав в здешних ведомостях, что в Луговой Миллионной продаются какого-то живописца листочки, по природной моей к живописи склонности тотчас послала их купить. Но в какое удивление я пришла, нашед в них не любовные картинки, но поношения и клеветы противу прекрасного пола! Видно, что ты, друг мой, родился в какой ни есть сибирской деревушке, вскормлен и выучен беспутной твоей живописи; а если бы хотя один твой глаз во Франции побывал, так ты бы, конечно, поострее глядел на свои руки и, пишучи женское лицо, употреблял бы к тому нежных только цветов краски, а не темные и мрачные, так, как теперь делаешь, не знаю, ошибкою ли или умышленно. Нет, дружок! даром тебе это не пройдет.— Где это слыхано, чтоб живописец написал женское лицо темными красками? — И бабушка твоя Всякая всячина, как говорят здешние женщины, того не запомнит; а ты, видно, на выскочку. Полно и того, что

твоя братья по невежеству своему не умеют иногда и бородавки утаить; а ты вздумал еще и худыми красками нас описывать. Признайся ж сам, заслуживаешь ли ты трудами своими от нашего пола благодарность? Видно, что ты еще не знаешь, что кто не умеет женскому полу угождать, того и за человека не почитают.— Через кого наживаются портные и перукмахеры? Скажи, не через нас ли? Через кого происходят добрые люди и в чины, как не через нас? Кто выгоняет из молодых людей задумчивость, как не мы? Кто вперяет воспитанным в непросвещении дворянам понятие о модах, как не мы?.. А ты, такая мелкая на свете тварь, уродуешь наши лица.— Пора, право пора тебе, дружок, опомниться.— Напиши-ка два или три хорошенькие портретца, да только поскорее; ан и не тот станешь человек. Тебя будут звать для снимания портретов во все знатные домы; а ты с легкой моей руки станешь богатеть да наживаться. Вот тебе прямая дорога ко счастию! Кинь, дружок, старинные темные краски: они, если по совести сказать, глаза колют; так будешь всему женскому полу во все будущие роды и роды приятен. А теперь все щеголихи и новомодные женщины, право, так тебя боятся, как робята азбуки.— Так-то, дружок.— Отпиши же, радость моя, в твоих еженедельных листочках, как тебе покажется мой совет,— тебе же лучше будет! — а я изготовлю тебе между тем в подарок

Доброхотное сердечко.

* * *

Государыня моя, я бы хотел сделать вам угодность изображением вашего прекрасного лица самыми нежнейшими красками, но не в силах сие исполнить потому, что ласкательство есть претрудная для меня наука, и я никогда не имел склонности следовать ее правилам. Я соглашаюсь на ваше мнение, что ни один живописец не придет в моду у прекрасного пола, а может быть, и у нашего, который ласкать не умеет,— это неоспоримая истина; да и то также правда, что я никогда сему ремеслу не обучался. Живописцев, нашей братьи, в здешнем городе много: так вы можете сыскать из них одного по своему желанию. Если вы имеете прелестное лицо и приятный стан, то загляните только ко дво . . . вы найдете там многих живописцев по вашему вкусу; или познакомьтесь с каким стихотворцем. Вы уведомляете меня, что всякая щеголиха боится меня так, как робята азбуки; я тем и доволен: робята, боявшиеся азбуки, пришед в совершенный возраст, всегда раскаяваются в том; может быть — но вить я вас еще больше рассержу. Прощайте, сударыня.

IV

Государь мой!

Сколько во Франции почитают Боало де Прея, а в Германии Рабнера, столько здесь разумные люди похваляют «Всякую всячину», «Трутня» и вашего «Живописца», их потомка. Да как и не хвалить таких сочинений, которых предмет, по-видимому, есть тот, чтоб осмеивать пороки, а добродетель представлять в блистательном ее виде. Надобно бы, кажется и мне, чтоб любовь ко ближнему была самым первым основанием всех наших дел. Но мы видим иногда в свете и совсем противное тому. Когда поедем за море: то и там увидим, что в злобных сердцах попеременно действует то ненависть, то мщение. Честолюбие повсюду требует себе жертвы. Одно в хулу поистине изреченное слово, а клеветником до целой речи расположенное лишает иногда не токмо чести, но и пропитания. В дугу согнувшаяся спина поспешно приближается к знатным чинам и богатству. За нею следует тихими стопами лукавством преисполненная голова, сплетающая себе венок из того самого терния, которым ближнего коснулась. Окинем глазами своими улицы: тут увидим разоренных вдов и сирот, оплакивающих день своего рождения; отцов, клянущих непокоривых и строптивых своих сыновей; матерей, раздраженных распутством дочерей; детей, поносящих хулами родителей своих за то, что стараются старинным поведением заградить им стези к развращению. Зайдем хотя мимоходом и в домы: в одном увидим голые стены: домашние уборы, так, как и другие пожитки, все уже к месту прибраны; а полы усыпаны карточными листами; в другом молодых дворян, разговаривающих о великолепии французских мод; в третьем пожилых людей, обще между собою советующихся о исправлении нравов детей своих; в четвертом любовника, с ума сходящего и на судьбу жалующегося, что попустила оспинам так сильно лицо его обезобразить; в пятом престарелого человека, который морщины лица своего белилами заглаживает, а седину пригожим перуком покрывает. Посмотрим еще и на блистающие златом кареты: за одною идут разоренные купцы, просящие о уплате долгов; им ответствуют с негодованием: *завтре;* за другою выходят со двора в ветхих рубищах крестьяне, прося об отсрочке до другого времени оброка, которого они за крайнею своею бедностию теперь заплатить не могут; им говорят грозным голосом: *не можно;* перед третиею рядом стоят челобитчики, просящие о решении своих дел, и получают в ответ: *теперь не время;* они кланяются в пояс и отходят.

Nec si miserum Fortuna Sinonem
Finxit, vanum etiam mendacemque improba finet[1].

Счастлив бы был воистину всякий народ, если бы, выходя из тьмы неведения и жестокосердия, во-первых, перенимал добродетели, а потом науки, художества и промыслы того народа, от которого заимствует свое просвещение. Но и то надобно сказать, что ничто вначале совершенным быть не может. Главные пороки повсюду уже искореняются, а мелкие выйдут, может быть, со временем из моды. Сего, как видно из ваших листочков, желаете и вы, господин издатель «Живописца». И так я, возбуждаем будучи тем же желанием, каким и вы, не премину по сыновней любви к отечеству своему совокупно с вами открывать пороки сограждан моих и об оных уведомлять вас в письмах моих, которые прошу покорно вносить в листочки ваши, дабы я чувствовал хотя то утешение, что наблюдения мои в пользу общества предаются тиснению. А между тем, в ожидании вашего на то согласия, остаюсь

отечеству своему всякого блага желающий
Россиянин.

* * *

Прошу сообщать ваши примечания: они мне приятны; а у читателей спросите сами, каковы они им покажутся.

V

ИЗВЕСТИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ С ЕЛИКОНА

Будучи я одиножды в то уединенное и тихое состояние приведен, в котором смертные, оставя иногда на несколько мгновений мир сей, входят в самих себя, прелетают мысленно жизнь свою, делаются над собою судиями и, по долговременном исследовании нашед, что они большею частию страждут от клеветы и ненависти, ищут своего утешения в одной только невинности, произносил следующую жалобу:

— Великий боже! что есть благороднее человека в его творении? но что и ужаснее быть может его обхождения с нами?

---

[1] Пусть Фортуна несчастным Синона
Сделала — лживым его и бесчестным коварной не сделать! *(лат.).— Ред.*

Уверяй его, сколько хочешь, разными опытами и услугами о своем благонравии и честности; вкрадывайся в его сердце до тех пор, пока уже он собственною честию ручается за твою добродетель. Но лишь чуть только в нем маленькая искра неудовольствия воспламенилась, вдруг затмевается имя твое; ты делаешься ненавистным ему предметом, и он не видит уже в тебе ничего хорошего, как будто бы возможно было, чтобы человеческие добродетели в одном мгновении и по воле недоброхотства превращались в пороки или в самое ничтожество. О суетная жизнь! — продолжал я мою жалобу,— коль великолепно блистают алтари твои! коль бесчисленны твои обожатели! и коль тьмократны их падения!

Стремлению таковых размышлений дал я на несколько времени свободу и переходил из одной мысли в другую до тех пор, пока нашел для себя во оных некое душевное спокойствие. Тогда бросился немедленно в постелю, и едва только сомкнул глаза, как нечаянно приятный и необычайный сон овладел слабыми моими членами. Но душа, которая во своем владычестве никогда не усыпает со всеми силами и, подобно не дремлющему ни день, ни почь кормчему, всегда имеет верных стражей, или пекущихся о благосостоянии бренного ее жилища, либо действующих всеминутно по естественному и нравственному течению, была во мне, против обыкновенного, столь сильно поражена некиим тайным предчувствованием, что хотя я и действительно объят был глубоким сном, однако все мне казалось, будто приготовляюсь в дальную дорогу.

Сие предчувствование сбылось действительно со мною. Ибо спустя несколько минут прелетаю я земной шар и все поднебесные области; преселяюсь в жилище бессмертных, коего величество и небесный блеск восхищают дух мой.— Но оставшееся еще во мне чувствование человечества вселяет в меня сердечное сожаление о бывшем моем смертном жребии. И так говорил я сам в себе:

— И так, конечно, ты уже навсегда расстался с земными жителями! Ты не будешь иметь того нежнейшего удовольствия, чтобы друзьям и врагам твоим сказать в последний раз: *прости.*— Жалостию растворенные слезы, кои из глаз моих, как будто из двух источников, лилися, последовали за каждым словом.— Прости,— говорил я,— дражайшее человечество! прости навеки и прими сей плач яко чистейшую дань, приносимую тебе от меня в последний раз.

Потом, будучи некоею невидимою силою ободрен, вдруг почувствовал в себе, якобы со слезами моими купно и все слабости

человечества во мне померкли. С сего времени начал было я, как казалось, с холодностию и равнодушием взирать на земное величие, чины, достоинства и на все оного ветшающие красоты; и, утушая мало-помалу привязанность к бренности, наслаждался новым блаженством. Но вдруг представив себе весьма несправедливый поступок моея *смерти*, немало тем огорчился.

— Как! — вскричал я вспыльчиво,— мне один раз в жизни моей, и то неволею случилось подумать только о суетности и злых наветах мира сего; причем весьма я отдален был от того, чтобы желал умереть; однако немилосердая *Парка* против воли и чаяния пресекла нить дней моих. Нет, таковой поступок сколько для меня неприятен, столько оный несправедлив и непростителен. Коликое множество в свете есть таких людей, которые чрез целую жизнь свою и не понимают, чтó они живут? Сколько есть и таких еще, кои хотя то и весьма явственно понимают, однако делами своими не заслуживают жить и на одну минуту? А о тех и упоминать не хочу, кои при изъяснении своея любви хотя тысячу раз угрожали себе ядом, кинжалами и другими неминуемыми смертями: однако и по сие время все еще в добром здоровье находятся. Сии-то роды людей составляют, так сказать, зрелую жатву для смертныя косы: ибо они, и живы будучи, уже почти во гробе лежат. За что же меня так насильно и противу желания лишать жизни?

Как я, в сии размышления углубясь, в превеликой находился задумчивости: то вдруг услышал приятные восклицания, производимые ликом, приближающимся ко мне. И каким сладчайшим восторгом стал я поражен, увидев грядущих ко мне духов, одетых в белое женское одеяние и стократно повторяющих:

— Это он, это он — это любопытный зритель, описатель нашего путешествия.

Я, будучи внезапу из глубокия печали в чрезмерную радость преселен, пребыл недвижим, точно воображая себе, что я, конечно, странствую во сновидениях. Вдруг все они, окружив меня, с ласковым и пленяющим видом говорили ко мне:

— Пожалуй, не беспокойся, отряси всю печаль свою и ведай, что ты видишь теперь пред собою наилучших твоих приятельниц; мы те мусы, которых ты весьма много одолжил описанием твоим несчастного нашего по земли странствования.

Сколько я сначала ни старался принять на себя веселый и свободный вид в моих разговорах, однако каждое слово изъявляло некую принужденность и доказывало им явственно о моем смятении. Они, приметя во мне внутреннее волнение духа, пресекающее слова мои, всячески меня просили, чтобы я как чест-

ный человек, не утаевая ничего, открыл им точную причину моего беспокойства.

— Государыни мои,— отвечал я тогда,— как мне не досадовать? я, живши на земле, заготовил было несколько дюжин разных проектов, и если бы все оные произведены были в действо, то, конечно, нажил бы я себе богатство, высокие чины, а может быть, и бессмертное имя. Ибо я твердо было положился написать по крайней мере несколько сатирических книг и посредством оных изгнать все пороки из отечества моего: но едва успел сочинить три или четыре сатиры, как сверх чаяния лишился жизни. О смерть! ты не взираешь ни на что, ты разрушила все мои надежды!

По выслушании моея речи никак не могли они удержаться от смеха, потом ласково мне сказали:

— Изо всех твоих желаний видно, что ты и поныне еще смертный: поверь нам, что ты еще не умер; итак, не о чем тебе крушиться; ты жив, и будешь жив надолго. А что ты теперь в наших местах находишься, то мы тебя нарочно сюда на малое время призвали. Во-первых, мы почли за долг благодарить как тебя, так и г. Живописца за изрядное описание нашего земного странствования; во-вторых, зная довольно, сколь ты стараешься о знании человеческого сердца и сколь беспристрастно рассуждаешь о земных вещах, охотно желаем уведомиться чрез тебя, какой это род людей *метрессы* [1] и каким образом они у вас заведены. Нам доводилось несколько крат читать в полном собрании сочинения некоторых просвещенных французов, в которых *метрессы* превозносятся хвалами, что они избавляют мужчин от тяжкого ига. то есть брачного союза, и возвращают человеку первобытную его вольность: но мы с крайним отвращением слушали таковые нелепые заключения.

Потом одна из тех двух мус, кои оставались при Аполлоне и которая, как я уведомился, представляет образ верныя и целомудренныя супруги, приступив ко мне поближе, говорила:

— Я должна признаться, что я больше всех желала увидеться с тобою и открыть тебе мое неудовольствие в рассуждении нынешних женщин. Будучи я главою и покровительницею женского пола, имею долг больше всех пещися о их целомудренности, верности и святости брака; почему все списки добродетельных женщин всех народов и веков у меня хранятся. Посмотри же на список нынешнего полустолетия, а наипаче

[1] куртизанки, развратные женщины (от *франц.* maîtresse — любовница).— *Ред.*

последних годов, и признайся чистосердечно, много ли найдешь теперь *Лукреций.* Вот тебе моя роспись, прочти ее прилежно. Ну... сколько нашел *Лукреций?*

— Извините, сударыня, я, право, здесь . . . . . .

ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ.

VI

Г. живописец!

Как мне известно, что в ваших хвалы достойных листах не упускаете никогда являть свету все, что оного заслуживает презрение, дабы чрез то возбудить в сердцах сограждан ваших должное отвращение к худым делам; то вы, я думаю, не пропустите случая дать знать всем мыслящим россиянам (ибо вы для них только, я думаю, пишете) о наипохвальнейшем и наиполезнейшем учреждении, о каком токмо частным людям помышлять дозволяется. Я хочу здесь говорить о недавно учрежденном *Обществе, старающемся о напечатании книг.* Статуты оного Общества вам, как человеку, всегда в свете обращающемуся, может быть, известны; но я, читая оные, столь много восхитился, усмотря их доброе намерение и долженствующую из оного учреждения истекати пользу для всего российского народа, что не мог удержаться, чтобы не восхотеть об оных дать знать всему свету. Между тем как я постараюсь вам сообщить все статьи оного учреждения, намерен теперь вам поговорить о пользе оного в рассуждении народного просвещения и о пользе его как Общества, до торговли касающегося.

Правило неоспоримое государственного домостроительства есть сие: стараться о процветании торговли. Сие разумеется о пространных государствах; ибо сколь торговля в таком государстве полезна, столь и более она вредна в правлении, на один или малое число городов ограниченном; что более опричь торга приводит деньги, сии измеряющие знаки народное иждивение, в обращение, и потому, что более доставляет гражданам пропитание! Не говоря о том, что чрез оный богатые люди лишаются излишних своих денег, которые бы мертвы, так сказать, были в их сундуках, если б роскошь, соплетая им новые потребности, не побуждала их покупать работы художников, равно пышность, тщеславие и чувства услаждающих; коликое число питается посредством торгу людей, дневную работу исправляющих, доставляя художникам материалы, над коими хитрая их рука ис-

черпывает вымыслы искусства. Что были бы без торговли фабрики, мануфактуры и проч.? А общественный торг тем выгоднее для государства, что, будучи в состоянии большие предпринимать намерения, он большему числу людей доставляет прокормление. Но учреждение *Общества, старающегося о напечатании книг,* хотя и кажется, что не подходит под сие правило, но тем полезно, что подает пример, каким образом надлежит установлять торговые общества; как производить оного дела без замешательства, как предварять неудобствам, к разрушению оные влекущим. Я не устыжусь сказать, что сие Общество посрамляет большую часть нашего купечества, не ведающего начальных правил торговли. Да научится оно оным из сего учреждения! Дай бог, чтобы, просвещая всех разумы, пример сего Общества просветил разумы наших торгующих и явил им истинные их прибытки. Сами они были бы богатее, а государство могущественнее и счастливее.

Что касается до пользы сего Общества в рассуждении просвещения разумов, то кто оную, так сказать, не ощущает? Печатание книг, соближая веки и земли, доставляя всем сведение о изобретенном и о происшедшем, есть наивеличайшее изо всех изобретений, разуму человеческому подлежащих. Что может более, коли не печатание книг, расплодить единую истину, в забвении бы быть без оного определенную, и родить, так сказать, столько же прямо мыслящих голов, как сам изобретатель той истины, сколько есть читателей? Печатание соблюдает наилучшим образом все истины, доставляет наибольшему количеству народа об оных сведение, чрез то очищает общество от заблуждений и предрассудков, всегда вредных; ибо я не того мнения, чтобы оные некогда полезны быть могли: польза их бывает мгновенна, но вред, от оных происходящий, отрыгается, если могу так сказать, чрез целые веки.

Вот что я вам имел сообщить о наиполезнейшем нашего века учреждении частных людей. Пожалуй, внесите сие письмо в ваши листы; ибо сведение о таковом Обществе побудит, может быть, иных к учреждению какого другого, гораздо полезнее наших клубов, ассамблей и тому подобных сходбищ. А вы, ревнители истины, продолжайте путь ваш. Вам Россия долженствовать будет . . .

Ваш покорный слуга

Любомудров.

1773 года,
февраля 28 дня,
из Ярославля

* * *

Г-н Любомудров! я помещаю ваше письмо в листах моих со удовольствием, ведая, что оно немало послужит к ободрению учредителей *Общества, старающегося о напечатании книг,* в их предприятии. И хотя план учреждения сего мне неизвестен, однако ж я согласно с вами мышлю, что намерение сие весьма полезно для единоземцев наших. Торговля книгами, по существу своему, весьма достойна того, чтобы о ней лучшее имели понятие и большее бы прилагалось старание о распространении оныя в нашем отечестве, нежели как было доныне. Но по моему мнению, государь мой, не довольно сего, чтобы только печатать книги, как то понимаю я из наименования сего Общества, а надобно иметь попечение о продаже напечатанных книг. Петербург и Москва имеют способы покупать книги, заводить книгохранительницы и употреблять их во свою пользу, лишь только была бы у покупающих охота. Но позвольте сказать, петербургские и московские жители много имеют увеселений; есть у них различные зрелища, забавы и собрания; следовательно, весьма не у великого числа людей остается время для чтения книг; а сверх того и просвещение наше или, так сказать, слепое пристрастие ко французским книгам не позволяет покупать российских. В российской типографии напечатанное редко молодыми нашими господчиками приемлется за посредственное, а за хорошее почти никогда. Напротив того, живущие в отдаленных провинциях дворяне и купцы лишены способов покупать книги и употреблять их в свою пользу. Напечатанная в Петербурге книга чрез трои или четверо руки дойдет, например, в Малую Россию; всякий накладывает неумеренный барыш, для того что производит сию торговлю весьма малым числом денег: итак, продающаяся в Петербурге книга по рублю приходит туда почти всегда в три рубли, а иногда и больше. Чрез сие охотники покупать книги уменьшаются, книг расходится меньше, а печатающие оные вместо награждения за свои труды часто терпят убыток. Вот, государь мой, цель, куда должно стремиться намерение сего Общества; и если Общество сие будет в состоянии привести торговлю книжную в цветущее состояние, то по справедливости заслужит похвалу. Сего еще не довольно, я бы поговорил с вами о сем веществе поболее, но *не у прииде час.*

Всепресветлейшая императрица, наша всемилостивейшая матерь и государыня все употребила, что только можно сделать государю, для просвещения своих подданных, для очищения разумов и сердец их и для искоренения из оных всяких гнусных

пороков и предубеждений; осталось нам самим, верным подданным ее, споспешествовать ее намерению и исполнять ее волю для собственного же нашего блаженства. И какую иную можем мы сей великой государыне за бесчисленные ее к нам благодеяния принести жертву, достойную ее, как только действительное исполнение ее воли? Ее императорское величество учредила *Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык,* и определила ежегодно по пяти тысяч рублей для заплаты переводчикам за труды их. Сим одним действием много сделалось пользы: упражняющиеся в переводах приобрели чрез сие честное и довольное приумножение своих доходов, а тем самым поощрены они ко прилеплению к наукам гораздо более, нежели как бы определенным жалованием: где должность, тут принуждение; а науки любят свободу и там более распространяются, где свободнее мыслят. Сколько же проистекло пользы от переведенных книг под смотрением сего Собрания? Беспристрастный и любящий свое отечество читатель, тебе сие известно. Но сколь большей пользы ожидать надлежит от сих книг тогда, когда посредством торговли доставляться будут они в отдаленных наших провинциях живущим дворянам и мещанам? Но о распространении сей торговли не государю, но частным людям помышлять должно.

Вот, государь мой, чистосердечное мое мнение о сей материи, о которой вы в письме своем писали!

VII

Государь мой!

Лишь только уверился я, что примечания мои вам нравятся, то, не рассуждая о том, как покажутся они читателям, тотчас принял намерение всячески стараться исполнить ваше желание. Но между тем как стал я ввечеру прилежно рассуждать, по какой тропинке босым моим ногам, слабым зрением направляемым, способнее будет достигать сего предмета, отовсюду частым шиповником заросшего: то пришел я от того сперва в задумчивость, а напоследок почувствовал в себе от тяжелых дум такое расслабление душевных и телесных сил, что, сидя на стуле, крепко уснул. Продолжавшаяся тогда в покое моем тишина весьма много способствовала к тому, что в уме моем начертался очень явственно следующий сон.

Показалось мне, будто я стою в пространной долине, окруженной каменистыми горами, которые как будто связывала про-

стирающаяся над ними радуга: на ней златыми числами означено было 47 гр. $57^1/_2$ мин. долготы, а 59 гр. $56^1/_4$ минут широты. Заходящее солнце казалось тогда стоящим над хребтами оных гор и слабо согревающим склоняющийся ко сну день. Слышимые издали весьма приятные пения, благорастворенный воздух, красота устилающих долину цветов: все сие привело меня и сонного в восхищение. В превеликом от меня расстоянии виден был великолепный и самым чистым сиянием окруженный престол, от которого происходящий глас отзывался в ушах моих так: «Внемлите, о пресмыкающиеся черви! вы, жизнь которых прерывается, как паутина; вы, вместилище души которых есть вихрем носимый прах; вы, которые быстро смотрите на землю, а не можете проникнуть песка, ее покрывающего; вы, которые возводите очи свои на небо, но густое облако приходит пред самый ваш предмет и скрывает его, внемлите, вещаю вам, и не ищите напрасно долговременных веселий и удовольствий в таком свете, где все переменам подвержено, ниже́ благоденствия, которое в одно мгновение ока может исторгнуться из рук ваших и удалиться от вас с такою скоростию, с какою бурный ветр заносит начертанные перстом младенца на песчаном морском береге буквы. Око, трепещущее смертныя ночи, не может видеть того, что предвечным определено. И так ждите, суетою дышащие животные, пока переселитесь в поля вечного благополучия, в здания, бурными ветрами никогда не колеблемые, в жилища, всегдашнего удивления достойные: но помните притом, что долг ваш есть тот, чтоб богу повиноваться и заповеди его исполнять».

Выслушав со вниманием не очень приятные человеческому слуху слова сии, хотел я приближиться ко престолу: но как скоро подумал я только о сем, то оный тотчас скрылся от глаз моих. Тогда предстал, во-первых, зрению моему храм Славы, стоящий посреди великолепного сада, в котором много было лавровых, пальмовых и других иностранных дерев: все с разными надписями; но я разобрал только две следующего содержания: *за превосходные качества паче всех возвышены.* Они начертаны были на сродных климату нашему деревах. В нарочитом отсюда отдалении росли яблони, между листвием которых видно было плодов много, но зрелых мало. Еще подалее видел я много всяких садовых и диких дерев; но мне не можно было вблизи их рассмотреть, потому что старинная к ним тропинка вся усыпана была волчцами.

Вышед из сего сада, увидел я реку, по самой средине долину рассекающую и имеющую весьма чистую воду. По берегу

сей реки шаталось великое множество каких-то рогатых животных, которые как будто с любопытством рассматривали в прозрачной воде собственные свои подобия и оными любовались.

Неподалеку от того места, где река сия впадает в море, усмотрел я два не очень великие, однако изрядные садика, которые и переманили меня на другой берег. Подходя к ним, увидел я, что из одного везут целую телегу бесполезных трав, на место которых пронесли туда несколько мешочков хороших семян. Я спросил у идущего за помянутою телегою человека, отчего завелись в сем саду негодные травы; а он сказал мне на то в ответ: *где нет худых растений, там не растут и хорошие.* При входе в другой садик лежало много гибких ветвий разного рода дерев. Вошед в оный, увидел я, что муж лет семидесяти, на лице которого человеколюбие, беспристрастие и прямая к пользе отечества ревность ясными изображены были чертами, выбирает самые лучшие веточки; а окружающие его малолетные дети плетут из оных разной величины веночки. Любопытен будучи знать, на какой конец плетут они так много венков, стал я просить у оного почтенного мужа решения на мое недоумение. Глядя умильным на меня оком, сказал он:

— Все сии венки относим мы к стоящему на другом берегу храму Славы и кладем их к подножию оного: а чем лучше сплетены веночки, тем счастливее бывают на возрасте своем сии дети.

Я приметил, что все состоящие под ведомством сего мужа дети весьма благонравны, и, пришед от того в восхищение, сказал:

— Благополучна та страна, где юношество к пользе государя, ко благосостоянию общества, ко преодолению господствующих в народе предрассуждений и к собственному своему благополучию хорошо воспитывается.

По удалении моем из оных садиков увидел я вдали огромные храмы: но лишь только стал я приближаться к одному из них, то встретили чрезвычайно ласково как меня, так и других, для богомолия идущих, людей мудрецы, которые то французскими, то русскими выражениями по фисике доказывали, что солнце, луна, звезды, земля и все вообще строение мира могло получить свое бытие и без посредства божия. Многие из тех, которые твердо знали французский язык, принимали доказательства их за справедливые и, не входя во храм, возвращались домой с сердцами гордыми, памятозлобными и равномерно как на друзей, так и на недругов своих неугасимою ненавистию пылающими. Другие, напротив того, не слушали мечтательных и богопротивных их доказательств, но проходили, оглядываясь на

них с презрением, во внутренность храма. С сими последними вошел и я и, имея покорное сердце к существу, непостижимому для разума человеческого, безднами заблуждения окруженного, со слезами просил его, дабы обратил на путь истинный заблуждших моих сограждан. Отсюду пошел я вослед за незнакомым стариком, который, идучи, тихо ворчал про себя следующее:

— Неужели и во всех государствах такие произрастают от наук плоды? — Никак! Науки приносят обществу великие пользы и связывают его самыми крепкими узами здравого рассудка: они учат жить добродетельно и богу достодолжное воздавать почтение; а что люди, не исследовав еще совершенно и того, что всегда у них в глазах, желают знать и сокрытое черною завесою от слабого их зрения, тому причиною собственное их безумие. Так, подлинно так,— продолжал он,— и этой заразы ничем другим предупредить не можно, как только частым напоминанием молодым людям того, что кто бога забывает, тот верно навлекает на себя праведный его гнев.

Отстав от сего старика, вышел я на большую улицу, по которой едущие издали кареты блеском своим меня остановили. Но между тем как кареты сии ближе подъезжали, подошел ко мне какой-то старичок и, приметя, с каким удивлением смотрю я на оные кареты, стал мне на ухо говорить:

— Не думаешь ли, что разъезжающие в сих каретах щеголи все вообще богаты? Нет! этого никогда не бывало. Многие из них берут у меня деньги в долг, но очень худо платятся. Вот как знатно ведет себя иностранное купечество! Да полно, и у нас то же самое будет! Мы, старики, денежки копим, а детушки их промотают, да и спасиба не скажут.

Так рассуждал сей старик, как я от прекрепкого сна стал пробужаться, а потом, сев за стол, написал к вам сие письмо, которого содержание отдаю на ваше рассуждение. Простые у нас в России люди много верят снам и предузнают по них будущее свое благополучие или несчастие. Но как они часто в том и ошибаются, то я, не требуя от простолюдимов истолкования, прошу вас покорно справиться, нет ли в каких-нибудь толкующих сны по Зодиям книгах изъяснения хотя на главные предметы сего моего привидения. Или не произошло ли оно от исправно и сильно действующих в душе моей понятий о добрых и худых делах, которые в знатных гражданских обществах всегда происходят? В ожидании от вас сего благоприятства остаюсь

отечеству своему всякого

блага желающий

Р . . . . . .

VIII

Недавно получил я письмо от неизвестной особы, с приложением письма к любителям добродетели, которое во удовольствие их здесь сообщается.

Государь мой!

На сих днях, когда я был в отлучке, принес в мой дом некакий старик надписанный на мое имя конверт, который по приезде моем распечатав, нашел письмо к любителям добродетели и при оном записку следующего содержания: «Добродетельный старик! приими труд на себя сообщить сие открытое письмо всем тем, кто любит добродетель, и испроси у них на оное ответа, который я могу чрез сего же самого старика получить. Я дух: жилище мое тебе быть известно не может. Прощай».

Прочитав оную, в немалом я был изумлении и, не находя средства, каким бы образом дать об оном знать всем любителям добродетели, рассудил просить вас, чтобы вы оное сообщили в своих листочках, которые, я надеюсь, все любители добродетели читают. Я же чрез сие ваше одолжение удовольствую желание духа и останусь навсегда с покоем и с любовию моею к вам

Добромыслов.

ЛЮБИТЕЛИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Удалясь я от света, удалился от оного сует и наслаждаюсь здесь вечным блаженством. Зависть, стремящаяся похитить спокойство ближнего, вражда, соплетающая сети для пагубы невинности, неправда, гонящая истину и грозящая низвергнуть ее навеки в места забвения, и другие сим подобные, на кои со ужасом добродетель взирает и с часа на час ожидает себе из них нового гонителя, совсем из сих мест изгнаны. Не видно здесь тех прихотей одного человека, для удовольствования коих тысяча в поте лица трудится и смерть жизни своей предпочитает; нет также и праздности, развращающей людские сердца и рождающей к гибели рода человеческого наглую отважность. Сатурн уже начинал за мою жизнь третий раз свое течение около небесного светила, ниссылающего свои благотворные на землю лучи, а я во все то время, наскуча жизнию, лишь примечал непостоянство времени и людей. Видел я, как пороки, вселившись в сердца человеков, гонили добродетель; видел я, как

оная, воцарившись, господствовала и по некотором времени, за два года пред отшествием моим с пространного круга земли, опять была изгнана. Долгое время странствовала она по городам и, не нашед ни в одном себе пристанища, прибегнула к сельским жителям; однако и там, возненавидев, ее изгнали. Если вы все таковые устремившиеся во времена мои на добродетель гонения, и к тому зараженные ядом пороков человеческие сердца и мою добродетельную жизнь приведете себе на мысль, то нимало не будете так скорому пред нашествием пороков нечаянному моему из света отшествию удивляться. Вы знаете, сколько злость, ненавидя добродетель, старается оную притеснить и коликому несчастью невинность добродетельной души бывает подвержена. К обвинению меня злость употребила орудием развращенные ею нескольких человеков сердца, и я в короткое время был невинною оной жертвою. Возможно ли, великий боже! зло за добро воздавать и терпеть поругание над добродетелью! Какой варварский век! Какое дело, человечеству несродное! Скажите, любезные мои соучастники, еще ли сии в недре развратных сердец заченшиеся ужасные чудовища, сии страшилища добродетели на свете терпимы; еще ли не явились они мерзостны пред очами человека, которого они все совершенства затмили. Убегайте, живучи на свете, убегайте сих мнимых доброт, инако зла; будьте подражателями мне, любите всякое истинное добро, да насладитеся купно со мною блаженной жизни. Наконец прошу, уведомьте меня, что у вас делается, царствует ли добродетель и награждаются ли достойно заслуги, или порокам, как и за мою жизнь, люди порабощены. Прощайте.

IX

Г. живописец!

Случившееся недавно со мною не последнее бы заняло место в картинах ваших, ежели бы представлено было вашею кистию; но от вас еще зависит то сделать. Я напишу, как могу, а вы, как Апеллес наших времен, можете вам только одному известным искусством оживить слабое мое изображение.

Недавно был я в одном доме, где хотя не более было шести персон (выключа тех, о которых обыкновенно мало в компаниях помнят, тут ли они или вышли, в коих числе и я, по несчастию, находился), однако вы согласитесь со мною, что оно было многочисленно, когда скажу вам, что состояло из двух модных

барынь, трех нынешнего света господчиков и одного рифмотворца; особы, из коих каждая целого худого собрания стоит. Уже говорено было о модах, законах, новой . . . . , гостином дворе, и проболтаны были целые фолианты тех отрывистых материй, о которых никак пересказать невозможно; уже стихотворческий педант толковал о необходимости купцам знать новую орфографию для подавания их счетов, без чего не могут они быть действительны, и прочитал сочинения своего несколько сот стихов, хотя и никто его не слушал; уже от бессловесия,— удивительное дело в таком собрании! — начали дамы зевать, а кавалеры, посвистывая, кобениться в креслах, как вдруг сказанным *а пропо*[1] один из них возбудил к беседе внимание и спросил, кто читал «Живописца»? Одна из госпож отвечала с некоторою досадою:

— И, радость, какой вздор, таки ужасно; сего дня поутру читала мнѐ его моя девушка; чего это смотрят, я таки давно бы велела перестать писать такую пустошь.

По сем изречении замолчали, и я думал, что кончится о вас речь, признаюсь, что с прискорбностию, ибо хотел ведать мнения прочих; но г. рифмотворец почел за долг возобновить материю, сказав, что он рад всем клясться, что сочинение ваше никуда не годится, и что сам Аполлон, его искренний друг, засвидетельствовал, что вы пишете безо вкуса. До сего времени я и гласу не имеющие мои товарищи, коих было четверо, безмолвствовали, но один из них осмелился в похвалу вам сказать, что всего удивительнее то, что вы, не зная ни по-французски, ни по-немецки, следовательно, по одному природному разуму и остроте, не заимствуя от чужестранных писателей, пишете такие листочки, которые многим вкус знающим людям нравятся. Слова сии, показавшиеся мне справедливыми, возымели совсем иное действие, нежели как я чаял, и вместо того, чтоб снискать вам достойную похвалу, заставили раскаиваться после вымолвившего оные; ибо он ими сделал неучтивство даме, не согласуясь с ее мнением, и вооружил против себя стихотворца и молодых господ. Как скоро он сие выговорил, то все собрание громко захохотало; дама посмотрела на него с презрением; рифмач клялся снова, а господа, как будто сговорясь, в одно время вскричали, что листки ваши негодны.

— Ах, мой бог! — сказал один из них,— осмелиться писать, не зная по-французски!

---

[1] кстати (от *франц.* à propos).— *Ред.*

— Сакристи! [1] — вскричал другой,— это быть не может!

Сим не кончилось, они продолжали язвить насмешками своими вас и бедного человека, осмелившегося не у места сказать слово, чего нам, беднякам, и вподлинну в таких случаях делать не надобно; но француз, торгующий парижскими безделками на наши весьма действительные деньги, входом своим избавил вас от ругательства и подал время убраться домой пристыженному и осмеянному моему товарищу. Я вышел скоро за ним и, идучи, думал о происшедшем; наконец вознамерился уведомить вас, тем паче что сие и до вас касается.

Ваш доброжелатель . . . .

X

Г. живописец!

Я начинаю скучать городскою жизнию, причины тому из следующего узнаете: мне лет под тридцать; я не богат и не беден, имею или, по меньшей мере, надеюсь иметь деревню. Учился я здесь иностранным языкам, которые отчасти я разумею. Вышед из школы, вступил я в службу, познакомился с молодыми людьми, из коих иные старались вводить меня в карточную игру, другие научали всяким разным мотовствам и в скором времени сделали меня некоторого рода мотом: но, благодарение богу, несовершенным; сверх всего того природную имел я страсть к любви, которая, может быть, и была причиною, что я к другим страстям мало имел склонности. Теперь же все то переменилось, все те упражнения, кои прежде мне казались забавны, стали мне гнусны; не с такою уже горячностию смотрю и на любовь, потому что часто бывал ею обманут, хотя и сам нередко обманывал, но то и другое уже наскучило. Прежних многих друзей совсем не знаю, испытав, что дружба их основана была на каком-либо прибытке; имею токмо двух, но прямо истинных друзей, которые теперь все мое удовольствие составляют. Великие чины меня не прельщают, а доволен малым, который я имею. В таком будучи состоянии, принял я намерение, сыскав хотя беднейшую, но добродетельнейшую девицу, жениться на ней с позволения тех, коим я должен своею жизнию, и уехать в деревню; тамо остальные дни своея жизни препровождать буду в тишине и покое. Четыре время года подавать

---

[1] Черт возьми! (от *франц.* Sacristi!).— *Ред.*

мне будут разные упражнения и пользы. По утрам буду на поклон ходить к своим токмо полям; вечерние же собрания составлять будет малая моя семья, а переписка с друзьями приятное и полезное будет мое отдохновение. Описав теперь подробно все мои мысли, прошу вас дать мне знать, каковым вы почитаете принятое мое намерение; иные говорят, что я еще не в таковых летах, чтоб жить в деревне; другие, что стыдно быть молодому человеку в отставке; вы, государь мой, что мне скажете? Нетерпеливо ожидая вашего ответа, остаюсь всегдашним вашим доброжелателем и покорным слугою.

* * *

Прежнее ваше поведение было худо, исправление полезно, а намерение похвально; по малой мере мне так это кажется. Но исполните сие не прежде, как испытав себя, будете ли вы любить свою жену и не оставите ли ее, последуя моде. В отставке молодому человеку быть не стыдно, лишь бы только был таковой человек и себе и обществу чем-нибудь полезен.

XI

САТИРИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№ 1

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Из Мещанской

Есть женщина лет пятидесяти: она уже двух имела мужей, но ни одного из них не любила, последуя моде. Достоинства ее следующие: дурна, глупа, упряма, расточительна, драчлива, играет в карты, пьет без просыпу, белится в день раза по два, а румянится по пяти. Она хочет замуж, но приданого ничего нет. Кто хочет жениться, тот может явиться у свах здешнего города.

Из Литейной

Змеян, человек неосновательный, ездя по городу, надседаяся кричит и увещевает, чтобы всякий помещик, ежели хорошо услужен быть хочет, был тираном своим служителям; чтоб не прощал им ни малейшей слабости; чтоб они и взора его боялись; чтоб они были голодны, наги и босы и чтоб одна жестокость содержала

сих зверей в порядке и послушании. В самом деле Змеян поступает с своими рабами, как проповедует. О человечество! колико ты страждешь от безумия Змеянова! и если б все дворяне пример брали с сего чудовища, то бы не было у нас кроме мучителей и мучеников. Однако благоразумный Мирен не следует мнению Змеянову и совсем отменно с подвластными себе обходится. Ежели Мирен не наилучших в России слуг имеет, так, по крайней мере, не боится, чтоб он ими был проклинаем.

ИЗ МОСКВЫ

Один посредственный дворянин, но любящий свою пользу больше общественной, имел крепостного человека, преискусного миниатюрного живописца. Искусство сего живописца велико; но доходы, которые он получал за свои труды, весьма были малы. Причина тому та, что он холоп и русский человек: ибо в Москве есть обыкновение русским художникам платить гораздо меньше иностранных, хотя бы последние и меньше имели искусства; словом, доходы сего живописца, за его содержанием, весьма малый составляли оброк его помещику. Помещик, как человек благоразумный и такой, который в рассуждении своих доходов арифметику учил только до умножения, рассудил за благо сего живописца продать. Живописец купил бы сам себя, но не имел денег. Некоторый знатный господин, достойный за сие великого почтения, о том проведав и увидев его работу, купил его за 500 рубл. и избавил его от неволи, для того чтобы сему достойному художнику дать свободу. Сей господин старается, чтобы живописца приняли в Академию художеств. Ежели сие сделается, то он ему откроет путь ко снисканию счастия. Вот пример, достойный разумного, знатного и пользу общественную любящего господина! Дай бог, чтобы таковых наукам и художествам меценатов в России было побольше!

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Здесь все удивляются воздержности московских писателей. Известно, что почтенная наша старушка Москва и со своими жителями во нравах весьма непостоянна: ей всегда нравилися новые моды, и она всегда перенимала их у петербургских жителей; а те прямо от просветителей в оном разумов наших господ французов. В нынешнем, 1769 году лишь только показалась в свет «Всякая всячина» со своим племенем, то жители нашего города заключили, что и это новая мода. И как Москва

писателями сих мелких сочинений весьма изобильна, то надеялись, что там сии листки выходить будут не десятками, но сотнями. Ради чего фабрикант здешней бумажной фабрики велел с споспешением делать великое множество бумаги, годной к печатанию; а между тем отправил своего приказчика на почтовых лошадях в Москву для подряду. Но он и мы все обманулись: в Москве и по сие время ни одного такого из типографии не вышло листочка; да и печатанные в Петербурге журналы читают немногие. Старый, но весьма разумный наш мещанин Правдин о сем заключает, что Москва ко украшению тела служащие моды перенимает гораздо скорее украшающих разум; и что Москва, так же как и престарелая кокетка, сатир на свои нравы читать не любит.

ИЗ КРОНШТАТА

На сих днях прибыли в здешний порт корабли: 1. «Trompeur» [1] из Руана в 18 дней; 2. «Vétilles» [2] из Марсельи в 23 дни. На них следующие нужные нам привезены товары: шпаги французские разных сортов; табакерки черепаховые, бумажные, сургучные; кружева, блонды, бахромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки и всякие так называемые галантерейные вещи; перья голландские в пучках чиненые и нечиненые; булавки разных сортов и прочие модные мелочные товары; а из Петербургского порта на те корабли грузить будут разные домашние наши безделицы, как-то: пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотны и проч. Многие наши молодые дворяне смеются глупости господ французов, что они ездят так далеко и меняют модные свои товары на наши безделицы.

ИЗВЕСТИЯ

Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею; желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города.

Молодой дворянин, идучи по Материальной улице против некоторого дома, засмотрелся на окошко, в которое смотрели

---

[1] «Обманщик» *(франц.).— Ред.*
[2] «Безделушки» *(франц.).— Ред.*

три прекрасные девушки, и выронил свое сердце; кто объявит о поднявшем оное, тому дастся награждение, соответствующее щедрости молодого дворянина, сына судейского и недавно приехавшего из своего поместья для поминовения своего родителя и проживать нажитое покойным судьею имение.

Старый лицемер, слушая обедню, увидел девушку лицом прелестную. Он, держа в руках молитвенник, во всю обедню не спускал глаз с помянутой девушки, примечая, с прилежанием ли она молится; и, находясь в таком положении, нечаянно с носа сронил очки и потерял: кто оные поднял и принесет в его квартиру, тому за труды из любви к ближнему даст он письменное наставление, как жить в свете; а паче всего в рассуждении женщин, сих прелестных сирен, усыпляющих наши чувства и разум.

ПОДРЯДЫ

Для наполнения порожних мест по положенному у одной престарелой кокетки о любовниках штату потребно поставить молодых, пригожих и достаточных дворян и мещан до 12 человек; кто пожелает в поставке оных подрядиться или и сами желающие заступить те убылые места могут явиться у помянутой кокетки, где и кондиции им показаны будут.

В некоторое судебное место потребно правосудия до 10 пуд; желающие в поставке оного подрядиться могут явиться в оном месте.

Молодому рифмотворцу потребно здравого рассуждения, знания и искусства столько, чтобы достало на все те сочинения, которые он расположился писать; желающие поставить и взять ниже просимых цен, а у него купить прилежания и охоты к стихотворству могут явиться в его квартире.

ПРОДАЖА

За вексельный иск описанное и оцененное в 14 р. 57 к. 3/4 оставшее после покойного судьи Правдолюбова стяжание, состоящее в верности к отечеству, нелицеприятии, правосудии, истинном понятии законов, милосердии о бедных и здравом

рассуждении, имеет быть продано с публичного торгу: ибо наследников к оному стяжанию из всей его родни не явилось; желающие покупать могут явиться у аукциониста, который продавать будет.

Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить могут его сыскать в здешнем городе.

КУРС ДЕНЬГАМ

У Кащея по 12 рубл. в год на сто.
У Жидомора 16 рубл.
У мелких ростовщиков по 10 коп. на рубль в месяц.

№ 2

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

С Васильевского острова

Злонрава в превеликой грусти и слезах препроводила целый год, ожидая возвращения своего супруга; наконец, ко утешению ее скорби, он возвратился. Друзья его, обрадовавшись его возвращению, все к нему съехались. Злонрава от радости была почти без ума; но час спустя муж ей в чем-то попротиворечил; она рассердилась, проклинала день своего рождения и час ее с ним брака, и чтобы в другой переродиться раз, то посылала она любезного своего супруга к черту. Супруг не успел еще от прежнего в дороге оправиться беспокойства и для того в такой дальний ехать путь не осмелился, хотя жена и поминутно его туда отправляла. Друзья его, удивясь такой перемене, спрашивали ее: для чего она в отсутствие мужа своего всегда о нем плакала, а по приезде его так скоро с ним поссорилась? Она отвечала: о том-то я и плакала, что не с кем было мне браниться.

Из Конной улицы

Старушка лет осмидесяти, одна из тех, которые питаются подаянием добросердечных граждан, шла мимо дома некоторой кокетки и, увидя ее у окна, остановилась и стала просить милостины. Госпожа сказала ей:

— Как тебе не стыдно, старушка, так таскаться и питаться таким худым промыслом; неужли ты не сыщешь себе другого пропитания?

— Ежели бы я имела, сударыня, деньги, так бы, конечно, постыдилась промышлять моим ремеслом, но лучше бы принялась за ваше: ибо летами меня вы, конечно, не моложе, а лицу моему, так же как и вашему, помогли бы искусные докторы. Ведь, сударыня,— продолжала старушка,— деньги-та деньгами же достают.

Боярыня осердилась, хлопнула окном и старушке ничего не подала. Старушка пошла и сквозь зубы заворчала:

— Теперь то я узнала, что когда просишь милости, тогда правды говорить не надлежит.

Из Офицерской улицы

Прелеста, молодая госпожа, сидя у окна, увидела разносчика с апельсинами и приказала его кликнуть. Разносчик пришел. Боярыня десяток апельсинов за полтину сторговала и начала чистить; а между тем, желая над ним пошутить, стала у него спрашивать:

— Женат ли ты?

— Женат, сударыня, и троих уже имею детей.

Боярыня спросила:

— Бывают ли между крестьянами мужья *рогоносцы*?

— А между господами бывают ли, сударыня?

— Как не быть,— сказала госпожа,— и у меня есть муж.

— Так как же, сударыня, быть тому меж крестьянами, что делают господа,— отвечал крестьянин.— Нас приказчик за это бы рассек, ежели бы мы что стали у господ перенимать: нам только велят работать.

— Да ведь за женою усмотреть мужу никак невозможно,— сказала боярыня,— если она что захочет делать.

— Ваше дело господское, вы это по себе больше нашего знаете, сударыня,— отвечал разносчик, почесавшись.— А где живет ваш муж?

— На своей половине,— отвечала госпожа,— а я здесь, на своей.

— Да разве вам в одной-та половине тесно, сударыня?

— Не очень бы было тесно: но это по моде.

— Чему ж дивиться, сударыня, что ваш муж за вами усмотреть не может, когда вы так от него далеко живете.

— Дурак,— перехватила, смеючись, госпожа,— ведь я это не про своего говорила мужа.

— Так виноват, сударыня,— сказал крестьянин, также усмехнувшись,— я не растолковал и думал, что вы говорите про своего мужа.

Боярыня разносчику пожаловала два рубли и отпустила.

ИЗ КОЛОМНЫ

Забылчесть дворянин, находясь в некотором приказе судьею, трудами своими и любовию ко ближним нажил довольное имение. Он имел попечение о пропитании одних и в то же время разорял других, подобных себе по образу, а не по делам, тварей; его следующими описывают красками: неправосуден, завистлив, пронырлив, прибыткожаден, скуп, жестокосерд к бедным, злоязычник, ябедник и крючкотворец; а жена его, как сказывают, толста, глупа и проч., короче сказать, оба они составляют сокращенное хранилище пороков. Он подчиненным своим ничего не приказывает, не сказав *во святой час* и не прочитав молитву *пресвятой троице;* водки никогда не пьет, хотя бы то было и в гостях; дела подписывает перекрестясь, говоря: *честной-де крест на враги победа;* несмотря, что те его враги бывают часто законы, истина, правосудие, честь и добродетель: ибо он часто вершит дела против законов и истины; от таких беспокойств он и супруга его занемогли. Доктор прописал в рецепте для г. судьи *добрую душу* и *честь;* а для супруги *разум,* сколько оного потребно для судейской жены; но судья говорит: на такие-де ненужные расходы не нажил я еще денег.

ИЗ ТВЕРИ

Недавно пред сим чрез наш город проехал молодой дворянин, обучавшийся в некотором славном немецком университете разным наукам. Он о том городе рассказывал нам чудеса. Мещанин наш Чистосердов спрашивал у него о нравах того народа, о узаконениях, о обрядах их ярмонок и о проч., но он ни на что не мог порядочного дать ответа. Мещанин потом спросил его, чему он там обучался? Дворянин ответствовал:

— Философии.

— А что такое философия?

— Философия не что иное есть, как дурачество,— ответствовал ученик славного университета,— а совершенный философ есть совершенный дурак.

— О! так вы с превеликим оттоле возвращаетесь успехом,— сказал мещанин,— ибо я нахожу вас совершенным философом.

Дворянин, усмехнувшись, отвечал:

— Сократ, славный в древности философ, говаривал о себе, что он дурак; а я о себе того сказать не могу, потому что я еще не Сократ.

— Об вас это другие скажут.

— А знаете ли вы,— спросил дворянин,— какая разница между ученым дураком и неученым?

— Всеконечно знаю,— сказал мещанин,— разница между ими та, что ученые дураки гораздо больше делают вреда государству.— И разошлись.

Дворянин поехал в путь, а мещанин нам сказал:

— Видите, братцы, что и в славных немецких университетах разума не продают.

ИЗВЕСТИЯ

Судья некоторого приказа покривил весы правосудия: он в том не виноват; а виноват подрядчик, который на судейскую сторону так много положил кулей с мукою, что правосудие против такой тягости устоять не могло; желающие те весы починкою исправить из своих материалов могут явиться в том приказе.

Прокурор Правдулюбов с судьею Криводушиным в одном сидит судебном месте. Судья заразился известною под именем акциденции болезнию; и для того в решении дел часто с прокурором бывает несогласен. Прокурор, опасаяся дальнейших от того следствий, чрез сие объявляет: что ежели сыщется искусный в лечении сих болезней лекарь и сего судью вылечит, тому за труды даст он награждение из собственных денег: ибо судья о лечении сей болезни и слышать не хочет; желающие помянутого судью пользовать могут явиться у прокурора Правдулюбова немедленно.

В некотором приказе был судья; он, служа в военной прежде службе, привык взятков не брать, почему и сделавшись судьею не переменился. Он вершил дела по законам, не толкуя оные вкриво; весы правосудия в его время ни кулями с хлебом,

ни мешками с деньгами покривлены не были. Все удивлялись его ополчению противу искушателей; и наконец большие судьи его правосудие почли гордостию, думая, что он не берет для того, что не дают больше. Гордость его наказали отрешением его от того места: он о том и не тужил; на место его посажен другой судья, в котором нималой нет гордости. Он берет взятки не яко взятки, но яко подарки. Весы правосудия в его руках, а указы в его устах: ибо они говорят то, что прикажет судья. И так в том месте, где сидел голубь, сидит ныне ястреб, о чем для сведения и объявляется.

Ростовщик, прозванный Жидомором, отдает из процентов деньги под ручной заклад, который бы вчетверо занимаемой суммы стоял; а сверх того заимщик, чтобы не позабыть числа, когда возьмет деньги, должен в той сумме дать вексель, проценты по полушечке только в день на рубль; кто хочет занимать деньги, тот может у него явиться.

№ 3

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Из Большой улицы

Некто, житель нашей улицы, упражняется в сочинении проекта о наложении пошлины на все сочинения худых наших стихотворцев и негодных прозаистов и хочет оный поднести на рассмотрение и утверждение самому Аполлону. Собираемую сумму определяет он на содержание бедных ученых людей. Некто уверяет, что от наложения сея пошлины двоякая для государства произойдет польза.

С ПАРНАСА ,... 1769 ГОДА

Здесь все в великом замешательстве: славные стихотворцы, обезображенные худыми переводами, чрезвычайно огорчились и просили Аполлона о заступлении. Все мусы, прославленные в России г. С., приходили ко своему отцу и со слезами жаловалися на дерзновение молодых писателей; Мельпомена и Талия проливали слезы и казались неутешными. Великий Аполлон уверял их, что сие сделалось без его позволения и что он для рассмотрения сего дела повелит собрать чрезвычайный совет; а между тем показал Талии новую русскую комедию ****, сочинен-

ную одним молодым писателем. Талия, прочитав оную, приняла на себя обыкновенный свой веселый вид и сказала Аполлону, что она сего автора со удовольствием признает законным своим сыном. Она и записала его имя в памятную книжку в число своих любимцев.

ОТТУДА Ж ОТ 1 АВГУСТА

Смятение на Парнасе и поныне еще продолжается. Все с нетерпеливостию ожидают собрания совета и окончания сего замешательства. На сих днях великому Аполлону подал челобитную Пегас, в которой просит об отставке. Как скоро сия челобитная будет помечена, то мы ее сообщим.

ИЗ МОСКВЫ

Безрассуд, житель нашего города, помешался в уме, прочитав книгу «Разговоры о множестве миров». Сему удивляться не надлежит: ибо Безрассуд воспитан был под присмотром старушки, которая все известные простонародные басни о сотворении мира в самом еще младенчестве ему затвердила. Безрассуд, достигнув совершенных лет, не достиг, однако ж, ни совершенного ума, ни истинного о вещах понятия. С летами его суеверие и невежество приходили в совершенство. В таком-то состоянии прочитал он Фонтенелля; на всякой странице находил он не ясные о системе мира предложения, но тьму непроницаемую и удаляющуюся от его понятия. Он вострепетал, читая, что звезды подвижные суть такие же миры, каков и наш; что солнце стоит, а земля ходит: огромность висячих над нами тел и что оные один вокруг другого, а все совокупно с землею и с нами так скоро вертятся около солнца, его поразило; куда он ни ходил и где ни сидел, везде казалось ему, что какой-нибудь мир оборвался и весь земной шар стремится расшибить в пыль; то представлялось ему, что планета, сбившись со своего пути, зацепила землю и отбросила оную к солнцу и что мы уже пылаем; иногда казалось ему, что он видит землю вертящуюся, и для того хватался за что попадалось, чтобы не упасть; словом, Фонтенелль и последние Безрассудова ума отнял крошки. Он не выходил из комнаты, не пил и не ел целые три дни; напоследок лишившись совсем ума, ездит ныне ко своим родственникам и знакомым и прощается, сказывая, что он в висячие отправляется миры для проповеди и что он там, яко у непросвещенных людей, всеконечно за веру пострадает.

ОТТУДУ ЖЕ

Подряд любовников к престарелой кокетке, напечатанный во «Трутневых ведомостях», многим нашим господчикам вскружил головы: они занимают деньги и, в последний раз написав: *в роде своем не последний,* с превеликим поспешением делают новые платья и прочие убранства, умножающие пригожство глупых вертопрашных голов; а по совершении того хотят скакать на почтовых лошадях в Петербург, чтобы такого полезного для них не пропустить случая.

ИЗ КОШИРЫ

В нашем уезде есть дворянин: он имеет за собою три тысячи душ, получает шесть тысяч рублей годового дохода и живет так, как научил его покойный родитель. В селе, где он живет, церковь деревянная построена еще прадедом его по возвращении из похода. Дом господский дедушка его построил было на время, но они так в нем обжились, что нового и по сие время не построили: ибо батюшка сего дворянина отягощен был делами, а именно пил, ел и спал; а сынок к строению не имеет охоты, но вместо того упражняется в весьма полезных делах для пользы земных обитателей: ибо он изыскивает, может ли боец гусь победить на поединке лебедя; ради чего выписывает из Арзамаса самых славных гусей и платит за них по 20, по 30 и до 50 рублей за каждого. Имеет бойцов петухов; содержит великое число псовой охоты и ежегодно положенный на него соседями за помятие их хлеба оброк платит бездоимочно. Ездит на ярмонки верст за 200 весьма великолепно: а именно, сам в четвероместном дедовском берлине в 10 лошадей, и еще 12 колясок, запряженных 6 и 4 лошадьми, исключая повозок и фур с палатками, поваренною посудою и всяким его господским стяжанием. Свиту его составляют люди весьма отборные, в 4 колясках сидят по 2 шута, в 3 по 2 дурака, а в берлине он да священник его духовник; в прочих же экипажах собаки, гуси и петухи бойцы. Прошлого года ездил он в Москву, чтобы сыскать учителя пятнадцатилетнему его сыну: но, не нашед искусного, возвратился и поручил его воспитание дьячку своего прихода, человеку весьма дородному. Со всем сим роскошным житьем он проживает не больше ежегодного своего дохода. Дворянин сей говорит, что изо всей его фамилии разумнее его не бывало. Может быть, это и правда: ибо дворянин наш лгать не охотник.

ИЗ КРОНШТАТА

На сих днях в здешний порт прибыл из Бурдо корабль: на нем, кроме самых модных товаров, привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы и графы и что они, будучи несчастливы во своем отечестве, по разным делам, касавшимся до чести их, приведены были до такой крайности, что для приобретения золота вместо Америки принуждены были ехать в Россию. Они во своих рассказах солгали очень мало: ибо, по достоверным доказательствам, они все природные французы, упражнявшиеся в разных ремеслах и должностях третьего рода. Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею, и для того она по ненависти своей к ним сделала им приветствие, которое им не полюбилось. Оное в том состояло, чтобы они немедленно выбрались из Парижа, буде не хотят обедать, ужинать и ночевать в Бастилии. Такое приветствие хотя было и очень искренно, однако ж сим господам французам не полюбилось, и ради того приехали они сюда и намерены вступить в должности учителей и гофмейстеров молодых благородных людей. Они скоро отсюда пойдут в Петербург. Любезные сограждане, спешите нанимать сих чужестранцев для воспитания ваших детей! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам и думайте, что вы исполнили долг родительский, когда наняли в учители французов, не узнав прежде ни знания их, ни поведения.

[*ИЗВЕСТИЯ*]

Миловида намерена разыграть любовную лотерею, в которой весь выигрыш в одном билете, а прочие все пустые. Число пустых билетов не определяется: ибо оные по числу охотников к розыгрышу сей лотереи будут прибавлены или убавлены; выигрыш составляет *цену любви.* Раздача билетов начнется с 1 числа сентября месяца по всякий день в доме госпожи Миловиды, где и цена оным будет объявлена.

Некоторый стихотворец по довольном самого себя рассмотрении нашел, что он во всем с славными нашими стихотворцами равняться может; чего ради о том чрез сие для сведения и объявляет, чтобы его никто ниже тех стихотворцев не считал и неведением не отговаривался.

Себелюб, славный волокита, на сих днях пришед ко своей любовнице, нашел ее в превеликой задумчивости; она приняла его весьма холодно, ласки ее исчезли, и притворство, которое она до того дня употребляла, оставила и начала с ним говорить весьма грубо: ибо она в тот самый день вступила в новые обязательства. Себелюб поражен был неожидаемою сею новостию и, как обыкновенно страстные и ревнивые делают любовники, начал упрекать ее неверностию и выговорил все, что в такие говорится минуты, очень грубо. Госпожа смеялась во время его бешенства; но как он замолчал, то она без всяких околичностей ему сказала, чтобы он к ней в дом больше не ходил. Себелюб, оказав ей все свое презрение, пошел со двора; но лишь только вышел за ворота, то начали его терзать все страсти, презрение, ревнивость, раскаяние; а любовь привела его во отчаяние. Он принял намерение заколоться; но, идучи по улице, выронил нож из кармана и потерял; кто оный поднял и принесет в его квартиру, тому дастся награждение, состоящее из писем бывшей его любовницы: ибо он непременно свое намерение хочет исполнить.

ПОДРЯДЫ

Издателю «Трутня» для наполнения еженедельных листов потребно простонародных сказок и басен: ибо из присылаемых к нему сатирических и критических пиес многих не печатают; а напечатанные без всякого стыда многие принимают на свой счет и его злословят за то повсеместно; желающие в поставке помянутых сказок подрядиться и взять не свыше рубля 25 коп. за сто могут явиться в его доме.

Некоторому судье потребно самой свежей и чистой совести до несколька фунтов; желающие в поставке оной подрядиться, а у него купить старую его от челобитческого виноградного и хлебного нектара перегоревшую совесть, которая, как он уверяет, весьма способна к отысканию желаемого всеми философического камня, могут явиться в собственном его доме.

Недавно пожалованный прокурор отъезжает во свое место, и по приезде желает он развесть редкое в том городе растение, именуемое *цветущее правосудие*, хотя воевода того города до оного растения и не охотник; чего ради потребен ему, г. прокурору, искусный садовник; желающие вступить во оную должность могут явиться у г. прокурора немедленно.

ПРОДАЖА

Плоды невежества, глупости и самолюбия некоторого сочинителя продаются в его доме повольною ценою.

У г. Искушателева продается сочиненная им в пользу юношества книжка под заглавием «Атака сердца кокеткина, или Краткий и весьма ясный способ к достижению сердец прекрасного пола», ценою по 5 рубл.

Обман, славный и искусный лекарь, сочинил книжку под заглавием «Тайные наставления, по которым безобразная женщина может совершенною сделаться красавицею»; оная книжка продается в его доме по 10 рубл.

В тайном г. волокит совете апробованный «Проект о взятии сердец штурмом» сочинения г. Соблазнителева продается у переплетчика любовных книг по 2 рубл. экземпляр.

Наставление о добропорядочной жизни молодым людям, напечатанное в 1748 году, и еще другие подобные оной книге раздаются безденежно: ибо оных никто не покупает.

ОТЪЕЗЖАЮЩИЕ

Троекратно за взятки отрешенный судья добивался места с повышением чина; но, по несчастию, просил он о том такого господина, который прежние его грабительства имел еще в свежей памяти и оные почитал истинным беззаконием: чего ради он ему в прошении отказал. Судья, огорчась сею несправедливостию, отъезжает во свое поместье ко утеснению бедных своих соседей.

Профессор карточных азартных игр поссорился с полициею и для того отъезжает в Москву.

Chicaneau, природный француз, находившийся у некоторого господина в должности управителя, отъезжает в Москву для приискания себе другого места; а управительское принужден он был оставить для того, что требовали от него исправных счетов; а француз сей арифметике не учился.

Отставной канцелярист, живший здесь для хождения за делами, отъезжает в Москву и хочет вступить там в должность поверенного, а здесь ему стряпчим быть заказано по некоторой причине; во утверждение сего запрещения он был здесь высечен плетьми.

Fripon, гасконец, приехавший сюда с новою лотереею, отъезжает в Москву; здесь ему не очень понравилось, затем что мало игроков, хотя лотерея сия и весьма расположена искусно, а именно: что кроме безделиц выиграть ничего не можно.

№ 4

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Из гостиного двора

Купечество наше, торгующее в гостином дворе, претерпевает великое помешательство в торговле от прогуливания знатных госпож и господ по гостиному двору. Сия мода недавно вошла в употребление; и купечеству нашему тем более вредна, что госпожи и господа приезжают туда в великом множестве; садятся в лавках беседовать; пересматривают все товары, какие только есть; разговаривают о нарядах и любовных делах; пересмехают всех проходящих, а между тем купцы теряют напрасно свое время. Посредственного состояния люди, видя в лавках знатных людей, из учтивости проходят мимо и не покупают нужного для своего употребления. Сии тягостные для хозяина гости, просидев часа два в лавке, выходят; а купец принужден бывает часа три прибирать разбросанные товары, которые гостям своим показывал и из которых они ничего не купили. Пришедшие для покупки товаров люди уходят домой и принуждены бывают приходить в гостиный двор раза по три за тем, что бы могли они искупить в десять минут. Гости гостиного двора переходят из лавки в лавку, ищут знакомых; находят и с ними еще садятся и разговаривают до того времени, как уже будет позд-

но. Купечество наше обещает от себя немалое награждение тому из модных господ, который чрез искоренение сея моды доставит им свободную торговлю. Награждение сие, как сказывают, состоять будет в том, что вся Суровская линия, сложася с другими, сделает благодетелю своему кредит на десять тысяч рублей. Должно ожидать от сего желаемыя пользы: ибо кто найдет себя в состоянии вывесть сие из моды, тот не захочет потерять сию находку. Купечество же потерю свою считать будет тогда не более как в трех тысячах рублей.

Из Миллионной

Здесь примечена великая перемена в продаже книг. Прежде жаловались, что на российском языке не было почти никаких полезных и к украшению разума служащих книг: а печатались одни только *романы* и *сказки*; но, однако ж, их покупали очень много. Ныне многие наилучшие книги переведены с разных иностранных языков и напечатаны на российском; но их и в десятую долю против *романов* не покупают. Прежнему великому на *романы* и *сказки* расходу причиною было, как некоторые сказывают, невежество; а нынешнему малому наилучшим книгам расходу полагают причиною великое наше просвещение. И подлинно, благодаря нашему самолюбию мы ныне так стали разумны, что не только ничему уже не хотим учиться, но и за стыд почитаем упражняться в науках, а еще и паче во словесных. Что ж касается до подлинных наших книг, то они никогда не были в моде и совсем не расходятся; да и кому их покупать? просвещенным нашим господчикам они не нужны, а невеждам и совсем не годятся. Кто бы во Франции поверил, если бы сказали, что волшебных сказок разошлося больше сочинений Расиновых? А у нас это сбывается: «Тысяча одной ночи» продано гораздо больше сочинений г. Сумарокова. И какой бы лондонский книгопродавец не ужаснулся, услышав, что у нас двести экземпляров напечатанной книги иногда в десять лет насилу раскупятся? О времена! о нравы! Ободряйтесь, российские писатели! сочинения ваши скоро и совсем покупать перестанут.

ИЗ МОСКВЫ

Свирепствовавшая в нашем городе заразительная болезнь прекращена совсем премудрыми учреждениями дражайшия матери всея России и неусыпными попечениями некоторых истинных сынов отечества, приносивших жизнь свою в жертву смер-

ти для нашего избавления. Да начертает истина имена их во храмах Славы и Вечности! И мы паки наслаждаемся вожделенным спокойствием. О, когда бы могла так скоро истребиться другая болезнь, в Москве и Петербурге укоренившаяся! Под сею болезнию разумеем мы слепое пристрастие некоторых знатных российских бояр и молодых господчиков ко всем иностранцам. Ко стыду нашему, сие пристрастие весьма далеко простирается: российские ученые, художники и ремесленники ими презираются, а иностранные, хотя многие и без всяких достоинств, ими отлично принимаются, защищаются и всегда находят их покровительство. Да истребится сие вредное и ни которому народу не свойственное пристрастие; да воздастся достоинствам иностранных должная справедливость; но да ободрятся и сыны отечества, и процветут в России науки, художества и ремесла, и да будут презираемы все ненавидящие отечество!

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Ярославль известен был прежде прекрасным только местоположением и мануфактурами, а ныне славится и хорошими сочинениями. В нашем городе сочиненные комедии представляются в Санктпетербурге на придворном российском феатре; принимаются с превеликою ото всех похвалою и почитаются лучшими комедиями в российском феатре. И мы можем хвалиться, что Ярославль первый из городов российских обогатил русский феатр тремя комедиями в наших нравах. Поговаривают, что и в других российских городах принимаются за сие упражнение. У нас на Руси все делается по моде: но дай боже! чтобы полезные моды почаще входили во употребление и чтобы науки и художества процветали во всех российских городах так, как в Петербурге и Москве.

ИЗ ТВЕРИ

Недавно чрез наш город проехал в Петербург какой-то славный Выдумщик. Он рассказывал нам о себе великие чудеса и показывал более ста *выдумок*, им сочиненных. Между прочими выхвалял он более всех сочинение, в котором он предлагает способ для приохочивания молодых российских господчиков ко чтению русских книг. Оный в том состоит, чтобы русские книги печатать французскими буквами. Г-н Выдумщик уверяет, что сим способом можно приманить ко чтению российских книг всех щеголей и щеголих; да и самых тех, которые российского языка терпеть не могут. Он утверждал, что если эта его выдумка про-

изведется в действо, то он надеется от сего великого успеха: потому что, по его мнению, французские буквы мягкостию своею очистят всю грубость российского языка. Сей великий человек недолго промешкал в нашем городе и поскакал в Петербург.

ИЗВЕСТИЯ

Будущего июня 10 числа в доме г. Наркиса, состоящем в Вертопрашной улице, будут разыгрываться лотерейным порядком сердца разных особ, в разные времена г. Наркисом плененные и за ветхостию к собственному его употреблению неспособные. При каждом сердце отданы будут и крепости на оные, состоящие в любовных письмах и портретах. Билеты можно получать в собственном его доме, где и цена оным будет объявлена.

Недавно приехавший француз учредил для молодых благородных и мещанских детей школу, в которой преподавать будет все в карточных играх употребляемые хитрости и обманы, в каждый день от 10 пополудни до 5 часов пополуночи. Сей честный и некорыстолюбивый француз обязуется как сему, так и другим разным к обогащению себя средствам обучать учеников своих без всякой платы. Но чтобы ученики его больше уважали его наставления и более бы имели прилежания ко скорейшему обучению, то требует он только сей безделки, чтобы они играли с ним на чистые деньги. Впрочем, он клянется французскою своею совестию, что в скорое время учеников своих приведет в такое состояние, что они других обучать будут. Сей учитель живет в улице Разорение, в доме г. Бесстыднова.

№ 5

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Из гостиного двора

В «Ведомостях живописцевых» артикул [1], из гостиного двора поставленный, во многих благородных особах на сего дерзкого газетьера [2] справедливое произвел негодование. В оном артикуле упомянуто, будто многие знатные господа и госпожи без всякия нужды приезжают в гостиный двор, ходят из лавки в

[1] статья (от *франц.* article).— *Ред.*
[2] журналиста (от *франц.* gazetier).— *Ред.*

лавку, перебирают ненужные им товары и тем будто отгоняют купцов посредственного состояния, а чрез то, по его мнению, приключают вред в торговле нашей. Кажется, никакой нет нужды уверять наших читателей, что все газетьеры ведомости свои почасту наполняют разными выдумками и ложью: это всякому известно; и мы не ответствовали бы на сию очевидную ложь, если бы не старались оправдать себя пред знатными господами и госпожами в том, что сей артикул поставлен без нашего согласия. Мы больше имеем попечения, нежели как думают, о сохранении господской доверенности к нашей совести; она нам столько ж нужна, как им кредит наш к их имению. Впрочем, мы не много будем иметь труда опровергнуть лжи, сим газетьером рассеваемые, и начнем с первого.

Прогуливание знатных господ и госпож по гостиному двору не только что не делает торговле нашей вреда, но еще и прибыль приносит; без сего кто бы покупал в большом количестве выписываемые и привозимые к нам многие французские безделицы, которые расходятся ныне в великом множестве? Без сего с кого бы могли мы брать четверную цену, отпущая в долг товары? Опричь сего прогуливание и ту приносит нам прибыль, что когда госпожи соберутся в лавку и с нами милостиво разговаривают и изволят шутить, тогда и мы, будто шутя, показываем какие-нибудь завалявшиеся безделицы, прося притом, чтобы их как-нибудь ввели в моду; и часто случается, что от таких безделок получаем прибыли гораздо больше, нежели как от самых лучших товаров. Когда приезжают к нам любовник и любовница, тогда мы наперехват стараемся звать их к себе в лавки; тогда, не щадя трудов своих, сами стараемся показывать всякие товары и перебиваем все куски: от сего имеем мы превеликую пользу; ибо в такое время у любовниц превеликое бывает желание покупать, или, лучше сказать, брать, всякие нужные и ненужные товары, а за сие желание учтивость любовников платит нам всегда наличные деньги. В таком случае господа любовники весьма мало с нами торгуются, а госпожи любовницы хотя и говорят почасту: «Ах, как это дорого! ужасно! нет, я этого не возьму; я бы хотела это купить: но это чересчур дорого»; но мы не пугаемся таких отговорок, потому что *я бы хотела это купить, но это чересчур дорого,* как сказывают, на любовном языке значит: *ежели ты не скуп, так заплати за это деньги.* И мы так применились к таким двоесмысленным словам, что из требуемой цены ни копейки никогда не уступаем, говоря притом: «Это, сударыня, очень дешево; другому бы я за такую цену не уступил; а его чести уступаю для того, что он всегда соизволит

покупать товары на готовые деньги; а притом, милостивая государыня, мы умеем разбирать людей и знаем, с кого какую просить цену: поверьте чести моей, что его милость копейки даром не бросит». Тут мы все трое усмехнемся; а господин тотчас станет уверять госпожу, что это не дорого, и, заплатя деньги, скажет: «Он детина совестный, обманывать не станет». Между прочим в «Живописцевых ведомостях» упомянуто, что госпожи, сидя в лавках, пересмехают проходящих; но и это никакого не делает нам вреда: ибо многие дворянки, не весьма далекие в модном свете, и также мещанки, почитая такие лавки наполненными модными товарами, всегда к нам приходят и покупают оные. Но чтобы избежать насмешек от модных госпож, то приезжают они на гостиный двор обыкновенно в такое время, когда не прогуливаются. Что ж касается до обещанного в «Живописцевых ведомостях» награждения тому, кто бы вывел из моды прогуливание по гостиному двору, то кажется, что сие и не заслуживает нашего опровержения. Впрочем, у нас в гостином дворе слух носится, будто купечество наше тому, который напишет на сего газетьера сатиру, обещает награждение, состоящее в благосклонности тех господ и госпож, которые сей артикул взяли на свой счет и на живописца прогневались.

ИЗ МОСКВЫ

Модное наречие петербургских щеголих многим нашим девицам вскружило головы. Все такие модные слова, в «Живописце» напечатанные, они вытвердили наизусть и ввели во употребление; но притом чувствуют еще в оном наречии великий недостаток: почему хотят посылать нарочного поверенного, который будет стараться все слова, в модном наречии употребляемые, собирать и сообщать к нам в Москву. Сим способом надеются наши девицы до такого же дойти совершенства в помянутом наречии, как и петербургские щеголихи. Впрочем, надлежит отдать справедливость нашим жителям, что в переимке новых мод они должны почитаться не последними.

ИЗВЕСТИЯ

Некто из молодых господ, умеющий жить во свете, одеваться по моде, чесать волосы со вкусом, танцевать прелестно и петь французские песни с наилучшими манерами, третьего дня ехал в богатой своей английской карете, запряженной шестью

прекрасными лошадьми, и, проезжая мимо гостиного двора, обронил *кредит*; кто оный поднял и возвратит сему господину, тому обещает он покровительство свое при дворе.

Некоторой даме не последнего класса во время прогуливания ее по гостиному двору от некоторого молодого дворянина сделано любовное предложение; почему для сведения его объявляется, что ежели он говорил это не в шутку, то, справясь бы с ежегодными своими доходами, явился в собственном сея госпожи доме, о котором ему объявлено и который куплен ею на имя судьи Кривосудова.

ПОДРЯДЫ

Некоторому молодому господину потребен секретарь, который бы умел сочинять комедии и писать стихами песни и другие мелкие стихотворения. Но притом требуется, чтобы сей человек был трудолюбив и скромен до чрезвычайности: сие особливо для того, что сей господин писанные секретарем его сочинения хочет выдавать за свои собственные. Кто пожелает вступить в сию должность, тот может явиться в собственном сего господина доме, состоящем в Тщеславной улице.

Некоторому знатному родом и заслуженному, по его мнению, господину потребно до двенадцати молодых, неглупых, проворных и умеющих вкрадываться дворян. Он обещает содержать их на своем иждивении; а должность их состоять будет в том, чтобы сии молодые люди проповедывали повсеместно милосердие к бедным сего господина, которого, однако ж, он не имеет; его любовь к отечеству, о которой не имеет он и понятия; и приписывали бы ему всевозможные добродетели. Сим способом надеется он прийти в любовь ко всем и получить чины, которых он по знатности своего рода давно имеет право требовать. Желающие вступить в сию должность могут явиться у него самого в собственном его доме, построенном из корыстей, полученных прапрапрадедом его под Чигирином.

Престарелый Селадон хочет иметь у себя в услужении прекрасную и молодую девушку: должность ее состоять будет в том, чтобы по утрам и вечерам подавала ему шоколад. Напро-

тив того, обещает он ей ежегодное богатое содержание с тем, чтобы сия девушка весьма была исправна в своей должности, и с таким притом примечанием, чтобы она никогда и никому не давала из той чашки, из которой будет он сам пить: ибо сей дворянин в таком случае весьма завистлив и разборчив. Которая хочет вступить в сию должность, та может явиться у господина Селадона немедленно: ибо по моде нашего времени надлежит ему сие неотменно сделать.

XII

ВОЗЛЮБЛЕННОМУ О ХРИСТЕ БРАТУ РАДОВАТИСЯ

Аще и не вем тя, кто еси, господине честный: обаче егда узрех во обители нашей у единого от старец твои ежеседмищные листы, абие уразумех, яко ты печешися очистити злонравие грешников: ово явными, ово сокровенными обличеньми. Дерзай, ревнителю истины, и не премолчи, ведяще, яко все, еже начертал еси, угодно показася и всей зде сущей братии. Возрадовася же о труде твоем и пречестный отец игумен наш. Обаче нецыи окрест нас живущии повелеша написати к тебе сице: ты кто еси, судяй чуждему рабу? им же бо судом судиши, себе осуждаеши; таяжде бо твориши судяй! Мы же ничесоже противу тебе дерзаем рещи, яко и сам ты являешися чтити священный чин духовный и весь причет церковный. Аще же что возмниши написати во обличение иноческого жития, блюди себе, да не како... . Но кое благодарение воздати можем православным праотцем нашим, иже умудришася положити жилище наше во оградех! При сем молим тя, господине честный, ополчитися противу кощунствующих, от них же некоего видех аз толика бесчинна, яко вземшу ему стклянницу вина, церковным гласом дерзновенно воспети о ней сицевое блядословие: возвеселится пьяница о стклянице и уповает на вино. Виждь, како изменити дерзнуша сынове церкве душеспасительная словеса ея! Но больша сих узриши, аще отверзеши очи твои на дела законопреступников. Мнози бо от нечестивых юношей..... Прочее, господине честный, не престаем моляще твое благоутробие, да печто провозвестиши и в нашу пользу: сиречь, еже умножитися подаянию во обитель нашу. Сего ради благоговейно целуют тя, вопервых, отец игумен с братиею: та же особо, бывшие иногда, отец келарь, отец казначей, отец иконом, отец ризничий, отец

уставщик, отец гробовый, отец конюшенный, отец крепостный, отец трапезенный, отец рухлядный, отец чашник, отец площадный, отец будильник, отец подкеларник, отец смиренный и прочии, их же не веси: вси целуют тя лобзанием святым. Аз же есмь

недостойный богомолец твой
Тарасий.

XIII

Пречестный отец Тарасий!

Послание твое, еже угодно тебе показася начертати ко мне, аще и недостойну толикия благости и грешнику сущу, аз получих, и егда прочтох его, абие положих è на скрыжали сердца моего, да вразумлюся и поучуся словесем твоим, повсегда ходити ми по стопам заповедей твоих. Но оле безумия нашего! поучати бо токмо навыкохом, а не поучатися. Всяк, аще и юн сый, дерзновенно укоряет брата своего и затыкает ушеса своя, егда рекут ему: ты кто еси судяй? Возведи, премудрый старец, очи твои окрест тебе и виждь братию твою: семо поучают: а идеже поучаются? онде исправляют: и где исправляются? не исправятся убо поучаемые, дондеже не исправятся поучающии. Но блюду себе, по словеси твоему, да некако... . Прочее не престаю, моля твое преподобие, да устроиши вся на пользу души моея: можеши бо вся, елико же восхощеши. Исповедаю бо пред всеми, яко грешник есмь; и не имам иное что принести тебе, токмо сердце чисто и дух сокрушен. Таже со смирением реку тебе словеса священная: удобее есть вельблюду проити сквозь иглины уши, неже богату внити в царствие небесное. Но да не возмнят нецыи, яко кощунства единаго ради начертах словеса сия: ей измлада не навычен есмь сему и не являюся николи же греху сему причастен. Воистину николи же до кончины дней моих. Аминь. Целует тя

недостойный живописец.

XIV

Господин живописец!

Что мне делать? хочется писать, да не знаю, за что приняться: кажется мне, что мог бы я написать все, но, однако ж, по сие время не написал еще ничего. Не подумайте ж, что я не

имею способностей к писанию: напротив, я их имею; но это происходит оттого, что я весьма разборчив и чувствителен к моей славе. Стихов я не пишу для того, что русский язык не способен ко стихотворству: я бы писал их на французском языке, но, по несчастию, Волтер, Расин и многие другие писатели родились прежде меня; а как дарования свои и способности вешу я всегда на весах беспристрастия, то и увидел, что превзойти сих писателей я не могу, а равенства я не терплю ни в чем. Что делать, когда я так поздно в свет родился! Ради сего хочу писать по-русски прозою, но только еще не решился, в каком роде сочинений мне упражняться. Писать сатиры по моему чину низко; писать любовные сочинения поздно по моим летам; к трагедии я не имею склонности; оперы мне не нравятся; пастушеских сочинений я не люблю; для поэмы я по сие время не избрал еще хорошего содержания; и так остается мне писать комедии.— Но могу ли я писать их и чего мне ожидать? Все похвалы, которые бы по справедливости принадлежали только мне одному, давно уже истощены, не знаю, какому-то сочинителю комедий «О время», «Именин», «Вестниковой».— Сносно ли это! — Я бешусь и прихожу в отчаяние! Вот, сударь, до чего мы дожили: вот какой вкус в комедиях утверждается: русский, русский.— Какая глупость! Французский феатр постарее нашего, так нам ли принятое ими переменять; и может ли русский человек, не закрасневшись, осмелиться подумать, что он может в чем-нибудь поравняться со французом? О вы из русских чиновных дворян, обожающие французов, ежели вы, впрочем, и глупы; однако ж вы достойны великого почтения за то одно, что вы удивляетесь французам! Впрочем, я имею средства отомстить и тебе и всем хвалителям комедии «О время»: ведайте, что я напишу комедию на сего автора и на всех вас, и ежели ее здесь не представят и не напечатают, тогда переведу ее на французский язык, пошлю на парижский феатр: пусть ее там представят; а ежели им угодно будет, так хоть и напечатают. Сим средством я отомщу обиженную мою честь; а ежели и сего не удастся мне сделать, так по крайней мере пропущу здесь в городе слух, что это сделано. Это немудрено: вить я умел же распустить слух, будто в Париже сочинена комедия на одного здешнего боярина, которого я не могу терпеть, и будто ее представляют на Булеваре. Берегитесь моего мщения и знайте, что ежели я за что примусь, так уже, конечно, сделаю! Прощай, ответа ко мне не пиши, я его читать не буду.

XV

Господин живописец!

Я имею у себя родственника молодого человека, который под присмотром родителей своих вырос в деревне, а теперь время приходит ему, оставя свое уединение, вступить в службу, следовательно, и во свет. Отец его после Ставучанской баталии, пошед в отставку, удалился от света и сыну своему кроме сей войны ни о чем не рассказывал. Но как все подвержено переменам, то не избежал от сего правила и смысл некоторых слов, а сии перемены обыкновенно делаются там, где большое общество обитает. Известно ж, сколь худо войти в люди, не будучи сведому о нравах того общества, в котором обращаешься. Я предприял по долгу родства предварить его истолкованиями тех слов, которых значение обычай переменил в нынешние времена; а предприяв сие, рассудил поступить и далее, чтоб не только воспользовался оными младый мой родственник, но и другие подобные ему. Сие делаю я отчасти, чтоб видеть себе благодарность, отчасти следуя тому правилу, которое предписует, что живущие во свете праздно тягчат только землю и не пользующие себе подобных не отличаются от скотов. Мне не хочется быть во счете реченных; ибо я живу весьма праздно, служу обществу одним именем, получаю чины и жалованье, езжу в мое место лишь только для того, чтоб исполнить единый вид моея должности; и тамо, где надлежит упражняться в делах, мне порученных, я разговариваю о вчерашнем дне, о моих деревнях, о детях и лошадях, дабы скорее препроводить часы упражнения. Товарищи мои весьма согласны со мною, и так без малейших споров все дела каждый день отлагаем мы до завтрея. Но чтоб сделать пользу подобным моему родственнику, воспитанному в деревне, изъяснением переменного смысла некоторых слов, я за лучший способ нахожу просить вас, г. живописец, печатать в ваших семидневных листах те письма, которые буду писать к моему родственнику и из коих первое теперь к вам прилагаю.

Покорный ваш слуга

Доброхотов.

Письмо к племяннику

Любезный племянник! я получил от отца твоего письмо, в котором уведомляет меня, что он вознамерился с тобою расстаться и отпустить тебя в службу. Прежде, нежели вступишь ты

во свет, потребно тебе иметь некоторое понятие о светской жизни; хотя отец твой и много раз сказывал о Ставучанской баталии и о всех турецких походах, однако ж со всем тем ты весьма мало знаешь науку света. Я некогда был в равных с тобою обстоятельствах и собственным опытом узнал, сколь худо вступить во свет, не зная оного. Вступая в оный, не воспользует тебе сведение о турецких походах: ибо во свете не одни турки будут тебе неприятели, ты найдешь неприятелей гораздо больше внутри своего отечества, и часто между ближних своих приятелей; и для того намерен сделать тебе некоторое понятие о свете. Ты, приехав из деревни, не только не будешь знать нравов и сердец людских, но и значение слов некоторых тебе будет неизвестно; хотя б ты самые те слова слыхал от воеводши и от подьячего с приписью. Тебе отец твой часто твердил, что у подьячих много есть крючков, но у светских людей ты найдешь их еще больше. Для сего я вознамерился истолковать тебе значение некоторых слов: но чтоб сделать порядок, я буду толковать тебе слова по алфавиту; теперь начинаю с буквы *А*, а потом дойду и до других.

А! Есть междометие восклицательное, изъявляющее радость. Между знающими свет и политику людьми оно произносится обыкновенно с веселым лицом, с отверстыми глазами, с небольшим возвышением головы, с некоторым наклонением тела и с движением рук, изъявляющим объятие. Узрев таковую встречу, ты, конечно, подумаешь, что тот, который это сделал, увидев тебя, весьма обрадовался и что он тебя любит; однако, подумая так, ошибешься, потому что у людей, знающих свет, это значит совсем противное твоему мнению; например:

Ежели, увидя тебя, кто ни на есть из твоих именуемых только приятелей скажет: *А! мой любезный друг, как я рад, что тебя увидел;* потом возьмет тебя за руку, немного пожмет и поцелует и в ту и в другую щеку, это будет значить, что он тебя или бранил недавно, или идет куда-нибудь бранить тебя; а если ни того, ни другого нет, так по крайней мере или выведать что-нибудь хочет, или имеет до тебя нужду: ибо когда б не было ничего сказанного, то поклонился бы он тебе весьма холодно и молча от тебя пошел прочь.

Ежели встретит тебя игрок с оным восклицанием, то будет значить, что он хочет с тобою подружиться и, употребя все, что только возможно, обыграть тебя.

Ежели девушка сделает тебе таковую встречу, это значить будет, что она знает о твоем богатстве и изрядной фамилии и что

она хочет выйти за тебя замуж и после украсить голову твою скотским убором, дабы в фамилию твою присовокупить мирское подаяние.

Когда замужняя женщина, повстречаяся с тобою, вскричит: *А!*, это знак, что она хочет тебе понравиться, после обобрать тебя, а наконец осмеять и одурачить.

Ежели судья встретит тебя с таким же восклицанием, тогда ведай, что ему хочется, чтобы ты завел какую тяжбу и чтобы ему можно было сорвать с тебя взятки.

Когда начальники твои, встречая тебя, кричать будут: *А!*, то тут есть двоякое значение. В устах холостого человека сие восклицание значит, что он хочет на твой счет повеселиться, а женатых желание в том состоит, чтобы ты женился на их дочери.

Ежели большой господин, увидя тебя, употребит сие восклицание, то ведай, что это всего опаснее. Это *А!* имеет двоякое значение: или хочет он, чтобы ты переносил ему вести, или чтоб, ослепя тебя своими ласками, употребить в какие ни есть интриги и в случае неудачных следствий жертвовать тебя своему избавлению; а без сего, живучи во свете, весьма редко случится, чтобы кто с тобою ласково стал обходиться.

Вот все то, что значит между просвещенными людьми восклицание *А!* Теперь, зная подлинное сего слова значение, в поведении твоем следуй своему рассудку. Я оканчиваю это письмо истолкованием единого сего восклицания, а впредь буду сообщать изъяснение других слов.

XVI

Господин живописец!

Вы стараетесь выводить наружу пороки, осмеяния и презрения достойные, которых есть толикое неисчетное множество, что если бы вы и весь век свой листы ваши опыми наполнять хотели, так, конечно, бы всех еще не описали.

Главные пороки подобны большим деревьям, имеющим несколько тысяч ветвий и сучков, кои паки от себя отрасли испускают.

Хотя сие и весьма трудно, однако намерение ваше всегда похвально и многим полезно: время уже в просвещенный век наш снимать личину с порочных людей и представлять их свету таковыми, каковы они в самом существе суть. Не смотрите

на досаду их, пренебрегайте злобу, устремляющуюся на вас, продолжайте труд ваш; истина сама будет вам всегда защитою.

Я листы ваши прилежно читаю и нахожу в них по справедливости изрядства, могущие исправлять порочных людей. Желательно, чтоб для споспешествования вашего доброго намерения помогали вам в описании вредных страстей и другие добродетельми украшенные и знаниями одаренные люди, коих мы ко славе отечества нашего довольно уже имеем. Без сомнения, сим услужили бы они гораздо более и лучше публике, нежели теми пустошами, какие мы от некоторых ежедневно либо письменные, или печатные видим.

Нет сомнения в том, писатели, любящие совершенно добродетель и не устрашающиеся гнева пороками объятых гонителей, конечно, сие делати начнут, а льстецы и трусы пускай молчат, для того что от них ничего доброго и ожидать не должно.

Сего рода животных так умножилось, что в некоторых знатных домах по целой их дюжине собирается, где они пороки ласкательством бесстыдно подкрепляют; хотя жалко и прискорбно смотрети, каким образом сии одаренные острым разумом и учением просвещенные люди к такой подлости приступают, которым за сие да будет пред всеми честными стыдно.

XVII

Государь мой!

Сообщите, прошу вас покорно, прилагаемую при сем записку: *следствия худого воспитания*, в своих листочках свету. Вы сим меня одолжите много; а отцы и матери, прочтя в ваших листочках таковые при воспитании детей неосторожности, большее будут иметь старание за ними и тем избегнут нарекания, учинят себя достойными того имени, которое многие ныне недостойно на себе носят. В прочем с любовию моею к вам навсегда есмь

вашим покорным слугою

*Несчастный Е****

Смоленск,
1772 года, июня 20 дня

Отец мой дворянин, живучи с малых лет в деревне, был человек простого нрава и сообразовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была сложения тому совсем противного, отчего нередко происходили между ими несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами, какие вздумать можно, ругали, но не проходило почти того дня, чтобы они между собою не дрались или бы людей на конюшне плетьми не секли. Я, будучи в доме их воспитыван и имея вседневно в глазах таковые поступки моих родителей, чрезмерную возымел к оным склонность и положил за правило себе во всем оным последовать. Намерение мое было гораздо удачно; ибо я в скорое время, к удивлению всех домашних, уже совершенно выражал все те бранные слова, которые, бывало, от родителей своих слышу; а что до тиранства принадлежало, то уже в том и родителей своих превосходил; хотя и они в сем искусстве гораздо неплохи были: ибо один раз батюшка за недоимку 35 душ....., а матушка еще и того более бесчеловечным наказанием на..... как узнала, что некто из крестьян перешиб ногу любезной ее собачке. Отец мой хотя, правда, был недалекого разума, однако разбирал понемногу «Четьи-Минеи» и другие церковные книги; матушка же моя насмерть тех книг не любила, потому что она девицею воспитана в городе; да редко имела досуг читать и французские, потому что вседневно ходила слушать очистки крестьян: во что уж батюшка мой никогда и не мешался; а только лишь, бывало, по приговору матушкину сечет крестьян. А как я уже приходил лет под десяток и батюшка мой начал преподавать мне первые начала российския грамоты, то матушка, любя меня чрезмерно и опасаясь, чтоб от такового упражнения голова у меня не разломилась или бы по времени не повредился я умом, всегда меня от книги отрывала; и не раз за то бранивала батюшку, что он меня к тому неволил. Книга, если правду сказать, мне и самому в то время гораздо несносною казалася, и я, не приметя еще хорошо, по чему различать А от Д, столько оную вымарал, что батюшка мой и сам почасту не распознавал букв, которые знал ли, полно, он и сам твердо, я сомневаюсь: ибо он, как я приметил, называл одну букву тремя званиями: но до того мне нужды мало. Матушка моя, пришедши из конюшни, в которой, по обыкновению, ежедневно делала расправу крестьянам и крестьянкам, читает, бывало, французскую любовную книжку и мне все прелести любви и нежность любезного пола по-русски ясно пересказывает; от сего по три-

надцатому году возраста моего родилась во мне та сильная страсть, о которой не только знать, но и говорить моих лет ребятам за стыд и неприличное дело почитают. А как я от рождения моего не знал, что есть стыд, и мне про то никто не толковал, а меньше еще того разумел о неприличности, то, устремя все мысли свои к любви, коея прелести мне матушка в самых ясных словах изобразила, влюбился в комнатную дома нашего девку, обладающую всеми теми прелестьми, которые только могут пленить нежное сердце несчастного любовника, и сделался в короткое время невольником рабы своей. Таковой случай причинил немалое огорчение и самым моим родителям; но в том должны они жаловаться на себя: ибо я, не видя ни от кого хороших примеров, последовал слепо их же поступкам, развратившим мое сердце. От праздности, в которой я все дорогие своей жизни часы препроводил и которая по несмысленности мне приятною казалась, произошли все мерзости исполненные дела, а вольность сделала меня отважным и наглым на все предприятия. Я спознался с сыном одного помещика, неподалеку от нашей деревни живущего, который воспитан был не лучше моего и детина на все руки. Покрытый сединами его отец ожидал с часа на час смерти, яко убежища своего, и все предал свое сокровище в руки своего сына, которого, хотя был он еще несовершенных лет, вся деревня трепетала. От частого с ним обхождения научился я просиживать целые ночи, весьма скоро в игре, в пьянстве и в других непостоянных забавах преходящие, и был уже совершенного знания во всех карточных играх к погибели своего дома. Отец мой, разгневавшись на меня за таковые мои поступки, выгнал меня из дома и лишил законного наследства; а я, не имея средства, чем себя пропитать, вдался во всякие не приличные моему роду дела и тем доставлял себе бедное пропитание. Наконец несносные бедствия и оставшаяся во мне еще искра стыда и совести начали исправлять мои поступки, и я вступил в военную службу, где нужда еще больше того меня поправила, почему ныне я живу спокоен со всегдашним сожалением о участи тех бедных, которые имеют подобное моему от родителей или наставников своих воспитание.

* * *

Г-н *Несчастный Е***,* поступки отца вашего и матери, так, как и ваша в рассуждении родителей неблагодарность достойны справедливого порицания; но вы все уже довольно наказаны. Отцы и матери! казнитеся сим примером; воспитывайте детей своих со тщанием, если не хотите опосле быть ими презираемы.

XVIII

Г. живописец!

Долго ли тебе устремлять гнев твой на женский пол и выдумывать нелепые лжи, обвиняя нас несносными бесчиниями. Ведай, что мы выходим из терпения; и если ты не воздержишься от злословия, так берегись.— Сносно ли это, что в последнем твоем листе некоторую женщину попрекаешь ты ревнивостию! таким пороком, от которого мы давно избавились.— Заврался, мой свет: это неправда; знай, что мы не столько о мужьях своих думаем, чтобы стали к ним ревновать, и только что терпим их, а не любим: и как можно столько любить мужа? непонятно, странно, смешно, уморил, ха! ха! ха! — Ревновать к мужу, любить его: этого я никак не понимаю; а может быть, твой только один острый разум проницает в чрезъестественные тонкости. Видеть мужа всякий час, сидеть с ним обнявшись, говорить с ним нежно, да еще и ревновать к нему — фуй! как это неловко! Конечно, это какая-нибудь была сумасбродная женщина: для чего же ты ее скрываешь? такая женщина всеобщего достойна презрения. Что это за староверка, чтоб быть прицеплепною к своему мужу и ревновать ко всякой; но это быть не может: нынче век просвещенный! а воспитание наше беспримерно: мы мужьям нашим даем свободу знаться с теми женщинами, с которыми хотят; и довели их до того, что и они нам то же позволяют. Понимает ли пустая твоя голова, что от этого-та и происходит благополучие наших семейств и согласная жизнь наша; оттого мы и не разводимся с мужьями, а живем в одном доме: видимся в неделю по разу, ездим в комедии, прогуливаемся с милым человеком то в городе, то за городом. Такая бесподобпая вольность может ли нас когда-нибудь противу мужей приводить в огорчение: нет, в листе твоем описанная ревнивость есть твоя глупая выдумка; и для того-то я сим письмом многих оправдать вознамерилась. Мы знаем, что письмо о ревнивости писал ты сам, а не посторонний. Нет ныне таких мужей, которые бы такой вздор описывать захотели и беспричинно бы стали злословить жен своих таким гнусным пороком, который давно уже истребился. Прощай.

XIX

Господин живописец!

Будучи всегдашним читателем похвалы достойных ваших листов, вижу я с удовольствием, что вы стараетесь в оных общеполезные делать наставления. Множество описали вы нам

пороков, за которые иные вас благодарят, а большая часть людей злословят вас; из чего видно, что большая часть сих объяты пороками и нравоучениям внимать не хотят. Добродетель в ушах их слышится им некиим старинным названием, в одно ухо влетающим, а в другое вылетающим, безо всякого в них действия. Но как бы то ни было, намерение ваше хорошо; не взирайте на их толки, угодить на всех не можно; да и добродетель вещь не есть модная, продолжайте только ваш труд, авось-либо придет такое время, в которое иные поправиться вздумают; а прочие пороков остерегаться будут. Ведая, что есть дело невозможное, чтоб вам на мысль пришли вдруг всякого рода человеческие заблуждения для внесения в ваш журнал, предприял я вам для того в оном по одному случаю учинить вспоможение вольным переводом. Не приметил я, чтоб вы где-либо упомянули о кофегадательницах, и удивительно, как сии женщины по сю пору вашего примечания избежали, хотя они и столь много служат ко посрамлению человеческому и, следовательно, давно уже достойны надлежащего описания.

Быв недавно свидетелем предсказаний такой женщины, нахожу себя в состоянии оную точно описать. Кофегадательница есть такая тварь, которая честным образом более уже пропитания сыскать не знает или не хочет честно кормиться. Иная кофегадательница не имеет на теле цельного платья, ходит в раздранных лоскутьях, а вся таких старух шайка есть сборище побродяг, которых почитать должно извергами человеческого рода.

Такие кофегадательницы, не имея довольно смелости что-либо похищать, дабы им не быть при старости истязанными и не умереть с голоду в остроге, выдумали хитрое искусство обирать деньги у простосердечных людей, не будучи обвиняемы от градоначальства каким-либо похищением. Они обманывают людей, не умеющих мыслить, что могут предсказывать все из кофейных чашек. Когда такую Кивиллу приказывают позвать, то предлагают ей вопросы, например: Скупягина вопрошает, кто украл серебряную ложку? Бесплодова, будет ли она иметь детей? Страстолюбова, верно ли любит ее полюбовник? Щеголихина, скоро ли умрет ее муж картежник: и так далее. Тогда должно сварить кофий, и сие уже само по себе разумеется, что поднесут ей большие две чарки водки, чтобы возбудить сим в ней более предсказательного духа. Потом нальет почти половину чашки густого кофию и болтает его кругом иногда с важным, а иногда с пронырливым видом троекратно, чтобы кофий внутри повсюды пристал. Между кофегадательницами есть

еще и в том несогласие, надлежит ли после троекратного болтания дуть в чашку или нет; те, кои показывают себя верными угадчицами, сие делают, утверждая тем, что предсказательное дыхание, частицы кофия в чашке, определяет значащие изображения. После сего ставит чашку обернутую на стол, чтоб кофий из нее вылился, поворачивает ее еще два раза, дабы троекратным движением ничего не значащий кофий вон выбежал, чтоб предсказательные части кофия в чашке одни прилипшими остались. По учинении сего поднимает чашку вверх и в нее смотрит. Вопрошающие особы стоят перед сею отгадчицею, пребывая между страха и надежды. Наконец открывает она рот свой и предсказует, например: вор, похитивший ложку, имеет черные волосы. Вопрошающая отвечает: так, это правда. Я знала уж давно, что Ванька вор. Чашкогадательница получает полтину, иногда рубль и более, смотря по важности отгадываемой вещи, и потом уходит домой.

По выходе гадательницы вопрошавшая призывает Ваньку, приказывает принести плети или батожье; спрашивает его, куда он девал ложку, и приказывает, чтобы он немедленно признался. Ванька божится, клянется и уверяет ее, что он ложки не крадывал; но божбам его не верят. Боярыня его ругает; и лицо его, кажется ей, изобличает его в покраже. Ваньку секут без пощады; долго он терпит напрасное мучение и говорит правду, но наконец начинает лгать. Он признается в покраже ложки, сказывает, что ее продал и пропил.

— С кем? — спрашивает боярыня.

— С Андреем, соседским слугою.

— Так,— кричит госпожа Скупягина,— я никогда не ошибаюсь: вы оба давно казались мне ворами.

Скупягина посылает к соседке, просит ее, чтобы и она также наказала своего слугу. Андрей также говорил правду, но наконец побоями и его принудили лгать. Скупягина Ваньку своего еще наказывает отнятием жалованья и кормовых денег, чтобы возвратить свою пропажу и то, что заплачено кофегадательнице. Ванька из доброго человека по нужде становится вором, окрадывает свою госпожу, уходит, проматывает, попадается; его отдают в приказ: покраденное пропадает, а Ваньку, яко вора, посылают на каторгу. Скупягина, лишася ложки, лишается и Ваньки.

Здраво рассуждающие люди не инако верят, как что сие кофейное предсказание имеет такое же основание, как и в святые вечера ставящиеся кучки соли, литье олова и воска. Впрочем, потребно на сие только половина ума человеческого, чтоб

понимать, что все такие колдовки сущие обманщицы. Вопрошающие особы болтливы и для того объявляют такой кощунье наперед все свои чаяния; а она располагает свои ответы всегда по сим мнениям и лишь только объявит общественный ответ, который стократным образом толковать можно, то и выводят они его по своему чаянию, удивляясь пророчествующему дару сея ворожеи. И так весьма легкий способ есть посрамить такую женщину: представь ей вопрос и ничего более с нею не говори, ни прежде, ни после, так увидишь тотчас глупую ее ложь. Одна женщина вопрошала в то время, когда она хотела выйти замуж, счастливо ли будет ее замужство? На что такой ответ последовал: ты скоро выйдешь замуж; муж твой будет своеобычливый человек и проживет с тобою только двенадцать лет; у тебя будет четверо детей. Однако изо всего оного не вышло ничего. Ожидаемое замужство рушилось, и эта женщина еще долго незамужнею пребыла.

Другая вопрошала, скоро ли умрет муж? На что ей ответствовано было, что муж ее через полгода умрет: почему госпожа, восхищаясь радостию, тайно с другим сделала сговор, чтоб по прошествии полугода выйти замуж. С нетерпеливостию она ожидала того блаженного часа, в который изыдет душа из тела ненавидимого ее мужа. День предписанный наступил, и муж ее в оный был веселее прежнего; и поныне еще, к несказанной печали неверныя своея жены, живет. Не знаю того, есть ли в других местах такие гнусные ворожеи; буде их нет, так весьма досадно, что у нас в городе столько просты и глупы, что их терпят. Во многих домах есть свои особливые угадчицы. Некоторые ежедневно на кофий гадают и при каждом случае для укрощения суеверного любопытства ищут прибежища у такой ворожеи; а в некоторых домах бывает она еще и важнейшею тварию: приходит ли она в знатный дом, то скрывается с нею госпожа или кто иной в особую комнату, чтоб не подвергнуться опасности или посмеянию, буде хозяин человек разумный. И тако естественный человеческий разум сказывает каждой почитательнице ворожей, что она в сем случае весьма безрассудно делает, инако бы не для чего было опасаться и стыдиться, если бы предсказания ее были на истине основаны.

Ежели бы кофейницы не делали иного вреда, кроме выманивания лжами своими денег, так можно бы подумать, что свет хочет быть обманут, и так да будет он обманут; но она есть более сего сатана, более сего несчастию заводчица в человеческом роде, нежели как думают. Сия проклятая тварь причиною, что невинные люди приходят в подозрение; она восставляет не-

доверие, ссоры и несогласия. В доказательство сего намерен я только привесть два примера. Некоторый муж, коего я далее описывать не хочу, был к жене своей ревнив. Он пошел к кофейнице и приказал отгадывать о честности своей жены. Кофейница уверила его, что жена ему неверна. С того времени муж сей как бешеный с женою своею поступает. Бедная жена что б ни делала, как бы она невинность свою ни доказывала, ничто ей не помогает. Она есть и пребудет в глазах его бракопреступницею, для того что кофейница так ему отвечала. В другом доме нечто было украдено; спрашивали у нее и по ответам ее заключили, что похититель есть тот человек, который в том доме имеет знакомство. С того времени почитают его вором, повсюду его таким злословят и в дом к себе не пускают; однако я знаю по особливым известиям, что совсем иной человек сие преступление учинил.

Тщетно бы было чрез основание здравого ума тех, кои верят кофегадательницам, приводить к разуму человеческому: ибо они свой собственный потеряли. Однако надлежит таким людям помыслить, что христианину весьма неприлично производить такие чародейства. Они в просвещенных обществах никогда не терпелись; и ежели бы во времена Саула, когда он еще был в здравом уме, были такие ворожеи, то с ними равная же бы судьба воспоследовала, как и с чародейницею во Ендоре.

Ежели вы сие описание напечатаете, то, может быть, сим откроете глаза некоторым господам и госпожам, так что они сами прежним своим заблуждениям дивиться станут. Впрочем, довольны бы мы были, когда бы сим откровением поправились они и оставили бы такое сумасбродное кофегадание.

XX

ОТРЫВОК ПУТЕШЕСТВИЯ В *** И*** Т***

ГЛАВА XIV

. . . . . .

. . . . . По выезде моем из сего города я останавливался во всяком почти селе и деревне: ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали, но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. *Бедность* и *рабство* повсюду встречалися со мною в образе крестьян. Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою

хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие *одоньи* хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтоб не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными себе человеками. О блаженная добродетель любовь, ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов изъявляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! С великим содроганием чувствительного сердца начинаю я описывать некоторые села, деревни и помещиков их. Удалитесь от меня, ласкательство и пристрастие, низкие свойства подлых душ: истина пером моим руководствует!

Деревня *Разоренная* поселена на самом низком и болотном месте. Дворов около двадцати, стесненных один подле другого, огорожены иссохшими плетнями и покрыты от одного конца до другого сплошь соломою. Какая несчастная жертва, жестокости пламени посвященная нерадивостию их господина! Избы, или, лучше сказать, бедные развалившиеся хижины, представляют взору путешественника оставленное человеками селение. Улица покрыта грязью, тиною и всякою нечистотою, просыхающая только зимним временем. При въезде моем в сие обиталище плача я не видал ни одного человека. День тогда был жаркий; я ехал в открытой коляске; пыль и жар столько обеспокоивали меня дорогою, что я спешил войти в одну из сих развалившихся хижин, дабы несколько успокоиться. Извозчик мой остановился у ворот одного бедного дворишка, сказывая, что это был лучший во всей деревне; и что хозяин оного зажиточнее был всех прочих, потому что имел он корову. Мы стучались у ворот очень долго; но нам их не отпирали. Собака, на дворе привязанная, тихим и осиплым лаянием, казалось, давала знать, что ей оберегать было нечего. Извозчик вышел из терпения, перелез через ворота и отпер их. Коляска моя ввезена была на грязный двор, намощенный соломою: ежели оною намостить можно грязное и болотное место; а я вошел в избу растворенными настежь дверями. Заразительный дух от всякия нечистоты, чрезвычайный жар и жужжание бесчисленного множества мух оттуду меня выгоняли; а вопль трех оставленных младенцев удерживал в оной. Я спешил подать помощь сим несчастным

тварям. Пришед к лукошкам, прицепленным веревками к шестам, в которых лежали без всякого призрения оставленные младенцы, увидел я, что у одного упал сосок с молоком; я его поправил, и он успокоился. Другого нашел обернувшегося лицом к подущонке из самыя толстыя холстины, набитыя соломою; я тотчас его оборотил и увидел, что без скорыя помощи лишился бы он жизни: ибо он не только что посинел, но и, почернев, был уже в руках смерти; скоро и этот успокоился. Подошед к третьему, увидел, что он был распеленан: множество мух покрывали лицо сего робенка; солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и этому услугу, согнал всех мух, спеленал его другими, хотя нечистыми, но, однако ж, сухими пеленками, которые в избе тогда развешаны были; поправил солому, которую он, барахтаясь, ногами взбил: замолчал и этот. Смотря на сих младенцев и входя в бедность состояния сих людей, вскричал я:

— Жестокосердый тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги: приносит ли он о том жалобы? — Нет: он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? — Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопиял к человечеству, чтобы его не мучили. Кричите, бедные твари,— сказал я, проливая слезы,— произносите жалобы свои! наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь. О солнце, лучами щедрот своих *** озаряющее: призри на сих несчастных!

Оказав услугу человечеству, я спешил подать помощь себе: тяжкий запах в избе столь для меня был вреден, что я насилу мог выйти из оныя. Пришед ко своей коляске, упал я без чувства в оную. Приключившийся мне обморок был непродолжителен; я опомнился, спрашивал холодной воды: извозчик мой ее принес из колодезя; но я не мог пить ее по причине худого запаха. Я требовал чистой; но в ответ услышал, что во всей деревне лучше этой воды нет и что все крестьяне довольствуются сею пакостною водою.

— Помещики,— сказал я,— вы никакого не имеете попечения о сохранении здоровья своих кормильцев!

Я спрашивал, где хозяева того дома: извозчик ответствовал, что все крестьяне и крестьянки в поле; прибавя к тому, что когда был я в избе, то выходил он в то время в задние ворота посмотреть, не найдет ли там кого-нибудь из крестьян; что

нашел он там одного спрятавшегося мальчика, который ему сказал, что, увидев издалека пыль от моей коляски, подумали они, что это едет их барин, и для того от страха разбежались.

— Они скоро придут,— сказал извозчик,— я их уверил, что мы проезжие, что ты боярин добрый, что ты не дерешься и что ты пожалуешь им на лапти.

Вскоре после того пришли два мальчика и две девочки от пяти до семи лет. Они все были босиками, с раскрытыми грудями и в одних рубашках; и столь были дики и застращены именем барина, что боялись подойти к моей коляске. Извозчик их подвел, приговаривая:

— Не бойтесь, он вас не убьет; он боярин добрый: он пожалует вам на лапти.

Робятишки, подведены будучи близко к моей коляске, вдруг все побежали назад, крича:

— Ай! ай! ай! берите все, что есть, только не бейте нас!

Извозчик, схватя одного из них, спрашивал, чего они испужались. Мальчишка, трясучись от страха, говорил:

— Да! чего испужались... ты нас обманул... на этом барине красный кафтан... это никак наш барин... он нас засечет.

Вот плоды жестокости и страха: о вы, худые и жестокосердые господа! вы дожили до того несчастия, что подобные вам человеки боятся вас, как диких зверей!

— Не бойся, друг мой,— сказал я испуженному красным кафтаном мальчику,— я не ваш барин: подойди ко мне, я тебе дам денег.

Мальчик оставил страх, подошел ко мне, взял деньги, поклонился в ноги и, оборотясь, кричал другим:

— Ступайте сюда, робята! Это не наш барин; этот барин добрый: он дает деньги и не дерется!

Робятишки тотчас все ко мне прибежали: я дал каждому по нескольку денег и по пирожку, которые со мною были. Они все кричали:

— У меня деньги! у меня пирог!

Между тем солнце, совершив свое течение, погружалося в бездну вод, дневной жар переменялся в прохладность, птицы согласным своим пением начали воспевать приятность ночи, и сама природа призывала всех от трудов к покою. Между тем богачи, любимцы Плутовы, препроводя весь день в веселии и пированиях, к новым приготовлялися увеселениям. Люди праздные, скучающие драгоценностию времени, потеряв сей день

бесполезно, возвращались на ложе свое спокойными и радовались, что один день убавился из их века. Худой судья и негодный подьячий веселились, что в минувший день сделали прибыток своему карману и пролили новые источники невинных слез. Волокиты и щеголихи, препроводя весь день в нарядах, скакали на берег[1] для свиданья. Ревнивые супруги и любовники затворялись во своих покоях и проклинали вольное обхождение. Устарелые щеголихи воспаляли великое число восковых свеч и, устроя лицо свое различными хитростьми, торжествовали восхождение престарелыя луны, своея благотворительницы, которая бледным своим светом оживляла увядшие их прелести. Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь ко ближнему, приготовлялись обманывать и разорять богатых простячков всякими непозволенными способами. Другие игроки везли с собою в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Купец веселился, считая прибыток того дня, полученный им на совесть, и радовался, что на дешевый товар много получил барыша. Врач благодарил бога, что в этот день много было больных, и радовался, что отправленный им на тот свет покойник был весьма молчаливый человек. Стряпчий доволен был, что в минувший день умел разорить зажиточного человека и придумать новые плутовства для разорения других по законам. А крестьяне, мои хозяева, возвращалися с поля в пыли, в поте, измучены и радовалися, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много сработали.

Вошед на двор и увидев меня в коляске, все они поклонились в землю, а старший из них говорил:

— Не прогневайся, господин добрый, что нас никого не прилучилося дома. Мы все, родимый, были в поле: царь небесный дал нам вёдро, и мы торопимся убрать жниво, покуда дожжи не захватили. По сёсь день господень все-таки у нас, родимый, погода стоит добрая, и мы почти со всем господским хлебом управились; авось-таки милосливый спас подержит над нами свою руку и даст нам еще хорошую погоду, так мы и со своим хлебишком управимся! У нашего боярина такое, родимый, поверье, что как поспеет хлеб, так сперва всегда его боярский убираем; а с своим-то-де, *изволит баять,* вы и после уберетесь. Ну, а ты рассуди, кормилец, вить мы себе не лиходеи: мы бы и рады убрать, да как захватят дожжи, так хлеб-от

[1] Надобно думать, что это путешествие писано в то время, когда прогуливание по берегу было в моде.

наш и пропадает. Дай ему бог здоровье! Мы, кормилец, на бога надеемся: бог и государь до нас милосливы; а кабы да Григорий Терентьевич также нас миловал, так бы мы жили как в раю!

— Подите, друзья мои,— сказал я им,— отдыхайте: взавтра воскресенье, и вы, конечно, на работу не пойдете, так мы поговорим побольше.

— И! родимый! — сказал крестьянин,— как не работать в воскресенье! Помолясь богу, нешто же делать нам, как не за работу приниматься; кабы да по всем праздникам нашему брату гулять, так некогда бы и работать было! Вить мы, родимый, не господа, чтобы и нам гулять; полно того, что и они в праздничные дни по-пустому шатаются.

После чего крестьяне пошли, а я остался в коляске своей и, рассуждая о их состоянии, столь углубился в размышления, что не мог заснуть прежде двух часов пополуночи.

На другой день, поговоря с хозяином [1], я отправился в путь свой, горя нетерпеливостию увидеть жителей *Благополучныя* деревни: хозяин мой столько насказал мне доброго о помещике тоя деревни, что я наперед уже возымел к нему почтение и чувствовал удовольствие, что увижу крестьян благополучных.

Продолжение сего путешествия напечатано будет при новом издании сея книги.

Сие сатирическое сочинение под названием путешествия в *** получил я от г. И. Т. с прошением, чтобы оно помещено было в моих листах. Если бы это было в то время, когда умы наши и сердца заражены были французским народом, то не осмелился бы я читателя моего попотчевать с этого блюда; потому что оно приготовлено очень солоно и для нежных вкусов благородных невежд горьковато. Но ныне премудрость, седящая на престоле, истину покровительствует во всех деяниях. Итак, я надеюсь, что сие сочиненьице заслужит внимание людей, истину любящих. Впрочем, я уверяю моего читателя, что продолжение сего путешествия удовольствует его любопытство.

Конец II части

---

[1] Я не включил в сей листок разговор путешественника со крестьянином по некоторым причинам: благоразумный читатель и сам их отгадать может. Впрочем, я уверяю моего читателя, что сей разговор, конечно, бы заслужил его любопытство и показал бы ясно, что путешественник имел справедливые причины обвинять помещика Разорены деревни и подобных ему.

НЕДОРОСЛЬ

КОМЕДИЯ
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Простаков.
Г-жа Простакова, жена его.
Митрофан, сын их, недоросль.
Еремеевна, мама Митрофанова.
Правдин.
Стародум.
Софья, племянница Стародума.
Милон.
Скотинин, брат г-жи Простаковой.
Кутейкин, семинарист.
Цыфиркин, отставной сержант.
Вральман, учитель.
Тришка, портной.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.

Действие в деревне Простаковых.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Г-жа Простакова, Митрофан, Еремеевна.

Г-жа Простакова *(осматривая кафтан на Митрофане)*. Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку. *(Еремеевна отходит.)* Он, вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой! Я чаю, тебя жмет до смерти. Позови сюда отца.

Митрофан отходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Г-жа Простакова, Еремеевна, Тришка.

Г-жа Простакова *(Тришке)*. А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет; другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься?

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному.

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я нет.

Г-жа Простакова. Ища он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот.

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего.

Митрофан *(вбегает)*. Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься.

Митрофан. Да вот и батюшка.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Простаков.

Г-жа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством. Какова сыну обновка к дядину сговору? Каков кафтанец Тришка сшить изволил?

Простаков *(от робости запинаясь)*. Ме... мешковат немного.

Г-жа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.

Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.

Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?

Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.

Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградил меня господь: не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.

Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил и верю.

Г-жа Простакова. Так верь же и тому, что я холопям потакать не намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи...

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Кого? За что? В день моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева; а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж ты так прогневалась?

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?

Скотинин. Нет.

Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.

Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изряднехонько.

Г-жа Простакова *(Тришке)*. Выйди вон, скот. *(Еремеевне.)* Поди ж, Еремеевна, дай позавтракать робенку. Вить, я чаю, скоро и учители придут.

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.

Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь смотреть.

Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я вить сказала это для Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра.

Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?

Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.

Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно.

Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть.

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил.

Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю така дрянь в глаза лезла.

Г-жа Простакова. Какая же дрянь, Митрофанушка?

Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.

Г-жа Простакова. Как же это?

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку.

Простаков *(в сторону)*. Ну, беда моя! Сон в руку!

Митрофан *(разнежась)*. Так мне и жаль стало.

Г-жа Простакова *(с досадою)*. Кого, Митрофанушка?

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.

Г-жа Простакова. Обоймы меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое утешение.

Скотинин. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!

Простаков. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя и от радости сам истинно не верю, что он мой сын.

Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь.

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?

Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню, так авось-либо...

Г-жа Простакова. Так авось-либо господь милостив. Поди, порезвись, Митрофанушка.

Митрофан с Ерсмеевною отходят.

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин.

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж?

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако я ей свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали.

Простаков *(Скотинину)*. Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущею сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...

Г-жа Простакова *(показывая, будто крестит сердце)*. С нами сила крестная.

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим.

Г-жа Простакова. Что, что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Ища братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли.

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил

челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду.

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакова. Хотя бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не умеем. С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь женните меня на Софьюшке.

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.

Простаков. Так по соседству ее деревеньки?

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится и до чего моя смертная охота.

Г-жа Простакова. До чего же, братец?

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости.

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство; да отчего же я к свиньям-то так сильно пристрастился?

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство, я так рассуждаю.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Софья.

Софья вошла, держа письмо в руке и имея веселый вид.

Г-жа Простакова *(Софье)*. Что так весела, матушка? Чему обрадовалась?

Софья. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила.

Г-жа Простакова *(испугавшись, с злобою)*. Как! Стародум, твой дядюшка, жив! И ты изволишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный вымысел!

Софья. Да он никогда не умирал.

Г-жа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы, чтоб дядюшкою своим нас застращать, чтоб мы дали тебе волю. Дядюшка-де человек умный; он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня; однако, пожалуй, не очень веселись: дядюшка твой, конечно, не воскресал.

Скотинин. Сестра, ну да коли он не умирал?

Простаков. Избави боже, коли он не умирал!

Г-жа Простакова *(к мужу)*. Как не умирал! Что ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто-таки и грешные-то мои молитвы не доходили! *(К Софье.)* Письмецо-то мне пожалуй. *(Почти вырывает.)* Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться и за которого ты сама идти хотела. Да которая бестия без моего спросу отдает тебе письма! Я доберусь. Вот до чего дожили. К деушкам письма пишут! деушки грамоте умеют!

Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может.

Г-жа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. *(К мужу.)* Читай.

Простаков *(долго смотря)*. Мудрено.

Г-жа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Братец, прочти, потрудись.

Скотинин. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой скуки.

Софья. Позвольте мне прочесть.

Г-жа Простакова. О матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю...

Скотинин. А уж зачали молодца учить грамоте?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка братец! Уж года четыре, как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант, Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Вить от нас и город в трех

верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно — лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны, батюшка братец. Он робенка не неволит. Вить, мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота́ его и понежить; а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу, всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец. Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лежа, летят себе в чины. Чем же плоше их Митрофанушка? Ба! да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Правдин.

Г-жа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам дорогого гостя нашего, господина Правдина; а вам, государь мой, рекомендую брата моего.

Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.

Скотинин. Хорошо, государь мой! А как по фамилии, я не дослышал.

Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали.

Скотинин. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки?

Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве.

Скотинин. А смею ли спросить, государь мой,— имени и отчества не знаю,— в деревеньках ваших водятся ли свинки?

Г-жа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. *(К Правдину.)* Вот, батюшка! Бог велел нам взять на свои руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух.

Правдин. Извините меня, сударыня. Я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны.

Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.

Правдин. Если вы приказываете. *(Читает.)* «Любезная племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет

в разлуке с моими ближними; а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известии. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощию счастия, нажил я десять тысяч рублей доходу...»

Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч!

Правдин *(читает)*. «...которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею...»

Г-жа Простакова. Тебя наследницею!
Простаков. Софью наследницею!
Скотинин. Ее наследницею!
} Вместе.

Г-жа Простакова *(бросаясь обнимать Софью)*. Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя! Я вне себя от радости! Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! То-то отец родной! Я и сама все-таки думала, что бог его хранит, что он еще здравствует.

Скотинин *(протянув руку)*. Ну, сестрица, скоряй же по рукам.

Г-жа Простакова *(тихо Скотинину)*. Постой, братец. Сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя вытти?

Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей докладываться станешь?

Правдин. Позволите ли письмо дочитать?

Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься.

Г-жа Простакова *(к Софье)*. Софьюшка, душа моя! пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. *(Увела Софью.)*

Скотинин. Ба! так я вижу, что сегодня сговору-то вряд и быть ли.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Правдин, Простаков, Скотинин, слуга.

Слуга *(к Простакову, запыхавшись)*. Барин! барин! солдаты пришли, остановились в нашей деревне.

Простаков. Какая беда! Ну, разорят нас до конца!

Правдин. Чего вы испугались?

Простаков. Ах ты, отец родной! Мы уже видали виды. Я к ним и появиться не смею.

Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно.

Правдин, Простаков и слуга отходят.

Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Правдин, Милон.

Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобою! Скажи, каким случаем...

Правдин. Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь образ мыслей нашего наместника. С какою ревностию помогает он страждующему человечеству! С каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти! Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в Учреждении, там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже три дни. Нашел помещика дурака бессчетного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг, скажи мне, долго ль здесь останесся?

Милон. Через несколько часов иду отсюда.

Правдин. Что так скоро? Отдохни.

Милон. Не могу. Мне велено и солдат вести без промедления... да, сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве.

Правдин. Что причиною?

Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен и имею счастие быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что

еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто, приписывая молчание ее холодности, терзался я горестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю: ни кто, ни куда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя.

Правдин. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника и не сумневаюсь, что унять их возьмутся меры.

Милон. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении.

Правдин. Позволь мне спросить об ее имени.

Милон *(в восторге)*. А! вот она сама.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Софья.

Софья *(в восхищении)*. Милон! тебя ли я вижу?

Правдин. Какое счастие!

Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. Любезная Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?

Софья. Сколько горестей терпела я со дня нашей разлуки! Бессовестные мои свойственники...

Правдин. Мой друг! не спрашивай о том, что столько ей прискорбно... Ты узнаешь от меня, какие грубости...

Милон. Недостойные люди!

Софья. Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мною свой поступок. Услыша, что дядюшка мой делает меня наследницею, вдруг из грубой и бранчивой сделалась ласковою до самой низкости, и я по всем ее обинякам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну.

Милон *(с нетерпением)*. И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения?..

Софья. Нет...

Милон. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обязательства, что...

Софья. Нет...

Милон. А! теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив! Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он, может быть, разумен, просвещен, любезен; но чтоб мог со мною сравниться в моей к тебе любви, чтоб...

Софья *(усмехаясь)*. Боже мой! Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности!

Милон *(с негодованием)*. Я воображаю все его достоинствы.

Софья. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет.

Правдин. Как дале не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов; а там, думать надобно, примутся и за псалтирь.

Милон. Как! Таков-то мой соперник? А, любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением.

Софья. Подумай же, как несчастно мое состояние! Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно. Чтоб избавиться от их грубости, чтоб иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство.

Милон. Что ж ты ей отвечала?

Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто его не видит.

Софья. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого *(к Правдину)* не позволил вам дочитать господин Скотинин.

Милон. Скотинин!

Скотинин. Я!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Скотинин.

Правдин. Как вы подкрались, господин Скотинин! Этого бы я от вас и не чаял.

Скотинин. Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такой обычай: кто вскрикнет — Скотинин! А я ему: я! Что вы, братцы, и заправду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезжей в перекличке как закричат: Тарас Скотинин! А я во все горло: я!

Правдин. Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти, куда шли.

Скотинин. Я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У меня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и засело. О том вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне.

Правдин. Что ж бы вас так теперь занимало?

Скотинин. Ох, братец, друг ты мой сердешный! Со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою, а коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу пред целым светом по чистой совести сказать: ездил я ни по что, привез ничего.

Правдин. Какая жалость, господин Скотинин! Сестрица ваша играет вами, как мячиком.

Скотинин *(озлобясь)*. Как мячиком? Оборони бог! Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не отыщут.

Софья. Ах, как вы рассердились!

Милон. Что с вами сделалось?

Скотинин. Сам ты, умный человек, порассуди. Привезла меня сестра сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом: «Что-де тебе, братец, в жене; была бы-де у тебя, братец, хорошая свинья». Нет, сестра! Я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь.

Правдин. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей.

Скотинин. Эка притча! Я другому не помеха. Всякий женись на своей невесте. Я чужу не трону, и мою чужой не тронь же. *(Софье.)* Ты не бось, душенька. Тебя у меня никто не перебьет.

Софья. Это что значит? Вот еще новое!

Милон *(вскричал)*. Какая дерзость!

Скотинин *(к Софье)*. Чего ж ты испугалась?

Правдин *(к Милону)*. Как ты можешь осердиться на Скотинина!

Софья *(Скотинину)*. Неужели суждено мне быть вашею женою?

Милон. Я насилу могу удержаться!

Скотинин. Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал; да я на них всех свиней со бела

света выкуплю; да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям.

Правдин. Когда же у вас могут быть счастливы одни только скоты, то жене вашей от них и от вас будет худой покой.

Скотинин. Худой покой! ба! ба! ба! да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный! коли у меня теперь, ничего не видя, для каждой свинки клевок особливый, то жене найду светелку.

Милон. Какое скотское сравнение!

Правдин *(Скотинину)*. Ничему не бывать, господин Скотинин! Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего.

Скотинин. Как! Племяннику перебивать у дяди! Да я его на первой встрече, как черта, изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, Еремеевна и Митрофан.

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко.

Митрофан. Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему.

Скотинин. Подойди сюда, дружочек.

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке.

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил?

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее.

Еремеевна. Погляди, батюшка.

Митрофан *(Еремеевне)*. Да дядюшка что за невидальщина? Что на нем увидишь?

Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее.

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить.

Скотинин и Митрофан, выпуча глаза, друг на друга смотрят.

Милон. Вот изрядное объяснение!

Правдин. Чем-то оно кончится?

Скотинин. Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду; если б я греха не побоялся, я бы те, не

говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого.

Еремеевна *(задрожала)*. Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться?

Митрофан. Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил.

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, чтоб напрасных побой не принять.

Еремеевна. Избави бог напраслины!

Скотинин. Хочешь ли ты жениться?

Митрофан *(разнежась)*. Уж давно, дядюшка, берет охота...

Скотинин *(бросаясь на Митрофана)*. Ох ты чушка проклятая!..

Правдин *(не допуская Скотинина)*. Господин Скотинин! Рукам воли не давай.

Митрофан. Мамушка, заслони меня!

Еремеевна *(заслоня Митрофана, остервенясь и подняв кулаки)*. Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю.

Скотинин *(задрожав и грозя, отходит)*. Я вас доеду!

Еремеевна *(задрожав, вслед)*. У меня и свои зацепы востры!

Митрофан *(вслед Скотинину)*. Убирайся, дядюшка, проваливай!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и оба Простаковы.

Г-жа Простакова *(мужу, идучи)*. Тут перевирать нечего. Весь век, сударь, ходишь развеся уши.

Простаков. Да он сам с Правдиным из глаз у меня сгиб да пропал. Я чем виноват?

Г-жа Простакова *(к Милону)*. А, мой батюшка! Господин офицер! Я вас теперь искала по всей деревне; мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду.

Милон. За что, сударыня?

Г-жа Простакова. Как за что, мой батюшка! Солдаты такие добрые. До сих пор волоска никто не тронул. Не прогне-

вайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохлею родился, мой батюшка.

Милон. Я нимало не пеняю, сударыня.

Г-жа Простакова. На него, мой батюшка, находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпуча глаза, стоит битый час как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала; чего только он у меня не вытерпел! Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет, мой батюшка, такую дичь, что у бога просишь опять столбняка.

Правдин. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирен...

Г-жа Простакова. Как теленок, мой батюшка; оттого-то у нас в доме все и избаловано. Вить у него нет того смыслу, чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка!

Правдин *(в сторону)*. Скоро будет он держаться иным образом.

Митрофан. И сегодни матушка все утро изволила провозиться с холопями.

Г-жа Простакова *(к Софье)*. Убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм, а такой-де преразумный, да коли-де кого уж и полюбит, так прямо полюбит.

Правдин. А кого он невзлюбит, тот дурной человек. *(К Софье.)* Я и сам имею честь знать вашего дядюшку. А сверх того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отроду язык его не говорил *да,* когда душа его чувствовала *нет*.

Софья. Зато и счастье свое должен он был доставать трудами.

Г-жа Простакова. Милость божия к нам, что удалось. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя! не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты?

Софья отходит.

Г-жа Простакова *(к Простакову)*. Опять зазевался, мой батюшка; да изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись.

Простаков *(отходя)*. Не отнялись, да подкосились.

Г-жа Простакова *(к гостям)*. Одна моя забота, одна моя отрада — Митрофанушка. Мой век проходит. Его готовлю в люди.

Здесь появляются Кутейкин с часословом, а Цыфиркин с аспидной доскою и грифелем. Оба они знаками спрашивают Еремеевну: входить ли? Она их манит, а Митрофан отмахивает.

Г-жа Простакова *(не видя их, продолжает)*. Авось-либо господь милостив, и счастье на роду ему написано.

Правдин. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается?

Г-жа Простакова. А! Это, батюшка, Митрофанушкины учители, Сидорыч Кутейкин...

Еремеевна. И Пафнутьич Цыфиркин.

Митрофан *(в сторону)*. Пострел их побери и с Еремеевной.

Кутейкин. Дому владыке мир и многая лета с чады и домочадцы.

Цыфиркин. Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать, да еще пятнадцать. Несчетны годы.

Милон. Ба! Это наш брат служивый! Откуда взялся, друг мой?

Цыфиркин. Был гарнизонный, ваше благородие! А ныне пошел в чистую.

Милон. Чем же ты питаешься?

Цыфиркин. Да кое-как, ваше благородие! Малу толику арихметике маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей у счетных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над ломаными бьемся, да что-то плохо клеятся; ну, и то правда, человек на человека не приходит.

Г-жа Простакова. Что? Что ты это, Пафнутьич, врешь? Я не вслушалась.

Цыфиркин. Так. Я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете.

Правдин *(к Кутейкину)*. А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли?

Кутейкин. Из ученых, ваше высокородие! Семинарии здешния епархии. Ходил до риторики, да богу изволившу,

назад воротился. Подавал в консисторию челобитье, в котором прописал: «Такой-то де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: «Такого-то де семинариста от всякого учения уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами».

Г-жа Простакова. Да где наш Адам Адамыч?

Еремеевна. Я и к нему было толкнулась, да насилу унесла ноги. Дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, табачищем. Такой греховодник.

Кутейкин. Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении табака.

Правдин *(в сторону)*. Кутейкин еще и умничает!

Кутейкин. Во многих книгах разрешается: во псалтире именно напечатано: «И злак на службу человеком».

Правдин. Ну, а еще где?

Кутейкин. И в другой псалтире напечатано то же. У нашего протопопа маленька в осьмушку, и в той то же.

Правдин *(к г-же Простаковой)*. Я не хочу мешать упражнениям сына вашего; слуга покорный.

Милон. Ни я, сударыня.

Г-жа Простакова. Куда ж вы, государи мои?..

Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют.

Г-жа Простакова. А кушать где изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья, с Софьюшкой...

Милон. С вами, с вами, сударыня.

Правдин. Мы оба эту честь иметь будем.

ЯВЛЕНИЕ VI

Г-жа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин и Цыфиркин.

Г-жа Простакова. Ну, так теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка.

Митрофан. Да, зады, как не так.

Г-жа Простакова. Век живи, век учись, друг мой сердешный! Такое дело.

Митрофан. Как не такое! Пойдет на ум ученье. Ты б еще навезла сюда дядюшек!

Г-жа Простакова. Что? Что такое?

Митрофан. Да! того и смотри, что от дядюшки таска; а там с его кулаков да за часослов. Нет, так я, спасибо, уж один конец с собою!

Г-жа Простакова *(испугавшись)*. Что, что ты хочешь делать? Опомнись, душенька!

Митрофан. Вить здесь и река близко. Нырну, так поминай как звали.

Г-жа Простакова *(вне себя)*. Уморил! Уморил! Бог с тобой!

Еремеевна. Все дядюшка напугал. Чуть было в волоски ему не вцепился. А ни за что... ни про что...

Г-жа Простакова *(в злобе)*. Ну...

Еремеевна. Пристал к нему: хочешь ли жениться?..

Г-жа Простакова. Ну...

Еремеевна. Дитя не потаил, уж давно-де, дядюшка, охота берет. Как он остервенится, моя матушка, как вскинется!..

Г-жа Простакова *(дрожа)*. Ну... а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши...

Еремеевна. Приняла было! Ох, приняла, да...

Г-жа Простакова. Да... да что... не твое дитя, бестия! По тебе робенка хоть убей до смерти.

Еремеевна. Ах, создатель, спаси и помилуй! Да кабы братец в ту же минуту отойти не изволил, то б я с ним поломалась. Вот что б бог не поставил. Притупились бы эти *(указывая на ногти)*, я б и клыков беречь не стала.

Г-жа Простакова. Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле...

Еремеевна *(заплакав)*. Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь... рада бы не токмо что... живота не жалеешь... а все не угодно.

Кутейкин. Нам восвояси повелите?
Цыфиркин. Нам куда поход, ваше благородие? } Вместе.

Г-жа Простакова. Ты ж еще, старая ведьма, и разревелась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда. *(К Митрофану.)* Пойдем со мною, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе нещечко, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря бога, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек. *(К Еремеевне.)* С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что мама и что мать родная. *(Отходит с Митрофаном.)*

Кутейкин. Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку...

Цыфиркин. А там другую, вот те и умноженье.

Еремеевна *(в слезах)*. Нелегкая меня не приберет! Сорок лет служу, а милость все та же...

Кутейкин. А велика ль благостыня?

Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день.

Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки.

Цыфиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год.

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Стародум и Правдин.

Правдин. Лишь только из-за стола встали, и я, подошед к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. Мое к вам душевное почтение...

Стародум. Оно мне драгоценно. Поверь мне.

Правдин. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких...

Стародум. Каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чины — перестает искренность.

Правдин. Ваше обхождение...

Стародум. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался *ты*, а не *вы*. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого...

Правдин. А я слышал, что он в военной службе...

Стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голову.

Правдин. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах...

Стародум. В одном. Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знании мода, как на пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа...

Стародум. Без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь. *(С чувством.)* Невежда без души — зверь. Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у него нет. От таких-то животных пришел я свободить...

Правдин. Вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пойдем...

Стародум. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило: в первом движении ничего не начинать.

Правдин. Редкие правило ваше наблюдать умеют.

Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие служить долее отечеству.

Правдин. Каким же образом? Происшествии с человеком ваших качеств никому равнодушны быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете...

Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтоб другие в подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостию. «Любезный граф! вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: «Счастливый тебе путь,— сказал мне,— а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться». Ни с чем нельзя сравнить презрения, которое ощутил я к нему в ту ж минуту. Тут увидел я, что между

людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся премелкие души и что с великим просвещением можно быть великому скареду.

Правдин. Сущая истина.

Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я, я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?

Стародум. Надлежало образумиться. Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожалованну.

Правдин. Но разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком уже случае?

Стародум. В одном только: когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А! тогда поди.

Правдин. Вы даете чувствовать истинное существо должности дворянина.

Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?

Стародум. Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь?

Правдин. Как же вам эта сторона показалась?

Стародум. Любопытна. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее.

Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога?

Стародум. А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи.

Правдин. Так поэтому тут самолюбие...

Стародум. Тут не самолюбие, а, так называть, себялюбие. Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству...

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних.

Правдин. Вас, конечно, у двора не узнали?

Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хлопот, а то бы выжили ж меня одним из двух манеров.

Правдин. Каких?

Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манерами. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? *(Открывает свою табакерку.)*

Стародум *(берет у Правдина табак)*. Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублев. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублев целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою честь, мои правилы.

Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно.

Стародум. Призывать? А зачем?

Правдин. Затем, зачем к больным врача призывают.

Стародум. Мой друг! Ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Софья.

Софья *(к Правдину)*. Сил моих не стало от их шуму.

Стародум *(в сторону)*. Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья.

Софья *(смотрит на Стародума)*. Боже мой! Он меня назвал. Сердце мое меня не обманывает...

Стародум *(обняв ее)*. Нет. Ты дочь моей сестры, дочь сердца моего!

Софья *(бросаясь в его объятия)*. Дядюшка! Я вне себя с радости.

Стародум. Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет. Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой довольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как если случалось из рук вырвать добычь от порока.

Правдин. Сколь приятно быть тому и свидетелем!

Софья. Дядюшка! ваши ко мне милости...

Стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечении твое счастье. Пошед в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучась с твоей матерью и с тобою.

Софья. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно.

Стародум *(к Правдину)*. Чтобы оградить ее жизнь от недостатку в нужном, решился я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей, лицеприятия не знает, а платит одни труды верно и щедро.

Правдин. Вы могли б обогатиться, как я слышал, несравненно больше.

Стародум. А на что?

Правдин. Чтоб быть богату, как другие.

Стародум. Богату! А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой! Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь.

Софья. Дядюшка! Какую правду вы говорите!

Стародум. Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве не остановляла нас бедность жениха достойного.

Софья. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.

Правдин. Но, выдав ее, не лишнее было бы оставить и детям...

Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? В голове нет. Умны будут — без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да с свинцовой головою. Нет, мой друг! Наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — все болван.

Правдин. Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам, чины обыкновенно к знатности, а знатным оказывается почтение.

Стародум. Почтение! Одно почтение должно быть лестно человеку — душевное; а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам.

Правдин. Заключение ваше неоспоримо.

Стародум. Ба! Это что за шум!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, г-жа Простакова, Скотинин, Милон. Милон разнимает г-жу Простакову со Скотининым.

Г-жа Простакова. Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи...

Милон. Не пущу, сударыня. Не прогневайся!

Скотинин *(в запальчивости, оправляя парик)*. Отвяжись, сестра! Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь.

Милон *(г-же Простаковой)*. И вы забыли, что он вам брат!

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! Сердце взяло, дай додраться!

Милон *(Скотинину)*. Разве она вам не сестра?

Скотинин. Что греха таить, одного помету, да вишь как развизжалась.

Стародум *(не могши удержаться от смеха, к Правдину)*. Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет.

Г-жа Простакова. Кого-то, над кем-то? Это что за выезжий?

Стародум. Не прогневайся, сударыня. Я на роду ничего смешнее не видывал.

Скотинин *(держась за шею)*. Кому смех, а мне и полсмеха нет.

Милон. Да не ушибла ль она вас?

Скотинин. Перед-от заслонял обеими, так вцепилась в заплеину...

Правдин. И больно?..

Скотинин. Загривок немного пронозила.

В следующую речь г-жи Простаковой Софья сказывает взорами Милону, что перед ним Стародум. Милон ее понимает.

Г-жа Простакова. Пронозила!.. Нет, братец, ты должен образ выменить господина офицера; а кабы не он, то б ты от меня не заслонился. За сына вступлюсь. Не спущу отцу родному. *(Стародуму.)* Это, сударь, ничего и не смешно. Не прогневайся. У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала? Изволил пожаловать неведомо к кому, неведомо кто.

Стародум *(указывая на Софью)*. Приехал к ней, ее дядя, Стародум.

Г-жа Простакова *(обробев и иструсясь)*. Как! Это ты! Ты, батюшка! Гость наш бесценный! Ах я дура бессчетная! Да так ли бы надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе. Батюшка! Прости меня. Я дура. Образумиться не могу. Где муж? Где сын? Как в пустой дом приехал! Наказание божие! Все обезумели. Девка! Девка! Палашка! Девка!

Скотинин *(в сторону)*. Тот-то, он-то, дядюшка-то!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Еремеевна.

Еремеевна. Чего изволишь?

Г-жа Простакова. А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, и служанок нет? Палашка где?

Еремеевна. Захворала, матушка, лежит с утра.

Г-жа Простакова. Лежит! Ах она бестия! Лежит! Как будто благородная!

Еремеевна. Такой жар рознял, матушка, без умолку бредит...

Г-жа Простакова. Бредит, бестия! Как будто благородная! Зови же ты мужа, сына. Скажи им, что, по милости божией, дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки; что второй наш родитель к нам теперь пожаловал, по милости божией. Ну, беги, переваливайся!

Стародум. К чему так суетиться, сударыня? По милости божией, я ваш не родитель; по милости же божией, я вам и незнаком.

Г-жа Простакова. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял; да дай хотя обнять тебя хорошенько, благодетель наш!..

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, Простаков, Митрофан и Еремеевна.

В следующую речь Стародума Простаков с сыном, вышедшие из средней двери, стали позади Стародума. Отец готов его обнять, как скоро дойдет очередь, а сын подойти к руке. Еремеевна взяла место в стороне и, сложа руки, стала как вкопанная, выпяля глаза на Стародума, с рабским подобострастием.

Стародум *(обнимая неохотно г-жу Простакову)*. Милость совсем лишняя, сударыня! Без нее мог бы я весьма легко обойтиться. *(Вырвавшись из рук ее, обертывается на другую сторону, где Скотинин, стоящий уже с распростертыми руками, тотчас его схватывает.)* Это к кому я попался?

Скотинин. Это я, сестрин брат.

Стародум *(увидя еще двух, с нетерпением)*. А это кто еще?

Простаков *(обнимая)*. Я женин муж.
Митрофан *(ловя руку)*. А я матушкин сынок. } Вместе.

Милон *(Правдину)*. Теперь я не представлюсь.

Правдин *(Милону)*. Я найду случай представить тебя после.

Стародум *(не давая руки Митрофану)*. Этот ловит целовать руку. Видно, что готовят в него большую душу.

Г-жа Простакова. Говори, Митрофанушка. Как-де, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.

Митрофан. Как не целовать, дядюшка, твоей ручки. Ты мой отец... *(К матери.)* Который бишь?

Г-жа Простакова. Второй.

Митрофан. Второй? Второй отец, дядюшка.

Стародум. Я, сударь, тебе ни отец, ни дядюшка.

Г-жа Простакова. Батюшка, вить робенок, может быть, свое счастье прорекает: авось-либо сподобит бог быть ему и впрямь твоим племянничком.

Скотинин. Право! А я чем не племянник? Ай, сестра!

Г-жа Простакова. Я, братец, с тобою лаяться не стану. *(К Стародуму.)* Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, себе на уме, бог тому заплатит, кто меня, бедную, обижает.

Стародум. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из дверей показалась.

Правдин. А я уже три дни свидетелем ее добронравия.

Стародум. Этой забавы я так долго иметь не могу. Софьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву.

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! За что такой гнев?

Простаков. За что немилость?

Г-жа Простакова. Как! Нам расстаться с Софьюшкой! С сердечным нашим другом! Я с одной тоски хлеба отстану.

Простаков. А я уже тут сгиб да пропал.

Стародум. О! Когда же вы так ее любите, то должен я вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихи ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам.

Г-жа Простакова. Ах, уморил!

Милон. Что я слышу!

Софья кажется пораженною.

Скотинин. Вот те раз!

Простаков всплеснул руками.

Митрофан. Вот тебе на!

Еремеевна печально кивнула головою.
Правдин показывает вид огорченного удивления.

} Все вместе.

Стародум *(приметя всех смятение)*. Что это значит? *(К Софье.)* Софьюшка, друг мой, и ты мне кажешься в смущении? Неужель мое намерение тебя огорчило? Я заступаю место отца твоего. Поверь мне, что я знаю его права. Они нейдут далее, как отвращать несчастную склонность дочери, а выбор достойного человека зависит совершенно от ее сердца. Будь спокойна, друг мой! Твой муж, тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь.

Все принимают веселый вид.

Софья. Дядюшка! Не сумневайтесь в моем повиновении.

Милон *(в сторону)*. Почтенный человек!

Г-жа Простакова *(с веселым видом)*. Вот отец! Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой...

Скотинин. Из ребят давно уж вышел...

Г-жа Простакова. У кого достаточек, хоть и небольшой...

Скотинин. Да свиной завод не плох...

Г-жа Простакова. Так и в добрый час в архангельский.

Скотинин. Так веселым пирком, ды за свадебку.

} Вместе.

Стародум. Советы ваши беспристрастны. Я это вижу.

Скотинин. То ль еще увидишь, как опознаешь меня покороче. Вишь ты, здесь содомно. Через час место приду к тебе один. Тут дело и сладим. Скажу, не похвалясь: каков я, право, таких мало. *(Отходит.)*

Стародум. Это всего вероятнее.

Г-жа Простакова. Ты, мой батюшка, не диви на братца...

Стародум. А он ваш братец?

Г-жа Простакова. Родной, батюшка. Вить и я по отце Скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей, было с них восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем, все, по власти господней, примерли. Иных из бани мертвых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлика, скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились; а достальные сами не стояли, батюшка.

Стародум. Вижу, каковы были и родители ваши.

Г-жа Простакова. Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. К статью ли, покойник-свет и руками и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет.

Правдин. Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете.

Г-жа Простакова *(к Правдину)*. Да ныне век другой, батюшка! *(К Стародуму.)* Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книги не встает по суткам. Материно мое сердце. Иное жаль, жаль, да подумаешь: зато будет и детина хоть куда. Вить вот уж ему, батюшка, шестнадцать лет исполнится около зимнего Николы. Жених хоть кому, а все-таки учители ходят, часа не теряет, и теперь двое в сенях дожидаются. *(Мигнула Еремеевне, чтоб их позвать.)* В Москве же приняли иноземца на пять лет и, чтоб другие не сманили, контракт в полиции заявили. Подрядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам умеешь. Мы весь родительский долг исполнили, немца приняли и деньги по третям наперед ему платим. Желала б я душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил.

Стародум. Я худой тому судья, сударыня.

Г-жа Простакова *(увидя Кутейкина и Цыфиркина)*. Вот и учители! Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покою не имеет. Свое дитя хвалить дурно, а куда не бессчастна будет та, которую приведет бог быть его женою.

Правдин. Это все хорошо; не забудьте, однако ж, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына.

Стародум. Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от дороги и от всего того, что слышал и что видел.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Все готово. Сама для тебя комнату убирала.

Стародум. Благодарен. Софьюшка, проводи же меня.

Г-жа Простакова. А мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельце наше сладить.

Стародум *(к Правдину)*. Когда же мы увидимся? Отдохнув, я сюда приду.

Правдин. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть.

Стародум. Рад душою. *(Увидя Милона, который ему с почтением поклонился, откланивается и ему учтиво.)*

Г-жа Простакова. Так милости просим.

Кроме учителей, все отходят. Правдин с Милоном в сторону, а прочие в другую.

ЯВЛЕНИЕ VI

Кутейкин и Цыфиркин.

Кутейкин. Что за бесовщина! С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет.

Цыфиркин. А наш брат и век так живет. Дела не делай, от дела не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят плохо, как сегодни к здешнему обеду провианту не стало...

Кутейкин. Да кабы не умудрил и меня владыко, шедши сюда, забрести на перепутье к нашей просвирне, взалках бы, яко пес ко вечеру.

Цыфиркин. Здешни господа добры командеры!..

Кутейкин. Слыхал ли ты, братец, каково житье-то здешним челядинцам; даром что ты служивый, бывал на баталиях, страх и трепет приидет на тя...

Цыфиркин. Вот на! Слыхал ли? Я сам видал здесь беглый огонь в сутки сряду часа по три. *(Вздохнув.)* Охти мне! Грусть берет.

Кутейкин *(вздохнув)*. О, горе мне грешному!

Цыфиркин. О чем взохнул, Сидорыч?

Кутейкин. И в тебе смятеся сердце твое, Пафнутьевич?

Цыфиркин. За неволю призадумаешься... Дал мне бог ученичка, боярского сынка. Бьюсь с ним третий год: трех перечесть не умеет.

Кутейкин. Так у нас одна кручина. Четвертый год мучу свой живот. По сесть час, кроме задов, новой строки не разберет; да и зады мямлит, прости господи, без складу по складам, без толку по толкам.

Цыфиркин. А кто виноват? Лишь он грифель в руки, а немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня ради в толчки.

Кутейкин. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басурман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее.

Цыфиркин *(с жаром)*. Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски.

Кутейкин. Меня хоть теперь шелепами, лишь бы выю грешничу путем накостылять.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, г-жа Простакова и Митрофан.

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! А там что?

Г-жа Простакова. А там и женися.

Митрофан. Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб сегодни ж быть сговору.

Г-жа Простакова. Придет час воли божией!

Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.

Цыфиркин очинивает грифель.

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было б куды класть.

иа вижу что Бодро ступаешь
а своею Харею люде пужаешь
Толко на тебе убо хорошь
а Харею весма непригоже
Хоша и невелика въ зростѣ
и Сама ѡсебе весма сумнѣвоюся
Аще кто насъ увидитъ дивится всякъ
Однако пребываю всегда вуборствѣ
а на твою персону зря усмѣхаюся
Что мы поступаемъ бодро такъ

Карлица.

Офорт. Лубок.
Середина XVIII в.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонна крыса! Задавай, что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие завсегда без дела лаяться изволите.

Г-жа Простакова *(работая)*. Ах, господи боже мой! Уж робенок не смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, ветер носит.

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.

Цыфиркин. Всё зады, ваше благородие. Вить с задами-то век назади останесся.

Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и боже избави!

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли мы трое...

Митрофан *(пишет)*. Трое.

Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублев.

Митрофан *(пишет)*. Триста.

Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?

Митрофан *(вычисляя, шепчет)*. Единожды три — три. Единожды ноль — ноль. Единожды ноль — ноль.

Г-жа Простакова. Что, что до дележа?

Митрофан. Вишь, триста рублев, что нашли, троим разделить.

Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.

Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.

Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год десять рублев.

Митрофан. Десять.

Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и еще прибавить десять.

Митрофан *(пишет)*. Ну, ну, десять.

Цыфиркин. Сколько ж бы на год?

Митрофан *(вычисляя, шепчет)*. Нуль да нуль — нуль. Один да один... *(Задумался.)*

Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Денег нет — что считать? Деньги есть — сочтем и без Пафнутьича хорошохонько.

Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Вить на поверку приводить не станут.

Митрофан. Не бось, брат. Матушка тут сама не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее.

Кутейкин *(открывает часослов, Митрофан берет указку)*. Начнем благословясь. За мною, со вниманием. «Аз же есмь червь...»

Митрофан. «Аз же есмь червь...»

Кутейкин. Червь, сиречь животина, скот. Сиречь: «аз есмь скот».

Митрофан. «Аз есмь скот».

Кутейкин *(учебным голосом)*. «А не человек».

Митрофан *(так же)*. «А не человек».

Кутейкин. «Поношение человеков».

Митрофан. «Поношение человеков».

Кутейкин. «И уни...»

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Вральман.

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит хатят репенка! Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей утропой, катора тефять месесоф таскала,— так скасать, асмое тифа ф сфете. Тай фолю этим преклятым слатеям. Ис такой калафы толго ль палфан? Уш диспозисион [1], уж фсё есть.

Г-жа Простакова. Правда. Правда твоя, Адам Адамыч! Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань.

Митрофан. А по мне и подавно.

Кутейкин *(затворяя часослов)*. Конец и богу слава.

Вральман. Матушка мая! Што тепе надопно? Што? Сынок, какоф ест, да тал бог старовье, или сынок премудрый, так скасать, Аристотелис, да в могилу.

Г-жа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамыч! Он же и так вчера небрежно поужинал.

---

[1] предрасположение (от *франц.* disposition).— *Ред.*

Врaльман. Рассути ж, мать мая, напил прюхо лишне: педа. А фить калоушка-то у нефо караздо слапе прюха; напить ее лишне да и захрани поже!

Г-жа Простакова. Правда твоя, Адам Адамыч; да что ты станешь делать? Робенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург; скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много. Их-то я боюсь.

Врaльман. Чефо паяться, мая матушка? Расумнай шеловек никахта ефо не сатерет, никахта з ним не саспорит; а он с умными лютьми не сфясыфайся, так и пудет плаготенствие пожие!

Г-жа Простакова. Вот как надобно тебе на свете жить, Митрофанушка!

Митрофан. Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник. Свой брат завсегда лучше.

Врaльман. Сфая кампания то ли тело!

Г-жа Простакова. Адам Адамыч! Да из кого ж ты ее выберешь?

Врaльман. Не крушинься, мая матушка, не крушинься; какоф тфой тражайший сын, таких на сфете миллионы, миллионы. Как ему не фыпрать сепе кампаний?

Г-жа Простакова. То даром, что мой сын. Малый острый, проворный.

Врaльман. То ли пы тело, капы не самарили ефо на ушенье! Россиска крамат! Арихметика! Ах, хоспоти поже мой, как туша ф теле остаёса! Как путто пы россиски тфорянин уш и не мог ф сфете аванзировать[1] пез россиской крамат!

Кутейкин *(в сторону)*. Под язык бы тебе труд и болезнь.

Врaльман. Как путто пы до арихметики пыли люти тураки несчетные!

Цыфиркин *(в сторону)*. Я те ребра-то пересчитаю. Попадесся ко мне.

Врaльман. Ему потрепно снать, как шить ф сфете. Я снаю сфет наизусть. Я сам терта калашь.

Г-жа Простакова. Как тебе не знать большого свету, Адам Адамыч? Я чай, и в одном Петербурге ты всего нагляделся.

Врaльман. Тафольно, мая матушка, тафольно. Я сафсегда ахотник пыл смотреть публик. Пыфало, о праснике съетут-

[1] продвигаться по службе (от *франц.* avancer).— *Ред.*

ца в Катрингоф кареты с хоспотам. Я фсё на них сматру. Пыфало, не сойту ни на минуту с косел.

Г-жа Простакова. С каких козел?

Вральман *(в сторону)*. Ай! ай! ай! ай! Што я зафрал! *(Вслух.)* Ты, матушка, снаешь, што сматреть фсегта лофче зповыши. Так я, пыфало, на снакому карету и сасел, та и сматру польшой сфет с косел.

Г-жа Простакова. Конечно, виднее. Умный человек знает, куда взлезть.

Вральман. Ваш трашайший сын также на сфете какнипудь фсмаститца, лютей пасматреть и сеня покасать. Уталец!

Митрофан, стоя на месте, перевертывается.

Вральман. Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пез усды. Ступай! Форт! [1]

Митрофан убегает.

Г-жа Простакова *(усмехаясь радостно)*. Робенок, право, хоть и жених. Пойти за ним, однако ж, чтоб он с резвости без умыслу чем-нибудь гостя не прогневал.

Вральман. Поти, мая матушка! Салётна птиса! С ним тфои гласа натопно.

Г-жа Простакова. Прощай же, Адам Адамыч! *(Отходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Цыфиркин *(насмехаясь)*. Эка образина!

Кутейкин *(насмехаясь)*. Притча во языцех!

Вральман. Чему фы супы-то скалите, нефежи?

Цыфиркин *(ударив по плечу)*. А ты что брови-то нахмурил, чухонска сова?

Вральман. Ой! ой! шелесны лапы!

Кутейкин *(ударив по плечу)*. Филин треклятый! Что ты буркалами-то похлопываешь?

Вральман *(тихо)*. Пропаль я. *(Вслух.)* Што фы истефаетесь, репята, што ли, нато мною?

Цыфиркин. Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь; да ты ж еще и рожи не уставишь.

---

[1] Вон! (от *нем.* fort).— *Ред.*

Кутейкин. Уста твоя всегда глаголаша гордыню, нечестивый.

Вральман *(оправляясь от робости)*. Как фы терсаете нефешничать перед ушоной персоной? Я накраул сакричу.

Цыфиркин. А мы те и честь отдадим. Я доскою...

Кутейкин. А я часословом.

Вральман. Я хоспоже на фас пошалаюсь.

Цыфиркин, замахиваясь доскою, а Кутейкин часословом.

Цыфиркин. Раскрою тебе рожу напятеро.
Кутейкин. Зубы грешника сокрушу. } Вместе.

Вральман бежит.

Цыфиркин. Ага! Поднял трус ноги!

Кутейкин. Направи стопы своя, окаянный!

Вральман *(в дверях)*. Што фсяли, бестия? Сюта сунтесь.

Цыфиркин. Уплел! Мы бы дали тебе таску!

Вральман. Лих не паюсь теперь, не паюсь.

Кутейкин. Засел пребеззаконный! Много ль там вас, басурманов-то? Всех высылай!

Вральман. С атним не слатили! Эх, прат, фсяли!
Цыфиркин. Один десятерых уберу!
Кутейкин. Во утрие избию вся грешныя земли! } Все вдруг кричат.

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Софья.

Софья *(одна, глядя на часы)*. Дядюшка скоро должен вытти. *(Садясь.)* Я его здесь подожду. *(Вынимает книжку и прочитав несколько.)* Это правда. Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть! *(Прочитав опять несколько.)* Нельзя не любить правил добродетели. Они — способы к счастью. *(Прочитав еще несколько, взглянула и, увидев Стародума, к нему подбегает.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Софья и Стародум.

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!

Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.

Стародум. Какую?

Софья. Французскую. Фенелона, о воспитании девиц.

Стародум. Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель. Сядем. *(Оба сели.)* Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливу, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностию я говорить буду. Поближе.

Софья подвигает стул свой.

Софья. Дядюшка! Всякое слово ваше врезано будет в сердце мое.

Стародум *(с важным чистосердечием)*. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О мой друг! Умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда

не желают тем, кого презирают; а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.

Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно оттого, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить.

Софья. Да скажите ж мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.

Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что́ делает. Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела.

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно.

Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство...

Стародум. Так, мой друг! И я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив. Богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...

Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка! И такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнию: рано или поздно сверзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а лишь есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?

Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много, и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек.

Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность.

Стародум. Должность! А, мой друг! Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают! Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его,

человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, когда, если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность. Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было б совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела; есть люди, которым помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было б таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворянином? Подлее его ничего на свете не знаю.

Софья. Возможно ль так себя унизить?

Стародум. Друг мой! Что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большею частию мужья нынешнего света, не забудем, каковы и жены. О мой сердечный друг! Теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имение растощается: оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа и жены!

Софья. Ах, как я ужасаюсь этого примера!

Стародум. И не дивлюся: он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на то, что видим.

Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастии!..

Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело в том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина — презнатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша...

Софья. Да как достойного мужа не любить дружески?

Стародум. Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны.

Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое...

Стародум *(с нежнейшею горячностию)*. И мое восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Ты, мой сердечный друг, ты соединяешь в себе обоих полов совершенства. Ласкаюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель...

Софья. Ты ею наполнил все мои чувства. *(Бросаясь целовать его руки.)* Где она?..

Стародум *(целуя сам ее руки)*. Она в твоей душе. Благодарю бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастия. Оно не будет зависеть ни от знатности, ни от богатства. Все это прийти к тебе может; однако для тебя есть счастье всего этого больше. Это то, чтоб чувствовать себя достойною всех благ, которыми ты можешь наслаждаться...

Софья. Дядюшка! Истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я знаю цену...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и камердинер.

Камердинер подает письмо Стародуму.

Стародум. Откуда?

Камердинер. Из Москвы, с нарочным. *(Отходит.)*

Стародум *(распечатав и смотря на подпись)*. Граф Честан. А! *(Начиная читать, показывает вид, что глаза разобрать не могут.)* Софьюшка! Очки мои на столе, в книге.

Софья *(отходя)*. Тотчас, дядюшка.

ЯВЛЕНИЕ IV

Стародум

Стародум *(один)*. Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона; но когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком... Если свободно ее сердце...

ЯВЛЕНИЕ V

Стародум и Софья.

Софья *(подавая очки)*. Нашла, дядюшка.

Стародум *(читает)*. «...Я теперь только узнал... ведет в Москву свою команду... Он с вами должен встретиться... Сердечно буду рад, если он увидится с вами... Возьмите труд узнать образ мыслей его». *(В сторону.)* Конечно. Без того ее не выдам... «Вы найдете... Ваш истинный друг...» Хорошо. Это письмо до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек, похвальных свойств, представлен... Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне...

Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка. Я чистосердечно скажу вам...

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Правдин и Милон.

Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга.

Стародум *(в сторону)*. Милон!

Милон. Я почту за истинное счастие, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей...

Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш?

Милон. Он мне дядя.

Стародум. Мне очень приятно быть знакому с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедливость. Особливые достоинствы...

Милон. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди.

Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей...

Стародум оглядывается на Софью.

Софья (*тихо Стародуму и в большой робости*). И матушка любила его, как сына.

Стародум *(Софье)*. Мне это очень приятно. *(Милону.)* Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша...

Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, буде есть во мне она.

Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою...

Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь. Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая, испытать же себя сердечно желаю.

Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость?

Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того, без всякого сомнения, и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим

военачальник. Он с холодною кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры, славу свою предпочитает жизни; но что всего более — он для пользы и славы отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустрашимость его состоит, следственно, не в том, чтоб презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею жертвовать.

Стародум. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям?

Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не убояся ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Как мала душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль, перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь при нем клеветники терзают! Я понимаю неустрашимость так...

Стародум. Как понимать должно тому, у кого она в душе. Обойми меня, друг мой! Извини мое простосердечие. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено в мое воспитание. В твоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенным.

Милон. Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более моего сердечного чувства... Нет. Добродетель твоя извлекает силою своею все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность...

Стародум *(к Софье, с радостью)*. Как! Сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе жених...

Софья. И я люблю его сердечно.

Стародум. Вы оба друг друга достойны. *(В восхищении соединяя их руки.)* От всей души моей даю вам мое согласие.

Милон *(обнимая Стародума)*. Мое счастье, несравненно!

Софья *(целуя руки Стародумовы)*. Кто может быть счастливее меня!

} Вместе.

Правдин. Как искренно я рад!

Стародум. Мое удовольствие неизреченно!

Милон *(целуя руку Софьи)*. Вот минута нашего благополучия!

Софья. Сердце мое вечно любить тебя будет.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Скотинин.

Скотинин. И я здесь.

Стародум. Зачем пожаловал?

Скотинин. За своей нуждой.

Стародум. А чем я могу служить?

Скотинин. Двумя словами.

Стародум. Какими это?

Скотинин. Обняв меня покрепче, скажи: Софьюшка твоя.

Стародум. Не пустое ль затевать изволишь? Подумайко хорошенько.

Скотинин. Я никогда не думаю и наперед уверен, что коли и ты думать не станешь, то Софьюшка моя.

Стародум. Это странное дело! Человек ты, как вижу, не без ума, а хочешь, чтоб я отдал мою племянницу, за кого — не знаю.

Скотинин. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин, в роде своем не последний. Род Скотининых великий и старинный. Пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь.

Правдин *(смеючись)*. Эдак вы нас уверите, что он старее Адама.

Скотинин. А что ты думаешь? Хоть немногим...

Стародум *(смеючись)*. То есть пращур твой создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама?

Скотинин. Нет, право? Так ты доброго мнения о старине моего рода?

Стародум. О! такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из Скотининых?

Скотинин. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за мною. Она дворянка...

Стародум. Экой человек! Да для того-то ты ей и не жених.

Скотинин. Уж я на то пошел. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно.

Стародум. Да для нее не все равно, когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина.

Милон. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих.

Скотинин. Ба! Да этот что тут равняется? *(Тихо Стародуму.)* А не отбивает ли?

Стародум *(тихо Скотинину)*. Мне так кажется.

Скотинин *(тем же тоном)*. Да где черту!

Стародум *(тем же тоном)*. Тяжело.

Скотинин *(громко, указывая на Милона)*. Кто ж из нас смешон? Ха-ха-ха-ха!

Стародум *(смеется)*. Вижу, кто смешон.

Софья. Дядюшка! Как мне мило, что вы веселы.

Скотинин *(Стародуму)*. Ба! Да ты весельчак. Давеча я думал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь все со мной смеешься.

Стародум. Таков человек, мой друг! Час на час не приходит.

Скотинин. Это и видно. Вить и давеча был я тот же Скотинин, а ты сердился.

Стародум. Была причина.

Скотинин. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, когда зайду в клева да найду их не в порядке, досада и возьмет. И ты, не в пронос слово, заехав сюда, нашел сестрин дом не лучше клевов, тебе и досадно.

Стародум. Ты меня счастливее. Меня трогают люди.

Скотинин. А меня так свиньи.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан и Еремеевна.

Г-жа Простакова *(входя)*. Всё ль с тобою, друг мой?

Митрофан. Ну, да уж не заботься.

Г-жа Простакова *(Стародуму)*. Хорошо ли отдохнуть изволил, батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить; не смели в дверь заглянуть; послышим, ан уж ты давно и сюда вытти изволил. Не взыщи, батюшка...

Стародум. О сударыня, мне очень было бы досадно, ежели б вы сюда пожаловали ране.

Скотинин. Ты, сестра, как на смех, все за мною по пятам. Я пришел сюда за своею нуждою.

Г-жа Простакова. А я так за своею. *(Стародуму.)* Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общею нашею просьбою. *(Мужу и сыну.)* Кланяйтесь.

Стародум. Какою, сударыня?

Г-жа Простакова. Во-первых, прошу милости всех садиться.

Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.

Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших,— нам, грешным, где б и умолить,— даровая нам господь Митрофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

Стародум. О сударыня! До моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я слышал об его учителях и вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина. *(К Правдину.)* Любопытен бы я был послушать, чему немец-то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.
Простаков. Всему, мой отец.
Митрофан. Всему, чему изволишь.
} Вместе.

Правдин *(Митрофану)*. Чему ж бы, например?

Митрофан *(подает ему книгу)*. Вот, грамматике.

Правдин *(взяв книгу)*. Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку?

Митрофан. И ведомо.

Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка?

Простаков. Каково, мой отец?

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен.

Милон. Я думаю, не меньше и в истории.

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне историй. Мастер, собачий сын, откуда что берется!

Г-жа Простакова. Однако все-таки не придет против Адама Адамыча.

Правдин *(Митрофану)*. А далеко ли вы в истории?

Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство.

Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?

Стародум. Вральман? Имя что-то знакомое.

Митрофан. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник слушать.

Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.

Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии?

Г-жа Простакова *(сыну)*. Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?

Митрофан *(тихо матери)*. А я почем знаю.

Г-жа Простакова *(тихо Митрофану)*. Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать.

Митрофан *(тихо матери)*. Да я не возьму в толк, о чем спрашивают.

Г-жа Простакова *(Правдину)*. Как, батюшка, назвал ты науку-то?

Правдин. География.

Г-жа Простакова *(Митрофану)*. Слышишь, еоргафия.

Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.

Г-жа Простакова *(Правдину)*. И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.

Правдин. Описание земли.

Г-жа Простакова *(Стародуму)*. А к чему бы это служило на первый случай?

Стародум. На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда,— свезут, куда

изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.

Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другим не похвалюсь, от вас не потаю: покойник-свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково это?

Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину.

Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмем дядю Вавилу Фалелеича. О грамоте никто от него и не слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел; а какова была голоушка!

Правдин. Что ж такое?

Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к похвям потылицею, и бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?

Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком; однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого.

Стародум *(Милону)*. Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы.

Г-жа Простакова. Батюшка мой! Да что за радость и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность.

Стародум. А кто посмышленее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам.

Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой. *(Правди-*

ну.) Ты сам, батюшка, других посмышленее, так сколько трудисся! Вот и теперь, сюда шедши, я видела, что к тебе несут какой-то пакет.

Правдин. Ко мне пакет? И мне никто этого не скажет! *(Вставая.)* Я прошу извинить меня, что вас оставлю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника.

Стародум *(встает, и все встают)*. Поди, мой друг; однако я с тобою не прощаюсь.

Правдин. Я еще увижусь с вами. Вы завтре едете поутру?

Стародум. Часов в семь.

Правдин отходит.

Милон. А я завтре же, проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение.

Милон отходит, прощаясь с Софьею взорами.

ЯВЛЕНИЕ IX

Г-жа Простакова, Митрофан, Простаков, Скотинин, Еремеевна, Стародум, Софья.

Г-жа Простакова *(Стародуму)*. Ну, мой батюшка! Ты довольно видел, каков Митрофанушка?

Скотинин. Ну, мой друг сердечный? Ты видишь, каков я?

Стародум. Узнал обоих, нельзя короче.

Скотинин. Быть ли ж за мною Софьюшке?

Стародум. Не бывать.

Г-жа Простакова. Жених ли ей Митрофанушка?

Стародум. Не жених.

Г-жа Простакова. А что б помешало? } Вместе.

Скотинин. За чем дело стало? }

Стародум *(сведя обоих)*. Вам одним за секрет сказать можно. Она сговорена. *(Отходит и дает знак Софье, чтоб шла за ним.)*

Г-жа Простакова. Ах, злодей!

Скотинин. Да он рехнулся.

Г-жа Простакова *(с нетерпением)*. Когда они выедут?

Скотинин. Вить ты слышала, поутру в семь часов.

Г-жа Простакова. В семь часов.

Скотинин. Завтре и я проснусь с светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а и с Скотининым развяжешься не скоро. *(Отходит.)*

Г-жа Простакова *(бегая по театру в злобе и в мыслях)*. В семь часов!.. Мы встанем поране... Что захотела, поставлю на своем... Все ко мне.

Все подбегают.

Г-жа Простакова *(к мужу)*. Завтре в шесть часов чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай.

Простаков. Слушаю, мать моя.

Г-жа Простакова *(к Еремеевне)*. Ты во всю ночь не смей вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне.

Еремеевна. Не промигну, моя матушка.

Г-жа Простакова *(сыну)*. Ты, мой друг сердечный, сам в шесть часов будь совсем готов и поставь троих слуг в Софьиной предспальней, да двоих в сенях на подмогу.

Митрофан. Все будет сделано.

Г-жа Простакова. Подите ж с богом. *(Все отходят.)* А я уж знаю, что делать. Где гнев, тут и милость. Старик погневается да простит и за неволю. А мы свое возьмем.

Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Стародум и Правдин.

Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила.

Стародум. Итак, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы?

Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди.

Стародум. Благодарение богу, что человечество найти защиту может! Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где

знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно... и что угнетать рабством себе подобных беззаконно.

Правдин. Я в этом согласен с вами; да как мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды!

Стародум. Слушай, друг мой! Великий государь есть государь премудрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами.

Правдин. Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

Стародум. А! Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных! И во-первых, толпа скаредных льстецов...

Правдин. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец.

Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет.

Правдин. Несчастиям людским, конечно, причиною собственное их развращение; но способы сделать людей добрыми...

Стародум. Они в руках государя. Как скоро все видят, что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми,— тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным и всякий хорош становится.

Правдин. Справедливо. Великий государь дает...

Стародум. Милость и дружбу тем, кому изволит; места и чины тем, кто достоин.

Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особливое старание о воспитании...

Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.

Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих...

Стародум. Так, мой друг; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих, благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения.

Правдин. Надобно действительно, чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание; тогда можно быть уверену... Что за шум?

Стародум. Что такое сделалось?

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Милон, Софья, Еремеевна.

Милон *(отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнаженную шпагу)*. Не смей никто подойти ко мне!

Софья *(бросаясь к Стародуму)*. Ах, дядюшка! Защити меня!

Стародум. Друг мой! Что такое?

Правдин. Какое злодеяние!

Софья. Сердце мое трепещет! } Вместе.

Еремеевна. Пропала моя голоушка!

Милон. Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете.

Софья. Вот мой избавитель!

Стародум *(к Милону)*. Друг мой!

Правдин *(Еремеевне)*. Сейчас скажи, куда везти хотели, или как с злодейкой...

Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться!

Г-жа Простакова *(за кулисами)*. Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан.

Г-жа Простакова. Какая я госпожа в доме! *(Указывая на Милона.)* Чужой погрозит, приказ мой ни во что.

Простаков. Я ли виноват?
Митрофан. За людей приниматься?
Г-жа Простакова. Жива быть не хочу.
} Вместе.

Правдин. Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, как дяде, а вам, как жениху...

Г-жа Простакова. Жениху!
Простаков. Хороши мы!
Митрофан. Всё к черту!
} Вместе.

Правдин. Требовать от правительства, чтоб сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее перед суд, как нарушительницу гражданского спокойства.

Г-жа Простакова *(бросаясь на колени)*. Батюшки, виновата!

Правдин. Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии...

Простаков. Без вины виноват!
Митрофан. Виноват, дядюшка!
} Вместе, бросаясь на колени.

Г-жа Простакова. Ах я, собачья дочь! Что я наделала!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин.

Скотинин. Ну, сестра, хорошу было шутку... Ба! Что это? Все наши на коленях!

Г-жа Простакова *(стоя на коленях)*. Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет. Мой грех! Не губите меня,

(К Софье.) Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною *(указывая на мужа и сына)* и над бедными сиротами.

Скотинин. Сестра! О своем ли ты уме?

Правдин. Молчи, Скотинин.

Г-жа Простакова. Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим, что тебе в голове моей?

Софья *(Стародуму)*. Дядюшка! Я мое оскорбление забываю.

Г-жа Простакова *(подняв руки к Стародуму)*. Батюшка! Прости и ты меня, грешную. Вить я человек, не ангел.

Стародум. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и чертом.

Милон. И преступление и раскаяние в ней презрения достойны.

Правдин *(Стародуму)*. Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством... и уж спасти ее нельзя.

Стародум. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю.

Все вскочили с коленей.

Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки.

Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?

Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается?

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.

Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?

Стародум. Мастерица толковать указы!

Г-жа Простакова. Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на голову... *(Порывается идти.)*

Правдин *(останавливая ее)*. Поостановитесь, сударыня. *(Вынув бумагу и важным голосом Простакову.)* Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян

ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.

Простаков. А! До чего мы дожили!

Г-жа Простакова. Как! Новая беда! За что? За что, батюшка? Что я в своем доме госпожа...

Правдин. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. *(Простакову.)* Подите.

Простаков *(отходит, всплеснув руками)*. От кого это, матушка?

Г-жа Простакова *(тоскуя)*. О, горе взяло! О, грустно!

Скотинин. Ба! ба! ба! Да эдак и до меня доберутся. Да эдак и всякий Скотинин может попасть под опеку... Уберусь же я отсюда подобру-поздорову.

Г-жа Простакова. Все теряю! Совсем погибаю!

Скотинин *(Стародуму)*. Я шел было к тебе добиться толку. Жених...

Стародум *(указывая на Милона)*. Вот он.

Скотинин. Ага! так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и ...

Правдин. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.

Скотинин. Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они людей...

Правдин. Побольше любили или б по крайней мере...

Скотинин. Ну?..

Правдин. Хоть не трогали.

Скотинин *(отходя)*. Хоть не трогали.

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан, Софья, Еремеевна.

Г-жа Простакова *(Правдину)*. Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли? Не возможно ль как-нибудь указ поотменить? Все ли указы исполняются?

Правдин. Я от должности никак не отступлю.

Г-жа Простакова. Дай мне сроку хотя на три дни. *(В сторону.)* Я дала бы себя знать...

Правдин. Ни на три часа.

Стародум. Да, друг мой! Она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь.

Г-жа Простакова. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи?

Правдин. Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а...

Г-жа Простакова. А с долгами-то разделаться?.. Недоплачено учителям...

Правдин. Учителям? *(Еремеевне.)* Здесь ли они? Введи их сюда.

Еремеевна. Чай, что прибрели. А немца-то, мой батюшка?..

Правдин. Всех позови.

Еремеевна отходит.

Правдин. Не заботься ни о чем, сударыня, я всех удовольствую.

Стародум *(видя в тоске г-жу Простакову)*. Сударыня! Ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно.

Г-жа Простакова. Благодарна за милость! Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет!

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Еремеевна, Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Еремеевна *(введя учителей, к Правдину)*. Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка.

Вральман *(к Правдину)*. Фаше фысоко-и-плахоротие. Исфолили меня к сепе прасить?..

Кутейкин *(к Правдину)*. Зван бых и приидох.

Цыфиркин *(к Правдину)*. Что приказу будет, ваше благородие?

Стародум *(с приходу Вральмана в него вглядывается)*. Ба! Это ты, Вральман?

Вральман *(узнав Стародума)*. Ай! ай! ай! ай! ай! Это ты, мой милостифый хосподин! *(Целуя полу Стародума.)* Старофенька ли, мой отес, пошифать исфолишь?

Правдин. Как? Он вам знаком?

Стародум. Как не знаком? Он три года у меня был кучером.

Все показывают удивление.

Правдин. Изрядный учитель!

Стародум. А ты здесь в учителях? Вральман! Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься.

Вральман. Та што телать, мой патюшка? Не я перфый, не я послетний. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кутшер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, липо ушитель...

Правдин *(к учителям)*. По воле правительства став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю.

Цыфиркин. Лучше не надо.

Кутейкин. Отпускать благоволите? Да прежде разочтемся...

Правдин. А что тебе надобно?

Кутейкин. Нет, милосливый господин, мой счетец зело не мал. За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому, за...

Г-жа Простакова. Ненасытная душа! Кутейкин! За что это?

Правдин. Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу.

Г-жа Простакова. Да коль пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку?

Кутейкин. Это его дело. Не мое.

Правдин *(Кутейкину)*. Хорошо, хорошо. *(Цыфиркину.)* Тебе много ль заплатить?

Цыфиркин. Мне? Ничего.

Г-жа Простакова. Ему, батюшка, за один год дано десять рублей, а еще за год ни полушки не заплачено.

Цыфиркин. Так: на те десять рублей я износил сапогов в два года. Мы и квиты.

Правдин. А за ученье?

Цыфиркин. Ничего.

Стародум. Как ничего?

Цыфиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял.

Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.

Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму.

Стародум. Вот прямо добрый человек!

Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги.

Правдин. Тебе не стыдно, Кутейкин?

Кутейкин *(потупя голову)*. Посрамихся, окаянный.

Стародум *(Цыфиркину)*. Вот тебе, друг мой, за добрую душу.

Цыфиркин. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Дарить меня ты волен. Сам, не заслужа, век не потребую.

Милон *(давая ему деньги)*. Вот еще тебе, друг мой!

Цыфиркин. И еще спасибо.

Правдин дает также ему деньги.

Цыфиркин. Да за что, ваше благородие, жалуете?

Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина.

Цыфиркин. И! Ваше благородие. Я солдат.

Правдин *(Цыфиркину)*. Поди ж, мой друг, с богом.

Цыфиркин отходит.

Правдин. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтре да потрудись расчесться с самой госпожою.

Кутейкин *(выбегая)*. С самою! Ото всего отступаюсь.

Вральман *(Стародуму)*. Старофа слуха не остафте, фаше фысокоротие. Фосмите меня апять к сепе.

Стародум. Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей?

Вральман. Эй, нет, мой патюшка! Шиучи с стешним хоспотам, касалось мне, што я фсе с лошатками.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и камердинер.

Камердинер *(Стародуму)*. Карета ваша готова.

Вральман. Прикашишь мне дофести сепя?

Стародум. Поди садись на козлы.

Вральман отходит.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Г-жа Простакова, Стародум, Милон, Софья, Правдин, Митрофан, Еремеевна.

Стародум *(к Правдину, держа руки Софьи и Милона)*. Ну, мой друг! Мы едем. Пожелай нам...

Правдин. Всего счастья, на которое имеют право честные сердца.

Г-жа Простакова *(бросаясь обнимать сына)*. Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

Митрофан. Да отвяжись, матушка, как навязалась...

Г-жа Простакова. И ты! И ты меня бросаешь! А! неблагодарный! *(Упала в обморок.)*

Софья *(подбежав к ней)*. Боже мой! Она без памяти.

Стародум *(Софье)*. Помоги ей, помоги.

Софья и Еремеевна помогают.

Правдин *(Митрофану)*. Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего бо́льше до несчастья.

Митрофан. Да она как будто неведомо...

Правдин. Грубиян!

Стародум *(Еремеевне)*. Что она теперь? Что?

Еремеевна *(посмотрев пристально на г-жу Простакову и всплеснув руками)*. Очнется, мой батюшка, очнется.

Правдин *(Митрофану)*. С тобой, дружок, знаю что делать. Пошел-ко служить...

Митрофан *(махнув рукою)*. По мне, куда велят.

Г-жа Простакова *(очнувшись, в отчаянии)*. Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!

Стародум *(указав на г-жу Простакову)*. Вот злонравия достойные плоды!

Конец комедии

ЗАПИСКИ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
(ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ)

1

Монпелье, 22 ноября (3 декабря) 1777.

За долг почитаю уведомить ваше сиятельство, как истинного моего благодетеля, о приезде моем в здешний город, в котором, по причине болезни жены моей, расположился я остаться на зиму. Прекрасный климат и искусство здешних медиков подают мне превеликую надежду об ее выздоровлении, и самая дорога, продолжавшаяся близ трех месяцев, утвердила ее силы. Первый здешний доктор, г. Деламюр, которого я призвал, начал уже ей давать лекарства; приуготовляет ее к принятию полной меры известного от глистов состава, коего секрет королем куплен; а по истреблении их останется привести в порядок причиненное ими расстройство в теле. Г-н Деламюр имеет здесь славу, которую заслужил совершенно исцелением многих от претяжких болезней. Счастливый его успех в лечении произвел такую к нему доверенность, что все чужестранцы ищут у него помощи предпочтительно пред другими докторами, коих число в Монпелье до семидесяти простирается. Впрочем, милостивый государь, надлежит признаться, что сему славному медику способствует, конечно, много и здешний климат, которого лучше в свете быть не может. У нас весьма часто бывает самое лето хуже настоящего здесь времени. Гульбища всякий день наполнены людьми, и не только теперь до шуб, ниже до муфт дела не доходит. Господь возлюбил, видно, здешнюю землю: никогда небеса здесь мрачны не бывают. Прекрасное солнце отсюда неотлучно. Один недостаток здесь чувствителен: земля не способна к произращению дерев, и летом мало убежища от солнечных лучей. Жары, сказывают, здесь несносны, но зима есть то время года, которого приятнее желать невозможно. Множе-

ство больных чужестранцев и из других провинций французов съехалось сюда, по обыкновению, на зиму, и Монпелье можно назвать больницею, но такою, где живут уже выздоравливающие. Не могу изъяснить вашему сиятельству, сколь приятно видеть множество людей, у коих написана на лице радость, ощущаемая при возвращении здоровья! Все больные видятся ежедневно на гульбище и, сообщая взаимно перемену болезней своих, друг друга утешают и ободряют.

Позвольте, милостивый государь, продолжить уведомление о моем путешествии. Последнее письмо имел я честь писать к вашему сиятельству из Дрездена. В нем пробыл я близ трех недель. Осмотрев тут все достойное примечания, поехал я в Лейпциг, но уже не застал ярмарки. Я нашел сей город наполненным учеными людьми. Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить полатыни, чему, однако ж, во времена Цицероновы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом — Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума. Оставя сих педантов, поехал я во Франкфурт-на-Майне. Сей город знаменит древностями и отличается тем, что римский император бывает в нем избран. Я был в палате избрания, из коей он является народу. Но все сие имеет древность одним своим достоинством, то есть: видел я по четыре пустых стен у старинных палат, а больше ничего. Показывали мне также известную, так называемую la Bulle d'or (Золотую Буллу) императора Карла IV, писанную в 1356 году; я был в имперской архиве. Все сие поистине не стоит труда лазить на чердаки и слезать в погреба, где хранятся знаки невежества. Из Франкфурта ехал я по немецким княжествам: что ни шаг, то государство. Я видел Ганау, Майнц, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев. Дороги часто находил немощеные, но везде платил дорого за мостовую; и когда, по вытащении меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую, то я осмеливался спрашивать: где она? На сие отвечали мне, что его светлость владеющий государь намерен приказать мостить впредь, а теперь собирать деньги. Таковое правосудие с чужестранными заставило меня сделать заключение и о правосудии к подданным. Не удивился я, что из всякого их жилья куча нищих провожала всегда мою карету. Наконец приехал я в Мангейм, резиденцию курфирста пфальцского. Известное мне положение сего двора, в рассуждении нашего, привлекло

меня представиться курфирсту, для чего я и взял из Дрездена туда рекомендательные письма. Как от него, так и от курфирстины принят я был весьма милостиво. Оставя меня обедать, его светлость посадил меня возле себя. Разговоры, коими он и супруга его меня удостоили, доказывают просвещенное их благоразумие, усердие к нашему двору и большое уважение к особе братца вашего. Что ж касается до города, то лучше его я не видал в Германии: строение новое и регулярное. Впрочем, ближнее соседство с французами сделало то, что в мангеймских немцах гораздо менее национальности, нежели в других. Отсюда выехал я во Францию и, чрез Страсбург, Безансон, Bourg-en-Bresse, достиг славного города Лиона. Дорога в сем государстве очень хороша, но везде по городам улицы так узки и так скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут. Видно, что полиция в сие дело не вступается, чему в доказательство осмелюсь вашему сиятельству рассказать один пример. Шедши в Лионе по самой знатной и большой улице (которая, однако ж, не годится в наши переулки), увидел я среди бела дня зажженные факелы и много людей среди улицы. Будучи близорук, счел я, что это, конечно, какое-нибудь знатное погребение; но, подошед из любопытства ближе, увидел, что я сильно обманулся: господа французы изволили убить себе свинью — и нашли место опалить ее на самой средине улицы! Смрад, нечистота и толпа праздных людей, смотрящих на сию операцию, принудили меня взять другую дорогу. Не видав еще Парижа, не знаю, меньше ли в нем страждет обоняние, но виденные мною во Франции города находятся в рассуждении чистоты в прежалком состоянии.

В Лионе смотрел я фабрики шелковых изделий, откуда Франция посылает во всю Европу наилучшие парчи и штофы. По справедливости сказать, сии мануфактуры в таком совершенстве, до которого другим землям доходить трудно. Сей город остановил меня на несколько времени для осмотрения в нем достойного любопытства. L'hôtel Dieu [1] построен в половине шестого века; здание огромное и заслуживающее примечания сколько искусством древних архитекторов, столько и наблюдаемым внутри оного порядком в рассуждении великого числа больных. Меня впустили смотреть их в тот час, когда les soeurs (сестры милосердия, больным женщинам служащие) обносили им кушанье. Я с душевным возмущением видел страждущих различными болезнями, но с удивлением и внутренним удоволь-

[1] Госпиталь *(франц.).— Ред.*

Я своей поступки непеременяю. Какъ моей фамилїи по обычаю
Аще и мѣю и невеликъ возрастъ, однакожъ имѣю велику бодрость
Зачто насъ и вдругихъ страна похваляю, и многїя персоны видѣти желаю

Карлик.

Офорт. Лубок.
Середина XVIII в.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

ствием смотрел, с каким рачением и усердием ходят около сих несчастных.— L'hôtel de ville [1] есть здание весьма великолепное, оно, по признанию вояжеров [2], превосходит амстердамскую ратушу. Многие монастыри и церкви украшены картинами великих художников. Вообще Лион есть город весьма древний, большой, коммерческий, многолюдный, словом — после Парижа первый в королевстве.

Из Лиона приехал я сюда в пять дней. Монпелье город небольшой, но имеющий приятное местоположение; улицы его узки и скверны, но дома есть очень хорошие. Университет здешний основан в 1180 году, и медицинский его факультет славен в Европе. Вне города есть la place du Peyrou [3], приятнейшее и великолепнейшее из всех известных. На нем прогуливается целый город вседневно. Место высокое, чистое, усаженное деревьями, украшенное статуею Людовика XIV и удивляющее взор славным aqueduc (водопровод), длины превеликой и работы, достойной внимания. Отсюда вода идет во весь город. Средиземное море видно с сего места, а при восхождении солнца видна, сказывают, и Испания. Сие прекрасное место заслуживает и быть в таком климате, каков здешний, где гулянье во все времена года составляет наилучшую забаву.

В рассуждении общества теперь здесь самое наилучшее время. Les Etats de Languedoc [4] собрались сюда, по обыкновению, на два месяца. Они состоят из уполномоченных от короля правителей, духовенства и дворянства. Собрание сего земского суда имеет предметом своим распоряжение дел лангедокской провинции и сбор для короля подати, называемой don gratuit [5]. Знатнейшие члены суть: первый комендант сей провинции и кавалер ордена Святого Духа граф Перигор, архиепископ нарбонский, комендант граф Монкан, комендант виконт де Сент-При, первый барон и кавалер ордена Святого Духа маркиз де Кастр и первый президент города Кларис; все люди знатные и почтенные. Они имеют открытые дома и чужестранцев с отличною ласкою принимают. Мы, с своей стороны, весьма довольны их гостеприимством и обыкновенно званы бываем во все их общества.

Позвольте, милостивый государь, включить здесь то описание бывшей здесь на сих днях церемонии, называемой l'ouver-

---

[1] Ратуша *(франц.).— Ред.*
[2] путешественников (от *франц.* voyageurs).— *Ред.*
[3] площадь Пейру *(франц.).— Ред.*
[4] Штаты (собрание сословий) Лангедока *(франц.).— Ред.*
[5] Букв.: благодарностью *(франц.).— Ред.*

ture des Etats[1], которое имел я честь сделать в письме моем к его сиятельству, братцу вашему. Сие зрелище заслуживало любопытства чужестранцев как по великолепию, с коим сей обряд отправлялся, так и по странности древних обычаев, наблюдаемых при сем случае. Собрание было весьма многолюдное, в зале старинного дома, называемого Gouvernement des Etats[2]. Пришед в уреченный час и взяв свои места, ожидали прибытия графа Перигора, как представляющего особу королевскую. Как скоро оное возвещено было, то все дворянство вышло к нему навстречу, и он, в кавалерском платье и шляпе, взошед на сделанное нарочно возвышенное место, сел в кресла под балдахином; по правую сторону архиепископ нарбонский и двенадцать епископов, а по левую дворянство в древних рыцарских платьях и шляпах. Заседание началось чрез одного синдика чтением исторического описания древнего монпельевского королевства. Прошед времена древних королей и упомянув, как оно перешло во владение французских государей, сказано в заключение всего, что ныне благополучно владеющему монарху надлежит платить деньги. Граф Перигор читал потом речь, весьма трогающую, в которой изобразил долг верноподданных платить исправно подати. Многие прослезились от сего красноречия. Интендант читал, с своей стороны, также речь, в которой, говоря весьма много о действиях природы и искусства, выхвалял здешний климат и трудолюбивый характер жителей. По его мнению, и самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати. После сего архиепископ нарбонский говорил поучительное слово. Проходя всю историю коммерции, весьма красноречиво изобразил он все ее выгоды и сокровища и заключил тем, что с помощию коммерции, к которой он слушателей сильно поощрял, господь наградит со вторицею ту сумму, которую они согласятся заплатить ныне своему государю. Каждая из сих речей сопровождаема была комплиментом к знатнейшим сочленам. Интендант превозносил похвалами архиепископа, архиепископ интенданта; оба они выхваляли Перигора, а Перигор выхвалял их обоих. Потом все пошли в соборную церковь, где пет был благодарный молебен всевышнему за сохранение в жителях единодушия к добровольному платежу того, что в противном случае взяли б с них насильно.— *Le don gratuit с капитацией*[3] *состоит в сборе с лангедокской провинции на наши деньги 920 000 рублей.*

[1] открытием Штатов *(франц.).— Ред.*
[2] Правлением Штатов *(франц.).— Ред.*
[3] подушной податью (от *франц.* capitation).— *Ред.*

На сих днях получено здесь известие о умерщвлении турками князя Гики. Все газеты предвещают неизбежную нам войну с турками. Ваше сиятельство лучше ведать изволите, сколь справедливы сии предвещания; нижайше прошу сделать милость удостоить меня, хотя в самых генеральных терминах, сведением о настоящем положении с нами турков. Я почту сие новым опытом вашей ко мне милости, пребывая...

2

Монпелье, 24 декабря 1777 (4 января 1778).

Я имел честь получить милостивое письмо ваше от 16 октября, за которое приношу мое нижайшее благодарение. Надеюсь, что ваше сиятельство уже получить изволили мои из Дрездена и отсюда. Я принял смелость сделать в них с некоторою подробностию примечания мои на земли, чрез которые проехал. Здесь живу уже другой месяц и стараюсь, по возможности, приобретать нужные по состоянию моему знания. Способов к просвещению здесь очень довольно. Я могу оными пользоваться, не расстроивая моего малого достатка; и хотя телесная пища здесь весьма дешева, но душевная еще дешевле. Учитель философии, обязываясь читать всякий день лекции, запросил с меня в первом слове на наши деньги по 2 руб. 40 коп. в месяц. Юриспруденция, как наука, при настоящем развращении совестей человеческих ни к чему почти не служащая, стóит гораздо дешевле. Римское право из одной пищи здесь преподается. Такой бедной учености, я думаю, нет в целом свете, ибо как гражданские звания покупаются без справки, имеет ли покупающий потребные к должности своей знания, то и нет охотников терять время свое, учась науке бесполезной. Злоупотребление продажи чинов произвело здесь то странное действие, что при невероятном множестве способов к просвещению глубокое невежество весьма нередко. Оно сопровождается еще и ужасным суеверием. Попы, имея в руках своих воспитание, вселяют в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для духовенства, а с другой — сильное отвращение к здравому рассудку. Таково почти все дворянство и большая часть других состояний. Я не могу сделать иного об них заключения по вопросам, которые мне делаются, и по ответам на мои вопросы. Впрочем, те, кои предуспели как-нибудь свергнуть с себя иго суеверия, почти все попали в другую крайность и заразились новою философиею. Редкого встречаю, в ком бы неприметна была кото-

рая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума.

Главное рачение мое обратил я к познанию здешних законов. Сколь много несовместны они в подробностях своих с нашими, столь, напротив того, общие правосудия правила просвещают меня в познании существа самой истины и в способах находить ее в той мрачной глубине, куда свергают ее невежество и ябеда. Система законов сего государства есть здание, можно сказать, премудрое, сооруженное многими веками и редкими умами; но вкравшиеся мало-помалу различные злоупотребления и развращение нравов дошли теперь до самой крайности и уже потрясли основание сего пространного здания, так что жить в нем бедственно, а разорить его пагубно. Первое право каждого француза есть вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностию, то должен будет умереть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя, и право сильного остается правом превыше всех законов.

Вашему сиятельству, без сомнения, известны уже худые успехи англичан против американцев. Вчера пронесся слух, будто находящийся со стороны сих последних в Париже поверенный, Франклин, признан от здешнего двора послом от американской республики. Если это правда, то война, кажется, неизбежна; но должно ожидать сему верного подтверждения, а между тем все англичане поднялись вдруг отсюда и спешат выехать. Все то, что за верное сказать можно, есть сильное вооружение в здешних портах. Оно делается с такою поспешностию, что в Тулоне по воскресеньям и праздникам работают, равно как и в обыкновенные дни.

3

Монпелье, 15/26 января 1778.

Получа на сих днях радостное для всех россиян известие о разрешении от бремени ее императорского высочества, приемлю смелость принести вашему сиятельству нижайшее поздравление с благополучным происшествием, утверждающим благосостояние отечества нашего.

Я имел честь получить милостивое письмо ваше от 13 ноября, за которое приношу вашему сиятельству покорнейшее благодарение. Сообщение мне ваших, на истине основанных и проницанием извлеченных, рассуждений произвело во мне о самом

себе лестное заключение. Признаюсь, милостивый государь, что я больше сам себя почитаю, видя, что особа ваших достоинств и заслуг считает меня способным вкусить толь разумную беседу.

Удовольствие, изъявляемое вашим сиятельством о примечаниях моих на представляющиеся в путешествии моем любопытные предметы, почитаю я знаком вашей ко мне милости. Будучи оным весьма много ободрен, осмеливаюсь продолжать здесь отчет мой вашему сиятельству о том, что здесь вижу и какие рассуждения рождает видимое мною. Les Etats или земский суд здешней провинции уже кончился. Все разъехались из Монпелье, знатные и богатые в Париж, а мелкие и бедные по деревням своим. Первые приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливее сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно; а последние собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда,— я называю наружность, для того что в самом существе она не значит ничего. Все трактуемые тут дела ограничиваются в одном, то есть: в собрании подати. Окончив сие, за прочие и не принимаются. Первый государственный чин, духовенство, препоручает провинцию в одно покровительство царя небесного, дабы самому не поссориться с земным, если вступится за жителей и облегчит утесненное их состояние. Знатнейшие светские особы считают бытие свое на свете постольку, поскольку у двора приятно на них смотрят, и, конечно, не променяют одного милостивого взгляда на все блаженство управляемой ими области. Словом, по окончании сего земского суда провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан. Здешние злоупотребления и грабежи, конечно, не меньше у нас случающихся. В рассуждении правосудия вижу я, что везде одним манером поступают. Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз — добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и головою. Вся честность на словах, и чем складнее у кого фразы, тем больше остерегаться должно какого-нибудь обмана. Ни порода, ни наружные знаки почестей не препятствуют нимало снисходить до подлейших обманов, как скоро дело идет о малейшей корысти. Сколько кавалеров св. Людовика, которые тем и живут, что, подлестясь к чужестранцу и заняв у него, сколько простосердечие его взять позволяет, на другой же день скрываются вовсе и с деньгами от своего заимодавца! Сколько промышляют своими супругами, сестрами, дочерьми! Словом, деньги суть первое божество здеш-

ней земли. Развращение нравов дошло до такой степени, что подлый поступок не наказывается уже и презрением; честнейшие действительно люди не имеют нимало твердости отличить бездельника от честного человека, считая, что таковая отличность была бы contre la politesse française [1]. Сия вежливость такое в умах и нравах здешних произвела действие, что заневолю заставила меня сделать некоторые примечания, которые и осмеливаюсь сообщить вашему сиятельству.

Опыт показывает, что всякий порок ищет прикрыться наружностию той добродетели, которая с ним граничит. Скупой, например, присвояет себе бережливость, мот — щедрость, а легкомысленные и трусливые люди — вежливость. И в самом деле, кто, слыша ложь или ошибку, не смеет или не смыслит противоречить, тому всего вернее и легче согласиться, тем больше что всякая потачка приятна большей части людей. Сие правило здесь стало всеобщее; оно совершенно отвращает господ французов от всякого человеческого размышления и делает их простым эхом того человека, с коим разговаривают. Почти всякий француз, если спросить его утвердительным образом, отвечает: *да*, а если отрицательным, о той же материи, отвечает: *нет*. Сколько раз, имея случай разговаривать с отличными людьми, например, о вольности, начинал я речь мою тем, что, сколько мне кажется, сие первое право человека во Франции свято сохраняется; на что с восторгом мне отвечают: que le Français est né libre [2], что сие право составляет их истинное счастие, что они помрут прежде, нежели стерпят малейшее оному нарушение. Выслушав сие, завожу я речь о примечаемых мною неудобствах и нечувствительно открываю им мысль мою, что желательно б было, если б вольность была у них не пустое слово. Поверите ли, милостивый государь, что те же самые люди, кои восхищались своею вольностию, тот же час отвечают мне: «О monsieur, vous avez raison! Le Français est écrasé, le Français est esclavé» [3]. Говоря сие, впадают в преужасный восторг негодования, и если не унять, то хотя целые сутки рады бранить правление и унижать свое состояние.

Если такое разноречие происходит от вежливости, то, по крайней мере, не предполагает большого разума. Можно, кажется, быть вежливу и соображать притом слова свои и мысли. Вообще, надобно отдать справедливость здешней нации, что

---

[1] нарушением французской учтивости *(франц.).— Ред.*

[2] что француз рожден свободным *(франц.).— Ред.*

[3] О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз — раб *(франц.).— Ред.*

слова сплетают мастерски, и если в том состоит разум, то всякий здешний дурак имеет его превеликую долю. Мыслят здесь мало, да и некогда, потому что говорят много и очень скоро. Обыкновенно отворяют рот, не зная еще, что сказать; а как затворить рот, не сказав ничего, было бы стыдно, то и говорят слова, которые машинально на язык попадаются, не заботясь много, есть ли в них какой-нибудь смысл. Притом каждый имеет в запасе множество выученных наизусть фраз, правду сказать, весьма общих и ничего не значащих, которыми, однако ж, отделывается при всяком случае. Сии фразы состоят обыкновенно из комплиментов, часто весьма натянутых и всегда излишних для слушателя, который пустоты слушать не хочет.— Вот общий, или, паче сказать, природный характер нации; но надлежит присовокупить к нему и развращение нравов, дошедшее до крайности, чтоб сделать истинное заключение о людях, коих вся Европа своими образцами почитает. Справедливость, конечно, требует исключить некоторых честных людей, прямо умных и почтения достойных; но они столь же редки, как и в других землях.

Предоставляя себе честь продолжить при первом случае примечания мои на здешние нравы и обычаи, прекращаю оные теперь, дабы не обременить ваше сиятельство чтением вдруг весьма пространного письма.

На прошедшей почте упомянул я о разнесшемся здесь слухе, будто бы живущий в Париже американский поверенный Франклин признан в характере посла. Сей слух оказался ложен и взят оттого, что Франклин действительно был, неизвестно зачем, призван в Версаль.

Будучи весьма доволен в лечении жены моей, считаю я остаться здесь до совершенного ее исцеления, которое пользующий ее доктор предвещает в скором времени.

4

Монпелье, 25 генв. (5 февр.) 1778.

Ведая, сколь милостивое участие ваше сиятельство приемлете в моем состоянии, почитаю за долг уведомить вас, милостивый государь, что надежда, которую имел я о выздоровлении жены моей, исполняется к моему истинному счастию. Не тщетно предпринял я столь дальное путешествие. Главная причина ее болезни истреблена, и le ver solitaire, от коего она столько времени страдала, на сих днях выгнан. Я возьму смелость описать здесь

образ ее лечения. Может быть, послужил он и у нас, хотя удобности наши к исцелению больных и гораздо здешних меньше.

С самого приезда нашего сюда по утрам пила она бульон с травами, имеющими силу vermifuge (выгонять глисты), как-то: папоротник и проч., а после сего спустя час давали ей пить ослицыно молоко, что приуготовляло ее силы к принятию наконец известного купленного королем лекарства. Пользующий ее доктор считает сие лекарство столь жестоким, что не хотел его употреблять иначе, как если все прочие не произведут никакого действия. Бульон и молоко давали ей три недели, а потом пила корсиканскую траву, называемую Mithocorton, и корень Valeriana; все сие, может быть, изнуряло червя, но не выгоняло. Напоследок доктор принужден был решиться на жестокое лекарство, и уже для сего назначен был день, пред которым дней за пять остановил доктор все прежние лекарства и заставил ее пить поутру и ввечеру по чайной ложке орехового масла. По счастью, накануне назначенного дня для приему последнего мучительного способа масло произвело все желаемое действие и выгнало червя; по рассмотрению его в микроскоп нашли не только его голову, но и приметили образ его репродукции. Здешний медицинский факультет считает сие новым откровением, и славный натуралист господин Гуан сочиняет диссертацию с пространным описанием сих примечаний. Я весьма рад, что выгнанный червь занимает такие умные головы, но гораздо больше рад тому, что он выгнан.

Отдавая справедливость искусству доктора г. Деламюра, который лечил жену мою с крайнею осторожностию и рачением, должен я признаться, что и климат способствовал много. Во все время ничего похожего на зиму мы не видали, кроме нескольких дождливых дней. Гульбище всегда было наполнено людьми. Прошлого 16/26 генваря после жары был пресильный гром, что для нас было весьма ново, ибо слышали гром тогда, когда у нас, может быть, многие отморозили уши. Прекраснее здешнего климата быть не может.

По предписанию нашего доктора считаем ехать в Спа, к водам, помощию которых может поправиться причиненное в теле расстройство толь долговременною болезнию жены моей. Ласкаюсь, милостивый государь, что сей способ послужит к совершенному выздоровлению, а между тем, оставляем на сих днях Монпелье, чтоб видеть Марсель и Тулон. Я не премину уведомить ваше сиятельство, что найду достойного сведения вашего.

С глубоким почтением и совершенною преданностию имею долг быть...

5

Париж, 20/31 марта 1778.

Последнее письмо мое к вашему сиятельству имел я честь отправить из Монпелье и уведомить вас, милостивый государь, что, видя здоровье жены моей пришедшим гораздо в лучшее состояние, взял я намерение воспользоваться остающимся временем до отъезда нашего в Спа и посмотреть некоторые южные французские провинции. Сей малый вояж стал причиною, что я так долго не писал к вашему сиятельству и что на сих только днях получил я милостивое письмо ваше от 8 января, потому что оно искало меня в Монпелье и по провинциям. Принеся за него нижайшее благодарение, почитаю все лестные для меня в нем выражения новым опытом вашей ко мне милости.

Я видел *Лангедок, Прованс, Дюфине, Лион, Бургонь, Шампань*. Первые две провинции считаются во всем здешнем государстве хлебороднейшими и изобильнейшими. Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим. Я имел честь вашему сиятельству описывать частию причины оному в прежних моих письмах; но главною поставляю ту, что подать в казну платится неограниченная и, следственно, собственность имения есть только в одном воображении. В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду.

Осмотрев все то, что заслуживало любопытство в сих провинциях, приехал я в Париж, в сей мнимый центр человеческих знаний и вкуса. Не имел я еще довольно времени в нем осмотреться; но могу уверить ваше сиятельство, что стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то, что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере. Неприлично изъясняться об оном откровенно отсюда, ибо могут здесь почитать меня или льстецом, или осуждателем; но не могу же не отдать и той справедливости, что надобно отрещись вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного. Все сие, однако ж, не ослепляет меня до того, чтоб не видеть здесь столько же, или и больше, совершенно дурного и такого, от чего нас боже избави. Словом, сравнивая и то и другое, осмелюсь вашему сиятельству чистосердечно признаться, что если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, возне-

годует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во *Францию*. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом.

Будучи уверен, что о здешних политических делах ваше сиятельство уведомляетесь из Петербурга, не вхожу в подробность оных; но вообще имею честь донести вам, милостивый государь, что положение здешних дел с Англиею столь худо, что война, конечно, неизбежна. Франция употребила к вооружению своему все то время, в которое Англия истощала силы свои в войне междоусобной, и, приготовясь таким образом, сделала трактат с американцами, как с державою независимою. Сей трактат содержан был в тайне по тот час, в который англичане решились послать к американцам своих комиссаров с такими мирными кондициями, каких им не принять почти нельзя. Для отвращения сего примирения здешний двор повелел своему в Лондоне послу объявить английскому королю о подписании трактата. Говорят, что король [1], выслушав от посла объявление, сказал ему точно сии слова: «Я уверен, что ваш государь предвидел все те следствия, кои от сего произойдут». Сказав сие, поворотился к нему спиною. Потом дано было знать послу, чтоб он ко двору более не ездил, и отправлен тотчас сюда курьер к послу, лорду Стормонту, чтоб он немедленно без аудиенции из Парижа выехал. С здешней стороны также из Лондона посла своего воротили. Словом, война хотя формально и не объявлена, но сего объявления с часу на час ожидают. Франклин, поверенный американский у здешнего двора, сказывают, на сих днях аккредитуется полномочным министром от Соединенных Американских Штатов.

Я не примечаю, чтоб приближение войны производило здесь большое впечатление. В первый день, как английский посол получил курьера с отзывом, весь город заговорил о войне; на другой день ни о чем более не говорили, как о новой трагедии; на третий — об одной женщине, которая отравилась с тоски о своем любовнике; потом о здешних кораблях, которые англичанами остановлены. Словом, одна новость заглушает другую, и

[1] Георг III.

новая песенка столько же занимает публику, сколько и новая война. Здесь ко всему совершенно равнодушны, кроме вестей. Напротив того, всякие вести рассеваются по городу с восторгом и составляют душевную пищу жителей парижских. О войне нашей с турками говорят здесь, как о деле весьма сомнительном, и больше думают, что ее вовсе не будет. Рассуждают многие, что мы сами ее желаем для усугубления нашей славы. Ваше сиятельство показали мне истинный опыт милости уведомлением меня о положении наших дел с Портою. Позвольте о продолжении оного принести вам нижайшую просьбу.

Обращусь теперь к описанию двух происшествий, кои по приезде моем занимали публику. Первое: поединок дюка[1] де Бурбона с королевским братом, графом ..., а второе: прибытие сюда г. Волтера.

Граф в маскараде показал неучтивость дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж ее, не захотел стерпеть сей обиды. А как не водится вызывать формально на дуэль королевских братьев, то дюк стал везде являться в тех местах, куда приходил граф, чем показывал ему, что ищет и требует неотменно удовольствия[2]. Несколько дней публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец граф принужденным нашелся выйти на поединок. Сражение минут с пять продолжалось, и дюк оцарапал его руку. Сие увидя, один стоявший подле них гвардии капитан доложил дюку, что королевский брат поранен и что как драгоценную кровь щадить надобно, то не время ль окончать битву? На сие граф сказал, что обижен дюк и что от него зависит, продолжать или перестать. После сего они обнялись и поехали прямо в спектакль, где публика, сведав, что они дрались, обернулась к их ложе и аплодировала им с несказанным восхищением, крича: *браво, браво, достойная кровь Бурбона!* Я свидетелем был сей сцены, о которой весьма бы желал знать мнение вашего сиятельства.

Прибытие Волтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился. Ваше сиятельство из последующего усмотреть изволите, можно ль иное заключить из приема, который сделала ему публика.

---

[1] герцога (от *франц.* duc).— *Ред.*

[2] Вероятно, описка. Следует читать: «удовлетворения».— *Ред.*

По прибытии его сюда, сколько стихотворцы, ему преданные, пишут в его славу, столько ненавидящие его посылают к нему безыменные сатиры. Первые печатаются, а последние нет, ибо правительство запретило особливым указом печатать то, что Волтеру предосудительно быть может. Такое уважение сделано ему сколько за великие его таланты, столько и ради старости. Сей осьмидесятипятилетний старик сочинил повую трагедию: «Ирена, или Алексий Комнин», которая была и представлена. Нельзя никак сравнить ее с прежними; но публика приняла ее с восхищением. Сам автор за болезнию не видал первой репрезентации [1]. Он только вчера в первый раз выехал; был в Академии, потом в театре, где нарочно представили его новую трагедию.

При выезде со двора карета его препровождена была до Академии бесчисленным множеством народа, непрестанно рукоплескавшего. Все академики вышли навстречу. Он посажен был на директорском месте и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единодушным восклицанием в директоры на апрельскую четверть года. Когда сходил он с лестницы и садился в карету, тогда народ закричал, чтоб все снимали шляпы. От Академии до театра препровождали его народные восклицания. При вступлении в ложу публика аплодировала многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут старший актер, Бризар, вошел к нему в ложу с венком, который и надел ему на голову. Волтер тотчас снял с себя венок и с радостными слезами вслух сказал Бризару: «Ah, Dieu! vous voulez donc me faire mourir!» [2] Трагедия играна была гораздо с бо́льшим совершенством, нежели в прежние представления. По окончании ее новое зрелище открылось. Занавес опять был поднят. Все актеры и актрисы, окружа бюст Волтеров, увенчивали его лавровыми венками. Сие приношение публика препроводила рукоплесканием, продолжавшимся близ четверти часа. Наконец представлявшая Ирену актриса, г-жа Вестрис, обратясь к Волтеру, читала похвальные стихи. Для показания своего удовольствия публика велела повторить чтение стихов и аплодировала с великим криком. Как же скоро Волтер сел в свою карету, то народ, остановив кучера, закричал: «Des flambeaux, des flambeaux!» [3] По принесении факелов, велели кучеру ехать шагом, и бесчисленное множество народа с факелами проводило его до самого дома, крича непрестанно: «Vive Voltaire!» [4] — Сколь ни много

[1] представления (от *франц.* représentation).— *Ред.*
[2] Ах, боже! вы хотите уморить меня! *(франц.).— Ред.*
[3] Факелов, факелов! *(франц.).— Ред.*
[4] Да здравствует Вольтер! *(франц.).— Ред.*

торжеств имел г. Волтер в течение века своего, но вчерашний день был, без сомнения, наилучший в его жизни, которая, однако, скоро пресечется, ибо сколь он теперь благообразен, ваше сиятельство увидеть изволите по приложенному здесь его портрету, весьма на него похожему.

Что ж надлежит до другого чудотворца, Сен-Жерменя, я расстался с ним дружески, и на предложение его, коим сулил мне золотые горы, ответствовал благодарностию, сказав ему, что если он имеет толь полезные для России проекты, то может отнестися с ними к находящемуся в Дрездене нашему поверенному в делах. Лекарство его жена моя принимала, но без всякого успеха; за исцеление ее обязан я монпельевскому климату и ореховому маслу; а славному доктору г. Деламюру одолжен я тем, что он не забыл сего простого лекарства между многими премудрыми, за которые с меня брали все, что взять могли.

6

Париж, 14/25 июня 1778.

Употребляя все время моего в Париже пребывания на осмотрение сего пространного города, медлил я уведомлять вас, милостивый государь, о моих на него примечаниях для того, что хотел сделать их с бо́льшим основанием и точностию. Вот истинная причина, для которой пишу отсюда другое только письмо к вашему сиятельству. В первом описывал я, между прочим, прием здесь Волтера и бывший поединок. Беспокоит меня, что о получении оного не имел я счастия быть уведомлен. Весьма было бы досадно, если б оно, или ваше, было где-нибудь удержано.

Не могу, конечно, сказать, чтоб я и теперь знал Париж совершенно, ибо надобно жить в нем долго, чтоб хорошенько с ним познакомиться. По крайней мере, в то короткое время, которое здесь живу, старался я узнать его по всей моей возможности. Беру смелость обременить ваше сиятельство весьма длинным описанием того, на что обращал я здесь мое внимание. К сему ободрен я и последним письмом вашим, которое имел я честь получить от 22 февраля и из которого, к сердечному моему удовольствию, вижу, что продолжение моих уведомлений вам угодно. Счастие сие приписываю главному достоинству всех моих к вам писем, что перо мое и сердце руководствуются искренним к вам усердием и правдою, которую во всех описаниях моих соблюсти стараюсь.

Париж может по справедливости назваться сокращением целого мира. Сие титло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранных, стекающихся в него от всех концов земли. Жители парижские почитают свой город столицею света, а свет — своею провинциею. Бургонию, например, считают близкою провинциею, а Россию дальнею. Француз, приехавший сюда из Бордо, и россиянин из Петербурга называются равномерно чужестранными. По их мнению, имеют они не только наилучшие в свете обычаи, но наилучший вид лица, осанку и ухватки, так что первый и учтивейший комплимент чужестранному состоит не в других словах, как точно в сих: «Monsieur, vous n'avez point l'air étranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!» (Вы совсем не походите на чужестранного; поздравляю вас!) Возмечтание их о своем разуме дошло до такой глупости, что редкий француз не скажет сам о себе, что он преразумен. Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком. Дабы сделать сие изыскание, применял я к здешним умницам знаменование разума в целом свете. Я нашел, что для них оно слишком длинно; они гораздо его для себя поукоротили. Чрез слово *разум,* по большей части, понимают они одно качество, а именно *остроту* его, не требуя отнюдь, чтоб она управляема была здравым смыслом. Сию остроту имеет здесь всякий без выключения, следственно, всякий без затруднения умным здесь признается. Все сии умные люди на две части разделяются: те, которые не очень словоохотны и каких, однако ж, весьма мало, называются philosophes; [1] а тем, которые врут неумолкно и каковы почти все, дается титло aimables [2]. Судят все обо всем решительно. Мнение первого есть мнение наи-

[1] философы *(франц.).— Ред.*

[2] любезных *(франц.).— Ред.*

Далее в черновике следовал текст, опущенный в беловом тексте письма: «Первые сносны, и в числе их есть действительно достойные люди, а последние никак не терпимы, а особливо же те, которые врут не только словесно, но и письменно. Редкий автор не враль, редкий в душе своей не уверен, что он великий человек, и редкий не бывал смертный неприятель всем прочим вралям своим товарищам. Примечательно, что в одной Франции за стихи, и часто за преглупые, становятся злодеями и целые фамилии друг друга гонят преподлейшим образом».— *Ред.*

лучшее, ибо спорить не любят и тотчас с великими комплиментами соглашаются, потому что не быть одного мнения с тем, кто сказал уже свое, хотя бы и преглупое, почитается здесь совершенным *незнанием жить;* итак, чтоб слыть умеющим жить, всякий отказался иметь о вещах свое собственное мнение. Из сего заключить можно, что за истиною не весьма здесь гоняются. Не о том дело, что́ сказать, а о том, как сказать. Я часто примечал, что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не разумеет. Со всем тем по окончании вранья называют его aimable et plein d'ésprit[1]. Сколько излишне здесь, говоря, думать, столько нужно как наискорее перенять самые мелочи в обычаях, потому что нет вернее способа прослыть навек дураком, потерять репутацию, погибнуть невозвратно, как если, например, спросить при людях пить между обедом и ужином. Кто не согласится скорее умереть с жажды, нежели, напившись, влачить в презрении остаток своей жизни? Сии мелочи составляют целую науку, занимающую время и умы большей части путешественников. Они тем ревностнее в нее углубляются, что живут между нациею, где ridicule[2] всего страшнее. Нужды нет, если говорят о человеке, что он имеет злое сердце, негодный прав; но если скажут, что он ridicule, то человек действительно пропал, ибо всякий убегает его общества. Нет способнее французов усматривать смешное, и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон[3]. Упражняясь весь свой век, можно сказать, не в себе, но вне себя, никто, следовательно, не проницает в подробность, а довольствуется смотреть на одну вещей поверхность, ибо познавать подробности невозможно, не рассматривая действий своего собственного разума, чтоб видеть, не ошибаюсь ли сам в моих рассуждениях. Я думаю, что сия причина мешает здешней нации успевать в науках, требующих постоянного внимания, и что оттого считают здесь одного математика на двести стихо-

[1] любезным и остроумным *(франц.).— Ред.*

[2] смешное *(франц.).— Ред.*

[3] «Бесспорно, что вольность есть первый дар природы и что без нее народ мыслящий не может быть счастлив. Но в государстве, где народ родился и привык жить в неволе, мудрено вдруг народу возвратить сей [естественный] дар без смертельного погубления самого государства. [Или народ из неволи вдруг ворвется в самовольство, или вольность. Нет ничего ближе...]» (текст, сохранившийся в черновике письма).— *Ред.*

творцев,— разумеется, дурных и хороших. Европа почитает французов хитрыми. Не знаю, не предрассудок ли заставляет иметь сие о них мнение? Кажется, что вся их прославляемая хитрость отнюдь не та, которая располагается и производится рассудком, а та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит. Слушаться рассудка и во всем прибегать к его суду — скучно; а французы скуки терпеть не могут. Чего не делают они, чтоб избежать скуки, то есть чтоб ничего не делать! И действительно, всякий день здесь праздник. Видя с утра до ночи бесчисленное множество людей в беспрерывной праздности, удивиться надобно, когда что здесь делается. Не упоминая о садах, всякий день пять театров наполнены. Все столько любят забавы, сколько труды ненавидят; а особливо черной работы народ терпеть не может. Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти нигде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, а подле нее, в другой, вывешена битая скотина с текущей кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не отведено для бойни особливого места. Такую же мерзость нашел я и в прочих французских городах, которые все так однообразны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в одном городе, тот все города видел. Париж пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее. Напрасно говорят, что причиною нечистоты многолюдство. Во Франции множество маленьких деревень, но ни в одну нельзя въезжать, не зажав носа. Со всем тем привычка от самого младенчества жить в грязи по уши делает, что обоняние французов нимало от того не страждет. Вообще сказать можно, что в рассуждении чистоты перенимать здесь нечего, а в рассуждении благонравия еще меньше. Удостоверясь в сей истине, искал я причины, что привлекает сюда такое множество чужестранцев?

Общества; но смело скажу, что нет ничего труднее, как чужестранцу войти в здешнее общество, следовательно, и вошло их очень мало. Внутреннее ощущение здешних господ, что они дают тон всей Европе, вселяет в них гордость, от которой защититься не могут всею добротою душ своих, ибо действительно в большей их части душевные расположения весьма похваляются. Сколько надобно стараний, исканий, низостей, чтоб впущену быть в знатный дом, где, однако ж, ни словом

гостя не удостоивают. Имея сей пример перед собою в моих любезных согражданах, расчел я, что, по краткости времени моего здесь пребывания, не для чего покупать так дорого знакомство, или, справедливеее сказать, собственное свое унижение. Я нашел множество других интереснейших вещей к моему упражнению; а видеть здешних вельмож и их обращение довольствовался я при случаях, удачею мне представлявшихся. Впрочем, чтоб вашему сиятельству иметь ясное понятие, как здесь наши и прочие вояжеры принимаются, то надлежит себе представить в Петербурге некоторых иностранных князей: Кантакузенов, Маврокордато... Всякий, увидясь с ними, взглянет на них ласково, за визит пришлет карточку, равно как и дамы наши отдают женам их визиты; но кто имеет или иметь захочет с ними всегдашнее общество? Вот точное здесь положение между прочими и наших господ и госпож относительно знатных здешних домов! Чувствую, что бог создал нас не хуже их людьми; каково же быть волохами? Не понимаю, как можно, почитая самого себя, кланяться, добиваться и ставить за превеличайшее счастие и честь такие знакомства, в которых не может быть никакого удовольствия, потому что есть большое унижение.

Ученые люди; но из невероятного множества чужестранцев, может быть, тысячный человек приехал сюда с намерением воспользоваться своим здесь пребыванием для приращения знаний своих. А притом и о здешних ученых можно по справедливости сказать, что весьма мало из них соединили свои знания с поведением. Я почти со всеми познакомился. Томас, сочинитель переведенного мною похвального слова Марку Аврелию, Мармонтель и еще некоторые ходят ко мне в дом. Весьма учтивое и приятельское их со мною обхождение не ослепило глаз моих на их пороки. Исключая Томаса, которого кротость и честность мне очень понравились, нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести. Конечно, ни один из них не поколеблется сделать презрительнейшую подлость для корысти или тщеславия. Я не нахожу, что б в свете так мало друг на друга походило, как философия на философов.

По точном рассмотрении вижу я только две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев в таком множестве: *спектакли* и — с позволения сказать — *девки*. Если две сии приманки отнять сегодня, то завтра две трети чужестранцев разъедутся из Парижа. Бесчинство дошло до такой степени, что знатнейшие люди не стыдятся сидеть с девками в ложах публично.

Сии твари осыпаны бриллиантами. Для них великолепные дома, столы, экипажи — словом, они одни наслаждаются всеми благами мира сего. С каким искусством они умеют соединить прелести красоты с приятностию разума, чтоб уловить в сети жертву свою! Сею жертвою по большей части бывают чужестранцы, кои привозят с собою обыкновенно денег сколько можно больше, и если не всегда здравый ум, то, по крайней мере, часто здравое тело; а из Парижа выезжают, потеряв и то и другое, часто невозвратно. Я думаю, что если отец не хочет погубить своего сына, то не должен посылать его сюда ранее двадцати пяти лет, и то под присмотром человека, знающего все опасности Парижа. Сей город есть истинная зараза, которая хотя молодого человека не умерщвляет физически, но делает его навек шалуном и ни к чему не способным, вопреки тому, как его сделала природа и каким бы он мог быть, не ездя во Францию.

Что ж принадлежит до *спектаклей,* то комедия возведена здесь на возможную степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натуре столь совершенным. Словом, комедия в своем роде есть лучшее, что я в Париже видел. Напротив того, трагедию нашел я посредственною. По смерти Лекеневой она гораздо поупала. Оперу можно назвать великолепнейшим зрелищем. Декорации и танцы прекрасны, но певцы прескверны. Удивился я, как можно бесстыдно так реветь, а еще более — как можно такой рев слушать с восхищением!

Обременив ваше сиятельство моим пространным описанием, чувствую, что письмо мое сколь длинно, столь и нескладно; но, однако, посылаю его, будучи уверен, что вы, милостивый государь, взирать будете не на слог его, но на усердие, с которым я хотел исполнить повеление ваше в доставлении вам моих примечаний на Францию. Из Парижа выеду на будущей неделе и возьму смелость писать к вашему сиятельству, о чем отсюда писать неловко.

7

Париж, август 1778.

[...] Сказывал он ей, что существо его сочинения таково, что не может оно быть напечатано не иначе как после смерти его, ибо в противном случае он не может не погибнуть. Невзирая на сии предварения, госпоже Руссо показалось скучно ожидать кончины своего супруга. В те часы, когда хаживал

он со двора, пригласила она одного книгопродавца и повелела списывать манускрипт, продав ему сие творение за сто луидоров. Автор не имел еще ни малейшего подозрения на сие безумство, как уже списанный манускрипт был отвезен в Голландию и продан тамошнему книгопродавцу.

Содержание книги и многие в ней подробности, касающиеся до самого автора и до здешних знатнейших господ, стало в публике рассеиваться, и Руссо узнал, что жена его продала все секреты его жизни. В крайнем страхе бросил он жену свою и скрылся из Парижа в деревню Ermonovill, к своему другу, маркизу Жерардену, который дал ему убежище. Несколько дней была жена его в беспокойстве о судьбе его и, терзаемая раскаянием, пришла к нему, как скоро узнала место его пребывания. Между тем правительство [предприяло остановить] издание книги, и Руссо, [удручен] будучи бедою, пришел прямо в отчаяние.

Образ смерти его заставляет думать, что он отравился. В деревне, где он жил, был крестьянский мальчик, который остротою своею понравился Руссо, и [они виделись] непрестанно. Накануне смерти своей повелел он тому мальчику разбудить себя гораздо ранее, обещая с ним идти в поле, чтоб смотреть восхождение солнца. На другой день действительно поутру с ним пошел и, оставя его бегать по полю, сам стал на колена и, подняв руки к небу, молился со слезами. Сию сцену рассказывал после тот мальчик, который один был сему свидетель.

По возвращении его в дом хозяева приметили в нем необычайную бледность и хотели [подать] ему помочь, но он отвечал, что ни в какой помочи нужды не имеет, и, взяв за руку жену свою, просил позволения идти с нею в свою комнату, имея сказать ей нечто важное. Оставшись с нею, обнял ее, как человек, который расстается навсегда. Потом, отворив окно, смотрел на небо, говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством создателя, смотря на прекрасное зрелище природы. Несколько минут продолжалось сие исступление, и потом упал мертвый.

Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений. Считая, что прежде смерти его никто читать ее не будет, изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели; словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце.

Читавший сие сочинение его сказывает, что, между прочим, упоминает он о приключении, случившемся в его молодости. В доме, где он жил, была служанка, в которую он влюбился. Однажды пришел к хозяевам купец с вещами. Руссо был беден и, не имея чем дарить любовницу, уступил искушению украсть одну из вещей продажных. Знав, что девка добродетельна и подарка из рук его не возьмет, положил он в сундук ее украденную вещь, считая, что сделает ей нечаянное удовольствие. Между тем хватились пропажи. Стали везде искать и нашли ее в сундуке у девки. Сия несчастная, устрашась пытки, всклепала на себя кражу. Руссо не имел сердца оправдать ее, и невинная была пытана как преступница.

Предисловие Руссово к сему неподражаемому сочинению здесь в великом почтении. Оно напечатано в парижском журнале, который, равно как последний «Merkure de France» et «Le courir de l'Europe», имею честь при сем приложить. Здесь так почитают сие предисловие, что почти все наизусть его знают.

8

Ахен, от 18/29 сентября 1778.

Из Парижа имел я честь писать к вашему сиятельству три письма. Не знаю, дошли ль верно два последние? А как вы обыкновенно удостоиваете меня уведомлением о получении моих писем, то долговременное ваше молчание весьма меня смущает. Ласкаюсь, однако, что не отмена ваших ко мне милостей производит оное и что в особе вашей буду иметь навсегда моего благодетеля, который имеет все на свете права на вечную мою благодарность и усердие.

Я оставил Францию. Пребывание мое в сем государстве убавило сильно цену его в моем мнении. Я нашел доброе гораздо в меньшей мере, нежели воображал, а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог. Я рассматривал с всевозможным вниманием все то, что могло способствовать мне к приобретению точнейшего понятия о характере французов и о настоящем их положении относительно разных частей правительства. Позвольте, милостивый государь, примечания мои на оное представить вашему сиятельству и добавьте своим проницанием то, в чем мои рассуждения недостаточны будут.

Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собою одну нацию. Выключа их из французской, при-

мечал я вообще ее свойство. Надлежит отдать справедливость, что при неизъяснимом развращении нравов есть во французах доброта сердечная. Весьма редкий из них злопамятен — добродетель, конечно, непрочная, и полагаться на нее нельзя; по крайней мере, и пороки в них не глубоко вкоренены. Непостоянство и ветреность не допускают ни пороку, ни добродетели в сердца их поселиться. К ним совершенно приличен стих Кребильонов:

Criminel sans penchant, vertueux sans dessein [1].

Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила. Острота, не управляемая рассудком, не может быть способна ни на что, кроме мелочей, в которых и действительно французы берут верх пред целым светом. Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей, обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги. Из денег нет труда, которого б не поднял, и нет подлости, которой бы не сделал. К большим злодеяниям не способен. Самые убийцы становятся таковыми тогда только, когда умирают с голоду; как же скоро француз имеет пропитание, то людей не режет, а довольствуется обманывать. Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они человеческою слабостию. Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие. Я докажу опытом справедливость моего примечания. Приехал в Париж брат г. Зорича, полковник Неранчич, человек, впрочем, честный, но совсем незнакомый с науками. Служил он весь век в гусарских полках, никогда не брал книг в руки и никогда карт из рук не выпускал. Лишь только проведали д'Аламберт, Мармонтель и прочие, что он брат г. Зорича, то не почли уже за нужное осведомляться о прочих его достоинствах, а явились

[1] Преступный без склонности, добродетельный без намерения *(франц.).— Ред.*

у него в передней засвидетельствовать свое нижайшее почтение. Мое к ним душевное почтение совсем истребилось после такого подлого поступка. Расчет их ясно виден: они сею низостью ласкались чрез Неранчича достать подарки от нашего двора. Рука, от которой бы они их получили, удовольствовала б их тщеславие, а подарки — корыстолюбие.

Сколько я понимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии: но они, которые ничему не верят, доказывают ли собою возможность своей системы? Кто из мудрых века сего, победив все предрассудки, остался честным человеком? Кто из них, отрицая бытие божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью? Одно тщеславие их простирается до того, что сами науки сделались источником непримиримой вражды между семьями. Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля, ибо острота французского разума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля и клясться пред светом, что Расин пред Корнелем, а брат его перед ним гроша не сто́ят. Вообще ни один писатель не может терпеть другого и почитает праздником всякий случай уязвить своего совместника. При всей их премудрости нет в них и столько рассудка, чтоб осмотреться, как бесчестят себя сами, ругая друг друга, и в какое посмеяние приводят себя у тех, в коих хотят вселить к себе почтение.

Вот каковы те люди, из которых Европа многих почитает великими и которые, можно сказать, всей Европе повернули голову! Правда и то, что в самой Франции число их обожателей несравненно меньше, нежели в других государствах, потому что французы сами очевидные свидетели их поведения, а чужестранцы смотрят на них издали. Истинно, нет никакой нужды входить с ними в изъяснения, почему считают они религию недостойною быть основанием моральных человеческих действий и почему признание бытия божия мешает человеку быть добродетельным? Но надлежит только взглянуть на самих господ нынешних философов, чтоб увидеть, каков человек без религии, и потом заключить, как порочно было бы без оной все человеческое общество!

Обращусь теперь к начатому описанию характера национального. Господа философы отвели меня несколько от моей главной материи; но я, остановясь на них, хотел показать, что со стороны практического нравоучения перенимать у французов, кажется, нечего. Приметил я вообще, что француз всегда

молод, а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость: следственно, в совершенном возрасте никогда не бывает. Пока может, утопает он в презрительных забавах, и сей род жизни делает все состояния так равными, что последний повеса живет в приятельской связи с знатнейшею особою. Равенство есть благо, когда оно, как в Англии, основано на духе правления; но во Франции равенство есть зло, потому что происходит оно от развращения нравов. Нет сомнения, что все сии злоупотребления имеют свой источник в воспитании, которое у французов пренебрежено до невероятности. Первые особы в государстве не могут никогда много разниться от бессловесных, ибо воспитывают их так, чтоб они на людей не походили. Как скоро начинают понимать, что попы вселяют в них предрассудки, подавляющие смысл младенческий, и они выростают обыкновенно с одним чувством подобострастия к духовенству. Нынешний король трудолюбив и добросердечен; но оба сии качества управляются чужими головами. Один из принцев имеет великую претензию на царство небесное и о земных вещах мало помышляет. Попы уверили его, что, не отрекшись вовсе от здравого ума, нельзя никак понравиться богу, и он делает все возможное, чтоб стать угодником божиим. Другой — победил силу веры силою вина: мало людей перепить его могут. Сверх того, почитается он первым петиметром, и все молодые люди подражают его тону, который состоит в том, чтоб говорить грубо, произнося слова отрывисто; ходить переваливаясь, разинув рот, не смотря ни на кого; толкнуть всякого, с кем встретится; смеяться без малейшей причины, сколько сил есть громче,— словом, делать все то, что дурачество и пьянство в голову вложить могут. Таковы все нынешние французские петиметры.

Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Нет генерального плана воспитания, и все юношество учится, а не воспитывается. Главное старание прилагают, чтоб один стал богословом, другой живописцем, третий столяром; но чтоб каждый из них стал человеком, того и на мысль не приходит. Итак, относительно воспитания Франция ни в чем не имеет преимущества пред прочими государствами. В сей части столько же и у них недостатков, сколько и везде, но в тысячу раз больше шарлатанства. Редкий отец не изобретает нового плана для воспитания детей своих. Часто новый его план хуже старого; но сей поступок доказывает по крайней мере, что сами они чувствуют недостатки общего у себя воспитания, не смысля разобрать, в чем состоят они действительно.

Дворянство французское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем несравненно. Ни звание дворянина, ни орден св. Людовика не мешают во Франции ходить по миру. Исключая знатных и богатых, каждый французский дворянин, при всей своей глупой гордости, почтет за великое себе счастие быть принятым гувернером к сыну нашего знатного господина. Множество из них мучили меня неотступными просьбами достать им такие места в России; но как исполнение их просьб было бы убийственно для невинных, доставшихся в их руки, то уклонился я от сего злодеяния и почитаю долгом совести не способствовать тому злу, которое в отечестве нашем уже довольно вкореняется.

Причина бедности дворянства есть та же самая, которая столько утвердила богатство и силу их духовенства, а именно: право большего сына наследовать в родительском имении. Для меньших братьев два пути отверсты: военная служба и чин духовный. В первом предстоят труды, оканчивающиеся почти всегда бедностию, а в последнем священная праздность и изобилие. Обыкновенно фамилия из сродннческой горячности преклоняет меньших братьев к последнему; но часто французская живость велит им сопротивляться сему благому совету и, приняв военную службу, поссориться со всею своею роднею. Со всем тем нет ни одной дворянской фамилии, где б не было из меньших братьев человека благоразумного, предпочтившего состояние пастыря состоянию овцы. Все архиепископы и епископы суть братья знатнейших особ, подкрепляемые у двора своею роднею и подкрепляющие себя в народе содержанием его в крайнем суеверии. Ваше сиятельство из сего усмотреть изволите, сколь тверда во Франции сила духовенства, когда в сохранении его сам двор видит свою пользу. Суеверие народное простирается там до невероятности. Я опишу вам, милостивый государь, один из духовных обрядов, который сию истину неоспоримо докажет. Город Э (Aix) есть главный в Провансе. Парламент и все лучшие люди сей провинции имеют в нем свое пребывание; следственно, должно быть в нем просвещения больше, нежели в других городах низшего класса. Невзирая на сие, вот каким образом ежегодно отправляется в Э праздник, называемый Fête Dieu[1]. Торжество состоит в процессии, в которой святые тайны носимы бывают по городу в препровождении всего народа. Знатнейшие особы наряжены все в маскарадное платье. Один представляет Пилата, другой

[1] Праздник бога *(франц.)*.

Каиафу и так далее. Дамы и девицы благородные наряжены мироносицами и прочими святыми, а прекраснейшая представляет богородицу. Мещанство все наряжено чертями: почетнейший Вельзевулом, а прочие по степеням своих достоинств. Все сии черты идут пред телом Христовым с превеликим ревом и пятятся назад, будто бы сила святых тайн от себя их отгоняет. За несколько дней пред церемониею разделение ролей производит многие тяжбы, особливо между мещанством. Часто приходит пред суд тот, у кого ролю отнимают, и доказывает свою претензию тем, что отец его был дьявол, дед дьявол и что он безвинно теряет звание своих предков. Во всех прочих французских городах, не исключая самого Парижа, есть множество подобных сему дурачеств, служащих несомненным доказательством, что народ их пресмыкается во мраке глубочайшего невежества.

В рассуждении злоупотребления духовной власти я уверен, что Франция несравненно несчастнее всех прочих государств. Правда, что невежество попов делает часто поношение всей нации; но из сих двух крайностей я лучше видеть хочу попов-невежд, нежели тиранов. Сила духовенства во Франции такова, что знатнейшие не боятся потерять ее никаким соблазном. Прелаты публично имеют на содержании девок, и нет позорнее той жизни, какую ведут французские аббаты.

Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве. Король, будучи не ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы. Les Lettres de cachet суть именные указы, которыми король посылает в ссылки и сажает в тюрьму, которым никто не смеет спросить причины и которые весьма легко достаются у государя обманом, что доказывают тысячи примеров. Каждый министр есть деспот в своем департаменте. Фавориты его делят с ним самовластие и своим фаворитам уделяют. Что видел я в других местах, видел и во Франции. Кажется, будто все люди на то сотворены, чтоб каждый был или тиран, или жертва. Неправосудие во Франции тем жесточе, что происходит оно непосредственно от самого правительства и на всех простирается. Налоги, безрезонные, частые, тяжкие и служащие к одному обогащению ненасытимых начальников; никто, не подвергаясь беде, не смеет слова молвить против сих утеснений. Надобно тотчас выбрать одно из двух: или платить, или быть брошену в тюрьму. C'est l'affaire du goût. Всякий делает, что хочет.

Народ в провинциях еще несчастнее, нежели в столице. Судьба его зависит главнейше от интенданта; но что есть интендант? Вор, имеющий полномочие грабить провинцию безотчетно. Чем дороже стала ему у двора сия привилегия, тем для народа тягостнее. Каждый из них начинает ремесло свое тем, что захватывает откуп хлеба, нужнейшего для жизни произрастения, и принуждает через то жителей покупать у него жизнь за ту цену, которую определить заблагорассуждает.

Франция вся на откупу. Невозможно выехать на несколько шагов из Парижа, чтоб, воротясь, не быть остановлену таможнею. Почти за все ввозимое в город платится столько пошлины, сколько сама вещь стоит. Из уважения к особе государя узаконено не сбирать пошлины в том одном месте, где его присутствие; следственно, в тот день, в который король приехал бы в Париж, пошлина не должна собираться с народа. Сие причиною, что король, будучи нередко у решетки Парижа, в него не въезжает; он уже несколько лет не был в Париже для того, что по контракту отдал его грабить государственным ворам. Можно по всей справедливости сказать, что Версаль есть место, куда французского короля посылают откупщики в вечную ссылку.

Другой источник казенных доходов во Франции есть продажа чинов и должностей — зло безмерное, вымышленное в несчастные времена, когда не было откуда взять денег на нужнейшие государственные расходы. Сие изобретение, доставив на то время большую подмогу, понравилось правительству. Время протекло; чины благополучно продавались; иной не мог, другой не хотел, третий не смел предупредить того зла, которое со временем необходимо долженствовало родиться от торговли сего рода. Мало-помалу доходы от продажи чинов стали присвояться не к своим назначениям. Надлежало вымышлять вседневно на продажу новые чины, новые должности; но и того недоставало. Надлежало усугубить налоги, и нация нашлась в положении бедственнейшем прежнего. Множество подлых людей душою и происхождением покупали себе права и способы быть орудиями народных утеснений. Доверенность к начальникам уступила место душевному к ним презрению, ибо к приобретению начальства одни деньги потребны стали. Ныне все зловредные следствия продажи чинов терзают государство, и нет средства к избавлению. Король не в состоянии возвратить денег, взятых за продажу, а не возвратя денег, нельзя отнять проданного. При последнем заседании парламента сделан был план уничтожению сей торговли, но

тот план, изобретенный, впрочем, коварством и злобою, не мог быть произведен в действо без потрясения всего государства, и опыт доказал, что продажа чинов во Франции есть зло нужное и ничем неотвратимое.

Не быв военным человеком, не могу о французских войсках подать вашему сиятельству идеи другим образом, как сообщив слышанные мною рассуждения от беспристрастных чужестранцев. Вообще говорят, что нет в их войске души военной. Всякий солдат резонирует, следственно, плохо повинуется. При мне король смотрел свой полк. Все чужестранные, между коими были из наших генерал-майор князь Долгорукий, полковники Бибиков и Неранчич, не могли от смеха удержаться, смотря на маневры. Я, не смысля ничего в сем искусстве, мог приметить, что солдаты командиров своих нимало не уважают. Несколько раз полковник marquis de Châtelet, подъезжая к фрунту, кричал: «Paix, messieurs, paix! je vous en prie» [1], ибо солдаты, разговаривая один с другим о своих делах, изо всей силы хохотали. Офицеры, по общему признанию, ниже понятия о должностях своих не имеют. Осмелюсь рассказать вашему сиятельству виденное мною в Монпелье, чтоб представить вам пример их военной дисциплины. Губернатор тамошний, граф Перигор, имеет в театре свою ложу. У дверей оной обыкновенно ставился часовой с ружьем, из уважения к его особе. В один раз, когда ложа наполнена была лучшими людьми города, часовой, соскучив стоять на своем месте, отошел от дверей, взял стул и, поставя его рядом со всеми сидящими знатными особами, сел тут же смотреть комедию, держа в руках свое ружье. Подле него сидел майор его полка и кавалер св. Людовика. Удивила меня дерзость солдата и молчание его командира, которого взял я вольность спросить: для чего часовой так к нему присоседился? «C'est qu'il est curieux de voir la comédie» [2],— отвечал он с таким видом, что ничего странного тут и не примечает.

Тяжебные дела во Франции так же несчастны, как и у нас, с тою только разницею, что в нашем отечестве издержки тяжущихся не столь безмерны. Правда, что у нас и у них всего чаще обвинена бывает сторона беспомощная; но во Франции, прежде нежели у правого отнять, надлежит еще много сделать церемоний, которые обеим сторонам весьма убыточны. У нас же, по крайней мере, в том преимущество, что дейст-

[1] Тихо, господа, тихо! я вас прошу *(франц.).— Ред.*
[2] Потому что ему любопытно смотреть комедию *(франц.).— Ред.*

вуют гораздо проворнее, и как скоро вступился какой-нибудь полубоярин, сродни фавориту, то в самый тот час дело берет уже совсем другой оборот и приближается к концу. Скажут мне, что французы превосходят нас в гражданских делах красноречием и что их стряпчие великие витии, а наши безграмотны. Правда; но все сие весьма хорошо для французского языка, а не для правого дела. При бессовестных судьях Цицерон и Вахтин равные ораторы.

Полиция парижская славна в Европе. Говорят, что полициймейстер их всеведущ, что он, как невидимый дух, присутствует везде, слышит всех беседы, видит всех деяния и, кроме одних помышлений человеческих, ничто от него не скрыто. Поздравляю его с таким преестественным проницанием; но при сем небесном даре желал бы я ему лучшего обоняния, ибо на скотном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо больше, нежели пред самыми дворцами французских королей. В рассуждении дешевизны я иного сказать не могу, как что в весьма редких европейских городах жизнь так безмерно дорога, как в Париже; зато и бедность в нем несказанная; и хотя нищим шататься запрещено, однако я нигде столько их не видывал. Впрочем, парижские купцы, как и везде, стараются свой товар продать сколько можно дороже. Разница только та, что французы обманывают несравненно с большим искусством и не знают в обманах ни меры, ни стыда. Что же касается до безопасности в Париже, то я внутренно уверен, что всеведение полициймейстера не весьма действительно и польза от полицейских шпионов отнюдь не соответствует той ужасной сумме, которую полиция на них употребляет. Грабят по улицам и режут в домах нередко. Строгость законов не останавливает злодеяний, рождающихся во Франции почти всегда от бедности, ибо, как я выше изъяснился, французы, по собственному побуждению сердец своих, нимало к злодеяниям не способны и одна нищета влагает у них нож в руку убийцы. Число мошенников в Париже несчетно. Сколько кавалеров св. Людовика, которым, если, не украв ничего, выходят из дому, кажется, будто нечто свое в доме том забыли! Словом, в рассуждении всех полицейских предметов, парижская полиция, кажется, от возможного совершенства весьма еще далека. Напротив того, вижу, что развращение их нравов отнимает почти всю силу у законов и самую их строгость делает недействительною.

Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, кото-

рая б имела такой изобретательный ум, как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к marchandes des modes [1], как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов. Моды ежедневно переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нравов для всей Европы. Нынешняя королева [2] страстно любит наряжаться. Прошлого года послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя наряженною по самой последней моде. Императрица [3] возвратила сей портрет при письме, в котором, между прочим, сии строчки находились: «Vos ordres ont été mal exécutés; au lieu de la Reine de France que je m'attendais à admirer dans votre envoi, je n'ai trouvé que la ressemblance et les entours d'une actrice d'Opéra. Il faut, qu'on se soit trompé» [4]. Королева смутилась было сим ответом; но придворные скоро ей растолковали, что гнев ее матери происходит не от чего другого, как от ее старости, от ее набожности и от худого вкуса венского двора.

Я перешел уже пределы письма. Чувствую, что чтение, столь длинное, должно обременить ваше сиятельство, и для того предоставляю себе дополнить вам, милостивый государь, изустно все то, о чем здесь не мог упомянуть. В Петербурге считаю быть в конце будущего месяца или в начале ноября, а по первому пути приеду на несколько недель в Москву. Ласкаюсь счастием, что ваше сиятельство в совершенном здоровье, и повторяю всегдашние мои уверения о глубочайшем почтении и совершенной преданности, с которыми навсегда имею честь быть...

---

[1] модисткам *(франц.).— Ред.*

[2] Мария-Антуанетта.

[3] Мария-Терезия.

[4] Ваше приказание худо исполнено: вместо французской королевы, которую я надеялась увидеть на присланном портрете, я нашла в нем сходство с оперною актрисою. Должно быть, тут вышла ошибка *(франц.).— Ред.*

ПОВЕСТВОВАНИЕ МНИМОГО ГЛУХОГО И НЕМОГО[1]

Отец мой, добродетельнейший из смертных, коего потерю я оплакивать не престану, претерпев в течение службы своей многие обиды, досады и несправедливости, от сродственников же, друзей и покровителей также быв обманут, предан и наконец оставлен, вел большую часть последних своих дней в уединении; и как из благотворительной его души исторгнуть не могли любви его к человеческому роду, то обратилось его внимание на нас (как он называл), рожденных своих друзей. Несчастные, однако, и притесненные от него помощь получали,

[1] *К господам издателям «Собеседника».* Предлагая здесь вам мою странную участь, я не только удовлетворяю самолюбию, которое обыкновенно нас влечет о себе самом и до себя касающемся с удовольствием говорить, но предлагаю вам и услуги мои. Вы найдете в течении жизни моей, что я имел отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца и нравы и проницать в самые сокровенные тайны людские, почему и могу для включения в ваш «Собеседник» разнообразные характеры представить, кои из такого рода сочинений, какова ваша книга, не должны быть исключаемы, ибо ничто столь внимания нашего не заслуживает, как сердца человеческие, кои час от часу лавиринту подобнее становятся, потому что ко всеобщим прежде бывшим причинам скрывать слабости и страсти, воспитание, bon ton и manière de vivre прибавили еще в нас единообразие, кое соделывает наружность нашу так единаку, что каждый из нас ни на себя и ни на кого особенно не походит, а все вообще как будто из одной формы вылиты представляются. Моя философия стремится только познавать сердца человеческие; не течения звезд я следую, не систему мира проникнуть желаю, не с Эйлером теряюсь в раздроблении бесконечных малостей,— движение добродетельных душ и действия благородных сердец познавать стараюсь. Не быв цензором, желал бы, однако, слабости людские исправлять и пороки в омерзение приводить, но вы удобнее способом издания книги вашей то исполнить можете; почему я только вас прошу к присылаемым от меня характерам свои примечания, заключения и нравоучительные доводы прибавлять и с снисхождением прочесть нижеследующее.

и сердце его всегда отверсто было с отменною жалостию разделять их печаль. Философия же его была ни высокопарна, ни надменна, с кротостию сносил пременчивость судьбы, с снисхождением смотрел на недостатки человеческие. Несправедливость и коварство, устремленные противу него, не могли из него извлечь роптания, ни освирепеть его душу, но оставили только единое в сердце его впечатленное отвращение от большого света и от уз, кои, как он думал, налагает с собою служба. (Сие его предрассуждение осудило меня к странному моему жребию.) Отец мой имел редкое счастие получить в сотоварищество свое женщину разумную, благонравную, добродетельную и скромную. Достойная сия чета ощущала взаимную горячность и была столь счастлива, сколько участь человеческая счастья совмещать может. Упражнение их было нас наставлять и направлять сердца и умы наши к добродетели и человеколюбию. Дни их благополучно и спокойно протекали; но как все преходчиво и пременно на сем свете, смерть лишила отца моего любезнейшей ему супруги, а нас беспримерной матери.

Братья мои уже были в службе, я один, младший из всех, имел еще нужду в родительском призрении, и как я более прочих на покойную свою мать лицом походил, то по сим двум причинам отец мой с большею горячностию ко мне прилепился: он меня ни на час от себя не отпускал, занимался единственно мною, не пропускал ни одного случая, ни одного слова или вещи, чтоб применения, к нравоучению моему служащего, из них не сделать,— словом, я был первый предмет для него в жизни. В некоторое время приметил я, что родитель мой в задумчивости несколько дней проводил, грустил и особливое, терзающее дух его изъявлял смущение; мне казалось, что будто бы он боролся сам с собою, когда сердце его к нежным ласкам противу меня его возбуждало. Я любил его страстно, доверенность между нами была неограниченна. Кинувшись в его объятия со слезами, просил его открыть мне тайну, к каковым сердце его в рассуждении меня казалось непривычно, и сказать мне причину, как могла столь сильно встревожить дух его и разрушить то счастливое и приятное спокойствие, коим он прежде наслаждался. После великого волнения, рыдания и слез он мне сказал то, что и доднесь в памяти моей живо мне представляется.

— Ты молод, мой друг,— говорил он,— а совесть моя решить не могла сумнения, коим я, как ты приметил, обременен; ты молод и выбора основательного сделать не можешь, а я права родительские сокращаю в гораздо теснейшие пределы,

нежели им обыкновенно полагают. Я не имею права избирать за тебя участи, коей ты на весь твой век предашься, тем наипаче что оная не обыкновенна и с собою нанесет великие затруднения и некоторые жертвы. С другой стороны, я испытал, что обращение светское и служба за собою влечет предательство, ухищрения, зависть, злоключения и самое умерщвление духа, почему главное мое желание есть сообразить, если то возможно, для тебя удаление от света и познание оного. Я бы желал, чтобы ты спознал сердца человеческие, не быв, однако, подверженным их злоухищрению, чтоб ты наслаждался всем благом, которое смертному вкушать определено, и, сохранив сердце непорочным, не имел оное растерзанным и израненным от стрел, нередко в руках сильных к поражению добродетели изготовленных. Но я не знаю, как мне открыть тот план, который мне представляется и коим объят весь мой разум. Вседневно примечаю я истощение сил моих, конец мой приближается, и воображение мучительное меня снедает, что тебя оставлю в сем море, волнующемся беспрестанно, на горизонте коего пороки и беззакония только видимы, а добродетель, волнами бьющаяся, без пристанища оным противуборствующая, наконец бездной поглощена бывает. Сие-то воображение меня более смущает, нежели пресечение дней моих мне прискорбие нанести может.

Тут дражайший мой родитель в безмолвную грусть предался, но слезы, ласки и просьба моя его яко от сна пробудили; он наконец, обняв меня с несказанною горячностию, посадил возле себя и, как будто для вящего убеждения руки мои своими сжимая, начал таким образом:

— Ты не можешь, друг мой, себе представить, каким досадам и огорчениям честный человек в службе подвергается. Я хочу тебя независимым сделать, и для того, если ты чувствуешь в себе довольно твердости, чтоб лишиться слабого, но нередко вредного нам удовольствия говорить с людьми, то притворись больным на несколько дней; потом скажем мы домашним нашим, что ты от оной болезни стал глух и нем, чрез что ты не будешь обвиняем в том, что не служишь. Людские же мысли и самые сокровенные чувства тебе будут обнажаемы. Честана, к коей я горячность твою примечаю, быв воспитана матерью твоею, всеми добродетелями одаренная, к тебе так привязана, что, конечно, не умалит своей к тебе любви и чрез несколько лет будет твоею женою. Скрыв от нее нашу тайну, ты тем самым испытаешь ее любовь, и я нимало не сумневаюсь, что ты будешь иметь удовольствие увериться в искренно-

Крестьянский обед.

Акварель И. А. Ерменева.
1770-е годы.
Государственный Исторический музей.

сти ее к тебе горячности, а добродетель и рассудок ее с новым и бо́льшим блеском окажется. От нее должны мы необходимо скрывать тайну свою.

Я на предложение родителя моего согласился тем охотнее, что я вкорененное имел любопытство знать внутренность сердец человеческих, и как страсть безмерная, с коею я Честану любил, казалось мне, не равным жаром ею награждалась, я желал узнать истину. Но здесь прерву на час мое повествование, чтоб не держать вас долее в неизвестности о девице, душа и разум коей достойны почтения от самой добродетели. Честана осталась двух лет, когда злодейскими руками отец и мать ее лишились жизни; достаток их был весь разграблен, и она тогда, как божиим провидением, быв с кормилицею в поле, тем только жизнь сохранила. Кормилица ее несколько дней по лесам с нею скрывалась и потом принесла ее к родителям моим. От устали и глада успев только рассказать матери моей несчастное с господами ее приключение и положа невинную Честану к ногам родителей моих, испустила дух свой, благодаря всевышнего, что дражайший ей младенец спасен. С тех пор родители мои Честану с нами не рознили, ее сестрою почитать и называть приказали. Она была моих лет. С того самого времени мы друг друга начали любить и неразлучны были. Одни вкусы, одни игры — одним словом, единая душа, казалось, Честану и меня оживляла.

На другой день разговора моего с родителем моим я притворился больным, постеля моя перенеслась в его комнату, и после десятидневной притворной горячки родитель мой объявил Честане и всем домашним с изъявлением великой горести, что я болезнию лишен слуха и языка. Печаль и поражение, кое Честана при том изъявила, едва не поколебали меня к открытию ей моей тайны, но я удержан был почтением и любовью своею к отцу, которого боялся тем огорчить. Способом пера или карандаша мы с нею мысли свои друг другу сообщали, скоро и знаки выдумали, коими еще поспешнее изъяснялись. Мне казалось, что она от жалости еще более горячности ко мне чувствовать и показывать стала, и я себя счастливейшим из смертных почитал. По вечерам, когда я с родителем один оставался, тогда замыкали двери не только спальной нашей, но и боковых от нее комнат, и тогда-то я с батюшкой говаривал, и мы сообщали друг другу слышанное и примеченное нами в течение дня. Несколько месяцев спустя поехал я один с отцом моим по разным губерниям пространного нашего отечества. Возвратясь домой после испытания верности и бла-

гонравия прелестной Честаны, родитель мой увенчал нашу страсть, и несколько лет после совершения нашего брака мы поехали опять по России, и тогда только с дозволения родительского открыл я верной моей супруге и другу, что я не лишен ни слуха, ни языка. Привычка, кою я сделал столько лет ни с кем, окроме их двух, не говорить, так вкоренилась, что, лишившись несколько лет по том родителя своего, хотя я был уже свободен перестать скрываться, но я того не сделал и по смерти сохраню звание глухого и немого, в коем качестве я так известен, что трактирщик, готовясь обмануть ожидаемых им гостей, кокетка, проводящая своих любовников, придворный, ухищрениями дышащий, подьячий, алчный ко взяткам, дитя шелливое и страшившееся своего вожатого,— словом, никто меня не остерегается, все предо мною обнаженные предстоят, и когда я в клоб или на гулянье приду, то слышу, что робята вскричат: «Вот глухой-то и немой»,— а отцы и матери их с некоторым оказанием сожаления говорят: «Он, бедняга, никому и ничему не помеха». Оттого-то я к сокровенной человеческой внутренности имею ключ. Приехав домой, сообщаю товарищу своему и другу слышанное мною, а она то записывает. Здесь приобщаю записки моего первого путешествия, окончившегося в 1762 году. Вы увидите в них совсем другой слог, нежели в моем повествовании. Здесь следовал я моему сердечному чувству, а там иногда веселому, иногда сердитому духу, в какой разные встречи меня приводили. Во всех моих записках не найдете вы ничего, или весьма мало, касающегося до политических, исторических, нравоучительных и прочих сведений. Мое дело было познавать людей и познавать человека. Ежели вы, господа мои, напечатаете их в «Собеседнике», то и следующие вам сообщать стану; пребывая навсегда...

* * * *

ЗАПИСКИ МОЕГО ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 1762 ГОД[1]

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я предварил уже читателя, что отец мой старость свою провождал в уединении. Воспитывался я в подмосковной его деревне, из которой он, конечно, и не выезжал бы, если б не

[1] Сии записки, сочиненные в самое путешествие, ныне по случаю издания «Собеседника» исправлены, приведены в некоторый порядок и дополнены в разных местах рассуждениями, почерпнутыми из сравнения тогдашнего времени с настоящим.

окружен был дурными соседьми, которые, имея число душ несравненно нашего больше, обижали нас очень часто и очень чувствительно. Чтоб найти защиту от их наглостей, отец мой принужден бывал ездить нередко в город Дмитрев. Я помню, что всякий раз, как он по возвращении своем из Дмитрева выходил из коляски, первое слово, которое, вздохнув, он к нам произносил, бывала старинная пословица: «Сильная рука богу судить!» Но сколь он тем ни огорчался, однако иногда сам смеивался, размышляя, чья была та сильная рука и кого богу судить. С правой стороны главный наш сосед был отставной майор из солдатских детей, по жене разбогатевший, и назывался, как теперь помню, Пимин Прохоров сын Щелчков. Он был мужик пресильный и человек преглупый, превеликого росту и пренизкого духу, по вся дни пил, весь день был пьян, а ночи сыпал богатырским сном. Пьяный был неугомонен. Лучшая его в деревне забава состояла в том, чтоб, выбрав сильных мужиков, ставить их на колени и щелкать по лбу. Он в сем искусстве так отменно был силен, что во всем его селе не было лба, у которого бы он одним щелчком не отшибал памяти. У двора имел он ближнего свойственника и нелицемерного друга. Сия знаменитая особа был дворцовый истопник Касьян Оплеушин, получивший свое прозвище по данной ему от гоф-фурьера оплеухе за то, что однажды печь закрыл с головнею. Я думаю, однако ж, и всегда был того мнения, что гоф-фурьер поступил на сию крайность, последуя больше своему первому движению, нежели правосудию, ибо Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его своею протекциею наконец и до штаб-офицерского чина; но смерть лицеприятия не знает. Она, несмотря на толикое возвышение, скосила его в ту самую минуту, в которую дошла до него очередь. Он скончался без предков и потомков, первый и последний в своем роде. Наш майор был о кончине его неутешим, и в знак глубочайшего своего душевного почтения к заслугам и качествам сего в бозе усопшего штаб-истопника его высокоблагородие принял фамилию покойного и по смерть свою писался не иначе, как: Пимин Прохоров сын Щелчков-Оплеушин.

«Не купи двора, купи соседа» — пословица весьма справедливая. Щелчков-Оплеушин обижал нас, как хотел. То рубил нашу рощу, то отнимал скотину у наших мужиков, то самих их, заманя к себе, щелкал по лбу; словом, обиды были непрестанные, на которые, однако ж, в Дмитреве никакого суда найти было нельзя, ибо воевода и с приписью подьячий, с женами

и с детьми были не что иное, как твари, питавшиеся от крупиц, падающих майорского дому; а потому в городе Дмитреве место естественных и положительных законов заступала всегда одна пьяная воля его высокоблагородия.

Как бы то ни было, отец мой, пока был жив, не допускал свою деревню до крайнего разорения. Иногда увещевал он майора доброю манерою, иногда, потеряв с ним все человеческое терпение, грозил ему в глаза застрелить его как собаку, если не уймется от своих наглостей; словом, хотя с большим беспокойством, но наша собственность оставалась у нас во владении. О любезный мой родитель! блажен, что умер ты, не предчувствуя того, что случилося в последующее межеванье. И мог ли ты себе представить, что земля, которою ты и предки наши владели бесспорно почти целое столетие, что поля, обработанные пóтом и трудами крестьян твоих, что болота, осушенные их же неутомимыми руками, что самая церковь божия, построенная по ту сторону забора,— словом, что вся земля с правой стороны по самый наш забор отнимется нагло от беззаступных детей твоих и, в наругательство здравому рассудку и вопреки точному разуму закона, отдастся богатому, но безумному отродью Щелчкова-Оплеушина за неведомо какие поверстные леса, которых, может быть, тут и никогда в натуре не бывало.

Другой наш сосед был титулярный советник Варух Язвин, знаменитого подьяческого рода. Во всю жизнь мою не видывал я такой подлой рожи и которая так бы сильно выражала собою безобразие души, какую носил г. Язвин. Если б живописец захотел ябеде дать вид человеческий, то б сосед наш мог послужить ему таким совершенным образцом, до какого одним воображением достигнуть невозможно. История его поместится в нескольких строках. Он купил воеводское место в Кинешме за пятьсот рублев, то есть за тогдашнюю обыкновенную таксу воеводских мест средних городов. Всякое время имеет свои чудеса. Ныне часто деревни в города преобращаются; тогда нередко города преображалися в деревни. Город Кинешма подпала под сей несчастный жребий. Лишь только Язвин в него прибыл, казалось, что в него сама язва ворвалася. В первое еще лето благополучного его воеводствования уже во всем уезде богати обнищаша и взалкаша. В два года опустошение сделалось в том краю всеобщее, наконец услышано стало моление убогих, и на смену Язвина прислан был из Петербурга воеводою коллежский асессор Исай Глупцов. Между тем Язвин купил деревню в нашем соседстве и в нее переселился. Слов

нет пересказать всех его бездельств и грабежей. Должно признаться, однако ж, что мрачная душа его, обремененная грехами, непрестанно трепетала. Он был в равной степени бездушник и ханжа. Однажды украл он из нашего табуна двенадцать лучших лошадей и на другой день со всею своею окаянною семьею на тех же краденых конях отправился в Ростов богу молиться.

В соседстве нашем было также превеликое монастырское село, которым сряду пятнадцать лет управлял монастырский служка Михей Антифонов. Он был натурально добрый человек и все свое честолюбие с доходами обращал к тому только, чтоб иметь погреб, который бы не уступал самих властей лучшим погребам. Крестьяне были им довольны, ибо без разорения себя могли содержать его погреб в цветущем состоянии. При сих выгодах временной жизни г. Антифонов имел, однако ж, дряхлое здоровье. Он был скорбен животом; к тому ж сделал себе непременное правило: ничего по смерть не принимать из аптеки. Он отроду однажды принял от доктора лекарство, от которого в две минуты у него глаза помутились и такая сделалась тоска, что лазил не однажды на стены. Сего было бы довольно к ожесточению души его против лекарских рецептов; но вскоре потом ездил он молиться на Переруву, где отец игумен довершил ненавистное его предубеждение против врачебныя науки. Его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор и всякий лекарь должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода. С другой же стороны, г. Антифонов сам чувствовал, что тело его требует необходимо врачевания. И для того решился лечиться сам у себя и одним лекарством. Он всякий день зимою и летом пил соки виноградные, и погреб его самым натуральнейшим образом сделался его домашнею аптекою. Из всех соседей монастырская деревня нас всех меньше обижала. При всякой от крестьян наглости отец мой посылал к нему полдюжины бутылок обыкновенного лекарства, после чего виноватые немедленно и нещадно наказаны бывали.

В один день после обеда посланный к нам из Москвы нарочный привез известие, что внучатный мой дядя, после которого отец мой был один наследник, волею божиею скончался. Сие было его первое и последнее нам одолжение в течение шестидесятилетней его жизни. Он был из тех холоднокровных людей, которые отроду никому не делают ни худа, ни добра,— следственно, не чувствуют ни любви, ни ненависти. Ему все

равно бывало видеть человека в печали или в радости. Он сам никогда не смеялся и никогда не плакал. Просьбы и угрозы никакого действия в нем не производили. Во время его болезни один доктор сказал ему, что непременно его вылечит. «Хорошо»,— отвечал он ему без малейших знаков удовольствия. Другой чрез несколько минут уверял его, что он не проживет суток. «Хорошо»,— отвечал он и ему без малейших же знаков огорчения. Словом, дядюшка мой родился и умер, а на какой конец случилось с ним и то и другое, того во всем течении долголетней его жизни никак приметить было нельзя.

Получа известие о кончине сего не жившего дядюшки, выехали мы тот же день в Москву. Ночевать остановились в преизрядной деревне у маленьких хоромцев, на берегу большого пруда. Вошед в комнаты, узнали мы имя помещицы г-жи А***, которая хоромцы построила нарочно для проезжих. По ту сторону пруда увидели мы господский дом. Свечи в окнах были для нас знаком, что сама госпожа живет в деревне. Скоро потом прислала она к нам своего лакея просить нас к себе ужинать и сказать нам, что буде тесно для нас в домике, куда пристали, то с удовольствием уступает нам в большом доме несколько комнат. Отец мой отблагодарил ее за такое благосклонное предложение, отозвался, что мы можем и тут ночевать спокойно, и извинился от ужина тем, что ее беспокоить не хочет. Чрез четверть часа увидели мы троих слуг, несущих к нам цыплят, кур, пирогов, сливок и всего, что можно было сыскать в деревне для нашего ужина. Сие гостеприимство тронуло очень отца моего. Он вынул было кошелек дать несколько денег людям, но они отозвались, что им весьма строго запрещено от помещицы брать с проезжих деньги и что, впрочем, не имеют в них никакой нужды, служа своей доброй госпоже. Поутру отец мой, взяв меня с собою, пошел сам к ней благодарить ее за все одолжения. Мы, вошед в покои, весьма просто и чисто прибранные, нашли сидящую на креслах помещицу — старушку лет шестидесяти. Перед нею стоял кузнец, и мы, входя, сами слышали, что она давала ему свои повеления осмотреть наш экипаж и починить что надобно. Отец мой благодарил ее от всего сердца за такое попечение о нас, не имевших чести вовсе быть ей знакомыми.

— Ах, батюшка,— отвечала она отцу моему,— как не пособить дорожным людям! Да на что ж наделил меня бог достатком, буде не помогать тем, которые в глазах моих, перед моими окнами, могут иметь нужду в моей помочи? — Потом,

посадя обоих,— Это не сынок ли ваш? — спросила она отца моего, указав на меня.

— Так, сударыня,— отвечал мой отец.

— И у меня есть один сын,— говорила почтенная старушка,— которого я отправила в армию.

— Как вы решились, сударыня, отправить в армию сына, который у вас один? — спросил мой отец.

— Что ж делать, батюшка,— отвечала она,— он в военной службе. Он дворянин. Я лучше согласилась всякий день горевать об его отсутствии, нежели видеть его в моих глазах тогда, когда его братья дворяне понесли свои головы. Я, мой батюшка, той веры, что лучше моему сыну, Христос с ним, умереть, нежели слыть шалуном или тунеядцем, или, чего боже избави, трусом.

— Почитаю ваш образ мыслей,— сказал мой отец,— и удивляюсь, слыша такие здравые рассуждения от матери, которой сердце объято горячностию к сыну своему.

— Не дивись, мой батюшка,— говорила старушка,— я любила всем сердцем покойного моего мужа, который взял меня почти ребенком; все его рассуждения так сильно в душе моей остались, что взяли верх и над материнским сердцем. Я вечно не забуду, как он, бывало, говаривал в беседах своим братьям дворянам: «Эй, друзья мои! бога ради, не бросайте шпаги, служите ею; прямая дворянская служба шпага. Помяните мое слово: буде мы, дворяне, станем бросать шпагу, входить в другие службы или вовсе бросать службу, эй, доживем до того, что дети отдаваемых нами рекрут будут нашим детям командиры». Рассуди ж, мой батюшка, как мне после этого сына держать дома. Бог с ним! Пусть служит. В животе и смерти бог волен. Он же весь в отца. Я думаю, если б я его не отпустила, то б он сам ушел от меня на службу. А вы где служите? — спросила она меня ласково.

Я, играя роль глухого и немого, ничего не отвечал.

— Сударыня,— сказал мой отец,— сын мой после жестокой болезни сделался несчастлив. Он глух и нем!

— Какая напасть! — вскричала старушка.— Боже мой! — При сих словах глаза ее наполнилися слезами. Чем больше на меня смотрела, тем больше жалость извлекала ее слезы. Наконец старушка наша так обо мне расплакалась, что нам совестно было видеть ее в таких слезах по-пустому.

— Сударыня,— сказал ей мой отец,— меня уверяют доктора, что несчастие его не вечное. Оно пройдет.

— Дай-то боже! — говорила она.— Только, мой батюшка, не на всех докторов полагайся. Им ничто уморить человека; а по-моему, лучше быть глухим и немым, нежели мертвым.

Простясь с сею почтенною старушкою, отправились мы в путь и под вечер, прибыв в Москву, взъехали в наш собственный дом, за Яузой у Спаса в Чигасах.

ПРЕБЫВАНИЕ МОЕ В МОСКВЕ

В Москве есть древний обычай, который и само время не может переделать доднесь. (NB. Нету правила без исключения.) Всякий приезжий должен тотчас или ехать, или посылать ко всем своим обоего пола родным, двоюродным, внучатным и правнучатным, с отцовской, материнской и жениной стороны, сказать о своем приезде и скоро потом ожидать их посещения. В многолюдной семье станицами через полчаса наезжать станут, невзирая на то, что для принятия их не имеет приезжий иногда ни места, ни досугу, а всего меньше охоты. Не принять же родных, при малейшем подозрении, что хозяин дома, почитается такою язвительною обидою, за которую многие дома рассорились навеки. Чтоб избежать сих неприятностей и думая выиграть время, отец мой принял намерение ехать со мною ко всем свойственникам сам без отсылки. Он считал тут выгодою для нас то, что можем у каждого остаться так мало, как захотим сами. Принимая же их у себя, подвергались бы мы опасности иных гостей не выжить до рассвета. Правда, что за сию выгоду надлежало в каждом доме выпить, по крайней мере, одну чашку чаю, перецеловать всех народившихся детей и внучат, смотреть и расхваливать всех приобретенных собак, лошадей, украшения в доме и вышитые новые платья; но отец мой решился лучше наливать себя и меня чаем, нежели потерять целый день с людьми, которые целого дня цену не всегда понимают.

Итак, нимало не мешкав, отправились мы с визитами. Воспитанному в деревне Москва должна чудом показаться: церкви, дома, кареты, стечение народа — все приводило меня в изумление. В самом деле, что есть наша деревенская колокольня противу Ивана Великого? Что наш домик противу высоких теремов бояр московских? Что наши дрожки или коляски противу позлащенных колесниц, созидаемых на Петровке национальными художниками? Мне было тогда семнадцать лет, я не имел никакого испытания; сидя один с отцом моим в карете, не мог

я скрыть от него удивлений и чувств сердца моего. Поравнясь противу одного огромного каменного дому, которого двор травою порос: «Батюшка,— спросил я у отца моего,— неужели никто не живет в сем прекрасном доме?»

— Друг мой,— отвечал он мне,— в этом доме живет сам хозяин.

— Разве он никого к себе не пускает? — продолжал я.

— Нет,— говорил мне мой отец,— не он к себе людей не пускает, никто к нему ездить не хочет. Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу; кроме себя, никому добра не сделал; скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкаяся доживать свою старость в Москве в знати и удовольствии, но сильно обманулся: невзирая на чин и богатство, он целою публикою презрен и так совершенно забыт, как будто столетие назад он перестал существовать.

Лишь успел сей наш разговор окончиться, мы подъехали к дому одного из дядей родителя моего, и первый наш визит оным начался. Описывать, что при том случилось, было бы лишнее; читатель довольствоваться должен узнать, что сей наш родственник угрюм, но скромен, честен и снисходителен и что лишнего слова без нужды он терять не любил, в чем он много разнствовал от сестры своей Фетиньи Максимовны, которая, сказывают, и от болезней многоглаголанием излечается. Сему я приписываю часто повторяемые ею сожаления, что я глух и нем. Нередко случилось в сем кратком визите слышать братцем ее употребляемую пословицу (которая так сильно изображает его характер): «Не устать говорить, было б кому слушать». Сию пословицу он на сей раз справедливо употреблять мог, полагая меня лишенным слуха, и, говоря с родителем моим, он думал, что сестрицы его слушателем оставался только я, глухой, ибо окроме нас четверых никого не было в комнате.

Фетинья Максимовна нас долее сидеть не унимала, для того что ей не удалось склонности своей к многоглаголанию удовольствовать; простясь с родителем моим, ему, однако, сказала:

— В другой раз, племянничек дорогой, я буду уметь тебя так же захватить и с тобой поговорить, как братец мой, который как будто, откупя все внимание твое, тобою совсем завладел.

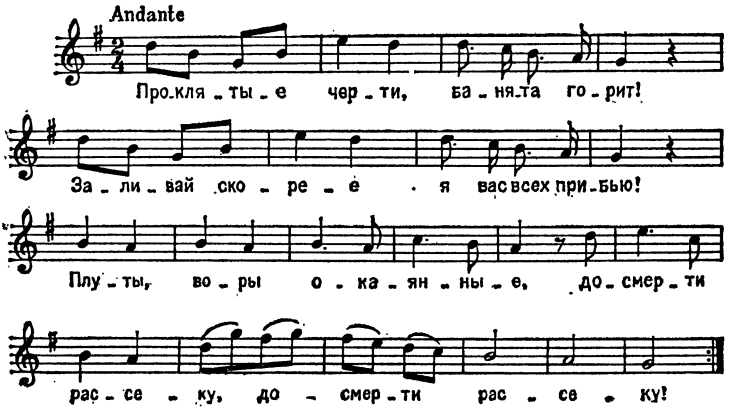
Отсель поехали мы к близ живущему давнему родителя моего другу. Радость их, увидевшись, была столь же горяча, сколь нелицемерна. Единодушие между ими было тем более естественно, что они ни в каких правилах или чувствиях не

разнствовали, исключая того предрассуждения, кое отец мой имел о службе. Сей друг его, напротив того, почитал за долг продолжать службу, пока естественных сил человек не лишится, и с самыми жертвами каких-либо личных выгод не покидать службы, как только тогда, когда изнеможение душевных дарований соделает человека недостойным занимать место, на которое здравее и свежее голова требуется. Сколь ни желал мой родитель продолжить сей визит, но, вспомня великое число родни, кою еще объездить нам оставалось, мы опять пустились путешествовать. Инде к чаю прибавляли закуски, инде тягостные и скучные вопросы заменялись слушанием вечерни; все сии действия столько часов проглотили, что едва ли оставалось время на два визита боле, но и в том, к счастию нашему, судьба попрепятствовала. Если желудки, уши и головы наши вынесли трудное служение сего дня, ось нашей кареты оного не вынесла. Она переломилась в самом том месте, откуда бы, взяв оное за пункт, совершенный треугольник можно было сделать, протянув от оного до нашего дому линию и от оного ж к дому прабабушки моей, у которой мы еще быть не успели. Но противу определенного жребия тщетно человек вздумал бы противиться! Карета наша, лежав в плачевном образе на боку, казалось, стыдилась нас, сделавшись препятствием благого нашего намерения удовольствовать всех наших родных восходящих и нисходящих поколений[1]. Мы пошли без оскорбления пешком домой, но вдруг пред глазами нашими пламя ужасное поднялось. Отец мой узнал, что огонь сей на дворе внучатного его брата, известного всем, отличного заики и отменно торопливого человека. Ускорив свою походку, батюшка желал ему услугу какую-нибудь в сем случае показать; я радовался отцовскому намерению, ибо душа моя, объята жалостию, представляла мне чувствительную картину людей, от огня и от падающих материалов поврежденных, и хозяина отчаянного, потеряв свое имение. Сие воображение препроводило меня до самого двора правнучатного моего дяди, но оно скоро исчезло, когда, к несказанному моему удивлению, я увидел самого того

---

[1] Уверяют некоторые философы, что человек, лишенный зрения или какого другого чувства, оставшие совершеннее имеет и чрез то самое соделывается чувствительнее. Я хотя не лишен ни слуху, ни языка, но, притворяясь глухим и немым, может быть оттого чрезмерную чувствительность имею, почему прошу читателя простить мое о карете воображение и впредь лишнюю, может быть, мою чувствительность с снисхождением судить.

хозяина, о котором я столько печалился, стоя на крыльце поющего. Удивление сделало, что я до последней ноты голоса, который он пел, затвердил и здесь как слова, так и музыку приобщаю.



Если бы случиться могло, чтоб кто из читателей не ведал, что заики не подвержены сему неприятному препятствию, когда они поют, и вышеупомянутому случаю не поверил бы, тогда бы я его попросил, чтоб потрудиться изволил (если в том городе или месте, где он находится, заики никакого не сыщет) съездить в Москву, где при всяком важном обстоятельстве, когда правнучатный мой дядя желает быть вразумителен, он мог бы его роспев услышать и увериться о истине сей повести.

Скоро потом пожар затушили, чрез что и пение дядюшкино кончилось; он начал тогда говорить: «Бра-а-а-а-те-е-е-ц мо-о-о-мой лю-ю-ю-любе-бе-бе-зный», но родитель мой, вынув из кармана часы, увидел, что уже несколько минут за полночь, прервал речь заики нашего, сказал:

— Ты, братец, обеспокоился, тебе отдохновение нужно, да и мы устали от разнообразных понесенных нами трудов, я на сих днях к тебе опять буду и надеюсь, что не в столь смутном состоянии тебя найду.

Затем, обнявши его и не входя в его комнаты, с самого того ж крыльца, где помянутую музыку слышали, мы пошли и направили свой путь домой.

Продолжение будет впредь.

КАЛЛИСФЕН

ГРЕЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Каллисфен, афинский философ, прогуливаясь некогда в Ликейском саду, встретил наставника и друга своего Аристотеля, который, с веселым видом обняв его: «Прочти, любезный друг,— сказал ему,— прочти письмо, которое я получил сейчас от Александра, возрадуйся о моем сердечном удовольствии. Среди военного племени, среди величества славы Александр сохраняет добродетель». Каллисфен в восхищении прочитал сии строки, писанные рукою Александра: «Возлюбленный учитель, будь уверен, что я твердо помню и точно исполняю все твои наставления; но я человек и окружен льстецами. Страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей. Нет минуты, в которую бы не твердили мне наедине и всенародно, словесно и письменно, что я превыше смертных, что все мои дела божественны, что я предопределен судьбою вселенной даровать блаженство и что, наконец, всякий, иначе обо мне мыслящий, есть враг отечества и изверг человеческого рода. О мой друг нелицемерный! не смею звать к себе самого тебя. Знаю, что обременяющая старость не дозволит тебе следовать за мною в военных моих действиях; но сделай мне теперь новое благодеяние: пришли ко мне достойнейшего из всех учеников твоих, который бы имел дух напоминать мне часто твои правила и укорять меня всякий раз, как я отступать от них покушуся».

— Ты видишь,— говорил Аристотель, —ты видишь, чего от меня желает Александр. Тебя, Каллисфен, посылаю на сие важное служение человеческому роду.

— *Меня? Меня посылаешь ко двору толь сильного монарха? — сказал Каллисфен.— Но что мне там делать? Ты знаешь, могу ли я превозносить порочные деяния государя и его*

любимцев! Ты учил меня почитать добродетель, исполнять ее делом и преклонять к ней смертных.

— Точно того от тебя и требую,— говорил Аристотель,— точно для того и Александр тебя от меня требует; ты друг Платонов, друг мой; поди под защитою героя, моего питомца, возжечь любомудрия свещу во всех пределах света, и когда Александр покоряет себе мир оружием, ты покоряй его законом мудрости.

— Но при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено,— говорил Каллисфен,— может ли истина свободно изъясняться?

— Неужели ты гонения страшишься? — вопросил Аристотель.

— Боги! — возопил Каллисфен.— Вы знаете, с радостию ли исполняю долг моего служения и готов ли я вкусить смерть за истину!

Аристотель, продолжая свою беседу, воспламенял более в душе ученика своего тот восторг, которым сам был одушевлен. Каллисфен немедленно отправился к Александру. Он нашел его в Персии в самый тот час, когда войско его одержало преславную над Дарием победу.

Невозможно изобразить, с какими почестями принят был Каллисфен от юного победителя. Он обнял его как друга, заклинал его говорить правду без малейшего опасения, повелел ему быть с собою безотлучно, и в тот же самый день Александр, идучи в совет, повел его с собою и тамо дал ему по себе первое место.

В совете рассуждаемо было о том, какой судьбе подвергнуть мать, жену и дочь побежденного Дария. Голоса собираемы были с младших. Арбас, юный полководец, который гораздо лучше знал хитрости придворные, нежели военные, чаял при сем случае выслужиться пред государем презрительною лестию, оскорбляя человечество. Он почитал за полезнейшее, умертвив на площади пленниц, показать свету, что быть неприятелем Александру есть уже преступление, достойное смертной казни. Надменный пышностию и ложным славолюбием, Клитомен советовал при торжестве победы приковать их к колеснице победителя; Аргион, вельможа пренизкой души и презнатной породы, имевший зверское сердце и скотский разум, примыслил мать Дариеву послать на лютое заточение, жену и дочь отдать в добычу военной черни. Словом, самое меньшее осуждение плененному царскому роду было вечное рабство. Дошло до Каллисфена.

— Государь,— говорил он,— когда сих несчастных, но невинных, привезут к твоему царскому стану, выйди им на стретение, обрати к ним человеколюбное око, пролей в души их отраду кроткою и утешительною беседою — и удиви свет своим великодушием.

Александр, выслушав совет Каллисфена, вскочил с своего места и бросился обнимать его.

— О достойный мой наставник! — говорил ему Александр в восхищении.— Победа возвышает мое имя, а ты возвышаешь мою душу.— История свидетельствует, с каким человеколюбием принял Александр Дариев род.

На другой день был держан еще военный совет в присутствии государя и философа. Войско Александрово завоевало Козрозецкую область, которая управлялась своими владельцами и издревле предана была Персии. В совете рассуждаемо было: что делать с козрозецами, кои всегда могут грекам наводить подозрение своею преданностию к персиянам? Полководцы Александровы, приобыкши к воинским лютостям, положили единогласно, чтоб на всякий случай, из предосторожности, побить до смерти всех жителей завоеванной области; «понеже-де,— прибавил в своем мнении один из ученых советодателей,— по истреблении сего народа никакого уже вреда мы опасаться от него не можем». Сие мнение предложено было в совете к подписанию Каллисфену.

— Боги! — возопил сей философ,— истребите самого меня, если рука моя сей варварский приговор подпишет!

Столь внезапное восклицание произвело в собрании глубокое молчание. Александр, взяв приговор в руки, задумался и, углубясь в размышление, нечувствительно раздирал он бумагу, содержащую лютую судьбу нескольких тысяч людей невинных; глаза его наполнились слезами; наконец трепещущим голосом, прерываемым воздыханиями нежного человеколюбия, прекратил он общее молчание и едва мог сии слова промолвить Каллисфену:

— Ты друг человеческого рода, ты охранитель моей славы!

В то время Леонад был уже несколько месяцев любимцем Александра; в самое короткое время умел он овладеть совершенно душою сего монарха; им самим владели страсти, высокомерие и алчность к обогащению. Он не любил никого и никем любим не был, ибо тот, кто любит одного себя, недостоин быть любимым от других. Добра делал мало для того, что не любил видеть людей в удовольствии; если же добро делать ему и случалось, то обыкновенно таким образом, что получивший его

благодеяние был бы гораздо больше рад не быть никогда им обязанным. При дворе был он очень силен; следственно, не было ему и нужды делать подысков; однако ж вредил он другим охотно, потому что в огорчении других сердце его находило удовольствие. Но горе тому, коего погубление могло пособлять его возвышению или, по мнению его, нужно было к сохранению его силы в государе! Сей любимец занемог за несколько часов до прибытия Каллисфена. Наушники, его окружавшие, тотчас возвестили ему, с каким почтением и повиновением внимает Александр советам философа. Леонад так скоро выздоровел, что на третий день прибытия Каллисфенова в состоянии уже был предстать поутру пред лицо монарха.

— Позвольте,— говорил он ему,— поздравить ваше величество с приобретением в друзья ваши философа; я слышал, что вы, по его совету, явили пример великодушия.

— О мой истинный друг,— отвечал ему Александр,— буде хочешь мне доказать свою дружбу, то будь сам другом Каллисфену.

— Если могу, государь! — отвечал Леонад,— но сомневаюсь. Приятно мне, когда подают вашему величеству благие советы, но не могу терпеть, чтоб от премудрейшего в свете государя отъемлема была слава его премудрости.

— Что значат слова твои? — вопросил Александр.

— Значат, государь,— сказал Леонад,— что сколь я доволен советами Каллисфена, столь гнушаюсь поведением его при сем самом случае. Вообразите, ваше величество, что вчера ввечеру при двадцати свидетелях, которых я сейчас могу представить, отзывался он о вас, как о слабом юноше, которого может он заставить делать все, что ему угодно; но мне известно, государь, ваше собственное проницание. Вы знаете свойство человека. Каллисфен, может быть, нескромен, но вам советами полезен; пусть свет ему и верит, что без него не умели б вы сами быть великодушны, но...

— Дивлюсь,— перервал Александр в смятении речь его,— как при толикой мудрости Каллисфен может столь ослеплен быть самолюбием, чтоб меня считать ребенком.

— Ваше величество! — говорил любимец, улыбаясь льстивым образом,— вселенная чувствует, что вы из ребят уже вышли.

— С чего же Каллисфен думает?..

— Не смею сказать, с чего...— перервал он.

— Скажи, скажи, мой друг! — просил усильно Александр.

— С того,— отвечал Леонад, спустя голос и запинаясь язвительно,— с того... что... я думаю... он... *ученый дурак.*

Леонад знал Александра совершенно; он точно ведал, в которую минуту удобнее чернить у него клеветою и в которую удачнее вредить ругательною насмешкою. Умел он различать тех людей, для очернения которых вдруг и клевета и насмешка потребны ему были. Каллисфен казался ему толь мудрым и толь для него опасным, что почел он за нужное употребить против него оба сии орудия, недостойные честного человека. Александр так уязвлен был вымышленным отзывом Каллисфена о его слабодушии, что самую брань — *ученый дурак* — почел он внезапно исторгнутою из души Леонада силою самой истины.

— Непонятно,— говорил Александр своему любимцу,— как мало учение прибавляет ума человеку. Со всеми знаниями Каллисфена я ласкаюсь, что он больше ошибся во мне, нежели ты в нем.

— Государь,— отвечал ему Леонад,— мой суд о нем не может быть пристрастен: он не был никогда моим учителем, а я всего менее желаю быть его учеником. Но Каллисфен считает себя вашим наставником и думает, что чем менее отдаст он справедливости вашим дарованиям, тем более всякое ваше похвальное деяние приписано будет его достоинству.

Между тем Александр велел всех впускать к себе в шатер. Пошел и Каллисфен. Государь взглянул на него с некоторым робким смущением. Сколь ни глубоко выражение *ученый дурак* проникло в душу Александра, но он не мог вдруг забыть, что *ученый дурак* вчера и третьего дня был умнее целого совета и что он сам *ученого дурака* обнимал с нежными слезами, как мужа, пленившего его сердце мудростию и человеколюбием.

— Государь,— спросил его Каллисфен,— какое смятение объяло твою душу? Твой взор являет неудовольствие, досаду и недоумение.

— Ты правду сказал,— отвечал ему Александр,— я действительно в досаде: мне случилось ошибиться в одном из окружающих меня. Я считал в нем много мудрости, а теперь вижу, что я в его уме сам глупо обманулся.

— Сия ошибка не весьма важна для монарха,— отвечал философ,— от глупого человека можно взять дело и поручить его разумному; но гибельна ошибка бывает для государя тогда, когда клеветника считает он праводушным, когда любит он того, кого все ненавидят, когда вверяется тому, кто наглым и

бесстыдным образом государскую доверенность во зло употребляет, когда считает другом того, кто вероломно завладел его душою.

Каллисфен не знал отнюдь ни Леонада, ни клеветы, которою сей очернил его у Александра. Он почел за долг высказать все сие нравоучение тому, кто просил его усильно говорить правду без опасения. Александр приведен был речью Каллисфена в пущее смятение. Он имел разум и тотчас почувствовал, что ни ученый, ни неученый дурак никогда так не говорит, как изъяснялся Каллисфен. Леонад, приметив сие, вмешался в речь.

— Из какой бишь Аристотелевой книги читаете вы проповедь? — спросил он с насмешкою у Каллисфена.

— Из той,— отвечал ему философ с твердостию и с некоторым родом презирающей жалости,— из той, которая, как видно, вам не очень нравится.

Сей разговор пресек вошедший в шатер к Александру вестник, который послан был с реки Арбеля от повелевающего там частию войска начальника, с уведомлением, что персияне, все свои остальные силы собрав, идут против греков. Тотчас Александр пошел сам навстречу неприятелю. Совершенная над ним новая победа низложила персидскую монархию, но Дарий лишился жизни не в сражении; он умерщвлен был вероломно собственными своими подданными.

Славу победы отравлял разнесшийся скоро слух, что Дарий убит изменнически повелением самого Александра, который так возгнушался сим недостойным подозрением, что велел сыскать убийцу и казнил его смертию. Сим оправдался он пред светом совершенно. Каллисфен похвалил его поведение.

— Что слышу я? — сказал ему Александр с холодною улыбкою.— Уже и Каллисфен льстить мне начинает; помнится, для наставлений, а не для похвал прислал тебя Аристотель.

— Государь! — отвечал Каллисфен,— между хвалою и лестию есть великая разность. Я тебя хвалю, но не льщу тебе; долг философии обязывает меня хвалить добрые дела и осуждать злые. О боги! если когда-нибудь унизишь ты себя к последним, верь мне, найдутся люди и тогда тебя превозносить, но сии люди будут не философы.

Леонад все сие слушал, распаляясь внутренно злобою на Каллисфена; он несколько раз покушался было обратить в смех его нравоучения, но умел воздержаться. Невзирая на то, что острота ума его была безмерная, чувствовал он, что истина,

умным человеком твердо произнесенная, может в один миг сделать смешным самого насмешника. Итак, решился он губить Каллисфена скрытою клеветою и скоро довел государя до того, что один вид философа стал уже ему в тягость.

В сие время Александр предприял путешествие в Ливию ко храму Юпитера Аммона. За день перед отъездом вышло расписание, кому ехать при лице государя. Он взял с собою весь свой совет, но над именем Каллисфена написано было рукою Александра: «позади в обозе».

Философ нималейше не тронут был сим знаком холодности государя, для того что он ничем его не заслужил; всего же менее оскорблен он был явным к себе презрением придворной черни, которая, прочитав выражение: «позади в обозе», старалась оскорблять всячески Каллисфена, ласкаясь, что такое поведение против впадшего в немилость всевысочайше причтено быть может за всенижайшее и вернорабское усердие к произволению государя.

Между тем Александр, в самый день своего отъезда увидев Каллисфена, совестился долго подойти к нему; наконец доброе сердце его превозмогло, и он, воображая, что философ огорчился его холодностию, хотел его успокоить.

— Я боюсь,— говорил ему государь,— отягчить тебя скорым путешествием с собою. Мы в войне обыкли к трудам, кои могли б тебя обременить. Следуй за мною так тихо, как тебе угодно.

— Государь! — отвечал ему Каллисфен,— повинуюсь твоей воле, но будь уверен, что для меня совершенно равно, ехать с тобою или позади, если мое присутствие не более тебе полезно, как мое отсутствие.

Сии слова произнес Каллисфен с такою кротостию, с таким простосердечием, что сам Александр и все предстоящие никак не могли их приписать негодованию философа, но видели в них одно искреннее его усердие быть полезным государю. Леонад приметил, что Александр вдруг сильно возмутился, и для того нужно ему было рассеять тотчас сие смущение и не допустить сердце государя обратиться на добродетельное чувство. Он подал знак остающимся военачальникам испрашивать от Александра повеления; и между тем подвезли колесницу, в которую Леонад нечувствительно посадил государя и увез его гораздо скорее, нежели он уехать думал.

Каллисфен, как ненужный государю человек, отправился, по его повелению, в обозе с ненужными вещами. Скотаз, на-

чальник обоза, был из тех придворных тварей, коих поведение пред знатными весьма подло, но пред теми, коих он не боялся и в ком не искал, весьма грубо; словом, человек был низкий и глуп до невероятности. Верблюды, лошади, ослы составляли существо душевных его чувств. Говоря об них, вдруг приходил он в пресмешной восторг, но ни о чем уже другом слова молвить не умел. С Каллисфеном обошелся он так невежливо, как от Скотаза ожидать токмо можно.

— Зачем, старик, тащишься с нами? — говорил он с презрением философу.— Здесь и без тебя грузно. Я слышал, что ты философ; дай-ка посмотреть на себя. Мы их при конюшне не видывали; я чаю, полно, есть ли они и при дворце.

— Я никого не видал! — отвечал Каллисфен.— Видно, что двор не их жилище.

— У двора,— говорил Скотаз важным голосом,— надобно ум, да и ум не твоему чета. Мы тут сами около тридцати лет шатаемся, да того и смотришь, что в беду попадешь.

— Я не в беде,— говорил Каллисфен.

— Да что ж ты не при лице? — спросил его Скотаз.— Ты хочешь меня уверить, что царских любимцев в обоз отсылают; нет, старик, коль ты отдан на мои руки, так, видно, мода с тебя спала. Ты, я чаю, болтаньем своим досадил многим господам. Я и сам,— примолвил Скотаз, вздыхая,— я и сам за царских ослов страдал не однажды.

В дороге начинал он с философом говорить о лошадях и верблюдах, но, увидя, что философ в сем деле ничего не разумел, возымел он к нему глубочайшее презрение, а потому и учредил с ним свое поведение: из колесницы, в которую сперва посажен был Каллисфен, высадил он его в телегу. Не было пригорка, на который бы не заставил он всходить пешком Каллисфена.

— Если бы случилось тебе везти на гору Леонада,— говорил ему философ,— ты поступил бы с ним иначе, нежели со мною.

— Вот-на! — отвечал Скотаз.— Да для его высокопревосходительства я сам бы рад припрячься.

Наконец, спустя несколько дней по прибытии Александровом ко храму Юпитера, доехал туда и философ. Жрецы предуспели уже подлою лестию помрачить рассудок государя. Каллисфен, услышав, что сей Аристотелев ученик почитает себя богом, называет себя Юпитеровым сыном и проповедует странные басни о своем происхождении, вошед в чертог царский, увидел Александра, окруженна воинами, не имеющими

о божестве понятия, и придворными, верующими во все то, во что государь приказывает верить. Все они дерзнули утверждать в глаза Каллисфену, что Александр есть бог действительно.

— Государь,— вопросил его философ,— правда ли, что ты бог?

— Правда,— отвечал Александр, покраснев и запинаясь.

— Государь,— говорил ему Каллисфен, улыбаясь,— велико твое требование, но не бойся, чтоб философия обременила тебя тяжким порицанием; она таковым мнениям только лишь смеется; но, став богом, государь, если им стать тебе угодно, помышляй, к чему обяжет тебя сие великое титло. Боги от единых благотворений познаются; за усердие к себе платят они милостями, за обожание покровительством. Иногда мещут они громы, но мещут против воли; паче всего в свете любят они творить блаженство смертных.

Каллисфен уклонился от приношения жертвы ученику друга своего Аристотеля, отозвавшись, что в Ликее не привыкли они находить богов так с собою близко. От нового бога ожидал он нового какого-нибудь преступления, дабы употребить против него всю строгость, каковою философия на исправление смертных ополчается; к несчастию, ожидание его не много продолжалось. Чрез несколько месяцев мнимый сын Юпитера впал во все гнусные пороки: земной бог спился с кругу, пронзил в безумии копьем сердце друга своего Клита, и однажды после ужина, в угодность пьяной своей наложнице, превратил он в пепел великолепный город.

Слух о сих мерзостных злодеяниях воспалил рвение Каллисфена. Он вбежал в чертоги монарха, не ужасаясь ни величества его, ни множества окружающих его полководцев и сатрапов.

— Александр! — возопил он,— сим ли образом чаешь ты достоин быть алтарей? Ты друга умерщвляешь, тысячи невинных своих подданных предаешь пламени... Чудовище! ты имени человека недостоин!

От сих слов изумление объяло всех предстоявших, но скоро превратилось оно в лютость. Придворные возбуждали паче злобу Александра, который, будучи вне себя от гнева, поручил Леонаду изобрести достойную казнь неслыханному у двора дерзновению Каллисфена.

Леонад имел бесчеловечие немилосердо мучить сего почтенного мужа и вкинуть потом в ужасную тюрьму. Между тем как изыскивали для него род лютейшей казни, болезнен-

ное страдание, соединясь с тяжестию оков, извлекло из бренного тела его великую душу.

По кончине самого Аристотеля найдено в бумагах его следующее письмо Каллисфеново, писанное за несколько часов пред его смертию. Здесь предлагается оно с отметкою его друга.

Письмо Каллисфена:

«Умираю в темнице; благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!»

Отметка рукою Аристотеля:

«При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!»

ДРУГ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, ИЛИ СТАРОДУМ[1]

Периодическое сочинение, посвященное истине

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ

С.-Петербург, января 1788.

Я должен признаться, что за успех комедии моей «Недоросль» одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публи-

[1] Вот заглавие, под которым издаваться будет на сей 1788 год новое периодическое сочинение под надзиранием сочинителя комедии «Недоросль». Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны. Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить будет можно в начале мая, вторые четыре в начале сентября, а последние четыре в начале будущего года.

Подписка на сие сочинение отворена у книгопродавца Клостермана на следующих кондициях:

Каждый экземпляр, то есть двенадцать листов, стоить будет один рубль пятьдесят копеек. Желающие подписаться благоволят внести сии деньги и взять билет, с которым в первых днях мая можно будет получить первые четыре листа и билет на достальные восемь листов, кои раздаваться будут в означенный срок непременно.

Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на семьсот пятьдесят экземпляров до первого марта, после которого подписка продолжаться не будет. Но ежели до сего числа на помянутое количество экземпляров подписано не будет, то сие сочинение вовсе напечатано быть не может.

Переводы из сего периодического творения вовсе исключаются. Ни одно сочинение, где-нибудь напечатанное, в сей книге места иметь не может. Словом, все сочинения будут совсем новые, а разве знакомые потому, что некоторые из них в публике ходят рукописные.

Имена подписавшихся при начале книг напечатаны будут, и все старания приложатся, чтобы удовольствовать почтенную публику и со стороны типографской части.

ка и доныне с удовольствием слушает; но как болезнь моя не позволяет мне упражняться в роде сочинений, кои требуют такого непрерывного внимания и размышления, каковые потребны в театральных сочинениях; с другой же стороны, привычка упражняться в писании сделала сие упражнение для меня нуждою, то и решился я издавать периодическое творение, где разность материй не требует непрерывного внимания, а паче может служить мне забавою. Но чтоб быть мне вернее в успехе труда моего, я назвал его вашим именем и покорнейше вас прошу принять в нем искреннее участие, сообщая мне для помещения в сию книгу мысли ваши, кои своею важностию и нравоучением, без сомнения, российским читателям будут нравиться. Не страшусь я строгости цензуры, ибо вы, конечно, не напишете ничего такого, чего бы напечатать было невозможно. Век Екатерины Вторыя ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. «Недоросль» мой, между прочим, служит тому доказательством, ибо назад тому лет за тридцать ваша собственная роль могла ли бы быть представлена и напечатана? Правда, что есть и ныне особы, стремящиеся угнетать дарования и препятствующие выходить всему тому, что невежество и порок их обличает, но таковое немощной злобы усилие, кроме смеха, ничего другого ныне произвести не может. Итак, я ласкаюсь, что вы, по ревности вашей к общему благу, не отречетесь вспомоществовать мне в моем предприятии сообщением мне всего того, что, как найдете вы, для честных людей, которых по справедливости назвали вы себя другом, может быть приятно и полезно. Моя же благодарность к вам равняться будет тому душевному почтению, с которым навсегда пребываю и проч.

Сочинитель «Недоросля».

ОТВЕТ СТАРОДУМА

Москва, января 1788.

С удовольствием соглашаюсь я принять участие в вашем периодическом сочинении. Я буду вам сообщать мысли мои по мере, как они мне в голову приходить будут. Красноречия от меня не ожидайте, ибо вы сами знаете, что я не писатель, а буду говорить полезные истины для того только, что мы, богу благодарение, живем в том веке, в котором честный человек может мысль свою сказать безбоязненно. Я сам жил большею частию

тогда, когда каждый, слушав двоих так беседующих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от них стремглав, трепеща, чтоб не сделали его свидетелем вольных рассуждений о дворе и о дурных вельможах; но чтоб мой сей разговор приведен был в театральное сочинение, о том и помышлять было невозможно, ибо погибель сочинителя была бы наградою за сочинение. Екатерина расторгла сии узы. Она, отверзая пути к просвещению, сняла с рук писателей оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения. Итак, российские писатели, какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если какая рабская душа, обитающая в теле знатного вельможи, устремится на вас от страха, чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если какой-нибудь бессовестный лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отечества и своих сограждан, то перо ваше может смело обличать их пред троном, пред отечеством, пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, где писатели наслаждаются дарованною им свободою, имеют они долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с дарованием может в своей комнате, с пером в руках, быть полезным советодателем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества. Дабы обещание мое о принятии участия в вашем сочинении было не на словах, а на деле, сообщаю вам теперь же несколько полученных мною писем от знакомых вам особ и с моими ответами. Вы можете поместить их в вашу книгу, если рассудите за благо; а я навсегда пребываю и проч.

Стародум.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ПЛЕМЯННИЦЫ ЕГО СОФЬИ

С.-Петербург, января 1788.

Я теперь нахожусь в самом лютом положении; прибегаю к вашему благоразумию; будьте, милостивый государь дядюшка, моим руководителем и подайте мне спасительный совет. Сколько по склонности, столько и следуя вашей воле, вышла я за Милона; несколько времени вела я с ним жизнь преблаго-

получную, но мы приехали в Петербург, где узнала я прямое несчастие: Милон мне неверен! Он влюблен, и в кого? В презрительную женщину, каковые наполняют здешние вольные маскарады и, будучи осыпаны бриллиантами, соблазняют молодых людей, не имеющих испытания, и довели здешнюю публику до того, что всякая порядочная женщина не может уже посещать сих собраний. Одна из сих нечестивых поймала в сети свои моего мужа, которого я обожаю. Сердце мое терзается день и ночь. Я ревную до безумия. Ум мой занят вымыслами об отмщении. Жизнь моя продолжиться не может, если я еще останусь в настоящем положении. Что мне делать, милостивый государь дядюшка? Не отрекитесь подать мне совет и вывесть меня из бедствия. Я есмь и проч.

Софья Милонова.

ОТВЕТ СТАРОДУМА СОФЬЕ

Москва, января 1788.

С сердечным сожалением узнал я из письма твоего, в какую слабость поверг себя Милон. Он влюблен в презрительную женщину, а ты, моя Софьюшка, ревнуешь к сей твари! Я весьма знаю молодцов, подверженных такой слабости. Сии женщины, наполняющие ваши вольные маскарады, каковых число и у нас в Москве становится довольно велико, имеют особливое искусство ловить молодых людей в свои сети и вертеть им головы. Верь, однако ж, Софьюшка, что и твоя голова не в лучшем состоянии. Ты сокрушаешься день и ночь, занимаешься отмщением. Остерегись, друг мой! Ты неблагоразумно поступаешь. Добродетель жены не в том состоит, чтоб быть на страже у своего мужа, а в том, чтоб быть соучастницею судьбы его, и добродетельная жена должна сносить терпеливо безумие мужа своего. Он ищет забавы в объятиях любовницы, но по прошествии первого безумия будет он искать в жене своей прежнего друга. Паче всего не усугубляй одного зла другим, ни одного дурачества другим, сильнейшим. Огонь, которого не раздувают, сам скоро погасает: вот подобие страстей. Сражаясь упорно с ними, пуще их раздражаешь; не примечай их, они сами укротятся.

Познай все свое неразумие. Муж твой старается скрыть от тебя обиду, которую тебе делает, а ты стараешься показать ему, что тебе она известна. Разве не чувствуешь ты, что срываешь

завесу и что он не будет иметь причины воздерживаться и станет обижать тебя явно? Пожалуй, не основывай любви своей на его ласках, но на его честности. Знай, что честность есть душа супружеского согласия. Прелести забав повергают его на колени пред другою; но, возвращаясь к тебе, ищет он и любит находить милого своего друга, разделяющего судьбу его; рассудок его влюблен в тебя, и только страсть одна влечет его в объятия твоей соперницы. Но страсти скоротечны; насыщение следует за ними скоро; минута их воспламеняет, минута погашает.

Если мужчина не развращен вовсе, то к презрительной женщине долго привязан быть не может.

Скоро отстанет он от порочных забав, кои стоят всегда очень дорого. Муж твой не умедлит почувствовать, что он вредит сам себе, что разоряется и отваживается потерять свое доброе имя. Он имеет столько рассудка, что не пойдет упорно на свою погибель. Он познает свою опасность и почувствует необходимость возвратиться на путь добродетели; права супруги призовут его опять к ней. Тогда он познает прямую цену твою, не возможет вспомнить без стыда о прошедшем своем поведении; ты найдешь его в раскаянии и любви твоей достойным.

Паче всего, любезная Софья, оставь презрительным девкам приличные им уловки. Кротость, верность, старание о доме, горячность к детям, уважение к друзьям мужа своего — вот уловки честной женщины.

Стыдись показывать ревность свою к девке. Одно благороднейшее поревнование тебя достойно. Не уступай в добродетели женам добродетельнейшим. Не питай злобы в сердце своем, будь всегда готова к примирению; благонравие одно делает неприятелей наших к нам благосклонными; благонравие одно делает женщину почтенною. Одно оно дает женам владычество над мужьями. Выбирай любое: или принудь мужа своего почитать тебя, или будь его рабою.

Ты имеешь способ упрекать его в дурном поведении; сей способ есть твоя добродетель. Ею пристыди его, ею принудь его просить у тебя прощения. Когда почувствует он всю свою несправедливость, когда увидит, что ты ее не заслуживаешь (и какая была бы для него потеря, если б ты любить его перестала!), тогда он больше тебя любить станет. Обыкновенно цена здоровья ощущается после болезни; равномерно несогласия любящих делают примирение приятнейшим.

Но буде ты внимать мне не хочешь, то, пожалуй, продолжай безумную свою ревность. Рассудок мужа твоего болен; являй, что и твой не здоровее. Он отваживается потерять свое доброе имя, теряй и ты свое. Он разоряется, помогай ему в разорении; думая наказывать его, наказывай себя. Но нет, Софьюшка, не вдавайся ты в сии крайности. Скрывай страдания сердца твоего, терпи великодушно. Вот способ прекратить твое бедствие. Я никогда не престану быть твоим искренним другом.

Стародум.

P. S. Сегодня никаких советов не пишу я к Милону, дабы не подать ему подозрения, что ты мне на него жаловалась. Со временем я и к нему со всею искренностию писать буду.

ПИСЬМО ТАРАСА СКОТИНИНА К РОДНОЙ ЕГО СЕСТРЕ ГОСПОЖЕ ПРОСТАКОВОЙ

Матушка сестрица! я по отпуске сего письма жив, но в превеликом горе. Тебе не безызвестно, что в деревенской жизни свиной завод мой составляет главное мое удовольствие. На сих днях сделалось у меня несчастие; я чуть было не дошел до отчаянности. Лучшая моя пестрая свинья, которую из почтения к покойной нашей родительнице (ты знаешь, что я всегда был сын почтительный) прозвал я ее именем, Аксинья, скончалась от заушницы. Сколько ни старался я об ее излечении, но вижу, что и свиные врачи не искуснее человеческих. Лечили несколько месяцев, денег перевели пропасть, а кончилось дело кончиною моей дражайшей Аксиньи, которая была дороже жизни и всего завода. Она жила беспорочно. Я между женщинами многих Аксиний знаю, но моя жила их целомудреннее. Как скоро мне сказали, что она трудна, с тех пор не выходил я из хлева до последнего ее издыхания. Она умирала геройски, не показывая никакого знака нетерпения. Я, будучи также смертный, истинно, глядя на нее, учился умирать.

Сие несчастное приключение переменило совсем нрав мой. Мне свет опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь заняться. Хочу прилепиться к нравоучению, то есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян. Но как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то, находя, что сло-

вами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой. Всегдашняя склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Аксиньи, не буду знать ни пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет. Я хочу, чтоб действие надо мною столь великой потери ощутили все те, кои от меня зависят. Ты знаешь, матушка, что всякую мою досаду, кольми паче несчастие, над людьми моими вымещаю, и если между твоими крепостными найдутся такие, коих нравы исправлять надобно моим манером, то присылай ко мне, а я на свою руку охулки не положу и всегда рад тебе доказывать, что я твой достойный брат

Тарас Скотинин.

ПИСЬМО СТАРОДУМА К СОЧИНИТЕЛЮ «НЕДОРОСЛЯ»

Москва, февраля 1788 года.

На сих днях попались мне в руки ходящие здесь рукописные два сочинения: 1-е, «Всеобщая придворная грамматика»; и 2-е, «Письмо Взяткина к покойному его превосходительству, с ответом». Идея первого сочинения совсем новая, а второе обнаруживает бездельнические способы к угнетению бедных и беспомощных. Оба кажутся мне достойны быть помещены в творениях, посвященных истине. Для того я их при сем к вам сообщаю, пребывая и проч.

Стародум.

ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Сия Грамматика не принадлежит частно ни до которого двора; она есть всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор. Древность сего сочинения глубочайшая, ибо на первом листе Грамматики хотя год и не назначен, но именно изображены сии слова: *вскоре после всеобщего потопа.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

В о п р. Что есть Придворная Грамматика?

О т в. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

В о п р. Что значит хитро льстить?

О т в. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

В о п р. Что есть придворная ложь?

О т в. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому бариду за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.

В о п р. На сколько родов разделяются подлые души?

О т в. На шесть.

В о п р. Какие подлые души первого рода?

О т в. Те, кои сделали несчастную привычку без малейшей нужды в передних знатных господ шататься вседневно.

В о п р. Какие подлые души второго рода?

О т в. Те, кои, с благоговением предстоя большому барину, смотрят ему в очи раболепно и алчут предузнать мысли его, чтобы заранее угодить ему подлым таканьем.

В о п р. Какие суть подлые души третьего рода?

О т в. Те, которые пред лицом большого барина, из одной трусости, рады все всклепать на себя небывальщины и от всего отпереться.

В о п р. А какие подлые души рода четвертого?

О т в. Те, кои в больших господах превозносят и то похвалами, чем гнушаться должны честные люди.

В о п р. Какие суть подлые души пятого рода?

О т в. Те, кои имеют бесстыдство за свои прислуги принимать воздаяния, принадлежащие одним заслугам.

В о п р. Какие же суть подлые души рода шестого?

О т в. Те, которые презрительнейшим притворством обманывают публику: вне дворца кажутся Катонами; вопиют против льстецов; ругают язвительно и беспощадно всех тех, которых трепещут единого взора; проповедуют неустрашимость, и по их отзывам кажется, что они одни своею твердостию стерегут целость отечества и несчастных избавляют от погибели; но, переступая чрез порог в чертоги государя, делается с ними совершенное превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшею лестию; кого ругал за полчаса, пред тем

безгласный раб; проповедник неустрашимости боится некстати взглянуть, некстати подойти; страж целости отечества, если находит случай, первый протягивает руку ограбить отечество; заступник несчастных для малейшей своей выгоды рад погубить невинного.

Вопр. Какое разделение слов у двора примечается?

Отв. Обыкновенные слова бывают: *односложные, двусложные, троесложные* и *многосложные.* Односложные: *так, князь, раб;* двусложные: *силен, случай, упал;* троесложные: *милостив, жаловать, угождать,* и, наконец, многосложные: *высокопревосходительство.*

Вопр. Какие люди обыкновенно составляют двор?

Отв. Гласные и безгласные.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ГЛАСНЫХ И О ЧАСТЯХ РЕЧИ

Вопр. Что разумеешь ты чрез гласных?

Отв. Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большой части самым простым звуком, чрез одно отверзтие рта, производят уже в безгласных то действие, какое им угодно. Например: если большой барин при докладе ему о каком-нибудь деле нахмурясь скажет: *о!* — того дела вечно сделать не посмеют, разве как-нибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он, получа о деле другие мысли, скажет тоном, изъявляющим свою ошибку: *а!* — тогда дело обыкновенно в тот же час и решено.

Вопр. Сколько у двора бывает гласных?

Отв. Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять.

Вопр. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода?

Отв. Есть: полугласные, или полубояре.

Вопр. Что есть полубоярин?

Отв. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные, или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя еще безгласный, но перед безгласными уже гласный.

Вопр. Что разумеешь ты чрез придворных безгласных?

Отв. Они у двора точно то, что в азбуке буква ъ, то есть сами собою, без помощи других букв, никакого звука не производят.

В о п р. Что при словах примечать должно?

О т в. Род, число и падеж.

В о п р. Что есть придворный род?

О т в. Есть различие между душою мужескою и женскою. Сие различие от пола не зависит, ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.

В о п р. Что есть число?

О т в. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного; или же иногда: сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.

В о п р. Что есть придворный падеж?

О т в. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, бóльшая часть бояр думает, что все находятся пред ними в *винительном падеже;* снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно *падежом дательным.*

В о п р. Сколько у двора залогов?

О т в. Три: *действительный, страдательный,* а чаще всего *отложительный.*

В о п р. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?

О т в. Повелительное и неопределенное.

В о п р. У людей заслуженных, но беспомощных, какое *время* употребляется по большей части в разговорах с большими господами?

О т в. *Прошедшее,* например: *я изранен, я служил* и тому подобное.

В о п р. В каком *времени* бывает их ответ?

О т в. В *будущем,* например: *посмотрю, доложу* и так далее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ГЛАГОЛАХ

В о п р. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?

О т в. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: *быть должным* (для примера прилагается здесь спряжение *настоящего времени,* чаще всех употребительнейшего):

Настоящее:

Я должен.	Мы должны.
Ты должен.	Вы должны.
Он должен.	Они должны.

Вопр. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?

Отв. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.

Вопр. А в будущем?

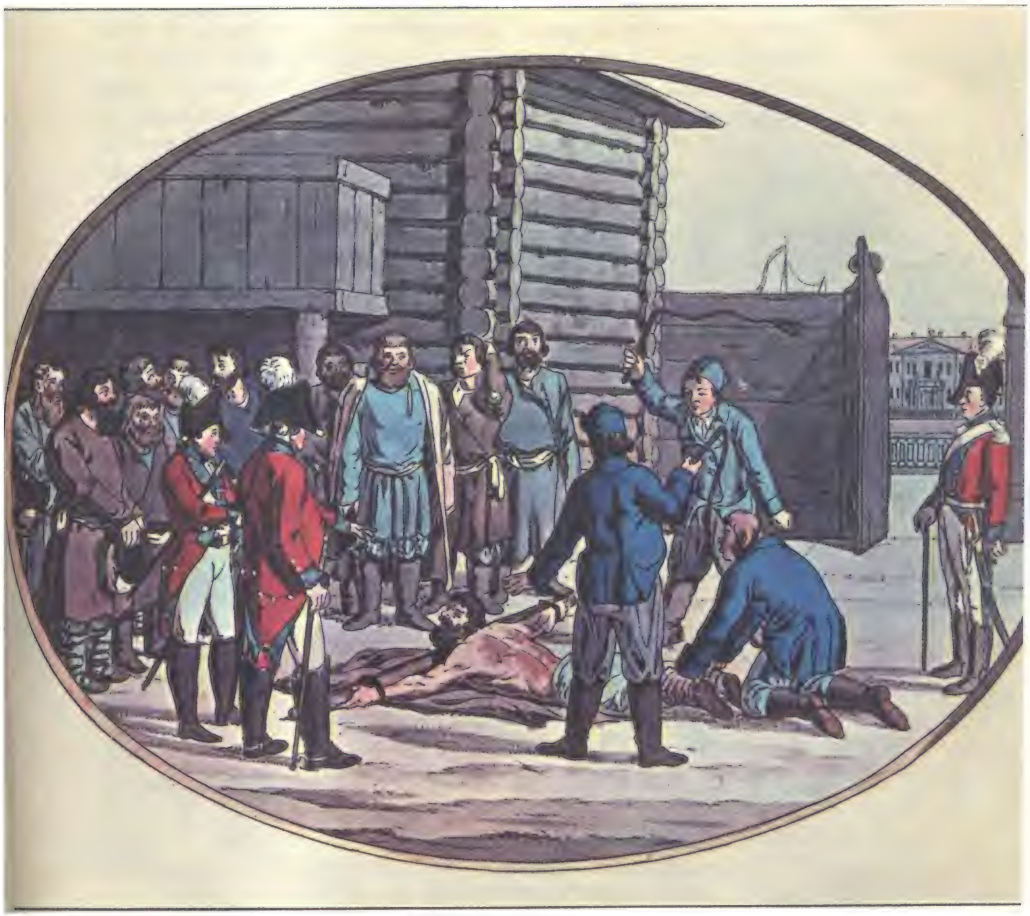
Отв. В будущем спряжение сего глагола употребительно: ибо само собою разумеется, что всякий непременно в долгу *будет,* коли еще не есть.

ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ ПО БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЕ НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ВЗЯТКИНА, К ПОКОЙНОМУ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ***

Москва, 1777.

Милостивый государь и второй отец!

С крайним сердца нашего обрадованием, чему свидетель господь сердцевидец, услышал я с женою моею Улитою и с детьми нашими обоего пола, что ваше превосходительство, так сказать, из ничего, по единой божеской благости, слепым случаем произведены в большой чин и посажены знатным судьею, весьма в непродолжительное время и без всяких трудов, по единой милости создателя, из ничего всю вселенную создавшего. К стопам вашего превосходительства упадая, просим рабски не оставить нас по делам нашим, которым и реестрец маленький вкратце приложить возымел я дерзость, а при нем прилагаю вам, государю и отцу, сторублевую ассигнацию, на первый случай, зная издревле благочестивую душу вашего превосходительства, пред которою *всяко даяние благо и всяк дар совершен.* Да и поистине, милостивый государь и отец, жизнь наша краткая; не довлеет пренебрегать такие благознаменитые случаи, в которые ваше превосходительство можете приобресть стяжания в роды родов. Теперь-то пришло время благополучия нашего: истцы и ответчики, правые и виноватые, богатые и *убозии,* все в руце вашего превосходительства. Что же касается до казны, то, по моему глупому разуму, несть греха и до нее от времени до времени прикасаться, ибо не ваше превосходительство, так другой, а казна никогда от рождения в целости не бывала, да и быть едва ли может, да и, видно, таков положен ей предел, *его же не прейде.* При толиких удобных благо-



Наказание крестьянина плетьми в присутствии полицейских чинов.

Гравюра Г. Гейслера.
1803 г.
Государственный Исторический музей.

получиях да не буду и я отриновен от благодати вашего превосходительства, и не возможно ли, милостивый государь и второй отец, перетащить меня из Москвы в С.-Петербург, хотя тем же чином, для прислуг вашему превосходительству. А когда соизволите усмотреть приращение интересов ваших моими усердными и беспорочными трудами в приискании известных случаев ради помянутого приращения, то и о произведении меня чином отеческое попечение возымеете. Да еще ж прошу вас, государя и отца, о сыне моем Митюшке, ежели возможно, взять его к себе хотя в копиисты, а его господь наградить благоволил, что он к приказным делам весьма сроден и уже под моим смотрением сочинил совсем нового рода сводное уложение, приискав на каждое дело по два указа, из коих по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелевается; так я и думаю, что из него прок будет и он удостоится отеческой вашей милости, на что и ожидаю вашего указа. Истинно, милостивый государь и отец! теперь ваше, а по вас и наше время настало; а на первый случай хотя народу и тяжко будет, да когда в производствах своих соблаговолите ссылаться на законы, к чему и убогие Митюшкины труды могут пригодиться, то поневоле замолчат наши недоброхоты. Государь и отец! рассудите сами по чистой совести: буде челобитчик и ответчик ищут своей пользы в законах, то для чего же судье своей пользы не искать в законах? От таковой выключки оборони нас вышний; а я по конец жизни вечно и по гроб мой до последнего издыхания пребываю

вашего превосходительства, милостивого государя и отца, всепокорнейший слуга и раб, Артемон Взяткин, к стопам повергаюсь.

КРАТКИЙ РЕЕСТР

ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ ВСЕУНИЖЕННЕЙШЕЙ ПРОСЬБЫ НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ВЗЯТКИНА, С ОЗНАЧЕНИЕМ ЦЕН, КЛЯТВЕННО ОБЕЩАЕМЫХ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ЗА МИЛОСТИВУЮ ПРОТЕКЦИЮ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

1. Имеется межевое дело бывшего воеводского товарища Антропа Шильникова с разными беззаступными помещиками. Вместо потребных документов, коих реченный Шильников нигде отыскать не может, да заступит едино предстательство вашего превосходительства за . . . . . 500 руб.

2. Асессор Воров ищет места в дальних наместничествах, дабы слух о производствах его не достигал никогда до столицы. Человек он кроткий и славы не любит. Чрез полгода по прибытии в его место не преминет он вашему превосходительству повергнуть чрез меня . . . . . 500 руб.

Потом ежегодно, пока продлит бог века вашему превосходительству, по . . . . . 1000 руб.

3. Вдова штаб-офицерша Беднякова, имеющая вексельное дело с купцом Плутягиным, потащилась в С.-Петербург искать правосудия. Не возможно ль, государь и отец, удостоить отеческим покровительством реченного Плутягина и, не допуская до подаяния челобитной, под каким ни есть предлогом выгнать из столицы реченную вдову Беднякову? За таково человеколюбивое благодеяние, которое в настоящем случайном благополучии ваше превосходительство всего удобнее показать можете, реченный купец подносит . . . . . 500 руб.

4. Советник Криводушин, находящийся в известном наместничестве, просит сильного рекомендательного письмеца вашего превосходительства, дабы он употреблен был при рекрутских наборах; и если, как надеяться должно, будет он удостоен сей весьма важной для поправления дел его комиссии, то в каждый таковой благополучный и вожделенный год ваше превосходительство наверное благоволите считать от него по . . . 1500 руб.

5. Находившийся при таможенных сборах асессор Простофилин, которого за весьма малое до казны прикосновение бросили от места, припадает к стопам вашего превосходительства и просит из единого человеколюбия приложить милосердное попечение об определении его к новому месту, с клятвенным обещанием, что он так мало до казны никогда не прикоснется и поставит себя в состояние в непродолжительном времени достойно и праведно возблагодарить ваше превосходительство.

Наконец, осмеливаюсь упомянуть вашему превосходительству и о моем страдальческом положении. До сих пор в здешнем правительстве не решено еще известное дело мое о бесчестии и увечье по поводу данной мне, всенижайшему, сильной пощечины от его высокоблагородия г. майора Неспускалова. Помилуйте, государь и отец, не оставьте меня милостивою рекомендациею к здешнему начальству и испросите высокого его покровительства в скорейшем мне получении определенного по законам бесчестия и увечья как за сию, уже данную мне, пощечину, так генерально и за все могущие впредь со мной воспоследовать, дабы не при всякой новой оплеухе утруждать ваше превосходительство вновь о милостивом заступлении.

ОТВЕТ

Мой государь, Артемон Власьевич!

Много благодарствую за приятельское ваше писание с приложением известной бумажки и реестра, по которому я учинил следующее распоряжение:

На 1. Шильниково дело я давно знаю. Если б он попался к другому, то б, конечно, обвинен был; но как я крепостных документов никогда ни от кого не спрашиваю, а решу и заступаю по другим документам, каковых соперник его не представляет мне ни одного, а Шильников пятьсот, то сей последний может быть уверен, что все законы возопиют против его соперника; но не забудь, мой приятель, растолковать ему, что обещаемые пятьсот документов мне не послужат нимало к убеждению секретаря. Для него потребна по крайней мере новая сотня документов. Он человек совести весьма деликатной и за безделицу души не покривит.

На 2. Воров мне самому был приятелем с ребячества. Прилагаю об нем рекомендательное письмецо, в твердом уповании, что он свой расчет сделал и обещаемое мне верно доставлять станет. А ты, мой приятель, уверь его, чтоб он никаких жалоб не опасался, ибо, пока я боярин, он, Воров, и вся его родня будут вести житие благоденственное.

На 3. О Бедняковой дал я сегодня же приказ моему канцеляристу, чтоб он при въезде ее в город закричал на нее: *караул!* в ямской под предлогом якобы некоего тяжебного дела; следственно, будет она проведена прямо в государеву квартиру: а как, по новости ее в городе, она порук по себе не найдет, да и я не допущу, то может она сидеть в тюрьме до тех пор, пока согласится, не заезжая никуда, отправиться восвояси. Будь уверен, мой приятель, что, пока я боярин, по тех пор для всех Бедняковых Петербург будет тюрьма, а тюрьма — Петербург.

На 4. Рекомендательное письмо к NN об употреблении советника Криводушина к рекрутским наборам охотно при сем прилагаю; а притом прошу внушить ему якобы от себя, чтоб он не сильно налегал на помещичьих, а прижимал бы плотнее тех, за которых некому вступиться. Сего последнего правила держусь я и сам в знатном моем состоянии, кольми паче маленький человек наблюдать оное должен.

На 5. Асессор Простофилин сам виноват, для чего потерял место. Я его за простоту любил, и, как теперь помню, накануне допроса, учиненного ему о казенной краже, я призывал его к

себе и сколько раз, увещевая дружески, говорил ему: «Эй, отопрись, отопрись!» Нет, сударь, таки признался, повинился; вот за то и топчи теперь площадь. Скажи ему, однако, что я об нем постараюсь, но что если он еще раз украдет мало, то навсегда от него отступлюсь.

При сем же прилагаю рекомендательное письмецо по поводу данной тебе, приятелю моему, пощечины. Будучи в малых чинах, я и сам пользовался безумною горячностию челобитчиков, и с таким успехом, что поистине целый годовой оклад мой выбирал иногда на одних оплеухах. Но, с тех пор как я сделался боярином, сия ветвь моих доходов совершенно истребилась. Когда я, будучи в маленьких чинах, обращался с мелким дворянством, бывало, за всякую безделицу: выдеру ль лист из дела, почищу ль да приправлю, того и смотрю, что обиженный мною, без дальних извинений, шлеп меня по роже. Но в настоящем положении, что ни творю, никто не дерзает меня в очи избранить, не только заушить. Истинно, мой достойный приятель, жалко видеть, как в большом свете души мелки и робки!

Учиня тебе, мой государь и нелицемерный приятель, ответ на твое дружеское писание, прилагаю при сем вкратце тебе наставление, или краткую инструкцию, какие в настоящем моем положении потребны мне твои приятельские услуги:

1. В откровенности тебе скажу, моему государю, что здесь слово *откуп* в крайнем презрении и поношении и называется *монополия.* Мое мнение то, чтоб сего слова никогда не употреблять, а все откупать, что возможно, ибо иногда одну вещь под разными именами не распознают вовсе. Я положил откуп называть *законтрактованием* и прошу тебя приискать в Москве из старых откупщиков к новому законтрактованию каких вещей они сами пожелают, лишь бы меня самого взяли в половину, дабы я имел причину дать им надлежащую протекцию и покровительство.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ СОЧИНИТЕЛЯ «НЕДОРОСЛЯ»

С.-Петербург. Февраля ... дня 1788 года.

Сообщенный мне вами в свое время разговор ваш с Софьею, из которого составил я второе явление четвертого действия «Недоросля», весьма сокращен г-ми актерами, дабы комедия не весьма была длинна, но как в том, что выпущено, много есть

нравоучительного, которое достойно быть известно нашей просвещенной публике, то я, с позволения вашего, помещу весь ваш разговор в мое периодическое творение, поставя знак « » на всем том, что в комедии не напечатано и чего актеры не играют.

Я есмь и проч.

Сочинитель «Недоросля».

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!

Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.

Стародум. Какую?

Софья. Французскую: Фенелона, о воспитании девиц.

Стародум. Фенелона, автора «Телемака»? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал «Телемака», тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корня добродетель. Сядем. *(Оба сели.)* Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливою, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим; оно готово вам повиноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностию я говорить буду. Поближе. *(Софья подвигает стул свой.)*

Софья. Дядюшка, всякое слово ваше врезано будет в сердце мое.

Стародум *(с важным чистосердечием)*. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где всего чаще первая встреча бывает: умы развращенные в своих понятиях, сердца развращенные в своих чувствах. О мой друг! умей различать, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была бы надежною порукою за твой разум и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают, а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.

«Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно оттого, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить!

Софья. Да скажите ж мне, пожалуйте, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.

Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели, как судья, наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что́ делает. Надобно, чтоб душа его была очень низка, когда она не выше дурного дела.

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно».

Софья. Мне казалось, дядюшка, что люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство...

Стародум. Так, и я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мои расчеты. Степени знатности рассчитываю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по чис-

лу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив; богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

«Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...

Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка. И такой знатный никого счастливым не делает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось; ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одной боязнию: рано или поздно сверзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да, мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя. Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?»

(Далее продолжается явление так, как оно напечатано.)

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ДЕДИЛОВСКОГО ПОМЕЩИКА ДУРЫКИНА

Имея честь быть вашим соседом, прошу не прогневаться, что я, без всяких моих заслуг, утруждаю вас сим письмом. Я знаю, что вы в Москве много знакомцев имеете и любите людей ученых, а мои обстоятельства вот каковы.

Я имею шестерых детей: трех мужеского и столько ж женского пола. Для девочек переманили мы от соседа мадаму,

которая за ними смотрит и за которою мы смотрим; она называется мадам Лудо, неизвестно какой нации. Большой мой сын, Феденька, по семнадцатому году, читать и писать умеет, а Митюшка и Павленька еще не начинали грамоте. Митюшка — матушкин сынок; с ним надобно обходиться нежно, ибо он слабого здоровья. Я хотел бы выписать из Москвы учителя, но только не немца, ибо боюсь взять Вральмана. Не худо было бы, если б вы сделали милость, посмотрели из университетских студентов, а кондиции мои при сем прилагаю, пребывая в прочем...

Дурыкин.

КОНДИЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ДОМУ ДУРЫКИНА

1. Учитель должен быть из русских, уметь по-французскому, по-немецкому, сочинять стихи, сколько потребно для домашнего обихода. Не худо, чтобы он знал и арифметику.

2. На год дам ему двести рублей, а он должен учить детей моих со всею кротостию.

3. Жить он будет у меня в доме, обедать с камердинером.

4. А как я, по милости божией, имею чин генеральский, будучи отставлен действительным статским советником, то я именно требую, чтоб он в разговорах со мною и с женою давал нам чаще титул превосходительства.

5. При гостях в наше присутствие он садиться не должен.

6. С мадамою Лудо отнюдь не амуриться, дабы не подать худого примера жене моей, а потом и дочерям.

7. При мне и при жене моей ни шляпы, ни колпака отнюдь не надевать; но из человеколюбия в зимнее время дозволяю накрыться, и то когда метель большая.

8. В сутки будет он получать по три бутылки русского пива домашнего варенья.

9. Не худо, если б он взял на себя вести мои приходные и расходные книги, а притом бы умел причесать ребятам моим волосы, также и парик бы мой взял под свой присмотр.

10. Он должен исполнять все сие условие, под опасением в противном случае быть выгнану по шее из дому, ибо я признаюсь, что нрав у меня бешеный, да и будучи в генеральском чине, может быть, не могу воздержать себя противу студента, в службе моей находящегося, хотя бы он и офицерского был чина.

ОТВЕТ СТАРОДУМА ДУРЫКИНУ

Письмо ваше, государь мой, казал я одному университетскому профессору, который на просьбу мою о приискании в дом ваш студента отвечал мне письменно. Вот и письмо его.

Стародум.

ПИСЬМО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОФЕССОРА К СТАРОДУМУ

Я говорил некоторым нашим студентам о предлагаемом им месте в доме его превосходительства Дурыкина. Охотники есть, но, правду сказать, большая часть ставят учительское звание ниже себя, а хотят чинов; один, однако ж, объявил мне свое желание быть учителем. Он из малороссиян, называется господин Срамченко — филолог и философ, а иные уверяют, что и мартинист, но просит в год не меньше трехсот рублей, хотя живет по духу, а не по плоти. Знает по-французски, а больше по-латыни, арифметику до тройного правила; от стихов, однако ж, просит увольнения; обещает воздавать его превосходительству должное почтение, но обедать с камердинером не соглашается. Предложение о чесании волосов и о надзирании над его париком почитает себе обидою, ибо сие называет он рукоделием. Расходные и приходные книги вести не берется. От искушения касательно мадам Лудо всемерно остерегаться будет, почему и я подозреваю его мартинистом.

Представился мне еще молодой человек 22 лет; поучен изрядно. Я оставил его у себя обедать и нахожу, что жрет без милосердия. Он требует, кроме обеда и ужина, чтоб дан был ему добрый завтрак, а не меньше и полдник, также чтоб и предлагаемая порция пива была удвоена.

Господин Кераскин желает также быть учителем, просит 250 рублей на год. Он знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски, что, кажется, для детей его превосходительства и не нужно. Ныне, к сожалению, многие из русских дворян хотят детей своих учить по-русски; но поистине охота сия есть одна пустая затея, ибо сам г-н Дурыкин грамотою ли дослужился до титула превосходительства?

Цезуркин, ремеслом пиита, желает также иметь место у господина Дурыкина. Он обещает каждый раз для имения его превосходительства и каждого из чад его сводить в стихах своих всех богов с Олимпа, просит по копейке за стих да к свят-

кам кафтана с плеча его превосходительства, хотя довольно поношенного. Он весьма забавного нрава и шутит так умно, что в доме дурака не надо; ни на кого не сердится, разве только, кто стихи его похулит.

Красоткин, студент весьма щеголеватый, убирается как кукла, да и думает не иначе. Он с удовольствием берется причесывать волосы детям его превосходительства, умеет выводить из платья пятна и вырезывать из бумаги разные фигуры. За одно только не ручаюсь, а именно, чтоб не завел он каких шашней с мадам Лудо или с ее превосходительством, ибо он и моей жене повернул голову.

ПИСЬМО ДУРЫКИНА К СТАРОДУМУ

Предлагаемые господином профессором в дом мой студенты кажутся мне все ребята достойные быть учителями у детей благородных, и для того я боюсь выбрать одного без обиды другому. Покорно прошу уговорить господина профессора, чтоб он всех сих господ созвал к себе в дом и сделал род аукциона: кто возьмет дешевле, того я и беру, и с тем может он заключить контракт на шесть лет. В прочем пребываю...

Дурыкин.

ПИСЬМО ОТ СТАРОДУМА

Москва, февраля 1788.

Мне случилось на сих днях быть в здешнем обществе, довольно многочисленном, а особливо дам было великое множество. В одной комнате был разведен камин, около которого стояли человек пять-шесть молодых людей. Они, невзирая на присутствие сидевших в той же комнате знатных и состарившихся в делах государственных особ, разговаривали между собою непристойно громко и со всею невежескою дерзостью. Я поразведал, кто они таковы. Мне сказано было, что они молодые писатели. Я подошел к ним поближе послушать их беседы и нашел, что беседовали они о литературе. Мнения свои сказывали за решения, никакому пересуду не подверженные. Один из них весьма язвительно шпынял над творениями первых наших писателей и изъяснялся, что он сам упражняется в стихотворстве, но во французском, а не в российском, «ибо,— сказал он с насмешкою,— я боюсь войти в соперничество с великими людьми». Молодой человек, с нетерпением насмешки его слушав-

ший, отвечал ему: «Вы напрасно боитесь войти в соперничество с нашими великими людьми; французское ваше красноречие доказывает, какой бы вы писатель были и по-русски. Россия имеет ораторов, над которыми шутить не позволяется».— «Я думаю,— отвечал французский стихотворец,— что Россия красноречия вовсе не имеет, ибо если собрать все русские красноречивые творения, то книга выйдет не весьма огромная». После сих слов разговор стал у них гораздо горячее и показывал, что беседующие молодые писатели знание имели весьма малое, а воспитания никакого.

Возвратясь домой, подумал я о сей беседе, и как нельзя не признаться, что наши витийственные сочинения составили бы весьма маленькую книжку, то размышлял я, отчего имеем мы так мало ораторов? Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Маскима Тирянина; а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны; по крайней мере, церковное наше красноречие доказывает, что россияне при равных случаях никакой нации не уступают. Преосвященные наши митрополиты: Гавриил, Самуил, Платон суть наши Тиллотсоны и Бурдалу; а разные мнения и голоса Елагина, составленные по долгу звания его, довольно доказывают, какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих.

Но между неисчетными благами, коими Россия облагодетельствована от Екатерины Вторыя, должно считать и установление Российской академии. Сие установление, конечно, много споспешествовать будет к образованию и обогащению российского слова. Слышу я, что Академия упражняется в составлении российского лексикона и грамматики. Без сомнения, сей труд будет весьма полезен; но, кажется мне, что, между тем как Академия сим занимается, может она, под покровительством председательствующей в ней толь знаменитой просве-

щенным своим разумом особы, дать упражнение и тем российским писателям, кои не суть члены Академии. Она может, по примеру подобных в Европе установлений, задавать ежегодно материи к витийственным сочинениям, награждая победителя в красноречии и возбуждая тем соревнование между писателями. Россия имела между государями своими великих благодетелей, кои достойны благодарности. Имела она также и между сынами своими истинных отечестволюбцев, которых дела достойны быть преданы потомству. Можно также задавать и материи нравоучительные, словом, упражнять писателей во всех родах сочинений и тем возвращать российского слова богатство, красоту и силу. Я есмь и проч.

Стародум.

ПИСЬМО ОТ СТАРОДУМА

Москва, февраля ... 1788 года.

(РАЗГОВОР У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ)

Сегодня был у меня один из моих приятелей, который сказывал мне, что вчера он зван был обедать к княгине Халдиной, но приехал к ней так рано, что она еще одевалась и его принять не могла, почему введен был в комнату подле уборной ее, так что мог слышать все ее разговоры. Она много шумела с своею девушкою о нарядах; потом взглянула в окошко и, увидев, что подъехали к крыльцу санки: «Это санки Сорванцова,— сказала княгиня с веселым видом.— Пусти его сюда»,— говорила она девушке своей. Чрез минуту приятель мой увидел вошедшего к княгине мужчину в наместническом мундире. Княгиня, в веселом духе привстав: «А! Сорванцов, голубчик, здравствуй! — сказала ему.— Садись возле меня. Откуда?»

Сорванцов. Из присутствия, княгиня. Ты знаешь, что я судья. Я там так заспался, что насилу очнуться могу. Часа четыре читали дело; всю эту пропасть мололи при мне; а как законом не запрещено судье спать, когда и где захочет, то я, сидя за судейским столом, предпочел лучше во сне видеть бред, нежели наяву слышать вздор.

Княгиня. Не понимаю, как ты мог с твоим любезным характером сделаться судьею! Знаешь ли что? Пока я за туалетом, расскажи мне всю свою историю. Девка! румяны!

Сорванцов. Она коротехонька. Я нарисую вам всю картину моей жизни, прежде нежели вы полщеки разрисовать

успеете. Мне уже за тридцать лет. Первые осьмнадцать, сидя дома, служил я отечеству гвардии унтер-офицером. Покойник батюшка и покойница матушка выхаживали мне ежегодно паспорт для продолжения наук, которых я, слава богу, никогда не начинал. Как теперь помню, что просительное письмо в Петербург о паспорте посылали они обыкновенно по ямской почте, потому что при письме следовала посылка с куском штофа, адресованного на имя не знаю какой-то тетки полкового секретаря. Как бы то ни было, я не знал, не ведал, как вдруг очутился в отставке капитаном. С тех пор жил я в Москве благополучно, потому что батюшка и матушка скончались и я остался один господином трех тысяч душ. Недели две спустя после их кончины жестокое несчастие лишило меня вдруг тысячи душ.

Княгиня. Боже мой! Какое же это несчастие?

Сорванцов. Несчастие, которому, я думаю, в свете примера не бывало и не будет. Полтораста карт убили у меня в один вечер, из которых девяносто семь загнуты были *сетелева*.

Княгиня. Ах, это слышать страшно!

Сорванцов. После этого несчастия хватился я за разум: перестал ставить большие куши, и маленькими в полгода переставил я еще пятьсот душ в Кашире.

Княгиня. Как! Ты проиграл и Каширскую, где лежат твои родители?

Сорванцов. Я им тут лежать не помешал, княгиня! Сверх того, не из подлой корысти продал я деревню, где погребены мои родители. За то, что тела их тут опочивают, мне ни полушки не прибавили.

Княгиня. Так и подлинно, ты пред ними чист в своей совести.

Сорванцов. Итак, с полутора тысячью душами принялся я за экономию: вошел в коммерцию, стал продавать людей на службу отечеству, стал заводить в подмосковной псовую охоту, стал покупать бегунов, чтоб сделать себе в Москве некоторую репутацию. Ямской цуг был у меня по Москве из первых; как вдруг поражен я был лютейшим ударом, какой только в жизни мог приключиться моему честолюбию.

Княгиня. Ах, боже мой! Какое это новое несчастие?

Сорванцов. Я не знал, не ведал, как вдруг из моего цуга выпрягли четверню и велели ездить на паре. Этот удар так меня сразил, что я тотчас ускакал в деревню и жил там долго как человек отчаянный. Наконец очнулся. Я дворянин, сказал я сам себе, и не создан терпеть унижения. Я решился или умереть, или по-прежнему ездить шестеркой.

Княгиня. Молодые люди! молодые люди! Вот как вам всем думать надобно!

Сорванцов. Я кинулся в Петербург, где чрез шесть недель преобразили меня в надворные советники. Я странный человек! Чтоб найти, чего ищу, ничего не пожалею. Следствием этого образа мыслей было то, что меньше нежели чрез год из надворных советников перебросили меня в коллежские. Теперь я накануне быть статским, а назавтра этого челобитную в отставку, да и в Москву, в которой, первые визиты сделав шестернею, докажу публике, что я умел удовлетворить честолюбию.

Княгиня. О, если бы все дворяне мыслили так благородно, и лошадям было бы гораздо легче! Ты сделал полезное дело и себе и ближним. Твой поступок, мой милый Сорванцов, содержит в себе чистое нравоучение.

Сорванцов. Я столько счастлив, что нашел себе подражателей. Я моим примером открыл ту истину, что чин заслуженный ничем не лучше чина купленного.

Княгиня. Не прогневайся, голубчик! Сия истина не весьма новая, ибо не ты первый купил себе право впрягать шесть лошадей. Я сама имела жениха обер-офицера, но не позволила ему о браке нашем и думать, пока не будет он иметь права возить меня четвернею. Покойный мой князь принужден был согласиться на мое требование.

Сорванцов. Я удивляюсь, княгиня, как могла ты ограничить свое честолюбие только четвернею! Ты бы могла предписать жениху снискание права на шесть лошадей.

Княгиня. Но, Сорванцов, голубчик! твое честолюбие выходило из меры. Ты хотел из капитанов быть вдруг бригадирского чина. Я недавно читала римскую историю и нахожу, что твое честолюбие есть катилининское. Берегись, Сорванцов, чтобы и тебя не постиг какой-нибудь бедственный конец!

Сорванцов. Я откроюсь тебе, княгиня, что каждую почту из Петербурга с трепетом писем ожидаю. Судьи, мои товарищи, решили одно дело, или, лучше сказать, смошенничали. Обиженный нашел в Петербурге покровительство, и сказывают, что всем нам беда будет.

Княгиня. Да ты неужели заодно был с бессовестными судьями?

Сорванцов. Нет, княгиня. Я согласился с ними для того, что не понимал дела, и мне пристойнее казалось им не противоречить, нежели признаться, что я не понимаю.

Княгиня. Ты имеешь разум, Сорванцов. Я не постигаю, какого бы дела ты понять не мог.

Сорванцов. Оно писано было таким темным слогом, что без проницания чрезъестественного понять его никак невозможно.

Княгиня. A propos![1] *(К своей девушке.)* Ты мне анонсировала[2] господина Здравомысла; где ж он?

Девка *(указывая на другую комнату)*. Вот здесь дожидается.

Княгиня. Проси его сюда. *(Здравомысл входит.)* Извините меня, сударь, что глупость людей моих заставила вас сидеть в скуке. *(К девке.)* Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?

Девка. Да ведь стыдно, ваше сиятельство.

Княгиня. Глупа, радость! Я столько свет знаю, что мне стыдно чего-нибудь стыдиться.

Здравомысл. Я, вошед сюда, помешал вашему разговору, который, сколько я приметил, был довольно серьезен.

Княгиня. Если позволите, мы разговор наш продолжать станем и просим вас не скрывать от нас ваших мыслей. *(Сорванцову.)* Продолжай.

Сорванцов. Поверьте мне, княгиня, что многие дела беззаконно решаются сколько от бессовестности судей, столько и от бестолковости, с которою предложено дело.

Здравомысл. Не всегда судьи не понимают дела для того, что оно предложено неясно; весьма часто не понимают для того, что не сделали привычки к делам и не приобрели способности к вниманию. Сия способность приобретается учением и чтением; но сколько у нас людей, которые порядочно учились и имеют навык понимать читаемое? Я не требую судей ученых, но, мне кажется, судья должен быть неотменно просвещен и уметь грамоте, то есть знать, по крайней мере, правописание, чему, я сам видел, не многие у нас умеют; хотя и то правда, что запятая, не в своем месте поставленная, иногда переменяет существо самого дела и, следовательно, заставляет судей решить неправильно.

Сорванцов. Но разве всему этому пособить не можно? Разве нельзя завести добрых судей, которые бы имели и знание и дарование понять дело?

Здравомысл. Мы видим, что у нас об этом и помышляют. Когда в российских городах заводят университеты, то,

---

[1] Кстати! *(франц.).— Ред.*

[2] объявила (от *франц.* annoncer).— *Ред.*

стало, намерение есть готовить к службе людей просвещенных. Я хотел бы только, чтобы в университетах наших преподавалась особенно *политическая наука.*

Сорванцов. Что вы чрез сию науку разумеете?

Здравомысл. Разумею науку, научающую нас правилам благочиния, науку коммерческую и науку о государственных доходах. Я хотел бы, чтоб у нас по сим предметам сочинены были на каждую часть особенные книжки, по коим бы преподавалась в университетах политическая наука. Сим способом будет Россия иметь во всех частях гражданской службы людей годных и просвещенных. Я о сем размышлял довольно, но боюсь здесь распространиться, дабы не наскучить сим вам и тем, кои разговор наш читать будут.

Сорванцов. Я хотя и могу показаться вам головорезом, однако верьте мне, что я хотел бы сию минуту пойти учеником в тот университет, где мог бы сделаться годным к службе и, оттуда вышед, знал бы я, что получу место не то, где есть только вакансия, но то, для которого я учился и к которому способен.

Здравомысл. Если бы я знал, что моя идея о заведении в университетах класса политической науки найдена была полезною и угодною, я охотно составил бы мое мнение, как к сему приступить удобнее. Находясь в чужих краях, я видал сам таковой класс; имею книжки, по коим политическая наука преподается, и говорил с теми людьми, кои преподают сию науку, но, признаюсь вам, что без особенного побуждения боюсь вместо удовольствия нажить каких-нибудь неприятностей от тех людей, кои, сами пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел ничему учиться не надобно.

Сорванцов. Я слыхал пословицу: *не учась, в попы не ставят.*

Здравомысл. С тех пор как стали следовать сей пословице, попы наши очевидно стали лучше и просвещеннее, и сия часть граждан отправляет свою должность гораздо порядочнее. Я совершенно уверен, что если б взято было за правило: *не учась, в судьи не определять,* то бы между судьями невежество было гораздо реже.

Сорванцов. Я по себе чувствую, что без просвещения человек есть сожаления достойная тварь.

Здравомысл. Но разве нельзя унять грабителей и завести добрых адвокатов?

Сорванцов. Сие не невозможно, но трудно и требует большого времени.

Здравомысл. По крайней мере, неужели нет средства пресечь взятки?

Сорванцов. Мудрено, сударь, ибо сверх того, что, кажется, сама природа одарила всякого судью взятколюбною душою, многие из них с честными правилами принуждены брать взятки. Вообразите судью честного человека. Он дворянин, имеет родню и знакомство, то есть живет в обществе, имеет детей, требующих воспитания; но нет у него, кроме жалованья, других доходов, а жалованья получает только четыреста пятьдесят рублей. Скажите мне, ради бога: как он может содержать жену, детей и дом такою малою суммою и в такое время, когда нужнейшие для жизни вещи взошли до цены невероятной? Хотя бы и не хотел, неволею должен сделаться взяткобрателем. Ведь не все судьи таковы, как наш господин Бескорыст. Он взяток никогда ни с кого не берет, но зато, можно сказать, умирает с голоду. Я скажу о себе: я имею достаток, и если смошенничаю, то заслужу без всякой пощады виселицу, равно как и все те ее всеконечно заслужили, кои, награбя богатства, не отстают от своего промысла и продают публично правосудие.

Княгиня. Но ты, любезный Сорванцов, имеешь природный ум. Ты ужасть как в обществе ловок!

Сорванцов. К несчастию, мне не дано было воспитания. Родители мои имели о сем слове неправильное понятие. Они внутренно были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного; словом, чрез *воспитание* разумели они одно *питание*. Учить меня ничему не помышляли, и природный мой ум не получал никакого просвещения. По-французски выучился я случайно. Госпожа Лицемера, моя внучатная тетушка, вздумала детей своих учить по-французски. Тогда приехал в Москву из Петербурга француз, живший до того в Америке. Сей француз назывался, как теперь помню, шевалье Какаду. Тетушка моя получила к нему симпатию и приняла его в свой дом в наставники своим детям. Она взяла от родителей моих и меня учиться вместе с детьми своими. Я думаю, что не лишнее сделаю, если опишу вам характер моей тетушки и ее фаворита, а нашего наставника.

Тетушка моя выдавала себя в свете за чадолюбивую мать и верную супругу, за добрую хозяйку и за набожную женщину. Посмотрим, такова ли она была в самом деле.

В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтоб детская была гораздо далее от ее спальни, ибо крик малолетных детей ей нестерпим, хотя она нимало не ску-

чает лаяньем трех болонских собачонок и болтаньем сороки, коих держит непрестанно подле себя. Вот доказательство ее чадолюбия!

Никакой слабости женщинам не прощает; но последний сын ее как две капли воды походит на шевалье Какаду. Вот ее супружеская верность!

Княгиня. Сорванцов, у тебя язык злоречивый! Я тебе скажу о себе. Никто из детей моих на отца не походит, а походят на тех друзей, кои к нам вседневно ходили; по крайней мере, мне отдадут ту справедливость, что друзья княгини Халдиной были не иные, как друзья мужа ее.

Сорванцов. На стол тратит очень много, а есть нечего. Дети ходят оборванные и почти босые. Добрая хозяйка!

В церкви никогда никто ее не видит, но ни одного клуба, ни спектакля не пропускает. Набожная женщина!

Шевалье Какаду, француз пустоголовый, из побродяг самая негодница, учил нас по-французски, то есть дал нам выучить наизусть несколько вокабулов и начал с нами болтать по-французски. Грамматике нас не учил, считая, что она педантство.

Княгиня. С этой стороны он не вовсе ошибается. Я сама никакой грамматике не училась, а изъясняюсь по-французски изряднехонько. Скажи мне, какие правила и чувства вселял в вас шевалье?

Сорванцов. Он вселял в сердца наши ненависть к отечеству, презрение ко всему русскому и любовь к французскому. Сей образ наставления есть обыкновенная система большей части чужестранных учителей. Шевалье наш был надменен, хвастлив и неблагодарен. Надменность его состояла в том, что он хозяев и слуг за людей не считал. По его словам, он знал все науки, которые и нам показать обещал. Особливо в телесных экзерциициях[1] выдавал себя за мастера. Сии телесные экзерциции, которым и нас он обучал, состояли в том, что заставлял он нас распускать золото.

Княгиня. А в чтении упражнялись ли вы когда?

Сорванцов. Никогда; да я думаю, что наш шевалье и сам не умел грамоте, ибо я его ни за книгой, ни с пером в руках никогда не видывал. Позволь, княгиня, докончить характер бывшего моего учителя. Он приехал в Москву в самой нищенской бедности. Тетка моя накупила ему белья и взяла в свой дом, обеспеча его во всем нужном. В благодарность за

[1] упражнениях (от *франц.* exercice).— *Ред.*

то, когда у нас бывали гости, не пропускал он случая дерзким своим поведением показывать всем, в какой связи находится он с хозяйкою. Вот, княгиня, как провел я первую мою молодость! Вошед в свет, имел я несчастие попасть на весьма худое общество, где меня дурачили и обыгрывали. Но случайно познакомился я в Москве с одним молодым человеком, который имел просвещение и хорошее поведение. Он приучил меня к чтению книг и открыл мне, в каком невежестве я пресмыкаюсь. Рассудок, который природа мне даровала, родил во мне охоту выкарабкаться из кучи тех презрительных невежд, кои ни богу, ни людям не годятся. Я не скажу, чтоб сие мое старание имело успех совершенный. Недостатки воспитания моего часто наружу выказываются. По крайней мере, не ставлю я моего невежества, подобно многим, себе в достоинство и за перемену моих мыслей почитаю себя вечно обязанным тому молодому почтенному человеку, который наставил меня на стезю правую.

Княгиня. И мое *воспитание* было одно *питание*. Лучшую мою молодость провела я в Москве и такая была пречудная, что многие матери запрещали дочерям своим иметь со мною знакомство. Обожателей было у меня ужасное множество, и чем поведение мое было нескромнее, тем была я славнее. Я не имела никого, кто бы меня остеречь мог и чьи советы умерили бы пылкость моего характера и чувствительность сердца моего. И то и другое сохраняю я до сего дня.

Здравомысл. То есть с вашим сиятельством сбудется пословица: *каков человек в колыбельку, таков и в могилку.*

Вот вам весь разговор, так, как я имею его от приятеля моего Здравомысла. Вы можете поместить его в ваше периодическое творение. Характеры княгини и Сорванцова, кажется, списаны с натуры, и идея Здравомысла о заведении класса политической науки достойна того, чтоб не оставить ее без внимания. Я есмь и проч.

Стародум.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЯДИ СВОЕМУ ПЛЕМЯННИКУ

«Философы и нравоучители исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть

несчастно. Правда, что некоторые из них нажили великие богатства, но они в жизни своей поступали совсем иначе, нежели писали. И кто знает, не с умыслу ли они преподавали людям ложные правила к счастию, дабы одним им пользоваться философским камнем.

Я почитаю за долг дяди остеречь тебя, мой любезный племянник, от сих нравоучительных вралей и преподать тебе тот способ достичь до счастия, которым я сам столь благополучен. «Будь добросердечен, благотворителен и трудолюбив»,— говорил мне, умирая, мой покойный родитель. Я и был чистосердечен: говорил правду, обличал порок и невежество, хвалил угнетенное достоинство, имел твердость говорить иногда истину и большим боярам. Был я также и благотворителен: малое имение мое охотно разделял с неимущими; иногда за бедных ручался, когда сам помочь не мог. А дабы прилепился я к учению и приобрел по возможности непоследние пункты завещания родительского исполнить, которые знания, уповая, что они мне в свете пригодятся. Но, к крайнему сожалению, скоро усмотрел я, что худо разумел моего родителя или что он не знал большого света.

Чистосердечие мое произвело на меня великие гонения; им нажил я многих неприятелей. Благотворение довело меня в долги, а знания мои возбудили ко мне зависть и ненависть одного знатного невежды, который просвещение считал вредным для государства. Жестокая болезнь открыла мне наконец глаза, и я увидел неразумие моей системы. Все меня оставили. Неожиданная помощь одной человеколюбивой особы извлекла меня, так сказать, из челюстей смерти. Неприятели мои торжествовали. Друзья мои сами были небогаты; а знатные особы, кои увеселялись забавным моим нравом, когда я был здоров, находили, может быть, настоящее положение мое забавным, ибо они оставили меня без всякой помощи. Как скоро стало мне легче — «перемени свою систему»,— сказал я сам себе. И как всякий человек охотно из одной крайности в другую переходит, то решился я делать совсем противное тому, что прежде делал: что бранил, то стал хвалить; всякий знатный человек находил во мне защитника своему жестокосердию или глупости. С самого утра бегал я по передним знатных господ и не стыдился трусить даже и перед их камердинерами. Если кому дадут ленту или знатный чин, то у меня через полчаса поспевала ода, которую тем больше хвалили, чем меньше было в ней смыслу. Дамы тем более мною были довольны, чем бесстыднее выхвалял я красоту их и душевное достоин-

ство. «C'est un bon diable!» [1],— говорили обо мне знатные. «Он отнюдь не так опасен, как мы его считали»,— говорили обо мне те, кои прежде пера моего боялись. «Il a beaucoup d'esprit» [2],— отзывались обо мне дамы.

Как скоро слух о перемене системы моей по городу распространился, то решился я идти на поклон к тому самому знатному невежде, который прежде был моим гонителем. Он предложил мне в отдаленной стороне место, к которому не имел я ни малейшей способности. Я ему признался в том. «Привыкнешь, друг мой,— отвечал он мне,— лишь будь скромен и не пиши стихов, которых я терпеть не могу. Станем жить дружно; старайся, чтоб я был тобою доволен, а я о тебе буду иметь попечение». Скоро я был определен к месту моему, и, невзирая на мое невежество, все удивлялись моему знанию и способности, что и не чудно, ибо предместник мой, по общему всех признанию, был во сто раз меня глупее и неспособнее. Льстивые похвалы мои, которыми бесстыдно осыпал я моих начальников, приобрели мне скоро их доверенность. Они избрали меня к произведению в действо некоторого нового проекта *относительно до необходимой в жизни потребности.*

Я взял в свои советодатели нашего секретаря и с помощию его нажил в полгода около пяти тысяч рублей, с которыми приехал в столицу. На другой день по прибытии моем поднес я две тысячи рублей супруге нового моего покровителя, а прежнего гонителя. Мои две тысячи рублей произвели весьма полезное для меня действие. Покровитель мой расхвалил мое в делах знание и обещал мне свою милость.

В сие самое время один любимец знатного господина хотел выдать замуж свою любовницу, которая была на его содержании. Супруга прежнего моего гонителя, моя новая покровительница, в благодарность за мои две тысячи рублей, вздумала сватать меня на сей честной девушке и обещала мне в столице весьма выгодное место. Наблюдая новую мою систему, я согласился на сие предложение. Свадьба моя была великолепна. Благодетель жены моей сыграл ее на своем иждивении. А как молодая моя супруга была набитая дура, но превеликая красавица, то прежний друг ее не отменил к ней своей дружбы, и у меня исподволь народилось детей великое множество. Весьма выгодно иметь жену-красавицу, ибо все знатные друзья так горячо пеклись о моем счастии, как над-

[1] Он славный малый *(франц.).— Ред.*
[2] Он очень остроумен *(франц.).— Ред.*

лежит добрым свойственникам. Все мои неприятели исчезли; достаток мой умножился так, как будто бы было над домом моим благословение божие. Я стал жить гораздо шире, давать обеды, балы и концерты, но звал только тех, от кого надеялся быть награжден щедро, так что пир, который стоил пятьсот рублей, приносил мне тысячи две. Скоро купил я каменный дом, а между тем все жаловался на долги, и хотя жаловано мне было довольно награждений, но я разглашал себя в долгу неоплатном. Не довольно того, любезный племянник, что я оставил чистосердечие, но отучил себя и от добросердечия.

Сначала стоило мне труда слышать стон бедных с хладнокровием; но, поверь мне, сердце богатого человека скоро каменеет. Теперь я думаю, что мягкосердечный человек весьма богат быть не может.

Наконец я так привык к нечувствительности, что ниже помышлял о бедных людях. С книгами моими, составлявшими мое главное удовольствие, я совсем расстался.

Я потерял приятность в обхождении, вкус к хорошим вещам, и душа моя унизилась; но сие унижение души помогло к моему возвышению. Начальники мои, имевшие подлые душонки, рады были иметь меня подчиненным. Ты видишь, любезный племянник, что пути к богатству, то есть к счастию, гораздо короче и глаже, нежели как болтают о том нравоучающие врали. Но буде ты в оном сомневаешься, то рассмотри своих сограждан, и ты найдешь, что большая часть из них одолжена за свое богатство и знатность своему лицемерию, жестокосердию, невежеству и женам».

Я сожалею (и каждый читатель, без сомнения, со мною сожалеть будет), что во всем сродническом наставлении нет следа добраться, в которой земле жил сей богатомыслящий дядя; надобно, однако ж, думать, что не между нами: ибо где у нас люди, кои бы наживались при исполнении полезного установления *относительно до первых потребностей в жизни?* Богачей жестокосердых и глупых красавиц у нас также вовсе нет, как меня уверяют.

«Ты, мой любезный племянник,— продолжал дядя свое наставление,— должен видеть, как я старость мою теперь доживаю и приближаюсь к концу. Как скоро я обогатился и стал жить порядочно домом, то начал чувствовать глас совести.

Видя жену мою в беспутстве, должен я, по системе моей, терпеть все ее беспорядки. Я не мог сам от себя скрыть, что все добрые люди считают меня бездельником. Богатый мой дом стал для меня адом, и я, казалось, слышу стон бедных, коих я разорил злодейски. Наконец, на прошлой неделе был я на зрелище, которое вечно не выйдет из моей головы. Приятель мой Воров, умирая, призвал меня к себе. Я был свидетелем, как мерзкая душа его выходила из скаредного тела. Тут узнал я справедливость сих слов: *смерть грешников люта.* Он в постеле своей терзался душевно гораздо сильнее, нежели иной вор страждет на площади. По исходе души его на всех лицах видно было удовольствие, смешанное с презрением к покойнику.

Чувствуя, что и мне умирать будет должно так же мучительно, переменил я опять свою систему и, слушая гласа совести, сколько можно удовлетворяю тех, кои от меня терпели, а тебя, любезный племянник, прошу, будь чистосердечен, но знай, что не всегда и всякую истину говорить надобно. Будь благотворителен, но не расстроивай своего состояния. Будь трудолюбив и прилепляйся к учению, но не возмечтай о своей мудрости. Вот все то, чем я оканчиваю мое наставление».

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ

Беззакония моя аз познах и греха моего не покрых.

ВСТУПЛЕНИЕ

Славный французский писатель Жан-Жак Руссо издал в свет «Признания», в коих открывает он все дела и помышления свои от самого младенчества,— словом, написал свою исповедь и думает, что сей книги его как не было примера, так не будет и подражателей.

Я хочу, говорит Руссо, показать человека во всей истине природы, изобразив одного себя. Вот какой подвиг имел Руссо в своих признаниях.

Но я, приближаясь к пятидесяти летам жизни моей, прешед, следственно, половину жизненного поприща и одержим будучи трудною болезнию, нахожу, что едва ли остается мне время на покаяние, и для того да не будет в признаниях моих никакого другого подвига, кроме раскаяния христианского: чистосердечно открою тайны сердца моего и *беззакония моя аз возвещу.* Нет намерения моего ни оправдывать себя, ниже лукавыми словами прикрывать развращение свое: *господи! не уклони сердца моего в словеси лукавствия и сохрани во мне любовь к истине, юже вселил еси в душу мою.*

Но как апостол глаголет: *исповедуйте убо друг другу согрешения,* разумеется ваши, а не чужие, то я почитаю за долг не открывать имени тех, кои были орудием греха и порока моего, ниже имен тех, кои приводили меня в развращение; напротив того, со слезами благодарности воспомяну имена тех, кои мне благодетельствовали, кои сохранили ко мне долговре-

менное дружество, кои имели в болезнь мою обо мне сострадание и кои, наконец, наставлением и советом своим совращали меня с пути грешнича и ставили на путь праведен.

Не утаивая ничего из содеянного мною зла, скажу без прибавки и все то, что сделал я, следуя гласу совести. И если между множеством согрешений случилось мне в жизни сотворить нечто благое, то признаю и исповедую, что сие не от меня происходило, но от самого бога, вся благая нам дарующего: тому единому восписую благие дела мои, ему единому за них благодарю и его молю, да мя в сем благом утвердит до конца жизни.

Сие испытание моей совести разделю я на четыре книги. Первая содержать будет мое младенчество, вторая юношество, третья совершенный возраст и четвертая приближающуюся старость.

Прежде нежели начну я мое повествование, необходимо надобно описать свойства тех моих ближних, к коим я в течение жизни моей имел более отношения. Да не причтется мне в пристрастие, ежели я, говоря правду, скажу нечто похвальное о ближних моих, ибо я в справедливости моей ссылаюсь на тех, кои их знали.

Отец мой был человек большого здравого рассудка, но не имел случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя учением. По крайней мере, читал он всё русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг. Он был человек добродетельный и истинный христианин, любил правду и так не терпел лжи, что всегда краснел, когда кто лгать при нем не устыжался. В передних тогдашних знатных вельмож никто его не видывал, но он не пропускал ни одного праздника, чтоб не быть с почтением у своих начальников. Ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков не принимал. «Государь мой! — говаривал он приносителю.— Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте ее отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права». После сего более уже не разговаривал с приносителем.

Отец мой жил с лишком восемьдесят лет. Причиною сему было воздержное христианское житие. Он горячих напитков не пил, пищу употреблял здоровую, но не объедался. Был женат дважды и во время супружества своего никакой другой женщины, кроме жен своих, не знал. За картами ни одной

ночи не просиживал, и, словом, никакой страсти, возмущающей человеческое спокойствие, он не чувствовал. О, если бы дети его были ему подобны в тех качествах, кои составляли главные души его свойства и кои в нынешнем обращении света едва ли сохранить можно!

Отец мой был характера весьма вспыльчивого, но незлопамятного; с людьми своими обходился с кротостию, но, невзирая на сие, в доме нашем дурных людей не было. Сие доказывает, что побои не есть средство к исправлению людей. Невзирая на свою вспыльчивость, я не слыхал, чтоб он с кем-нибудь поссорился; а вызов на дуэль считал он делом противу совести. «Мы живем под законами,— говаривал он,— и стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться самим на кулаках. Ибо шпаги и кулаки суть одно. И вызов на дуэль есть не что иное, как действие буйственной молодости». Наконец, должен я сказать к чести отца моего, что он, имея не более пятисот душ, живучи в обществе с хорошими дворянами, воспитывая восьмерых детей, умел жить и умереть без долга. Сие искусство в нынешнем обращении света едва ли кому известно. По крайней мере, нам, детям его, кажется непостижимо. Но ничто не доказывает так великодушного чувствования отца моего, как поступок его с родным братом его. Сей последний вошел в долги, по состоянию своему неоплатные. Не было уже никакой надежды к извлечению его из погибели. Отец мой был тогда в цветущей своей юности. Одна вдова, старуха близ семидесяти лет, влюбилася в него и обещала, ежели на ней женится, искупить имением своим брата его. Отец мой, по единому подвигу братской любви, не поколебался жертвовать ему собою: женился на той старухе, будучи сам осьмнадцати лет. Она жила с ним еще двенадцать лет. И отец мой старался об успокоении ее старости, как должно христианину. Надлежит признаться, что в наш век не встречаются уже такие примеры братолюбия, чтоб молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, благосостоянию своего брата. Вторая супруга отца моего, а моя мать, имела разум тонкий и душевными очами видела далеко. Сердце ее было сострадательно и никакой злобы в себе не вмещало; жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная. Можно сказать, что дом моих родителей был тот, от которого за добродетели их благодать божия никогда не отнималась. В сем доме проведено было мое младенчество, которого подробности в следующей книге читатель найдет.

КНИГА ПЕРВАЯ

Господи! даждь ми помысл
исповедания грехов моих.

Не естественно человеку помнить первое свое младенчество. Я никак не знаю себя до шести лет возраста. Но, без сомнения, имел и я в себе то зло, которое у других младенцев видать случается, то есть: злобу, нетерпение, любостяжание и притворство,— словом, начатки почти всех пороков, кои уже окореняются и возрастают от воспитания и от примеров. Не знаю, для чего отнимали меня от кормилицы уже поздно. На третьем году случилось со мною сие лишение, которое, как сказывал мне сам отец мой, переносил я с ужасным нетерпением и тоскою. Однажды он, подошед ко мне, спросил меня: «Грустно тебе, друг мой?» — «А так-то грустно, батюшка,— отвечал я ему, затрепетав от злобы,— что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю». Сие сильное выражение скорби показывало уже, что я чувствовал сильнее обыкновенного младенца. В четыре года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного.

Теперь пришло мне на мысль обстоятельство, случившееся во время моего младенчества, о котором я никогда никому не сказывал и которое здесь упомяну для того, что можно из него вывести некоторое правило, полезное для детского воспитания. Родителей моих нередко посещала родная сестра отца моего, женщина кроткая, и нас, племянников своих, любила искренно. Она часто езжала в дом одного славного тогдашнего карточного игрока и всегда от него привозила к нам несколько игор карт, коими нас дарила. Я не могу изъяснить, сколько я пристрастился к картам с красными задками и бывал вне себя от радости, когда такие карты мне доставались; но сие случалось редко. Сколько хитростей, обманов и лукавства употреблял мой младенческий умишка, чтоб на делу доставались мне карты с красными задками! Но как хитрости мои редко удавались, то пришел я в уныние и для получения желаемого решился испытать другой способ и чистосердечно открыться самой тетушке о моей печали; но признаюсь, что и тут употребил я некоторую хитрость, а именно: нашедшись с ней наедине, составил я лицо такое печальное и такое простодушное, что тетушка спросила меня сама: «О чем ты тужишь, друг мой?» На сей вопрос признался я в пристрастии моем и, повинясь, что я их всех обманывал, просил, чтоб вперед на делу доставались мне любимые

карты. «Ты хорошо сделал, друг мой, что мне искренно открылся,— сказала она,— я для тебя привозить буду всегда особливо игру с красными задками, кои в дележ входить не будут». Я в восторг пришел от сего отзыва и тогда ж почувствовал, что идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями. Но должно признаться, что в течение жизни я не всегда держался сего правила, ибо случалися со мною такие обстоятельства, в которых должен был я или погибать, или приняться за лукавство; не скрою, однако ж, и того, что во время младенчества моего, имея отца благоразумного и справедливого, удавалось мне получать желаемое чаще, следуя чистосердечию, нежели прибегая к лукавству. И я почти внутренно уверен, что воспитатели, ободряя младенцев избирать во всем прямой путь, предуспеют тем гораздо лучше вкоренить в них привязанность к истине и приучить к чистосердечию, нежели оставляя без примечания малейшие их деяния, в коих душевные их свойства обнаруживаться могут. Поистине, не могу я словами изъяснить, сколь сильны пристрастия и самого младенчества. Я могу сказать, что на картах с красными задками голова моя повернулась. Получение их составляло некоторым образом мое блаженство. И в самом Риме едва ли делали мне такое удовольствие арабески Рафаэлевы, как тогда карты с красными задками. По крайней мере, смотря на первое, не чувствовал я того наслаждения, какое ощущал от любимых моих карт, будучи младенцем.

Чувствительность моя была беспримерна. Однажды отец мой, собрав всех своих младенцев, стал рассказывать нам историю Иосифа Прекрасного. В рассказывании его не было никакого украшения; но как повесть сама собою есть весьма трогательная, то весьма скоро навернулись слезы на глаза мои; потом начал я рыдать неутешно. Иосиф, проданный своими братьями, растерзал мое сердце, и я, не могши остановить рыдания моего, оробел, думая, что слезы мои почтены будут знаком моей глупости. Отец мой спросил меня, о чем я так рыдаю. «У меня разболелся зуб», — отвечал я. Итак, отвели меня в мою комнату и начали лечить здоровый мой зуб. «Батюшка,— говорил я,— я всклепал на себя зубную болезнь; а плакал я оттого, что мне жаль стало бедного Иосифа». Отец мой похвалил мою чувствительность и хотел знать, для чего я тотчас не сказал ему правду. «Я постыдился,— отвечал я,— да и побоялся, чтобы вы не перестали рассказывать истории».— «Я ее, конечно, доскажу тебе»,— говорил отец мой. И действительно, чрез несколько дней он сдержал свое слово и видел новый опыт моей чувствительности.

Странно, что сия повесть, тронувшая столько мое младенчество, послужила мне самому к извлечению слез у людей чувствительных. Ибо я знаю многих, кои, читая «Иосифа», мною переведенного, проливали слезы.

Не утаю и того, что приезжавший из Дмитриевской нашей деревни мужик Федор Суратов сказывал нам сказки и так настращал меня мертвецами и темнотою, что я до сих пор неохотно один остаюсь в потемках. А к мертвецам привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезных.

Родители мои были люди набожные; но как в младенчестве нашем не будили нас к заутреням, то в каждый церковный праздник отправляемо было в доме всенощное служение, равно как на первой и последней неделях великого поста дома же моление отправлялось. Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно. Я должен благодарить родителя моего за то, что он весьма примечал мое чтение, и бывало, когда я стану читать бегло: «Перестань молоть,— кричал он мне,— или ты думаешь, что богу приятно твое бормотанье?» Сего не довольно: отец мой, примечая из читанного мною те места, коих, казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд изъяснять мне оные; словом, попечения его о моем научении были безмерны. Он, не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал.

Остается мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине.

— Пуговицы мои вам кажутся смешны,— говорил он,— но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак,— продолжал он, ударя по столу рукою,— извольте слушать все, что

говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.

Вот каков был экзамен наш! О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы [1], послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга? *В Черное море,*— отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; *в Белое,*— отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; *не знаю,*— сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать правду, заслужил бы ее из класса практического нравоучения, но отнюдь не из географического.

Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нем, обучась по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам.

Склонность моя к писанию являлась еще в младенчестве, и я, упражняясь в нереводах на российский язык, достиг до юношеского возраста. Глас совести велит мне сказать, что до сего дня *от юности моея мнози борят мя страсти.*

А какие они были, то возвестит книга вторая.

КНИГА ВТОРАЯ

Господи! отврати лице твое
от грех моих.

В университете был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Голберговы басни; за труды обещал чужестранных книг на пятьдесят рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои

[1] награды (от *нем.* Preis).— *Ред.*

труды. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою. И кто знает, не от сего ли времени началась скапливаться та болезнь, которою я столько лет стражду? О вы, коих звание обязывает надзирать над поведением молодых людей, не допускайте развращаться их воображению, если не хотите их погибели! Узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику. К сему показалась мне годною одна девушка, о которой можно сказать: толста, толста! проста, проста! Она имела мать, которую ближние и дальние,— словом, целая Москва признала и огласила набитою дурою. Я привязался к ней, и сей привязанности была причиною одна разность полов: ибо в другое влюбиться было не во что. Умом была она в матушку; я начал к ней ездить, казал ей книги мои, изъяснял эстампы, и она в теории получила равное со мною просвещение. Желал бы я преподавать ей и физические эксперименты, но не было удобности: ибо двери в доме матушки ее, будучи сделаны национальными художниками, ни одна не только не затворялась, но и не притворялась. Я пользовался маленькими вольностями, но как она мне уже надоела, то часто вызывали мы к нам матушку ее от скуки для поговорки, которая, признаю грех мой, послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли; по крайней мере, из всего моего приключения родилась роль Бригадирши. Все сие повествование доказывает, что я тогда не имел истинного понятия ни о тяжести греха, ни об истинной чести, ни о добром поведении. Заводя порочную связь, не представлял я себе никаких следствий беззаконного моего начинания; но признаюсь, что и тогда совесть моя говорила мне, что делаю дурно. Остеречь меня было некому, и вступление мое в юношеский возраст было, так сказать, вступление в пороки.

Теперь настало время сказать нечто о моем характере и познакомить читателя с умом моим и сердцем. Я наследовал от отца моего как вспыльчивость, так и непамятозлобие; от матери моей головную боль, которою она во всю жизнь страдала и которая, промучив меня все время моего младенчества, юношества и большую часть совершенных лет, лишила меня многих способов к счастию; например, в университете пропускал я многие важные лекции за головною болью; в юношестве головная боль мешала мне часто показать мою исправность в отправле-

нии службы, чрез что и заслужил я от одного начальника имя ленивца. Но со всем тем признаюсь, что головная боль послужила мне и к доброму, а именно не допустила меня сделаться пьяницею, к чему имел я великий случай и склонность. Природа дала мне ум острый, но не дала мне здравого рассудка. Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным. Видя, что везде принимают меня за умного человека, заботился я мало о том, что разум мой похваляется на счет сердца, и я прежде нажил неприятелей, нежели друзей. Молодые люди! не думайте, чтоб острые слова ваши составили вашу истинную славу; остановите дерзость ума вашего и знайте, что похвала, вам приписываемая, есть для вас сущая отрава; а особливо если чувствуете склонность к сатире, укрощайте ее всеми силами вашими: ибо и вы, без сомнения, подвержены будете одинакой судьбе со мною. Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть; и я, вместо того чтоб привлечь к себе людей, отгонял их от себя и словами и пером. Сочинения мои были острые ругательства: много было в них сатирической соли, но рассудка, так сказать, ни капли.

Сердце мое, не похвалясь скажу, предоброе. Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость, и для того ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне были не в состоянии. Я, может быть, истребил бы и склонность мою к сатире, если б один из сочеников моих, упражнявшийся в стихах, мне в том не воспрепятствовал. Я прослыл великим критиком, и мой соченик весьма боялся, чтобы я не стал смеяться стихам его; а дабы вернее иметь меня на своей стороне, то стал он хвалить мои стихи; каждая строка его восхищала; но как тогда рассудок во мне не действовал, то я со всею моею остротою не мог проникнуть, для чего он так меня хвалил, и думал, что я похвалу его заслуживал. Так-то вертят головы молодым писателям!

Сей мой соченик был знаком со мною, достигши уже и в совершенный возраст. Он был честный человек, благородных качеств. Заблуждение его состояло в том, что будто не льстя не можно быть учтиву. Он умер с тем, что я родился быть великим писателем; а я с тем жить остался, что ему в этом не верил и не верю.

В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая

Поющие слепцы.

Акварель И. А. Ерменева.
1770-е годы.
Государственный Исторический музей.

леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо.

В сие время тогдашний наш директор [1] вздумал ехать в Петербург и везти с собою несколько учеников для показания основателю университета [2] плодов сего училища. Я не знаю, каким образом попал я и брат мой в сие число избранных учеников. Директор с своею супругою и человек десять нас, малолетных, отправились в Петербург зимою. Сие путешествие было для меня первое и, следственно, трудное, так, как и для всех моих товарищей; но благодарность обязывает меня к признанию, что тягость нашу облегчало весьма милостивое внимание начальника. Он и супруга его имели смотрение за нами, как за детьми своими; и мы с братом, приехав в Петербург, стали в доме родного дяди нашего. Он имеет характер весьма кроткий, и можно с достоверностию сказать, что во всю жизнь свою с намерением никого не только делом, ниже словом не обидел.

Через несколько дней директор представил нас куратору [3]. Сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть не должна, принял нас весьма милостиво и, взяв меня за руку, подвел к человеку, которого вид обратил на себя почтительное мое внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? «По-латыни»,— отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием. После обеда в тот же день были мы во дворце на куртаге; но государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Сему так и быть надлежало: ибо тогда был я не старее четырнадцати лет, ничего еще не видывал, все казалось мне ново и прелестно. Приехав домой, спрашивал я у дядюшки: часто ли бывают у двора куртаги? «Почти всякое воскресенье»,— отвечал он. И я решился продлить пребывание мое в Петербурге, сколько можно долее, дабы чаще видеть двор. Но сие желание было действие любопытства и насы-

[1] И. И. Мелиссино.
[2] И. И. Шувалов.
[3] И. И. Шувалов.

щения чувств. Мне хотелось чаще видеть великолепие двора и слышать приятную музыку; но скоро сие желание исчезло. Доброе сердце мое тосковать стало о моих родителях, которых захотелось мне видеть нетерпеливо: день получения от них писем был для меня приятнейший, и я сам по нескольку раз заезжал на почту за письмами.

Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду. Играли русскую комедию, как теперь помню, «Генрих и Пернилла». Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедиянты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое время познакомился я тут с покойным Федором Григорьевичем Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном Афанасьевичем Дмитревским, человеком честным, умным, знающим и с которым дружба моя до сих пор продолжается. Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному, а между тем продолжал латинский, на коем слушал логику у профессора Шадена, бывшего тогда ректором. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны, и мы с братом скоро потом произведены были в студенты. В самое же сие время не оставлял я упражняться в переводах на российский язык с немецкого: перевел «Сифа, царя египетского», но не весьма удачно. Знание мое в латинском языке пособило мне весьма к обучению фран-

цузского. Через два года я мог разуметь Волтера и начал переводить стихами его «Альзиру». Сей перевод есть не что иное, как грех юности моея, но со всем тем встречаются и в нем хорошие стихи.

В 1762 году был уже я сержант гвардии; но как желание мое было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы. По счастию моему, двор прибыл в Москву, и тогдашний вице-канцлер [1] взял меня в иностранную коллегию переводчиком капитан-поручичья чина, чем я был доволен. А как переводил я хорошо, то покойный тогдашний канцлер [2] важнейшие бумаги отдавал именно для перевода мне. В тот же год послан я был с екатерининскою лентою к покойной герцогине Мекленбург-Шверинской. Мне велено было заехать в Гамбург, откуда министр наш повез меня сам в Шверин. Тогда был я еще сущий ребенок и почти не имел понятия о светском обращении; но как я читал уже довольно и имел природную остроту, то у шверинского двора не показался я невеждою. И, впрочем, поведением своим приобрел я благоволение герцогини и одобрение публики. Возвратясь в Россию с рекомендациею нашего министра о моем поведении, имел я счастие быть весьма хорошо принятым моими начальниками; а между тем перевод мой «Альзиры» стал делать много шума, и я сам начал иметь некоторое мнение о моем даровании; но признаюсь, что будучи недоволен переводом, не отдал его ни на театр, ни в печать.

В 1763 году ездил я в Петербург; но в иностранной коллегии остался недолго. Один кабинет-министр [3] имел надобность взять кого-нибудь из коллегии; а как по «Альзире» моей замечен был я с хорошей стороны, то именным указом велено мне было быть при том кабинет-министре. Я ему представился и был принят от него тем милостивее, что сам он, прославясь своим витийством на русском языке, покровительствовал молодых писателей. Я могу похвалиться, что сей новый мой начальник обходился со мною, как надобно с дворяпином; но в доме его повсечасно был человек, давно ему знакомый и носивший его полную доверенность [4]. Сей человек, имеющий, впрочем, разум, был беспримерного высокомерия и нравом тяжел пренесносно. Он упражнялся в сочинениях на русском языке; физиономия ли

---

[1] А. М. Голицын.
[2] М. И. Воронцов.
[3] И. П. Елагин.
[4] В. И. Лукин.

моя или не весьма скромный мой отзыв о его пере причиною стали его ко мне ненависти. Могу сказать, что в доме самого честного и снисходительного начальника вел я жизнь самую неприятнейшую от действия ненависти его любимца. Я был бы нечувствительный человек, если б не вспоминал с благодарностью, что сей начальник, узнавая меня короче, стал более любить меня, может быть примечая доброту моего сердца или за открывающиеся во мне некоторые дарования, кои стали делать ему приятным мое общество. Покровительство его никогда от меня не отнималось. Я уверен, что сохраню его во всю жизнь мою.

В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем [1], и вошел в общество, о коем и доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно. В сие время сочинил я послание к Шумилову, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником. Но, господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей.

Тогда сделал я «Бригадира», скоро потом перевел «Иосифа» и все сие окончил в Москве, в которой познакомился я с одним полковником, человеком честным, но легкомысленным, имеющим жену препочтенную; но как она любила мужа своего смертно, а он разорялся на одну девку, то жизнь жены его была самая несчастная. Однажды я, проводя у них вечер, нашел тут сестру ее родную, женщину пленяющего разума, которая достоинствами своими тронула сердце мое и вселила в него совершенное к себе почтение. Я познакомился с нею и скоро узнал, что почтение мое превратилось в нелицемерную к ней привязанность. Я не смел ей открыться, ибо она была замужем и не подавала мне ни малейшего повода к объяснению, напротив того, всегда меня убегала. И хотя я примечал, что шутки мои, чтение моих сочинений и вообще я ей не не нравился, однако важный ее вид держал меня в почтении к ней. Скоро потом полковник с женою и с нею поехали в подмосковную и меня пригласили, а особливо она уговаривала меня с ними ехать, и мы на несколько дней переселились в деревню. Тут проживши с

[1] Ф. А. Козловский.

неделю, так я в нее влюбился, что никогда оставить ее не мог, и с тех пор во все течение моей жизни по сей час сердце мое всегда было занято ею. Ибо страсть моя основана на почтении и не зависела от разности полов. Здесь должен я сказать, что частое мое посещение полковника возбудило внимание публики. Клеветники приписали оное на счет жены его; но я долгом чести и совести поставляю признаться, что сей слух был сущая клевета, ибо ни я к ней, ни она ко мне, кроме нелицемерного дружества, другого чувства никакого не имели. Из деревни возвратясь в Москву, стал я собираться в Петербург, а сестра полковницы к мужу, стоявшему с полком недалече от Москвы. Накануне моего отъезда, увидясь с нею наедине, открылся я ей в страсти моей искренно.

— Ты едешь,— отвечала она мне,— и, бог знает, увидимся ли мы еще; я на тебя самого ссылаюсь, как я тебя убегала и как старалась скрыть от тебя истинное состояние сердца моего; но разлучение с тобою и неизвестность свидания, а паче всего сильная страсть моя к тебе не позволяет мне долее притворяться: я люблю тебя и вечно любить буду.

Я так почитал сию женщину, что признанием ее не смел и помыслить воспользоваться; но, условясь с нею о нашей переписке, простился, оставя ее в прегорьких слезах.

Я приехал в Петербург и привез с собою «Бригадира» и «Иосифа». Надобно приметить, что я обе сии книги читал мастерски. Чтение мое заслужило внимание покойного Александра Ильича Бибикова и графа Григорья Григорьевича Орлова, который не преминул донести о том государыне. В самый Петров день граф прислал ко мне спросить, еду ли я Петергоф, и если еду, то взял бы с собою мою комедию «Бригадир». Я отвечал, что исполню его повеление. В Петергофе на бале граф, подошед ко мне, сказал: «Ее величество приказала после балу вам быть к себе, и вы с комедиею извольте идти в Эрмитаж». И действительно, я нашел ее величество, готовую слушать мое чтение. Никогда не быв столь близко государя, признаюсь, что я начал было несколько робеть, но взор российской благотворительницы и глас ее, идущий к сердцу, ободрил меня; несколько слов, произнесенных монаршими устами, привели меня в состояние читать мою комедию пред нею с обыкновенным моим искусством. Во время же чтения похвалы ее давали мне новую смелость, так что после чтения был я завлечен к некоторым шуткам и потом, облобызав ее десницу, вышел, имея от нее всемилостивейшее приветствие за мое чтение.

Дни через три положил я из Петергофа возвратиться в

город, а между тем встретился в саду с графом Никитою Ивановичем Паниным, которому я никогда представлен не был; но он сам, остановив меня: «Слуга покорный,— сказал мне,— поздравляю вас с успехом комедии вашей; я вас уверяю, что ныне во всем Петергофе ни о чем другом не говорят, как о комедии и о чтении вашем. Долго ли вы здесь останетесь?» — спросил он меня.

— Через несколько часов еду в город,— отвечал я.

— А мы завтра,— сказал граф.— Я еще хочу, сударь,— продолжал он,— попросить вас: его высочество желает весьма слышать чтение ваше, и для того по приезде нашем в город не умедлите ко мне явиться с вашею комедиею, а я представлю вас великому князю, и вы можете прочитать ее нам.

— Я не премину исполнить повеление ваше,— отвечал я,— и почту за верх счастия моего иметь моими слушателями его императорское высочество и ваше сиятельство.

— Государыня похваляет сочинение ваше, и все вообще очень довольны,— говорил граф.

— Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством,— ответствовал я.

— Мне будет очень приятно,— сказал он,— если могу быть вам в чем полезен.

Сие слово произнес он с таким видом чистосердечия и честности, что сердце мое с сей минуты к нему привержено стало и как будто предчувствовало, что он будет мне первый и истинный благодетель.

По возвращении моем в город узнал я на другой день, что его высочество возвратился. Я немедленно пошел во дворец к графу Никите Ивановичу. Мне сказали, что он в антресолях; я просил, чтобы ему обо мне доложили. В ту минуту позван был я к графу; он принял меня очень милостиво.

— Я тотчас оденусь,— сказал он мне,— а ты посиди со мною.

Я приметил, что он в разговорах своих со мною старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила. Одевшись, повел меня к великому князю и представил ему меня как молодого человека отличных качеств и редких дарований. Его высочество изъявил мне в весьма милостивых выражениях, сколько желает он слышать мою комедию.

— Да вот после обеда,— сказал граф,— ваше высочество, ее услышите.— Потом, подошед ко мне: — Вы,— сказал,— извольте остаться при столе его высочества.

Как скоро стол отошел, то после кофе посадили меня, и его высочество с графом и с некоторыми двора своего сели около меня. Чрез несколько минут тоном чтения моего произвел я во всех слушателях прегромкое хохотанье. Паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша.

— Я вижу,— сказал он мне,— что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу.

По окончании чтения Никита Иванович делал свое рассуждение на мою комедию.

— Это в наших нравах первая комедия,— говорил он,— и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, если сия комедия столь много имеет успеха; советую вам не оставлять вашего дарования.

— Ваше сиятельство,— говорил я,— для меня ничего лестнее быть не может, как такое одобрение ваше.

Его высочеству, с своей стороны, угодно было сказать мне за мое чтение многие весьма лестные приветствия. А граф, когда вошли мы в другую комнату, сказал:

— Вы можете ходить к его высочеству и при столе оставаться, когда только хотите.

Я благодарил за сию милость.

— Одолжи же меня,— сказал граф,— и принеси свою комедию завтра ввечеру ко мне. У меня будет мое общество, и мне хочется, чтобы вы ее прочли.

Я с радостию обещал сие графу, и на другой день ввечеру чтение мое имело тот же успех, как и при его высочестве.

Я забыл сказать, что имел дар принимать на себя лицо и говорить голосом весьма многих людей. Тогда передражнивал я покойного Сумарокова, могу сказать, мастерски и говорил не только его голосом, но и умом, так что он бы сам не мог сказать другого, как то, что́ я говорил его голосом; словом сказать, вечер провели очень весело, и граф мною был чрезмерно доволен.

Первое воскресенье пошел я к его высочеству и там должен был повторить то, что я делал у графа ввечеру. Дарование мое понравилось всем, и граф обошелся со мною отменно милостиво.

В сей день представлен был я графом брату его, графу Петру Ивановичу, который звал меня на другой день обедать и читать комедию.

— И я у тебя обедаю,— сказал граф брату своему,— я не хочу пропустить случая слушать его чтение. Редкий талант! У него, братец, в комедии есть одна Акулина Тимофеевна: когда он роль ее читает, тогда я самое ее и вижу и слышу.

Чтение мое у графа Петра Ивановича имело успех обыкновенный. Покойный граф Захар Григорьевич [1] был тут моим слушателем.

— А завтра,— сказал он мне,— милости прошу откушать у меня и прочесть комедию вашу.

Потом пригласил он обоих графов. Граф Иван Григорьевич Чернышов сделал мне ту же честь, и я вседневно зван был обедать и читать. Равное же внимание ко мне показали: граф Александр Сергеевич Строганов, который всю жизнь свою посвятил единой добродетели, граф Андрей Петрович Шувалов, покойные: графиня Мария Андреевна Румянцева, графиня Катерина Борисовна Бутурлина и графиня Анна Карловна Воронцова. И я, объездя звавших меня, с неделю отдыхал; а между тем приехал ко мне тот князь, с коим я имел неприятное общество. Он рассказывал мне, что весь Петербург наполнен моею комедиею, из которой многие острые слова употребляются уже в беседах.

— Мне поручил,— сказал князь,— звать тебя обедать граф ***. Поедем к нему завтра.

Сей граф был человек знатный по чинам, почитаемый умным человеком, но погрязший в сладострастии. Он был уже старых лет и все дозволял себе, потому что ничему не верил. Сей старый грешник отвергал даже бытие вышнего существа. Я поехал к нему с князем, надеясь найти в нем, по крайней мере, рассуждающего человека; но поведение его иное мне показало. Ему вздумалось за обедом открыть свой образ мыслей, или, лучше сказать, свое безбожие, при молодых людях, за столом бывших, и при слугах. Рассуждения его были софистические и безумие явное, но со всем тем поколебали душу мою. После обеда поехал я с князем домой.

— Что,— спросил он меня,— нравится ли тебе это общество?

— Прошу меня от него уволить,— отвечал я,— ибо не хочу слышать таких умствований, кои не просвещают, но помрачают человека.

Тут казалось мне, что пришло в мою голову паитие здравого рассудка. Я в карете рассуждал о безумии неверия очень спра-

[1] З. Г. Чернышов.

ведливо и объяснялся весьма выразительно, так что князь ничего отвечать мне не мог.

Скоро двор переехал в Царское Село; а как тот кабинет-министр, при коем я находился, должен был, по званию своему, следовать за двором, то взял и меня в Царское Село. Я, терзаем будучи мыслями, поселенными в меня безбожническою беседою, хотел досужное время в Царском Селе употребить на дело мне полезнейшее, а именно: подумав хорошенько и призвав бога в помощь, хотел определить систему мою в рассуждении веры. С сего времени считаю я вступление мое в совершенный возраст, ибо начал чувствовать действие здравого рассудка. Сие время жизни моей содержит в себе

КНИГА ТРЕТЬЯ

Господи! всем сердцем моим
испытую заповеди твоя.

Итак, отправился я с начальником моим в Царское Село, в твердом намерении упражняться в богомыслии; а чтоб было мне из чего почерпнуть правила веры, то взял я с собою русскую Библию; для удобнейшего же понимания взял ту же книгу на французском и немецком языках.

Приехав в Царское Село, обрадовался я, нашед отведенную для меня комнату особливую, в которой ничто упражнениям моим не могло препятствовать. Первое утро открыл я Библию, и мне, как нарочно, встретилось место, которое весьма приличествовало моему намерению, а именно глава VI Второзакония.

«И да будут тебе словеса сия, яже аз заповедаю тебе днесь, в сердце твоем и в душе твоей; и да накажеши ими сыны твоя, и да глаголеши о них седяй в дому, и идый путем, и лежа, и восстая» (ст. 7).

Сие встретившееся мне толь кстати место из Священного писания наложило на меня долг всякую досужную минуту посвятить испытанию о вышнем существе. Время было прекрасное, и я положил каждое утро ходить в сад и размышлять. Однажды в саду встретил я в уединении гуляющего Григория Николаевича Теплова, с коим я уже познакомился в доме начальника моего. Григорий Николаевич пригласил меня ходить с собою. Он достойно имел славу умного человека. Разум его был

учением просвещенный; словом, я с великим удовольствием пошел гулять с ним по саду, и он говорил мне, что желает слышать комедию мою в своем доме, читанную мною. Я обещал сделать ему сию услугу. Он спрашивал меня, кому я ее читал? Я перечел ему всех поименно и не скрыл от него, сколько смущает душу мою посещение графа ***.

— Итак, вы хотите определить систему в рассуждении веры вашей,— говорил Григорий Николаевич.— С чего ж вы начинаете?

— Я начинаю,— отвечал я,— с рассмотрения, какие люди отвергают бытие божие и стоят ли они какой-нибудь доверенности.

— Умное дело делаете,— говорил Григорий Николаевич,— когда стараетесь успокоить совесть свою в толь важном деле, каково есть удостоверение о бытии божеском.

— Ваше превосходительство! — говорил я ему.— Я прошу вас, как умного человека, подать мне наставление, каким способом могу я достигнуть до сего удостоверения.

— Сядем здесь,— сказал он, подведя меня к одной лавке,— мы можем здесь о чем хотим беспрепятственно беседовать.

Я намерен сию беседу описать здесь, сколько могу вспомнить.

Я. Я вижу, что безбожники разделяются на несколько классов: одни суть невежды и глупые люди. Они никогда ничего внимательно не рассматривают, а прочитав Волтера и не поняв его, отвергают бытие божие, для того что полагают себе славою почитаться выше всех предрассудков, ибо они считают предрассудком то, чего слабый их рассудок понять не может.

Григорий Николаевич. Сии людишки не не верują, а желают, чтобы их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Волтером одного мнения. Я знаю, что Волтер развратил множество молодых людей в Европе; однако верьте мне, что для развращения юношества нет нужды ни в Волтеровом уме, ни в его дарованиях. Граф, у которого вы обедали, сделал в России не меньше разврату Волтерова, имея голову довольно ограниченную. Я знаю, что молодого слабенького человека может развратить такой, кто еще ограниченнее графа; пример сему видел я на сих днях моими глазами.

Я. Позвольте спросить, ваше превосходительство, как это было?

Григорий Николаевич. На сих днях случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал,

другой отрицал бытие божие. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть; а бога нет!» Я вступился и спросил его: «Да кто тебе сказывал, что бога нет?» — «Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе»,— отвечал он. «Нашел и место!» — сказал я.

Я. Странно мне кажется, что Чебышев на старости вздумал на Гостином дворе проповедовать безбожие.

Григорий Николаевич. О, как я вижу, вы его не знаете.

Тут начал он описывать голову́ Чебышева ругательски, или, справедливее сказать, стал его бранить, так что я должен был предполагать у него с Чебышевым личную ненависть, и для того хотелось мне переменить сию материю, а возвратиться на прежнюю.

Я. Есть и еще род безбожников, кои умствуют и думают доказать доводами, что бог не существует. Противу сих последних желал бы я иметь оружие и доказать им их безумие. Я прошу ваше превосходительство подать мне наставление, откуда могу почерпнуть наилучшие доводы о бытии божием.

Григорий Николаевич. Известны ли вам сочинения господина Кларка, который писал противу Гоббезия, Спинозы и их последователей? Кларк восторжествовал над ними: он, логически выводя одну истину из другой, составил, так сказать, неразрывную цепь доказательств бытия божия, и уже ни один безбожник умствованиями своими не вывернется от его убеждений.

Я. Мне неизвестны Кларковы сочинения, но я тотчас сию книгу выпишу из Петербурга.

Григорий Николаевич. А я не сомневаюсь, что вы Кларком будете довольны.

Здесь кончилась наша беседа. Я, пришед домой, тотчас написал в Петербург, чтоб прислали ко мне сочинения Кларка. Между тем, будучи воспитан в христианском законе и находя заповеди Христовы сходственными с моим собственным сердцем, думал я: «Если Кларк доказал бытие божие неоспоримыми доводами, то как бы я был доволен, нашед в его творениях доказанную истину христианского исповедания».

На другой день привезли ко мне книгу под заглавием «Самуэля Кларка доказательства бытия божия и истины христианския веры».

Того-то я и желал! С жадностию бросился я читать сию драгоценную книгу и, прочитав, не доволен был одним разом, но тотчас начал чтение в другой раз. Как скоро я мог обнять порядок и способ Кларковых доводов, то пошел благодарить Григорья Николаевича.

— Я знаю,— говорил он мне,— что вы сею книгою будете довольны.

— Я вашему превосходительству откроюсь в моем намерении,— сказал я,— мне хочется перевести ее па русский язык и, издав в свет, сделать некоторую услугу моим соотчичам.

— Намерение ваше похвально, но вы не знаете, с какими неприятностями сопряжено исполнение оного. Вам, без сомнения, известен перевод господина Поповского «Опыта о человеке»? — спросил меня Гр. Николаевич.

— Мне сей перевод очень знаком,— отвечал я,— и я его высоко почитаю.

— Но какие неприятности, какие затруднения встретил бедный переводчик к напечатанию, сказывал мне он же. Попы стали переправлять перевод его и множество стихов исковеркали, а дабы читатель не почел их стихов за переводчиковы, то напечатали они их нарочно крупными буквами, как будто бы читатель сам не мог различить стихов поповских от стихов Поповского. Ваш перевод, без сомнения, подвержен будет равной участи. А мне кажется, вместо перевода полезнее будет, если сделаете вы из сочинений Кларковых выписку: вы употребите на нее меньше времени и труда; если же выписка, как я и думаю, хорошо сделана будет, то она принесет равную пользу с переводом, и вам ловчее будет, по востребованию иногда синода, сделать перемену в выписке, нежели в самом переводе.

— Но неужели,— спросил я,— синод делать будет мне нарочно затруднения в намерении толь невинном?

— Да разве не знаете вы, кто в синоде обер-прокурор?

— Не знаю,— отвечал я.

— Так знайте ж — Петр Петрович Чебышев,—сказал Григорий Николаевич.

Как бы то ни было, я последовал совету Григорья Николаевича и сделал выписку из Кларка. Недавно я ее читал и нахожу за нужное поправить нечто в слоге, а в прочем выписка годится. В самом конце моих «Признаний» я ее прилагаю, сердечно желая, чтобы труд мой принес хотя некоторую пользу благомыслящим читателям...

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514

А. М. К.

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести не захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шествии моем меня подкрепит,— не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.

ВЫЕЗД

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик, по обыкновению своему, поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося прости; но воспомни о возвращении твоем, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зерцалах воображения.

Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености; не было тут источника на прохлаждение, не было древесныя сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынник! Вострепетал.

— Несчастный,— возопил я,— где ты? где девалося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастию моему, случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья.

— Что такое? — спрашивал я у повозчика моего.

— Почтовый двор.

— Да где мы?

— В Софии,— и между тем выпрягал лошадей.

СОФИЯ

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости:

— Барин-батюшка, на водку! — Сбор сей хотя не законный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по указу. Двадцать

копеек послужили мне в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо.

— Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни.— Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо.

— Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей,— и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился.

«Если лошади все в разгоне,— размышлял я,— то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне...» Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо покрепче. Казалося мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал:

— Кто приехал? не...— но опомнившись, увидя меня, сказал мне: — видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора.— Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запречь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак, двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.

Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего

народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.

Извозчик мой поет. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? — Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

ТОСНА

Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой — кто он был? — узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа:

— Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов

российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение.

— Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги,— все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новогородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титла и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнепие вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за двести или триста лет, приложится титло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.

В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернилы; но вместо благоприятства попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдался пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения.

Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька... и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обвертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла — хвастовства древния породы.

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах.— Летом. Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяяся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостию.

— Бог в помощь,— сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду.— Бог в помощь,— повторил я.

— Спасибо, барин,— говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь,— сказал он, показывая мне сложенные три перста.— А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог,— крестяся,— чтоб под вечер сегодня дожжик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят.

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки. Перьвинькому-то десятый годок.

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.

— Так ли ты работаешь на господина своего?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?

— Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.

— Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу.— Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.

— Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.

Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.

— Ты во гневе твоем,— говорил я сам себе,— устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему

воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем (о умеренный человек!) — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!

— А кто тебе дал власть над ним?

— Закон.

— Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!..— Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

ЧУДОВО

Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч... Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.

— Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я два дни с великим удовольствием, насыщаяся зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенный вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благость природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которо-

го на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-ти весельную шлюпку и отправился на С...

Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу: что́ других устрашать начинало, то меня веселило. Восклицал изредка, как Вернет: «Ах, как хорошо!» Но ветр, усиливаяся постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветр, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шественного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носилися наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалася, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам возможно было, ободряли друг друга.

Носимое валами, внезапу судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна с мели, как то мы думали, мы не приметили, что ветр между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилося от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо.

Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувствия. Да и если б я мог

достаточные дать черты каждому души моея движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснилися тогда. Судно наше стояло на средине гряды каменной, замыкающей залив, до С... простирающийся. Мы находилися от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колико воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толико во мгновение паки накоплялося. К крайнему сердец наших сокрушению, ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явясь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равныя с нами участи.

Наконец судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, взиравший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в Архипелаге, решился или нас спасти, спасаяся сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираяся с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаяся почасту и садяся на камень для отдохновения. Казалося нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающа в достижении берега, или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремилися вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Моисея в прохождении, без чуда, морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.

Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалася, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительныя неволи рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, воспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питалися его трудами.

Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы вытти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалося, двигалися. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалося, помалу увеличивалось; наконец, приближаяся, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находилися среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростираяся по всей храмине до дальнейших ее пределов,— тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилося в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаяся в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее.

По нескольком времени увидели мы две большие рыбачьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменною грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего

извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав нимало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилося совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел,— так звали спасшего нас сопутника,— рассказал нам следующее:

«Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезъестественные; но сажен за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаяваться в вашем спасении и моей жизни. Но, полежав с полчаса на камени, вспрянув с новой бодростию и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С... что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но воспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С... никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил Г..., который тогда еще почивал. Господин сержант мне сказал: «Друг мой, я не смею».— «Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду...»

Господин сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но, помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых, я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна; вы все спасены. Если бы вы утонули, то и я бы бросился за вами в воду».

Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо.

— Отче всесильный,— возопил я,— тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя.— Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую; час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувствие, мысль — все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба, не почувствуешь ли корчащий мраз, лиющийся в твоих жилах и завременно жизнь пресекающий. О мой друг! — Но я удалился от моего повествования.

Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалося такое бесчеловечие! Я воспомянул о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба [1].

Воздохнул я во глубине души. Между тем дошли мы до С... Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: «Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашея помощи?» Он мне отвечал с наивеличайшею холодностию, куря табак: «Мне о том сказали недавно, а тогда я спал». Тут я задрожал в ярости человечества: «Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от

[1] Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калкуту чиновника бенгальского, подвергшего себя казни своим мздоимством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталося от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. Почивает он — ответствовано умирающим агличанам; и ни един человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение.

Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкший к игу мучительства? Благоговение ль или боязнь тягчит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву, или жалобу во время нощи или в часы денные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий; чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего набаба или подлости не смеющего его разбудить?— Реналь. История о Индиях, том II.

тебя помощи». Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: «Не моя то должность». Я вышел из терпения: «Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другим!..» Окончать не мог моея речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отмстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминовением многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком; смирился.

Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостию, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. «Но в должности ему не предписано вас спасать»,— сказал некто.— Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе.

— Нет, мой друг,— говорил мой повествователь, вскочив со стула,— заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что́ есть человек, где имя его неизвестно. Прости.— Сел в кибитку и поскакал.

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез:

— Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями.— И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. «Беда невелика,—

размышлял я,— закроюсь циновкою и буду сух». Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в прорубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь, дале будешь — вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была непуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собой разговаривали.

— Ну, муж, расскажи-тка,— говорил женский голос.

— Слушай, жена. Жил-был...

— И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? — сказала жена вполголоса, зевая ото сна.— Поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей-разбойник.

— Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет.

В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство.

«Поспешай, мой друг,— вещает ему унизанный орденами,— поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской».

«Кому прикажете?»

«Прочти адрес».

«Его... его...»

«Не так читаешь».

«Государю моему гос...»

«Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге в Большой Морской».

«Знаю, ваше высокопревосходительство».

«Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно».

И ну-ну-ну, ну-ну-ну; по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор.

«Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин добрый. Рад ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся».— Бочку взвалили в кибитку; поворотя оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка сивухи.

Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери.

«Привез, ваше высокопревосходительство».

«Очень кстати; (оборотясь к предстоящим:) право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином».

В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет.— По представлению господина генерала и проч. *приказали*: быть сержанту Н. Н. прапорщиком.

— Вот, жена,— говорил мужской голос,— как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш господин казначей; уже другой раз по его представлению

меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица.

— И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? за то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.

— Потише, Кузминична, потише; неравно кто подслушает.— Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением:

— Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту.

Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти саженях. Он, подошед ко мне и не снимая шляпы, сказал:

— Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного.

Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое.

— Я вижу,— сказал он мне,— что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалося.

Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля нимало, вынув из кошелька...

— Не осудите,— сказал,— более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше.— Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся.

— Я вижу,— сказал он мне,— что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.

Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание — и мы едем.

— Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удоволь-

ствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалося; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толико имело удовлетворение, равно и душа наслаждалася истинным блаженством. По многих сперва бесплодных страданиях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство, определила судьба, да рушится одним мгновением.

У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренно меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было:

«Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено».

— Вам покажется мудрено,— говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово,— чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделался, по-видимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было, или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу порукою, имения за мною никакого не было, но, по обыкновению, послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь — запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай про-

Русская деревня.

Литография А. Убигана с натурных зарисовок Д. Аткисона 1780—1790-х годов.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

дать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что, по крайней мере, надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажею, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов и требуют теперь,— говорил повествователь,— хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела.— Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос.— Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: «Нет, мой друг, и я с тобою». Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался.

Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку.

Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной недозрелый плод нашея горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика.

— Вообрази, вообрази,— говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы,— вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалася навсегда.

— Навсегда! — вскричал он диким голосом.— Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд.

Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалася, то я все позабываю, и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне:

«Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу».

Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощию своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице — куда глаза глядят.

Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производилися жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховныя власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна.— Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего.— Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющего письма.— Какое имею право? — Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своея жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верющее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? — Да

и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верющее письмо.— О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестяся во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.

Возмущенные соки мыслию стремилися, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, седящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого злата и хитро искладенными драгими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из сребра изваянном, на коем изображалися морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью *Закон милосердия;* в другой книга же с надписью *Закон совести.* Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудою младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные.

В некотором отдалении от престола моего толпилося бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалося, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегчася, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крылех мгновенности, не оставляя по себе ниже́ знака своего присутствования,— тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать:

— Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки.— Подобно тихому полуденному ветру, помавающему

листвия дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:

— Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.

Другой восклицал:

— Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие.

Женщины с нежностию вещали:

— Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины.

Иной с важным видом возглашал:

— Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание.

Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:

— Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображалися, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалася над обыкновенным зрения кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалася степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилося с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной.

— Государь,— ответствовал он мне,— слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных.

Учредителю плавания я рек:

— Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

— Исполню, государь.— И полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные.

— Возвести до дальнейших пределов моея области,— рек я хранителю законов,— се день рождения моего, да ознаменит-

ся он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути.

— Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругах их.

— Да воздвигнутся,— рек я первому зодчию,— великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разновидными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.

— О премудрый,— отвечал он мне,— егда велениям твоего гласа стихии повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют.

— Да отверзется ныне,— рек я,— рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.

— О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля.

При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Глава ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами.

— Кто сия? — вопрошал я близ стоящего меня.

— Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмурена, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоея главы.

— Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, приимите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние.

Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю.

По сем продолжал я мое слово:

— Пойдем, столпы моея державы, опоры моея власти, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству,— рек я к учредителю веселий.— Мы тебе последуем.

— Постой,— вещала мне странница от своего места,— постой и подойди ко мне. Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. Какие бельма! — сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

— На обоих глазах бельма,— сказала странница,— а ты столь решительно судил о всем.— Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору.— Ты видишь,— сказала она мне,— что ты был слеп и слеп всесовершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрыет твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет

виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва един в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледелателя лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца материя. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшия странницы лице казалося веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касалися. Одежды мои, столь блестящие, казалися замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческо-

го; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужныя и безвременныя строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плавания уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы изображалися из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске нощных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже златые доски уготовлялися на одежду столь важного сочинения. О Кук! почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, отпущение казни и прощение преступников едва

видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаяся не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалося торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом.

— Удержи свое милосердие,— вещали тысячи гласов,— не возвещай нам его великолепным словом, если не хощешь его исполнити. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем.

В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутренное и внешное без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворно струев Касталии и Ипокрены; едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои.

Но паче всего уязвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливалися на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва, едва досязали слабые источники моея щедроты застенчивого достоинства и стыдливыя заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты.

Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставалися в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств,

вступало в единый путь с ласкательством и подлостию духа, на снискание почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалася на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение,— возревел я яростию гнева.

— Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. Прииди,— вещал я старцу, коего созерцал в крае обширныя моея области, кроющегося под заросшею мхом хижиною,— прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея обязанности, познал, откуду проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

ПОДБЕРЕЗЬЕ

Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреду во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты — против бреду я

себя не предостерег, и от того голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.

Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. «Как чашек пять выпью,— говаривала она,— так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни».

Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу у окна.

— Благодарю усердно,— сказал он, взяв чашку с кофеем.

Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, некстати были к длинному полукафтанью и к примазанным квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и если кто не кудряв и не напудрен, того я ни во что не чту. Если и ты деревенщина и волос не пудришь, то не осуди, буде я на тебя не взгляну и пройду мимо.

Слово за слово я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что он был из новогородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки.

— Сколь великий недостаток еще у нас в пособиях просвещения,— говорил он мне.— Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай, по счастию моему, узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословию, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему дивиться: Аристотель и схоластика доныне царствуют в семинариях. Я, по счастию моему, знаком стал в доме одного из губернских членов в Новегороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое

пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые, но преподаются на языке народном!

— Но для чего,— прервав, он свою речь продолжал,— для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавалися науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере, в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение.

— Боже мой! — продолжал он с восклицанием,— если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон!

— Ты читал Блекстона?

— Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить,— повторил он,— что у нас нет училищ, где бы науки преподавалися на языке народном.

Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию.

— Пора, государь мой, пора...

Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упадшее и не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, кто принимал,— так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо.— Читай, что мой семинарист говорит:

«Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных, или нравственных, с веществами телесными, или естественными; что причина всех перемен, превращений, пре-

вратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся...»

На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюся тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта.

Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы; давно ли Фридрих неутолимый его был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, родится, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалося в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалося суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей, попрала огромный оплот предрассуждений, но не долго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалася необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений,

когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталося и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.

Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выспренностей ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет: ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубныя стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.

Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумныя твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и предопределяются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета; час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.

На лествице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.

Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные, блюдитеся, да не вступите на путь следующих исследований.

Вещал Акиба: вошед по стезе Равви Иозуа в сокровенное место, я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращатися довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обесстудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал! Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.

Смотри Белев словарь, статью Акиба.

НОВГОРОД

Гордитеся, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия.— Где пышная Троя, где Карфага? — Едва ли видно место, где гордо они стояли.— Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты ползуща!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключалися в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новогородская простиралася на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских. Но какое он имел право свирепо-

ствовать против них; какое он имел право присвоять Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Русии? Или что новогородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и апеллации на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила.

Что ж есть право народное? — Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии.

Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права?

Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое.

Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском,— кто из двух большее к приобретению имеет право?

Ответ: тот, кто кусок возьмет.

Вопрос: кто же возьмет кусок?

Ответ: кто сильнее.

Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного?

Примеры всех времян свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.

Вопрос: что есть право гражданское?

Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

ИЗ ЛЕТОПИСИ НОВОГОРОДСКОЙ

Новогородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение.

Новогородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию печатьми.

Новогородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение.

Новгород в 1420 году начал бить свою монету.

Новгород стоял в Ганзейском союзе.

В Новегороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у новогородцев отнял.

Потом. В 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — году — году Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь... размышлял я. Как ни тужи, а Новагорода по-прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.

— Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуды бог принес,— говорил мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне именитый гражданин.— По пословице, счастливый к обеду. Милости просим садиться.

— Да что за пир у тебя?

— Благодетель мой, я женил вчера парня своего.

Благодетель твой,— подумал я, не без причины он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили. Карп Дементьич человек признательный.

— Невестка, водки нечаянному гостю.

— Я водки не пью.

— Да хотя прикушай. Здоровья молодых...— и сели ужинать.

По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку.

...Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компа-

нию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушке, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по них учит узнавать, кто умен и кто глуп.

Карп Дементьич — седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.

Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского не пьет, перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает... По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запасу 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых... Приказчики мужнины — Аксиньины камердинеры.

Алексей Карпович, сосед мой застольный. Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху.

Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни; а у кого догадка есть, тот знает за что.

Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуэты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь.

— Карп Дементьич, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не ездишь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток.

— От него-то было я и разорился. Но насилу бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну неурожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал.

— Помню, Карп Дементьич, что за тридцать тысяч рублей, забранных вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел.

— Ей, больше не можно было, поверь моей совести.

— Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал тысяч на двадцать... Да, помню; на них пришла головная боль.

— Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут заимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение.

— По три копейки на рубль.

— Никак нет-ста, по пятнадцати.

— А женин дом?

— Как мне до него коснуться; он не мой.

— Скажи же, чем ты торгуешь?

— Ничем, ей, ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч.

— На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом...

Алексей Карпович только что улыбается.

— Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело.

— Я не пью, ты знаешь.

— Да хоть прикушай.

Прикушай, прикушай,— я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастию, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв.

Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пещися долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице. С одной стороны — легковерность, с другой — почти воровство. Тот поверил, надеяся на строгое законо-

положение, а сей... А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах...

Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою.

БРОННИЦЫ

Между тем как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном прорицаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь.

Восходя на гору, я вообразил себя преселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие моей нерешимости. Божественный ужас объемлет мои члены, грудь моя начинает воздыматься, взоры мои тупеют, и свет в них меркнет. Мне слышится глас, грому подобный, вещаяй:

— Безумный! почто желаешь познати тайну, которую я сокрыл от смертных непроницаемым покровом неизвестности? Почто, о дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна бренности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным ожиданием, что прелестность настоящего веселия, нашед утомленные силы, немощна произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утехи, имп же наслаждался бы, если бы скончания их не предузнал. Чего ищеши, чадо безрассудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоем и сердце. Вопроси их во дни печали и обрящешь утешителей. Вопроси их во дни радости и найдешь обуздателей наглого счастия. Возвратись в дом свой, возвратись к семье своей; успокой востревоженные мысли; вниди во внутренность свою, там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание.— И треск сильного удара, гремящего во власти Перуна, раздался в долинах далеко.

Я опомнился. Достиг вершины горы и, узрев церковь, возвел я руки на небо.

— Господи,— возопил я,— се храм твой, се храм, вещают, истинного, единого бога. На месте сем, на месте твоего ныне пребывания, повествуют, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всесильный! чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущия воли твоея нудит признавати природы строителя и содержателя. Если смертный в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицает тебя именованиями, почитание его, однако же, стремится к тебе, предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении своем смертные, казалося, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неуподобляемые дела. Могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем поклоняемо. Безбожник, тебя отрицающий, признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своея изящностию твоего творения, ему предстоит трепетен. Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они отверсты везде на твое пришествие. Сниди, господи, и воцарися в них.

И пребыл я несколько мгновений отриновен окрестных мне предметов, нисшед во внутренность мою глубоко. Возвед потом очи мои, обратив взоры на близ стоящие селения:

— Се хижины уничижения,— вещал я,— на месте, где некогда град великий гордые возносил свои стены. Ни малейшего даже признака оных не осталося. Рассудок претит имети веру и самой повести: столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. И все, что зрим, прейдет; все рушится, все будет прах. Но некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто вовеки живо.

> С течением времен все звезды помрачатся,
> померкнет солнца блеск; природа, обветшав
> лет дряхлостью, падет.
> Но ты во юности бессмертной процветешь,
> незыблемый среди сражения стихиев,
> развалин вещества, миров всех разрушенья[1].

[1] Смерть Катонова, трагедия Еддесонова, дейс. V, явлен. 1.

ЗАЙЦОВО

В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были, однако же, откровенны. Г-н Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне:

— Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моея души! какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не узрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да не вменится николи. О мой друг! исполнением моея должности источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сии будут слезы обновления во благо; но иссякнут слезы страждущей невинности и простодушия. Колико мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз.

С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.

— Я думал, мой друг,— говорил мне г. Крестьянкин,— что услаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моея должности. Но вместо того нашел я в оной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилося, теперь почитают послаблением или

непозволительною поноровкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или дабы наказать мнимые преступления лишением имения, чести, жизни начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на беззаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезавшими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во мзду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, не касаяся причин, оные производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо, не возмогши спасти винных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.

В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камерлакеем, потом мундшенком; какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию, для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на распростертие своея пышности и гордыни. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею. Если бы у нас ро-

дился Гогард, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. асессора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою проницательностию, то бы и тогда картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставлю вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования.

Г. асессор, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога проистекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню; отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а иным давал из милости месячину. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетьми, батожьем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как-то кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалося, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской Сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявя правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сек как за леность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин да повариха-старуха. Кучера у них не было, ни лошадей; разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок

дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили.

Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с асессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей.

В деревне его была крестьянская девка недурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась середнему сыну асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь; но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своея страсти. Взял с собой обоих своих братьев и, вызвав невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялася всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скаредное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клети, усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел ко клети. Какое зрелище представилося ему. При его приближении затворилась клеть; но совокупные силы двух братьев немощны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскоча в клеть, ударил вдоль спины хищника своея невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клети и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил.

Сии злодеи, желая отмстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили; что, увидя, жених ее начал их бить,

будучи вспомогаем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутренности сердца болезнию своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев — так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие.

«Как ты дерзнул,— говорил старый асессор,— поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоея свадьбы, то ты ему за то должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны».

По таковом решении жениха велел он сечь кошками немилосердо, отдав его в волю своих сыновей. Побои вытерпел он мужественно; неробким духом смотрел, как начали над отцом его то же производить истязание. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук, ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после признался.

В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частию очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признавалися, в оправдание свое приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе.

Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оного сам убитый асессор? Если в арифметике из двух данных чисел третие следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить,— убийцею ли я почтуся, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если вышнего века скосырь, привлекший должное на себя презрение, восхочет оное на мне отомстить и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня,— виновен ли я буду, если, извлекши мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствие его члена? Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?

Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенною откровенностию сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцов. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и бесплодным порастет злаком; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъидутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от

целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится; тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил.

«Председателю нашему,— вещали они,— сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение».

Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я принял мзду от жены убитого асессора, да не лишится она крестьян своих отсылкою их в работу, и что сия-то истинная была причина странным и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим. Несмысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от оного меня отвлечет! Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда предстою собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым румянцем совести.

Мздоимство мое основали они на том, что асессорша за мужнину смерть мстить не желала, а, сопровождаема своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен; но разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет; а я уверял ее, что, оправдывая убийцов ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно.

Скоро *наместник* известен стал о моем по сему делу мнении, известен, что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги асессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами,

увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения; обещает награждение исполняющим закон, претя мщением неповинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей. Сродно хвилым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию.

Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и ласкал еебя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностию, лесть нужными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеяся, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти непоколебимостию, доводам доводами и долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлияло свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сице:

«Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом становится гражданином. Какия же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть? почто, беспределен в исполнении своея воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своея пользы, скажет рассудок; для своея пользы, скажет внутреннее чувствование; для своея пользы, скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его лишить

пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию,—тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, не отъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираяся на доводах рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна. Да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцов в злобе дух испустившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имеяй довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную».

Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злоба. Все молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалося журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалося, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалилися они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив зрелищем толикого смешения гордыни с нижайшею подлостию, я удалился из сего собрания льстецов.

Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже́ оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состоя-

ния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями.— Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону.

Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы, выпрягались поминутно; наконец, спускаяся с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем саду или в Баба, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть.

Между тем как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кой-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то и се, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться,— и я в нем узнал моего знакомого.

— Что ты делаешь? — сказал он мне.

— Думу думаю. Времени довольно мне на размышление; ось переломилась. Что нового?

— Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то вёдро. А!.. Вот новенькое, Дурындин женился.

— Неправда. Ему уже лет с восемьдесят.

— Точно так. Да вот к тебе письмо... Читай на досуге; а мне нужно поспешать. Прости,— и расстались.

Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая, по счастию, была в запасе. Едучи, я читал:

Петербург

Любезный мой!

На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спарению отгадать тебе трудненько, если оной не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ш...— витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим; лицом смазлива; оставшись после мужа бедною сиротою и ведая о жестокосердии собратий своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но сколь скоро приметила, что красота ее начинала увядать и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупщиков на

Новгородская девушка.

Литография А. Убигана с натурных зарисовок Д. Аткисона 1780—1790-х годов.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом нажив себе несколько тысяч, она с честию изъялась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло; и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому дивятся. Приятельница ее ближняя Н... приехала к ней.

— Слух носится, душа моя,— говорит она поседелой невесте,— что ты собралась замуж. Мне кажется, солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню.

Ш. Правда совершенная. Завтра сговор, приезжай пировать с нами.

Н. Ты с ума сошла. Неужели старая кровь разыгралась; неужели какой молокосос подбился к тебе под крылышко?

Ш. Ах, матка моя! некстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе...

Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и не для чего, разве для денег.

Ш. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой меня старее шестнадцатью годами.

Н. Ты шутишь!

Ш. По чести правда; барон Дурындин.

Н. Нельзя этому статься.

Ш. Приезжай завтра ввечеру; ты увидишь, что лгать не люблю.

Н. А хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах.

Ш. А кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое имение; уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели.

Н. Ему хоть табакерочка перепадет, а тебе в нем что проку?

Ш. Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут: ваше высокородие, а кто поглупее — ваше превосходительство; но будет-таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки. А ныне сиди, сиди, все одна; да и того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил: здравствуй. А как муж будет свой, то какой бы насморк ни был,

все слышать буду: здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька...

Н. Прости, матушка.

Ш. Завтра сговор, а через неделю свадьба.

Н. (Уходит.)

Ш. (Чхает.) Небось, не воротится. То ли дело, как муж свой будет!

Не дивись, мой друг! на свете все колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трех дней.

КРЕСТЬЦЫ

В Крестьцах был я свидетелем расстания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что изо ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость, или, правильнее сказать, два в дряхлые их, хотя нестарые лета становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и проч... Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу или, другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы; но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу.

Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? — Кто? Пример общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний; генерал двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум. Смотря на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курей ножке, приголубила его, и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что

умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника?

Скажи поистине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный гражданин! не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства, для того что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.

Крестицкий дворянин, казалося мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светло-русые власы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благорастворенного рассудка, казалися подернуты легкою пленою печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шествии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природа в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственною им робостию, от горести предстоящей разлуки происходящею, а не от чувствования над собою власти или начальства. Редкие капли слез точилися из их очей.

— Друзья мои,— сказал отец,— сегодня мы расстанемся,— и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне:

— Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение,

да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостию; но да имут отишие в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюся я на ниве моей. Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скитатися за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуяй о них их сердце; да будет им творяй благостыню их рассудок.

Воссядите и внемлите моему слову, еже пребывати во внутренности душ ваших долженствует. Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ее, да восколеблется она при моем воспоминовении и да буду отсутствен оградою вам от зол и печалей.

Прияв вас даже от чрева матерня в объятия мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалася телеси вашего и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моея горячности бдело над вами денно-ночно, да не приближится вас оскорбление; и блажен нарицаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак, изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хощу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце. Горе вам, если его в забвении оставите! Образ мой, преследуя нарушителю союза нашея дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, дондеже не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, яко на странника и пришельца, и если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную наклонность, то поживем в дружбе, в сем наивеличайшем на земли благоденствии. Если же оно без ощущения пребудет — да забвени будем друг друга, яко же нам не родитися. Даждь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твоя сие предваряяй! Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение.

За рождение? — Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли, да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, бла-

жен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках; а если имел сие намерение, то блаженства ли их ради произвести их желал или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие? Добром назваться может ли желание неопределенное, помаваемое неизвестностию?

Побуждение к супружеству покажет и вину рождения. Прельщенный душевною паче добротою матери вашея, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искренную. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашея любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своея власти, отражением похвал сыновних к отцу.

Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей ваших, от рождения проистекающих. Не гордилася она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею кровию: не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку воскормления сосцами своими. Она тщилася благую вам дать душу, яко же и сама имела, и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насаждений. Она нас оставила с твердостию хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляяся ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовати о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива.— И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.

— Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за воскормление. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу,— их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же побуждением производят воскормление детей. Родившися в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить; ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был

бы убийца. Если я рачительнее был в воскормлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, да пекуся о воскормлении вашем или небрегу о нем; да сохраню дни ваши или расточителем в них буду; оставлю вас живых или дам умрети завременно — есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало.

Но, скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. Не моей ли я в том искал пользы, да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираяся на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдалися пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюся, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О друзья мои, сыны моего сердца! родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны; я ищу вашей дружбы и любови; если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей.

Но если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказати ныне вам вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил; и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний.

Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, николи ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но если, младенцам вам сущим, находил я, что уклонилися от пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда останавлял я ваше шествие, или, лучше сказать, неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.

Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалося, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбилося

преходящею болью, нежели дебелы пребудете в возрасте совершенном. И для того почасту ходили вы босы, непокровенную имея главу; в пыли, в грязи возлежали на отдохновение на скамии или на камени. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и пития. Труды наши лучшая была приправа в обеде нашем. Воспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне нам неизвестной, не нашед дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенский!

Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велит; что одеваетеся не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежены в собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаете быстро, что плаваете не утомляяся, что подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтеся, что вы скакать не умеете как скоморохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного; и если некогда тронуты будете зрением оного, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинное услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.

Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложив вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущати силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то

говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию бога; уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение оного сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчию, и с радостию видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко.

Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом латинский старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным.

Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий. Мщение!.. душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительныя твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвления.

Ныне настало то время, что чувствы ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякою внешностию и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания; а лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностию младенчества, начинают ощущать дрожание или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскраия, ища стезю свойственным для них стремлениям. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясениям, но не сокрыл от вас неведения покровом пагубных следствий совращения от пути уме-

ренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушалися; свидетели были страшного волнения страстей, превысивших брега своего естественного течения, познали гибельные их опустошения и ужаснулися. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Егид, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди, и хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты; но яко свет, отдаляяся от предмета, менее его освещает, тако и вы, отриновенны моего присутствия, слабое ощутите согрение моея дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушалися деяний, во оных свершенных, и не познали, что́ есть раскаяние.

Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение оных умеренное укрепит их не истощевая и послужит ко здравию вашему и долгой жизни. И для того упражняйтеся в искусствах, художествах и ремеслах вам известных. Совершенствование в оных иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприязненное счастие отымет у вас все, что оно вам дало,— богаты пребудете во умеренности желаний, кормяся делом рук ваших. Но если во дни блаженства все небрежете, поздо о том думать во дни печали. Нега, изленение и неумеренное чувств услаждение губят и тело и дух. Ибо, изнуряяй тело невоздержностию, изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам и болезнь постучится у дверей, воспряни тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновление; воздержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкою, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не возможешь возобновить сил разумных и телесных,— беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоем и почиешь во здравие.

Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте; ибо чистота служит ко здравию, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего;

вымараете руки, ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижины уничижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему.

Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание. Ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымется; а чаша страстей опустится мгновенно долу. Итак, к равновесию не иначе приближиться можно, как трудолюбием. Трудитеся телом; страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитеся сердцем, упражняяся в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий; и разум управлять будет вашею волею и страстьми. Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени страстей, что нужно быть совсем бесстрастну. Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самою природою. Когда чувствы наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благую в человеке производят тревогу, без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, не возмогаяй ни благого, ни злого. Не достоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого, но не может подать помощи утопающему, ни удержати на бреге падающего в пучину моря.

Итак, умеренность во страсти есть благо; шествие во стезе средою есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественник, отдаляяся среды стези, вдается опасности ввергнутися в тот или другой ров, таково бывает шествия во нравственности. Но буде страсти ваши опытностию, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета; мета их будет всегда величие; на нем едином остановиться они умеют.

Но если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребно в юности вашей умеренность любовныя страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. И так блюдитеся, да не ошибетеся в предмете любви вашея и да не почтете взаимною горячностию оныя образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сея будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно бы было говорить и о супружестве, о сем священном

союзе общества, коего правила не природа в сердце начертала, но святость коего из начального обществ положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытавшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сем была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, воспомяните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуете в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познаете со временем; а днесь довольны будьте оного ощущением.

Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностию, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы колико возможно менее ошибаться, при всяком начинании вопросите ваше сердце; оно есть благо и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетеся, если сердце имеете благое. Но следовати возмнивый рассудку, не имея на браде власов, опытность возвещающих, есть безумец.

Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противуположности.

Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святыя в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывати робостию благоразумия. Благоденствен без нее будешь во внешности, но блажен николи.

Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с

отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.

Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.

Но если бы закон, или государь, или бы какая-либо на земли власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже́ самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем.

Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит остановляться в исполнении их. Предлог, над ним же вращаются, придает им важности. В спасшем Курции отечество свое от пагубоносныя язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнию, но ироя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтеся всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.

Еще преподам вам некоторые исполнительные правила жизни. Старайтеся паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои во внутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением.

Следуя сему правилу, удаляйтеся, елико то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значащий,

показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио, то есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицио, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научалися, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сем всегда непорочна сохранилася. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целию своею никто не имеет, но снискание их благоприятства. Итак, да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя хотя с негодованием, но от нее отличит.

Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердеете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка,— то не отчаивайтеся, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во младых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаяся более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь; но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний.

Во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство,— то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, хотя не найдете никого столь любящего вас, да представит вам зерцало истины, не мните, однако же, затмить взоры прозорливости. Проникнет она светозарную ризу коварства и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое, и яко чувственница увядать станет прикосновением твоим, но мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать.

Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей; днесь при сопутном ветре отчальте от брега чуждыя опытности ладью вашу; стремитеся по валам жития человеческого, да научитеся управляти сами собою. Блажени, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем. Се искренное мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнию, изнемогут и угаснут; оставлю вас навеки; но се мое вам завещание. Если ненавистное счастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения,— тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. Умри.

В наследие вам оставляю слово умирающего Катона.— Но если во добродетели умрети возможешь, умей умреть и в пороке и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится; явлюся тебе в мечте. Воспряни от ложа твоего, преследуй душевно моему видению. Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни паки; пробудишься на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, воспоминая обо мне, душа твоя не зыбнется и око пребудет сухо... Се сталь, се отрава. Избавь меня скорби; избавь землю поносныя тяжести. Будь мой еще сын. Умри на добродетель.

Вещавшу сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его; взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественным веществом. Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, пребыл тверд до последнего расстания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилася. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалася: он руки свои простирал вслед за отъезжающими; казалося, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали родшего их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветр доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему; и казалося, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелища; силы его ослабели, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших; пришед в себя, старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо.

— Господи,— возопил он,— молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю, блажени да будут. Веси, николи не утруждал тебя, отец всещедрый, бесполезною молитвою. Уверен

в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель; деяния чистого сердца суть наилучшая для тебя жертва... Отлучил я ныне от себя сынов моих... Господи, да будет на них воля твоя.— Смущен, но тверд в надеянии своем отъехал он в свое жилище.

Слово крестицкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казалися мне неоспоримы. Но если в благоучрежденном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность — совершенство, то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельною. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, нетверд; и будет нетверд, вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой... Отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие; а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, почто ничего не насадил. Сын же вправе требовати от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен; но в совершеннолетии естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Се есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый; естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет, воспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. В таковых размышлениях доехал я до почтового стана.

ЯЖЕЛБИЦЫ

Сей день определен мне был судьбою на испытание. Я отец, имею нежное сердце к моим детям. Для того то слово крестицкого дворянина меня столь тронуло. Но, потрясши меня до внутренности, излияло некое усладительное чувствование надеж-

ды, что блаженство наше в отношении детей наших зависит много от нас самих. Но в Яжелбицах определено мне было быть зрителем позорища, которое глубокий корень печали оставило в душе моей, и нет надежды на его истребление. О юность! услыши мою повесть; познай свое заблуждение; воздержись от произвольныя гибели и пресеки путь к будущему раскаянию.

Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе власы человека понудил меня остановиться. Приближась, увидел я, что там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот, которого я издали зрел терзающего на себе власы, повергся на гроб и, ухватясь за оный весьма крепко, не дозволял оный опускать в землю. С великим трудом отвлекли его от гроба и, опустя оный в могилу, зарыли ее поспешно. Тут страждущий вещал к предстоящим:

— Почто вы меня его лишили, почто меня с ним не погребли живого и не скончали моей скорби и раскаяния. Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына, его же мертва предали земле. Не дивитеся сему. Я не прекратил жизни его ни мечом, ни отравою. Нет, я более сего сделал. Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную. Я есмь убийца, каковых много, но есмь убийца лютейший других. Убийца сына моего до рождения его. Я, я един прекратил дни его, излияв томный яд в начало его. Он воспретил укрепиться силам тела его. Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние! — Отчаяние ознаменовалося на лице его, и бездыханна почти отнесли его с сего места.

Нечаянный хлад разлиялся в моих жилах. Я оцепенел. Казалося мне, я слышал мое осуждение. Воспомянул дни распутныя моея юности. Привел на память все случаи, когда востревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горячности. Воспомянул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалася! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но даем ее в наследие нашему потомству. О друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы. Кто уверит вас и меня, что вы не носите

в крови вашей сокровенного жала, определенного, да скончает дни ваши безвременно. Прияв сей смрадный яд в тело мое в совершенном возрасте, затверделость моих членов противилася его распространению и борется с его смертоносностию. Но вы, прияв его от рождения вашего, нося его в себе как нужную часть сложения,— как воспротивитесь разрушительному его сожжению? Все ваши болезни суть следствия сея отравы. О возлюбленные мои! плачьте о заблуждении моего юношества, призовите на помощь врачебное искусство и, если можете, не ненавидьте меня.

Но теперь отверзается очам моим все пространство сего любострастного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекши себе безвременную старость и дряхлость в юношеских еще летах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаяся в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалася отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы... О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!

Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовныя страсти, то бы нередко были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилия, убийство нередко бы источник свой имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания обществ.— И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учители, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Боится оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать

в любострастии... Я не удивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух.

ВАЛДАИ

Новый сей городок, сказывают, населен при царе Алексее Михайловиче взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенныя деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители.

Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пробывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огнь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилася. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно.

Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнию своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный. Один из монахов сего

монастыря, посещая Валдаи, влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимною, скоро стремились они к совершению ее. Единожды насладившися ее веселием, не в силах они были противиться ее стремлению. Но состояние их полагало оному преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего; любовнице нельзя было посещать кельи своего любовника. Но горячность их все преодолела; из любострастного монаха она сделала неустрашимого мужа и дала ему силы почти чрезъестественные. Сей новый Леандр, дабы наслаждаться веселием ежедневно в объятиях своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая свои ризы, преплывал озеро до противустоящего берега, где восприемлем был в объятия своей любезной. Баня и в ней утехи любовные для него были готовы; и он забывал в них опасность и трудность преплывания и боязнь, если бы отлучка его стала известна. За несколько часов до рассвета возвращался он в свою келью. Тако препроводил он долгое время в сих опасных преплытиях, награждая веселием ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила конец его любовным подвигам. В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение своей любезной, внезапу восстал ветр, ему противный, будущу ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод. Тщетно он утомлялся, напрягая свои мышцы; тщетно возвышал глас свой, да услышан будет в опасности. Видя невозможность достигнуть берега, вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы, имея попутный ветр, тем легче оного достигнуть. Но едва обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные мышцы, затопили его в пучине. На утрие тело его найдено на отдаленном берегу. Если бы я писал поэму на сие, то бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице, хотя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезного. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника. Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали... разве в больнице.

Нравы валдайские переселилися и в близлежащий почтовый стан, Зимногорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представятся взорам разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с мазаными валдайскими и зимногорскими сиренами.

Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой; хотя не закраснеетесь, но рассердитесь. Разве я говорю неправду? Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же; другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных или, чего боже спаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилася. А ты, голубушка моя, пятнадцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоем я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выхаживал; а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше: более удовольствия в украденных утехах; с первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.

И не приметил, как вы, мои любезные городские сватьюшки, тетушки, сестрицы, племянницы и проч., меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румяна, на

сердце румяна, на совести румяна, на искренности... сажа. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано... Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять вершков, а может быть, и в шесть. Ну, любезная моя племянница, с трехвершковою твоею ножкою стань с ними рядом, и бегите взапуски; кто скорее достигнет высокой березы, по конец луга стоящей? а... а... это не твое дело. А ты, сестрица моя голубушка, с трехчетвертным своим станом в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло. Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уж десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дойдет до родов, запоешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос. Уже все твои шнурованья бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскал, но уже поздо. Сросшихся твоих накриво составов тем не спрямит. Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертию разрешающихся от бремени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главою ее смертоносное острие; и если оно не коснется дней твоея супруги, благодари случай; а если веришь, что провидение божие о том заботилося, то благодари и его, коли хочешь. Но я еще с городскими боярыньками. Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте.

Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положа мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поравнявшись с ней, начал я с нею разговор.

— Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать, не знаю?

— Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить.

— К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? я тебе худого не желаю.

— Спасибо, спасибо; часто мы видим таких щелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою.

— Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем; но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную.

— Не подъезжай, пожалуй; рассказы таковые я слыхала; а коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь?

— Душа моя Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених?

— А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи.

— Из сего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворныя любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...

Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменил и дал жизненным его сокам другое течение. Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...

— Если, барин, ты не шутишь,— сказала мне Анюта,— то вот что я тебе скажу; у меня отца нет, он умер уже года с два,

есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? — говорила Анюта, потупя глаза.

— Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны.

— Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне-то до слез каждый день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька...

Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца.

— Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уж играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту,— сказала Анюта, заплакав.— Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею.

— Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутыя души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе богом, чтобы не дерзнул на него.

— Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уж посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна.

— Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты

окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим. Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастием в объятиях твоего милого друга?

— Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает; я у ней одна работница.

— Да любит ли он тебя?

— Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа.

— Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет.

— Ах, барин, не стращай меня,— сказала Анюта, почти заплакав.

— А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает.

— Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем. Ему пора уже жениться; по чужим он не гуляет; меня не отдают к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя...— Сие говорила она, проливая горькие слезы.

— Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери.

— Да вот наш двор,— сказала она, остановясь.— Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев.

— Нет, моя Анюта, я пойду с тобою...— и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед:

— Постой, барин, постой.

Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле.

— Спасибо, барин,— сказала старуха,— в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба.

— Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое.

— И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают.

Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал:

— У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу.

Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.

Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных ста рублей, которые в соразмерности состояний долженствуют быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или более; если же госпоже полковнице, майорше, советнице или генеральше (в соразмерности моего посула едровской ямщичихе), у которой дочка лицом недурна, или только что непорочна, и того уже довольно, знатный боярин, седмидесятой, или, чего боже сохрани, седмьдесят второй пробы, посулит пять, десять, пятнадцать тысяч, или глухо знатное приданое, или сыщет чиновного жениха, или выпросит в почетные девицы, то я вас вопрошаю, городские матушки, не ёкнет ли у вас сердечко? не захочется ли видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах, едущую четвернею, если она ходит пешком, или едущую цугом, вместо двух заморенных кляч, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд и благочиние сохранили и не так легко сдалися, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю сроку на месяц или на два, но не более. А если доле заставите воздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную.— Тысяча

голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, кан... бес... и пр. и пр. Голубушки мои, успокойтесь, я вашей чести не поношу. Ужели все таковы? Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в нем узнает, та брани меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту я не подам, суда по форме говорить с ней не стану.

Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад. Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении. Отражение твоея жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаредностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскою несытостию; девственность была бы для меня святая святых, и ее коснутися не дерзнул бы. О моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностию. Уверен, что обратишь на путь доброделаниа начинающего с оного совращатися и укрепишь в нем к совращению наклонного. Не востревожься, если закоренелый в развратности, поседевший в объятиях бесстудства мимо тебя пройдет и тебя презрит; не тщися воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень; душа его покрылася алмазною корою. Не может благодетельное жало невинныя добродетели положить на нем глубокие черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями облеченного; улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ кажется. Но сердце его уступит твоему впечатлению и отверзется на восприятие твоего благотворного примера.— Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столп от тебя.

Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить, или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь бесполезную для

человека, сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающие договор, в законе утвержденный, которым обещеваются прежде всего на взаимное чувств услажденне (да не дерзнет здесь никто оспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшия и твердый камень основания супружнего согласия), обещеваются жить вместе, общее иметь стяжание, возращать плоды своея горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет можно ли сохранить условие сего соглашения? Если муж десяти лет, а жена двадцати пяти, как то бывает часто во крестьянстве; или если муж пятидесяти, а жена пятнадцати или двадцати лет, как то бывает во дворянстве, — может ли быть взаимное чувств услаждение? Скажите вы мне, мужья-старички, но скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь огнь любовный, не в состоянии его утушить.

Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы; то может ли положительный закон быть тверд, если основания не имеет в естественности? Скажем яснее: он и не существует.— Возращать плоды взаимной горячности.— Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность? Может ли быть тут плод, если насажденное древо лишается благодетельного дождя и питающия росы? А если плод когда и будет, но будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен тлению.

Не уязвлять друг друга.— Се правило предвечное, верное; буде счастливою в супругах симпатиею чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен; малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселия. И когда мраз старости подернет чувственное веселие непроницаемою корою, тогда напоминовение прежних утех успокоит брюзгливую древность лет.— Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо: жить вместе. Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданник и раб совершенный, веление господа своего исполнять только могущий.— Вот, Анюта, благие мысли, тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Анютушка, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, и сыны сынов моих наследят в них.

Хотиловский ям был уже в виду, а я еще размышлял о едровской девке и в восторге души моей воскликнул громко: «О Анюта! Анюта!» — Дорога была негладка, лошади шли

шагом; повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня:

— Видно, барин,— говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу,— что ты на Анютку нашу призарился. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье. Ну... брат Ванька счастлив.

— Иван брат тебе?

— Брат двоюродный. Да ведь и парень! Трое вдруг молодцов стали около Анютки свататься; но Иван всех отбоярил. Они и тем и сем, но не тут-то. А Ванюха тотчас и подцепил... (Мы уже въезжали в околицу...) То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох.— И к почтовому двору подъехал.

— Всяк пляшет, да не как скоморох,— твердил я, вылезая из кибитки...— Всяк пляшет, да не как скоморох,— повторил я, наклоняяся и, подняв, развертывая...

ХОТИЛОВ

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оное ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайшия совершенства степени, до коей человеку достигнути дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылие, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным ныне стал стражею общественных законоположений,— под державным его покровом свободно и сердце наше, в молитвах, ко всевышнему творцу воссылаемых, с неизреченным радованием сказати может, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех. Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, бога.

Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, за-

ставляя почитать законы верховныя власти яко веления нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока и всеми зрима и всеми свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки.

Наслаждаяся внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай порабощать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня.

Известно вам из деяний отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, познав естественную связь общественного союза, старалися положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги утщетилися известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиносостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впавшим дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнити своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиносостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губителей сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наиполезнейших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О возлюбленные наши согражда-

не! о истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители божества предвечного, подвизаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всещедрого бога, ими проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовати над ближним своим самопроизвольно. Старалися они доводами, в природе и сердце нашем почерпнутыми, доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глас их торжественно во храмах живого бога вопиет громко: опомнитесь, заблудшие, смягчитеся, жестокосердые; разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития, к нему же всещедрым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково.

Но если служители божества представили взорам вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствиями благородства, а не предрассуждениями доказательства о первенственном равенстве суть движения его сердца обыкновенные. Но се несчастие смертного на земли: заблуждати среди света и не зрети того, что прямо взорам его предстоит.

В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следственно, равных во всем между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оныя употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева матерня в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следственно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для всех один. Но какое было побуждение вступати в общество и полагати произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет: собственное благо; сердце скажет: собственное благо; нерастленный закон гражданский скажет: собственное благо. Мы в обществе живем, уже

многие степени усовершенствования протекшем, и потому запамятовали мы начальное оного положение. Но воззрите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление; во-вторых, един злодей или неприятель испытует тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалилися мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвится нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет.

Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обработывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет; не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому удел будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветр класов на ней не возвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу; ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следственно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обработывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалилися мы от первоначального общественного положения относительно владения. У нас тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумам истины сии не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовию человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце услаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.

Мы постараемся опровергнуть теперь сии зверские властителей правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно.

Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустеют и во градех гордые воздымаются здания. Блаженно называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными.

Воззрим на предлежащую взорам нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан, и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностию воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым веществам свойственная. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хощет, и стремятся, куда направляет. Толико всесилен жезл над могущественнейшею силою государства. Совокупны возмогут вся, но разделенны и на едине пасутся, яко скоты, амо же пастырь пожелает. Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. Сто невольников, пригвожденных ко скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кончину; но и ту им оспоривают. Конец страдания их есть блаженство; а блаженство неволе не сродно, и потому они живы. И так да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.

Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного силными природы потрясениями полукружия почувствовали соху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былие свое острием косы подсекаемо. Валятся на горах гордые древеса, издревле вершины их

Пахарь.

Литография А. Убигана с натурных зарисовок Д Аткисона 1780—1790-х годов.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную преселенными. Тучные луга потаптываются многочисленным скотом, на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индийцов единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, учители кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладкровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произращениями разновидными. Назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает».

Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды чрез долгое время доказывать будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погребение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жадая бессмертия, и по кончине хотели отличествовати внешностию своею от народа своего. И так огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших градов, где общее блаженство некогда водворялось, обрящем развалины училищ, больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий; во градах же, где известнее было я, а не мы, находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое; выбор наш не будет затруднителен.

Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутлость и истощение. Я таковую славу применю к шарам, в 18-м столетии изобретенным: из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и воз-

летают с быстротою звука до выспренних пределов эфира. Но то, что их составляло силу, источается из среды тончайшими скважинами непрестанно; тяжесть, горé вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу; и то, что месяцы целые сооружалося со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей.

Но вопроси, чего жаждет завоеватель; чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, Великим названного; но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О афиняне! — вещал он,— колико стоит мне быть хвалиму вами». Несмысленный, воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносяся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя услаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрываться будут; населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селитьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие; не мни убо, что любити можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души, рабства иго восприяти готовые; но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет,— не льсти себе,— убийство и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоея просят.

Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледелателей понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в неспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприемлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальную, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оп-

лошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обработывают ее лениво; и не радеют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оного чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледелателей мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.

Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своея цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях; тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно; другая губит долговременно и всегда; одна, когда прейдет полет ее, скончаевает свое свирепство; другая там только начнется, где сия кончится, и премениться не может, разве опасным всегда потрясением всея внутренности.

Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой робость. Тут никакой не можно быть связи, разве насилие. И сие, собираяся в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющие, сами ключимые во узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любити свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека.— Примеры властвования суть заразительны.

Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностию своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения.

Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся.

Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в попрании нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство? Ведая сердец ваших расположение, приятнее им убедиться доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите,

возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия. Вещайте с ощущением сердечным: подвигнутые на жалость вашею участию, соболезнуя о подобных нам, дознав ваше равенство с нами и убежденные общею пользою, пришли мы, да лобзаем братию нашу. Оставили мы гордое различие, нас толико времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренне.

Се будет глагол ваш; се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни нашея, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были.

Вот что я прочел в замаранной грязию бумаге, которую поднял я перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.

Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною.

— Последний из проезжающих,— говорил мне почталион,— был человек лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю.

Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.

Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностию гражданских чиносостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилася к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начер-

тал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в домы. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обработываемый, должны они иметь собственностию; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда.— Исчезни варварское обыкновение, разрушься власть тигров! — вещает нам законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства.

Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была некстати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду; и для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном? — нежели заниматься тем, что не существует.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК

Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единыя области в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развали-

нах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы,— любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковые есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.

Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледелателя; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний — корыстолюбие. Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо воспомянул, что в России многие земледелатели не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое пременилося в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие ее произращения, как-то: сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании.

— Вообрази себе,— говорил мне некогда мой друг,— что кофе, налитый в твоей чашке, и сахар, распущенный в оном, лишали покоя тебе подобного человека, что они были причиною превосходящих его силы трудов, причиною его слез, стенаний, казни и поругания; дерзай, жестокосердый, усладить гортань твою.— Вид прещения, сопутствовавший сему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя задрожала, и кофе пролился.

А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах или на дружеском пиру или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитеся и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не пóтом ли, не слезами ли и стенанием утучнялися нивы, на которых оный возрос? Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или, по

крайней мере, на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалося проклятие всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитеся, да не отравлены будете вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститеся, се истинное и полезное может быть пощение.

Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальные страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они вочью совершаются.

Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастия или не желая оного в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудою, устремляющимся на бою грудою, а в единственности ничего не значащим. Для достижения своея цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажи-

точнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда бирал себе, платя за них цену по своей воле.

При таковом заведении не удивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десят и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и поступая с сими равно, как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.

Варвар! не достоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вздирати борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания. И суть люди, которые, взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером.

ВЫДРОПУСК

Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попалося начертание положения о уничтожении придворных чинов.

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государ-

ству в начале своем личными своими заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностию, и, сладкий при насаждении, его корень произнес наконец плод горький. На месте мужества водворилася надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялися раболепие и самонедоверение, истинные скряги на великое. Жительствуя среди столь тесных душ и подвизаемые на малости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся, его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам их, запмствуют их светозарности; что блеск царский, преломляяся, так сказать, в сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои, истинные феатральные божки, повинуются свистку или трещотке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою сожаления отвратим взоры наши от кичащихся служением своим; но возрыдаем, видя их предпочитаемых заслуге. Дворецкий мой, конюший и даже конюх и кучер, повар, крайчий, птицелов с подчиненными ему охотниками, горничные мои прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет власы главы моея, тот, кто пыль и грязь отирает с обуви моей, о многих других не упоминая, равняются или председают служащим отечеству силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства. Какая вам в том польза, что в доме моем господствуют чистота и опрятность? Сытее ли вы накормитеся, буде кушанье мое лучше вашего приготовлено и в сосудах моих лиется вино изо всех концов вселенныя? Укроетеся ли в шествии вашем от неприязненности погоды, буде колесница моя позлащенна и кони мои тучны? Лучший ли даст нива вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, буде потопчутся на ловитве зверей в мое увеселение? Вы улыбнетеся с чувствованием жалости. Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам: тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с хладною вязкостию северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса; тот, кто воспеняет в сосуде твоем сладкий сок африканского винограда; тот, кто умащает окружие твоей колесницы, кормит и напояет коней твоих; тот, кто во имя твое кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесны-

ми; все сии тунеядцы, все сии лелеятели, как и многие другие, твоея надменности высятся надо мною; над источившим потоки кровей на ратном поле, над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои и чертоги, в них же сокрытая твоя робость завесою величавости мужеством казалася; над провождающим дни веселий, юности и утех во сбережении малейшия полушки, да облегчится, елико то возможно, общее бремя налогов; над не рачившим о имении своем, трудяся денно-ночно в снискании средств к достижению блаженств общественных; над попирающим родство, приязнь, союз сердца и крови, вещая правду на суде во имя твое, да возлюблен будеши. Власы белеют в подвигах наших, силы истощеваются в подъемлемых нами трудах, и при воскраии гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения; а сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем.

Тако и более еще по справедливости возглаголют от вас многие. Что дадим мы, владыки сил, в ответ? Прикроем бесчувствием уничижение наше, и видится воспаленна ярость в очах наших на вещающих сице. Таковы бывают нередко ответы наши вещаниям истины. И никто да не дивится сему, когда наилучший между нами дерзает таковая; он живет с ласкателями, беседует с ласкателями, спит в лести, хождает в лести. И лесть и ласкательство соделают его глуха, слепа и неосязательна.

Но да не падет на нас таковая укоризна. С младенчества нашего возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости даже до сего дня; и ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским. Истребися на памяти обыкновение, во стыд наш толико лет существовавшее. Истинные заслуги и достоинства, рачение о пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются.

Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долговременно нас теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение толь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех же были мыслей, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовати долженствует внешним блеском, дабы мнение о его величестве было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться всяк должен, что тесные умы и малые

души внешность поражать может. Но чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может. Нума мог грубых еще римлян уверить, что нимфа Егерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомет мог прельстить скитающихся аравитян своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповедей на горе среди блеску молнии. Но ныне, буде кто прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы восхотел ныне послание свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности, и тою все тронутся. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, почто нам блеск внешности? не полезностию ли наших постановлений, ко благу государства текущею, облистает наше лице? Всяк, взирающий на нас, узрит наше благомыслие, узрит в подвиге нашем свою пользу и того ради нам поклонится, не яко во ужасе шествующему, но седящему во благости. Если бы древние персы управлялися всегда щедротою, не бы возмечтали быти Ариману, или ненавистному началу зла. Но если пышная внешность нам бесполезна, колико вредны в государстве быть могут ее оберегатели. Единственною должностию во служении своем имея угождение нам, колико изыскательны будут они во всем том, что нам нравиться может. Желание наше будет предупреждено; но не токмо желанию не допустят возродиться в нас, но даже и мысли, зане готово уже ей удовлетворение. Воззрите со ужасом на действие таковых угождений. Наитвердейшая душа во правилах своих позыбнется, приклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет. И се сладостные чары обыдут разум и сердце. Горесть и обида чуждые едва покажутся нам преходящими недугами; скорбети о них почтем или неприличным, или же противным и воспретим даже жаловатися о них. Язвительнейшие скорби и раны и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей и, являяся нам позади непрозрачныя завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производят в нас феатральные представления. Зане стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенное.

Се слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Не блаженны ли мы, если возмогли укрыться от возмущения благонамерений наших? Не блаженны ли, если и зара-

зе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате со вне, надежны во умеренности наших желаний, возблагоденствуем снова и будем примером позднейшему потомству, како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.

ТОРЖОК

Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно; ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в цензуре; и вот его о том размышления.

— Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной цензуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера.

«Наилучший способ поощрять доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять цензур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции; часто изуродованный, сеченный батожьем, с кляпом во рту узник, а раб всегда... В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его цензор, в клобуке ли он или с темляком. В царстве истины он не судия, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением; без главы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога... Чем

государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя; тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны; тайные злодеи робки. Явный муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он во дни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны... Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объяти мнения всех и оные в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру: оттого-то истинно великие государи столь редки».

Правительство, познав полезность книгопечатания, оное дозволило всем; но, паче еще познав, что запрещение в мыслях утщетит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензуру, или присмотр за изданиями, управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума; запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее: лукавым богом. Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «Неприлично божество называть лукавым». Кто чего не разумеет, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя коптильню; если хочешь света, удали затмевание; если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища. В доме, где плети и батожье в моде, там служители пьяницы, воры и того еще хуже [1].

Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме. Я го-

[1] Такого же роду цензор не дозволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалося о боге, говоря: я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря: Россия имеет тракт дружбы с ним. Если упоминалося где о князе или графе, того не дозволял он печатать, говоря: сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особами.

ворю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления. Се правила Наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бранить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнейшего гражданина.

Обыкновенные правила ценсуры суть: почеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не токмо в сердце, но громким гласом речет: «несть бога», в устах всех безумных раздается громкое и поспешное эхо: «несть бога, несть бога». Но что ж из того? Эхо — звук; ударит в воздух, позыбнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую; на сердце же никогда. Бог всегда пребудет бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится,— урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещотку или биющему в набат доверия не даст. Возгнушается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенныя дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быти его на земли преемником. Кто ж может быть судиею в обиде отца предвечного? — Тот его обижает, кто мнит, возможет судити о его обиде. Тот даст ответ пред ним.

Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели непризнаватели бытия божия, афеисты. Таковых у нас мало; ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чемлибо от общего учения греческия церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не дозволять всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников; жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов суть иногда вредны. Воспрети их. Проповедуются они примером. Уничтожь пример. От печатной книги раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что

глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины дети.

Но, запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не бояйся громов всесильного смеется виселице. Для того-то вольность мыслей правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бренные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник,— не утвердится ли паче, когда основание его будет явно; не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувствование природы, и стремление сие почило в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истинно, вожди его нелицемерны; тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их; а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом (да назовем так в угодность власти все твердые размышления, на истине основанные, власти противные), есть такой же безумец, как и хулу глаголяй на бога. Буде власть шествует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет.

Личность, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же дозволительна, как и самая истина. Если ослепленный судия судит в неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная; если он его назовет судиею наемным, ложным, глупым — есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие есть личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительства дело вступаться за судию, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судия да будет в том истец, но оскорбленное лицо. Судия же пред светом и пред поставив-

шим его судиею да оправдится едиными делами [1]. Тако долженствует судить о личности. Она наказания достойна, но в печатании более пользы устроит, а вреда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благонравии и сколько слова ему вредят.

Сочинения любострастные, наполненные похотливыми начертаниями, дышущие развратом, коего все листы и строки стрекательною наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоющееся сердце, безвременную наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые сочинения могут быть вредны, но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, и пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торга наддателю, тысячу юношей заразят язвою и все будущее потомство тысячи сея; но книга не давала еще болезни. И так ценсура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.

Заключу сим: ценсура печатаемого припадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертки. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению ценсор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действованию; нравится — плещут; не нравится — стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего, оно тысячу найдет ценсоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее

[1] Г-н Дикинсон, имевший участие в бывшей в Америке перемене и тем прославившийся, будучи после в Пенсильвании президентом, не возгнушался сражаться с наступавшими на него. Изданы были против него наижесточайшие листы. Первейший градоначальник области нисшел в ристалище, издал в печать свое защищение, оправдался, опроверг доводы своих противников и их устыдил... Се пример для последования, как мстить должно, когда кто кого обвиняет пред светом печатным сочинением. Если кто свирепствует против печатныя строки, тот заставляет мыслить, что печатанное истинно, а мстящий таков, как о нем напечатано.

публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезность цензуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания.

Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убоятся; ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся. Вострепещет судия, подписывая неправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство — убийством. Убоятся все злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, мутится и тмит прозрачность вод.

Прощаяся со мною, порицатель цензуры дал мне небольшую тетрадку. Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к цензурному комитету, то загни лист и скачи мимо.

КРАТКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЦЕНСУРЫ

Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что цензура с инквизициею принадлежат к одному корню; что учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет, то мы хотя ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылие, да не обратит полет свой к величию и свободе.

Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоровы запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли в безумии своем предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину — Сократа? В Риме находим мы больше примеров такового свирепствования. Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы писания

были сожжены повелением сената. В разные времена случалося, что книги гадательные велено было относить к претору. Светоний повествует, что Кесарь Август таковых книг велел сжечь до двух тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедующие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие? чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть наижесточайший бич на заблуждение?

Но Кесарь Август не на гадания одни простер свои гонения, он велел сжечь книги Тита Лабиения. «Злодеи его,— говорит Сенека ритор,— изобрели для него сие нового рода наказание. Неслыханное дело и необычайное — казнь извлекать из учения. Но по счастию государства, сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть бы могло, если бы троеначальники за благо положили осудить разум Цицерона?» Но мучитель скоро отмстил за Лабиения тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню [1]. «Не злому какому примеру тут следовано,— говорит Сенека,— его собственному» [2]. Даждь небо, чтобы зло всегда обращалося на изобретателя его и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными! Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие.

Во времена народного правления в Риме гонения такового рода обращалися только на суеверие, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций Корд в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августово на Лабиениевы сочинения, последним римлянином. Римский сенат, ползая пред Тиверием, велел во угождение ему Кре-

---

[1] Сочинения Ария Монтана, издавшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр.

[2] Кассий Север, друг Лабиения, видя писания его в огне, сказал: «Теперь меня сжечь надлежит: ибо я их наизусть знаю». Сие подало случай при Августе к законоположению о поносительных сочинениях, которое по природному человеку обезьянству принято в Англии и в других государствах.

муциеву книгу сжечь. Но многие с оной остались списки. «Тем паче,— говорит Тацит,— смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминовение следующего поколения. Хотя власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу».

Не избавилися сожжения книги иудейские при Антиохе Епифане, царе Сирском. Равной с ними подвержены были участи сочинения христиан. Император Диоклитиан книги Священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей, и ныне остается во свидетельство неложное, что гонения на мысли и мнения не токмо не в силах оные истребить, но укоренят их и распространят. Арнобий справедливо восстает противу такового гонения и мучительства. «Иные вещают,— говорит он,— полезно для государства, чтобы сенат истребить велел писания, в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древния религии. Но запрещать писания и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования». Но по распространении христианского исповедания священнослужители оного толико же стали злобны против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчилися всемогуществом. Греческие императоры, занимаяся более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонение на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлося и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин, Великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет,— на смерть. Император Феодосий II проклятые книги Нестория велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе то же положено о писаниях Евтихия. В Пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные! не ведали, что, истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудитися в исследовании каких-либо мнений, они остановляли его шествие; у истины отнимали сильную опору: различие мнений, прения и невозбранное мыслей своих изречение. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть

бы могли предшественниками Лутера, и если бы вселенские соборы не были созваны, что бы Декарт родиться мог десять столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству!

По разрушении Римския империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспоривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на Апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет,— продолжает он,— свобода в писании для того, что уничижение поклонилося непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнения Абелардовы, а папа сочинения его велел сжечь.

Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и цензура была современна инквизиции.

Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретения наиполезнейшие современниками грубейшему невежеству. В то время как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побудило монахов учредить цензуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки; Кеплер предузнавал бытие притяжательной в природе силы, Ньютоном доказанной; в то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но, к вящему сожалению о жребии человеческого умствования, скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило цензуру; разум философский в XVIII столетии произвел иллуминатов.

В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием: «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее: «Мы, Морфей Жирардо, божиим милосердием патриарх венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении, и по таковому же оного заключению и присоединенному доверению также свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива». Древнейший монумент цензуры, но не древнейший безумия!

Древнейшее о цензуре узаконение, доселе известное, находим в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка и могущество, на мнении, а не на пользе общей основанное, в книгопечатании обрящет свою кончину. Да позволят нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий на пагубу мысли и на посрамление просвещения.

Указ о неиздании книг греческих, латинских и пр. на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года [1].

«Бертольд, божиею милостию святыя Маинцкия епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения чрез божественное печатания искусство возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведения нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетныя славы или богатства желанием, искусство сие употребляют во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие.

Мы видели книги, до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся; что ж сказать наконец о предписаниях святых правил и законоположений; хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно, но наука сама по себе толико затруднительна, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточна целая жизнь.

Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях, до других наук касающихся, в которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находится покупщиков.

Да вещают таковые переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым или худым, до того нет нужды; да вещают, немецкий язык удобен ли к преложению на оный того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания

[1] Кодекс дипломатический, изданный Гуденом. Том IV.

и о науках писали точнейше и разумнейше? Признаться надлежит, скудости ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали; или если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотри святого Евангелия строки или послания апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых.

Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писателях кафолическия церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного.

Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Маинце, скажем истинным словом, божественно явилося и ныне в оном исправленно и обогащенно пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность сего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святые писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, елико нам возможно, пособием господним, о котором дело здесь, предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оныя торгующим, какого бы они звания и состояния ни были,— сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение, в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка переводимо не было на немецкий язык или уже переведенное, с переменою токмо заглавия или чего другого, не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печати до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно: во граде нашем Маинце от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословия, от Александра Дидриха в законоучении, от Феодорика де Мешедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Ерфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги не будут смотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословия

магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами, которые от думы оного города на годовом жалованье содержимы быть имеют.

Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благоприятство своим лицем или посторонним,— тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит сто золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. Дано в замке С. Мартына, во граде нашем Маинце, с приложением печати нашей. Месяца Января, в четвертый день 1486 года».

Его же о предыдущем, каким образом отправлять ценсуру.

«Лета 1486 Бертольд и пр. Почтеннейшим ученейшим и любезнейшим нам во Христе И. Бертраму богословия, А. Дидриху законоучения, Ф. де Мешеде врачевания докторам и А. Елеру словесности магистру здравие и к нижеписанному прилежание.

Известившись о соблазнах и подлогах, от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая оным предварить и заградить путь по возможности, повеле-ваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Маинце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом.

Надеяся твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем: когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание, и если нелегко можно дать им истинный смысл или могут возродить заблуждения и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните; те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать своеручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами смотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына. 10 Января 1486 года».

Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилося более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения, на латинском языке писанные, ценсура, кажется, не

распространялася. Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны, и что́ читали, понимали ясно и некриво [1]. И так священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещенны, чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятия и не смел бы оныя коснуться. И так изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властию ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверстие беспреткновенных путей рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благою приемлется преградою блуждению. Неистовые! осмотритесь, вы стяжаете превратностию дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитеся убо, да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвовати будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды пребыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шествии и обращены вспять, во тьму гонимы? Какая в том вам польза боротися самим с собою и исторгать шуйцею, что десницею насадили? Воззрите на веселящееся о сем священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы,— если не всегда оковы священного суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного.

По счастию, однако же, общества, что не изгнали из областей ваших книгопечатание. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своея зелености, тако орудия книгопечатания остановлены могут быть в действии, но не разрушены.

Папы, уразумев опасность их власти, от свободы печатания родиться могущей, не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап законоположил о цензуре в 1507 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями, не устыдился пещися о непо-

[1] Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранные всякого рода и запрещение таковых же на языке народном.

рочности исповедания христианского. Но власть когда краснела! Буллу свою начинает он жалобою на диавола, который куколь сеет во пшенице, и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения, в разных частях света, наипаче в Кельне, Маинце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистной язве, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежныя пени, определяемой и взыскиваемой почтенными братиями нашими, кельнским, маинцким, триерским и магдебургским архиепископами или их наместниками в областях их, в пользу апостольской камеры, апостольскою властию наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особливого и точного безденежно испрошенного дозволения; их же совесть обременяем, да прежде, нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят или чрез ученых и православных велят рассмотреть и да прилежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего». А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь.

О! вы, ценсуру учреждающие, воспомните, что можете сравниться с папою Александром VI, и устыдитеся.

В 1515 году Латеранский собор о ценсуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства.

Из предыдущего видели мы, что ценсура изобретена священством и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдашнее время казаться могла ужасною нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутером власти папской, отделение разных исповеданий от римския церкви, прения различных властей в продолжение Тридесятилетней войны произвели много книг, которые явилися в свет без обыкновенного клейма ценсуры. Везде, однако же, духовенство присвояло себе право производить ценсуру над изданиями; и когда в 1650 году учреждена была во Франции ценсура граж-

данская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противуречил, ссылаяся, что двести лет он пользовался сим правом.

Скоро по введении[1] книгопечатания в Англии учреждена цензура. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станов; учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны, и история ее оными наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду цензуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда пребудут туманом обаяния и да насилие царствует на счет рассудка.

Со смертью графа Страфорда рушилась Звездная палата; но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Долгий парламент возобновил прежние положения, против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершении премены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на два только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и цензура, зевнув в последний раз, издохла[2].

Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими, Пенсильванская область в основательном своем законоположении, в главе 1, в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских, в 12 статье говорит: «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения; следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». В главе 2 о образе правления, в отделении 35: «Печатание да будет свободно для всех, кто хощет исследовать положения законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в

---

[1] Виллиам Какстон, лондонский купец, завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 году. Первая книга, печатанная на английском языке, была «Рассуждение о шашечной игре», переведенное с французского языка. Вторая — «Собрание речений и слов философов», переведенное лордом Риверсом.

[2] В Дании вольное книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтеровы на сей случай к датскому королю во свидетельство остались, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не надлежит.

Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оного могли сообщать свои примечания, в 1776 году в июле, отделение 35: «Свобода печатания отверста да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство, и общее собрание да не коснется оныя никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребуется к суду за то, что издал в свет примечания, ценения, наблюдения о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изъяснительном прав в 23 статье говорит: «Свобода печатания да сохраняема будет ненарушимо». Мариландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит сими словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной».

Книгопечатание до перемены 1789 года, во Франции последовавшей, нигде толико стесняемо не было, как в сем государстве. Стоглазный Арг, сторучный Бриарей, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей. В Бастильских темницах томилися несчастные, дерзнувшие охуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стеня под бичом цензуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и Немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Тако сила, кичася своими мышцами, осмеяна была и не ужасна; тако свирепства пенящиеся челюсти праздны оставалися, и слово твердое ускользало от них непоглощенно.

Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали,— да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей.

Размножение книгопечатниц в Немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин хотя мстящею властию посажен был под стражу, но «Седое Чудовище» осталося у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусский, в землях своих печатание сделал почти свободным не каким-либо законоположением, но дозволением токмо и образом своих мыслей. Чему дивиться, что он не уничтожил цензуры; он был самодержец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха.— Он узнал, что указы, им изданные, некто намерен был, собрав, напечатать. Он и к оным приставил двух цензоров или, правильнее сказать, браковщиков. О властвование! о всесилие! ты мышцам своим не доверяешь. Ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила! — Но какое добро сии насильствованные цензоры произвести могли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущий власть оставить стыдилась, которое, оставшися явным, было бы, может быть, уздою власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в Австрийских наследных владениях в царствование Марии-Терезии тяготила рассудок; но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений и предлинное издал о цензуре наставление. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати; но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно оную во зло!..[1] Чему дивиться? скажем и теперь, как прежде: он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?

В России... Что в России с цензурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя цензуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.

---

[1] В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить цензурную комиссию, предместником его уничтоженную.

МЕДНОЕ

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли, люли»... Хоровод молодых баб и девок; пляшут; подойдем поближе,— говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! где бы ты ни был, внемли и суди.

Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего... дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №..., и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.

Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.

Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своея ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием.

Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном.

Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогши прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих мерзостей, и в виде его насладился веселием, которого она делить с тобой гнушалася. Она узнала обман твой. Венчанный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоея утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоея воли, держа руки ее и ноги... но сего не окончаем. На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.

Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное по приказанию твоему благословение наемным извещателем слова божия сочетование их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаниями сердечными. Они одни непорочны. О! колико между нами прелюбодейств и растлений совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей, при его свидетелях, недостойных своего сана.

Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперсник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах

томною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию.— Правосудие! — где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться.— Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.

Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь,— слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О квакеры! если бы мы имели вашу душу, мы бы сложилися и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо в законе того не писано, дозволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконнорожденный. Закон его освобождает. Постойте, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спасти и других! О счастие! почто ты так обидело меня в твоем разделе? Днесь жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству.— Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг.

— Что тебе сделалось? ты плачешь!

— Возвратись,— сказал я ему,— не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычай варварский в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись,— повторил я,— не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах.

— Не могу сему я верить,— сказал мне мой друг,— невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение.

— Не дивись,— сказал я ему,— установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.

Крестьянин-отходчик.

Литография А. Убигана с натурных зарисовок Д. Аткисона 1780—1790-х годов.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

— Стихотворство у нас,— говорил товарищ мой трактирного обеда,— в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.

Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Дмитрия» написал хореями, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его,— ексаметрах,— и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Телемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекеспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо,

негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении, так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекеспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если немного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.

Все вышесказанное изрек пирный мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостию языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кой-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали.

— Я и сам,— продолжал он,— заразительному последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне; да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сосестр ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании ее в свет, ласкаяся, яко нежный отец своего дитяти, что ради последней причины, для коей ее в Москве печатать не хотели, снисходительно воззрят на первую. Если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы,— сказал он мне, подавая бумагу. Я ее развернул и читал следующее: Вольность... Ода.— За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «Вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно.

1

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари.

Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, «бства тьму претв.»,— на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия... Но вот другой: «Да смятутся от гласа твоего цари». Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла; следовательно... Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чтецом.

2

Я в свет изшел, и ты со мною...

Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержанье: человек во всем от рождения свободен...

3

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборный всех властей удел.
Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно.

Для пользы общей нет препон.
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю:
Вот что есть в обществе закон.

4

В средине злачныя долины,
Среди тягченных жатвой нив,
Где нежны процветают крины,
Средь мирных под сеньми олив,
Паросска мрамора белее,
Яснейша дня лучей светлее
Стоит прозрачный всюду храм.
Там жертва лжива не курится,
Там надпись пламенная зрится:
«Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Безжалостно и хладнокровно
Глухое божество . . . . . .

и пр.; изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие.

6

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вкруг себя;
Равно на все взирает лицы,
Ни ненавидя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знает, ни приязни,
Равно делит и мзду и казни;
Он образ божий на земли.

7

И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,
Умильно и в слезах всечасно,
Но полны челюсти отрав.
Земные власти попирает,
Главою неба досязает,
«Его отчизна там»,— гласит.
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет
И слепо верить всем велит.

8

Покрывши разум темнотою
И всюду вея ползкий яд...

Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:

Бояться истины велел...

Власть называет оное изветом божества; рассудок — обманом.

9

Воззрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства...

В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую»,— рекут.

10

Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.

И все злые следствия рабства, как-то: беспечность, леность, коварство, голод и пр.

11

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле,— рек,— щажу злодея,
Я властию могу дарить;
Где я смеюсь, там все смеется;
Нахмурюсь грозно, все смятется.
Живешь тогда, велю коль жить».

12

И мы внимаем хладнокровно...—

как алчный змий, ругаяся всем, отравляет дни веселия и утех. Но хотя вокруг твоего престола все стоят преклонше колена, трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность...

13

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы;
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

14

И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел:
«Преступник власти, мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел?

15

Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти,
Отцом ей быть чадолюбивым;
Но мстителем непримиримым
Пороку, лже и клевете;
Заслуги честью награждати,
Устройством зло предупреждати,
Хранити нравы в чистоте.

16

Покрыл я море кораблями...

Дал способ к приобретению богатств и благоденствий. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве и тебя бы благословлял...

17

Своих кровей я без пощады
Гремящую воздвигнул рать;
Я медны изваял громады,
Злодеев внешних чтоб карать.
Тебе велел повиноваться,
С тобою к славе устремляться.

Для пользы всех мне можно все.
Земные недра раздираю,
Металл блестящий извлекаю
На украшение твое.

18

Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я;
Мечом мои расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истине велел,
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

19

Кровавым потом доставая
Плод, кой я в пищу насадил,
С тобою крохи разделяя,
Своей натуги не щадил;
Тебе сокровищей всех мало!
На что ж, скажи, их недостало,
Что рубище с меня сорвал?
Дарить любимца, полна лести!
Жену, чуждающуся чести!
Иль злато богом ты признал?

20

В отличность знак изобретенный
Ты начал наглости дарить;
В злодея меч мой изощренный
Ты стал невинности сулить;
Сгружденные полки в защиту
На брань ведешь ли знамениту
За человечество карать?
В кровавых борешься долинах,
Дабы, упившися в Афинах:
«Ирой!» — зевав, могли сказать.

21

Злодей, злодеев всех лютейший...

Ты все совокупил злодеяния и жало свое в меня устремил...

Умри! умри же ты стократ»,—

народ вещал...

22

Великий муж, коварства полный,
Ханжа, и льстец, и святотать!
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил...

23

И се глас вольности раздается во все концы...

На вече весь течет народ;
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог.
Законом строит твердь природы.
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог!

24

В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...

34

Но страсти, изощряя злобу...

превращают спокойствие граждан в пагубу...

Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,—

и все следствия безмерного желания властвовати...

35, 36, 37

Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август...

Тревожну вольность усыпил.
Чугунный скиптр обвил цветами...

Следствие того — порабощение...

38, 39

Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...

40

На что сему дивиться? и человек родится на то, чтобы умереть...

Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда

Встрещат заклепы тяжкой ночи.

Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...

49

Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.
О день, избраннейший всех дней!

50

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества.

Мрачная твердь позыбнулась, и вольность воссияла.

— Вот и конец,— сказал мне новомодный стихотворец.

Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса, когда он с норовом.

ГОРОДНЯ

Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила:

— Любезное мое дитятко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, мохом — наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накор-

мит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет воспомянуть меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.

Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она также вопила:

— Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты, хоть дали бы нам обвенчатися; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение.

Парень им говорил:

— Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку.— Рекрута сего отдавали из экономического селения.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близстоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.

— Услышал господь молитву мою,— вещал он.— Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он ответствовал:

— Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был слу-

чай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?

И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурый кафтан со бритым лбом. Но желая удовлетворить моему любопытству, я просил его, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.

— Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве; сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованием, ни позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участию своих рабов, хотел за долговременные заслуги отца моего отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно моего потоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня; наставления нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина.

«Ванюша,— говорил мне старый барин,— счастие твое зависит совсем от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. Итак, старайся быть достоин моего о тебе попечения».

На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие краи с надзирателем, коему предписано было меня почитать сопутником, а не слугою. Отправляя меня, старый мой барин сказал мне:

«Надеюся, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей. Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь».

Мы отсутственны были пять лет и возвращалися в Россию: молодой мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаяся пользоваться сделанным мне обеща-

нием. Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.

Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу смертию своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.

Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился в изрядную лицем девицу, но которая с красотою телесною соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностию почитала только внешность, знатность, богатство. Чрез два месяца она стала супруга моего барина и моя повелительница. До того времени я не чувствовал перемены в моем состоянии, жил в доме господина моего как его сотоварищ. Хотя он мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желания, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первый вечер по свадьбе и следующий день, в который я ей представлен был супругом ее как его сотоварищ, она занята была обыкновенными заботами нового супружества; но ввечеру, когда при довольно многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет, чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оный не сажал. Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, колико чувствительно мне было сие уничижение. Я, скрыв, однако же, исступающие из глаз моих слезы, удалился. На другой день не смел я показаться. Не наведываяся обо мне, принесли мне обед мой и ужин. То же было и в следующие дни. Чрез неделю после свадьбы в один день после обеда новая госпожа, осматривая дом и рас-

пределяя всем служителям должности и жилище, зашла в мои комнаты. Они для меня уготованы были старым моим барином. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи в оных, мне в посмеяние, но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холостыми официантами, где моя постеля, сундук с платьем и бельем уже поставлены; все прочее она оставила в прежних моих комнатах, в коих поместила своих девок.

Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием, госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнимое упущение сея должности влекло за собою пощечины, батожье, кошки. О государь мой, лучше бы мне не родиться! Колико крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есмь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение вышнего над всеми судии. Я определил себя сносить жребий мой терпеливо. И сносил не токмо уязвления телесные, но и те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступил я своего обета и не отъял у себя томные остатки плачевного жития при случившемся новом души уязвлении.

Племянник моей барыни, молодец осмнадцати лет, сержант гвардии, воспитанный во вкусе московских щеголков, влюбился в горнишную девку своей тетушки и, скоро овладев опытною ее горячностию, сделал се матерью. Сколь он ни решителен был в своих любовных делах, но при сем происшествии несколько смутился. Ибо тетушка его, узнав о сем, запретила вход к себе своей горнишной, а племянника побранила слегка. По обыкновению милосердых господ, она намерилась наказать ту, которую жаловала прежде, выдав ее за конюха замуж. Но как все они были уже женаты, а беременной для славы дома надобен был муж, то хуже меня из всех служителей не нашла. И о сем госпожа моя в присутствии своего супруга мне возвестила яко отменную мне милость. Не мог я более терпеть поругания.

«Бесчеловечная женщина! во власти твоей состоит меня мучить и уязвлять мое тело; говорите вы, что законы дают вам над нами сие право. Я и сему мало верю; но то твердо знаю, что вступать в брак никто принужден быть не может».— Слова

мои произвели в ней зверское молчание. Обратясь потом к супругу ее:

«Неблагодарный сын человеколюбивого родителя, забыл ты его завещание, забыл и свое изречение; но не доводи до отчаяния души, твоея благороднейшей, страшись!»

Более сказать я не мог, ибо по повелению госпожи моей отведен был на конюшню и сечен нещадно кошками. На другой день едва я мог встать от побоев с постели; и паки приведен был пред госпожу мою.

«Я тебе прощу,— говорила она,— твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушке, она тебя просит, и я, любя ее в самом ее преступлении, хочу это для нее сделать».

«Мой ответ,— сказал я ей,— вы слышали вчера, другого не имею. Присовокуплю только то, что просить на вас буду начальство в принуждении меня к тому, к чему не имеете права».

«Ну, так пора в солдаты»,— вскричала яростно моя госпожа...— Потерявший путешественник в страшной пустыне свою стезю меньше обрадуется, сыскав опять оную, нежели обрадован был я, услышав сии слова; «в солдаты»,— повторила она, и на другой день то было исполнено.

Несмысленная! она думала, что так, как и поселянам, поступление в солдаты есть наказание. Мне было то отрада, и как скоро мне выбрили лоб, то я почувствовал, что я переродился. Силы мои обновилися. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда, сладостное несчастному чувствие, пребуди во мне! — Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния исступила из очей его. Я прижал его к сердцу моему. Лице его новым озарилось веселием.

— Не все еще исчезло; ты вооружаешь душу мою,— вещал он мне,— против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно...

От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек крепчайшими железами. Удивления достойно,— сказал я сам себе, взирая на сих узников,— теперь унылы, томны, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая жестокость, дабы вместить их в сие состояние; но обыкнув в сем тяжком во исполнении звании, становятся бодры, предприимчивы, гнушаяся даже прежнего своего состояния. Я спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть казался:

— Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы?

— Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому занадобилися деньги на новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.

Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.

Он. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость.

Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того посмеяние священного имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие.— С негодованием отошел я от толпы.

Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщетили бы удручительные помыслы своих тиранов... Возвратимся...

— Друзья мои,— сказал я пленникам в отечестве своем,— ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может?

— Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетными сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей.

— Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпускная и что вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость будто по вашей воле.

— О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди.

— Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдают вас насильным образом [1].

Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрянув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалося, что испытывают свои силы, как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили:

— Барин, не в свое мешаешься дело, отойди, пока сух,— и сопротивляющегося начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностию принужден был удалиться от сея толпы.

Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разодранном сертуке, несколько, казалося, пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез.

— Что тут за чудо? — спросил я у одного мальчика,— чему вы смеетеся?

— А вот рекрут иноземец, по-русски не умеет пикнуть.— Из редких слов, им изреченных, узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудилося; и желая узнать, как иностранец мог отдаваем быть в рекруты крестьянами? — я спросил его на сродном ему языке:

— Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься?

Француз. Судьбе так захотелося; где хорошо, тут и жить должно.

Я. Да как ты попался в рекруты?

Француз. Я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел.

Я. Но как то случилося, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян, и русских; а ты, я вижу, не мужик и не русский.

Француз. А вот как. Я в Париже с ребячества учился перукмахерству. Выехал в Россию с одним господином. Чесал ему волосы в Петербурге целый год. Ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не нашед места, чуть не умер с голоду. По счастию, мог попасть в матрозы на корабль, идущий под российским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге как российский подданный и отправился в Любек. На море часто корабельщик бил меня линьком за то, что был ленив. По неосторожности моей упал с вантов на палубу и

[1] Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие.

выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любек, попался прусским наборщикам и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство бит был палками. Заколов, будучи пьяный, своего товарища, ушел из Мемеля, где я находился в гарнизоне. Вспомнил, что я обязан в России присягою; и яко верный сын отечества отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милостынею. В Риге счастие и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяина и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею. Но они мне отвечали: «Ты говоришь по-французски, то и того довольно». Хозяин мой не видал, как я на улице от него удалился, он продолжал путь свой, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, пуд сахару, пуд кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не нашед другого подобного сему дурака, не могши отправлять мое ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. Надеюсь,— говорил он важным видом,— что сколь скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.

Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.

ЗАВИДОВО

Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из краю в край по деревне. На улице видел я воина в гранодерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего:

— Лошадей скорее; где староста? его превосходительство будет здесь чрез минуту; подай мне старосту...— Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв,

— Лошадей скорее!

— Тотчас, батюшка; пожалуйте подорожную.

— На. Да скорее же, а то я тебя...— говорил он, подняв плеть над головою дрожащего старосты. Недокопченная сия речь столь же была выражения исполнена, как у Виргилия в «Енеиде» речь Еола к ветрам: «Я вас!»... и, сокращенный видом плети властновелительного гранодера, староста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильной Еоловой остроги. Возвращая новому Полкану подорожную, староста говорил:

— Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне.

— Роди, старый черт. А не будет лошадей, то тебя изуродую.

— Да где же их взять, коли взять негде?

— Разговорился еще... А вот лошади у меня будут...— и, схватя старика за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно.— Полно ли с тебя? Да вот три свежие,— говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку.— Выпряги их для нас.

— Коли барин-та их отдаст.

— Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков?

— Невесть какой-то...— как он меня величал, того не знаю.

Между тем я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.

Спор мой с гвардейским полканом прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.

От приезду моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло, по крайней мере, целый час. Но повозки его превосходительства запря-

жены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра. А мои клячи хотя лучше казалися тех, кои удостоилися везти превосходительную особу, но, не боясь гранодерского кнута, бежали посредственною рысью.

Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и, дабы им в путешествии зевая не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется; что ему ни А..., ни О... во всю жизнь свою сказать не удалося;[1] что он одолжен, и сказать стыдно кому, своим возвышением; что в душе своей он скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татьство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значащего. Но властелин и презирающ не ведающих его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая, что они чрезъестественные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцов они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.

Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом.

КЛИН

— «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...» — Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем божиим человеком», был слепой старик, седящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокой-

[1] См. рукописную «Придворную грамматику» Фон-Визина.

ствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности.— О! природа,— возопил я паки...

Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестяся и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему,— вещал я сам себе,— подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе то-

гда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу!

— Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово.

— Нет, дедушка, рублевик,— сказал близстоящий его мальчик.

— Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалося, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало.— Почто она не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку немного прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора.— О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну.

— Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество! — Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка,— говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими руками!

— Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой кресть-

янам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок,— сказал я ему,— и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца.

— Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию,— говорил старец,— не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло — платчишка не было, чем повязать шеи,— бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старинького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нищего.— Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаяся чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев перед смертию, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

ПЕШКИ

Сколь мне ни хотелось поспешать в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат — принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не го-

ворю о генералах) в дальных походах, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подослала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья.

— Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара,— неужели и ты его употреблять не можешь?

— Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы.

— Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?

— Не все; но все господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки.— Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит.— И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило.— Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода.— Вот в чем почитается по справедливости источник

государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние.

Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем,— воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда,— но пред судиею, не ведающим лицеприятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя почасту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громоподобным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошения... и пр. и пр. и пр.

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ

Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненави-

дят и властию господина своего влекутся на казнь, к олтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенныя. И служитель его приимет исторгнутую властию клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!.. Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для охранения закона определенный,— дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно.— О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...

Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам; а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы.

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей [1]. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна [2]. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, которыя человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово россий-

[1] Озерки.
[2] Июнь.

ского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалося во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым.— Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.

Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах... Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством оного понятие его изострилося и украсилося полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленныя области не далее их ремесла простирается; сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда,— разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его той сладости, которую он имел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он приял маловажное, но ключ учения: знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждый руководст-

ва, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобресть на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилося к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим каменем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника — покойныя гладости на отдохновение, ни зеленеющегося убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаваем и приводим в единую связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света не зревший, когда искусною глазоврачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила,— быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет,

все поражает. Он живее обыкших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъявлять чувствия свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалося быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и сребро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преображены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное

свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в недоведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живый нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своея жизни на половину, питаяся ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отрава, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своея смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг; — что делаешь? — вопиет ему рассудок.— Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своея собратии? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желаешь ли снискать вящее искусство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысящи в животе сущие погребаются.

Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождалися. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рож-

дающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяяся из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряяся из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огнь, проникнув в недра земные и встретив противуборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тщилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, воспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.

Упражняяся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия,

Крестьянская свадьба.

Гравюра неизвестного художника.
Первая четверть XIX в.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но, не довольствуяся преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуме даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: Слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется *имя*; изображение деяния — *глагол*. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оное происходит. Наконец, Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.

Предпослав таковое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны; и ты почитаешися в малопритяжательном сем своем труде яко первым основателем

истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Гелликона, показав им путь к красноречию, начертавая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, сила доводов — в их остроумии. Удивляяся толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предприял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.

Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить,— Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое

во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают,— тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познания. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпических играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псальмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? — Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но нижѐ гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоея души ко благодеяниям. Но позавидует не могущий вослед тебе идти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всесильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на

тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.

Но если действие стихов Ломоносова могло размашистый сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившися обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилося. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его,— действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славилися. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучаяся, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: «*Восстани, Петр, восстани*»; когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалося всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою высшею одаренный, тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову

мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезиждущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являяся не в ней, лице наше будет от него отвращенно.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деописателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном; не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он нижѐ грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близ удостоившегося наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: «*Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей*». За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный пример на последование.

Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник

в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемощная, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящиеся горѣ, образовалися. Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.

Но, любезный читатель, я с тобою закалякался... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости.— Ямщик, погоняй.

Москва! Москва!!!..

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную.

— Слава твоя,— говорил ему некто из его стихотворцев,— слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило.

Каибу нравились хорошие сравнения, и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячию яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мрамора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей италиянской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.

Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда ни входил: простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там развевали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей «Беседующего гражданина», переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений;

многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пущал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки. И подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.

В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои; от чего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там на великолепных пьедесталах блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.

Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть: старик видел себя в них молодым красавцем, изветшалая кокетка — пятнадцатилетнею девушкою, урод — пригожим, а разгильдяй — ловким. Со всем тем Каиб никогда в них не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все

они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письма. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до изобилия, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старее семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами; они не падали в обморок от пауков и тараканов для того, чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вины его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помои.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однако ж и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благодеяний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описания своего счастия и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал, для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был

счастлив, сколько о нем кричали: в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи — ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он, позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив; но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италиянских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу: все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по стольку ж щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал; а что всего чуднее, то это и самому ему было неизвестно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает; но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуметь, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастия в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы: правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок; но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастия.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел — и вдруг армия, многочисленнее древней Ксерксовой и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась,— открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбыть их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались

перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей, купцы возвысили цену на черные материи, сочинители эпитафий сделались неприступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение, третью новость о победе слушал он равнодушнее, наконец зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войски возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговариваст он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних; хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взяткобратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно, и наконец, чтобы потом не упасть раза два-три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостию бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености и «Тысячу одну ночь» всю знал наизусть,— он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада, сей неподражаемый историк его предков, свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. Какой вздор! — скажет любезный мой читатель; но прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю, по крайней мере, два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

— Каиб,— сказала ему превращенная женщина,— ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света.

— Великодушная фея! — вскричал удивленный Каиб,— не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ли мне желать их более. Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах: природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, столько-то одарен я способностию нравиться; впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом, и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы, но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка; со всем тем я зеваю и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает; но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут.

— Каиб,— сказала ему волшебница,— желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить; как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством. Прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы; едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь,— повторила волшебница и вмиг исчезла.

Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже— подивись, прекрасный и любопытный пол! — он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: «Ступай не медля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит; тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты». Вот довольно огромная для перстня надпись, скажет критик... может ли она уместиться на перстне; это невероятность!.. очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет,— но где же взять такую руку, которой бы впору был этот перстень? — спросят меня опять.— О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

— Милостивейший государь! — сказал Каибу шут, увидя сию надпись,— перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей.

— Почему ты это думаешь? — спрашивал его Каиб.

— Повелитель правоверных,— продолжал шут,— тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унизить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность смешить ваше величество ничего не значила.

— Не опасайся,— отвечал калиф,— изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы.

— Еще слово, государь,— вскричал шут, целуя его полу,— время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор.

— Пустое, пустое! — кричал Каиб,— разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела: выучись к тому времени ползать черепахою.

Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.

На другой день Каиб созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно приме-

тить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал так свои речи: «Господа! Я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию же минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то, хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы. «Такие люди,— говаривал он,— всегда думают, что они умнее других, и они для меня не годятся. Мне надобны визири, у которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал». Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.

Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следственно, благополучие целого государства; что в сие время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следственно, не остановлять никаких дел; что, наконец, во всем этом полагается он на их рассуждение.

Диван разделился на две стороны: одни говорили из учтивости, что калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время; другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием; наконец, наскуча шумом, сказал:

— Господа! я так хочу.

Визири первого мнения, вспомня, что у них есть пятки, согласились с визирями последнего мнения; путешествие было определено.

— Друзья мои,— сказал калиф,— я признателен к вашей сговорчивости, и хотя ни у какого калифа люди за слово *так* не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей при важной должности выговаривать чисто *так*; но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премуд-

рые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству.

Чувствительные визири были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал:

— Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия; но мне еще нужен благоразумный ваш совет: я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал, и если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает; тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом сафьянном переплете и перевод Конфуция, писанный в лист на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи.

Визири все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса.

Первый был Дурсан, человек больших достоинств; главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большей бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода; когда наконец достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан с своей стороны не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бородою, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин; и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки; сей-то знаменитый муж начал таким образом:

— Великий обладатель Океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снисхождение, что ты попускаешь ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правоверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя

так же непостижима, как священный наш Коран; а голова моя пред тобою то же, что подушка, на которой я сижу: оба мы счастливы твоею щедростию, и лизать прах ног твоих есть священнейшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастие, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления.

— Это все правда, любезный Дурсан,— отвечал калиф,— я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается; наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало сие насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такою же справедливостию. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать, но, рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою; и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни; так что, под нашим смотрением, действительно можно дозволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами.

После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.

— Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения,— говорил Дурсан,— то, волю его ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем: итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и, под опасением смертной казни, страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима; сколь, напротив того, спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать не-

сколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать; мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священною особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты до возвращения своего поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой в таком важном случае пал на человека достойного, с почтенною бородою, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду, как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия.— После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.

— У тебя довольно пылкое воображение,— сказал калиф,— и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие — что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь нималого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, выдумайте другое средство; а это столь сурово, что я по любви своей к моим мусульманам никогда его не употреблю.

Тогда Ослашид, первый по Дурсане, разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но, любезный читатель! позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.

Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее лицо в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды; а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный мусульманин; он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать сии сокровища, как истинный мусульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного мусульманина очень легко вообразить, как в одну ночь льзя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может со всею своею скоростию пролететь в 500 000 лет, и иметь еще довольно досугу понаделать на всё исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностию, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:

— Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной, Магомета; ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая с помощию благословения пророка поддерживается пятьюстами тысячами вооруженных мусульман, почитающих счастием перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения,— великий калиф! удостой выслушать мнения последнейшего из твоих рабов.

Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо когда человеколюбие твое признает их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепнее; но при самом выезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую половину земного шара. Притом же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под уздцы верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною.

— Способ изрядно выдуманный,— отвечал калиф,— но он хорош для моих только мусульман, а над иностранцами, не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам, или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство. Я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арабских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствия спускать змеев из Конфуциева переводу. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка.

Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастия родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с

младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом не долго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею уловчивостию, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс; умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и не долго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабилей так начал речь свою:

— Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени.

Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже́ простирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ хранения тайностей; так не самое ли лучшее средство — наложить его на языки болтливых рассказчиков и выспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им

дан только для того, чтобы с помощию его было легче глотать пищу.

Калиф не был доволен и сим мнением; он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; притом же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но, где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему для сохранения доброго порядка дураки, по крайней мере, столько ж нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.

Все они пошли на голоса. Приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что не надобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец калиф вышел из дивана, распустя своих визирей; не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.

Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но, вспомня, что этой книге приписано важное свойство — усыплять, взял он ее в руки в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул,— видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению, сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях...

— Фея,— ворчал он тихонько,— фея, конечно, ошибкою дала мне эту книгу: она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу...— Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... И действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешен-

ного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.

Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне; она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое никуда не годится.

— Каиб,— сказала она калифу,— я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она до возвращения твоего заменит с успехом твое место; так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея поддельною под его вид статуею; и между тем как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сражалась с греками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные ее дела приписаны самому Энею, чему он, по сговорчивости своей, никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать. Иди и старайся только исполнить волю оракула; достальное я беру на себя. Поверь, ни одна душа не узнает, как изрядно подменю я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел: все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай немедля, сложи с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола; а наконец найдешь награждение, обещанное тебе оракулом.— Фея исчезла.

Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тисненими и что он осыпан золотом, просыпается, и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости, так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... Сколь ни верил

он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может; потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.

Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все домы: молния, как будто на смех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отвсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он при свете молнии какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату. В одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги. Не мудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого роду; хотя прежде сияние его сана не дозволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызенным наполовину пером в руке, определяла судьбу целого света.

— Милостивый государь,— начал Каиб,— я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю; позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?

— Очень рад дорогому гостю; и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?

— Да, это правда, что я читаю книги.

— Читаете?.. По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше. Я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение.

— А! вы пишете оды?

— Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльно. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого

я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить, и верно бы не обманул; но его на третий день повесили за взятки.

— Как! вы писали оду недавно повешенному визирю? Я ее читал...

— Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит; в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же не хвастаясь скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство — мне хуже платят за оды, нежели за битые стеклы, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства.

— Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам.

— О! это ничего; поверьте, что это безделица; мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было; ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен; но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы.

— Но если свет знает, что ваше описание ложно? Что герои ваши — пустые пузыри, надутые вами?

— Что же до того нужды? Аристотель нéгде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних.

— Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев.

— Как вы ошибались! Они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мармору: чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид.

— Ах! — сказал, вздохнувши, калиф,— как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!

— Вольно им дурачиться,— отвечал стихотворец.— Если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую басню, которую скоро намерен переложить в стихи.

«Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно,— сказал он,— если бы не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды».

Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то признаюсь: вместо того чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете: вам нужен покой, не хотите ли чего поужинать?

— Охотно бы: признаюсь, что я очень проголодался.

— Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами, мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере, на чем вы охотнее спите, на тюфяках или на пуховике?

— На пуховиках,— сказал, вздохнувши, калиф.

— Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг,— отвечал стихотворец, указывая в угол,— ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики,— по крайней мере, толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках.

Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь.

— Вы, конечно, хотите странствовать? — спрашивал его стихотворец.

— Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза.

— Вы ничего нового не увидите: где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастию ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе, учится у ней быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастием, учится у него быть слепым и несправедливым.

После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостию посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком».

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо.

— Великий Магомет! — вскричал он,— я нашел то, чего давно искал,— и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился. Вид его был столь же глуп, сколь прибор его беден.

— Скажи, мой друг,— спрашивал его калиф,— где здесь счастливый пастух этого стада?

— Это я,— отвечало творение, и в то же время размачивал в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать.

— Ты пастух? — вскричал с удивлением Каиб.— О! ты должен прекрасно играть на свирели.

— Может быть: но голодный не охотник я до песен.

— По крайней мере, у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?

— Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников.

— Но поэтому жизнь ваша очень незавидна?

— О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас.

— Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям,— сказал калиф.— Фея! Слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину,— продолжал он, смотря на пастуха,— такую негодную холстину разрисовать так пышно; это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман.— И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало. «Волшебница шутит надо мною,— говорил он сам себе,— она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарелся на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастия, обещанного мне феею; а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать — я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но, сказать правду, медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба». Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.

В самое то время, [когда] занимался он такими заманчивыми размышлениями, встретился ему крестьянин.

— Друг мой, далеко ли до города? — спросил у него калиф.

— Часов восемь: к утру можешь ты там быть.

— Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?

— Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо — и лесом через старое кладбище пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег.

Прошед немного — и действительно Каиб увидел вправе тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его идти далее, как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась надвое.

— Боже мой! — вскричал Каиб,— по которой должен я идти? Ну если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь — а до города еще восемь часов!.. это ужасно! Нет,— продолжал он, окидывая глазами кладбище,— нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь,— и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решился он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова:

«Кто бы ты ни был, не приближайся, взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня».

— Какая прекрасная надпись! — сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень.— Здесь точно безопасно,— ворчал он тихонько,— камень этот и высок, и неприступен для зверей... только желал бы я очень знать, чья это гробница — это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю; ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! о, я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина.— Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин.— Как мало нужно для человека! — сказал калиф,— на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти! я бы желал знать, отчего за четыре месяца пред сим вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот очень для меня просторен? и слово *«мое!»*, на которое право стоило мне, может быть, триста тысяч добрых мусульман,— слово это теперь меня не восхищает. О! гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презира-

ют или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, несмотря на гордую мою надгробную надпись, спокойно выспится на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса.

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотоле, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противустоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблющаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

— Каиб,— сказало ему видение,— ты зришь перед собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела — двадцать тысяч лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоле возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам; память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец небо избрало тебя быть моим избавителем; ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу — и вот первая польза, которая в двадцать тысяч лет от меня произошла.

Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими воспользоваться; а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут при-

чиною счастия миллионов людей,— вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия, в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запретя только сказать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастие тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце — не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми; сие право дают тебе небеса; право же удручать несчастиями похищаешь ты у Ада.— Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать; подобно тускнеет сребристое облако, когда луна от него удаляется, и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и наконец вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе — как вдруг, оборотясь направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностию искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами,— знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспламеняли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

— Иностранец,— сказала ему красавица, увидя его,— не находил ли ты здесь портрета? Ах! Если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни.

— Нет, прекрасная Роксана,— отвечал калиф,— судьба не хотела наградить меня счастием быть тебе полезным...— Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю.

— Роксана! Роксана! Портрет! — кричал он, показывая ей

Х о р о в о д.

Литография А. Е. Мартынова.
Первая четверть XIX в.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.

издали портрет. Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди! Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца.— Возьми, прелестная Роксана, сей портрет,— говорил ей Каиб,— и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности.

Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать...

— Незнакомец,— сказала она Каибу,— посети нашу хижину и дозволь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил потерянный мною портрет моей матери.

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день,— можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно. Старик усмотрел их страсть; множество на этот случай насказал он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель,— сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство. Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее желанию скитаться.

— Ах! Гасан,— сказала она ему некогда,— если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего.

— Что я слышу? — вскричал калиф,— ты ненавидишь Каиба!

— Да, да, я его ненавижу столько же, сколько люблю тебя, Гасан. Он причиною наших несчастий. Отец мой был кадием

в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родню. Отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни. Он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастия, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения; а мы остались, чтобы докончать здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света.

— Оракул, ты исполнился! — вскричал калиф,— Роксана, ты меня ненавидишь!..

— Что с тобою сделалось, Гасан? — перервала смущенная Роксана,— не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! Во всем свете я ненавижу одного только Каиба.

— Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степень блаженства!

— Дорогой мой Гасан сошел с ума,— говорила тихонько Роксана,— надобно уведомить батюшку.

Она бросилась к своему отцу.

— Батюшка! батюшка! — кричала она,— помогите! бедный наш Гасан помешался в уме,— и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно; Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна.

— Небо! — говорил старик,— доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастию; уже городскую пышность воспоминал равнодушно; сельское состояние начинало пленять меня; как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение.

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь.

— Мы погибли! — вскричал отец,— убежище наше узнано! Спасемся, любезная дочь!..

Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу.

— О небо! Не сон ли это? — вопиет старик.— Верить ли глазам моим? Мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!

Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастие.

Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренных комнатах. Их вводят. Они падают на колени. Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

— Почтенный старец! — сказал он важным голосом.— Прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя, погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость; надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана,— продолжал он нежным голосом,— ты простишь ли меня, и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана, Роксана не могла ни слова выговорить; страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.

— Каиб! — сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему,— вот то, чего недоставало к твоему счастию; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии,— и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости! — При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ
В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ, ГОВОРЕННАЯ ЕГО ДРУГОМ В ПРИСУТСТВИИ ЕГО ПРИЯТЕЛЕЙ ЗА ЧАШЕЮ ПУНШУ

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день, с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадью прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить?

Оба они не уступали друг другу в достоинствах, оба были равно полезны обществу; оба вели равную жизнь и наконец умерли одинаково славною смертью.

Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству?

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований; кроме сего, имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину: он показал нам, как

должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях. Искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя; сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из нас, любезные слушатели, подражают с великим успехом; начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство.

Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов, и что никакими выгодами не отличает нашего брата дворянина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои! и если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию; когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности, когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении, тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не

выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужли же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству,— вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство; а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы; ибо более трехсот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства.

Наконец появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице.

— В этом ребенке будет путь,— сказал некогда, восхищаясь, его отец,— он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать; можно отгадать, что он благородной крови.

И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ. Хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унизить до того, чтобы его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними.

Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения: это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем ни кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем.

— Друг мой! — сказал беспримерный его родитель,— разве мало вкруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, если не хочешь быть укушен. Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь.

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод; изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян; по крайней мере, искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

Чадолюбивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи устрашили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнею страницею букваря кончил его курс словесных наук.

— Этой грамоты для тебя полно,— говорил он ему,— стыдись знать более: ты у меня будешь барин знатный, так непристойно тебе читать книги.

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву. Ни одна книга не имела до него доступа. Я не включаю тут рассуждения Руссо о вредности наук; вот одно творение, которое снискало его благосклонность по своей привлекательной надписи; правда, он и его не читал, но никогда не спускал с своего камина.

— Прочти только это,— говаривал он, когда кто вздумает хвалить перед ним науки,— прочти это, и ты будешь каяться, что в тебе более ума, нежели в моей гнедой лошади! О, Руссо — великий человек,— продолжал он и после этого принимался с подобострастием считать листы в его сочинении. Это было величайшее его снисхождение к учености, которое оказывал он только одному сочинителю «Новой Элоизы».

Время наконец наступило записывать его в службу, и редкий родитель его, отпуская, дал сыну своему последнее наставление.

— Помни, любезный сын,— говорил он ему,— что у тебя две тысячи душ; помни, что ты старинный дворянин и остался один в своем роде; итак, береги себя, не подражай бедным людям, которые, не имея куска хлеба, принуждены на службу тратить здоровье. Служи так, чтобы не быть разжалованну, а о достальном не пекись. Пусть бедные ищут чинов, а нашу братью богатых чины сами должны искать; будь только порядочного поведения: то есть не выходи из передней знатных; более всего берегись досадить женщине, сколь бы низкого состояния она тебе ни казалась; наружное состояние женщины бывает сходно с молодым деревом, которое сколь ни кажется слабо и презренно, но часто корень его глубоко под землею сплетен с корнем великого дуба, который может задавить тебя своею тяжестью. Короче, вот тебе в двух словах мое завещание; я не требую, чтобы ты возвратился заслуженным, но чиновным.— И после сего наградил он его своим родительским благословением и двумя тысячами рублей на дорогу. Спустя же три дни после его отъезду кончил свою знаменитую жизнь.

Сколь ни жаден был наш герой пользоваться наставлениями, со всем тем благородная его душа неохотно приняла сии последние, или, лучше сказать, он из них одобрил половину, то есть последуя отцу своему, не хотел он служить, но не хотел также состареться в передних. Эти два правила поссорили его с двумя его дядюшками, со службою и сделали философом: суеты большого света скоро ему наскучили; он видел, что куда он ни приходил, то или он зевал, или над ним зевали, и взял миролюбивое намерение расстаться со светом, видя по всему, что они друг другу не надобны.

Редкое великодушие, неподражаемая скромность — сии два любезные качества видны в нем были с самого приезду его в столицу. Честолюбивый на его месте, имея столь знатную родню, как он, не отстал бы от больших обществ и искал бы

въезду в первые домы, но герой наш просиживал целые ночи в трактирах. Он убегал пышности и часто под вечерок из толпы завидливых игроков возвращался домой смиренно без кафтана. Он не был злопамятен и очень спокойно обедал там, где накануне били его за ужином; терпелив был до крайности. Я сам, государи мои, был свидетелем, с какою умильною кротостию принимал он побои от своих приятелей и после с ними вместе запивал свое горе. Иной бы честолюбивый на его месте, повторяю я, был соблазнен примерами большого света и увлечен его суетами, но он равнодушно слушал вести, что такой-то его сверстник пожалован, что тому дано место, другому награждение. Всем этим не тронута была великая его душа, и он, зевая, стоически слушал такие новости.

— Может быть, половину этих чиновников мне же кормить достанется,— говаривал он,— полно и того, что у меня есть две тысячи душ: это такой чин, с которым в моем околотке везде дадут мне первое место.

— Все суета сует,— так заключал он обыкновенно свои рассуждения и после того, оставясь кругом дюжиною бутылок портеру, садился метать банк.

По сему можете вы заключить, милостивые государи, что общества его были хотя не пышные, но весьма веселые. Правда, замешивались иногда в них люди чиновные, но обыкновенно первые две дюжины бутылок восставляли во всей беседе совершенное равенство и дружество. Но это не было скучное дружество, заведенное лет на пять; нет, это было вольное и благородное дружество — такое, что часто, не конча еще взаимных о нем уверений, вцеплялись друг другу в виски, но без всякой злобы и нередко для одного препровождения времени.

Вот, государи мои, образ городской его жизни. Он, не гоняясь за счастьем, искал одних удовольствий. Он не ездил по этикету зевать в большие домы, но, любя вольность, часто в своих дружеских беседах засыпал под столом; он не занимался тем, чтоб когда-нибудь привлечь на себя внимание всего света; ему довольно было и того, что имя его знали наизусть во всех трактирах и кофейных домах. Он никогда не намеревался быть политиком, но не для того, чтоб недоставало ему ума; нет, государи мои, он был слишком умен и нередко даже был за это бит от своих приятелей за картами, где более всего щеголял он остроумием. Но как ум гоним в целом свете, то очень скоро наскучил он быть умным и зачал играть в карты с философскою простотою и с благородною доверенностию: друзья его

вместо того, чтобы удивляться сим любезным качествам, в два месяца очистили все его имение и оставили нашего философа полунагим, несмотря на то, что северный климат совсем не удобен к цинической философии.

Всякий бы другой изнемог духом в таких стесненных обстоятельствах; всякий бы пришел в отчаяние; но он не поколебался нимало и, сидя дома, с крайним умилением сердца ожидал, как заимодавцы поведут его в тюрьму. Как Юлий, не бежал он от своего несчастия и даже не выходил за ворота, хотя тогдашними темными вечерами мог он прогуливаться по улице в одном камзоле и туфлях, не нарушая городской благопристойности. Он не искал даже помочь своему несчастью. «Что будет, то будет»,— говорил он, зевая неустрашимо. И судьба наградила его к ней доверенность. Тогда как казалось, что он оставлен от всего света; когда все ворота были для него заперты, выключая ворот городской тюрьмы; когда в кухне его, как в Риме, не осталось ни тени древней славы; и что всего бедственнее, когда последнюю бутылку портеру у него разбила испостившаяся кошка, искав с таким же усердием черствой корки, с каким Колумб искал новой земли; когда, говорю я, все сии несчастия собрались вокруг него, тогда родной его дядя, славный своей экономиею, которую храня, двадцать лет уже он не ужинал, вздумал наконец и не обедать, оставя в наследство герою нашему пять тысяч душ и сто тысяч денег.

Может быть, подумаете вы, что это сделало его надменным? Нимало! В тот же день пошел он к знакомому винному погребщику, напился с ним вместе и очень смиренно провел у него ночь на голом кирпичном полу.

Но уже страсти в нем начали угасать, и он, пользуясь прошедшими своими несчастиями, не захотел более ни в которой масти искать счастия; получил чин, пошел в отставку и намерился удалиться в свои деревни, дабы украсить собою наш уезд; имея же к шумным прощаньям отвращение, уехал из города, не уведомя ни одного своего заимодавца. Может быть, по скромности его нравился ему также французский обычай уходить, не простясь; ибо свидетельствуют достовернейшие маркеры, что когда только мог, уходил он по-французски из трактиров, сколь ни убедительно они ему за то пеняли.

Наконец удалился он от городского шуму и вступил в новое поприще для испытания своих дарований, и вы, государи мои, сами были свидетели, как сильно умел он ими блистать.

Едва появился он здесь, как объявил открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово. Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптание и продолжал непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам; а чтобы вернее их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми, как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в них искать одной только голодной смерти.

— Скажи,— спрашивал у него некто,— не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом, желая выжить из него тараканов?

— Молчи только,— отвечал наш герой,— я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего; но еще лет пять, и зайцы позабудут мои земли; они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок и изобилие.

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан своих, желая уронить вредную для них власть Помпея. Александр прошел с мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множеству других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на первом или на втором году своего предприятия.

Вот, государи мои, подвиги героя, которые... Но что я вижу! Любезные мои слушатели заснули со умилением, почтенные

головы их лежат, как прекрасные бухарские дыни, вокруг пуншевой чаши. Торжествуй, покойный мой друг! Твои друзья, любя тебя, наследовали твои нравы. Так точно некогда засыпал ты на своих веселых вечеринках, с половину окунутым в ендову носом. Уверпись, если можешь на одну минуту от Плутона, взгляни из-под пола на твоих друзей, потом расскажи торжественно адским жителям, какое приятное действие произвела похвала твоей памяти, и пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели, которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими твореииями.

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра:* великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые, цветущие луга; а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузовых стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего

монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробовых камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных,— стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили,— печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих: ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха,— видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся,— там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В сей хижине, лет за тридцать перед сим, жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после

отца пятнадцати лет,— одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабобиющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

— Бог дал мне руки, чтобы работать,— говорила Лиза,— ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки.

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало; но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою.

— На том свете, любезная Лиза,— отвечала горестная старушка,— на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек! Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю.

Прошло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась.

— Ты продаешь их, девушка? — спросил он с улыбкою.

— Продаю,— отвечала она.

— А что тебе надобно?

— Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека,— еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.

— Для чего же?

— Мне не надобно лишнего.

— Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня.

Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти; но незнакомец остановил ее за руку.

— Куда же ты пойдешь, девушка?

— Домой.

— А где дом твой?

Лиза сказала, где она живет; сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось.

— Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...

— Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос.

— Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти.

У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы; но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку.

— Никто не владей вами! — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни; но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

— Что с тобой сделалось? — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.

— Ничего, матушка,— отвечала Лиза робким голосом,— я только его увидела.

— Кого?

— Того господина, который купил у меня цветы.

Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.

— Здравствуй, добрая старушка! — сказал он.— Я очень устал, нет ли у тебя свежего молока?

Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед,— побежала на погреб, принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием; но глаза его были — нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором.

— Мне хотелось бы,— сказал он матери,— чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам.

Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти.

— Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин? — спросила старуха.

— Меня зовут Эрастом,— отвечал он.

— Эрастом,— сказала тихонько Лиза,— Эрастом! — Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его.

Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, и мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей:

— Ах, Лиза! как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!

Все Лизино сердце затрепетало.

— Матушка! матушка! как этому статься? Он барин; а между крестьянами...— Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии; имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или небывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, что сердце его давно искало.

«Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям»,— думал он и решился — по крайней мере, на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна; но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились; птички вспорхнули и запели; цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. Между тем молодой пастух на берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала:

«Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда

гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих; и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась, ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку*... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем,— не могла отнять у него руки,— не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими... ах! он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею!

— Милая Лиза! — сказал Эраст,— милая Лиза! я люблю тебя! — И сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: *люби меня!* и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться.

— Ах, Эраст! — сказала она.— Всегда ли ты будешь любить меня?

— Всегда, милая Лиза, всегда! — отвечал он.

— И ты можешь мне дать в этом клятву?

— Могу, любезная Лиза, могу!

— Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?

— Нельзя, нельзя, милая Лиза!

— Как я счастлива! и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!

— Ах нет, Лиза! ей не надобно ничего сказывать.

— Для чего же?

— Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое.

— Нельзя статься.

— Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова.

— Хорошо; надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее.

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию.

— Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась.— Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали; никогда солнце так светло не сияло; никогда цветы так приятно не пахли!

Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру.

— Ах, Лиза! — проговорила она,— как все хорошо у господа бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни; не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали.

А Лиза думала: «Ах! я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины),— дубов, осеняющих глубокий, чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осу-

шаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались, но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.

— Когда ты,— говорила Лиза Эрасту,— когда ты скажешь мне: *люблю тебя, друг мой!* когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами,— ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно́! чудно́, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно; теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен.

Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С откровением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства.

«Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою (думал он): не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее.

— Я люблю ее,— говорила она,— и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого.

Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости: о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею.

— Ах! мы никогда не могли друг на друга наглядеться,— до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!

Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены: но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели.

— Лиза, Лиза! что с тобою сделалось?

— Ах, Эраст! я плакала!

— О чем? что такое!

— Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла.

— И ты соглашаешься?

— Жестокий! можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия; что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!

Эраст целовал Лизу; говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете; что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю.

— Однако ж тебе нельзя быть моим мужем! — сказала Лиза с тихим вздохом.

— Почему же?

— Я крестьянка.

— Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа,— и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу.

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения.— Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их.

— Ах! я боюсь (говорила Лиза), боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? вздыхаешь? боже мой! что такое! — Между тем блеснула молния, и грянул гром. Лиза вся задрожала.— Эраст, Эраст! — сказала она,— мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!

Грозно шумела буря: дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним.

— Ах, Эраст! уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!

— Будем, Лиза, будем! — отвечал он.

— Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся.

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему:

— Прежде бывал ты веселее: прежде бывали мы покойнее и счастливее; и прежде я не так боялась потерять любовь твою!

Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей:

— Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться; мне встретилось важное дело.— И всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицем и сказал ей:

— Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война; я в службе; полк мой идет в поход.

Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее; говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала; потом залилась горькими

слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила:

— Тебе нельзя остаться?

— Могу,— отвечал он,— но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества.

— Ах! когда так,— сказала Лиза,— то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить.

— Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза.

— Я умру, как скоро тебя не будет на свете.

— Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу.

— Дай бог! дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах! для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!

— Нет, береги себя, Лиза; береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.

— Жестокий человек! ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое.

— Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся.

— Буду, буду думать об ней! Ах! если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав:

— Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне.

Старушка осыпала его благословениями.

— Дай господи,— говорила она,— чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! мне бы очень хотелось дожить до этого!

Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся,— воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! (думала она) для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! я лечу к тебе!»— Уже хотела она бежать за Эрастом; но мысль «у меня есть мать!» остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине.— С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! как все переменится!» — от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи.— Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем, чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему; но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях.

Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей:

— Лиза! обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их (он положил ей деньги в карман) — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой.

Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге:

— Проводи эту девушку со двора.

Сердце мое обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии; но вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощию сей доброй женщины — благодарила ее и пошла, сама не зная куда.

«Мне нельзя жить (думала Лиза), нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!»

Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю де-

вушку), идущую по дороге, кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала:

— Любезная Анюта, любезная подружка! отнеси эти деньги к матушке — они не краденые,— скажи ей, что Лиза против нее виновата; что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку,— к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне,— попроси, чтобы она меня простила,— бог будет ее помощником — поцелуй у нее руку, так, как я теперь твою целую,— скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее,— скажи, что я...— Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу; но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись.— Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле.— Теперь, может быть, они уже примирились!

Друзья! Прошло красное лето; златая осень побледнела; зелень увяла; дерева стоят без плодов и без листьев; туманное небо волнуется, как мрачное море; зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания; укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас; мы знаем лекарство для скуки. Друзья! дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу; видел много чудного, слышал много удивительного; многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях; время посвятить страннический жезл твой сыну Маину;[1] время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих»,— сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами; уже слышали мы шум его волнения, но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

[1] Во времена древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

Вместе с капитаном вышел я на берег; гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием,— местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти: но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором; чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. «Несчастный молодой человек! — думал я,— ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул; поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор N. N.):

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю,— любить ввек буду,
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная Природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви.

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему; но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени.— Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами,— смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего; берег Гревзендский скрылся в отдалении; северные провинции Англии

Вид Симонова монастыря в Москве.

Литография К. Рабуса.
1843 г.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

чернелись на другом краю горизонта, наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным.— Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти;* но где искусный пловец, распуская паруса, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. Nil mortalibus arduum est — *нет для смертных невозможного*, думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн [1], едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил, и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу; море, освещаемое златыми его лучами, шумело; корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги; а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

— Где мы? — спросил я у капитана.

— Плавание наше благополучно,— сказал он,— мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь.

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» — повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе.

«Они заключают в себе тайну сердца его,— думал я,— но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною сверга-

---

[1] В самом деле пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

лись кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва, едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шумом валов морских, и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас сквозь распавшуюся кремнистую гору к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах Альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе; розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок.

— Мы туда не ходим,— говорил он,— и бог знает что там делается!

Я удвоил шаги свои и скоро приближился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина; вдали шумело море; последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня

идти назад к хижинам; но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали: «Кто там?»

— Чужеземец,— сказал я,— приведенный любопытством на сей остров; и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи.— Ответа не было; но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост: с шумом отворились ворота — высокий человек в длинном черном платье встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад: но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами; мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль, в древнем вкусе, вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва, едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом — обломки пиластров, в третьем — целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем страшное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим приятным голосом:

— Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! я не знаю тебя; но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мои объятия тебе отверсты.— Он обнял и посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся

хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым, хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия; но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

— Ты должен, молодой человек,— сказал он,— ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении; давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?

— Свет наук,— отвечал я,— распространяется более и более; но еще струится на земле кровь человеческая — лиются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существе ее.

Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он:

— Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители острова Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших; но мы во мраке идолопоклонства приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной; но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия.— Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествии древности и новых времен; говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы,— и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу под золотым балдахином стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку; но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца,— думал о своем хозяине, о первых словах его: «здесь обитает вечная горесть»,— мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем,— мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взи-

рает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей; что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! умри за сие пагубное любопытство!» Мечи застучали надо мною; удары сыпались на грудь мою — но вдруг все скрылось — я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке; железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которого описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло; но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приближился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная; свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой — открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов, и с некоторым благоговением углублялся в мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова; но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма: человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой натуры. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед,

рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду; а в углу на соломенной постели лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва, едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея,— то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! кого не трогает вид несчастного? Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице,— вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою,— мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приближилась — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями,— снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

— Если чувствительность странника (сказал я через несколько минут молчания), рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь; если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность,— требуй его помощи!

Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом:

— Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда — чужеземец! я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает.

— Но сердце твое невинно,— сказал я,— оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?

— Сердце мое,— отвечала она,— могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!

Тут приближилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила:

— Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе,— скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь; что сердце мое высохло от горести; что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение; что я умру его нежною, несчастною...

Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лице свое; через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию:

— Ты, может быть, знаешь мою историю; но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!

Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей; но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился, ждал вопроса; но он после глубокого вздоха умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе; птички пробудились; ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. «Боже мой! — думал я.— Боже мой! как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно,— творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами,— и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости; и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе; и здесь нежные зефиры дышат ароматами; и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат под ногами человека; и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого; и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения; роса утренняя не окропляет ее томного

сердца; ветерок не освежает истлевшей груди; лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее; тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» — Силы мои ослабели, и глаза закрылись под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени. Сон мой продолжался около двух часов.

— Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру,— вот что услышал я, проснувшись,— открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старик взглянул на меня с некоторою суровостию; встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости; но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный взор, спросил твердым голосом:

— Ты видел ее?

— Видел,— отвечал я,— видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице.

— Узнаешь,— сказал он,— узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтил святые законы его?

Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца,— тайну страшную!

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли паруса, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.

МАРФА ПОСАДНИЦА,
ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Вот один из самых важнейших случаев российской истории! говорит издатель сей повести. Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала ему! Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев; они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно: им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы.

В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историею. И летописи, и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Катоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только *страстную,* пылкую, умную, а не великую и не добродетельную женщину.

КНИГА ПЕРВАЯ

Раздался звук *вечевого колокола,* и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают: никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославова, уже собрались посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти Концов новогородских [1] с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени,— всходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования... Посадник сходит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный мечом, и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных — храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют. Боярин хочет говорить... но юные надменные новогородцы восклицают: «Смирись перед великим народом!» Он медлит — тысячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

«Граждане новогородские! — вещает он,— князь московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему: ибо человек при дверях гроба может говорить только истину.

---

[1] Так назывались части города: Конец *Неровский, Гончарский, Славянский, Загородский* и *Плотницкий.*

Граждане новогородские! в стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сем месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы под державною рукою варяжского героя сделались ужасом и завистию других народов; и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостию, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства; но Великий Новгород был всегда десницею князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам Цареградским. Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван *владетелем мира.*

Граждане новогородские! не только воинскою славою обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь на все Концы вашего града, видят повсюду златые кресты великолепных храмов святой веры; если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибли с шумом в быстрых волнах его,— то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному богу; Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Ярослава), здесь жил мудрый законодатель, благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное! внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию... и в какие времена? О стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также... Бог в неисповедимом совете своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от стран, никому неизвестных [1], подобно сим тучам

[1] Так думали в России о татарах.

насекомых, которые небо во гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут; земля русская обагряется кровию русских; города и села пылают; гремят цепи на девах и старцах... Что ж делают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим?.. Нет! пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать *вечевого колокола,* как трубы суда страшного! Наконец никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча... Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее племя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, в Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их: в Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей [1] иностранных! Русские считают язвы свои: новогородцы считают златые монеты. Русские в узах: новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. но вы также рабствуете. Народ! я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен — но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! потомки славян ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысячские, люди житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли, торгуют и благом народа; кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так, известны князю московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола,* и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «Вы рабы мои!..» Но бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и

[1] То есть купцов.

берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и торжества христианского. Еще удар последний не совершился; но Иоанн, избранный богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию. Димитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все предвидит; и зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети отечества, после горестной долговременной разлуки, объемлются с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратится под сень отечества. Вы оскорбляли его предков: он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с каким благоволением, с какою мудростию он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все Концы града и веселые окрестности; вспомните, как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь московский, великий и мудрый!» Такому ли государю не славно повиноваться и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете *первыми* сынами России: здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумное *вече,* но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые? Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицем владыки самодержавного.

Народ и граждане! да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! или — внимайте его последнему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим, да усмирит мятежников!.. Мир или война? ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво, взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! здесь лилась священная кровь твоя; здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан; что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече: но предки мои были друзья Вадимовы; я родилась в стане воинском под звуком оружия; отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! оно куплено ценою моего счастия...»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.

«Потомки славян великодушных! вас называют мятежниками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях древнего мира... Они утвердились на красных берегах Ильменя и всё еще служили одному богу. Когда великая империя[1], как ветхое здание, сокрушалась под сильными ударами диких героев Севера; когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда славяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но всё еще любили независимость. Под сению древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия[2], но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: «Никто во вселенной не может поработить нас, доколе не выдут из употребления мечи и стрелы...»[3] О великие воспоминания древности! вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

---

[1] Римская.
[2] См. византийских историков Феофилакта и Феофана.
[3] См. Менандера.

Правда, с течением времени родились в душах новые страсти; обычаи древние, спасительные, забывались, и неопытная юность презирала мудрые советы старцев: тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да повелевают юным мятежным воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его пред суд народа. «Меч и боги да будут нашими судиями!» — ответствовал Рюрик — и Вадим пал от руки его, сказав: «Новогородцы! на место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стенах ваших...» Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его свободно и независимо решить судьбу свою.

Так, кончина Рюрика — да отдадим справедливость сему знаменитому витязю! — мудрого и смелого Рюрика, воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался; но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от Новагорода с воинством храбрых варягов и славянских юношей искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными и гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников: народ избирал власти гражданские и, повинуясь им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую, служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность свою Владимир; здесь среди примеров народа великодушного образовался великий дух его; здесь мудрая беседа старцев наших возбудила в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их, да откроется истина ко благу людей; и когда, убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость называет отцев наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны; их признательность радовала его сердце, ибо

только души свободные могут быть признательными: рабы повинуются и ненавидят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на сии древние стены, говорит с любовию: «Там жил друг наш!»

Князь московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не можем оправдаться! Так, конечно: цветут области Новогородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются к нам рекою: Великая Ганза[1] гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: «Мы видели Новгород и ничего подобного ему не видали!» Так, конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются; отец ищет детей и не находит; вдовы и сироты просят милостыни на распутьях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! не мы, но вы нас оставили, когда пали на колени пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни; когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан; когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих — без робости; ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Напрасно, с высоты башен, взор их искал вдали дружественных легионов русских в надежде, что вы захотите в последний раз и в последней ограде русской вольности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы беглецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения; они требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!.. Напрасно граждане новогородские молили князей воспользоваться таким примером и общими силами, с именем бога русского, ударить на варваров: князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг

---

[1] Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде.

друга в замыслах против Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несчастию, ложных!.. И если имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли новогородского оружия напоминал его земле русской? не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное! Сей витязь добродетельный, драгоценный остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставил здесь и славу, и счастие, когда предпочел имя великого князя России имени новогородского полководца: не величие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире — и тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом: не удивительно! он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не престали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны; одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны! благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать гибели; но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новогородские всего святее нам по боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностию для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! вы торгуете благом народным? но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? разве последнего счастия — умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя; искренние сердца их свободно изливались в радостных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя московского; мы хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его свергнет с России иго татарское: он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной

вольности! Нет, нет! да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли русской, которыми она еще славится в мире! да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его своим данником: да идет Иоанн против монгольских варваров, и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову! Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: Иоанн! ты возвратил земле русской честь и свободу, которых мы никогда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском: они были собраны с земли твоей; на них нет клейма новогородского: мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою; залечи глубокие язвы России; сделай подданных своих и наших братий счастливыми — и если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород; если мы позавидуем благоденствию твоего народа; если всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда — клянемся именем отечества и свободы! — тогда придем не в столицу Польскую, но в царственный град Москву, как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику, и скажем не Казимиру, но тебе: «Владей нами! мы уже не умеем править собою!»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет мимо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к святым уставам его; когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину; если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев; если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы: то скоро ударит последний час нашей вольности и *вечевый колокол* — древний глас ее — падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам подобно мертвецу бледному и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород! что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окриляет суда новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся...

Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *Концы* твои; широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь *был* Новгород!..»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса.— Новгород — государь наш! да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — государь наш! война, война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания: дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! да возвратятся *клятвенные грамоты!* [1] Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и *знамя мира*. Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина... Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провождаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца угасали на их блестящем оружии.

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа (который, подобно бурным волнам, стремился по стогнам и беспрестанно восклицал: «Новгород — государь наш! Смерть врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во всех пяти Концах города (в знак объявления войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга! — тихо вещает она с умилением,— я исполнила

---

[1] Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объявлении войны надлежало всегда возвращать их.

клятву свою! Жребий брошен: да будет, что угодно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на Великой площади... земля колеблется под ногами... набат и шум народный умолкают... все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место... Сильный порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярославова, новое гордое здание народного богатства, пала с *вечевым колоколом* и дымится в своих развалинах...[1] Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют... Скоро тишина прерывается голосом внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое величие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место; но след голоса исчез в воздухе вместе с словами; напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили: *«Мы слышали!»*, никто не мог сказать, от кого? Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самим происшествием, всходили один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы: посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы; сильный ветер беспрестанно задувал их; беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли *вечевый колокол* и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его — услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил *вече*. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою; но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в домах (где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.

КНИГА ВТОРАЯ

В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы Посадницы, некогда знатнейший из бояр новогород-

[1] Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа.

ских. Он семьдесят лет служил отечеству: мечом, советом, добродетелию, и наконец захотел служить богу единому в тишине пустыни; торжественно простился с народом на вече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новагорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом[1] и нашла его стоящего на коленях пред уединенною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец! — сказала она,— буря угрожает отечеству».—«Знаю»,— ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо[2]. Густая туча висела и волновалась над Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих... Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось: если Новугороду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию. «Великая дочь моего сына! — вещал он с умилением,— последняя отрасль нашего славного рода! в тебе пылает кровь Молинских: она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами; посвятив его небу, еще люблю славу и вольность Новаграда... Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары всевышней десницы? Душа моя содрогается: я предвижу бедствия!..» — «Судьба людей и народов есть тайна провидения (ответствует Марфа), но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей: они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует! Самая опасность веселит ее... Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только

[1] В Новегороде было еще обыкновение называться древними славянскими именами. Так, например, летописи сохранили нам имя Ратьмира, одного из товарищей Александра Невского.

[2] В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей.

действовать благоразумно в настоящем, избрать лучшее и спокойно ожидать следствий... Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага; но должно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий [1] во гробе; в сынах моих нет духа воинского; я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы».— «Разве мало славных витязей в Новеграде? — сказал Феодосий.— Ужас Ливонии, Георгий Смелый...»— «Преселился к отцам своим».— «Победитель Витовта, Владимир Знаменитый...» — «От старости меч выпал из руки его».— «Михаил Храбрый...» — «Он враг Иосифа Делипского и Борецких: может ли быть другом отечества?» — «Димитрий Сильный...» — «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним».— «Кто же будет главою войска и щитом Новаграда?» — «Сей юноша!» — ответствует посадница, указывая на Мирослава... Он снял пернатый шлем с головы своей; заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.

«Никто не знает его родителей,— говорит Марфа,— он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава [2]; рано удивлял старцев своею мудростию на вечах, а витязей храбростию в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он сирота в мире; но бог любит сирых, а Новгород великодушных. Их именем ставлю юношу на степень величия; их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее в свете: вольности и Ксении! Так, он будет супругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей... Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши: он клянется победою или смертию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови, муж святый и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз достоин твоей правнуки: он заключается в день решительный для Новаграда

---

[1] Муж ее.

[2] Так называлось всегда главное училище в Новегороде (говорит автор).

и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель отечества, или обреченная жертва свободы!» Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею рукою снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе: Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми буквами слова: «Никогда врагу не достанется»...» Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условие!» — Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя московского, о верных и неверных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде; но для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ! сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства; но благословение всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости...» (Марфа с жаром и красноречием описала их...) «Сограждане! — сказала она в заключение.— Кого более всех должен ненавидеть князь московский, тому более всех вы можете верить: *я признаю Мирослава достойным вождем новогородским!*.. Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду; счастие ласкает юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран!.. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» — восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делинский, друг Марфы, вручил юноше златый жезл начальства. Старосты пяти Концов новогородских стали пред ним с секирами, и тысячские, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Димитрий Сильный обнимал Мирослава, называя его своим повелителем; но Михаил Храбрый, воин суровый, изъявил негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его: они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши (говорила она) жили всегда в мире и дружбе; у них было *одно* бедствие и счастие, ибо они *одно* любили и ненавидели. Братья по крови славянской и веры православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новегороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: *сердце на Великой*[1], *душа на Волхове*. Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам; если страны дальние от нас сведали имя ваше; если условия, заключенные великим градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую; если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его), то хвала единому небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для оплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного: гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным.— Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначили пред градом место для верной дружины псковской».— Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты, в шелковых красных мантиях, шли впереди; за ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поставили блюда на ступени его. *Ратсгер* города Любека *требовал слова* — и сказал народу: «Граждане и чиновники! вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новуграду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, славимся приязнию новогородскою; знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! приимите усердные дары добрых гостей иностранных не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидете-

[1] Имя псковской реки.

лями ваших опасностей. Нас семьсот человек в великом граде; все выдем в поле — и клянемся верностию немецкою, что умрем или победим с вами!» — Народ с живейшею благодарностию принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион; Марфа назвала его *дружиною великодушных,* и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже, среди шумных воинских приготовлений, день склонялся к вечеру — и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные; они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злополучная!.. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!.. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаждаться только одною своею ангельскою непорочностию и ничего более не желала; никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она краснелась, не зная причины: стыдливость есть тайна невинности и добродетели. Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственною потребностию сей кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле светится: сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую, ожерелье жемчужное, серьги изумрудные; произносят имя матери ее, и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душою и дает волю слезам материнской горячности... Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило сердце ее; может быть, милая дочь казалась ей несчастною жертвою, украшенною для олтаря и смерти! Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей; наконец укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения! сей день есть счастливейший в жизни твоей; нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы своей... Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури... Уже Ксения стоит пред олтарем подле юноши; уже совершается обряд торжественный; уже она супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее... О слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил [1] благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая с нежностию обнимала дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей,—говорил он,— отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских да живет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Новгород желает ныне угостить новобрачных!..» — «Нет,— ответствовала Марфа,— еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!..— и тихо промолвила: — О верный друг Борецких! хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью, одна среди моего семейства!» — Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу; жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы) — впереди Марфа — за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну; веселие сияло на лицах; и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим; и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее; она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести; теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими; везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких ра-

[1] Тогдашний епископ новогородский.

достными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол, с детьми своими: ласкает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксения! — говорит она,— нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастие, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность, которой могут завидовать герои!.. О дети любезные! теперь открою вам тайну моего сердца!..— Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились...— Было время, и вы помните его (продолжала Марфа), когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам; не знала ни вольности, ни рабства; не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие и бедствие людей. О время блаженное! твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная, с смелою твердостию председает теперь в совете старейшин, является на лобном месте среди народа многочисленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волнует народ, как море, требует войны и кровопролития — та, которую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в душе моей? что переменило ее столь чудесно? какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь!.. одна любовь... к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным; наконец открыл мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову в сей войне кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моею смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен: ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь московский, который тайно желает покорить Новгород. О друг моего сердца! успокой его! Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских: клянись мне превзойти их! клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете! клянись быть вечным врагом неприятелей свободы новогородской: клянись умереть защитницею прав ее! и тогда умру спокойно...» Я дала клятву... Он погиб вместе с моим счастием... Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на

гроб его: я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила — и старцы с удивлением внимали словам моим; народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня; чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда; враги и завистники... но я презираю их. Все видят дела мои; но вы одни знаете теперь их тайный источник. О Ксения! я могу служить тебе примером; но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойство великого мужа; жена слабая бывает сильна одною любовию; но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» Так Ольга любовию к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме, но сон не смыкал глаз ее.— В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери; отворяет ее — и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, с златою на груди звездою; едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира; я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет *новогородскою Вандою...*[1] Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастие союзников и бедствие врагов его... Она с гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Новугороду свое заступление,— говорит он.— Требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами!..— Марфа задумалась...— Когда же спасем вас, тогда...— Посадница быстро взглянула на него...— Тогда благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя — и властелина, который, без сомнения, не употребит во зло их доверенности...» — «Умолкни!» — грозно восклицает

[1] О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса.

Марфа... Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует; но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новагорода, если Казимир не защитит его от князя московского... «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей! — с жаром ответствует Марфа.— Когда вы не были лютыми врагами народа русского? когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему? [1] И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колени перед вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет! если угодно небу, то мы падем с мечом в руке пред князем московским: одна кровь течет в жилах наших; русский может покориться русскому, но чужеземцу — никогда, никогда!.. Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу... Вот ответ Казимиру!» Посол удалился.

На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана, и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись граждане в шлемах и в латах; старцы сидели на Великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова: ударили в колокол, и граждане сели за них; воины клали подле себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с восточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За пер-

[1] Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения.

вым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского: внук с седою брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных: он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы новогородской!..» Сама посадница налила ему серебряный кубок вина фряжского: старец выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. «Марфа! — говорил он,— я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы; храбрый Молинский занемог в стане: войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из великого града, и когда мы разили немецких рыцарей — когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их *святому прапору,* ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом победы; но Молинский упал мертвый на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но...» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид, в больших корзинах, лежали товары чужеземные: Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искусственными лаврами; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава; граждане, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувствительностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем; Михаил Храбрый не хотел брать участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии.— Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал — и с печальным видом отдал письмо Марфе... «Друзья! — сказала она знаменитым гражданам.— Псковитяне, как добрые братья, желают Новугороду счастия,— так говорят они,— только дают нам советы, а не войско — и какие советы? ожидать всего от Иоанновой милости!..» — «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отмстим им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа; изорвала письмо и на отрывке его написала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею ревностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области[1] с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Ловати, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению, в присутствии жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами Московскими возвышался холм; туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассеивал облака пыли: там стояла обыкновенно, вместе с матерью, прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга... Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностию. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков — восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи; но чрез минуту слезы катились из глаз ее... она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому граду с своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска; но верховный совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с *хоругви отечества*... Она возвеялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! в поле!» Сердца родителей и супруг затрепетали... Тысячи колеблются и выступают: первая и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых; одежда их отличалась богатством, оружие блеском, осанка благородством, а сердца пылкостию; каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил Храбрый шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай сими мужами знаменитыми!» — Михаил хотел

[1] Они назывались Пятинами: Водскою, Обонежскою, Бежецкою, Деревскою, Шелонскою.

взглянуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствительность... «Юноша! Я — враг Борецких!..» — «Но друг славы новогородской!» — ответствовал Мирослав, и витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла *дружина великодушных* под начальством ратсгера любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником, с надписью: *дружба и благодарность!* Они, вместе с новогородцами, составляли *большой полк,* онежцы и волховцы — *передовой,* жители Деревской области — *правую,* шелонские — *левую руку,* а невские — *стражу* [1]. Мирослав велел войску остановиться на равнине... Марфа явилась посреди его и сказала:

«Воины! в последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный: судьба его написана теперь на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы родители и жены новогородские, которые обнимут детей и супругов; если возвратитесь побежденны, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым.

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и навеки утвердить благие законы его; вы любите тех, с которыми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие Новаграда? Отразите их — и тогда с радостию примиримся с ними!

Грядите — не с миром, но с войною для мира! Доныне бог любил нас; доныне говорили народы: «Кто против бога и Великого Новаграда!» Он с вами: грядите!»

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом — и войско двинулось, громко взывая: «Кто против бога и Великого Новаграда!» Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота — и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новогородские не могли удержать слез своих; но Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером!»

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. *Торговая сторона* [2] опустела: уже иностранные гости не раскла-

---

[1] Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус, а стражею или сторожевым полком ариергард.

[2] Часть города, где жили купцы.

дывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз; огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены; не видно никого на *месте княжеском,* где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских,— и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи: священники не снимают риз, свечи не угасают пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах и молебное пение не умолкает на крилосах; народ толпится в церквах; старцы и жены преклоняют колени. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга... Так народ дерзко зовет к себе опасности издали; но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен! Одни чиновники кажутся спокойными — одна Марфа тверда душею, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный.

Первый гонец Мирославов нашел их в саду; Ксения поливала цветы, Марфа сидела под ветвями древнего дуба, в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность; что все именитые витязи уверяют его в дружбе, и всех более Димитрий Сильный; что Иоанн соединил полки свои с тверскими и приближается; что славный воевода московский, Василий Образец, идет впереди, и что Холмский есть главный по князе начальник.— Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен 50 московских дворян.— С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало: она спешила на Великую площадь, сама ударила в *вечевый колокол,* объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило... уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступал вечер... и Марфа сказала: «Я вижу облако пыли». Все руки поднялись к небу... Марфа долго не говорила ни слова... Вдруг закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн победитель!» — и бросилась в объятия к несчастной Ксении.

КНИГА ТРЕТИЯ

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих, и среди них колесницу, осененную знаменами: так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих...

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее вопля жен малодушных... Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю,— с горестию, но без стыда,— люди житые и воины чужеземные; кровь запеклась на их оружии; обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя, сидел Михаил Храбрый, бледный, окровавленный: ветер развевал его черные волосы и томная глава склонялась ко груди.

Колесница остановилась на Великой площади... Граждане обнимали воинов; слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия; он не мог идти; чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава... на бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти... «Счастливый юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать Храброму Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! разбито воинство храброе, убит полководец великий. Небо лишило нас победы,— не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном!» — ответствовал гордый юноша — и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских: там Образец, славный воевода московский, принял их удары на щит свой... Мы шли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движения и силу врагов. Воинство Иоанново было многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя московского на белом коне; видели, как он распоряжал легионы и

блестящим мечом своим указывал на сердце новогородское, на *хоругвь отечества,* видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окружить нас... Мирослав повелел, и стража невская с Димитрием Сильным двинулись навстречу к нему. Вероломный!.. Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров Шелонских: меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем; мы взглянули — и знамена новогородские уже развевались на холмах — и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: «Кто против бога и Великого Новаграда?» — все ряды наши устремились в битву и сразились... На всей равнине затрещало оружие и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братий есть самая ужасная!.. Тысячи падали, но первые ряды казались целы и невредимы; каждый пылал ревностию заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою; новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие за честь и вольность: мы шли вперед!.. за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь московский был окружен знаменитыми витязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду — поднял руку — и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в главу, и шлем распался на части; он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы — и скоро главная дружина московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами... Мы с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское... Димитрий изменил согражданам... не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев: он помог им только умереть великодушнее! Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новогородский служил ему щитом. Он увидел Димитрия среди московской дружины — последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее...»

Тут ослабел голос Михаила; взор помрачился облаком; бледные уста онемели; меч выпал из руки его; он затрепетал —

взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои... Чиновники положили тело его на колесницу рядом с Мирославовым.

«Народ! — сказал Александр Знаменитый, старший из витязей,— благослови память Михаила! Он вышел из битвы с *хоругвию отечества,* с телом Мирослава, обагренный кровию бесчисленных врагов и собственною; собрал остатки храбрых людей житых, *дружины великодушных* и в самом бедствии казался грозным Иоанну — враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом: они купили ее смертию славнейших московских витязей. Народ и чиновники! многие новогородцы погибли славно: радуйтесь! некоторые спаслися бегством: презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их осталось менее половины; все они легли вокруг *хоругви отечества».*— «Сочтите нас! — сказал начальник *дружины великодушных,*— из семисот чужеземных братий новогородских видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».

«Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением. «Оба» — ответствовал Александр Знаменитый[1] с горестию. «Хвала небу! — сказала посадница.— Отцы и матери новогородские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ! будь строгим, неумолимым судиею и реши — судьбу мою! Унылое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю его властвовать в Новегороде; может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои; и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости!..»

«Нет! нет! — воскликнул народ в живейшем усердии,— мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? где друзья Иоанновы? Пусть говорят они: мы пошлем их головы к князю московскому!» Отцы, которые лишились детей в битве Шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам! мы плакали!..» Слезы текли из глаз Марфы. «На-

[1] В летописях сказано, что сын ее Димитрий был взят в плен.

род! — сказала она,— с такою душею ты еще не побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия: небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились свободными. Издревле счастие воинское славится превратностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте; видал надменного врага пред стенами своими: кто ж входил в них доныне? одни друзья его. Народ великодушный! будь тверд и спокоен! Еще не все погибло: Борецкая жива и говорит с тобою! Когда железные ступени престанут звучать под ногами моими; когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте; когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя знáком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новаграда: тогда, тогда скажи: «Все погибло!..» Теперь, друзья сограждане! воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники ваши пекутся о безопасности града».— Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысячский положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои — боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения; стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» — Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов, и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах; никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новаграда положил во гробы *хартию славы!..* [1] Их опустили в землю под веянием *хоругви отечества.* Посадница стала на могилу; она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым! стыд и поношение робким! Здесь лежат знаменитые витязи: совершились их подвиги; они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечною благо-

[1] На сих хартиях (говорит автор) изображались славные дела усопшего.

дарностию. О воины новогородские! кто из вас не позавидует сему жребию? Храбрые и малодушные умирают: блажен, о ком жалеют верные сограждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на сего старца, родителя Михаилова: согбенный летами и болезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество... Народ! если всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место да будет для тебя священно! Жены знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезнейшего из сынов моих (Марфа рассыпала цветы)... и витязя храброго, некогда врага Борецких; но тень его примирилась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и юноши, да славят здесь кончину героев и да клянут память изменника Димитрия!» — «Клятва, вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане — и брат Димитрия упал мертвый в толпе народной — и супруга его отчаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду и медленно окружали его: народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шаром увенчанный, стоял пред вратами Московскими — и степенный тысячский отправился послом к Иоанну: новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидали его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным: она велела ему объявить всенародно успех посольства... «Граждане! — сказал он,— ваши мудрые чиновники думали, что князь московский, хотя и победитель, но самою победою, трудною и случайною, уверенный в великодушии новогородском, может еще примириться с нами... Бояре ввели меня в шатер Иоанна... Вы знаете его величие: гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения... «Князь московский! — я вещал ему.— Новгород еще свободен! Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность: хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя — возьми наши сокровища; завтра принесем их в стан твой с радостию, ибо кровь сограждан нам дра-

роценнее злата; но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем; скажем: «Иоанн мог лишить нас верховного блага, и не сделал того; хвала ему». Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением: а мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новаграда, доколе древние стены его не опустеют или не примут в себя жителей, чуждых крови нашей!» — «Покорность без условия или гибель мятежникам!» — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру Знаменитому вручили жезл начальства — и битвы начались...

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность: юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя; иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфы бывало также радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа одно знаменовали в великом граде). Часто Иоанн, видя славную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли (он с гневом ответствовал), хотите ли, чтобы я венец Мономаха положил к ногам мятежников?..» — и суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась *дружина княжеская,* из храбрых дворян состоящая, и знамена ее (на которых изображались слова: «С нами бог и государь!») дымились кровию.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он,— кто наш союзник? кто поможет великому граду?!» — «Небо,— ответствовала посадница,— влажная осень наступает;

блата, нас окружающие, скоро обратятся в необозримое море; всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке *хоругвь отечества;* иногда, видя отступление новогородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась ужасами кровопролития — столь чудесно действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончину друга: Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обагренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелию на смелых противников. Александр Знаменитый с веселием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался; он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу,— и при восходе солнца ударили в *вечевый колокол.* Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное! приими снова в недра свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пустыне; но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Молинских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником великого града! Исполни усердное желание верховного совета! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу владеть оружием; могу умереть в поле!.. Народ! объяви волю свою!..» — «Да будет! да будет!» — громогласно ответствовали граждане — и Марфа сказала: «О славное торжество любви к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал, как мертвого, воскресает для его служения! От-

шельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина: оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных! Народ и граждане! можете ли отчаиваться? можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного; когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в верховном совете? Возвратился Феодосий: возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее: ибо слава есть счастие великих народов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в великом граде; они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие; но он мог служить отечеству только усердными обетами чистой души своей — и бесполезными, ибо суды вышнего непременны!

Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ: Марфа приготовила великолепное пиршество, и граждане еще дерзнули веселиться! еще дух братства оживил сердца! Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное, счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев.

Скоро открылось новое бедствие; скоро в великом граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов; всё еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления... Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое... Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изоби-

лия и дарами земными: когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица,— и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании... Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорства посадницы и Делинского; некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми власами отирал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленах пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась; но мать ее, во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами: там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и давала ему отчет в делах своих.

Наконец ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла; она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новогородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лице свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и что великодушное терпение есть должность их... В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела; казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивою, бесчеловечною... Она содрогнулась... Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой; он возвратит изобилие Новуграду: она хочет обратить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, вдруг упадает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее... Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют... «В последний раз,— вещает она,— в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном и небо да решит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились; многие

сами упали на колена пред Марфою, называли ее *материю новогородскою* и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата Московские отворились; воины спешили в поле: она вручила *хоругвь отечества* Делинскому, который обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!» — удалился.

Войско Иоанново встретило новогородцев... Битва продолжалась три часа; она была чудесным усилием храбрости... но Марфа увидела наконец *хоругвь отечества* в руках Иоаннова оруженосца, знамя *дружины великодушных* в руках Холмского; увидела поражение своих; воскликнула: «Совершилось!», прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов — и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении; остатки воинства едва спаслися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей; она растворила окно, сказала: «Делайте, что хотите!» — и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решительный ответ великого князя... Взор их невольно искал Марфы; невольно устремился на высокий терем ее: там угасла ночная лампада! Они вспомнили слова посадницы... Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласия на требование Иоанна; наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому; он будет отцом Новаграда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее: «Кто они?» — еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение; огни не угасали в домах, только в жилище Борецких все казалось мертвым.

Солнце восходило, и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне под *хоругвию* новогородскою, среди воинского стана, полководцев и бояр московских; взор его сиял величием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону; за ним шли

все чиновники великого града. Посадник стал на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Московских — тысячские преломили жезлы свои, и старосты пяти Концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новаграда!» — сказал он — и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь всея России и Новаграда!..» — «Государь! — продолжал старец,— судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными, ибо сердца русские не знают измены, и клятва их надежна. Твори, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость! — вещал он.— Милость всем чиновникам и народу...» — «Милость! милость!» — воскликнули бояре московские. «Милость! милость!» — радостно повторяло все войско: казалось, что она *ему* была объявлена — столь добродушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами,— сказал Иоанн,— кого наказал он, того милую! Идите: да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и принял начальство над градом: окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу: она и дочь ее сидели в тереме за рукодельем... «Не бойся мести Иоанновой,— сказали друзья,— он всех прощает...» Марфа ответствовала им гордою улыбкою — и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что князь московский уважает Борецкую: он считает ее врагом опасным! Простите!.. Вам еще можно жить...» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову твоему...» — «Вот оно,— ответствовала посадница,— пусть Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь

ее великодушию. Граждане толпились вокруг дома Борецких: напрасно воины хотели удалить их; но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти Концах, и народ, всегда любопытный, забыл на время судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород под сению *хоругви отечества,* среди легионов многочисленных, в венце Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон колокольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь всея России и Великого Новаграда!..» — «Давно ли,— сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза,— давно ли сей народ славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих; иногда с горестию будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия моего останутся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? — неблагодарным! Я могла бы наслаждаться счастием семейственным, удовольствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеобщею любовию, почтением людей и — самою нежною горестию о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе моего народа: самую чувствительность женского сердца — и хотела ужасов войны; самую нежность матери, и не могла плакать о смерти сынов моих... (Тут в *первый раз* глаза Марфы наполнились слезами *раскаяния*...) Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним гласом женской слабости. Я клялась заступить твое место в отечестве и конечно исполнила клятву свою, ибо князь московский считает меня достойною погибнуть вместе с вольностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы: награда признательности уменьшает ее... Теперь я спокойно ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна; он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новогородскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Герои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали себя жизни; бесстрашные боялись казни; я не боюсь ее. Небо должно располагать жизнию и смертию людей: человек волен только в своих делах и чувствах». Ксения слушала мать свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня: Феофил и духовенство встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли радость свою.— Иоанн в доме Ярослава угостил роскошною трапезою знатнейших бояр новогородских и державною рукою своею сыпал злато на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкою выходили из домов и видели в глубокую полночь Иоанна и Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму; два воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь наклонился на могилу юного Мирослава; казалось, что он изъявлял горесть и с жаром упрекал Холмского смертию сего храброго витязя... Новогородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись и никогда не могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше. Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они видели множество пламенников на Великой площади, слышали стук секир — и высокий эшафот явился пред домом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежала секира. От Конца Славянского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом; воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились: выходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы; но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на *вече*. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие; ужасная тишина царствовала; посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на

сердце ее — знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот — сорвала покрывало с головы своей: казалась томною, но спокойною — с любопытством посмотрела на лобное место (где разбитый образ Вадимов лежал во прахе) — взглянула на мрачное, облаками покрытое небо — с величественным унынием опустила взор свой на граждан... приближилась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна! умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы... Многие невольно воскликнули от ужаса; другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом... Ударили в бубны — и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли... Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее:

«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре! не ужасайтесь: Иоанн не нарушит слова; на вас милующая десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных; одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия; отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий отцом и главою. Народ! не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие* и *безопасность* суть три столпа гражданского счастия: Иоанн обещает их вам пред лицем бога всемогущего...»

Тут князь московский явился на высоком крыльце Ярославова дому, безоружен и с главою открытою: он взирал на граждан с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал далее:

«Обещает России славу и благоденствие; клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священна самодержцам российским — или да накажет бог клятвопреступника! да исчезнет род его, и новое, небом благословенное поколение да властвует на троне ко счастию людей!» [1]

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах — и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново, и граждане наконец воскликнули: «Слава государю российскому!»

---

[1] Род Иоаннов пресекся, и благословенная фамилия Романовых царствует.

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на берегу великого озера Ильмена, погреб тело Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из семисот немецких граждан только пятьдесят человек пережили осаду новогородскую: они немедленно удалились во свои земли. *Вечевый колокол* был снят с древней башни и отвезен в Москву; народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том включены лучшие прозаические произведения эпохи Просвещения (1760—1790 годы), когда происходило «образование прозы» в новой русской литературе. Формирование русской прозы происходило в упорной идеологической и эстетической борьбе против классицизма, в ходе которой в русской литературе складывались новые направления — просветительского реализма и сентиментализма. Сочинения Новикова, Фонвизина, Радищева, Крылова и Карамзина дают ясное представление и об этой борьбе, и о художественных открытиях этих писателей.

Ввиду значительного объема не оказалось возможным включить в том «Почту духов» Крылова и «Письма русского путешественника» Карамзина — произведения, сыгравшие большую роль в развитии русской прозы XVIII века.

Сочинения Чулкова, Новикова, Фонвизина, Радищева, Крылова и Карамзина печатаются по тексту наиболее авторитетных научных изданий с дополнительной сверкой текстов по последним прижизненным изданиям, а если они при жизни авторов не переиздавались — по первым публикациям.

Литературный язык XVIII века только вырабатывался, многое в нем менялось, грамматические нормы окончательно не сложились. Правописание многих слов было неустойчивым. Вместе с тем необходимо все печатаемые тексты привести в соответствие с нормами современной орфографии и пунктуации, за исключением тех случаев, когда они передают фонетические особенности и смысловые оттенки, утрата которых нежелательна. У некоторых писателей имеются формы, отразившие еще не установившуюся грамматическую норму. В этих случаях сохраняется авторское написание. Сохраняются также морфологические и лексические особенности языка эпохи, имевшие стилистическое значение.

М. Д. ЧУЛКОВ

Михаил Дмитриевич Чулков (1743—1792) родился, по-видимому, в семье торговца. В 1755—1758 годах учился в гимназии для разночинцев при Московском университете, в 1761—1765 годах служил актером придворного театра, но без успеха и потому перешел на должность придворного лакея. Литературную деятельность начал с сочинения комедии «Как хочешь назови» (1765). С особым успехом работал в повествовательных жанрах. Подготовленный им сборник повестей бытового и приключенческого характера «Пересмешник, или Славенския сказки» (первые четыре части выходили в 1766—1768 гг., пятая — в 1789 г.) пользовался большим успехом. В 1770 году издан роман «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины». Изображение современной жизни с ее бытовой стороны дается и в журналах Чулкова — еженедельном «И то и се» (1769) и ежемесячном «Парнасский щепетильник» (1770).

В 1770—1774 годах выходило составленное Чулковым «Собрание разных песен» (четыре части), куда наряду с песнями русских писателей было включено значительное число народных песен, в частности были опубликованы песни о Степане Разине. Еще в 1767 году Чулков составил «Краткий мифологический лексикон», в котором пытался систематизировать славянскую мифологию. Позднее он продолжил эту работу, подготовив книгу «Словарь русских суеверий» (1782). В 1786 году она была переиздана под названием «Абевега русских суеверий».

С конца 1770 года Чулков отходит от активной литературной работы, перейдя на государственную службу. Начав с должности коллежского регистратора в коммерц-коллегии, он уже в 1786 году награждается чином надворного советника, который давал ему право на личное дворянство. Выйдя в отставку, стал владельцем небольшого имения.

Современное издание прозы Чулкова см. в книге: Русская проза XVIII века, Гослитиздат, т. I, М.—Л. 1950; по тексту этой книги печатается повесть «Пригожая повариха» в настоящем издании.

Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины.— Впервые — отдельным изданием, ч. I, СПб. 1770, без имени автора. Вторая часть романа, возможно написанная, не была издана.

Стр. 43. *...победу под Полтавою...*— Имеется в виду победа русских войск над шведскими под Полтавой в 1709 году. Заявляя, что Мартона вдова сержанта, погибшего в 1709 году, Чулков тем самым как бы пояснял, что действие в романе происходит в Петровскую эпоху. Это было цензурной уловкой: в действительности писатель сатирически изображал нравы современного ему дворянства.

Стр. 44. *Адонид* — Адонис — сын кипрского царя, равный по красоте бессмертным богам; возлюбленный Афродиты (греч. миф.).

Стр. 62. *Филлида* — фракийская царевна, невеста афинского царя Демофонта. После обручения с царевной Филлидой Демофонт уехал и не вернулся к назначенной свадьбе. Филлида в отчаянии повесилась; боги обратили ее в миндальное дерево, которое расцветало, когда Демофонт обнимал ствол (греч. миф.).

Н. И. НОВИКОВ

Николай Иванович Новиков (1744—1818) родился в селе Тихвинском, близ Москвы. В 1755—1760 годах учился в гимназии при Московском университете. В 1762 году вступил в Измайловский полк, из которого через пять лет был откомандирован в Комиссию по сочинению проекта нового уложения. Воспользовавшись роспуском Комиссии, Новиков уходит в начале 1769 года в отставку, решив целиком посвятить себя издательской просветительской деятельности и литературе. С 5 мая 1769 года Новиков издает сатирический журнал «Трутень». После его закрытия в апреле 1770 года предпринимает издание новых журналов «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772—1773) и «Кошелек» (1774). В 1772 году была напечатана значительная для того времени литературно-критическая работа Новикова «Опыт исторического словаря о российских писателях». В годы жестокой реакции после разгрома восстания Пугачева Новиков увлекся масонским учением о «братстве всех людей» и вступил в орден. Разделяя учение масонов, он, однако, отстранился от мистических исканий «братьев», стремясь использовать орден и его денежные средства для своих просветительских целей.

В 1779 году, после переезда из Петербурга в Москву, Новиков широко развернул просветительскую издательскую деятельность. Помимо арендованной им в 1779 году университетской типографии, в распоряжении Новикова оказались еще две типографии, которые он создал на средства масонского ордена. Вокруг этих типографий Новиков объединил около ста авторов, переводчиков, редакторов, книгопродавцев. В течение десяти лет он издавал последовательно пять журналов и газету «Московские ведомости». Одновременно типографии Новикова выпускали сотни различных книг по всем отраслям знания, среди которых значительное место занимали учебные книги. Около трети книг, изданных за эти годы в России, приходится на долю новиковских типографий. В это же время Новиков организовал книжную торговлю в шестнадцати городах России, открыл в Москве библиотеку-читальню. На средства читателей журналов Новиков основал две школы для детей разночинцев,

бесплатную аптеку в Москве, развернул большую по тогдашним масштабам помощь крестьянам, пострадавшим во время голода 1787 года.

Антиправительственный характер просветительской деятельности Новикова понимала Екатерина II, которая с середины 1780-х годов начала преследовать писателя. В 1789 году у него отняли университетскую типографию, в 1792 году арестовали и без суда посадили в Шлиссельбургскую крепость на пятнадцать лет. При Павле в 1796 году Новикова освободили, но разрешения продолжать издательскую деятельность не было дано. Не увенчались успехом и попытки Новикова вернуться к прежней деятельности при Александре I. Разоренный, больной, оторванный от работы, Новиков провел последние годы под Москвой, в Тихвинском.

Текст сочинений Новикова публикуется по изданию: Н. И. Новиков, Избранные произведения, Гослитиздат, М.—Л. 1951.

«Живописец».— Впервые в виде отдельной книги в 1775 году. Готовя к изданию сборник лучших своих сатирических произведений, Новиков включил в него рассказы, очерки, «письма», статьи и памфлеты, напечатанные до того в его журналах «Трутень» (1769) и «Живописец» (1772—1773). Поскольку «Живописец» пользовался особенным успехом у читателей (в 1773 году вышло второе издание), Новиков этим именем назвал и свою книгу. При подготовке книги Новиков, естественно, отказался от деления на листы, как было в журналах, распределив материал на две части. Подчеркивая композиционное и тематическое единство частей, Новиков каждую из них завершал сильным антикрепостническим произведением: первая кончалась «Отписками крестьянскими», вторая — «Отрывком путешествия в *** И*** Т***». При жизни Новикова этот сборник дважды переиздавался — в 1781 и 1795 годах.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Книга открывается «Приписанием» (посвящением) «неизвестному г. сочинителю комедии «О время», то есть Екатерине II. «Приписание» перепечатано из журнала «Живописец». После закрытия журналов «Трутень» и «Пустомеля» Новиков вынужден был прибегать к тактике «осторожности». «Приписание» журнала Екатерине было первым шагом в этом направлении. Екатерина, жаждавшая подчинить писателей своему влиянию, не могла не приветствовать такого посвящения. Но посвящение было коварным: Новиков хвалил не Екатерину-самодержца, а Екатерину-писателя, укрывшегося за именем «сочинителя комедии «О время»,— и хвалил за будто бы обличительный пафос ее комедии. Объявив автора комедии «О время» беспощадным сатириком, Новиков

немедленно стал поучать его, приписывая монарху свои убеждения, свои взгляды на сатиру. Нужно было это для того, чтобы спокойно продолжать свои обличения, объявив себя скромным «учеником» сочинителя комедии «О время».

Такое навязывание автору комедии «О время» своих убеждений не могла не заметить Екатерина: она прислала письмо в журнал и, не вступая в полемику, поспешила дать свое понимание характера сатиры в своей комедии. Цель ее как писателя, сообщала она, отнюдь не исправление нравов, а всего лишь «приносить удовольствие», «увеселять». «Пишу я для своей забавы». Новиков, напечатав письмо Екатерины, сделал вид, что не заметил указаний и поправок императрицы. Это же посвящение Новиков ставит и в начале своей книги, но уже без ответного письма Екатерины. Посвящение должно было служить защитой перед цензурой.

Стр. 83. *...перо ваше достойно будет равенства с Молиеровым.*— Мольер Жан Батист Поклен (1622—1673) — французский драматург, автор сатирических комедий.

К читателю.— Впервые в издании 1775 года.

Стр. 85. *«Троянская история».*— Имеется в виду сочинение итальянского писателя Гвидо деле Колонне (XIII в.) «История о разорении Трои столичного града Фригийского царства, из разных древних писателей собранная». Первое издание вышло при Петре I в 1709 году. В течение века вышло десять изданий этой истории.

«Синопсис» — краткий очерк русской истории и истории Украины, изданный в Киеве в 1674 году, автором которого считается архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. «Синопсис» был первой учебной книгой по истории и пользовался большой популярностью.

«Юности честное зерцало» — переводная книга, своеобразный учебник хорошего тона, вышла в России в 1717 году и пользовалась успехом у читателей.

«Совершенное воспитание детей» — сочинение аббата Беллегарда; с 1747 года неоднократно переиздавалось в России.

Автор к самому себе.— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 2.

Стр. 87. *Невпопада... Кривотолка... писателя, старающегося забавлять разум...*— За условными именами скрыты сатирические портреты современных Новикову писателей. Ряд намеков позволял читателям угадывать реальных прототипов — официального поэта В. П. Петрова *(Невпопад),* драматурга В. И. Лукина *(Кривотолк),* прозаика и поэта М. Д. Чулкова *(писатель, старающийся забавлять разум).*

В другом месте увидишь нравоучителя...— Имеется в виду главный, коронованный автор журнала «Всякая всячина» — Екатерина II.

...сатирик — сам Н. И. Новиков; это его — издателя журнала «Трутень» — Екатерина во «Всякой всячине» называла «всесветным ругателем».

Стр. 88. *...сочиняет пастушеские песни...*— Здесь: резкий выпад против поэзии классицизма. В ряде жанров — эклоге, идиллии прежде всего,— поэты-классицисты сумароковской школы идеализировали крепостническую деревню, создавали образы «благополучных», «блаженствующих» пастухов и пастушек.

Стр. 89. *...толпа писателей, которые то бредят, что видят.*— Речь идет о писателях, объединенных вокруг журнала «Вечера» (1772), который выступал против «Живописца». На страницах «Вечеров», в частности, была напечатана статья М. В. Сушковой под названием: «Что вижу, то и брежу».

Приняв название живописца...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 3 и 4.

Стр. 90. *...не учась грамоте, становимся попами!* — Измененная пословица: «Не учась грамоте, в попы не ставят».

Стр. 91. *...в вашем невежестве видно некоторое подобие... мудрости Жан-Жака Руссо: он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны.*— В своем сочинении, написанном как ответ на конкурсный вопрос, объявленный Дижонской академией,— «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?» (1750) (русский перевод этого сочинения вышел в 1768 г.), Руссо подверг резкой критике современную ему цивилизацию, основанную на неравенстве и несправедливости, но, осуждая ее, он сделал неправильный вывод о том, что вся культура и, в частности, науки и искусства не только не приносят пользы, но и портят, развращают человека.

Стр. 94. *...сидеть разбросану... быть совсем развязану* и т. д.— выражения из жаргонного словаря щеголей и щеголих. Многие из них являются буквальными переводами с французского: гнилой взгляд (от *франц.* pourri — развращенный), строить дворики (от *франц.* faire la cour — волочиться) и т. д.

Стр. 95. *...не в своей... тарелке.*— В ту пору это выражение еще воспринималось как перевод с *франц.* il n'est pas dans son assiette.

С которою машусь...— Махаться — волочиться.

Стр. 95—96. *Серинькой, пестринькой, колетца, медный таз, сайка, умойся, красное* — название дней недели в жаргоне щеголей, начиная с понедельника.

Ты охотник до ведомостей...— Впервые в «Трутне», 1769, л. 13.

Стр. 97. *«О преступлениях и наказаниях»* — книга итальянского юриста, просветителя Чезаре Беккариа (1738—1794), получившая широкое распространение в Европе; русский перевод ее вышел только в

1803 году. Беккариа требовал, чтобы наказания устанавливались в зависимости от тяжести преступления, в точном соответствии с законом, а не по усмотрению судей.

...уреченные — положенные.

Сирский — сирийский.

Стр. 98. *Балтийский порт* — ныне г. Палдиски; в XVIII веке Балтийский порт был местом, куда ссылали на каторжные работы.

Mon coeur, живописец! — Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 9.

Стр. 101. *...вокруг нас* — между нами — жаргонные слова щеголих.

...некоторый грубиян.— Имеется в виду Екатерина II и ее комедия «Именины г-жи Ворчалкиной».

Дремов — положительный персонаж из той же комедии Екатерины.

В первой его комедии...— в комедии Екатерины «О время».

...в 5 листе твоего «Живописца».— Намек на напечатанный в этом листе «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***».

Опыт модного словаря щегольского наречия.— Впервые— «Живописец», 1772, ч. 1, л. 10.

Стр. 106. *Прелесть идольского служения* — прелесть язычества для христиан пагубная и неприемлемая.

...из презрения ко своим кумирам называли их болванами.— Объяснение неверное, так как еще в начале XVIII века слово «болван» означало образ языческий и соотносилось с латинским переводом слова statua (статуя).

Листочки ваши с великим удовольствием я читаю...— Впервые— «Живописец», 1772, ч. 1, л. 11.

Я не могу довольно испорченному здешнего города вкусу надивиться...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 11.

Я превеликое имею желание с вами увидеться...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 12.

Английская прогулка.— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 13. Статья продолжает и обосновывает мысли «Отрывка путешествия...» (см. ниже); она перекликается с выступлениями по крестьянскому вопросу демократических депутатов в Комиссии по сочинению нового уложения, в которых они оспаривали позицию крепостников. В журнале эта статья внутренне связана с «Отрывком путешествия...» и была помещена между двумя частями «Отрывка». В издании 1775 года Новиков печатает ее как самостоятельное произведение.

Стр. 110. *...многие наша братья дворяне сим вашим листом недовольны...*— Речь идет о первой части «Отрывка путешествия...», напечатанного в 5 листе.

Стр. 112. *...накажу их жезлом беззакония...*— цитата из Библии.

...щатавшимся провинциальным английским актерам...— Имеется в виду английская труппа, выступавшая в Петербурге в 1770—1773 годах.

Не знаю, как у вас в Петербурге...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 13.

[Письма к Фалалею].— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, листы 15, 23 и 24.

Стр. 114. *...был болен черною немочью...*— Черная немочь — эпилепсия, падучая болезнь.

Канонник — сборник церковных песнопений — канонов.

Стяг — мясная туша без головы и ног.

Шесть денег — три копейки.

Стр. 114—115. *...вить не рожна?* — Рожон — заостренная палка, прикреплявшаяся к сохе так, чтобы она колола ноги лошади или быка, когда они замедляли пахоту. Выражение — «ведь не рожна» — означало неодобрение.

Стр. 115. *...винцо-та в сапогах ходит* — вино стоит дорого.

...своего вина нельзя привезть в город...— В XVIII веке частным лицам запрещалось производить вино, так как правительство сдавало винокурение на откуп.

...с кружала — то есть с кабака.

...дворянам дана вольность...— Речь идет об указе Петра III о вольности дворянской (1762).

...на сотню места — на сто рублей.

...выйти из службы да поехать за море...— До указа 1762 года служба (военная и гражданская) была обязательной для дворян. Поездки за границу запрещались; разрешение давалось в редких случаях.

...отнесешь ему барашка в бумажке...— то есть отнесешь ему взятку.

...не куркай — не пищи.

«Кормчая книга» — свод церковных и светских законов.

Стр. 116. *...печатные листочки.*— Разумеется, листки «Живописца», и прежде всего листы 5 и 14, где печатался «Отрывок путешествия...».

«Чети-Минеи» — книги, содержащие жития святых. Название характеризует их назначение — книги для наставительного чтения (чети) — и форму — расположения по месяцам (греческое «минэос» значит месячный).

Нынече же это и ремесло не в моде: скорее в воеводы добьешься, нежели во...— Фраза должна быть закончена словом: «во святые».

Стр. 117. *...деревня Григорья Григорьевича Орлова...*— Г. Г. Орлов (1734—1783) — активный участник переворота 1762 года; фаворит Екатерины II; с 1772 года находился в опале.

...гадки не мают — ни о чем не думают (укр.).

Стр. 118. *...нынече время военное...*— Имеется в виду война с Турцией (1768—1774).

...у тебя не будет «Егорья»...— «Егорий» — орден св. Георгия Победоносца, учрежденный в России в 1769 году. Им награждали за успехи в военных операциях.

...ни синей порох даром не пропадет — ни малейшая вещь, ни крошки не пропадет.

Стр. 119. *Огневица* — горячка.

Стр. 120. *Панкратьевич* — Трифон Панкратьевич, отец Фалалея.

Стр. 121. *...твоим ангелом* — то есть иконою, на которой изображен святой, носящий имя Фалалея.

Неопалимая купина — в христианской символике — эпитет Марии, матери Христа. Здесь: икона с изображением богоматери, представляющая копию с чудотворной иконы «Неопалимая купина».

Глухая исповедь — обряд отпущения грехов, который священник совершает над умирающим человеком, находящимся без сознания.

Стр. 122. *...экономические казначеи.*— Указ Екатерины 1764 года передал под начало коллегии экономий монастырских крестьян. Здесь, вероятно, намекается на известный современникам факт расхищения средств в коллегии экономий.

Не в пронос...— не для разглашения, по секрету.

Слушай-ка, брат живописец! — Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 5.

Стр. 123. *...при* ****** — при Петре I.

Стр. 124. *...заплати... бесчестье...*— По законам того времени за оскорбление с обидчика взыскивали денежную сумму в пользу обиженного. Многие дворяне пользовались этим законом, провоцируя оскорбления, составляли капитал на бесчестье. Ермолай как раз и принадлежал к таким дворянам.

...в полы — в половину.

[Письма к племяннику].— Впервые — «Трутень», 1769, л. 2 и 15.

Стр. 125. *...по нынешним указам не наживна...*— Екатерина II при вступлении на престол в 1762 году издала указ о запрещении взяточничества. Указ делу не помог — взятки брали по-прежнему, о чем и пишет дядя.

Стр. 126. *...в мошне не было ни пула.*— Пул — мелкая монета, четверть копейки.

...просись... в прокуроры...— Вводя институт прокуроров, Екатерина полагала, что они будут бороться с взяточничеством. На практике прокуроры стали брать взятки, как и судьи.

Стр. 127. *...укреплю* — передам по закону.

...священный левитский чин — священники, духовные лица.

...аггели мрака — демоны, злые духи (церковнослав.).

...силы небесные — ангелы (церковнослав.).

Стр. 128. *...посты, среды и пятки все сохраняю...*— По средам и пятницам верующие не должны были есть мясной пищи.

...на лоно Авраамле — в рай (евангел.).

Стр. 129. *...пелынь* — полынь, горечь.

*К ***** — «Кандид», философский роман Вольтера.

Лечебник.— Впервые — «Трутень», 1769, л. 23, 24, 26, 27, под заглавием «Рецепты». Каждый из рецептов «Лечебника» служил задаче публицистического изложения важных просветительских истин. «Рецепт г. Безрассуду», например,— это лаконичный и миниатюрный, доступный для широкого читателя трактат на социальную тему о взаимоотношении крестьян и помещиков, о понимании места крестьян в обществе. В первой части излагается «мнение» Безрассуда — официальная идеология крепостников; в заключение это мнение отвергается, и ему противопоставляется просветительское учение, доказывается, что крестьянин такой же, как и дворянин, человек. «Лечебник» открывается «рецептом» вельможе Недоуму. Убеждения Недоума — это свод дворянских представлений о том, что именно «порода», происхождение определяет ценность человека. Недоуму прописывается рецепт, в котором излагается просветительская точка зрения на истинную ценность человека.

Стр. 131. *Дом бешеных* — сумасшедший дом.

Стр. 132. *Начеркал* — драматург В. И. Лукин, названный так Новиковым за употребление им слова «начеркал» вместо «набросал».

Сочинитель новой комедии — Д. И. Фонвизин; его новая комедия — «Бригадир».

Стр. 134. *Для некоторого купца.*— Тема завоевания купцами дворянских привилегий поднимается Новиковым впервые в литературе. Прообразом купца, вероятно, послужил писателю миллионер С. Я. Яковлев.

Снеси хлеб твой — ты будешь есть хлеб свой (по библейскому тексту).

Стр. 137. *...собрать совет* — созвать консилиум врачей.

Стр. 140. *...от худых мокрот* — от плохих соков.

Смеющийся Демокрит.— Впервые — «Трутень», 1769, л. 28 и 33. В литературе того времени древнегреческий философ-материалист Демокрит (460—370 до н. э.) считался философом-оптимистом и потому изображался смеющимся, тогда как другой древнегреческий философ-материалист Гераклит (Ераклит) Эфесский (ок. 530—470 до н. э.) считался проповедником пессимизма и изображался плачущим.

Стр. 141. *Бедняк сей... ищет Лукрецию.*— Лукреция — знатная римлянка, обесчещенная сыном последнего царя Древнего Рима Тарквиния.

В знак протеста целомудренная Лукреция закололась. Имя ее стало синонимом честности и добродетели.

Стр. 142. *...девять блаженств.*— В христианской религии — девять свойств человека, открывающих ему путь спасения.

Стр. 143. *Душистые воды* — духи.

Стр. 144. *Понеже* — так как (словечко из жаргона чиновников-подьячих).

Стр. 145. *Шиньон* — начесанные вперед волосы.

Отписки крестьянские и помещичий указ ко крестьянам.— Впервые — «Трутень», 1769, л. 26, под заглавием «Копия с отписки», и л. 30 — одно письмо под заглавием «Копия с другой отписки» и второе — «Копия с помещичьего указа». Материалом для отписок (писем) послужили крестьянские наказы депутатам Комиссии по сочинению нового уложения, исполненные перечнем «нужд и отягощений»; Новиков знакомился с ними во время своей работы в этой Комиссии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На сих днях получил я писание...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 2. Статья представляет переделку «Торга семи муз. Из Кригеров снов» (Кригер Иоганн Христиан (1722—1750) — немецкий писатель). В 1762 году «Торг семи муз» перевел и напечатал в журнале «Собрание лучших сочинений» Д. И. Фонвизин. Новиковская статья резко отличается от оригинала, поскольку применена к русским условиям и является сатирой на русскую действительность.

Стр. 153. *Всяк признавал их... как бы за валдайских девушек...*— Жительницы Валдая в XVIII веке славились легкостью своего поведения (см. главу «Валдаи» в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»).

Стр. 155. *...дозволить вывозить деньги из государства...*— В политической экономии второй половины XVIII века были распространены две различных точки зрения — меркантилистская, рекомендовавшая увеличение вывоза товаров и сокращение ввоза (значит, не надо вывозить денег за границу), и физиократическая, настаивавшая на росте ввоза товаров из других стран.

...американскими припадками... изнемогали...— то есть венерическими болезнями, завезенными в Европу из Америки.

Стр. 157—158. *...просящих себе... случайных супругов...*— то есть находящихся «в случае», что на языке XVIII века значило быть в фаворитах.

Стр. 158. *...которые бы из высокородных или, по крайней мере, не меньше высокоблагородных были.*— Высокородными называли имеющих

чин статского советника (в штатской службе) и бригадира (в военной); высокоблагородными — имеющих чин, начиная с коллежского асессора (в штатской) или майора (в военной).

...тысящницы вдовы — овдовевшие жены тысячников, начальников над тысячами или полками, то есть вдовы полковников.

...летели с Еликона...— Геликон, гора в Греции, в греческой мифологии — местопребывание Аполлона и муз; в переносном значении — обитель поэзии.

Я теперь неудобо-разумо-и-духодеятелен! — Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 8 и 9. Статья автобиографична и написана как объяснение с читателем по поводу цензурных гонений, которым Новиков подвергался по повелению Екатерины: в 1770 году был закрыт «Трутень», а затем и новый журнал «Пустомеля». Начатый в 1772 году «Живописец» также вызвал недовольство императрицы. Современникам это было известно. Признание Новикова публике, что он теперь «неудобо-разумо-и-духодеятелен» является намеком на Екатерину как главную его гонительницу. Нелепо звучащее по-русски выражение является, по догадке П. Н. Беркова, переводом с немецкого: «unbequem-verstandes-und geistestätig» — то есть «неудобный из-за своей интеллектуальной и духовной деятельности». Именно таким и был для Екатерины Новиков — издатель сатирических журналов. Вот почему он в начале статьи, намекая на немецкий характер выражения, пишет о том, что нигде в русских книгах или летописях не найти такого словосочетания. Дальнейший аллегорический рассказ о том, как он, Новиков, построил «мосток» (журнал) на «каменный берег» (читающая публика), а его уничтожили — даже «развалин не видно». Он было хотел пойти в полицию и потребовать, чтобы «мосток был», но друзья уговорили не ходить, поскольку дело не в полиции, а в «какой-то...» особе, имеющей право приказывать полиции. Далее автор сообщает, что он уже было смирился с этим, да потом понял, что «уступил им очень много». И тогда он отважно решился все-таки построить «мосток», и публика приветствовала его за это. Так Новиков сообщал публике, что намерен, вопреки Екатерине, продолжать свою литературную и журналистскую деятельность, что готов в условиях полицейских преследований отстаивать свою, независимую от правительства, деятельность.

Недели с две тому...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 10.

Стр. 165. *...а ты, видно, на выскочку* — а ты, видно, назло всем.

Стр. 166. *...ко дво...*— ко двору.

Сколько во Франции почитают Боало де Прея.— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 10.

Стр. 167. *Сколько во Франции почитают Боало де Прея, а в Германии Рабнера...*— Никола Буало-Депрео (1636—1711) — автор девяти сатир

и теоретического трактата «Рассуждение о сатире». Готлиб Вильгельм Рабенер (1714—1771) писал сатиры, обличающие пороки попов, бюргеров, юнкеров в Германии.

...разумные люди похваляют «Всякую всячину», «Трутня» и вашего «Живописца», их потомка.—Упоминание в числе похваляемых публикой журналов «Трутень» и «Живописец» екатерининской «Всякой всячины» — обычная цензурная «уловка» Новикова.

Стр. 168. *Nec si miserum... finet.*— Стихи из второй песни поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.).

Известие, полученное с Еликона.— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 11. Данный «сон» — яркая сатира на Екатерину, сатира, как бы предвещающая позднейшие фонвизинские обличения екатерининского фаворитизма и разврата, процветающих при дворе. Герой «сна» — автор «известия» — встречается во сне с музами, которые просят ответить на вопрос: «Какой это род людей метрессы и каким образом они у вас заведены?» Ответ на вопрос и составляет содержание сатиры. Муза, имеющая «долг больше всех пещися о их (женщин.— *Г. М.*) целомудренности, верности и святости брака», ведет роспись всем честным женщинам. Она просит автора прочесть эту роспись, с тем чтобы он нашел в списке за последнее полустолетие, «а наипаче последних годов» современную Лукрецию. В списке женщин «за последние годы» автор не находит Лукреции и на вопрос музы отвечает: «Извините, сударыня, я, право, здесь...» Фраза оборвана, ее продолжение ясно: «не нашел Лукреции», то есть добродетельной женщины. Все эти намеки, недомолвки должны были обличать «великую жену», «мудрую матерь отечества», как метрессу. В журнальной публикации статья кончалась извещением: «Продолжение будет в следующем номере». Его не последовало. При печатании «известия» в книге Новиков крупным шрифтом сообщал: «Продолжения не будет». Лукреции найти не удалось!

Как мне известно...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 18. Данное письмо Любомудрова и ответ сочинителя «Живописца» (оба написаны Новиковым) излагают новиковскую просветительскую программу. В письме Любомудрова рассказывается о создании Новиковым в 1773 году «Общества, старающегося о напечатании книг», целью которого было издание и распространение, независимо от правительства, нужных России книг, учебников, журналов и газет. Новиковское «Общество» просуществовало только два года и в 1775 году закрылось из-за отсутствия средств. Но в 1779 году Новиков на базе арендованной им типографии Московского университета начнет осуществлять программу, сформулированную в этих статьях.

Стр. 172. *Правило... государственного домостроительства...*— политическая экономия.

Стр. 174. *...но не у прииде час.*— Но не настал еще час (цитата из Евангелия).

Лишь только уверился я...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 21.

Стр. 176. *47 гр. 57½ мин. долготы, а 59 гр. 56¼ минут широты* — координаты Петербурга.

...тропинка вся усыпана была волчцами — то есть колючками.

Стр. 177. *...муж лет семидесяти...*— Имеется в виду Бецкой Иван Иванович (1704—1795), видный деятель культуры екатерининского времени; ведал благотворительными и учебными заведениями, основатель Смольного института; в 1773 году ему было 70 лет.

Стр. 178. *...по Зодиям...*— В гадательных книгах XVIII века сны толковались в зависимости от дня недели и месяца, посвященных определенным планетам и созвездиям (зодиям).

На сих днях...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 22.

Стр. 179. *Сатурн уже начинал за мою жизнь третий раз свое течение...*— Сатурн обращается вокруг Солнца в течение 29 лет и 168 дней; *в третий раз* — следовательно, автору письма было шестьдесят лет.

Стр. 180. *...заченшиеся* — зародившиеся, зачатые.

Случившееся недавно со мною...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 22. Письмо «Доброжелателя» принадлежит к любимому Новиковым жанру «писем к издателю» от читателей (доброжелателей и недругов), которые знакомили читающую публику с общественным мнением, с реакцией столичного дворянства на сатиру «Живописца». В данном письме поставлена важная патриотическая тема — создание самобытной русской литературы.

Апеллес (2-я пол. IV в. до н. э.) — выдающийся древнегреческий живописец.

Стр. 181. *...вы, не зная ни по-французски, ни по-немецки, следовательно, по одному природному разуму и остроте, не заимствуя от чужестранных писателей, пишете такие листочки, которые многим... людям нравятся.*— В действительности Новиков хорошо знал французский и немецкий языки. Здесь Новиков выступает против непросвещенных дворян, не любивших и не уважавших русскую культуру, язык и литературу. Он отказывается следовать иностранным образцам и не заполняет страницы журнала переводами или переделками французских, английских и немецких сочинений, как это делали многие журналы, а больше всех журнал Екатерины II «Всякая всячина».

Я начинаю скучать городскою жизнию...— Впервые — «Живописец», 1773, ч. 2, л. 23. Письмо и примечание к нему носят важный общественный характер. Новиков стремился поддерживать и ободрять тех молодых людей, кто не хотел служить екатерининскому правительству, поскольку «великие чины» их «не прельщали». Сам Новиков

в 1769 году вышел в отставку молодым человеком и занялся полезной для общества деятельностью писателя-сатирика и издателя. Екатерина осуждала этот шаг Новикова.

Сатирические ведомости.— Впервые — «Трутень», 1769, л. 6, 9 и 16 (№ 1, 2, 3) и «Живописец», 1772, ч. 1, л. 6 и 20. По жанру это сатирическое произведение — пародия на газету, отсюда разделы и жанры — «известия» (из различных городов или улиц), «подряды», «продажа» и, наконец, «курс деньгам». Как всякая газета, «Сатирические ведомости» наполнены злободневным материалом. В отличие от сатирических сочинений типа «Смеющийся Демокрит», где речь шла об общих пороках, здесь всегда имелся в виду реальный факт или явление. В каждом разделе современники находили ясный им намек на реальное событие или на реальных людей. В настоящее время не все намеки удается раскрыть.

Стр. 184. *Один... дворянин... имел крепостного человека... миниатюрного живописца* — то есть живописца, рисующего миниатюры. Имеется в виду миниатюрист Андрей Чернов, ему принадлежат портреты-миниатюры семейства графов Орловых. Видимо, кто-то из них купил Чернова за пятьсот рублей и старался устроить его в Академию художеств.

Стр. 185. *...перья голландские* — гусиные перья для письма.

Стр. 186. *...по положенному у одной престарелой кокетки о любовниках штату потребно поставить молодых... дворян...*— Дерзкое выступление Новикова против фаворитизма Екатерины II. Известно было, что, помимо официальных, быстро менявшихся любовников Екатерины (Орлов, Васильчиков, Потемкин, Зорич, Ланской и т. д.), специальные служащие (вроде Перекусихиной) подбирали «молодых людей» для императрицы на небольшие сроки на «должности» так называемых «ночных императоров». В «Сатирических ведомостях» № 3 эта тема продолжена — в сообщении из Москвы указывается, что «подряд любовников к престарелой кокетке» «вскружил голову» «многим господчикам» и они «поскакали» в Петербург. В 1775 году Екатерине было сорок шесть лет.

Стр. 187. *Аукционист* — чиновник, продававший описанное властями имущество с публичного торга (аукциона).

Кащей — главное действующее лицо в комедии Сумарокова «Лихоимец», прототипом которого был А. И. Бутурлин. На это лицо намекает в своей сатире Новиков.

Жидомор — речь идет о петербургском банкире Я. И. Жадимеровском.

Стр. 191. *...проценты по полушечке только в день на рубль.*— Полушка — четверть копейки, следовательно, за год надо платить $94^1/_4$ копейки с рубля в качестве процентов за заем.

...мусы, прославленные в России г. С., ...жаловалися на дерзновение молодых писателей...— Новиков говорит о «жалобе» муз — Мельпомены и Талии (муз трагедии и комедии) на молодых писателей

Ф. Я. Козельского, автора посредственной трагедии «Пантея», и В. И. Лукина, автора комедий, которые были «склонением на русские нравы» иностранных комедий. ...*г. С.*— А. П. Сумароков (1717—1777) — крупнейший русский драматург.

Стр. 191—192. ...*показал Талии новую русскую комедию* ****, *сочиненную... молодым писателем.*— Речь идет о первой оригинальной русской комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир», которую драматург привез из Москвы в 1769 году и читал в Петербурге в разных домах с большим успехом.

Стр. 192. *«Разговоры о множестве миров»* — сочинение французского ученого Бернара Фонтенеля (1657—1757), направленное против церковного учения о происхождении мира и пропагандировавшее учение Коперника и Декарта о вселенной. На русский язык книга была переведена Кантемиром в 1730 году, из печати же вышла только в 1740, но решением Синода признана «богопротивной», и на этом основании предлагалось ее «отбирать» и присылать в Синод. Защита Новиковым этого сочинения и пропаганда антицерковного учения в журнале характеризуют его деистическое мировоззрение. Напечатанная впервые в «Трутне», эта заметка перепечатывалась в «Живописце» в 1775 и 1781 годах, в пятом издании (1795) была снята цензурой.

Стр. 194. *Бурдо* — Бордо, крупный порт во Франции.

...*привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они... бароны, шевалье, маркизы и графы... Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею...*— Это сообщение не сатирическое преувеличение, а реальный факт: в 1760-х годах в Петербурге разразился скандал — советник французской миссии Мессельер получил приказ из Парижа разыскать в России ряд лиц, сбежавших из французских тюрем. К своему удивлению, французский дипломат обнаружил беглых каторжников в богатых дворянских домах, где они исполняли должность воспитателей.

Некоторый стихотворец...— Имеется в виду В. П. Петров — поэт и переводчик «Энеиды» Вергилия, которого Екатерина поощряла и называла «вторым Ломоносовым».

Стр. 196 ...*повольною ценою* — по договоренности.

Стр. 198. *Из Миллионной.*— До середины XVIII века на этой, одной из центральных улиц столицы располагались переплетные мастерские, при которых производилась продажа книг. Специальные книжные магазины появились в последние десятилетия века.

Свирепствовавшая в нашем городе заразительная болезнь...— С весны 1771 года по январь 1772 года в Москве была эпидемия чумы. «Неусыпными попечениями некоторых истинных сынов отечества»,— а именно московским главнокомандующим П. Д. Еропкиным и специально посланным Екатериной для усмирения чумного бунта графом Г. Г. Орло-

вым,— эпидемия была приостановлена. Похвала Г. Г. Орлову носила демонстративный характер — с весны 1772 года он был в опале, и его место фаворита уже занял Васильчиков.

Стр. 199. *В нашем городе сочиненные комедии...*— это произведения Екатерины «О время», «Госпожа Вестникова с семьею» и «Именины г-жи Ворчалкиной», игранные в Петербурге на придворном театре в 1772 году и в том же году изданные анонимно с указанием, что сочинены в Ярославле. Екатерина не была в Ярославле.

Стр. 203. *...обронил кредит* — то есть потерял кредит, доверие заимодавца.

Селадон — герой пасторального романа «Астрея» французского писателя О. Д'Юрфе (1568—1625), в котором описывается блаженная страна и изысканные любовные переживания пастуха Селадона и пастушки Астреи; позже имя Селадон стало нарицательным для обозначения любовника или женолюбивого старичка.

Возлюбленному о Христе брату радоватися.— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 21. Письмо Тарасия — сатира на русское духовенство.

Стр. 204. *...ежеседмишные* — еженедельные.

Обаче — однако.

Пречестный отец Тарасий! — Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 21. Заметка эта — ответ Новикова — «живописца» Тарасию, и потому она является органическим завершением письма Тарасия.

Стр. 205. *...семо поучают: а идеже поучаются? онде исправляют: и где исправляются? не исправятся убо поучаемые, дондеже не исправятся поучающие.*— В иронической форме говоря о взаимоотношениях писателя-сатирика и обличаемых им «недостойных» людей, Новиков намекает здесь на журнальную и литературную деятельность Екатерины, заявляя, что она призывает исправляться, а это бесполезно, поскольку поучающая сама погрязла в пороках и не исправилась.

Что мне делать? — Впервые — «Живописец», 1773, ч. 1, л. 21. Письмо написано Новиковым от имени знатного и чиновного дворянина, ненавистника всего русского, который, вдохновленный «неизвестным» ему сочинителем комедий «О время», «Именины г-жи Ворчалкиной» и «Госпожа Вестникова с семьею», то есть Екатериной, собирается сам написать комедию. Сатирический смысл письма в том, что осмеяние дилетантских сочинений императрицы осуществляется от имени одного из тех, кто составлял опору ее власти.

Я имею у себя родственника молодого человека...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 16.

Стр. 207. *...после Ставучанской баталии...*— Сражение между турецкими и русскими войсками при Ставучанах (Бессарабия) было 17 августа 1739 года.

Стр. 208. *...от подьячего с припискою...*— то есть от чиновника, скреплявшего своей подписью официальный документ; подпись свидетельствовала о его подлинности.

Вы стараетесь выводить наружу пороки...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 17.

Сообщите, прошу вас покорно...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 18.

Стр. 211. *Очистки крестьян* — сведения об уплате крестьянами недоимок по оброку.

Долго ли тебе устремлять гнев твой...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 18.

Будучи всегдашним читателем...— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 19.

Стр. 214. *...упомянули о кофегадательницах...*— В XVIII веке было широко распространено в дворянском обществе гадание на кофейной гуще.

Кивилла (Сивилла) — прорицательница (греч. миф.).

Стр. 215. *...его отдают в приказ...*— отправляют для наказания в полицию.

Стр. 217. *Саул* — первый царь Израильско-иудейского царства (XI в. до н. э.).

Чародейница во Ендоре — Аэндорская волшебница (библ.). Библейская легенда рассказывает, что Саул, приказавший уничтожить в своем царстве всех занимавшихся гаданием и вызыванием духов, сам прибегал к услугам Аэндорской волшебницы; потому-то она и избежала гибели. Новиков полагал, что Аэндорская волшебница была казнена.

Отрывок путешествия в *** И*** Т***.— Впервые — «Живописец», 1772, ч. 1, л. 5 и 14. В отдельной книге «Живописца» обе части «Отрывка» соединены в одно целое; в текст внесены отдельные стилистические поправки.

В научной литературе вопрос об авторе «Отрывка» продолжает оставаться спорным. Существуют две точки зрения, по одной из которых авторство закрепляется за Радищевым, по другой — за Новиковым. Первая гипотеза наиболее подробно сформулирована В. П. Семенниковым (см. его книгу «Радищев», Пг. 1923, стр. 319—364) и П. Н. Берковым, который аргументы, выдвинутые В. П. Семенниковым, дополнил новыми фактами и наблюдениями, позволившими ему настойчиво отстаивать авторство Радищева (см. его книгу «История русской журналистики XVIII века», Изд-во АН СССР, М.—Л. 1952, стр. 192—209). Другие ученые оспорили аргументы В. П. Семенникова и П. Н. Беркова, выдвинули новые факты и новые аргументы в пользу авторства Новикова (см. книги: Г. П. Макогоненко, «Николай Новиков и русское Просве-

щение XVIII века», Гослитиздат, М.—Л. 1951, стр. 231—255; «От Фонвизина до Пушкина», «Художественная литература», М. 1969, стр. 298—329; и работу Л. В. Крестовой «Из истории журнальной деятельности Н. И. Новикова (Кто был автором «Отрывка путешествия в *** И *** Т***» и «Писем к Фалалею»), напечатанную в «Исторических записках» АН СССР, 1953, № 44, стр. 253—287).

Гипотезу В. П. Семенникова и П. Н. Беркова активно отстаивал в работах по истории журналистики А. В. Западов. В последней книге «Н. И. Новиков» (в серии «Жизнь замечательных людей», «Молодая гвардия», М. 1968) он пересмотрел свою точку зрения и пришел к выводу, что «Отрывок» принадлежит Новикову.

Стр. 218. *...одоньи* — скирды.

Стр. 219. *О солнце, лучами щедрот своих *** озаряющее...* — По-видимому, три звездочки означают пропущенное слово «дворян» или «господ».

Стр. 220. *...любимцы Плутовы* — любимцы бога богатства Плутоса (греч. миф.), то есть богачи.

Стр. 221. *Волокиты и щеголихи... скакали на берег...* — Имеется в виду привычные в 1760-е годы прогулки по песчаной полосе у стены Петропавловской крепости.

Д. И. ФОНВИЗИН

Денис Иванович Фонвизин (1745—1792) родился в богатой дворянской семье. Образование получил в Московском университете: в 1755—1760 годах учился в гимназии, а в 1761—1762 годах на философском факультете. Литературным трудом стал заниматься в университетские годы — сначала писал сатирические произведения, которые распространялись в рукописях (до нас не дошли), а потом занялся переводами. В 1761 году в университетской типографии была напечатана книга басен Л. Гольберга в переводе Фонвизина. В 1762 году Фонвизин покидает университет и поступает переводчиком в коллегию иностранных дел. С 1763 по 1769 год он был прикомандирован к кабинет-министру И. П. Елагину, служба у которого сблизила молодого писателя с двором Екатерины II. Продолжая заниматься переводами, перевел, в частности, четыре части романа Террассона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя Египетского», «Иосиф» Битобе и др. В 1764 году была поставлена на сцене стихотворная комедия Фонвизина «Корион» (переделка драмы французского писателя Грессе).

В 1769 году Фонвизин закончил оригинальную комедию «Бригадир» и тогда же перешел на службу в коллегию иностранных дел, заняв пост секретаря канцлера и воспитателя Павла Н. И. Панина. В 1777—1778 годах Фонвизин путешествовал по Германии и Франции. Путевые

впечатления были закреплены в «Записках первого путешествия» («Письма из Франции»). К началу 1780-х годов относится остросатирическое сочинение Фонвизина — «Рассуждение о непременных государственных законах», в котором дается резкая критика екатерининского правления. Сочинение это не могло быть издано, но оно распространялось в списках. Позже его использовали декабристы.

В 1781 году была закончена и в следующем году поставлена лучшая комедия Фонвизина «Недоросль». В 1782 году Фонвизин вышел в отставку и целиком отдался литературной работе. В 1783 году он напечатал несколько сатирических сочинений в журнале «Собеседник любителей российского слова», который редактировали Екатерина и Е. Р. Дашкова. В 1784—1785 годах писатель путешествовал по Германии и Италии. По возвращении на родину его разбил паралич. Несмотря на тяжелую болезнь, писатель не прекращал работы: в 1785 году анонимно вышел отдельной книгой его перевод одной из глав сочинения Циммермана «Рассуждение о национальном любочестии», а в 1786 году оригинальная сатирическая повесть «Каллисфен». В 1788 году Фонвизин подготовил к изданию сатирический журнал «Друг честных людей, или Стародум», который по указанию Екатерины был запрещен. Предпринятая Фонвизиным в том же году попытка издания собрания своих сочинений также не увенчалась успехом — издание было запрещено. Около 1789 года, за три года до смерти, Фонвизин приступил к работе над автобиографическим произведением «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (дошло до нас в незавершенном виде).

Современное издание см.: Д. И. Фонвизин, Собрание сочинений в 2-х томах, Гослитиздат, М.—Л. 1959 (в издание вошло несколько впервые печатаемых произведений), по тексту которого печатаются произведения Фонвизина в настоящем томе.

Недоросль.— Комедия написана в 1781 году. Впервые представлена в театре 24 сентября 1782 года. Первое отдельное издание вышло в 1783 году.

Указом 1714 года Петр I повелел всем дворянам вступить на военную или гражданскую службу. Дворяне, не получившие образования, на службу не принимались, и им запрещалось жениться. Так правительство насильно заставляло дворян учиться. «Недорослями» официально называли молодых дворян, еще не получивших свидетельства об образовании. Во времена Фонвизина дворянские дети обязаны были трижды являться на проверку: в семь лет, в двенадцать (должны были доказать, что умеют «совершенно читать и чисто писать») и в пятнадцать (экзаменовали по одному из иностранных языков — французскому или немецкому, закону божию, арифметике и геометрии). С пятнадцати до

двадцати лет недоросль обязан был учиться еще географии, истории и артиллерии. Не выдержавшие при повторной поверке испытаний зачислялись в рядовые без права повышения по службе.

Стр. 233. *Пота́* — до тех пор.

Стр. 235. *...каковым изображен наместник в Учреждении...*— В 1775 году Екатерина издала «Учреждение для управления губерний». Во главе каждой губернии стоял губернатор и его помощник — вице-губернатор. На две-три губернии назначался наместник, который должен был представлять особу государя и осуществлять верховную власть. При нем было наместническое управление; членом его и состоял Правдин. Ссылка на «Учреждение» носит издевательский характер. В нем Екатерина демагогически повелевала наместнику быть «оберегателем изданного узаконения, ходатаем за пользу общую и государству, заступником утесненных». Наместники имели право «пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутство, мотовство, тиранство и жестокость». Получив необъятную власть, наместники использовали ее в своих корыстных целях. Огромные административные округа, вверенные им для управления, они превратили в свои вотчины. Одним из таких наместников был фаворит Екатерины Г. А. Потемкин. К году появления «Недоросля» уже было хорошо известно, что такое «государевы наместники». Фонвизин внушает зрителю мысль — как легко можно было бы, даже без особых усилий, без реформ, обуздать тиранствующих помещиков, если бы Екатерина хотела использовать то, о чем демонстративно заявляла, если бы наместники были действительно такими, как это изображено в «Учреждении».

Стр. 251. *Нет, братец, ты должен образ выменять господина офицера...*— то есть купить икону с изображением того святого, имя которого носил офицер.

Стр. 262. *Фенелон* Франсуа (1651—1715) — французский писатель, педагог, один из предшественников Просвещения. Автор популярного в XVIII веке романа «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699), в котором критикуется правление Людовика XIV. В трактате «О воспитании девиц» (1687) излагаются принципы наглядного обучения. Русские переводы выходили в 1763 и 1774 годах.

Стр. 270. *...ни в какой герольдии не отыщешь.*— В сенате существовал департамент герольдии, занимавшийся делами дворян (выдавал документы о происхождении, о предках, о прохождении службы, о получении наград и т. д.).

Эдак вы нас уверите, что он старее Адама.— В Библии рассказывалось, что бог сотворил мир в шесть дней. В шестой день сначала были созданы звери, а уж потом Адам. Правдин иронически намекает зрителю, что Скотинин произошел не от человека (Адама).

Стр. 280. *...да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?* — См. прим. к стр. 115.

Стр. 281. *...повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.*— Брать в опеку имения помещиков, то есть вмешиваться в отношения дворян с крестьянами с целью ограничения прав представителей «благородного сословия», может только истинно просвещенный монарх. Таким монархом Екатерина II не являлась, но им был в свое время Петр I, который специальным указом и ввел опеку правительства над имениями помещиков-тиранов. В пору своего показного либерализма Екатерина в «Наказе» (1767) в статье 256 напомнила об этом: «Петр I узаконил в 1722 году, чтоб безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последнее для чего без действа осталося неизвестно» («Наказ», СПб. 1793, стр. 89). Фонвизин отважно свидетельствовал: указ Петра сознательно не выполняется Екатериной II, она не хочет его применять, и потому, значит, она виновата в преступных действиях Простаковых и Скотининых.

Записки первого путешествия.— Они состоят из писем Фонвизина, которые он писал во время путешествия во Францию (сентябрь 1777 — ноябрь 1778 г.) своему другу Петру Ивановичу Панину (1721—1789), генералу в отставке.

Письма носили не частный, а литературный характер. Собираясь в 1788 году издать собрание своих сочинений, Фонвизин включил в него и письма из Франции под заглавием «Записки первого путешествия». Собрание сочинений было запрещено Екатериной, и «Записки» в целом виде не увидели света. Вскоре они стали распространяться в списках. В 1798 году Иван Пнин в своем «Санктпетербургском журнале» напечатал два письма — из Парижа и из Ахена. В 1806 году в «Вестнике Европы» было напечатано шесть писем, входивших в «Записки» (два уже известных по «Санктпетербургскому журналу» и четыре новых). Через одиннадцать лет в «Образцовых сочинениях и переводах» (СПб. 1817, ч. 6), в разделе «Слог писем», были напечатаны по тексту «Вестника Европы» (изобилующего ошибками и пропусками) три последних письма Фонвизина (два из Парижа и последнее, итоговое, из Ахена) под тем же названием: «Письма из Франции к одному вельможе в Москву». Таким образом, значительная часть «Записок» была опубликована, они стали литературным фактом, оказывали влияние на формирование русской прозы. Всего в «Записки» входило десять писем — одно из Варшавы, одно из Дрездена, четыре из Монпелье, три из Парижа и одно из Ахена. «Вестник Европы», а затем издатели собрания сочинений Фонвизина П. Бекетов (1830) и П. Ефремов (1866) напечатали шесть писем. В последнее время удалось обнаружить еще два письма — из Монпелье (от 25 января 1778 г.) и из Парижа (август 1778 г.). Таким обра-

зом, мы сейчас располагаем «Записками первого путешествия» почти в полном составе.

Стр. 287. *Карл IV* (1316—1378) — германский император, издавший в 1356 году Золотую буллу, юридически закрепившую фактическую независимость князей внутри империи.

Стр. 288. *...братца вашего.*— Никита Иванович Панин, граф (1718—1783) — видный государственный деятель, канцлер, дипломат. С 1760 по 1773 год являлся воспитателем цесаревича Павла Петровича, с 1763 года возглавлял иностранную коллегию, в которой служил Фонвизин. В 1781 году вышел в отставку.

Bourg-en-Bresse — Бур-ан-Бресс — главный город старинной французской провинции Бресс.

Стр. 289. *Don gratuit* — «доброхотный дар», якобы подносимый подданными своему королю в случае государственной нужды; на деле превратился в подать, время от времени назначаемую по приказу короля. Провинциальные штаты лишь фиктивно вотировали don gratuit, будучи бессильны отказать королю. Им только удавалось иногда ограничить размер этой подати.

Стр. 291. *...известие о умерщвлении князя Гики.*— Князь Гика (Григорий III) с 1768 года во время русско-турецкой войны был господарем Валахии. При заключении мира в 1774 году утвержден Екатериной II господарем Молдавии. За противодействие уступке Буковины Австрии в 1777 году был задушен по приказанию великого визиря Османской империи.

Стр. 292. *...успехи англичан против американцев.*— С 1776 года Англия вела войну со своими тринадцатью колониями, объявившими себя независимой республикой — Соединенными Штатами Северной Америки. В конце 1777 года англичане добились некоторых военных успехов.

Франклин Вениамин (1706—1790) — видный деятель американского Просвещения, ученый-физик, писатель. Франция, заинтересованная в ослаблении Англии, поддерживала американцев в их борьбе за независимость. Поэтому она приняла Франклина как поверенного молодой республики, а в 1778 году аккредитовала его как посла. Эта акция обострила отношения Франции с Англией. В том же году Франция открыто вступила в войну против Англии на стороне американцев.

...известие о разрешении от бремени ее императорского высочества...— 12 декабря 1777 года Мария Федоровна, жена наследника Павла, родила сына — Александра Павловича.

Стр. 298. *Георг III* (1738—1820) — английский король с 1760 г., в царствование которого Англия вела войну против боровшихся за свою независимость североамериканских колоний. Впоследствии активно поддерживал европейскую реакцию в ее борьбе с французской буржуазной революцией.

Стр. 300. *Сей осьмидесятилетний старик сочинил новую трагедию: «Ирена, или Алексий Комнин»... Нельзя никак сравнить ее с прежними...*— Точное название — «Ирина». Трагедия написана Вольтером в 1776 году как ответ французским драматургам, выступавшим с требованием шекспиризировать театр. Вольтер призывал к верности национальным традициям, то есть традициям классицизма XVII века, восхвалял Расина. «Ирина» — трагедия расиновского типа. Фонвизин во время пребывания в Париже с холодностью относится к произведениям, вдохновленным эстетикой классицизма, и восторженно приветствует Руссо и его «Исповедь», которая явилась манифестом нового литературного направления.

Стр. 301. *...до другого чудотворца, Сен-Жерменя...*— Сент-Жермень (Сен-Жермен, ум. в 1795 г.) — известный авантюрист и мнимый обладатель тайны «философского камня».

Стр. 305. *Томас* (Тома) Антуан Леонар (1732—1785) — французский писатель-просветитель; директор Французской академии наук.

Марк Аврелий (Антонин Марк Аний Вер; 121—180 н. э.) — римский император, философ-моралист, близкий идеалистической школе стоиков. Просветители XVIII века превозносили Аврелия как истинного просвещенного монарха.

Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799) — французский писатель-просветитель, член Французской академии наук. В России в XVIII веке большой популярностью пользовался его роман «Велизарий», переведенный на русский язык Екатериной II и ее спутниками во время путешествия по Волге в 1767 году.

Стр. 306. *По смерти Лекеневой...*— Анри Луи Лекен (1729—1778) — французский актер, прославившийся исполнением ролей в трагедиях Вольтера.

Стр. 307. *Образ смерти его заставляет думать, что он отравился.*— Фонвизин приводит распространенную тогда в Париже версию смерти Жан-Жака Руссо (1712—1778).

Стр. 309. *...стих Кребильонов...*— Кребильон Проспер де (Старший; 1674—1762) — французский драматург и поэт, член Французской академии.

Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны...— Д'Аламберт — Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783) и Дидерот — Дидро Дени (1713—1784) — французские просветители, редакторы «Энциклопедии». Осуждая поведение некоторых французских просветителей, Фонвизин вовсе не отрицал идей глашатаев свободы. Письма из Франции свидетельствуют, что он выступал не против просветительства, но против поведения отдельных философов. С почтением он говорит о Руссо, с уважением относится к Вольтеру, близко сходится с Тома, встречается в Париже со многими писателями, философами, общественными деяте-

лями. Он доволен своей встречей с Франклином. Нападки на Даламбера и Дидро объясняются политическими причинами. Проповедуя политическую концепцию просвещенного абсолютизма, они, наблюдая за демонстративно-либеральной политикой Екатерины II (издание «Наказа», в котором она откровенно излагала истины, взятые из книги французского просветителя Монтескье «Дух законов», созыв Комиссии по сочинению нового уложения, поощрение переводов на русский язык сочинений французских просветителей и т. д.), поверили ей. Екатерина к тому же поспешила закрепить это доверие: вступила с ними в переписку, приглашала кого-нибудь из них приехать в Россию и воспитывать ее сына Павла. Наконец, узнав о материальных затруднениях Дидро по изданию «Энциклопедии», нашла предлог, чтобы пожертвовать ему крупную сумму денег, которая свидетельствовала как бы не только о поддержке философа, но и его великого труда. В конце 1773 года Дидро прибыл в Петербург, был гостем Екатерины, искренне обманываясь, «учил» ее царствовать. Получая от русской императрицы богатые подарки, Дидро и другие просветители считали себя обязанными оказывать ей различные услуги. И прежде всего они усиленно распространяли в Европе легенду о просвещенном характере екатерининского самодержавства. Именно этого и добивалась Екатерина. Вольтер, например, сообщал ей: «Всякая черта вашей руки есть памятник славы вашей. Дидерот, Даламберт и я созидаем вам алтари». Фонвизин и другие русские просветители в это же время вели ожесточенную борьбу с Екатериной, разрушали созидаемые ей «алтари», ниспровергали легенду о ней как просвещенной монархине. Вот почему, когда Фонвизин стал свидетелем в Париже «ласкательства» Даламбера и других у родственников фаворита Екатерины, он назвал такие поступки «подлыми».

Зорич Семен Гаврилович (1743—1799; по отцу Неранчич, носил фамилию усыновившего его дяди, М. Ф. Зорича) — флигель-адъютант, фаворит Екатерины II с июня 1777 по май 1778 года.

Неранчич Давид Гаврилович — брат фаворита Екатерины, С. Г. Зорича; полковник, флигель-адъютант, впоследствии генерал-майор.

Стр. 310. *Расин* Жан (1639—1699) — французский поэт и драматург.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург.

Стр. 312. *Э (Aix)* — город Экс к северу от Марселя, древняя столица Прованса.

Стр. 312—313. *Один представляет Пилата, другой Каиафу...* — Пилат Понтий (I в.) — римский правитель Иудеи, предавший, по библейскому сказанию, Иисуса Христа в руки судей. Каиафа — иудейский первосвященник, осудивший, по библейскому преданию, Христа на смерть.

Стр. 313. *Les lettres de cachet суть именные указы...* — Бланки королевских приказов о заключении в тюрьму без суда любого человека выдавались полиции с пробелом на месте, где должна быть указана

фамилия обвиняемого. Полиция, имея такие приказы, вписывала любые фамилии и расправлялась с неугодными ей людьми.

Стр. 316. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый оратор, политический деятель, адвокат и писатель Древнего Рима.

Стр. 317. *Мария-Антуанетта* (1755—1793) — французская императрица, дочь австрийской императрицы Марии-Терезии.

Мария-Терезия (1717—1780) — австрийская императрица.

Повествование мнимого глухого и немого.— Впервые напечатано в IV и VII частях «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. Обещанное в журнале продолжение не было напечатано: видимо, сатирический характер «Повествования» оказался неугодным негласному редактору журнала — Екатерине II. В 1788 году Фонвизин, собираясь издавать собрание своих сочинений, опубликовал в газете проспект издания, в котором указывалось, что в него войдет «Повествование». Следовательно, оно было закончено. К сожалению, его окончание, как и многие другие произведения писателя, до нас не дошло. Из письма П. И. Панину от августа 1778 года (из Парижа) мы узнаем, какое огромное впечатление произвела на него «Исповедь» Руссо. Стремление Руссо изображать без «малейшего притворства всю свою душу», «обнаружить сердце свое» оказалось близким Фонвизину. «Повествование» — первый его опыт в «познании человека».

Стр. 318. *Эйлер* Леонард (1707—1783) — известный математик, физик и астроном, член Петербургской и Берлинской академий наук. Родился в Швейцарии; в 1727—1741 и 1766—1783 годах жил и работал в России.

Стр. 323. *...Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его... до штаб-офицерского чина...*— Оплеушин был возведен в один из высших офицерских чинов (штаб-офицер). Здесь резко сатирический выпад писателя против двора, где как раз практиковались такого рода карьеры: сенатор Г. Н. Теплов, состоявший в кабинете Екатерины «у принятия челобитен», был сыном истопника псковского архиерейского дома; полковник З. Зотов служил сначала камердинером у Потемкина, а потом у Екатерины; повару императрицы Елизаветы Фуксу был пожалован чин бригадира, и т. д.

Стр. 329. *Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу... скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкаясь доживать свою старость в Москве...*— Фонвизин отметил типическое явление: многие вельможи и фавориты, получив отставку, отбывали в Москву, где и доживали свой век. Во время печатания «Повествования» в Москве жил А. Г. Орлов, брат умершего фаворита Г. Г. Орлова. Братья Орловы вели в течение ряда лет жестокую борьбу с Н. И. Паниным. Не исключена возможность, что, говоря о вельможе, живущем «на покое», Фонвизин имел в виду именно его.

Стр. 331. *Продолжение будет впредь.*— Обещанное продолжение в «Собеседнике» напечатано не было.

Каллисфен.— Впервые напечатано в журнале «Новые ежемесячные сочинения» в 1786 году.

Стр. 332. *Каллисфен* (360—328 до н. э.) — греческий философ и историк, сын сестры Аристотеля. Сопровождал Александра Македонского во время похода его армий в Индию. Был заподозрен в заговоре, закован в цепи; умер в заключении.

Аристотель (384—322 до н. э.) — крупнейший древнегреческий философ и ученый.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира, сын царя Филиппа II, царь Македонии; прославился своими завоевательными походами в Египет, Персию, Индию.

Стр. 333. *Дарий III* Кодоман — древнеперсидский царь (царствовал с 336 по 330 до н. э.); царство его распалось под ударами войск Александра Македонского.

Друг честных людей, или Стародум.— Впервые полностью — «Собрание оригинальных драматических сочинений и переводов Д. И. Фонвизина», в 3-х частях, М. 1830.

Журнал «Друг честных людей» должен был выходить с апреля 1788 года, но был запрещен цензурой. Некоторые статьи, написанные раньше, как сообщалось в объявлении о новом журнале, ходили в рукописях (например, «Всеобщая придворная грамматика»).

Стр. 344. *Вольные типографии.*— По указу Екатерины II 1783 года разрешалось открывать типографии частным лицам.

Стр. 349. *...кажутся Катонами...*— Имеется в виду Катон Марк Порций (Старший; 234—149 до н. э.) — римский государственный деятель и оратор. Его имя стало нарицательным для человека строгих принципов и сурового образа жизни.

Стр. 350. *...безгласные* — то есть согласные.

Стр. 361. *Цезуркин* — фамилия, произведенная от слова «цезура», которое означает в теории стихосложения паузу, разделяющую стих.

Стр. 363. *Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют...*— Намек на запрещение Комиссии по сочинению нового уложения, в которой депутаты не только вырабатывали новые законы, но и показывали «дар красноречия».

...где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается.— Фонвизин перечисляет высшие государственные должности в Древнем Риме.

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — афинский оратор и политический деятель.

Прокопович Феофан (1681—1736) — русский общественный и церковный деятель, публицист и проповедник эпохи Петра.

Елагин Иван Перфильевич (1725—1794) — государственный деятель, занимал разные должности при дворе Екатерины, был директором театров, писатель-дилетант. Под его началом Фонвизин служил в молодости.

Поповский Николай Никитич (ок. 1730—1760) — поэт и ученый, профессор Московского университета, ученик и последователь Ломоносова.

Гавриил (Петров; 1730—1801) — митрополит Петербургский, проповедник, депутат духовенства в екатерининской Комиссии по сочинению нового уложения.

Самуил (Симеон Мирославский; 1731—1796) — митрополит Киевский, славившийся своим красноречием.

Платон (Левшин; 1737—1812) — митрополит Московский, отличавшийся ораторским талантом.

Тиллотсон Джон (1630—1694) — архиепископ Кентерберийский, знаменитый проповедник.

Бурдалу Луи (1632—1704) — французский духовный оратор.

...установление Российской академии.— Открытая в сентябре 1783 года, Российская академия занималась в основном вопросами русского языка и составлением словаря. До 1796 года ее президентом была княгиня Е. Р. Дашкова. В состав академии входили писатели — Державин, Княжнин, Фонвизин и др.

Стр. 364. *Халдина* — фамилия, образованная от слова «халда», то есть бесстыжая, нахальная женщина.

Стр. 365. *...стал продавать людей на службу отечеству...*— Речь идет о беззаконной, но прибыльной торговле крепостными крестьянами, которых помещики продавали в рекруты.

Стр. 366. *...твое честолюбие есть катилининское. Берегись, Сорванцов, чтобы и тебя не постиг какой-нибудь бедственный конец!* — Халдина говорит о политическом деятеле Древнего Рима Катилине Луции (ок. 108—62 до н. э.), который, честолюбиво стремясь к личной власти, подготовил заговор, но был разоблачен Цицероном. Главари заговора, оставшиеся в Риме, были казнены, Катилина бежал, чтобы возглавить преданные ему войска. В сражении с правительственными войсками Катилина был убит.

Стр. 367. *Когда в российских городах заводят университеты...*— По составленному в 1787 году «плану университетов и гимназий, в разных местах заводимых», намечалось основать в провинциальных городах — Пскове, Пензе и Чернигове — три университета, из которых ни один не был открыт.

Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях.— Впервые с сокращениями в «Санктпетербургском журнале» в 1798 году. Полностью сохранившаяся часть мемуаров (они до-

шли до нас в незавершенном виде) была опубликована в 1830 году П. Бекетовым в «Полном собрании сочинений Д. И. Фонвизина». Автобиографическое сочинение создавалось в последние годы жизни писателя — в 1789—1792 годах.

Стр. 376. *«Признания»* — так называет Фонвизин «Исповедь» Руссо. Впервые писатель познакомился с ее отдельными главами во время пребывания в Париже в 1778 году. Первая часть «Исповеди» вышла в 1782 году, полностью — в 1789 году.

Стр. 377. *...любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы...*— Отец Фонвизина читал две книги Роллена (1661—1741) в переводе В. Тредиаковского: «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках», тт. 1—10 (СПб. 1749—1762) и «Римская история от создания Рима до битвы Актийския, то есть по окончании республики», тт. 1—16 (СПб. 1761—1767). Третья из упоминаемых книг — «Мнения Цицероновы, из разных его сочинений собранные аббатом Оливетом» в переводе И. Шишкина (СПб. 1752: изд. 2 — М. 1767).

Стр. 380. *...стал рассказывать историю Иосифа Прекрасного.*— Имеется в виду библейский рассказ об Иосифе Прекрасном, по мотивам которого была написана поэма Битобе «Иосиф», переведенная Фонвизиным прозой в 1769 году и неоднократно переиздававшаяся.

Стр. 381. *...отец мой у крестов заставлял меня читать.*— Речь идет о чтении церковных книг во время домашних богослужений.

...не мешкал... отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учрежден стал.— В 1755 году с открытием первого русского университета в Москве Фонвизин и его брат Павел поступили в университетскую гимназию.

Стр. 382. *В университете был тогда книгопродавец...*— Людвиг Вевер, книгопродавец при университете, находился в деловых связях с Фонвизиным и его учеником Н. И. Новиковым.

...переводить Голберговы басни...— Фонвизин перевел с немецкого «Басни нравоучительные с изъяснениями господина барона Голберга», которые были изданы в Москве в 1761, 1765 и 1787 годах. Гольберг Людвиг (1684—1754) — датский драматург, писатель и историк.

Стр. 385. *Мелиссино* Иван Иванович (1718—1795) — с 1755 по 1763 год — директор, а с 1771 по 1795 — куратор Московского университета. Член Российской академии наук.

Шувалов Иван Иванович, граф (1727—1797) — государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Оказывал помощь Ломоносову в основании университета и был его первым куратором.

Стр. 386. *«Генрих и Пернилла»* — комедия Гольберга, переведенная на русский язык А. А. Нартовым и впервые представленная в Петербурге в 1760 году.

Шумский Яков Данилович (ум. в 1812) — известный актер, сподвижник Ф. Г. Волкова. Исполнял женские комические роли, в частности первым сыграл роль Еремеевны в «Недоросле».

Волков Федор Григорьевич (1729—1763) — великий русский актер и театральный деятель; с 1761 года — директор русского театра в Петербурге.

Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) — актер и режиссер, один из основателей русского театра, переводчик; друг Фонвизина и Крылова. Первый исполнитель роли Стародума в «Недоросле».

Шаден Иоганн Маттиас (1731—1796) — доктор философии, профессор Московского университета.

...«Сифа, царя египетского»...— Речь идет о переведенном Фонвизиным сочинении Террассона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая», в 4-х частях (М. 1762—1768).

Стр. 387. *«Альзира»* — трагедия Вольтера, переведенная Фонвизиным в 1762 году, но не напечатанная при его жизни.

...двор прибыл в Москву...— Имеется в виду прибытие двора в Москву в 1762 году по случаю коронации Екатерины II.

Голицын Александр Михайлович, князь (1723—1807) — вице-канцлер при М. И. Воронцове и Н. И. Панине с 1762 по 1776 год. Определил Фонвизина на службу в иностранную коллегию.

Елагин Иван Перфильевич.— См. прим. к стр. 363.

Сей человек... беспримерного высокомерия...— Речь идет о секретаре И. П. Елагина, драматурге В. И. Лукине (1737—1794).

Стр. 388. *Козловский* Федор Алексеевич, князь (ум. 1770) — бывший воспитанник Московского университета, затем офицер; поэт и переводчик; погиб в Чесменской битве.

Стр. 389. *...заслужило внимание покойного Александра Ильича Бибикова и графа Григорья Григорьевича Орлова.*— Бибиков А. И. (1729—1774) — генерал-аншеф, с 1771 года командовал русскими войсками в Польше. Маршал Комиссии по сочинению нового уложения (1767—1768). Был назначен командующим войсками, действовавшими против Пугачева. Дружески относился к Фонвизину и состоял с ним в переписке. О Г. Г. Орлове — см. прим. к стр. 117.

Стр. 390. *Его высочество... великий князь* — Павел Петрович, наследник престола, воспитанник Н. И. Панина.

Стр. 392. *Чернышев* Захар Григорьевич, граф (1722—1784) — вице-президент военной коллегии, генерал-фельдмаршал.

Чернышев Иван Григорьевич, граф (1726—1797) — камергер, генерал-поручик.

Строганов Александр Сергеевич (1733—1811) — обер-камергер, около двадцати лет состоял членом иностранной коллегии.

Шувалов Андрей Петрович, граф (1744—1789) — директор ассигнационного банка. Писал стихи на французском языке, перевел на французский «Письмо о пользе стекла» Ломоносова.

*Граф **** — граф А. М. Ефимовский.

Стр. 393. *...встретил я... Григория Николаевича Теплова...* — Г. Н. Теплов (1711—1779) — сенатор, почетный академик, служил в Кабинете Екатерины II «у собственных дел и у принятия челобитен»; автор нескольких книг, в том числе сочинения «Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» (1751).

Стр. 395. *Чебышев* Петр Петрович — обер-прокурор Синода с 1770 по 1774 год.

Кларк Самуэль (1675—1729) — английский философ, последователь Декарта, автор трактата «Доказательство существования и признаков бога», в котором полемизировал со Спинозой.

Гоббезий — Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ-материалист; главные произведения его: «Философские элементы учения о гражданине» (1642) и «Левиафан» (1651).

Спиноза Бенедикт (Барух; 1632—1677) — нидерландский философ-материалист; вместе с другими передовыми учеными века целью знания считал завоевание господства над природой и совершенствование человека.

Стр. 396. *...перевод господина Поповского «Опыта о человеке»...* — Речь идет о сочинении английского поэта Александра Попа (1688—1744) «Опыт о человеке» (1733—1734). В своей философской поэме он писал о связи человека с природой и добродетели как условии человеческого счастья. Поэма, переведенная профессором Московского университета Н. Н. Поповским в 1754 году, подверглась нападкам духовной цензуры и была напечатана в Москве только в 1757 году с исправлениями архиепископа Амвросия, которые были выделены более крупным шрифтом.

А. Н. РАДИЩЕВ

Александр Николаевич Радищев (1749—1802) родился в Москве в дворянской семье. С 1756 года Радищев живет в Москве в доме дяди М. Ф. Аргамакова, вместе с детьми которого занимается у преподавателей гимназии и Московского университета. В 1762 году Радищев был определен в Петербургский пажеский корпус, а с 1766 по 1771 год был отправлен заниматься на юридическом факультете Лейпцигского университета. По возвращении в Петербург назначен чиновником в сенат. Первое литературное выступление Радищева — перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории...», который он снабдил своими примечаниями (1773).

В 1773—1775 годах Радищев служил в штабе Финляндской дивизии в качестве дивизионного прокурора (обер-аудитора). В 1777 году он поступил на службу в коммерц-коллегию, президентом которой был граф А. Р. Воронцов, сделавшийся вскоре другом и покровителем Радищева. В 1780 году Радищева назначили помощником управляющего петербургской таможни, а в 1790 году ее управляющим.

В 1780-е годы Радищев создает главные свои произведения, но печатает их только в конце десятилетия: «Письмо другу, жительствующему в Тобольске...» (1782, издано в 1790 г.); оду «Вольность» — первое русское революционное стихотворение (опубликовано частично в составе «Путешествия»). В 1789 году вышло из печати «Житие Федора Васильевича Ушакова». Во второй половине 1780-х годов Радищев занят работой над «Путешествием из Петербурга в Москву». Оно было напечатано писателем в своей маленькой домашней типографии весной 1790 года. Все эти произведения были изданы анонимно. 30 июня 1790 года Радищева арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. По приказу Екатерины его приговорили к смертной казни за издание «пагубной книги». Но, испугавшись общественного мнения, императрица «помиловала» Радищева, сослав его «на десятилетнее безысходное пребывание» в сибирский острог Илимск. Там Радищев написал философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» (издан в 1809 г.) и другие произведения. Смерть Екатерины в 1796 году избавила Радищева от сибирской ссылки. Павел I разрешил вернуться из Сибири и поселиться в имении отца Немцово под Москвой, приказав установить за ним строжайший полицейский надзор. Только после смерти Павла Радищев смог вернуться в Петербург. После возвращения из Сибири он пишет «Песнь историческую», поэму «Бова» и стихотворения. В 1801 году Радищева назначают в Комиссию составления законов, где он занимался разработкой проектов законодательных реформ. Деятельность Радищева в Комиссии вызвала раздражение ее председателя. Радищеву пригрозили новой ссылкой. Поняв бесплодность своей работы, Радищев покончил с собой (умер в ночь с 11 на 12 сентября 1802 г.).

Полное собрание сочинений Радищева в трех томах вышло в издании Академии наук СССР (1938—1952). В настоящем томе книга «Путешествие из Петербурга в Москву» печатается по тексту издания: А. Н. Радищев, Избранные сочинения, Гослитиздат, Л.—М. 1952.

Путешествие из Петербурга в Москву.— Впервые — отдельным изданием (СПб. 1790), без имени автора.

22 июля 1789 года Радищев получил разрешение от председателя управы благочиния петербургского обер-полицеймейстера Никиты Рылеева печатать свою книгу под названием «Путешествие из Петербурга

в Москву». Приобретя тем же летом у московского книгоиздателя Шнора типографский станок, Радищев устроил типографию у себя в доме на Грязной улице (ныне улица Марата). Как показал Радищев на следствии, ему помогал в издании книги в качестве наборщика сослуживец по таможне Богомолов. «Тискана же она с помощью собственных людей». Корректуру держал сам автор. Печатать книгу начали в январе 1790 года, закончили в начале мая. Тогда же были переданы для продажи первые 25 экземпляров купцу Зотову, торговавшему книгами в Гостином дворе по Суконной линии. «Путешествие» шло хорошо. Через несколько дней данные экземпляры были распроданы. Больше книг Зотову Радищев не давал, разослав лишь своим знакомым 7 экземпляров. Всего же было отпечатано 640—650 экземпляров. Таким образом, по словам Радищева, только 32 книги попали в руки читателей, остальные после ареста Зотова были им сожжены. Зотов же показал на следствии, что Радищев дал ему не 25, а 50 книг. Кроме того, на следствии же выяснилось, что несколько экземпляров «пропали» из квартиры Радищева. Следовательно, можно предположить, что от 32 до 70 экземпляров «Путешествия» могло сохраниться.

Сразу же после ареста Радищева по приговору уголовной палаты начали отбираться проданные книги. В течение XIX века передавались из рук в руки около двух десятков печатных экземпляров «Путешествия». В настоящее время известны 17 экземпляров первого издания «Путешествия». Кроме того, в 90-е годы XVIII века начали появляться рукописные списки «Путешествия». Несмотря на ограниченное число сохранившихся экземпляров, «Путешествие» было известной книгой, прежде всего в литературной среде. Ее читали все передовые деятели, писатели и неоднократно пытались переиздать, напечатать из нее отрывки. Екатерининский запрет на «Путешествие» был снят только революцией 1905 года.

Характерны некоторые попытки русских писателей и общественных деятелей издать книгу. Так, в 1805 году Мартынов, близкий к «Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств», в своем журнале «Северный вестник» сумел напечатать анонимно важнейшую в идейном отношении главу «Путешествия»— «Клин». В 1816 году Сопиков, отражая интерес радикальных дворянских кругов к Радищеву, попытался напечатать в своем произведении «Опыт российской библиографии» «Посвящение Кутузову», но по требованию цензуры радищевский текст был снят, и книга Сопикова вышла с чистой страницей. В 1822 году декабрист Бестужев подготовил сочинение по русской словесности, но ничего не сказал о Радищеве. Пушкин потребовал пропаганды деятельности Радищева, заявив: «кого же мы будем помнить». Сам Пушкин отлично знал Радищева, знал его сочинения, изданные сыновьями в 1807—1811 годах, знал «Путешествие»; больше того, имел

собственный экземпляр книги. В 1833 году Пушкин пишет свое «Путешествие из Москвы в Петербург», произведение, органически включавшее в себя текст радищевской книги, рассчитанное на читателей, отлично знавших «пагубную книгу». Не добившись возможности напечатать радищевское сочинение в России, русская революционная общественность в лице Герцена издает «Путешествие» в 1858 году в Лондоне. «Путешествию» было предпослано предисловие Искандера (Герцена).

В течение второй половины XIX века предпринимались неоднократные попытки издать «Путешествие» хотя бы в ограниченном количестве экземпляров. В 1868 году появилось издание «Путешествия», предпринятое купцом Шигиным. Оно было настолько искажено, что даже цензура разрешила его выпуск, увидя исключенными из него все важнейшие главы и высказывания Радищева. В 1876 году в Лейпциге в издании Каспаровича в составе XVII тома «Международной библиотеки» было напечатано «Путешествие» с издания Герцена и с его предисловием. В 1888 году Суворин издал «Путешествие» в России в количестве 100 экземпляров. Разрешение было дано только ввиду ничтожности тиража. В 1889 году таким же незначительным тиражом «Путешествие» вышло в составе V тома издания А. Е. Бурцева «Дополнительное описание библиографически редких, художественно-замечательных книг и драгоценных рукописей».

Революция 1905 года сняла запрет с мятежной книги Радищева. В том же году вышло полное издание «Путешествия» под редакцией Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева. С тех пор «Путешествие» издавалось многократно в составе Собрания сочинений Радищева и отдельно.

Из многочисленных рукописных списков (сейчас их зарегистрировано около 70) особую ценность представлял список, принадлежащий М. Н. Анучину, затем перешедший в чьи-то другие руки. Об этом списке мы знаем по описанию Д. Н. Анучина («Судьба первого издания Путешествия Радищева», М. 1918); главная особенность списка — двойное заглавие книги: «Проницающий гражданин, или Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву».

Время написания «Путешествия» — 1784—1789 годы. Важно помнить при этом, что значительная часть книги была дописана после получения рукописи из цензуры, то есть после 22 июля 1789 года. Заново написаны — «Посвящение Кутузову», глава «Подберезье». В ряде глав вставлены новые эпизоды: в «Спасской Полести» — рассказ об устрицах; в «Зайцово» — письмо о свадьбе Дурындина. Глава «Черная Грязь» коренным образом переделана.

Стр. 399. *Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.*— Стих из поэмы Василия Тредиаковского «Тилемахида», изданной в 1766 году,

Радищев использует для обозначения главной темы своего обличения — самодержавия. Дело в том, что в поэме Тредиаковского Телемак, сходя в подземный тартар, видит там «царей увенчанных, употреблявших во зло свое на престоле могутство». Наказанные за свои злодеяния цари, по словам Тредиаковского, были «гнуснейши и страшилищны». Из числа других особо отвратительным выглядел тот царь, кого увидел Телемак «напоследок»: «Чудище обло (то есть толстое), озорно (то есть большое), огромно, с тризевной (то есть имеющее три пасти) и лаяй (то есть лающее)». Радищев несколько меняет стих Тредиаковского. Заслуживает быть отмеченным желание автора «Путешествия» подчеркнуть в поэме Тредиаковского именно этот выпад против царей-деспотов, желание в своей политической борьбе против русского самодержавия опереться на национальную традицию.

А. М. К.— Алексей Михайлович Кутузов (1749—1797), друг Радищева, с которым он учился в Лейпцигском университете; писатель-сентименталист, переводчик, известный масон.

Глава «С о ф и я».— Взяв в герои «Путешествия» своего современника, Радищев стремился открыть ему истину, обнажить его заблуждения и воспитать из него своего единомышленника. Воспитывала же, по Радищеву, сама действительность, поводырем, учителем человека являлась «чувствительность, столь мощно его вождающая». Человек, погруженный в гущу реальной жизни, под влиянием полученного опыта освобождается от своих прежних заблуждений, открывает объективную истину — «правила, народным правлениям приличные».

Соответственно этим представлениям и строится образ путешественника. Сначала, в отдельных главах, описывается реальный факт, конкретное явление, чувственное восприятие которого есть первый его опыт. Рассуждение по поводу факта — накопление «умственного опыта»; в итоге опыта путешественник, сблизив однородные явления и устранив случайные, приходит к обобщениям.

В своих исканиях путешественник проходит как бы через три этапа. Первые главы — «София», «Тосно», «Любани» и «Чудово» — рисуют человека, убежденного в мудрости законов страны, «где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет», где все дышит изобилием, где якобы искоренены всякие неустройства и злоупотребления, где правит мудрая императрица, «философ на троне». Первый же опыт убеждает, что прежние его представления есть плод глубоких заблуждений. В главе «Новгород» путешественник уже вынужден признать, что «прежняя система пошла к черту».

На втором этапе путешественник, убедившийся, что Россия бедствует, что в ней повсюду «неустройства», злоупотребления властью, бесчеловечный гнет рабства, страстно начинает искать путей к изменению положения, к уничтожению «неустройств». И ему представляется,

что единственный путь — это путь реформ сверху. Разделяя иллюзию многих дворянских деятелей той эпохи о просвещенном характере екатерининского самодержавия, он полагает, что если открыть «правду» монарху, все будет немедленно исправлено. Главы «Спасская Полесть», «Крестьцы», «Хотилов» и «Выдропуск» рисуют крах этой иллюзии.

Опыт путешествия — крепостническая действительность, обнаженно представшая перед глазами героя, встречи с жертвами самодержавно-крепостнического строя («Чудово», «Зайцово» и другие главы) — убеждает его в несостоятельности этих надежд на Екатерину. Так начался третий и последний этап идейно-морального обновления героя — формирование революционных убеждений. Путешественник начинает понимать, что ни монархия, какой бы «просвещенной» она ни была, ни «великие отчинники» не могут принести свободу. Свободу народ может добыть только сам, восстав против угнетателей, вынуждаемый к этому «тяжестью порабощения» (главы «Медное», «Городня», «Тверь»).

Стр. 402. *Бурлаки* — «работные люди», в частности и те, кто артелью тянули бечевой речные суда.

Стряпчий — чиновник, наблюдавший за ходом дела в судебных учреждениях.

...при разрядном архиве... — Разрядный архив — правительственное учреждение, где хранились документы, из которых можно узнать историю дворянских родов (родословную).

Стр. 403. *...наравне с новогородским дворянством.* — Новгородские дворяне считались среди российского дворянства самыми бедными. Многие из них не имели крепостных крестьян и сами занимались земледелием.

Табель о рангах — закон о введении военных и гражданских чинов, установленный Петром I в 1722 году. Он предусматривал, в частности, получение дворянства теми чиновниками, которые дослуживались до чина восьмого ранга.

Стр. 405. *Барин подушных не заплатит...* — Подушные — государственный налог, которым облагалось мужское население, кроме дворян, духовенства и чиновников.

Стр. 406. *...приятель мой Ч...* — Полагают, что речь идет об университетском товарище Радищева — Петре Ивановиче Челищеве (1745—1811).

Систербек — Сестрорецк — городок вблизи Петербурга.

Стр. 407. *Пафос и Амафонт* — древнегреческие города на Кипре; в них находились храмы Афродиты — богини любви и красоты в греческой мифологии.

Вернет — Верне Клод Жозеф (1714—1789), французский живописец-маринист.

Стр. 408. *...взиравший... на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в Архипелаге...*— Русско-турецкая война 1768—1774 годов, во время которой эскадра русских кораблей разбила турецкий флот в Эгейском море, у островов Греческого архипелага.

Стр. 411. *Субаб* — правитель провинции в Индии.

Реналь — Рейналь Гильом Томас Франсуа (1713—1796) — французский просветитель, историк.

Стр. 413. *Полкан* — получеловек-полуконь, сказочное чудовище из популярной в XVIII веке сказки о Бове-королевиче.

А о Соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей.— То есть русских историков. Радищев читал о происхождении прозвища «Соловей», в частности, у Татищева.

...государев наместник.— См. прим. к стр. 235.

Устерсы — устрицы.

Стр. 415. *...промен берешь...*— незаконный сбор; в данном случае речь идет о расчете ассигнаций на серебро.

Стр. 419—427. *Мне представилось, что я царь... и чертогов твоих гнушается.*— Сон путешественника — злая и беспощадная сатира на Екатерину, обличающая ее любовь к лести, ее покровительство своим фаворитам, прежде всего Потемкину, грабившим и разорявшим Россию. По приблизительным подсчетам, Екатерина раздала им почти 100 миллионов денег, или, по курсу XX века, около полумиллиарда. Екатерина, читая эту главу, с великим негодованием записала на полях: «Страницы покрыты бранью и ругательством и злостным толкованием». Эта глава, по мнению императрицы, «довольно доказывает намерение, для чего вся книга написана».

Стр. 425. *Кук* Джеймс (1728—1779) — английский путешественник; убит туземцами на Сандвичевых островах.

Стр. 426. *Готфы* (готы) и *вандалы* — древнегерманские племена времен раннего средневековья.

Касталия и *Ипокрена* — источники, дающие вдохновение поэтам (греч. миф.).

Стр. 427. *Господа вашего...*— Здесь: господина вашего.

Стр. 428. *...Тита Ливия, Тацита почти знаю наизусть.*— Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.) — римский историк. Тацит Публий Корнелий (ок. 55—ок. 102) — римский писатель и историк.

Ифика — этика.

Аристотель и схоластика доныне царствуют в семинариях.— В труде Аристотеля «Аналитики» даны основы формальной логики, часто использовавшиеся схоластами в средние века.

Стр. 429. *Гроций* Гуго (1583—1645) — голландский юрист, один из создателей науки международного права.

Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689—1755) — французский просветитель, один из создателей политического учения о просвещенном абсолютизме.

Блекстон Уильям (1723—1780) — английский юрист, автор книги «Истолкование английских законов»; на русском языке этот труд появился в 1780—1782 годах.

...уже есть повеление о учреждении новых университетов...— К 1787 году был сочинен «план университетов и гимназий, в разных местах империи заводимых». Путешественник, находящийся на первом этапе своего испытания и верящий в обещания властей, зная об этом плане, успокаивает семинариста, говоря, что скоро его желание исполнится. К 1790 году Радищеву было отлично известно, что о данном проекте забыли и никто не собирался его исполнять. Таким образом, упоминание об этом было выпадом против лживых обещаний русской императрицы.

Стр. 430. *На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга...*— В образе семинариста Радищев изображает русских масонов. Молодой семинарист — «мартинист», то есть последователь учения мистика Сен-Мартена (1743—1803). Среди этой части масонов были модны сочинения шведского мистика и духовидца Эммануила Сведенборга (Шведенборга) (1688—1722), одно из которых читал семинарист. Русские масоны, недовольные деспотическим самодержавием Екатерины II, произволом фаворитов, сочувствуя «страждущему питателю», в то же время были далеки от политической борьбы. Заведя свои тайные общества, они занимались лишь нравственным усовершенствованием, приучали себя «творить милостыню». Только очень немногие масоны, такие, например, как Новиков и близкие ему люди, занимались большим культурным просветительским делом. В то же время, именно в 80-е годы, в масонстве все сильней начали сказываться реакционные мистические увлечения, стали популяризироваться алхимические опыты и различные сочинения, которые Радищев называет «бредоумствованием». Особый вред масонства, по мысли Радищева, состоял еще в том, что оно, быстро распространяясь, увлекало юношество, уводя его от активной общественной деятельности.

Фридрих — имеется в виду Фридрих II (1712—1786), прусский король. Проводя реакционную политику, он заигрывал с французскими просветителями, демонстративно объявляя себя просвещенным монархом.

Лутер — Лютер Мартин (1483—1546), немецкий церковный реформатор.

Стр. 431. *Смотри Белев словарь, статью Акиба.*— Белев словарь — «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля (1647—1706), французского философа-атеиста и писателя. Радищев по этому словарю ци-

тирует Акибу бен Иосифа, еврейского раввина I—II веков, известного своим иносказательным толкованием Талмуда, носившим подчас анекдотический характер.

Стр. 432. *Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы...*— Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э.) — афинский законодатель. Ликург — легендарный спартанский законодатель. Просветители XVIII века идеализировали государственный строй Спарты.

Ганзейский союз — союз торговых городов в бассейне Северного и Балтийского морей под главенством немецкого города Любека. Время действия союза — XIV—XVII века.

Стр. 435. *Лаватер* — Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — немецкий пастор, автор книги «Физиономические фрагменты», в которой обосновывалась теория о возможности определения человеческого характера по строению черепа и чертам лица.

Зубы как уголь.— Купеческие модницы считали красивым чернить зубы.

Стр. 437. *Перун* — бог грома и молнии у древних славян.

Стр. 438. Радищев перечисляет различные наименования бога: у древних евреев (*Егова*), у римлян (*Юпитер*), у индусов (*Брама*), у «родоначальника» еврейского народа Авраама, у «вождя-законодателя» евреев Моисея (конец XVI — начало XV в.? до н. э.), у основоположника религии древнего Ирана и персов мифического пророка Зороастра (Заратуштра), у греческого философа Сократа (ок. 469—399 до н. э.), у римского императора Марка Аврелия (121—180), у христиан.

Еддесон — Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский писатель, автор трагедии «Катон», посвященной истории борьбы римлян-республиканцев против диктатуры Юлия Цезаря.

Стр. 439. *В Зайцово на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества.*— Встреченные на пути в Москву путешественником люди — это не только художественные образы. Верный своим эстетическим принципам, Радищев стремится в создаваемых им портретах передать черты исторически реальных прототипов, их чувства, их воззрения, их отношение к действительности. Отсюда и объективизация собственной биографии, историческое ее рассмотрение. Стремясь к точности и достоверности, Радищев наделяет создаваемые им образы чертами собственной биографии. Многие стороны характера и факты жизни Крестьянкина удивительно совпадают с реальной судьбой молодого Радищева.

Стр. 440. *...не возмогши спасти винных... Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестосердечия.*— Это решение Крестьянкина, не желавшего быть орудием расправы с восставшими крестьянами, убившими своего помещика-тирана, напоминает реальный эпизод из жизни Радищева. Это его, человека «с чувствитель-

ным сердцем», горевшего, после Лейпцига, желанием честно исполнить свой долг гражданина на служебном поприще, интересующегося проблемой преступлений и наказаний, заставили в 1773—1775 годах по служебной должности (обер-аудитора в штабе Финляндской дивизии) заниматься делами беглых рекрутов и солдат, невиновность которых была для него та же «математическая ясность», как невиновность восставших крестьян для Крестьянкина. Именно Радищев сразу же после поражения восстания Пугачева, не желая участвовать в расправах над беглыми солдатами, бросил, как и Крестьянкин, службу и город, женился, уехал к родителям. В последующем Радищев понял, что не в исполнении служебного долга может человек найти выход из создавшегося в России положения. Не частные и общественные добродетели могли изменить плачевную судьбу крестьянского сословия, а революция, обязывающая людей к активной общественно-политической деятельности.

...отослан был в герольдию... — в учреждение, ведавшее делами о дворянских родах, их титулах, гербах и т. д.

Стр. 441. *Гогард* — Хогарт Уильям (1697—1764) — английский художник, сатирически изображавший английскую аристократию и буржуазию.

Месячина — месячный паек натурой, выдаваемый помещиком крестьянину, работавшему только на помещичьей земле.

...нравы древнего Лакедемона... — древнегреческого государства Спарты. Спартанское воспитание, ставившее целью подготовки выносливых бойцов, отличалось необыкновенной суровостью и жестокостью.

Стр. 442. *Повенечные* — плата крестьянина помещику за право жениться.

Стр. 443. *...приговорить... к торговой казни* — то есть к публичному наказанию на площадях, при котором били кнутом или плетьми, клеймили и вырывали ноздри.

Стр. 445. *Однодворцы* — вольные крестьяне, владевшие небольшим участком земли и платившие государству подушную подать.

Стр. 448. *Баба* — богатый парк царского родственника Д. Нарышкина на взморье, по дороге в Петергоф, где по воскресеньям устраивались большие гулянья; называли сад — «Ба! Ба!».

Глава «К р е с т ь ц ы» — важная в развитии сюжета «Путешествия». В Крестьцы путешественник приезжает в ту пору своих исканий, когда, поняв, что в России процветают не только частные неустройства, он страстно ищет выхода на пути мирного решения больших вопросов социально-политического бытия России. Крестецкий дворянин, с которым встречается путешественник, предлагает путь просвещения, воспитания, веруя, что все беды России происходят от заблуждений, от господства порока, что все это можно исправить, если просветить сознание дворянства.

Стр. 457. *Егид* — эгида, щит богини Афины, на котором была изображена голова Горгоны — чудовища со змеями вместо волос. Эгида — символ защиты.

Стр. 460. *Курций* Марк — римский юноша; по преданию, принес себя в жертву (бросился в открывшуюся в Риме пропасть), чтобы спасти город от опасности.

Стр. 462. *...слово умирающего Катона.*— Катон Марк Порций Младший или Утический (96—46 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима, не желая видеть гибель республики, пронзил себя мечом. Радищев, по-видимому, имеет в виду предсмертные слова Катона, приведенные историком Плутархом: «Теперь я принадлежу себе».

Стр. 466. *Лада* — богиня любви, брака, веселья (слав. миф.).

Стр. 467. *Леандр* — юноша, полюбивший жрицу Афродиты Геро. Ночью Геро зажигала факел на башне. Леандр видел огонь и переплывал Геллеспонт к башне Геро. Однажды была страшная буря, и факел погас. Леандр сбился с пути и утонул. Когда Геро увидела его труп, она бросилась в море (греч. миф.).

Стр. 468. *...чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому.*— Воспитательные дома были открыты в России в 1764 году в Москве и в 1779 году — в Петербурге для приема незаконнорожденных детей. Радищев, говоря о нравах столичного дворянства, ссылается на реальные факты распутства и развращенности, обусловившие открытие воспитательных домов для приема внебрачных детей.

Стр. 473. *...выпросит в почетные девицы...*— то есть добьется придворного звания фрейлины.

...едущую четвернею...— В сословном дворянском государстве «выезд» определялся в соответствии с знатностью и местом того или иного лица в государстве. Люди первых классов по табели о рангах могли запрягать в экипажи шестерку или четверку лошадей. Только четверка полагалась шестому — восьмому классу. Следующие чины ездили на паре, а нечиновные, бедные дворяне и люди «подлого звания» могли ездить только на одной лошади. *Цуг* — запряжка гуськом двух или трех пар лошадей.

Глава «Хотилов».— Здесь происходит встреча путешественника с автором «Проекта о будущем» — «гражданином будущих времен». Автор проекта предлагает путь реформ сверху. Он сочиняет проект освобождения крестьян, надеясь, что его примет Екатерина и обнародует за своей подписью. Заставляя своего героя пройти через все испытания, Радищев в вопросах идеологических не мог пройти мимо господствующих и популярных в эту пору политических теорий.

Стр. 477. *...сыны славы, мы, именем и делами словуты...*— В XVIII веке имела хождение лженаучная теория о происхождении названия славян от слова «слава». Екатерина усиленно популяризиро-

вала эту точку зрения. В частности, об этом она писала в своем сочинении «Записки касательно российской истории», напечатанном в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784). Радищев, пародируя ее манифесты, использует и это типичное екатерининское словоупотребление. Издевательский характер написанного радищевского манифеста отлично понимала Екатерина, как поняла и действительные намерения его автора. Она писала: «В насмехательном виде говорится о блаженстве и дается чувствовать, что оного нету; сие служит предисловием к тому, что сочинитель намерен говорить о крестьянах и их неволе и о войсках, кои в неволе же по причине строя и стройности», «клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства; сочинитель не любит слов тишина и покой».

Стр. 481. *...жертвы... берегов Нигера и Сенагала...*— Здесь речь идет об африканских невольниках, рабах, вывезенных в Америку.

...применю к шарам...— то есть к воздушным шарам. В 1783 году братья Монгольфьеры, а в 1785 году Баншар совершили пробные полеты на воздушном шаре.

Стр. 486. *Выводные деньги* — плата крестьянина помещику за выкуп невесты, если сам он принадлежал другому помещику.

Расправа — низовой суд для государственных крестьян и однодворцев.

Стр. 492. *Нума* Помпилий — второй из семи легендарных царей Рима.

...перуанцы... верили Манко Копаку...— Манко Копак (Капак), по легенде, основал государство древних перуанцев и дал им законы.

Ариман — демон зла, по верованиям древних персов.

Стр. 493. *Типографии у нас всем иметь дозволено...*— В 1783 году Екатерина издала указ о приравнении типографий к фабрикам, благодаря чему открылась возможность заводить их всякому желающему. Разрешение же на печатание книг давала управа благочиния — полиция.

Послушаем Гердера.— Радищев приводит отрывок из диссертации немецкого просветителя, философа-идеалиста Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803) «Влияние правительства на науки и наук на правительство» (1778).

Стр. 495. *Се правила Наказа о новом уложении.*— В 1767 году Екатерина II создала Комиссию по сочинению нового уложения. Для работы Комиссии Екатерина составила «Наказ», в котором демонстративно использовала идеи французского Просвещения. Радищев презрительно-иронически говорит об этом «Наказе», поскольку на деле Екатерина никогда не была просвещенной монархиней. В 1780-е годы «Наказ» практически был запрещен самой императрицей.

Отступники откровенной религии — то есть раскольники, не признававшие официальной православной церкви.

Стр. 497. *Дикинсон* Джон (1732—1808) — публицист и политический деятель США.

...в бывшей в Америке перемене... — то есть в войне за независимость тринадцати английских колоний в Северной Америке с Англией. В результате войны была создана независимая от Англии республика США.

Стр. 498. *...писания Протагоровы...* — Протагор (481—411 до н. э.) — древнегреческий философ-софист. За атеистические высказывания был приговорен афинским судом к смерти.

Стр. 499. *Претор* — главный судья в Древнем Риме.

Светоний Транквилл Гай (ок. 70—160) — римский историк.

Кесарь Август — Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император.

...гадания авгуров и аруспициев. — Авгуры — в Риме гадатели по полету и крику птиц, грому и молнии. Аруспиции — гадатели по внутренностям животных.

...книга Тита Лабиения... — Лабиений — Лабиен Тит (ум. в 12 г.) — римский оратор, историк, защитник римской республики.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — римский философ-стоик и писатель.

...троеначальники — Октавиан, Антоний и Лепид — триумвират в Риме в 43 и 37 годах до н. э.

Сочинения Ария Монтана... — Арий Монтана (Ариас Монтанус) — испанский богослов (XVI в.).

Кассий Север (ум. в 32 г.) — римский оратор, был приговорен сенатом к изгнанию за то, что в своих сочинениях выступал против приближенных Августа.

Кремуций Корд (ум. в 25 г.) — римский историк, республиканец. При императоре Тиберии, осужденный сенатом, сам уморил себя голодом.

Стр. 500. *Антиох IV Епифан* — сирийский царь (175—163 до н. э.).

Диоклитиан — Диоклетиан Гай Аврелий Валерий — римский император (284—305), жестоко преследовавший христиан.

Арнобий — христианский писатель (III—IV вв.).

Константин Флавий Валерий (274—337) — римский император, запретил книги александрийского священника *Ария* (ум. в 280), отрицавшего христианское учение о троичности божества и за эту «ересь» осужденного на Никейском соборе (325).

Феодосий II (ок. 401—450) — византийский император.

...книги Нестория... положено о писаниях Евтихия. — Несторий, константинопольский патриарх (428—431), и Евтихий (род. в 378), архимандрит монастыря возле Константинополя,— основоположники еретических учений.

В Пандектах Юстиниановых...— в своде законов в пятидесяти книгах, изданном при Юстиниане, византийском императоре (483—565).

Стр. 501. *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ и математик.

...мнения Абелардовы...— Абеляр — Абелард Пьер (1079—1142) — профессор богословия Парижского университета, философ и поэт.

Кеплер Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном.

Иллуминаты — иллюминаты — масонский орден, основанный в 1776 году А. Вейсгауптом.

Стр. 502. *...в самом том городе, где изобретено книгопечатание.*— Основатель книгопечатания Иоганн Гутенберг (1400—1468) выпустил первую печатную книгу в Майнце в 1445 году.

Стр. 506. *...в продолжение Тридесятилетней войны...*— Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между немецкими протестантскими князьями, с одной стороны, и католическими князьями и императором, с другой, превратившаяся из внутригерманской в общеевропейскую.

Стр. 507. *Звездная палата* — административно-судебный трибунал в Англии (основан в 1487 г.), служивший орудием королевской власти. Потолок палаты был украшен звездами — отсюда название палаты.

Тайная канцелярия — учрежденная Петром I, была ликвидирована при Петре III в 1762 году. Вместо нее Екатерина II учредила Тайную экспедицию, в которой главным следователем и палачом был С. И. Шешковский. Шешковский вел следствие и по делу Радищева, когда он был арестован за издание «Путешествия из Петербурга в Москву».

Со смертью графа Страфорда...— Граф Страфорд (1593—1641) — сторонник короля Карла I; был казнен в начале английской буржуазной революции.

Долгий парламент — парламент, заседания которого продолжались тринадцать лет (1640—1653), действовавший в интересах английской буржуазии. Долгий парламент упразднил Звездную палату.

В Дании вольное книгопечатание было мгновенно.— Свобода печати, объявленная в 1770 году от имени датского короля Христиана VII (1749—1808), уже через год была ограничена. Указ о свободе печати приветствовал Вольтер (в 1771 г.).

Стр. 508. *...до перемены 1789 года, во Франции последовавшей...*— то есть до Великой французской революции.

Арг — Аргус — великан, у которого было сто глаз, закрывавшихся во время сна попеременно, поэтому он всегда мог все видеть (греч. миф.).

Бриарей — сторукий гигант (греч. миф.).

...народное собрание... насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд...— Радищев имеет в виду памфлет виднейший

шего деятеля французской революции Жан-Поля Марата (1743—1793) против министра финансов Неккера, который он был принужден напечатать в своей тайной типографии в начале 1790 года. Выход памфлета вызвал ярость Неккера и правых сил Национального собрания, которые попытались провести закон о печати, вводивший цензурные ограничения. Несмотря на то что закон не был принят, Лафайету была поручена расправа над Маратом. Во главе отряда национальной гвардии Лафайет окружил его дом, но с помощью жителей квартала Марат сумел скрыться. Его типография была разгромлена, а памфлет конфискован. Почти вся печать обрушилась на Марата, его поддерживали лишь левые газеты. Радищев, внимательно следивший за ходом французской революции, решил выступить в защиту Марата — для этого он и внес уже в корректуру своей книги эпизод с «домом Марата».

Стр. 509. *Векерлин* — Векрлин Вильгельм Людвиг (1739—1792) — немецкий журналист, издавал журнал «Седое чудовище» (1784—1787).

Стр. 510. *Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается...*— Единственные русские газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости» выходили дважды в неделю.

...он был в Крымском походе — то есть в походе русской армии в Крым во время русско-турецкой войны (1735—1739).

Франкфуртская баталия — сражение при деревне Кунерсдорф (4 км от Франкфурта), происшедшее в 1759 году во время Семилетней войны между русскими войсками и армией прусского короля Фридриха, закончившееся поражением пруссаков.

Стр. 512. *...великие отчинники* — то есть дворяне, владеющие большими имениями (вотчинами).

Глава «Тверь».— Как точны в «Путешествии» факты и события экономического и политического бытия русских людей, так же для Радищева важно сохранить точность и объективность в изображении идейной жизни русского общества. Герой-путешественник воспитан реальными идеологическими факторами. Вот почему нельзя было придумывать, вымышлять людей, носителей определенных идей. Вот почему неизбежно было появление в книге самого Радищева, первого русского революционера, чья деятельность уже становилась объективным фактором истории.

В Твери путешественник встречает автора первого революционного произведения в России — оды «Вольность», то есть Радищева. «Новомодный стихотворец» читает свою оду «Вольность», где изложена была впервые идея народной революции. Сюжет «Путешествия», подчинявший себе весь вводимый материал, не позволял вносить оду целиком. В композиционном строении «Путешествия» значение имела именно встреча с автором, с живым человеком, который излагает свои революционные убеждения, раскрывает концепцию рождения будущей свобод-

ной России. Подтверждая свою правоту поэтическим словом, он увеличивал воздействие революционных идей.

Стр. 513. *Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье...*— До Тредиаковского и Ломоносова в русской поэзии господствовало силлабическое стихосложение. Вывезенное из Польши, оно, вопреки строю и духу русского языка, было навязано русской литературе. Дело в том, что силлабический стих исторически возник и существует поныне в языках со строго фиксированным ударением (так, например, во французском, где ударение на последнем слоге, или польском, где ударение на предпоследнем слоге, и т. п.), поэтому он организован не на принципе чередования ударений, а на закреплении определенного числа слогов, связанных рифмой. Русский язык отличается свободой ударения, и потому силлабическая система ему чужда. Силлабический размер, заимствованный в Польше, обеднял русский стих, так как не позволял использовать всех богатств русского языка, всех его возможностей. Заслуга Тредиаковского (выступил в 1735 году с книгой «Новый и краткий способ к сложению российских стихов») и, особенно, Ломоносова (в 1739 году написавшего «Письмо о правилах российского стихотворства») определена тем, что они освободили русское стихосложение от чуждого ему силлабического размера, создали тонический стих, основанный на чередовании ударений. Радищев ценит реформы этих поэтов за то, что они положили в основание русской поэзии прочную национальную базу.

Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера...— Утвердив тоническое стихосложение, Ломоносов канонизировал лишь один размер — ямб. Сила поэтической практики Ломоносова была такова, что все последующие поэты писали главным образом ямбом. Будучи революционером не только в политике, но и в эстетике, Радищев требует от писателей новаторства. Вот почему Радищев приветствует опыт Тредиаковского, издавшего в 1766 году «Тилемахиду», где, отступив от ямба, он пишет русским гекзаметром (шестистопным дактилем без рифмы).

Эта радищевская позиция в области поэзии, как и его личное поэтическое новаторство были высоко оценены Пушкиным. В своем незаконченном произведении «Путешествие из Москвы в Петербург» он писал: «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения «Тилемахиды» замечательны». Далее Пушкин поддерживает и требование Радищева использовать и развивать белый, безрифменный стих: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую».

...Ломоносов преложил Иова...— Речь идет о ломоносовском переложении в стихи отрывка из «Книги Иова», входящей в состав Библии.

Осмилетний труд — поэма М. М. Хераскова «Россиада».

...древний треух надет на Виргилия ломоносовским покроем.— Ломоносов переводил отрывки из эпической поэмы «Энеида» Вергилия шестистопным ямбом.

Омир — Гомер.

Ексаметры — гекзаметры.

Костров... сделал бы эпоху в нашем стихосложении...— Костров Ермил Иванович (1755—1796) — поэт и переводчик. В 1787 году вышел его перевод «Илиады» Гомера (первые шесть песен), встреченный с одобрением многими сторонниками классицизма и награжденный Екатериной II. Перевод сделан в соответствии с рекомендациями Ломоносова — александрийским стихом (шестистопный ямб с рифмами). Радищев требовал переводить эпические поэмы, и в частности поэмы Гомера, размером подлинника — гекзаметром. Потому он приветствовал Тредиаковского, создавшего в «Тилемахиде» русский гекзаметр, и не одобрял опыта Кострова.

Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай».

Стр. 514. *Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский эпический поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 515. *Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — друг Цезаря, вдохновитель заговора против диктатора и его убийца.

Телль Вильгельм — по швейцарским народным сказаниям, вождь восставшего народа против австрийского владычества в XIV веке.

Стр. 521. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — вождь английской буржуазной революции. Казнив короля, Кромвель стал протектором, получил верховную власть. Радищев осуждает его за то, что он стал диктатором, и одобряет за то, что он казнил короля.

Стр. 522. *Марий* Гай (ок. 157—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, стремившийся стать диктатором в Риме.

Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский диктатор.

Глава «Городня».— Призывая к «избиению племени мучителей», путешественник вместе с «новомодным стихотворцем», то есть Радищевым, тем самым разрывал с дворянской средой. Наступала новая, суровая и мужественная жизнь «мстителя» и «прорицателя вольности». Чувствуя одиночество в среде дворянского общества, путешественник ищет общения не только с себе подобными, не только с теми, кого он теперь научит «смотреть прямо» на окружающую их жизнь, но и с народом.

Вот почему, начиная с Едрова, путешественник ищет путей сближения с крестьянством. Первые же предпринятые им шаги повели к неудаче. Движимый хорошим чувством, он предлагает крепостной девушке Анюте деньги и, не желая этого, оскорбляет ее.

В Городне путешественник настойчиво продолжает искать общения с народом,— отсюда его разговоры с рекрутами. И здесь первая удача — разговор с крепостным интеллигентом на началах взаимного понимания. Там же, в Городне, он оказывает услугу другой группе рекрутов, незаконно отправляемых в армию.

Стр. 523. *Отдача в рекруты.*— До военной реформы 1870 года русская армия пополнялась не через всеобщую воинскую повинность, а путем рекрутских наборов. Солдат брали только из податных сословий, главным образом из крестьян. Как свидетельствуют архивные данные, Радищев, находясь с 23 мая 1773 года по 13 марта 1775 года на службе в штабе Финляндской дивизии в должности обер-аудитора (прокурора), занимался как раз делами беглых рекрутов и солдат. Беззакония властей при наборе рекрутов, жестокое обращение офицеров и явились причиной огромного числа побегов. Ведя в течение двух лет следствия по этим делам, Радищев имел возможность очень хорошо познакомиться со всеми злоупотреблениями и беззакониями, происходившими по отношению к крепостным крестьянам при рекрутском наборе. Несомненно, эпизод с рекрутами в этой главе отразил личные впечатления и наблюдения Радищева.

Стр. 524. *...из экономического селения.*— До 1764 года монастыри владели крепостными крестьянами и деревнями. Указом Екатерины эти деревни и крестьяне перешли в казну и стали подчиняться «Коллегии экономии духовных имений»,— отсюда и название их — экономические.

Стр. 533. *...что ему ни А..., ни О... во всю жизнь свою сказать не удалося...*— См. «Придворную грамматику» Фонвизина в настоящем томе, стр. 350.

Глава «К л и н».— Глубокая пропасть отделяла дворян от крепостных. Вековое мучительство, порабощение, неслыханная жестокость, деспотизм вызвали в народе неугасимую справедливую ненависть к своим господам. Это понимал Радищев. Он по рождению, по своему положению принадлежал к дворянам, к мучителям и потому должен был расплачиваться за все злодеяния, соделанные его собратьями. Но революционные воззрения, разрыв со своим классом, мужественное решение отдать свою жизнь делу освобождения народа, вера и знание того, что эту свободу завоюет только сам народ,— толкали к нему, к этому самому народу. И путешественник предпринимает первые в истории русского общественного движения попытки приблизиться к русскому хлебопашцу, опереться на его поддержку, так необходимую ему — отважно дерзнувшему бросить вызов всему самодержавно-крепостническому государству.

Стр. 534. *Габриэлли* Катарина (1730—1796), *Тоди* Мария Франциска Лючия (1748—1793) — итальянские певицы. *Маркези* Луиджи (1754—1829) — итальянский певец. Выписанные из Италии, они служили в придворном театре.

...как исторгнутые из сердца Вертером...— Вертер — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего... старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего.— Встав на опасный в условиях России путь отстаивания вольности, на путь мщения, путешественник страстно стремится получить благословение тех, за свободу которых он решил отдать свою жизнь.

Стр. 536. *Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним. Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого старца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой... надел, заболев перед смертию, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.*— Сценой благословения путешественника слепым старцем должна была кончаться глава «Клин»,— но она не кончилась. Именно здесь подлинный идейный конец книги — путешественник получил благословение народа. И эта тема, жизненно важная для путешественника, для самого Радищева,— тема осознания необходимости практических связей с народом, тема поисков путей к народу,— заставила Радищева сломать композиционный принцип построения книги и дописать к этой главе еще несколько самых важных и решающих строк.

Книга Радищева описывала путешествие из Петербурга в Москву, и только в одном направлении. Путешественник, доехав до Всесвятского, попрощался с читателем навсегда. Мы ничего не должны были знать о дальнейшей судьбе путешественника и не знали бы, если б Радищев не сделал одного, и притом единственного отступления во всей своей книге от раз принятого принципа — описывать путешествие лишь в одном направлении. Но Радищев не мог оставить читателя в неведении — какова же будет дальнейшая судьба путешественника. И тогда он делает приписку к главе «Клин» о том, что было с путешественником после пребывания его в Москве. Наивная и прекрасная в своей простоте история с платком путешественника, который крестьянин-певец надел перед смертью, олицетворяла то благословение трудового народа, которого так жаждал путешественник «на совершение своего пути», благословение, «облегчавшее стезю в шествии и отнимавшее терние сомнительности».

Глава «Черная Грязь».— В первоначальном списке книги, который был представлен цензору Рылееву, глава имела другое содержание: в ней рассказывалась история очередной жертвы самодержавной России, история человека, покончившего самоубийством на глазах путешественника. После получения книги из цензуры Радищев снял этот эпизод и на его место вставил ранее написанное «Слово о Ломоносове» — гимн гению русского народа.

Стр. 541. *...обитель иноческих мусс...*— Так Радищев называет Славяно-греко-латинскую академию в Москве, где учился Ломоносов.

Стр. 542. *Вольф* Христиан (1679—1754) — немецкий философ и ученый.

Стр. 544. *Симеон Полоцкий* (1629—1680) — русский поэт.

Стр. 545. *Ломоносов составил свою грамматику* — «Российскую грамматику» (1757) — первую научную грамматику русского языка.

Стр. 546. *Риторика* — «Краткое руководство к красноречию» Ломоносова. Риторика содержит правила и образцы ораторского искусства, искусства прозаической и стихотворной речи.

Лобное место.— Здесь: кафедра.

Пит — Питт Уильям (1708—1778), *Бурк* Эдмунд (1729—1797), *Фокс* Чарльз Джеймс (1749—1806) — английские буржуазные государственные деятели и парламентские ораторы.

Мирабо Габриель Оноре Рикети (1749—1791) — деятель французской революции.

Стр. 547. *...Пиндарова труба...*— Пиндар (ок. 518 — ок. 442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор од в честь победителей на олимпийских играх. Радищев называет его последователем «псальмопевца», то есть библейского царя Давида.

Стр. 548. *...ты, зревший самого Ломоносова...*— Радищев имеет в виду московского митрополита Платона, который был красноречивым проповедником.

Стр. 549. *Робертсон* Уильям (1721—1793) — английский историк. Радищев читал его «Историю Америки».

...не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера...— Маркграф Андрей Сигизмунд (1709—1782) — немецкий химик. Ридигер Андрей (1673—1731) — немецкий философ-идеалист.

«Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей».— Радищев приводит надпись к бюсту знаменитого физика и видного политического деятеля эпохи борьбы за независимость США — Вениамина Франклина. Надпись была напечатана в книге Рейналя «Revolution de l'Amerique».

...учителя своего, положенного смертно...— Георг Вильгельм Рихман (1711—1753), русский физик, друг Ломоносова. Погиб во время опыта с электричеством.

Стр. 550. *Бакон Верулямский* — Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ-материалист.

И. А. КРЫЛОВ

Иван Андреевич Крылов (1769—1844) родился в семье бедного армейского офицера, который начинал службу солдатом. После смерти отца маленького Крылова, самостоятельно обучившегося грамоте, зачислили на службу — подканцеляристом в Калязинский земский суд.

Началась бедная внешними событиями, трудная жизнь человека, с ранних лет принужденного искать заработка, чтобы прокормить не только себя, но и семью — мать и младшего брата. В 1782 году Крылов вместе с матерью переезжает в Петербург, служит в различных учреждениях, выходит по болезни в отставку и пробует силы на литературном поприще. Покинув в 1793 году Петербург, Крылов около десяти лет скитается по России, служит в домах богатых помещиков, в частности секретарем у опального вельможи С. Ф. Голицына. В начале XIX века бросает службу, переезжает в Москву, а затем возвращается в Петербург. В 1808 году поступает в Монетный департамент, а через четыре года переходит на должность библиотекаря Публичной библиотеки. В этой должности Крылов прослужит тридцать лет, почти до самой смерти.

Литературной работой Крылов начал заниматься рано. В четырнадцать лет он написал либретто комической оперы «Кофейница» по мотивам сатирического очерка, напечатанного в «Живописце». Опера не была принята театром, но Крылов, не оставляя мысли стать драматургом, пишет две трагедии, комические оперы и комедии. Ни одно из этих произведений не было принято театром. Бросив драматургию, Крылов пробует силы в прозе и в 1789 году, продолжая традицию Новикова, издает сатирический журнал «Почта духов».

В 1792 году Крылов, П. А. Плавильщиков (актер и драматург), И. А. Дмитревский (крупнейший русский актер и переводчик) и писатель А. И. Клушин организовали типографию на паях — «Крылов с товарищи», открыли книжную лавку и приступили к изданию журнала «Зритель», в котором Крылов напечатал несколько своих произведений, и в частности повесть «Каиб». В 1793 году Крылов и Клушин издавали новый журнал — «Санкт-Петербургский Меркурий». Время это было неблагоприятным для сатириков: Екатерина перешла к политике прямых репрессий — были арестованы Радищев и Новиков, преследовался Княжнин. Полиция произвела обыск в типографии Крылова, искала, в частности, сочинение Крылова «Мои горячки» (до нас оно не дошло). Находясь на подозрении полиции, Крылов после закрытия журнала принужден был покинуть Петербург. В 1800 году, живя в имении Голицына, Крылов написал шуто-трагедию «Подщипа» (или «Триумф») — остроумную и злую сатиру на русское самодержавие. «Подщипа» была поставлена на домашнем театре Голицына; впервые издана в Берлине в 1859 году.

В XIX веке, в первом десятилетии, Крылов вновь возвращается к драматургии и пишет две сатирические комедии — «Модная лавка» (1806) и «Урок дочкам» (1807), имевшие успех у зрителей. С 1805 года все силы Крылов отдает басенному жанру.

Сочинения Крылова издавались многократно. Наиболее полное издание: И. А. Крылов, Полное собрание сочинений, Гослитиздат, тт. 1—3, М. 1944—1946, по тексту которого в настоящем томе печатаются прозаические произведения Крылова.

Каиб.— Впервые — «Зритель», 1792, ч. III.

Стр. 553. *...толще всех четырех частей «Беседующего гражданина»...*— Упоминается журнал, издававшийся в Петербурге в 1789 году «Обществом друзей словесных наук». Крылов отрицательно относился к печатавшимся там религиозно-нравоучительным статьям.

Стр. 554. *...играть... шемелой...*— святочная игра, бег на корточках, во время которого пелась песня о шемеле (метле).

Стр. 555. *Именины Касьянов* — праздновались по церковному календарю в високосный год 29 февраля, то есть раз в четыре года.

Стр. 556. *Ксеркс I* (486—465 до н. э.) — древнеперсидский царь; предпринятый им завоевательный поход против греческих городов-государств кончился поражением его армий.

...при Термопилах.— Имеется в виду сражение греков с персами при Фермопилах в 481 году до н. э.

Стр. 557. *...заговорил... о Эмпедокловых туфлях...*— Согласно популярной в XVIII веке легенде, греческий философ, поэт и врач Эмпедокл (ок. 490—430 до н. э.) бросился в кратер Этны, желая скрыть причину своей смерти, с тем чтобы его признали богом. Однако одна из его медных сандалий была выброшена во время извержения вулкана и выдала его тайну.

Стр. 558. *...ущерб в Эзоповой реке...*— Намек на басню Эзопа, в которой говорится о собаках, решивших выпить текущую реку.

Стр. 559. *Голиаф* — по библейскому преданию, гигант-филистимлянин, убитый в единоборстве Давидом.

Атлант — в греческой мифологии — титан, державший на своих плечах небесный свод.

На другой день Каиб созвал свой диван...— В сатирическом изображении государственного совета (дивана) государства Каиба и отдельных вельмож прозрачно выступает острая критика современного автору правительства.

Стр. 561. *Конфуций* (ок. 551—479 до н. э.) — китайский философ. Высказывания Конфуция, развивавшие его этико-политическое учение, собраны его учениками в книге «Лунь юй» (Беседы и суждения).

Стр. 566. *Кадий* — судья.

Получать удавку из рук самого султана — то есть получить шнурок, который турецкий султан пересылал знатному человеку, пригово-

ренному к смертной казни, как предложение покончить жизнь самоубийством.

Стр. 570. *Аристотель негде... говорил...*— Имеется в виду «Поэтика» величайшего древнегреческого философа Аристотеля.

Стр. 572. *Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостию посмотреть сельских жителей.*— Крылов далее пародирует сентиментально-идиллические описания сельской жизни в дворянской литературе. Эпизод встречи с пастухом довольно откровенно намекает на идиллическую картину пастушеской жизни, нарисованную Карамзиным в «Письмах русского путешественника» (письмо из Мейсена от 13 июля 1789 года, напечатанного в «Московском журнале» за 1791 год, июнь).

Стр. 573. *Календр* — нищенствующий монах, дервиш.

Похвальная речь в память моему дедушке...— Впервые — «Зритель», 1792, ч. III, стр. 63. Пародируя высокопарные надгробные речи, Крылов рисует резко сатирический образ крепостника-помещика.

Стр. 583. *...рассуждение Руссо о вредности наук...*— См. прим. к стр. 91.

Стр. 584. *Сочинитель «Новой Элоизы»* — Ж.-Ж. Руссо.

Стр. 586. *Как Юлий, не бежал он своего несчастия...*— Речь идет о Юлии Цезаре. Как сообщает Плутарх, Цезарь отправился в сенат, несмотря на предупреждение о заговоре против него, и был там заколот Брутом.

Стр. 587. *Аннибал* — Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, вел войны с Римом.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император, отличавшийся особой жестокостью; ему приписывалось сожжение Рима в 64 году.

Помпей Гней (106—48 до н. э.) — римский полководец, соперник Юлия Цезаря.

Н. М. КАРАМЗИН

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) родился в имении отца неподалеку от Симбирска. До четырнадцати лет воспитывался дома, затем четыре года провел в Москве, занимаясь в пансионе университетского профессора Шадена. По окончании пансиона переезжает в Петербург для службы в Преображенском полку. Первым печатным трудом Карамзина был перевод идиллии немецкого поэта С. Геснера «Деревянная нога» (1783). После смерти отца Карамзин ушел в отставку и больше никогда не служил, целиком посвятив себя литературно-журналистской деятельности. С конца 1784 года Карамзин переезжает в Москву, где сближается с просветительским кружком Нови-

кова. С 1787 года Новиков издает первый в России журнал для детей — «Детское чтение для сердца и разума», привлекая для участия в нем Карамзина. Молодой писатель печатает в нем свои переводы. В том же году Новиков издал карамзинский перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», через год был издан перевод трагедии Лессинга «Эмилия Галотти».

В мае 1789 года Карамзин уехал за границу, посетил Германию, Швейцарию, Францию и Англию. Из путешествия Карамзин вернулся осенью 1790 года, поселился в Москве и стал готовить издание «Московского журнала» (выходил в 1791—1792 годах), в котором опубликовал большую часть «Писем русского путешественника» — отчет о всем увиденном и передуманном за время путешествия,— повести «Лиодор», «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», критические статьи и рецензии, переводы из Стерна, Оссиана и др.

В годы идейного кризиса, наступившего под влиянием событий, связанных с якобинским этапом французской революции, Карамзин издает альманах «Аглая» (1-я часть в 1794 году, 2-я — в 1795), в котором публикует произведения, отражавшие его переход на субъективистские позиции: повести «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена», стихотворения «Послание к Дмитриеву», «Послание к А. А. Плещееву» и др. В 1794 году писатель издал первый сборник своих сочинений «Мои безделки», куда вошли ранее опубликованные произведения.

Преодолев к концу 1790-х годов идейный кризис, Карамзин вступает в новый период своего творчества. Вехой явилось издание журнала «Вестник Европы» (1802—1803), в котором были напечатаны важнейшие политические и литературные статьи и повести Карамзина: «Моя исповедь» и «Марфа Посадница», начало романа «Рыцарь нашего времени». С 1804 года Карамзин целиком отдался работе над «Историей Государства Российского» (в 1818 году были изданы первые восемь томов).

Полного собрания сочинений Карамзина нет до сих пор. Современное издание произведений писателя: Н. М. Карамзин, Избранные сочинения в двух томах, «Художественная литература», М.—Л. 1964, по тексту которого в настоящем томе печатаются повести Карамзина.

Бедная Лиза.— Впервые — «Московский журнал», 1792, ч. 6.

Остров Борнгольм.— Впервые — «Аглая», 1794, кн. 1.

Стр. 607. *Доктор N. N.*— Готфрид Беккер (1767—1845), датский химик, встреченный Карамзиным во время путешествия.

Стр. 609. *Nil mortalibus arduum est...*— ода 3, стих 37 (Гораций, Оды, книга 1).

Марфа Посадница, или Покорение Новагорода.— Впервые — «Вестник Европы», 1803, №№ 1—3.

В основу повести Карамзин положил реальный исторический факт — покорение «вольного» Новгорода Иваном III. С XII до середины XV века Новгород, обособившись от Древней Руси, образовал Новгородскую феодальную республику. К середине XV века независимость Новгорода препятствовала важному историческому процессу ликвидации феодальной раздробленности Руси. Боярство, стоявшее у власти в Новгороде, желая сохранить свои привилегии, стало добиваться перехода республики на сторону Литвы. Судьба Новгорода была решена в битве при реке Шелони в 1471 году, когда войска московского князя Ивана III одержали победу над новгородцами. В 1478 году Новгород и его владения окончательно вошли в состав русского централизованного государства.

Верно изображая основной ход событий, Карамзин в то же время в частностях, в деталях и особенно в освещении фактов отступает от истории. Так, в соответствии со своими философско-эстетическими убеждениями он заставляет Марфу Борецкую (реальное историческое лицо) отрицать связи новгородского боярства с Литвой. Еще более характерное отступление от исторической правды сделано при изображении судьбы Марфы: Карамзин описывает казнь Марфы; в действительности ее не казнили, а сослали в монастырь.

Стр. 617. Мудрый Иоанн...— Иван III Васильевич (1440—1505) — великий князь Московский, присоединивший Новгород к русскому государству.

...например Ярославом, утвердителем их вольности.— Ярослав Мудрый (978—1054) княжил в Новгороде, с 1014 года — великий князь Киевский; положил начало отделению Новгорода от Киевской Руси.

Стр. 618. *...на месте... Вадимом...*— Вадим Храбрый — легендарный вождь новгородцев, возглавивший восстание против князя Рюрика (см. ниже).

Стр. 619. *Рюрик* — полулегендарный первый русский князь (IX в.), призванный, согласно летописи, славянами от варягов.

Олег (ум. 912 или 922) — князь Новгородский и Киевский.

Святослав Игоревич (ум. 972 или 973) — великий князь Киевский, одержавший победы в войнах с Византийской империей.

Цимисхий Иоанн I (925—976) — византийский император.

...внук Ольгин — Владимир Святославович (ум. 1015) — великий князь Киевский, в правление которого введено христианство на Руси. Ольга (ум. 969) — великая княгиня Киевская.

Стр. 620. *...тайные связи с... Казимиром.*— Казимир IV (1427—1492) — польский король.

Стр. 621. *...берега Камы были свидетелями побед наших.*— Войска Ивана III в 1468 году на реке Каме одержали победу над татарами.

Димитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий князь Московский. Одержал победу над татарами в Куликовской битве в 1380 году.

Мамай (ум. 1380) — хан Золотой Орды, предводитель татарских отрядов, разгромленных русским войском в Куликовской битве.

Стр. 622. *Жена дерзает говорить на вече...* — Новгородские законы не давали женщинам права выступать на народных собраниях.

Феофилакт Болгарский (конец XI — начало XII века) — византийский историк.

Феофан Византийский (758—817) — византийский историк, хронограф.

Стр. 624. *Батый* (ум. 1255) — татарский хан, основатель Золотой Орды.

Стр. 625. *...не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы?* — Речь идет о битве 1240 года со шведами и победе, одержанной войском Александра Невского.

Сей витязь... — Александр Невский

...предпочел имя великого князя России... — Александр Невский с 1252 года становится великим князем Владимирским.

...давал законы храбрым ливонским рыцарям... — В 1242 году Александр Невский одержал победу над немцами — ливонскими рыцарями.

Стр. 626. *Ахмат* — Ахмет — последний хан Золотой Орды; в 1465 и 1472 годах предпринял неудачные походы на русскую землю.

Стр. 632. *Ратсгер* — член совета.

Стр. 637. *Амурат II* (ум. 1451) — турецкий султан.

Стр. 646. *Клятва, вечная клятва его имени* — то есть проклятье.

Супруга его отчаянная — супруга, пришедшая в отчаяние.

Г. Макогоненко

К иллюстрациям

Том «Русская проза XVIII века» иллюстрирован русскими и иностранными гравюрами и акварелями XVIII — первой половины XIX века из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Исторического музея.

Подобранные для тома листы не являются иллюстрациями к русской прозе XVIII века в буквальном смысле слова. Это — современная ей графика, близкая по темам или стилю к основным произведениям тома.

Сочинения М. Д. Чулкова, Н. И. Новикова и Д. И. Фонвизина иллюстрированы полупрофессиональными лубками по меди работы П. Н. Чувасва и народным лубком «Карлица и карлик».

Лубки работы П. Н. Чуваева:

1. Блинщица. Сцена ухаживания барина за кухаркой.

2. «Когда жил в Казани...».

Текст под рисунком:

«1-й франт. Когда жил в Казани, бродил в сарафане, прибыл в Шую, носил козлиную шубу; ныне стал богат, ярыгам не брат, по моде убираюсь, по моде наряжаюсь, прутиком подпираюсь, в прекрасных садиках гуляю, амурные песенки попеваю, никогда не работаю, веселюся и лупяю. Какая б молодица иль хотя девица моей красоте подивится, да вот уже первая есть, хочет знакомство со мною свесть.

Она. Я красна, я пригожа, я хороша, в нарядах знаю вкус, по моде живу, со многими ложусь; знать, не много ты учен, высоко тупей вздрючен, опустить его пониже, к моим услугам поближе, так будешь со мной парочкой, как барашек с ярочкой.

2-й франт. Она с малых лет привычки сей держалась, без денег ни с каким красавцем не вязалась, а для прибытка со всеми не дика, за деньги будет любить и быка».

3. «Ты требуешь, чтоб я твой похвалил наряд...».

Текст под рисунком:

«Ты требуешь, чтоб я твой похвалил наряд; хвалю его, он мне и всем хорош на взгляд». Муж, похваля, торопится скорее со двора. К жене гостям прибыть приходит уж пора; сожитель любить других жене не возбраняет; он от того доход великий получает; а те рога, он мнит, ему нетрудно несть, коль богатый человек чинит ему ту честь».

Народный лубок «Карлица и карлик» представляет собой диалог двух придворных шутов. Это — единая двухчастная композиция, которую вначале резали на одной деревянной доске, а со временем стали гравировать на двух медных досках, продолжая печатать на одном листе.

Текст под рисунками:

Карлица. Я вижу, что бодро ступаешь
И своею харею людей пужаешь,
Только на тебе убор хорош,
А харею весьма непригож.

Я хоша и невелика в росте,
Однако пребываю всегда в уборстве,
И сама о себе весьма сомневаюся,
А на твою персону зря усмехаюся.
Аще кто нас увидит, дивится всяк,
Что мы поступаем бодро так.

Карлик. Я старик невелик, а бодер ступать,
Кто бы со мною вышел потанцевать,
Токмо на меня не дивится,
Зря на мою персону, веселится.

Я своей поступки не переменяю,
Как моей фамилии по обычаю,
Аще имею невелик возраст,
Однако имею велику бодрость,
За что и в других странах похваляют
И многие персоны видеть желают.

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» иллюстрируется рисунками И. А. Ерменева, литографиями французского художника А. Убигана, а также гравюрами Г. Гейслера и неизвестного художника первой четверти XIX века.

Акварели «Крестьянский обед» и «Поющие слепцы» созданы И. А. Ерменевым, русским художником второй половины XVIII века. Он один из первых обратился к изображению жизни обездоленного крестьянства.

Гравюра «Наказание крестьянина плетьми в присутствии полицейских чинов» — работа немецкого рисовальщика и гравера Генриха Гейслера (1770—1844), жившего в России с 1790 по 1798 год. По возвращении из России Г. Гейслер издал в Лейпциге ряд серий гравюр, сделанных им по собственным натурным зарисовкам. Данная гравюра взята из серии «Наказания, применяемые в России» (ввоз этой серии в Россию был запрещен русским правительством).

Литографии французского художника Арманда Гюстава Убигана (1780—1862) взяты из его альбома «Нравы и костюмы русских» (Париж, 1817). Литографии сделаны по гравюрам английского художника Джона Августина Аткисона из его альбома «Живописное изображение манер, обычаев и развлечений русских» (Лондон, 1803—1804). Д. Аткисон жил в Петербурге с 1784 по 1802 год. Возвратившись на родину, он предпринял ряд изданий, посвященных России.

К повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» отнесены две литографии первой половины XIX века. Первая, работы А. Е. Мартынова (1768—1826), характерна для сентиментального стиля в русской гравюре XIX века; вторая, работы К. И. Рабуса (1799—1857), выполненная в 1843 году, представляет собой вид Симонова монастыря в Москве.

А. Сакович

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Макогоненко. Русская проза в эпоху Просвещения . . . 5

М. Д. ЧУЛКОВ

Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины 41

Н. И. НОВИКОВ

Живописец. Третье издание. 1775 г. 83

Часть I

Автор к самому себе 86
Приняв название живописца 90
Ты охотник до ведомостей 96
Mon coeur, живописец! 100
Опыт «Модного словаря» 103
Листочки ваши с великим удовольствием я читаю . . 107
Я не могу довольно испорченному здешнего города вкусу надивиться 108
Я превеликое имею желание с вами увидеться 109
Английская прогулка 110
Не знаю, как в Петербурге 113
Сыну нашему Фалалею Трифоновичу 114
Сыну моему Фалалею 117
Свет мой Фалалей Трифонович! 120

Любезному племяннику моему Фалалею Трифоновичу . 121
Слушай-ка, брат живописец! 123
Любезный племянничек 125
Племяннику моему Ивану 127
Лечебник 130
Смеющийся Демокрит 140
Отписки крестьянские и помещичий указ ко крестьянам 146

Часть II

На сих днях получил я писание 153
Я теперь *Неудобо-разумо-и-духодеятелен!* 159
Недели с две тому 165
Сколько во Франции почитают Боало де Прея 167
Известие, полученное с Еликона 168
Как мне известно 172
Лишь только уверился я 175
На сих днях 179
Случившееся недавно со мною 180
Я начинаю скучать городскою жизнию 182
Сатирические ведомости
№ 1 183
№ 2 187
№ 3 191
№ 4 197
№ 5 200
Возлюбленному о Христе брату радоватися 204
Пречестный отец Тарасий! 205
Что мне делать? 205
Я имею у себя родственника молодого человека . . . 207
Вы стараетесь выводить наружу пороки 209
Сообщить прошу вас покорно 210
Долго ли тебе устремлять гнев твой 213
Будучи всегдашним читателем 213
Отрывок путешествия в *** И *** Т*** 217

Д. И. ФОНВИЗИН

Недоросль 225
Записки первого путешествия (Письма из Франции) . . . 286
Повествование мнимого глухого и немого 318
Каллисфен 332
Друг честных людей, или Стародум 342
Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях . . 376

А. Н. РАДИЩЕВ

Путешествие из Петербурга в Москву 399

И. А. КРЫЛОВ

Каиб 553
Похвальная речь в память моему дедушке, говоренная его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу 580

Н. М. КАРАМЗИН

Бедная Лиза 591
Остров Борнгольм 606
Марфа Посадница, или Покорение Новагорода 617

Примечания *Г. Макогоненко* 659

К иллюстрациям. *А. Сакович* 714

На суперобложке:

«Памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге». Раскрашенная гравюра. 1-я четверть XIX века. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

«Вид Моховой улицы и дома Пашкова в Москве». Раскрашенная гравюра Ф. Лорие (с оригинала Ж. Делабарта). 1799 г. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 63

РУССКАЯ ПРОЗА XVIII в.

*

Редактор С. Чулков

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
М. Доценко и З. Тихонова

*

Сдано в набор 9/XI 1970 г. Подписано в печать 3/III 1971 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 45 печ. л. 41,99 усл. печ. л. 42,3 уч.-изд. л. + 8 накидок = 43,26. Тираж 300 000 экз. (1—150 000) Заказ 1534. Цена 1 р. 77 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Граверные работы
Ю. Стольцера

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28